Biogr.
106 nd

(Boccaccio)
Wesselowski

Bayerische Staatsbibliothek
<36647163600017

БОККАЧЧЬО,

ЕГО СРЕДА И СВЕРСТНИКИ.

АЛЕКСАНДРА ВЕСЕЛОВСКАГО.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вас. Остр., 9 лин., № 12.
1893.

1389

БОККАЧЧЬО,

ЕГО СРЕДА И СВЕРСТНИКИ.

АЛЕКСАНДРА ВЕСЕЛОВСКАГО.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вас. Остр., 9 лин., № 12.
1893.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
С.-Петербургъ, Ноябрь 1893.
Непремѣнный Секретарь, Академикъ *Н. Дубровинъ.*

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Книга эта задумана была давно, вскорѣ по появленіи біографіи Боккаччьо, написанной Ландау [1]), но другія работы надолго отвлекли автора отъ исполненія труда, пока русскій переводъ Декамерона [2]) не обратилъ его снова къ старой привязанности.

Между тѣмъ литература о Боккаччьо продолжала рости: Кораццини далъ первое полное собраніе его писемъ [3]), Гортисъ посвятилъ его латинскимъ сочиненіямъ обширный трудъ [4]), результатами котораго могъ лишь отчасти воспользоваться авторъ второй, обстоятельной біографіи Боккаччьо, Кёртингъ [5]). Книга Ландау вышла въ итальянскомъ (неоконченномъ) переводѣ Антона-Тра-

[1]) Marcus Landau, Giovanni Boccaccio, sein Leben und seine Werke, Stuttgart, 1877, 1 т.

[2]) Джьованни Боккаччьо, Декамеронъ, переводъ Александра Веселовскаго, Москва, 1891—2, 2 т.

[3]) Corazzini, Le lettere edite ed inedite di Messer G. Boccaccio. Firenze, 1877, 1 т.

[4]) Hortis, Studi sulle opere latine del Boccaccio. Trieste, 1879, 1 т.

[5]) Koerting, Boccaccio's Leben und Werke. Leipzig, 1880, 1 т.

версии съ многочисленными примѣчаніями [1]); работа того-же Ландау объ источникахъ Декамерона явилась въ новомъ, дополненномъ изданіи [2]), не исключающемъ прекрасныя наблюденія Бартоли [3]). Остроумный анализъ Крешини [4]) выяснилъ пристальнымъ изученіемъ юношескихъ произведеній поэта скрытый въ нихъ біографическій матерьялъ и ихъ литературные источники; Макри-Леоне разобрался въ вопросѣ о принадлежащемъ Боккаччьо жизнеописаніи Данте и попытался пріурочить его хронологически [5]); De Blasiis продолжаетъ раскрывать передъ нами картину неаполитанскихъ отношеній, среди которыхъ прошли молодые годы Боккаччьо [6]).

Я ограничиваюсь указаніемъ лишь на выдающіеся или руководящіе труды, минуя мелкіе; библіографію важнѣйшихъ изъ нихъ можно найти у Гаспари [7]), которому принадлежитъ и одна изъ удачныхъ характеристикъ Боккаччьо. Въ порядкѣ времени упомяну хорошенькій

[1]) Giovanni Boccaccio, sua vita e sue opere del dottor Marco Landau, trad. di Camillo Antona-Traversi. Napoli, 1881—2, 2 т.

[2]) Landau, Die Quellen des Decameron. Stuttgart, 1884, 1 т.

[3]) Bartoli, Precursori del Boccaccio, 1876; его-же: I primi due secoli della letteratura italiana, 1880, стр. 564 слѣд.

[4]) Vincenco Crescini, Contributo agli studi sul Boccaccio. Torino. 1887. Сл. также его предисловіе къ: Il cantare di Fiorio e Biancifiore (Bologna, 1889).

[5]) La vita di Dante scritta da G. Boccaccio, testo critico con introduzione, note e appendice di Francesco Macri-Leone. Firenze, 1888.

[6]) De Blasiis, Le case dei principi Angioini nella Piazza di Castelnuovo. Napoli, 1887; La dimora di G. Boccaccio a Napoli, Archivio storico per le provincie napoletane, anno XVII, 1892 (продолжается).

[7]) Storia dellв letteratura italiana di Adolfo Gaspary, trad. da Vittorio Rossi. voll. II, parte I (1891 г.), стр. 1 слѣд., 317 слѣд.

этюдъ Cochin, съ поправкой къ внѣшней біографіи поэта [1]).

Всѣми этими трудами я, разумѣется, пользовался, фактическій матерьялъ, бывшій въ рукахъ моихъ предшественниковъ, переработанъ былъ и мною [2]); въ нѣкоторыхъ шаткихъ вопросахъ біографической и поэтической

[1]) Henry Cochin, Boccace. Paris, 1890.

[2]) Итальянскія сочиненія Боккаччьо (кромѣ упомянутыхъ особо) цитуются по изданію Moutier, Opere Volgari di G. Boccaccio. Firenze, 1827—34 (ссылки на Filocolo I и II разумѣютъ 1-й и 2-й томы); Декамеронъ по моему переводу (сдѣланному съ текста Фанфани); Vita di Dante по изданію Macri-Leone; Комментарій къ Божественной Комедіи по тексту Milanesi, Il comento di G. Boccacci sopra la Commedia. Firenze, Le Monnier, 1863, 2 т. (I и II означаетъ тома).

Для латинскихъ трудовъ Боккаччьо я пользовался слѣдующими изданіями:

Eclogae Virgilii, Calphurnii, Nemesiani, Francisci Pe(trarcae), Ioannis Boc(catii), Ioan(nis) bap(tistae) Man(tuani), Въ концѣ: Impressum hoc opus Florentiae opera et impensa Philippi de Giunti bibliopolae florentini Anno salutis. Mille CCCC. III. Decimo quinto calendas Octobris (по экземпляру профессора Помяловскаго).

Ioannis Boccatii del Certaldo insigne opus de claris mulieribus. Bernae Helvet. excudebat Matthias Apiarius. MDXXXIX.

Ioannis Bocatii de Certaldo historiographi clarissimi De Casibus Virorum illustrium libri novem.... Opera Hieronymi Ziegleri Rotenburgensis repurgatus adjectisque paucis scholiis in lucem nunc denuo editus.... Augustae Vindelicorum cum gratia et privilegio Caesareo singulari. Anno MDXLIIII.

Genealogiae Ioannis Boccatii cum demonstrationibus in formis arborum designatis. Eiusdem De Montibus et sylvis, de fontibus, lacubus et fluminibus Ac etiam de stagnis et paludibus, nec non et de maribus seu diversis maris nominibus. Въ концѣ: Habes, lector peritissime, Ioannis Boccatii deorum genealogiam noviter multis erroribus expurgatam et in pristinum candorem deductam impressamque diligentissimae Venetiis per Augustinum de Zannis de Portuis. Anno MDXI, Die vero XV mensis Novembris.

Письма по указанному выше изданію Corazzini.

хронологіи я склонялся къ тому изъ выраженныхъ мнѣній, которое казалось мнѣ болѣе вѣроятнымъ или обоснованнымъ, не цитуя ихъ авторовъ и не повторяя ихъ доказательствъ, ибо предполагаю ихъ извѣстными, иногда мотивируя ихъ на-ново, либо оставляя вопросъ открытымъ. Книги Ландау, Кёртинга и Гаспари подъ руками у всѣхъ, кто пожелалъ бы провѣрить положенія, усвоенныя мною; вся слѣдующая литература предмета указана въ своемъ мѣстѣ, на сколько она была мнѣ доступна [1]).

Къ сожалѣнію, сдѣланнаго за послѣдніе годы слишкомъ немного, чтобы появленіе новой книги о Боккаччьо можно было оправдать накопленіемъ фактическихъ данныхъ, еще не знакомыхъ предыдущимъ изслѣдователямъ, либо результатами повѣрочной работы надъ уже извѣстными. Свѣдѣнія о внѣшней біографіи Боккаччьо по прежнему пополняются туго, хотя съ этой стороны едва-ли можно ожидать рѣшающихъ откровеній. Важнѣе другой недочетъ: бѣдность нашихъ свѣдѣній о праисторіи того движенія въ области итальянской мысли, которое кульминируетъ на первый разъ въ Петраркѣ и Боккаччьо, объ ихъ предшественникахъ и тѣхъ изъ сверстниковъ, которые, сложившись внѣ ихъ вліянія, шли къ одной съ ними цѣли. Архивы и библіотеки, можетъ быть, еще

Латинскія сочиненія Петрарки приводятся по Базельскому изданію 1554 года (Basileae, Per Sebastianum Henricpetri, in fol.), письма и по итальянскому переводу Fraticelli, Lettere di Francesco Petrarca, 5 тт., Lettere Senili di Fr. Petrarca, 2 тт. — Itinerarium Syriacum по тексту Lumbroso, Memorie italiane del buon tempo antico (Torino, 1889),

[1]) Моя книга закончена въ Ноябрѣ 1892 года, но ея выходъ замедлился по типографскимъ соображеніямъ, чѣмъ и объясняется неравномѣрное пользованіе новѣйшей литературой.

откроютъ намъ скромныхъ дѣятелей этого движенія, упрочивъ его національно-историческій смыслъ, снявъ съ Петрарки и Боккаччьо обузу «начинателей», тогда какъ они лишь формулировали яснѣе то, къ чему направлялись поколѣнія и что, никогда не умирая, постепенно выходило къ свѣту. — Разумѣется, прогрессъ въ этой области изученія будетъ зависѣть не отъ одного лишь приращенія матерьяла, а и отъ внимательнаго его анализа по категоріямъ эрудиціи и міросозерцанія, отъ постоянной повѣрки позднѣйшаго прошлымъ. Это одно убережетъ насъ отъ панацеи догматизма.

Третій пробѣлъ: недостатокъ критическаго изданія какъ итальянскихъ, такъ и латинскихъ сочиненій Боккаччьо былъ особенно ощутителенъ, когда приходилось пользоваться его лирикой и въ ней искать отраженія его раннихъ увлеченій, при постоянномъ сознаніи, что то или другое стихотвореніе, послужившее для характеристики поэта, можетъ оказаться и не принадлежащимъ ему. Впрочемъ такія неизбѣжныя ошибки могли касаться лишь мелочей, не оцѣнки общаго настроенія, ибо здѣсь коррективомъ являлись романы юношеской поры Боккачьо съ обильно разбросанными въ нихъ біографическими намеками.

Я не сомнѣваюсь, что желательное критическое изданіе во многомъ исправитъ тексты сочиненій Боккачьо, возстановитъ правильныя чтенія, перенесетъ на переписчиковъ многое, что вмѣнялось ученому, но въ общемъ оно едва-ли измѣнитъ нашъ взглядъ на эрудита и мыслителя, на стилиста и поэта. Съ этой точки зрѣнія и существующія изданія отвѣчали цѣлямъ автора: самостоя-

тельно и лично передумать Боккаччьо, углубиться въ его психику и за стилистомъ и мыслителемъ раскрыть человѣка яркаго темперамента и идеальныхъ стремленій, въ одно и то-же время слабаго и страстнаго, застѣнчиваго и полнаго самосознанія, впечатлительнаго къ тѣмъ теченіямъ культурной среды, которыя онъ живо воспринималъ и выражалъ. Особенностью таланта считаютъ творческую способность, превышающую таковую-же способность другихъ людей, не ихъ пониманіе; потому они съ перваго раза находятъ цѣнителей (Шопенгауеръ). Я поставилъ бы вмѣсто творчества живость воспріятія и рельефное объективированіе того, что покоилось въ сознаніи если не общества, то извѣстныхъ его слоевъ, какъ разсѣянные члены чего-то, еще не собравшагося въ раздѣльный образъ.

Петрарка не отдѣлимъ отъ Боккаччьо: они такъ долго шли рядомъ, связанные общими умственными интересами и своеобразной дружбой, въ которой одинъ отдавался и безсознательно угнеталъ своимъ авторитетомъ, въ другомъ дѣтски-любовное благоговѣніе не исключало ни критики, ни самостоятельности почина, которую я желалъ подчеркнуть. Эти люди невольно оттѣняли другъ друга; для психологической характеристики Боккаччьо, которую я имѣлъ ввиду, Петрарка являлся фономъ и повѣркой: этимъ объясняется мѣсто, удѣленное мною показному вождю гуманизма во второй части моей книги. Рядомъ съ ними Аччьяйоли, блестящій баринъ-меценатъ, въ которомъ содержаніе гуманизма развило себялюбіе личности и вкусы къ эксплуатаціи таланта; Заноби да Страда, Молчалинъ, пролѣзающій, по теченію идей, въ люди и даже къ славѣ, не дарованіемъ, а лаской и послушничествомъ; тихій

Нелли, наивно-оторопѣлый въ своихъ восторгахъ передъ гуманистической фразой, молящійся каждому слову «учителя». Всѣ они дополняли картину, служа одной цѣли: понять Боккаччьо въ его кружкѣ, среди поставленныхъ тогда вопросовъ объ отношеніяхъ гражданской и личной свободы, свободной литературы и патроната, смѣшивавшаго поощреніе съ гнетомъ.

Той-же цѣли отвѣчало и подчиненіе литературнаго отдѣла книги психологически-біографическому. Вездѣ-ли я былъ правъ, читая между строками, не отнесъ-ли на счетъ внутренней эволюціи чувства и сознанія, что могло быть реторической забавой или абстрактной затѣей кабинетнаго ученаго (если только можно строго подѣлить эти области), съумѣлъ-ли сохранить колоритъ времени въ изображеніи отношеній, такъ много напоминающихъ близкія къ намъ — все это покажетъ критика. Критика и повторенныя занятія могутъ побудить меня снова вернуться къ труду, которому я и самъ даю значеніе опыта.

Остается сказать нѣсколько словъ по поводу моего обстоятельнаго разбора раннихъ произведеній Боккаччьо. Ихъ мало кто знаетъ, и нѣтъ вѣроятія, чтобы они нашли читателей: передача ихъ содержанія, ихъ канвы (чѣмъ ограничились Кёртингъ и особенно Ландау) можетъ познакомить развѣ съ источниками Боккаччьо, не съ его отношеніемъ къ нимъ, не съ его пониманіемъ сюжета, съ новымъ его освѣщеніемъ и стилизаціей, въ которой сказывается писатель, съ реторическимъ балластомъ, въ которомъ сказалось время. Мои извлеченія, пытавшіяся, по возможности, передать впечатлѣніе подлинниковъ, имѣли ввиду не только объяснить возникновеніе стиля,

составляющаго не малую славу Декамерона, но и прослѣдить, какъ постепенно накоплялись и очищались внѣшніе и внутренніе элементы гуманизма, нашедшіе въ немъ выраженіе. Канцоньере и Декамеронъ — это гуманизмъ въ разрѣзѣ, обращенный къ публикѣ, эстетическіе и этическіе результаты латинскихъ чтеній и обсужденій, безсознательно опредѣлившіе новое творчество. Въ исторіи гуманистическаго движенія это обезпечиваетъ за нами передовое мѣсто.

Если я съумѣлъ объяснить неизбѣжныя длинноты моихъ анализовъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ защитилъ отчасти и объемъ новой біографіи. Книга, разросшаяся не въ мѣру, напоминаетъ мнѣ человѣка, не знающаго въ обществѣ, куда дѣвать свои руки.

Таковы задачи и самозащита труда, являющагося естественнымъ введеніемъ къ моей книгѣ: Вилла Альберти. Чтобъ уравнять ихъ архитектуру, слѣдовало бы переработать послѣднюю, и если не удалить понятіе «перелома», то разбить его, отнеся литературный переломъ ближе къ Боккаччьо.

Долгое общеніе съ писателемъ, съ которымъ я такъ часто бесѣдовалъ, которому, быть можетъ, чаще (какъ знать?) подсказывалъ свои мысли, сдѣлали, вѣроятно, и эту біографію субъективной, какъ всякая другая. Я старался избѣгать предвзятости, становясь на историческую точку зрѣнія, исключающую неумѣренные восторги и нареканія, тѣмъ болѣе обѣленія, часто лицемѣрныя, въ которыхъ авторъ Декамерона такъ же мало нуждается, какъ и въ защитникахъ, особенно неумѣлыхъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Введеніе . 3—8

I. Дѣтскіе годы. Призваніе и карьера. Культурныя условія неаполитанской среды.

I. Семья Боккаччьо. Характеристика его отца, его связь съ матерью поэта и вторичный бракъ. Боккаччьо въ домѣ мачехи; его пессимистическое настроеніе. Школьные годы; раннее призваніе къ поэзіи и занятія въ купеческой конторѣ; противорѣчія поэтическихъ вожделѣній и практической карьеры. Какъ онѣ отражаются на психикѣ Боккаччьо.—Поѣздка съ отцемъ въ Неаполь по торговымъ дѣламъ; изъ купеческаго выученика онъ становится канонистомъ противъ воли. Какія силы и задатки принесъ онъ съ собою въ Неаполь. Опытъ характеристики . 11—20

II. Культурныя наслоенія неаполитанской среды: лангобарды и византійцы; значеніе южно-итальянскаго эллинизма . 20—25

III. Норманны и арабы; Фридрихъ II и Гогенштауфены; династія Анжу; поглощеніе французскаго вліянія итальянской средой . 25—29

IV. Первые Анжу̀. Король Робертъ; его двоякая оцѣнка у современниковъ и въ ближайшемъ поколѣніи. Политикъ и книгочій; типы переходной образовательной эпохи: Робертъ и Діонисій da Borgo San Sepolcro. Ученыя сношенія Роберта и его «назиданія»; наивный педантизмъ и диспутъ Петрарки. Юныя увлеченія и старческій ригоризмъ короля-богослова. Робертъ и Карлъ IV въ теченіяхъ гуманизма 29—53

V. Мелкіе неаполитанскіе дворы. Агнеса Перигорская и Катерина де Куртнэ̀. Никколо̀ Аччьяйоли, практическій

Стр.

типъ гуманиста. Онъ вводитъ Боккачьо въ неаполитанскую жизнь. Салонныя и уличныя впечатлѣнія: бытовые типы и картинки, вилледжьятура въ Байяхъ и умственные интересы элегантнаго общества. Эволюція чувства любви отъ его постановки въ рыцарскомъ идеалѣ и cours d'amour до итальянскаго салона и защитительной рѣчи Гисмонды 53—72

II. Неаполь. Наука и любовь. Юношеская лирика и Филострато.

I. Первые шаги въ Неаполѣ. Увлеченіе Палладой и сѣти Амура. Учители Боккачьо: Андалоне ди Негро, Паоло изъ Перуджіи, Варлаамъ 75—99

II. Сверстники по научнымъ и поэтическимъ интересамъ: Барбато изъ Сульмоны, Джьованни Баррили, Никколо̀ д'Алифе. Барбато, какъ представитель ранняго южноитальянскаго гуманизма; вліяніе Петрарки.—Настроеніе Боккачьо: поэзія и любовь, страстное исканіе знанія и уравновѣшенности среди матерьяльныхъ стѣсненій; растерянность юношескихъ писемъ. Увлеченіе неаполитанскими красавицами и первая встрѣча съ Фьямметтой 99—111

III. Фьямметта-Марія, побочная дочь короля Роберта. Ея образъ у Боккачьо. Взаимная склонность и начало знакомства; она проситъ Боккачьо написать для нея о любви Флоріо и Бьянчифьоре: затѣя Филоколо; его источники. — Фьямметта-Галатея и Памфило-Боккаччьо. Лирика ожиданія и мотивы одухотворяющей любви, мирящіе спросы темперамента и идеализаціи. Платонизмъ Діаниной охоты. Любовь и ревность и біографическій элементъ въ Филострато 111—127

IV. Филострато. Источники сюжета. Эпизодъ о Бризеидѣ у Бенуа de Sainte More и его освѣщеніе у Боккачьо. Содержаніе поэмы; литературная оцѣнка этой новеллы въ формѣ рыцарскаго романа и вопросъ о хронологическомъ пріуроченіи.—Счастливая любовь, сомнѣнія и измѣна Фьямметты. Лирика отчаянія и разрывъ. Отъѣздъ изъ Неаполя въ 1340 году. Реальныя и идеальныя отношенія къ Фьямметтѣ въ эпизодахъ Филоколо. Эпизодъ любовныхъ бесѣдъ: противорѣчія небесной и земной любви и новыя попытки ихъ примиренія 127—171

III. Флоренція. Автобіографическія переживанія (Филоколо, Амето, Любовное Видѣніе).

I. Возвращеніе во Флоренцію. Удручающія впечатлѣнія отцовскаго дома и грёзы о Неаполѣ. Письмо къ Аччьяйоли; его пріѣздъ во Флоренцію; поѣхалъ-ли съ нимъ

Стр.

Боккачьо? Флорентійскія событія: тираннія герцога Аѳинскаго; какъ отнесся къ ней Боккачьо? Новыя и старыя литературныя вѣянія: вліяніе Петрарки и Данте. Обаяніе дантовскаго идеализма отвѣчаетъ личному настроенію поэта.................... 175—189

II. Филоколо. Его содержаніе и литературно-стилистическая оцѣнка .. 190—262

III. Дантовскій аллегоризмъ и біографическіе моменты въ Амето: иносказаніе въ формахъ пасторали. Типъ Амето и попытка самооправданія. Историческія аллюзіи въ поэмѣ и Capitolo. Овидіевскіе мотивы и стремленіе обосновать теорію платонизма на фактахъ житейской любви. 262—292

IV. Любовное Видѣніе: снова исторіи любви въ освѣщеніи самообличительнаго анализа, приготовляющаго художественный объективизмъ Фьямметты 292—307

IV. Выходъ къ свободному творчеству (Тезеида и Нимфы Фьезоле).

I. Тезеида, какъ опытъ классическаго эпоса на сюжетъ новеллы о конфликтѣ любви и дружбы. Источники и содержаніе поэмы. Посвятительное письмо къ Фьямметтѣ и вопросъ о его біографическихъ намекахъ.... 311—344

II. Поэтическое сплоченіе античнаго и средневѣкового въ Ninfale Fiesolano. Разборъ идилліи. Выходъ изъ періода страстности къ свободѣ художественнаго творчества .. 344—365

V. На высотѣ (Фьямметта и Декамеронъ).

I. Внѣшняя жизнь Боккачьо съ 1340 года. Событія въ Неаполѣ по смерти короля Роберта; воцареніе Джьованны и короля Андрея; убійство послѣдняго въ 1345 году. Боккачьо въ Равеннѣ и Форлѝ въ 1346—7 годахъ. Его отношенія къ неаполитанской смутѣ, отрицательныя къ Джьованнѣ и Аччьяйоли: письмо къ Заноби да Страда и третья эклога. Вопросъ о подлинности или хронологическомъ пріуроченіи письма Боккачьо къ Алессандро деи Барди. Смерть отца Боккачьо; въ жалобахъ послѣдняго на бѣдность слѣдуетъ признать долю шаржа.—Измѣненіе политическаго настроенія въ эклогахъ IV, V и VI: симпатіи къ Аччьяйоли и Джьованнѣ; чѣмъ объяснить этотъ поворотъ? Джьованна, Фьямметта и Декамеронъ. Вопросъ о хронологіи Декамерона и «Фьямметты» 369—395

II. Анализъ «Фьямметты»: художественное объективирова-

Стр.

ніе лично-пережитаго. Фьямметта и начала психологическаго романа. Фьямметта и Героиды Овидія 395—440

VI. Художественныя и этическія задачи Декамерона.

I. Значеніе Декамерона въ литературномъ развитіи Боккаччьо. Рамка новеллъ: чума 1348 года въ разсказахъ лѣтописцевъ и художественномъ планѣ Декамерона. Разсказщики . 443—460

II. Новеллы Декамерона. Разсказы и шутки мѣстнаго происхожденія и замѣшавшіеся въ нихъ элементы международнаго преданія. Носители шутки: художники и потѣшники; животный характеръ веселья и культъ сердца, показатели личнаго самосознанія. Устные источники Боккаччьо: Коппо ди Боргезе Доменики 461—469

III. Захожіе сюжеты новеллъ и ихъ итальянское пріуроченіе. Новелла анонимнаго сіэнца и сходная у Боккаччьо. Литературные и устные источники его разсказовъ. Вопросъ объ его оригинальности по отношенію къ сюжетамъ унаслѣдованныхъ повѣстей: анализъ новеллъ о Настаджіо дельи Онести (V, 8), о Гвидотто (V, 5), о трехъ кольцахъ (I, 3), о двухъ ларцахъ (X, 1) и объ Алатіель (II, 7) приводитъ къ колеблющимся выводамъ . 469—493

IV. Попытка опредѣлить оригинальность Боккаччьо со стороны стиля. Боккаччьо, какъ стилистъ новеллы; самосознаніе и скромное заявленіе, что Декамеронъ написанъ безъ претензій (senza titolo). Сравнительный разборъ двухъ новеллъ Филоколо, тождественныхъ по содержанію съ разсказами Декамерона, съ точки зрѣнія ихъ композиціи. Стилистическая характеристика Декамерона: недодѣланность, повтореніе общихъ мѣстъ, положеній, началъ и заключеній. Боккаччьо, какъ поэтъ эпизода; противорѣчіи психолога и ритора; обстоятельность описаній: пейзажи и типы красоты. Детальность реальнаго наблюденія и реторическая выписанность. Пріемы характеристики; новелла о священникѣ изъ Варлунго. Героическіе и будничные типы. Боккаччьо не творецъ своихъ типовъ, онъ психологъ новеллы, поднявшій ее живымъ пониманіемъ личнаго въ реальномъ . . 493—518

V. Дидактизмъ Декамерона. О чемъ толкуютъ его собесѣдники? Ихъ отношеніе къ религіи и явленіямъ церковной жизни; религіозность Боккаччьо. Пониманіе и разносторонній анализъ любви. Противорѣчія любви и долга въ повѣстяхъ Декамерона объясняется его міросозерцаніемъ, психическимъ настроеніемъ автора, не его протоколизмомъ. Женщины у Франческо да Барбе-

Стр.

рино и разскащицы Декамерона. Въ чемъ состояло новшество Боккаччьо? Нападки на Декамеронъ и самозащита Боккаччьо: его отвѣты литераторамъ и читательницамъ. Голоса изъ общества: Декамеронъ-Галеотто; идеальные и средніе читатели Декамерона. Легенда о Боккаччьо въ Чертальдо. Боккаччьо и Овидій, Петрарка и бл. Августинъ и возсозданіе культурныхъ типовъ. Литературное вліяніе Декамерона. Боккаччьо и Чосеръ. Декамеронъ въ оборотѣ европейской литературы . 518—545

ВВЕДЕНІЕ.

Большинство даже образованныхъ читателей знаютъ Боккаччьо, какъ автора Декамерона, а Декамеронъ не столько изъ чтенія, сколько по репутаціи, сложившейся вѣками изъ наслѣдія честныхъ и лицемѣрныхъ недоумѣній, взглядовъ, принятыхъ на вѣру, и умственной лѣни. Лучшее средство противъ этого миража — въ самомъ дѣлѣ прочесть Декамеронъ и, забывъ на время объ опасности, грозящей вашему нравственному чутью, окунуться въ источники его звонкаго, здороваго смѣха, затеряться въ толпѣ его типовъ, бойкихъ и веселыхъ, торжественныхъ и грустныхъ, но всегда отдающихъ жизнью; прислушаться, какъ и что говорятъ, по поводу той или другой новеллы, разсказщики Декамерона — и какъ за нихъ резонируетъ Боккаччьо. А онъ любитъ резонировать: герои его новеллъ, особенно торжественныхъ, то и дѣло разсуждаютъ объ общихъ вопросахъ, сыпятъ софизмами, произносятъ адвокатскія рѣчи, нерѣдко выходя изъ роли, намѣченной ихъ характеромъ; за нихъ разсуждаетъ Боккаччьо. Для разсказщиковъ Декамерона каждая новелла становится предметомъ бесѣды, новеллы складываются въ группы, смотря по тому, какое общее, житейское или философское положеніе онѣ выясняютъ: вопросы любви и нравственности, религіи и церковной практики, тайны провидѣнія или загадочное водительство судьбы. За «человѣческой комедіей» Декамерона чувствуется серьезный субстратъ идей, исканіе міросозерцанія. Впослѣдствіи эти идеи станутъ для Боккаччьо точкой отправле-

нія, и онъ подгонитъ подъ идею фатума свои латинскіе приклады о роковой судьбѣ именитыхъ людей (De casibus virorum illustrium); но тогда его міросозерцаніе съузится, болѣзненно уединясь въ пессимизмъ. Въ пору Декамерона онъ еще художникъ, онъ выходитъ изъ живыхъ типовъ и реальныхъ положеній, но каждый изъ нихъ представляется ему показателемъ общаго, частнымъ факторомъ въ разрѣшеніи сложной задачи человѣческой жизни. Съ этой точки зрѣнія Боккаччьо, а за нимъ его герои и разскащики, и размышляютъ о типахъ и положеніяхъ, подводя ихъ подъ ходячую оцѣнку дѣяній и побужденій, нерѣдко открывая возможность и другой, не традиціонной, но человѣчной. Отрицательное впечатлѣніе Декамерона, которое легко вынести изъ чтенія нѣскольких ъ, сознательно подобранныхъ нескромныхъ новеллъ, съ лихвой перевѣшивается его положительной, я сказалъ бы учительной стороной: впечатлѣніемъ новаго умственнаго кругозора, слагающагося среди преній и бесѣдъ изъ анализа житейскихъ и психологическихъ фактовъ. Эта печать анализа и самонаблюденія и опредѣляютъ наше отношеніе къ Боккаччьо: онъ человѣкъ такъ называемаго «возрожденія» не столько своей латинской эрудиціей, своими трактатами о богахъ и великихъ людяхъ, о горахъ и рѣкахъ, сколько аналитической стороной своего Декамерона.

Данте, Петрарка, Боккаччьо — три имени, три показателя итальянскаго развитія въ XIV вѣкѣ; «три флорентійскихъ вѣнца». Такъ эмфатически называли ихъ ближайшіе современники, а мы безотчетно повторяемъ, забывая, что Данте, самый муниципальный изъ трехъ по воспитанію и симпатіямъ, провелъ треть жизни изгнанникомъ, что Петрарка вступилъ во Флоренцію лишь на нѣсколько дней и ничѣмъ ея преданію не обязанъ, а Боккаччьо сложился поэтомъ и гуманистомъ при неаполитанскомъ дворѣ и поздно вжился въ демократическіе интересы Флоренціи. Можетъ быть, эта случайная отвязанность отъ муниципальной почвы и развила въ нихъ широту взгляда, грезу культурной Италіи. Всѣ трое лелѣютъ ее одинаково, но содержаніе понятія мѣняется.

Данте резюмируетъ съ итальянской точки зрѣнія средніе вѣка, и не свое время, а прошлое; его Божественная Комедія — идеальный синтезъ этого прошлаго: всѣ элементы современнаго политическаго, общественнаго и религіозно-философскаго движенія еще разъ сведены въ ней къ отживавшимъ нормамъ папства и имперіи; языческій моментъ классицизма еще не ощущается, какъ бродило, и мирно укладывается въ рамки христіанскаго міросозерцанія. Самъ Данте въ Божественной Комедіи спокойно-монументаленъ и цѣленъ, даже въ порывахъ своего героическаго гнѣва и паѳоса; и у него былъ періодъ борьбы и увлеченія, но тревога улеглась, и онъ вышелъ изъ нея къ успокоенію, лично сосчитавшись съ собою и съ своимъ временемъ, придя къ утвержденію идеальнаго status quo, въ которомъ устоямъ прошлаго данъ перевѣсъ надъ вѣяніями будущаго. Мы охотно представляемъ его себѣ стоящимъ въ центральной нишѣ его гигантскаго нерукотворнаго храма; его Виргилій — не волшебникъ и не христіанскій пророкъ средневѣковаго преданія: онъ творецъ Енеиды, провозвѣстникъ имперской идеи, онъ—разумъ, наука; но онъ-же ведетъ поэта къ одухотворенной Беатриче. Она гдѣ-то на верху, сотканная изъ мистическихъ порывовъ богородичнаго культа, идеализаціи женщины у трубадуровъ и платонизирующихъ мотивовъ поэтовъ новаго флорентійскаго «стиля».

Въ сравненіи съ архаистическимъ ликомъ Данте фигуры Петрарки и Боккачьо глубже и страстнѣе тронуты рѣзцемъ. Они родились въ первомъ поколѣніи послѣ Данте, но его поэтическій синтезъ не остановилъ исторіи: на сценѣ то-же броженіе и исканіе въ мірѣ политики, общественныхъ и нравственныхъ идеаловъ; тотъ-же дантовскій «дремучій лѣсъ» и то-же требованіе выхода, но не къ Беатриче и не къ квіетизму рая, не къ спасительнымъ началамъ папства и имперіи.

О нихъ еще говорятъ, какъ о принципахъ, но подъ условіемъ новаго толкованія. Съ идеей имперіи плохо ладила масса политическихъ новообразованій, комунъ и тираній и королевство

въ Неаполѣ; ихъ самостоятельность исключало народное объединеніе, сознаніе культурнаго единства поддерживалось никогда не изсякавшимъ преданіемъ языческаго Рима. Въ обособленныхъ центрахъ политическая жизнь развивалась, не спрашиваясь императора, складывались свои соціальныя привычки, мѣнялись учрежденія и формы быта въ борьбѣ партій и мнѣній, исходившихъ не изъ старыхъ опредѣленій права, а изъ постановки новыхъ жизненныхъ спросовъ и возродившихся занятій кодексомъ Юстиніана. Изъ связи родовъ, цеховъ, консортерій обособлялись личности, поставленныя въ необходимость рѣшиться между преданіемъ и новшествомъ, изощрившія политическія способности ума, колеблющіяся и страстно-рѣшительныя, воспріимчивыя, нервныя. Съ личностью явилась и критика, и одной изъ ея точекъ отправленія было условіе, содѣйствовавшее самому развитію индивидуализма. Жизненность образовательнаго латинскаго преданія въ Италіи была такимъ условіемъ; когда личность окрѣпла, условіе стало для нея критеріемъ, который она и начинаетъ ощупать, какъ въ извѣстныхъ отношеніяхъ правомѣрный привычному, средневѣковому. Чѣмъ болѣе практика жизни и ростъ критическаго сознанія подрывали вѣру въ послѣдній, тѣмъ сильнѣе выяснялось значеніе перваго въ кружкѣ людей, въ которыхъ чутче слышался пульсъ исторіи: въ откровеніяхъ древности они находили оправданіе новыхъ явленій политическаго быта, философское обоснованіе религіознаго чувства, культа славы и науки, незаторможенной школой, проснувшейся любви къ реальной сторонѣ жизни, къ красотамъ пластики и художественнаго слова.

Когда весь этотъ процессъ выяснится, Петрарка и Боккаччьо явятся выразителями умственнаго движенія, начала котораго трудно уследить и которое мы зовемъ «возрожденіемъ» или «гуманизмомъ». Его показатели: разложеніе видимой, успокоивающей цѣльности міросозерцанія, критическая расторженность мысли, страстное исканіе новыхъ путей, желаніе обосновать это новое воззрѣніями классиковъ. Расторженность мысли — въ виду назрѣв-

шей потребности сдѣлать выборъ между тѣмъ, что еще составляетъ для массы объектъ вѣры, что пустило вѣковые корни въ народномъ сознаніи, всосано съ молокомъ матери — и новыми началами, новыми и старыми вмѣстѣ, которые убѣждаютъ умъ, но не побѣждаютъ воспитаннаго въ другомъ преданіи чувства. Это не средневѣковой разладъ между плотью и духомъ, міромъ и аскезой: тамъ исходъ борьбы предрѣшенъ, мірская любовь рыцаря искупится въ монашеской кельѣ, гривуазныя продѣлки fabliau — въ какомъ либо мытарствѣ. Прогрессъ движенія въ томъ, что онъ уравнялъ шансы побѣды, серьозно обосновавъ права «міра»: за него стало классическое образовательное преданіе. Уравнялъ — безъ увѣренности побѣды: въ реторизмѣ, характеризующемъ писателей «возрожденія», въ обычномъ перевѣсѣ фразы надъ содержаніемъ у Петрарка и Боккаччьо, въ ихъ постоянномъ хожденіи на котурнѣ, этой психологической складкѣ цѣлой поры, чувствуется, рядомъ съ дѣтскими восторгами передъ новымъ откровеніемъ, и паѳосъ фразы, какъ-бы прикрывающей сознаніе, что тѣ горизонты далеко и когда-то спустятся на землю. Такъ эпохи реторизма обманываютъ себя на счетъ слабости убѣжденія и недостатка увѣренности.

Петрарка и Боккаччьо стоятъ въ этомъ движеніи: оба одинаково расторжены, одинаково мятутся, также восторженно-реторичны. Раздвоенность Петрарки хорошо извѣстна: онъ постоянно борется между классическимъ и христіанскимъ идеаломъ, любовью и аскезой, мечтою о славѣ и самоотреченіемъ, и не въ силахъ досказаться откровенно ни до да, ни до нѣтъ (Nè sì nè no nel cuor mi suona intero). Несомнѣнно, въ немъ происходила борьба, за это говоритъ непритворность его ацедіи и сентиментальное бѣгство въ природу; но, влюбленный въ свое я, онъ выносилъ его на показъ, позируя своими ранами, какъ наивно позировалъ въ роли учителя; признаніе, которымъ его окружали и которое онъ самъ не прочь былъ принимать за культъ, поднимало его въ борьбѣ: онъ проникался сознаніемъ своего подвига; тѣмъ величавѣе и гармоничнѣе являлись у него моменты успо-

коенія. У Боккаччьо былъ тотъ-же внутренній разладъ, тотъ-же самоанализъ, можетъ быть, не столь глубокій, но и не обставленный такъ декоративно, выносившійся наружу не столь торжественно, дѣтски сообщительный, откровенно искавшій духовной помощи. Не тактичный, какъ Петрарка, онъ трогаетъ насъ своею человѣчностью, проявленіями слабости, не скрывающей наболѣвшихъ ранъ подъ складками риторической тоги.

Таково содержательное вліяніе новыхъ умозрительныхъ откровеній на Петрарку и Боккаччьо; внѣшнее, формальное, бросается въ глаза. Лирическая виртуозность Петрарки навѣяна его классическими чтеніями; если идеалъ его Лауры средневѣковой, то изящность его психологической разработки и тонкость анализа многимъ обязаны тому-же источнику. Боккаччьо черпаетъ изъ него въ размѣрѣ своего таланта: онъ одарилъ итальянскую прозу кадансомъ классическаго періода; богатства древней миѳологіи и исторіи, неуклюже загромождающія его первый романъ, становятся впослѣдствіи въ его рукахъ послушнымъ матеріаломъ, готовымъ для новыхъ художественныхъ созданій. Его Тезеида — первая во всей Европѣ затѣя эпопеи въ классическомъ стилѣ; его Фьямметта, первый опытъ психологическаго романа въ новыхъ литературахъ — навѣяна мотивами Овидіевыхъ Героидъ, страстность личной сатиры въ Корбаччьо слагается подъ вліяніемъ Ювенала. Петрарка болѣе разборчивый латинистъ, чѣмъ Боккаччьо, онъ, можетъ быть, глубже и разнообразнѣе понимаетъ древнюю жизнь, но нигдѣ дотолѣ, и позднѣе развѣ у Понтана, сочетаніе античнаго и современнаго, Овидія и итальянской paysannerie, не достигало такой художественной цѣльности, какъ въ Ninfale Fiesolano. На почвѣ поэтическаго синтеза здѣсь достигнуто то, что въ предѣлахъ общаго міросозерцанія оставалось вопросомъ и чаяніемъ.

I.

ДѢТСКІЕ ГОДЫ. ПРИЗВАНІЕ И КАРРЬЕРА. КУЛЬТУРНЫЯ УСЛОВІЯ НЕАПОЛИТАНСКОЙ СРЕДЫ.

I.

Въ семьѣ Боккаччьо не было того культурнаго преданія, которое побуждало Петрарку съ уваженіемъ поминать своего отца, большаго почитателя Цицерона [1]), и прадѣда Garzo [2]), вѣроятно, автора нѣсколькихъ духовныхъ стиховъ и риѳмованныхъ пословицъ [3]). Боккаччьо были крестьяне изъ Чертальдо, небольшого тосканскаго городка въ пяти миляхъ къ югу отъ Флоренціи, куда переселился еще дѣдъ нашего поэта, сохранивъ за собою на родинѣ и собственность и домъ. Отецъ Боккаччьо занялся торговлей, въ качествѣ участника и представителя дома Барди, имѣвшаго на югѣ Италіи обширныя дѣла, снабжая анжуйскій дворъ деньгами, въ обезпеченіе которыхъ ему предоставлены были извѣстныя льготы, преимущественно по торговлѣ хлѣбомъ. Повидимому, старикъ Боккаччьо пользовался во Флоренціи нѣкоторымъ значеніемъ: въ 1321-мъ году мы встрѣчаемъ его въ числѣ пріоровъ, позже въ нѣсколькихъ другихъ мелкихъ должностяхъ, хотя принадлежалъ онъ къ роду, лишь недавно водворившемуся въ городѣ. Филиппо Виллани говоритъ, что онъ былъ человѣкъ рачительный (industrius vir), сынъ, — что онъ честнымъ трудомъ старался пріумножить домашній достатокъ [4]);

1) Сл. Petrarca, Sen. XVI, 1; Fam. XXI, 15.

2) Fam. VI, 3; XI, 5.

3) Сл. Guido Mazzoni и Carlo Appel въ Propugnatore N. S., II, стр. 205 слѣд.; III, 5 слѣд., 49 слѣд., 238 слѣд.; Zenatti ib. v. IV, 415 слѣд.

4) De Cas. XI, 21.

разсказывая о соблюденіи флорентійцами одного святочнаго обряда (отвѣчающаго сербскому божичу, итальянскому ceppo di natale), Боккаччьо называетъ отца хорошимъ, настоящимъ христіаниномъ [1]). Все это стоитъ въ противорѣчіи съ той рѣзкой, недружелюбной его характеристикой, которую Боккаччьо пишетъ про себя и, можетъ быть, для немногихъ, когда въ аллегорическихъ образахъ поминаетъ свое тяжелое дѣтство. Въ этой характеристикѣ много больнаго, можетъ быть, несправедливаго шаржа, но въ позднѣйшемъ восхваленіи сыновней и отеческой любви, какъ принципа общественнаго устроенія [2]), какъ бы чувствуется нѣчто отрицательно пережитое. На самомъ дѣлѣ отецъ Боккаччьо былъ практикъ, пробившійся къ извѣстному благосостоянію, не видѣвшій ничего выше наживы, бережливый и прижимистый, безъ всякаго идеальнаго полета. Выйдя изъ крестьянъ, «перемѣнивъ одежду, онъ сохранилъ подъ обманчивымъ видомъ грубые нравы отца, и во всемъ остался матерьялистомъ и неотесаннымъ» [3]); это типъ вышедшаго въ люди крестьянина, говорившаго крестьянамъ, что онъ изъ благородныхъ, что его занятіе — торговля — издавна ведется въ ихъ родѣ. Въ 1310—1313 годахъ онъ проживалъ въ Парижѣ по дѣламъ Барди; красивый собою, не подъ стать грубому духу, веселаго нрава, онъ соблазнилъ молодую женщину, хорошаго, но, вѣроятно, обѣднѣвшаго рода, по имени Жанну, обѣщаніемъ жениться на ней. Въ 1313 году она родила отъ него сына, нашего Боккаччьо, а онъ бросилъ ее и, вѣроятно въ началѣ слѣдующаго года, вернулся во Флоренцію, куда выписалъ и ребенка по смерти матери, умершей съ горя. Вскорѣ за тѣмъ онъ женился на Маргаритѣ ди Джьянъ Донато деи Мартоли.

Боккаччьо выросталъ въ домѣ мачехи, у которой явились свои дѣти. Какъ жилось ему тамъ — объ этомъ говорятъ воспоминанія о покинутой отцомъ матери, къ которымъ онъ обращается впослѣдствіи съ какой-то болѣзненной настойчивостью.

1) Gen. Deor. l. XII, c. 65. 2) De Cas. VIII, c. 22; IX, c. 20. 3) Ameto 78.

Два раза пересказалъ онъ ея грустную исторію: въ эпизодѣ Идалага [1]) и въ повѣсти объ Ибридѣ [2]). Идалагъ и Ибрида — это онъ самъ; Ибрида, т. е. рожденный отъ неравныхъ по положенію и національности родителей. Мальчикомъ, юношей, онъ могъ узнать о своей матери лишь немногое, но онъ вжился въ психическій моментъ и развилъ его въ воображеніи. Это бросило тѣнь на отца; если отецъ грубый практикъ, сынъ — идеалистъ и поэтъ, то потому, что пошелъ не въ отца — крестьянина, а въ благородную мать. Эта похвальба родомъ противорѣчитъ позднѣйшему взгляду Боккаччьо на благородство, какъ зависящее отъ доблести, не отъ крови; онъ и потомъ колебался между теоріей и самосознаніемъ: ему просто хочется вѣрить, что онъ не въ отца; можетъ быть, и его отношенія къ любимой женщинѣ королевскаго рода заставляли его порой припоминать, что и онъ не такъ ей неровенъ, какъ могло бы казаться, и въ немъ есть капля синей крови.

Такъ наростали тѣни. Прижимистость отца начала казаться скряжничествомъ, увеличивавшимся съ годами. Въ «Любовномъ Видѣніи» [3]) поэту представляется гора изъ золота и серебра и драгоцѣнныхъ камней, вокругъ которой трудятся съ топорами и молотами толпа людей: это стяжатели; между ними кто-то старается отковырнуть что-нибудь ногтями, но послѣ многихъ попытокъ уноситъ лишь немногое, и такъ крѣпко держитъ кошель, что не только другому, но и ему самому оттуда ничего не вынуть. Это тотъ, кого я звалъ своимъ родителемъ, говоритъ Боккаччьо, тотъ, кто по *собственному побужденію милосердно воспиталъ меня, какъ сына* [4]). Въ другомъ мѣстѣ, въ эпизодѣ своего перваго романа (Филоколо), онъ разсказываетъ, подъ именемъ Идалага, какъ вступивъ однажды въ отцовскій домъ, онъ уви-

1) Filocolo II, 239 и слѣд.

2) Ameto стр. 78 слѣд.

3) Am. Vis. c. XIV, стр. 58.

4) Сл. Fiammetta 39: per la mia puerizia nel suo grembo teneramente allevata, per l'amor di lui verso di me continuamente portato.

дѣлъ двухъ свирѣпыхъ медвѣдей, устремившихъ на него алчные взгляды, какъ бы желая поглотить его. Это—его отецъ и мачеха; аллегорія ясна; кто не знаетъ, какъ суровы бываютъ мачехи къ пасынкамъ, говорилъ онъ впослѣдствіи [1]).

Мальчика отдали въ школу; позднѣе онъ вспоминалъ, какъ его, еще совсѣмъ ребенка, неудержимо влекло къ поэзіи. «Хорошо помню, что мнѣ не было еще и семи лѣтъ, никакія поэтическія произведенія не попадались мнѣ на глаза, никакихъ ученыхъ я еще не слушалъ, едва познакомился съ первыми началами грамотности, а у меня по природному побужденію уже было желаніе творить, и я написалъ нѣсколько поэтическихъ произведеній, хотя и ничтожныхъ, ибо въ столь нѣжномъ возрастѣ на такое дѣло не хватало духовныхъ силъ. Тѣмъ не менѣе, когда я уже почти созрѣлъ и сталъ самостоятельнымъ, мой умъ взялъ свое, самъ собою, никѣмъ не побуждаемый и не научаемый, не смотря на препятствія со стороны отца, осуждавшаго такое занятіе, потому, говорилъ онъ, что я мало смыслю въ поэзіи. И я увлекся ею съ величайшею жадностью, съ особымъ удовольствіемъ искалъ и читалъ сочиненія ея авторовъ, и, на сколько могъ, старался ихъ уразумѣть. Удивительное дѣло! Я еще не понималъ, изъ какихъ и сколькихъ стопъ слагается стихъ, а всѣ извѣстные поэты прозвали и меня поэтомъ, хотя я усиленно того отрицался, да и теперь поэтомъ не сталъ. Я не сомнѣваюсь, что еслибъ отецъ отнесся къ тому правильнѣе, пока мой возрастъ былъ способнѣе, я сталъ бы, пожалуй, однимъ изъ знаменитыхъ поэтовъ; но мой умъ старались обратить сначала на прибыльное занятіе, затѣмъ на прибыльную науку, оттого и вышло, что я не купецъ, не сталъ и канонистомъ и упустилъ возможность сдѣлаться выдающимся поэтомъ» [2]).

Подъ прибыльнымъ занятіемъ или искусствомъ Боккаччьо разумѣетъ торговлю: отецъ взялъ его изъ школы и отдалъ въ науку къ «состоятельному купцу» (maximo mercatori, ib.), т. е.

1) Fiammetta 120.

2) Gen. Deor. XV, 10.

пристроилъ, вѣроятно, къ дому Барди, чтобы пріучить его съ малыхъ лѣтъ къ коммерческому дѣлу. По разсчету, выходящему изъ показаній самого Боккаччьо, это могло быть въ 1326 году; но къ торговлѣ онъ не ощущалъ никакой склонности; и онъ не прочь былъ-бы отъ наживы, еслибы ее можно было помирить съ честью, говоритъ онъ въ Любовномъ Видѣніи [1]); правда, поэзія не даетъ богатства, но она ведетъ къ небу [2]), тогда какъ купецкая наука сводится къ барышу и обману [3]). На противорѣчіи стремленій къ богатству и поэзіи построена вся XIII-ая эклога.

Сознательно эти противорѣчія практической карьеры и поэтическихъ вожделѣній могли представиться Боккаччьо лишь позднѣе; онѣ то и освѣжили его дѣтскія воспоминанія. Не слѣдуетъ упускать изъ виду эту ретроспективность: что въ дѣтствѣ ощущалось, какъ неохота и отсутствіе интереса, было понято какъ попранное въ самомъ разцвѣтѣ призваніе. Чѣмъ выше становилось для Боккаччьо, особливо подъ вліяніемъ Петрарки, значеніе поэзіи, тѣмъ страстнѣе и полнѣе ощущалъ онъ свои ранніе недочеты, которые приходилось пополнять урывками и случайно. Въ этомъ смыслѣ получаетъ для насъ автобіографическое значеніе его письмо къ одному неназванному другу, писанное имъ изъ Неаполя, въ 1338—9 году [4]): и этого друга воля родныхъ, жадныхъ до золота, увлекла изъ нѣдръ Рахили въ нѣдра Ліи, но дары Юноны (богатство) не въ силахъ были умалить права Паллады: будучи купцомъ, другъ отдался изученію богословія, наукъ квадривія, чтенію Виргилія и Овидія, Лукана и Стація, Саллюстія и Ливія. — Боккаччьо воспитался при сходныхъ условіяхъ, но служеніе поэзіи представилось ему священнымъ дѣломъ, такоюже серьозною цѣлью жизни, какъ всякая другая. Если въ Данте гражданинъ покрывалъ поэта, то періодъ гуманизма ярче обособилъ званіе литератора и, обогативъ содержательно идеалъ поэ-

1) Am. Vis. c. XIV, стр. 59—60.
2) Gen. Deor., XIV, 4.
3) Corbaccio 184—5.
4) Corazzini стр. 458: Sacrae famis.

зіи, поднялъ ея культъ, какъ особаго подвига и дѣятельности, заслуживающей признанія. Оттуда самосознаніе Петрарки и Боккаччьо; только въ фантазіи послѣдняго, склонной къ шаржу, и этотъ идеалъ и чувство несоразмѣрности своихъ силъ обострились до крайности; оттуда у него чередованіе горделивыхъ восторговъ и упадковъ духа.

30 Іюля 1326 года вступилъ во Флоренцію съ блестящей свитой французской знати Карлъ, герцогъ Калабрійскій, сынъ неаполитанскаго короля Роберта. Гвельфская республика искала опоры въ самомъ могущественномъ гвельфскомъ властителѣ Италіи: въ теченіи восьми съ половиною лѣтъ она предоставила Роберту синьорію надъ городомъ, теперь она призывала къ той-же власти его сына. Въ его окруженіи являются старые поставщики и банкиры анжуйскаго двора, флорентійскія купеческія семьи Аччьяйоли, Перуцци, Барди; они снабжали его деньгами, онъ раздавалъ имъ общественныя должности: одинъ изъ Аччьяйоли сдѣланъ былъ гонфалоньеромъ; отецъ Боккаччьо, вѣроятно по связямъ съ домомъ Барди, назначенъ въ февралѣ 1327 года совѣтникомъ департамента торговли (officium mercantie), вѣдавшаго банкротства и дѣла возникавшія между цехами [1]).

27-го декабря того-же года герцогъ выѣхалъ изъ Флоренціи; отецъ Боккаччьо покинулъ ее, вѣроятно, еще раньше, потому что уже 12 января 1328 года онъ находился въ неаполитанской области вмѣстѣ съ другими общниками торговыхъ домовъ Барди, Перуцци и Аччьяйоли. Имъ предоставлено было, въ уплату ихъ ссудъ анжуйскому двору, собрать субсидію, наложенную на населеніе для военныхъ цѣлей и доставленія средствъ на обратную поѣздку герцога калабрійскаго. Оказывается, что работая для дома Барди, отецъ Боккаччьо велъ и свои собственные обороты, ибо онъ значится въ числѣ заимодавцевъ двора; нѣсколько позже

1) Сл. для слѣдующаго De Blasiis, La dimora di Giovanni Boccaccio a Napoli въ Archivio storico per le provincie napoletane, anno XVII, fasc. II, стр. 504 слѣд.

онъ является однимъ изъ поставщиковъ герцогскаго войска, стоявшаго на границахъ Абруццъ.

Легко предположить, что, уѣзжая по дѣламъ, старикъ Боккаччьо взялъ съ собою и сына. Взиманіе налоговъ, поставка въ армію, сбытъ хлѣба — все это требовало частыхъ разъѣздовъ, въ которыхъ юный Боккаччьо могъ сопровождать отца, набираясь бытовыхъ впечатлѣній; его новеллы [1]) и Генеалогіи [2]) полны воспоминаній о бродящей жизни купца, вѣчно озабоченнаго, тревожнаго, потому что на дорогахъ разбойничаютъ, особливо на горномъ пути, который велъ изъ Тосканы къ границамъ Кампаніи и по которому Боккаччьо заставляетъ возвращаться своего Филоколо [3]). Опасностей было много, но бывали и моменты поэзіи, пріятныя неожиданности, когда на ограбленнаго путника неожиданно спускалась любовная помощь св. Юліана. На морѣ его сторожили корсары изъ Монако, въ приморскихъ городахъ своя-же братья купцы, проводили ловкія гетеры; его обманывали, обирали, но онъ и самъ становился изворотливымъ и въ свою очередь проводилъ, заставляя говорить о себѣ: у кого съ тосканцемъ дѣло, то такова ихъ злоба, что не слѣдуетъ плошать, а смотрѣть въ оба» [4]).

Такъ прошло шесть лѣтъ торговой выучки [5]) до 1331 года, когда отецъ Боккаччьо окончательно выѣхалъ изъ Неаполя. Убѣдившись, что изъ сына купца не сдѣлаешь, онъ рѣшился на уступку наукѣ, но наукѣ прибыльной, которая обезпечивала-бы карьеру. Таковой представлялось тогда каноническое право, открывавшее доступъ къ доходнымъ, церковнымъ должностямъ. И вотъ Боккаччьо становится канонистомъ противъ воли: еще около шести лѣтъ онъ проводитъ въ непроизводительномъ изученіи права у какого-то знаменитаго профессора [6]). Кого онъ ра-

1) Дек. I, 2, 5, 9; II, 3, 4; VIII, 10.
2) VII, 36.
3) Filocolo II, 276; сл. De Blasiis, l. c. стр. 514, прим. 1.
4) Дек. VIII, 10.
5) Gen. Deor. XV, 10: sex annis.
6) Sub praeceptore clarissimo fere tantundem temporis.

зумѣетъ, мы не знаемъ; извѣстный легистъ и поэтъ, другъ Данте, Чино изъ Пистойи, вызванный королемъ Робертомъ на каѳедру права въ 1330-мъ году, оставилъ ее въ томъ-же году вслѣдствіе непріятностей, объясняющихъ его ожесточенную сирвентезу противъ Неаполя, а судя по тому, что въ пору затѣи Филоколо въ 1338 году Боккаччьо еще продолжалъ изучать каноническую мудрость, начало его шестилѣтнихъ занятій восходитъ къ 1332 году. Къ нимъ онъ чувствовалъ такое-же отвращеніе, какъ Петрарка; оттуда его ярыя выходки противъ легистовъ, не древнихъ, а современныхъ: тѣ были люди степенные, полные древней мудрости, эти считаютъ излишними общіе философскіе вопросы, на которыхъ зиждется правосудіе и преуспѣяніе нравственности; имъ лишь-бы нагрѣть руки (quibus unctae sunt manus) — и да здравствуетъ Италія (Italorum respublica), гдѣ въ судахъ царитъ распутство и стяжаніе, рѣшенія подсказываютъ ложь и обманъ![1]). — И здѣсь знакомое намъ противоположеніе практической и поэтической дѣятельности, наживы и чистаго служенія наукѣ, не то принципіальное недовѣріе къ традиціонному праву, къ которому приведетъ впослѣдствіи развитіе критическаго самосознанія.

Въ Неаполѣ, по отъѣздѣ отца, Боккаччьо должно было житься свободнѣе, новая спеціальность вводила его, такъ или иначе, въ кругъ научныхъ интересовъ, которые онъ старался расширить въ любимомъ направленіи; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ нашелъ доступъ въ общество, болѣе блестящее и рельефное, чѣмъ флорентійское. Подъ голубымъ небомъ Неаполя древность возставала передъ нимъ осязательно: его первыя письма датированы «у гробницы Виргилія»; еще шагъ — и эта древность оживетъ не только во внѣшнемъ классическомъ аппаратѣ его перваго романа, но и въ изящныхъ образахъ его юношеской лирики. Боккаччьо пріѣхалъ въ Неаполь 14-тилѣтнимъ подросткомъ и провелъ тамъ лучшіе годы юности, когда слагается человѣкъ и

1) De Cas. III, 10; сл. De Clar. Mul. c. 56; Gen. Deor. XIV, c. 4; сл. письмо къ Франческо да Броссано у Corazzini, стр. 383.

опредѣляется его нравственный и культурный обликъ. Намъ хотѣлось бы знать, какія силы и задатки принесъ онъ съ собою. Современники (Филиппо Виллани) [1]) изображаютъ его уже зрѣлымъ, онъ и самъ подсказываетъ нѣкоторыя черты: онъ былъ высокаго роста, позднѣе рыхлый и дебелый [2]); круглолицый, съ носомъ, нѣсколько приплюснутымъ на линіи ноздрей, темными волосами [3]), полными, хорошо очерченными губами и ямкой на подбородкѣ, на которую пріятно было смотрѣть, когда онъ смѣялся; при этомъ веселый, острякъ и говорунъ, хотя онъ нѣсколько и шепелявилъ [4]). Физіономическій типъ указываетъ на влюбчивую, страстную натуру; мы уже отмѣтили складку его характера, отчасти опредѣленную обстоятельствами его ранней юности: способность къ крайнимъ настроеніямъ, подъемамъ и упадкамъ духа, приливы энергіи и безпечной лѣни. Онъ самъ обвиняетъ себя въ ignavia [5]), и его упрекаютъ въ излишней любви къ покою [6]); когда на него находилъ моментъ самоуничиженія, онъ не щадилъ себя: я нищъ и убогъ, говорилъ онъ тогда, грубъ и уродливъ, малодушенъ и сварливъ; я—косноязычный, грязный Діоней (т. е. любострастный, Діонея = Венера), даже косоглазый, что̀, по его собственному убѣжденію, признакъ злобнаго духа [7]). Эти самообличенія, встрѣчающіяся уже въ одномъ изъ раннихъ его писемъ отъ 1338—39 года (къ какому-то анониму, военному человѣку), эти противорѣчія настроенія рисуютъ передъ нами цѣлый психологическій типъ. Люди такого рода сензитивны: они могутъ быть мнительны, обидчивы и — задорны, робки и самонадѣянны, у нихъ

1) Сл. латинскій текстъ его жизнеописанія Боккачьо въ изданіи Moutier (Opere volgari di G. B., v. XVI, стр. 26—30), итальянскій въ Croniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani, Trieste, 1858, т. II, стр. 442 слѣд.

2) Сл. Petrarca, Sen. VI, 1; письмо Боккачьо къ Петраркѣ отъ 1367 года у Corazzini, стр. 125; къ Пиццинги, l. c. стр. 190; письмо Салутати у Novati, Epistolario di Coluccio Salutati, v. I, l. III, № 25.

3) Corbaccio, стр. 243.

4) Эклога XIII.

5) De Cas. VII, c. 1; VIII, c. 1.

6) Письмо къ Заноби да Страда отъ 1353 года у Corazzini, стр. 33 слѣд.

7) Comm. di Giov. Boccacci sopra la Commedia, ed. Milanesi, v. II, стр. 56.

не достаетъ въ жизни тѣхъ примиряющихъ тѣней, которыя позволяли бы имъ устроиться практически; они неудачники, и эти неудачи, вытекающія изъ характера, снова вливаются въ него, усиливая его тонъ. Такимъ представляется намъ впослѣдствіи Боккаччьо. Жизненнаго опыта и знанія онъ могъ привезть съ собою немного; то и другое далъ ему Неаполь.

II.

Культурная жизнь Неаполя и южной Италіи сложилась при особыхъ условіяхъ, нигдѣ не повторявшихся въ такомъ смѣшеніи; нигдѣ, какъ здѣсь, такъ ярко не сказалась живучесть латинскаго начала, осилившаго рядъ инородныхъ теченій, образовательныхъ и этническихъ, явившихся на смѣну одно другому. Эллинскія основы древней «Великой Греціи» издавна поглощены были Римомъ: именно на когда-то греческомъ югѣ Италіи сложились поэтическія легенды о Виргиліи въ Неаполѣ, какъ объ Овидіи въ Сульмонѣ, пережившія средніе вѣка и ставшія народнымъ достояніемъ. На этой уже глубоко романизованной почвѣ являются другъ за другомъ двѣ новыя народности: византійцы Юстиньяна (552) и лангобарды (568); первые главнымъ образомъ въ городахъ по побережью, вторые внутри страны, гдѣ долго сохраняютъ свое общинно-родовое устройство; но и они быстро проникаются чувствомъ новой осѣдлости, сознаніемъ итальянскаго туземства: своихъ враговъ, побережныхъ византійцевъ, они зовутъ греками, начинаютъ лелѣять идеалъ Рима и архіепископъ Пандульфъ освящаетъ свою новую Капую изреченіемъ въ античномъ вкусѣ: какъ древняя Капуя была вторымъ городомъ міра послѣ Рима, такъ пусть новая будетъ первымъ. Съ теченіемъ времени враждебныя отношенія двухъ пришлыхъ народностей сглаживаются: лангобарды входятъ въ кругъ греческаго вліянія, воспринимая и отдавая вмѣстѣ; лангобардское право вліяетъ на городское византійское, наоборотъ, лангобарды становятся носителями греческой науки. Герцогъ Арихисъ обстраиваетъ Бе-

невентъ по образу Царьграда, онъ и его сынъ славились своимъ знаніемъ древней философіи; при его дворѣ жилъ, какъ политическій дѣятель и исторіографъ, лангобардъ Павелъ Варнефридъ, извѣстный Павелъ дьяконъ, вызванный Карломъ Великимъ за свои познанія въ греческомъ языкѣ. Въ половинѣ IX-го вѣка до двухъ сотъ тридцати философовъ, т. е. свѣтскихъ учителей, насчитывалось въ Беневентѣ, гдѣ два столѣтія спустя папа Левъ IX, находясь въ плѣну у норманновъ, хотѣлъ воспользоваться случаемъ, чтобы научиться по гречески, тогда какъ лангобардъ Гаріопонтъ поддерживаетъ въ Салерно преданіе греческой медицины: его Passionarius — обработка Галена.

Важнѣе прослѣдить судьбы греческаго населенія южной Италіи и Сициліи [1]). Оно приращалось постепенно: въ первой половинѣ VII вѣка — въ Сициліи эмиграціей изъ византійскихъ областей, опустошенныхъ персами и арабами, въ IX—X вѣкахъ бѣглецами изъ Сициліи въ Калабрію отъ арабскаго погрома. Такъ образовались въ южной Италіи густо населенные греческіе этническіе острова, и народность и общество, соединенныя однимъ языкомъ и вѣроисповѣданіемъ и культурной традиціей, выразителями которой были монастыри. Разцвѣтъ этой культуры обнимаетъ періодъ отъ второй половины IX до второй половины X вѣка; но онъ продолжается и позже, въ эпоху норманновъ, старавшихся, изъ политическихъ цѣлей, сохранить рознь подчиненныхъ имъ народностей. Основаніе важнѣйшихъ греческихъ обителей въ южной Италіи относится къ XII-му вѣку. Ихъ исторія — это исторіи южно-итальянскаго эллинизма. У нихъ былъ свой героическій періодъ, періодъ анахоретовъ-пещерниковъ, предпочитавшихъ созерцаніе грамотности, и періодъ устроенныхъ обще-

1) Къ вопросу объ эллинизаціи южной Италіи сл. Battifol, L'abbaye de Rossano. Paris, 1891, съ указанной тамъ литературой, и житія греко-итальянскихъ святыхъ; о переводческой дѣятельности сл. обзоръ Hartwig'a, Die Uebersetzungslitteratur Unteritaliens in der normannisch-staufischen Periode (Leipzig, 1886); нѣсколько хорошенькихъ этюдовъ у Gothein'a, Die Culturentwickelung Süditaliens (Breslau, 1886), особливо стр. 41 слѣд.: Der Erzengel Michael, der volksheilige der Langobarden.

житій съ школами писцовъ, библіотеками и литературной дѣятельностью. И религіозная и интеллектуальная жизнь питалась Византіей, подчиненіе греко-итальянскихъ церквей константинопольской со времени Льва Исавра указывало пути въ Константинополь, въ школы Солуня, на Аѳонъ съ его калабрійскимъ и амальфійскимъ монастырями. Въ Грецію ходилъ Илья Новый и Илья пещерникъ, оттуда является въ Италію юродивый Николай перегринъ; греко-итальянскіе отшельники были учителями знаменитаго аббата Іоахима; его соціально-мистическое ученіе, волновавшее римскую церковь въ теченіи XIII—XIV столѣтій, говорило о чистотѣ греческой, какъ болѣе способной къ обновленію. Самъ Іоахимъ нѣсколько разъ бывалъ въ Греціи, іохимитъ Іоаннъ Пармскій подолгу живалъ тамъ, туда-же удаляются, гонимые Бонифаціемъ VIII-мъ, нищіе отшельники папы Целестина, поэтомъ которыхъ былъ Джакопоне изъ Тоди.

Не эти лишь религіозныя отношенія объясняютъ нашъ интересъ къ южно-итальянскому византійству. Монастыри давали не однихъ подвижниковъ и святовидцевъ, они блюли и преданія науки. Григорій Агригентскій, Петръ Сикулъ, Іосифъ гимнографъ, риторъ Іоаннъ Доксопатръ принадлежатъ сицилійскому эллинизму, дѣятельность извѣстнаго проповѣдника Ѳеофана Керамевса (XII в.) связана съ Россано, главнымъ монастырскимъ центромъ Калабріи, поэтъ Нектарій († 1235) былъ настоятелемъ обители св. Николая de Cadulis въ Отрантской области; но уже объ аббатѣ Проклѣ (X-го вѣка) говорится, что его сердце было сокровищницей какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ знаній; списатель житія св. Филарета калабрійскаго пишетъ восторженныя похвалы Сициліи, поминая древнюю славу ея поэтовъ и философовъ; авторъ жизнеописанія св. Ильи младшаго заставляетъ святого указывать на примѣры воздержанія Эпаминонда и Сципіона и восклицаетъ по поводу одного изъ чудесъ: что въ сравненіи съ нимъ лидійская колесница, что аргивскій Пегазъ?—Внѣ монастырей литературная продуктивность сказывалась въ Маркѣ отрантскомъ, мелодѣ VIII-го вѣка, въ грамматикѣ Іоаннѣ изъ

Отранта и хартофилаксѣ Георгіи изъ Галлиполи, воспѣвавшихъ дѣянія Фридриха II.

Международное положеніе южно-итальянскаго эллинизма, его связи съ Константинополемъ и Римомъ, опредѣлили то теченіе, по которому проникали въ Италію преданія византійскаго искусства, на западъ обрывки греческой литературы въ рукописяхъ и переводахъ. Въ Бамбергѣ хранится библіотека южно-итальянскаго грека Іоанна Филагата, бывшаго учителемъ Оттона III; въ XIII-мъ вѣкѣ за греческими книгами и знатоками греческаго языка посылали въ Италію, гдѣ «во многихъ областяхъ клиръ и народъ — греки», пишетъ Рожеръ Бэконъ (Compendium studii philosophiae), какъ и старый французскій хроникеръ утверждаетъ для того-же періода, что въ Калабріи и въ Апуліи крестьяне говорили только по гречески [1]). Свѣдѣнія о другой библіотекѣ раскрываютъ намъ любопытный фактъ литературнаго общенія между Византіей и западомъ. По смерти своей благочестивой супруги, римской сенаторши Ѳеодоры, герцогъ Неаполя, Іоаннъ, пожелалъ собрать свѣдѣнія о всѣхъ сочиненіяхъ, обрѣтавшихся въ подвластной ему области, привести ихъ въ порядокъ, исправить и списать на ново. Прежде всего обращено было вниманіе на Ветхій и Новый Завѣтъ и сочиненія церковныя, затѣмъ на историковъ и хронографовъ, Іосифа Флавія — и Ливія, Діонисія Ареопагита и многихъ другихъ. Тогда-то герцогъ вспомнилъ объ архипресвитерѣ Львѣ, ѣздившемъ въ 40-хъ годахъ X-го вѣка посломъ въ Константинополь, и побудилъ его перевести на латинскій языкъ найденную имъ тамъ особую редакцію Псевдокаллисѳенова романа объ Александрѣ Македонскомъ. Самъ переводчикъ разсказалъ намъ исторію этого труда въ предисловіи къ своей Historia de praeliis, ставшей главнымъ источникомъ западно-европейскихъ Александрій. Такимъ путемъ, черезъ южную Италію, могли переходить на западъ

1) P. Meyer, Les prémières compilations françaises d'histoire ancienne, въ Romania № 53, стр. 70, прим.

многія произведенія византійской письменности и словесности, свѣтской и духовной: романъ о Семи мудрецахъ, легенда о Варлаамѣ и Іосафатѣ; житія: Маріи Египетской, переведенное неаполитанскимъ дьякономъ Павломъ для Карла Лысаго; св. Алексѣя угодника и св. Николая, св. Катерины Александрійской и Ареѳы, св. Георгія и Христофора. Малоазіатская легенда о чудѣ архангела Михаила въ Хонахъ уже въ VII-мъ вѣкѣ пріурочена въ Апуліи къ Monte Gargano и отсюда распространяется далѣе: норманны переносятъ ее на сѣверъ Франціи, на Mont St. Michel. Въ итальянской легендѣ Гарганъ, эпонимъ горы, является крестьяниномъ, играющимъ нѣсколько случайную роль; въ одномъ старо-французскомъ романѣ (Florimont), написанномъ въ 1188 году и знакомомъ съ греко-итальянскими отношеніями, Гарганей — чудовищный гигантъ, съ которымъ бьется у подошвы каменной горы герой разсказа, Флоримонъ. Греческая легенда объ архистратигѣ могла пріурочиться къ какимъ нибудь мѣстнымъ воспоминаніямъ, освященнымъ латинскимъ классическимъ именемъ. Это такое-же показаніе греко-латинскаго общенія, какъ неаполитанская легенда о Виргиліи, вливаяся въ формы легенды о магѣ Геліодорѣ, тогда какъ на Прочидѣ, въ день св. Михаила, женщины до сихъ поръ являются въ традиціонномъ костюмѣ, за которымъ удержалось названіе — греческаго.

Въ XIV вѣкѣ жизненность южно-итальянскаго эллинизма, существованіе котораго можно прослѣдить до XVI—XVII вѣковъ, уже ослабѣла; онъ вливается въ итальянское русло, но традиція и привлекательность культурнаго элемента за нимъ еще осталась. Петрарка пишетъ къ Гуго да Санъ-Северино (Sen. XI, 9), рекомендуя ему одного юношу, отправлявшагося по его совѣту въ Калабрію: онъ хотѣлъ было прямо поѣхать въ Константинополь, «но узнавъ, что Греція, когда-то изобиловавшая великими талантами, нынѣ ими обѣднѣла, повѣрилъ моимъ словамъ...; услышавъ отъ меня, что въ Калабріи въ наши времена было нѣсколько людей, ученѣйшихъ въ греческой литературѣ,... онъ рѣшился направиться

туда». Въ Калабріи, въ монастырѣ св. Филарета, возлѣ Семинары, воспитался и Варлаамъ, своеобразный типъ греко-итальянскаго литерата, наставленіями котораго, если и не личными, пользовался Боккаччьо. Нѣсколько новогреческихъ фразъ, встрѣчающихся въ Dittamondo его современника, Фаціо дельи Уберти, подслушаны имъ, быть можетъ, у какого-нибудь южнаго греко-итальянца; раннее знакомство самого Боккаччьо съ греческимъ языкомъ, обнаруживающееся уже въ первыхъ его трудахъ, могло быть практическое, отрывочное и неглубокое, путавшееся въ этимологіяхъ, указывающихъ, что онъ прислушался къ живому, новогреческому говору: Lia = leia, Lipi = lype, Juppiter graece dicitur Zephs (Gen. Deor. I, 3). Если многаго онъ и не понималъ въ чтеніи и бесѣдѣ, то къ его услугамъ всегда нашлись бы греки, владѣвшіе итальянскимъ языкомъ и византійскимъ образованіемъ: graeculi въ услуженіи Катерины de Courtenay, явившіеся изъ Греціи съ Аччьяйоли; итальянцы на службѣ у лузиньяновъ на Кипрѣ. Такъ могла быть ему разсказана новелла о Чимоне (Декамеронъ V, 1), будто бы изъ «кипрійскихъ исторій»; въ Novellino (LI = Дек. I, 9) есть разсказъ о королѣ Кипра, вѣроятно, изъ такого-же устнаго источника.

Матеріалъ гуманистическаго образованія, на сколько онъ обусловленъ содержаніемъ греческой древности, былъ такимъ образомъ на лицо, не въ однихъ только неизвѣданныхъ пока сокровищахъ библіотекъ, но въ живомъ употребленіи языка, въ литературныхъ и художественныхъ мотивахъ, обогащавшихъ фантазію и формы искусства, въ отголоскахъ греческой науки. Все, что принималось, уходило безъ остатка въ образованіе новой культурно-этнической особи, и все это объявится снова, съ инымъ значеніемъ, когда въ самосознаніи образованнаго итальянца окрѣпнутъ латинскія начала и объективный интересъ къ эллинизму зародится въ перспективѣ собственнаго классическаго прошлаго.

III.

Наканунѣ норманскаго завоеванія, на почвѣ, гдѣ лангобарды и греки осѣлись среди латинской расы, уже сложилось, послѣ треній и борьбы, чувство народнаго самосознанія, общаго очага. Въ концѣ XI вѣка архіепископомъ Салерно былъ Альфанъ († 1085), изъ именитаго лангобардскаго рода: онъ перевелъ трактатъ Немесія «о природѣ человѣка», хотя и жалуется на одного монаха за то, что тотъ предпочитаетъ хитрыя ереси Аристотеля и Платона исполненію своихъ иноческихъ обязанностей. Онъ хорошій латинскій поэтъ, знаетъ классиковъ — и проникнутъ сознаніемъ новой народности, въ которой лангобардское чувство растворилось безслѣдно: когда въ 1077 году Робертъ Гвиснаръ взялъ, послѣ долгой осады, Салерно, онъ горячо протестуетъ — противъ новыхъ германскихъ варваровъ.

Норманны явились какъ-бы за тѣмъ, чтобы крѣпче сплотить это нарождавшееся самосознаніе, давъ ему центръ и единство династіи. Не народность, а военная дружина, собиратели земли и политики, они дали итальянскому югу болѣе прочную организацію и, отнявъ Сицилію у арабовъ, ввели его въ кругъ новыхъ образовательныхъ вѣяній. Изъ Франціи они принесли феодальный строй и эпическія пѣсни; чуткіе, какъ всякая молодая раса, къ откровеніямъ культуры, они быстро проникаются интересами новой среды: при дворѣ въ Палермо труверы и трубадуры чередовались съ учеными греками, стихотворцами, вродѣ Евгенія, воспѣвавшаго въ политическихъ стихахъ красоты Палермо, представителями латинской науки и арабскими поэтами. Какъ при всякомъ скрещиваніи неравномѣрныхъ культуръ эти смѣшенія вели къ внѣшней черезполосицѣ міросозерцанія и нравственныхъ понятій; такъ въ соборѣ въ Monreale причудливо соединяются колонны базилики съ византійской иконописью и восточнымъ орнаментомъ. Рожеръ II интересуется географическими работами Эдризи, охотно прислушивается къ мусульманскимъ богословамъ и вѣритъ въ Виргилія мага; его зовутъ языч-

никомъ; канцлеръ Вильгельма I Аристиппъ переводитъ Платоновскаго Менона и Федона, и отъ него ожидаютъ переводовъ твореній Григорія Назіанзина и Діогена Лаэрція; при дворѣ Вильгельма II господствуетъ французскій языкъ, но онъ самъ говоритъ и читаетъ по арабски, и ему прислуживаютъ евнухи. Жизнь устраивается на арабскій образецъ: усвоивается ея болѣе утонченный обиходъ, фантастическія линіи арабской архитектуры, но вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣе раціональные взгляды на источники народнаго богатства и задачи администраціи, — и арабская наука, сохранившая заглохшія преданія греческой. Рядомъ съ переводами съ греческаго языка, починъ которыхъ древнѣе, появляются переводы съ арабскаго; источники знанія мѣняются: въ Салерно начинаютъ руководиться новой переводной литературой — и Европа знакомится съ арабскимъ Аристотелемъ, водвореннымъ въ итальянскихъ университетахъ Фридрихомъ II. Можетъ быть, тѣмъ-же путемъ и такимъ-же посредствомъ проникали въ литературный оборотъ запада восточные сказочные мотивы: въ 1263-мъ году Іоаннъ изъ Капуи, крещеный еврей, перевелъ съ еврейскаго арабскій сборникъ Калила-ва-Димна; сюжетъ изъ сказокъ 1001-й ночи встрѣчается у одного итальянскаго разсказщика XIV вѣка, Серкамби; отъ Митридана въ новеллѣ у Боккаччьо (Декамеронъ X, 3) положительно вѣетъ востокомъ, къ которому относятъ насъ и такія имена, какъ Алатіэль и Алибекъ.

Это накопленіе образовательныхъ элементовъ должно было сказаться въ сферахъ, доступныхъ ихъ вліянію, сильнымъ броженіемъ освободительной, критической мысли. Тѣмъ и другимъ пользуется Фридрихъ II: онъ организуетъ норманнское наслѣдіе въ пользу имперской власти. Свободную переводческую дѣятельность прежней поры онъ замѣняетъ заказной: у него оффиціальные, придворные переводчики; окружнымъ посланіемъ 1232 года онъ также оффиціально вводитъ въ латинскихъ переводахъ арабскаго Аристотеля; онъ не грубый, полувѣрно-равнодушный язычникъ, какъ Рожеръ II: глубокія

вопросы философскаго и религіознаго сомнѣнія запали ему въ душу, онъ переписывается о нихъ съ арабскимъ ученымъ Ибнъ-Сабиномъ, но въ борьбѣ съ папами его власть представляется ему чуть-не эманаціей божества, онъ — пророкъ Илія, избавляющій Израиля отъ лжепророковъ Ваала, Іези, гдѣ онъ родился, второй Виѳлеемъ; его идеалъ — идеалъ христіанскаго калифата, но его золотые августалы обличаютъ вкусъ антика, незнакомый сѣвернымъ художникамъ. При его дворѣ мы встрѣчаемъ сирійскихъ альмей, у него есть гаремъ въ Луцерѣ — и вмѣстѣ съ тѣмъ вокругъ него собираются поэты, подражатели трубадуровъ, впервые запѣвшіе на итальянскомъ языкѣ. Это было литературное проявленіе итальянскаго самосознанія, Фридрихъ II участвуетъ въ его организаціи — и самъ слагаетъ пѣсни превыспренной любви. Центръ былъ найденъ: при его дворѣ, куда потянули поэты изъ другихъ мѣстностей Италіи, зародилась итальянская лирика.

Когда на смѣну Гогенштауфеновъ явилась въ Неаполѣ французская династія Анжу̀, общество на столько сплотилось, что выдержало напоръ новой культуры, ограничившейся придворными и феодальными кружками. Замолкла на время только что поднявшаяся итальянская поэзія, для нея не было центра: при дворѣ должны были интересоваться французской и провансальской модой, искусствомъ и литературой; Perrin d'Angecort, одинъ изъ придворныхъ Карла I-го, слагаетъ пастурель о Robin et Marion, въ свитѣ Роберта II-го, графа д'Артуа, прибывшаго на помощь королю послѣ погрома «Сициліанскихъ вечерень», мы встрѣчаемъ аррасскаго трувера Adans de la Halle: въ Неаполѣ, вѣроятно, разыграна была въ 1283 году его прелестная Jeu de Robin et Marion; по смерти Карла I (1285) онъ пишетъ о немъ поэму, онъ и умеръ (до 1288 года) въ Неаполѣ, гдѣ показывали его гробницу. Вліяніе двора несомнѣнно обновило вкусъ къ матерьялу французскаго эпоса, который занесли норманны и поддерживали захожіе народные пѣвцы, распѣвавшіе про «королевичей Франціи»; въ то время, какъ Гвидо делле Колонне

изъ Мессины педантически пересказывалъ (въ 1272—87 годахъ) латинской прозой, будто серьозную исторію, Roman de Troie Benoît de St. Maure, другіе сюжеты спускались на площадь; такъ прелестный романъ о Floire и Blanceflor, сохранившій намъ содержаніе какого-то утраченнаго византійскаго, сталъ итальянской народной поэмой, которую въ пору Боккачьо сказывали въ неаполитанскихъ кружкахъ.

И эти французскія вліянія постепенно поглощены были итальянской средой. Въ XV вѣкѣ, при аррагонцахъ, анжуйская династія ощущается какъ своя, національная, къ ней питаютъ лойяльныя чувства, но уже къ концу царствованія Карла II французскій элементъ рѣдѣетъ въ придворныхъ кружкахъ, вмѣсто того показываются итальянскіе имена, между ними много флорентійскихъ, не родовитыхъ. Политическія связи съ Флоренціей упрочивались финансовою зависимостью анжуйскаго двора отъ флорентійскихъ банкировъ, отъ такихъ торговыхъ домовъ, каковы Барди, Аччьяйоли, Перуцци, Фрескобальди, Буондельмонти, Скали и др. Не только южно-итальянская торговля переходитъ въ ихъ руки, но они являются и въ должностяхъ: они королевскіе казначеи, плательщики, сборщики и откупщики податей, бьютъ монету, получаютъ угодья и рыцарское званіе, управляютъ провинціями, играютъ роль при дворѣ и вліяютъ на политику. За ними потянулась въ Неаполь цѣлая колонія флорентійцевъ: купцы, ремесленники, переписчики рукописей, профессора, художники, скоморохи. Все это приготовило литературное вліяніе Тосканы и объясняетъ въ юношескихъ произведеніяхъ Боккачьо пристрастіе къ французскимъ сюжетамъ и законченность итальянской рѣчи.

IV.

Послѣ Фридриха II и сына его Манфреда, на которыхъ какъ бы лежитъ печать новаго времени, первые Анжу̀ отзываются чѣмъ то болѣе средневѣковымъ, архаичнымъ, отсталымъ

по отношенію къ окружавшему ихъ обществу [1]). Карлъ I-й, мрачный, чуждается веселья, жонглеровъ и менестрелей, погруженъ въ страхи и честолюбивые планы, обнимавшіе, вмѣстѣ съ отторженной Сициліей, и Константинополь и Тунисъ; онъ умный администраторъ, не гнушавшійся крутыми средствами, лишь бы упрочить свой родъ. Карлъ II, по крайней мѣрѣ въ первую половину своей жизни, святоша и строитель церквей. Литературное преданіе предыдущаго періода держится и при нихъ: тѣ-же переводчики съ арабскаго и греческаго, вродѣ Павла Неофида и Никколо изъ Реджьо, справщики, миніатюристы; переводятся, главнымъ образомъ, медицинскія труды. Оба короля великіе строители: въ ихъ рукахъ поднимается, обстраиваясь съ каждымъ поколѣніемъ, дворецъ Кастельнуово, гдѣ пребываетъ дворъ, а вокругъ него выростаетъ, рядомъ съ старымъ Неаполемъ, съ его грязью и стѣнами, монастырями и переулками, новый просторный городъ дворцовъ, съ широкими садами и улицами и новымъ портомъ: аристократическій кварталъ, средоточіе политической и элегантной жизни, въ которомъ пришлось вращаться Боккаччьо.

Когда онъ пріѣхалъ въ Неаполь, тамъ царствовалъ (съ 1309 г.) король Робертъ; онъ стоитъ уже въ сферѣ Боккачьо и съ нимъ стоитъ ближе познакомиться.

Робертъ извѣстенъ намъ въ двоякой оцѣнкѣ современниковъ и ближайшаго къ нему поколѣнія. Панегиристы прозывали его мудрецомъ, источникомъ правосудія, покровителемъ наукъ, божественнымъ; «Тобою, Господи, славный король Робертъ покоряетъ великія царства, расточаетъ свирѣпыхъ япуловъ»,—говоритъ о немъ неизвѣстный авторъ одной латинской поэмы (Liber de Theleutologio); напоенный Тобою, онъ обращаетъ Твои полно-

1) Сл. для слѣдующаго отдѣла: Giuseppe De Blasiis, Le case dei principi Angioini nella piazza di Castelnuovo (Napoli, 1887); Palumbo, Dell'influenza di re Roberto di Angiò nella letteratura italiana (Napoli, 1887); Siragusa, L'ingegno, il sapere e gl'intendimenti di Roberto d'Angiò (Torino-Palermo, 1891); мою статью: Король Книгочій въ Журн. Мин. Нар. Просв. 1891, № 10.

водныя струи въ подвластные Тебѣ народы... и вкушаетъ отъ чаши реторики»[1]). Другіе оттѣняли въ немъ черту скупости, трусости, даже жестокости, смѣялись надъ его учеными вожделѣніями и страстью назидать, которую подчеркнулъ Данте[2]). Петрарка[3]) и Боккачьо стоятъ на сторонѣ панегеристовъ; что бы не говорили о Робертѣ, онъ былъ образованнѣйшій, нравственнѣйшій король, любитель книгъ, умѣвшій покровительствовать достойнымъ людямъ, повторяетъ за ними Бенвенуто изъ Имолы, обращая въ похвалу иронический отзывъ Данте[4]). Петрарка нашелъ даже возможнымъ признать въ Робертѣ «мужество Ромула»[5]), храбрость на войнѣ[6]); но это дѣло реторики; писатели, настроенные болѣе страстно и партійно, взводили на него вину пораженія гвельфской партіи при Монтекатини: Робертъ перенесетъ этотъ уронъ и переваритъ стыдъ, поетъ одна анонимная баллада[7]), а вы гвельфы, сдѣлайте, какъ онъ: покайтесь и простите[8]); ему не править Апуліей, Абруццами и Калабріей, пусть позабудетъ о Провансѣ и востокѣ, а сидитъ себѣ въ Неаполѣ или Аверсѣ или Капуѣ, и сказываетъ свои проповѣди и часы[9]). — Боккачьо намекаетъ именемъ Мидаса[10]) на его скаредность, о которой говорятъ и Данте[11]), и Джьованни Виллани[12]), и Файтинелли[13]), и упомянутая выше баллада; въ общемъ, онъ сохранилъ о немъ лучшія воспоминанія[14]), опредѣлившія отчасти

1) Bandini, Catal. Bibl. laur. I, p. XIII, c. XVI, p. 180.

2) Parad. VIII, 145 слѣд.

3) Ad. post.; Fam. I, 1; IV, 2, 7; V, 1; XII, 7; XXIII, 17; Sen. X, 5; Africa 19—20; Epist. poet. l. I, 1 (къ Барбату), 4 (Dionysio de Burgo Sepulcro S.), 13 (Roberto regi siculo); II, 1, 6—11, 16; Ecl. II, X; Rer. mem. I, i, 8; I, ii, 26; III, iii, 65.

4) Benv. de Imola ed. Lacaita IV, 493.

5) Fam. III, 7.

6) Egregius bello, въ эпитафіи Роберту.

7) Rime di Cino da Pistoia e d'altri ed. Carducci, стр. 606.

8) Folgore da San Geminiano, ed. Navone, XXXII.

9) Pietro Faytinelli, ed. Del Prete, стр. 75.

10) Ameto, стр. 142 и VIII-я эклога.

11) Parad. VIII, 82—3.

12) XII, 9.

13) l. c., стр. 87.

14) Сл. Gen. Deor. XIV, 9 и passim.

его политическія симпатіи: онъ останется навсегда враждебнымъ идеалу римской имперіи германскаго народа, который лелѣялъ Данте, къ которому порой склонялся и Петрарка, и царствованіе Роберта будетъ для него типомъ золотаго вѣка.

Если выдѣлить въ противоположныхъ отзывахъ о королѣ Робертѣ долю страстной оцѣнки партіи, какую приносили съ собою гибеллински-настроенный Данте и гвельфъ Виллани, то причину репутаціи выяснить легко. Ловкій, но мелочный политикъ, Робертъ съумѣлъ воспользоваться гвельфской идеей и поддержкой папъ, и орудуя средствами договора, навязаннаго протектората и казоваго намѣстничества, сталъ самымъ сильнымъ по вліянію гвельфскимъ властителемъ Италіи. Казалось, еще одинъ шагъ, и осуществится идея италіанскаго королевства, которое прогонитъ послѣднія тѣни гибеллинства, покончивъ съ неурядицей городовъ и тиранній. Уже Петрарка называлъ Роберта королемъ Италіи [1]); «пошли къ намъ сына твоего Роберта, вѣнчаннаго на италійское царство», взывалъ къ папѣ Николò деи Росси изъ Тревизо въ одномъ изъ своихъ политическихъ сонетовъ, а авторъ (Convenevole da Prato?) латинской поэмы въ похвалу Роберту (O fulgor regum, rex docte, Roberteque legum) звалъ его царить надъ латинами и міромъ. На это у Роберта не хватало ни широты взгляда, ни мужества, но идея объединенной Италіи носилась въ воздухѣ, озаряя того, отъ кого ждали ея осуществленія.

Робертъ былъ не блестящихъ дарованій, въ юности ему съ трудомъ дались правила грамматики [2]), но онъ взялъ выдержкой и сталъ впослѣдствіи великимъ книгочіемъ средневѣковаго, благодушно-педантскаго пошиба. Молодость, до восемнадцати лѣтъ, онъ провелъ во Франціи и Каталоніи, въ качествѣ заложника, и его школа была, по необходимости, средневѣковая, не итальянская; педантическая складка, кажется, ему прирождена. Онъ любилъ науку, смутно понималъ ея новыя требованія — и выгоды меце-

1) Sen. X, 2; сл. Fam. III, 7.
2) Gen. Deor. l. XIV, c. 9.

натства, но на то и другое тратился въ мѣру: скопидомъ, отъ котораго ожидали расточительности; при всемъ томъ онъ съумѣлъ стяжать и поддержать славу философа, богослова, даже медика, физика и астролога, что̀ совершенно въ духѣ средневѣковой энциклопедіи. Днемъ или ночью, гулялъ онъ или сидѣлъ, книги всегда были при немъ; онъ ихъ дѣятельно собираетъ, покупаетъ у Петра изъ Мантуи хроники Роберта Гвискара, платитъ за экземпляръ «Corpus Juris» до 3500 итальянскихъ лиръ, держитъ переписчиковъ и переводчиковъ съ еврейскаго и арабскаго. Его библіотека, составленная главнымъ образомъ послѣ 1330 года, наполнена сочиненіями богословскаго, аскетическаго, юридическаго и медицинскаго содержанія; изъ классиковъ — Сенека, Ливій «о македонской войнѣ» и, можетъ быть, нѣсколько другихъ. Сборники лирическихъ пьесъ трубадуровъ отвѣчали вкусамъ двора, который могъ любоваться во дворцѣ изображеніями девяти легендарныхъ паладиновъ средневѣковаго романа, вдохновившими какого то безыменнаго стихотворца къ соотвѣтствующему количеству сонетовъ; самъ король интересовался другими вопросами и въ ихъ сферѣ кичился своей наукой: любилъ пофилософствовать, вдуматься, священнодѣйствуя силлогизмомъ и различая, цитуя библію и св. отцевъ рядомъ съ Аристотелемъ и Сенекой; въ этомъ смыслѣ одинъ изъ его приближенныхъ, Никколо̀ д'Алифе, могъ говорить, уже послѣ его смерти, о крохахъ, подобранныхъ имъ отъ стола королевской учености. Петрарка изобразилъ его въ одномъ изъ своихъ стихотворныхъ посланій[1])— еще по слухамъ, но типъ едва ли не схваченъ вѣрно: король пріѣхалъ изъ Авиньона въ Воклюзъ, его свита гуляетъ, ищетъ развлеченій; онъ одинъ серьезенъ, потупилъ глаза; кто знаетъ, онъ можетъ быть, ставитъ себѣ вопросы: какая сила созвѣздій вызвала стремительность рѣки; проникаетъ умственнымъ взоромъ въ пропасть, куда исчезаютъ ея воды; раздумался о тайномъ водительствѣ судьбы, о сицильянскихъ дѣлахъ.

1) Epist. poet. I, 4.

Его научные интересы и связи были разнообразные. Извѣстный Егидій Колонна посвятилъ ему свой трудъ «in secundum sententiarum» Петра Ломбарда, не только потому, что его приводила въ изумленіе способность короля отъ чувственнаго и видимаго восходить къ пониманію невидимаго и божественнаго, но и съ цѣлью, чтобы Робертъ просмотрѣлъ и исправилъ его произведеніе, а читатель снисходительнѣе отнесся къ его опущеніямъ и восхвалилъ Бога—и монарха за раскрытыя въ немъ истины. Толкованіе минорита Mairon на книги Діонисія Ареопагита предпринято по желанію Роберта, «свѣтлѣйшую душу котораго такъ осіяла высота истиннной мудрости, что, по справедливости, онъ можетъ быть названъ не только славнымъ правителемъ, но и настоящимъ философомъ». Ему, тогда еще принцу калабрійскому, посвященъ полу-алхимическій, полу-философскій трактатъ De essentiis essentiarum, извѣстный Арнольдъ de Villanova обращается къ нему съ своимъ посланіемъ объ алхиміи, Дино дель Гарбо съ толкованіемъ на каноны Авиценны, Matthaeus Salvaticus Montanus изъ Салерно составляетъ для него свой Liber pandectarum medicinae, дабы онъ исправилъ его, ибо своими медицинскими познаніями онъ превосходитъ всѣхъ властителей міра. Астрологія также входила въ кругъ его занятій, и его близость съ Діонисіемъ da Borgo San Sepolcro объясняется отчасти общностью ихъ интересовъ.

Робертъ наивно входилъ въ роль всезнающаго философа, которую уготовили ему панегеристы: терпѣливо слушаетъ, когда авторы читаютъ ему свои произведенія, поощряетъ ихъ, говоря, что учась, и поучая, человѣкъ становится мудрѣе, мѣшается въ богословскіе споры, подвергаетъ испытанію Петрарку, рекомендуетъ медицинскому факультету въ Салерно одного профессора, ибо самъ онъ убѣдился въ его теоретическихъ и практическихъ познаніяхъ. Челядь и приживателей у Аччьяйоли угощали мясомъ опоросившейся свиньи и старыми голубями, пережареными или полусырыми, ибо, по ученію короля Роберта, это лучше для питанія, подсмѣивается Боккачьо.

Въ 1338 году, въ одно прекрасное утро, Петрарка, тогда еще не бывшій на верху своей славы и лично не знакомый съ королемъ, получилъ отъ него въ Воклюзѣ коротенькое посланіе; при немъ была эпитафія, сочиненная Робертомъ для своей племянницы Клемансы, бывшей замужемъ за французскимъ королемъ Людовикомъ X. Петрарка былъ польщенъ. «Необычайный свѣтъ ослѣпилъ мои глаза, отвѣчаетъ онъ королю; блаженно перо, начертавшее эти строки. Не знаю, чему удивляться: изумительной-ли точности и возвышенности мысли, либо божественному изяществу стиха. Я никогда не повѣрилъ бы, знаменитый властитель, чтобъ столь великое содержаніе можно было выразить въ столь немногихъ, полныхъ достоинства и простоты, словахъ. Въ доказательство того, что ты по своему желанію вращаешь ключи къ человѣческому сердцу—къ чему стремятся самые знаменитые ораторы, ты такъ возбуждаешь чувство читателя, что, не будучи въ состояніи противиться тебѣ, покорный твоему слову, онъ влекомъ, куда ты ни пожелаешь». Самого Петрарку чтеніе эпитафіи увлекало то къ печальнымъ, то къ радостнымъ мыслямъ, отъ идеи смерти къ безсмертію, и все это исходило изъ одного источника; никогда еще сила краснорѣчія не представилась ему столь великою. Петрарка пользуется случаемъ поговорить объ идеѣ безсмертія у древнихъ, но затѣмъ останавливаетъ себя: «Какой же я неразумный? Кому я все это говорю? Не только величайшему изъ нашихъ властителей, но царю надъ философами». Твоя Клеманса не умерла, она живетъ блаженной жизнью на небѣ, тобою на землѣ; ея вѣчность двоякая: «одна отъ царя небеснаго, другая отъ земнаго, одна отъ Бога, другая отъ Роберта». Ея имя будетъ жить вѣчно, потому что будетъ вѣчнà и эпитафія; многіе пожелали бы умереть раньше срока, лишь бы удостоиться такой похвалы, и, вздыхая, повторяютъ слова Александра Македонскаго объ Ахиллѣ: счастливъ ты, обрѣтшій столь славнаго глашатая, написавшаго о тебѣ столь великое»[1]).

1) Fam. IV, 3.

Этотъ выспренній отзывъ, внушенный не столько лестью, сколько неумѣреннымъ энтузіазмомъ слова, отличающимъ плеяду первыхъ гуманистовъ, можетъ служить показателемъ всѣхъ остальныхъ о Робертѣ «философѣ». Самъ Робертъ признавался впослѣдствіи, что, до встрѣчи съ Петраркой не понималъ поэзіи, въ Виргиліи его интересовала репутація мага; онъ поощрялъ Петрарку разыскать вторую декаду Ливія [1]), просилъ посвятить ему «Африку», но стиль его собственныхъ проповѣдей и богословскаго трактата схоластическій, лишенный всякой граціи. Его классическія чтенія не выходили изъ общей средневѣковой нормы: классики читались не для нихъ самихъ и не въ цѣломъ, что̀ и дало впослѣдствіи возможность освоиться съ ихъ міросозерцаніемъ и въ немъ найти матеріалъ для критики фактовъ въ частности, а для постороннихъ цѣлей и вразбродъ. Искали цитатъ, красивыхъ фразъ, вѣскихъ изреченій, прикрытыхъ какимъ-нибудь громкимъ именемъ классическаго, или и не классическаго пошиба; эта грань не чувствовалась вовсе, окутанная туманомъ баснословія; прилежно читали Валерія Максима: Робертъ ссылается на него въ своемъ трактатѣ объ апостольской нищетѣ [2]), Діонисій da Borgo San Sepolcro пишетъ къ нему обстоятельныя поясненія.

Ученый типъ Діонисія, приближеннаго королемъ Робертомъ, даетъ понятіе и объ образовательномъ цензѣ послѣдняго. Монахъ Августинскаго ордена, профессоръ богословія и философія парижскаго университета, Діонисій занимается астрологіей — и комментируетъ классиковъ (кромѣ Валерія Максима — Метаморфозы Овидія, Виргилія и Сенеку), Политику Аристотеля — и посланія ап. Павла [3]), и его дружба съ Петраркой, эпитеты: «блестящаго питомца музъ», «высокопарнаго глашатая Аполлона»,

1) De Rem. I, 2.

2) De paupertate gentilium et philosophorum.... Valerius lib. 9, cap. 3; de hac paupertate antiquorum plura habentur folia in Valerio Maximo l. 4, c. 9. Сл. Siragusa, l. c., Appendice, стр. XVI, XVII.

3) Tiraboschi, Storia d. letterat. italiana (Modena), V, стр. 107 слѣд.

«цвѣта поэтовъ» [1]) не говоритъ еще за его симпатіи къ новымъ теченіямъ гуманистической мысли. Петрарка, сблизившійся съ нимъ, вѣроятно, въ Парижѣ, въ 1333 году, искалъ у него утѣшенія и совѣта въ борьбѣ съ своей страстью, просилъ молитвъ [2]); Боккаччьо говоритъ о немъ, какъ объ отцѣ и учителѣ [3]), но на этотъ титулъ онъ не скупится [4]), да и учительство Діонисія могло быть лишь кратковременнымъ: вызванный ко двору Роберта въ 1339 году, онъ въ томъ же году поставленъ былъ епископомъ монопольскимъ.

Его отчетъ объ источникахъ своего комментарія къ Валерію интересовъ своей черезполосицей; таковы могли быть и чтенія Роберта. Это цѣлая библіотека: классики въ разбивку съ отцами церкви, Ливій бокъ-о-бокъ съ бл. Августиномъ, Ювеналъ съ безвѣстнымъ Евстаѳіемъ, исторіи объ Александрѣ и какія-то аѳинскія и испанскія хроники [5]).

1) Epist. poet. I, 13.

2) Fam. IV, 1; сл. Sen. XV (XIV), 7.

3) Corazzini, стр. 18.

4) Сл. l. c. стр. 349 (письмо къ Пьетро ди Монтефорте).

5) Цитую по ркп. библіотеки св. Марка въ Венеціи, Zan. lat. DXXVI (1396 г.), справляясь съ cod. CLXXVII вѣнской библ. у Endlicher, Catal. Cod. philologicorum lat. Bibl. Palat. Vindobonensis, стр. 85 (ркп. XV в.): Hoc autem (т. е. комментаріи) facere nullatenus potuissem nisi gesta Romanorum et (ac) alienigenarum per antiquos autores diversis in locis narrata sedulo perlegissem (consuluissem), qui quod ipse Valerius breviter, diffuse narrant ac prolixe, quos ideo hic annotare curavi, ut operi certior fides detur. Nec labor videtur inanis tantorum testimonio comprobatus. Sunt autem praedicti autores quos me necessarie oportuit intueri: Titus Livius principaliter et egregii doctores Augustinus, Gregorius, Ambrosius et Ieronimus, quorum dicta, maxime Augustini libro de Civitate Dei et Ieronimi in Cronicis et Epistolis fuerunt plerumque necessaria, quamquam etiam (et) de Biblia et (a) magistro historiarum ac etiam de Decreto et de Iohanne Crisostomo aliqua prae (pro) maiori declaratione propositi sunt accepta. Praeterea hic inserta asserta (accepta) sunt de Ugone libro de sacramentis, de Ysidoro libro Ethimologiarum, de Papia, de Ugutione, de Prisciano, de Iosepho libro historiarum antiquarum, de Orosio, de Lactantio, de Macrobio de Somnio Scipionis, de Policrato, de Suetonio, de Boetio, de Sedulio, de Cassiodoro libro Variarum, de Seneca, de Tullio, de Platone, de Aristotile, de Averroy, de Avicenna iibro naturalium, de Varrone, de Iure civili, de Vegetio, de Solino, de Plinio, de Frontino, de Vita Philosophorum, de Rhetorica Gualfredi (Grilli), de Compoto (Conputo), de Fabio historiographo (historico), de Salustio, de Paulo Lon-

Характеръ комментарія историческій, вещественный и этимологическій; ludi circenses названы, напримѣръ, потому, quia in circum eundo enses positi erant, unde ex una parte erant enses, ex alia parte aqua, in medio via, immo circenses quasi circa enses [1]); либо объясняется Emphyares: sic dictus ab epy, quod est super, et premens, eo quod suo pondere gravare videtur dormentem et suffocare. Istud autem in aliquo ydiomate vocatur Salvanellus

gobardorum historiographo, de Iustino et Lutio (Julio) Floro. Fuit autem necessarium poetas inspicere, sicut (scilicet) Virgilium, Lucanum, Horatium, Persium, Ovidium, Juvenalem, Eustachium (Eustrachium) Venusinum, qui sub nomine poëtae introducitur et Plautus Italiae nominatur, Julinm Celsum et ejus poetriam (Julium Cesarem et ejus poetam), Statium et Alexandri historiam tam metrice quom prosaice scriptam. Insuper oportuit cronicas intueri, videlicet cronicam Elinandi, cronicam Atheniensium, Hispanorum et Gallorum ac etiam annalia Romanorum, quorum autor non habetur, (et) cronicam Petri Viterbensis que Pantheon appelatur et (ac) plures alios rerum gestarum et particularium narratores.

Нѣсколько замѣчаній къ тексту: вмѣсто Юлія Цельса вѣнскій текстъ ставитъ Юлія Цесаря; извѣстно, что еще Петрарка и Боккаччьо приписывали первому комментаріи второго: но что такое poetria или poeta? — Подъ стихотворными и прозаическими повѣстями объ Александрѣ можно имѣть въ виду поэму Qualichinus изъ Сполето и Юлія Валерія, либо Historia de Praeliis. Интереснѣе ссылка на Евстаѳія Венузинскаго: разумѣется, вѣроятно, неизвѣстный (nescio qnem) Боккаччьо, Евстаѳій, котораго онъ цитуетъ со словъ Паоло изъ Перуджіи (Gen. Deor. VII, 41). Діонисій (l. c. л. 23 recto c. 1) приводитъ его похвалу Таренту (по поводу Val. Max. l. II, c. II, § 3: Relatis Q. Fabii laudibus... Tarentina civitas), de qua poeta dicit:

Delitiis vulgata suis sit nota per orbem
Bino cincta mari, fertilitatis humus,
Emulus hic Rome situs imbellisque notatus,
Fertilis urbsque mari divitiosa suo.
Vitibus hic variis multis frondescit olivis,
Diversis pomis, ficubus atque piris,
Pratis et silvis uberrima fert numerosa
Hec armenta, greges et genus omne fere.
Inde Ceres, bombix, sal, quicquid fertile
Cultu terra parit cunctis delitiosa cibis.
Qnis numerare queat pisces maris, ostrea, tunnos,
Auratas cephalos piscis et omne genus?

Евстаѳій былъ (родомъ?) изъ Венозы въ Апуліи; изъ Венозы же и Riccardus judex Venusinus, авторъ «De Paulino et Polla libellus», посвященнаго Фридриху II-му.

1) l. c. л. 5 обор., столб. 2.

(Salvanel сѣверно-италіанскихъ повѣрій), unde multi dicunt quod Pan, i. e. diabolus, hominem dormientem premens accipit [1]).

Въ кружкахъ, среди которыхъ образовались Петрарка и Боккаччьо, любопытно пристрастіе къ такому именно компендію анекдотовъ и летучихъ словъ, какъ сборникъ Валерія Максима. Это характеризуетъ уровень спроса на познаніе классической древности. Но популярность сборника продолжалась и позже. Бенвенуто изъ Имолы вернулся къ толкованію Валерія съ ссылками на трудъ Діонисія и критикой его; Боккаччьо черпаетъ у Валерія свѣдѣнія для біографій философовъ и великихъ женщинъ; въ концѣ XIV вѣка кто-то еще читаетъ комментарій Діонисія, но полуобрѣзанная глосса на поляхъ показываетъ, что ему уже извѣстны труды Боккаччьо: знай, что по баснословнымъ разсказамъ поэтовъ у Юпитера было нѣсколько женъ, говорилось въ древнемъ комментаріи; читатель отмѣтилъ сбоку: была у него одна жена Юнона, остальныя наложницы — teste Iohanne Boc(ca)cio [2]). Интересъ къ памятнику держится и въ ту пору, когда вкусъ къ компендіямъ и цитатамъ уже уступилъ мѣсто болѣе серьезному интересу къ древности и связному чтенію классиковъ, и Петрарка счелъ нужнымъ протестовать противъ общаго увлеченія [3]).

Робертъ стоитъ еще въ порѣ компендій и цитатъ. Его литературныя наклонности обнаружились рано: по одному документу отъ 27 Іюля 1310 г. писцу Стефану было заплачено за переписку «Moralia» короля Роберта. Что такое были эти Moralia — мы не знаемъ; Роберту приписывали одно время стихотворный трактатъ о нравственныхъ добродѣтеляхъ (Trattato delle virtù morali), но его авторомъ оказался Граціоло деи Бамбаджьоли (род. ок. 1291 † ок. 1343) [4]), нотаріусъ и канцлеръ болонской коммуны, одинъ изъ древнѣйшихъ комментаторовъ дантовскаго

1) l. c. л. 14 обор., столб. 1.
2) l. c. л. 6 обор., столб. 1.
3) Fam. IV, 15.
4) Сл. Frati, Giorn. Storico d. letter. italiana, fasc. 50—51, стр. 301 слѣд.

Ада (1324). Отношенія Бамбаджьоли къ кружку Роберта исчерпываются, вѣроятно, тѣмъ обстоятельствомъ, что трактатъ о нравственныхъ добродѣтеляхъ посвященъ одному изъ вліятельныхъ лицъ анжуйскаго двора, Бертрану del Balzo; латинскій комментарій, которымъ Бамбаджьоли сопроводилъ свои стихотворенія, говоритъ о какомъ-то еще третьемъ лицѣ, авторѣ, и что самый комментарій написанъ по приказанію [1]). Разумѣется, это не даетъ намъ права разумѣть въ томъ «авторѣ» Роберта; впрочемъ, и его неизвѣстныя намъ Moralia, можетъ быть, также мало принадлежатъ ему, какъ и приписанныя ему Dicta et opiniones philosophorum, ходящія съ именемъ еще другого итальянскаго переводчика, Іоанна съ Прочиды [2]). Оригиналъ этихъ Dicta, краткихъ жизнеописаній, перемѣшанныхъ съ апофтегмами, арабскій. Рядъ именъ: Гомеръ и Солонъ въ сосѣдствѣ съ св. Григоріемъ, Александромъ Великимъ, Седекіей, Гермесомъ (Hermes Tac), очевидно, Трисмегистомъ; далѣе: Zalon, Balion, Leginon, Avesius, Macdargis, Thesilus и др. Сообщаются баснословныя біографическія свѣдѣнія, этимологія имени, затѣмъ изреченія, иногда портреты; Гомеръ, напр., былъ хорошаго роста, красивый собою, блѣдный, съ большой головой и узкими плечами; видъ у него былъ серьозный, на лицѣ знаки оспы, и былъ онъ многорѣчивъ [3]).

Но главнымъ показателемъ вкусовъ Роберта являются его sermones: какъ бы рядъ концептовъ, набросанныхъ начерно, съ подборомъ, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ, изреченій и выдержекъ, взятыхъ отовсюду и укладывающихся, какъ пестрый матеріалъ, въ одно и то же діалектическое зданіе, полное дѣленій и подраздѣленій, ссылокъ и умозаключеній. Sermones были спеціальной слабостью короля: это были проповѣди, назиданія,

1) Non simpliciter sed violenta electione quod amodo ex auctoris arbitrio processerunt. Сл. Siragusa, l. c. стр. 37, прим. 1 и 2.

2) Knust, Mittheilungen aus dem Escurial (Bibliothek des litt. Vereins in Stuttgart № CXLI), стр. 568, 654—5; ркп. Marc., Zan. lat. VI, CXLIV, N.

3) Erat bonae magnitudinis, pulcre formae, remissi coloris, magni capitis et strictus inter humeros, habens gravem aspectum et in facie signa variolarum; et erat multorum verborum.

нѣчто въ родѣ учительныхъ словъ и оффиціозныхъ политическихъ манифестовъ. Произносились онѣ по разнымъ поводамъ, но всегда съ священнымъ текстомъ, какъ точкой отправленія. Такъ, въ 1323 году король произнесъ проповѣдь по случаю канонизаціи Ѳомы Аквинскаго [1]), въ другой разъ говорилъ экспромтомъ о св. Андреѣ; либо это рѣчь по поводу возведенія кого-нибудь въ достоинство доктора, или обращеніе къ синдикамъ о необходимости субсидій для веденія войны, либо увѣщательное посланіе къ флорентинцамъ, когда въ 1333 году ихъ постигло наводненіе. Текстомъ для рѣчи по случаю заключенія мира между нимъ и генуэзцами взяты слова Св. Писанія: Слава въ вышнихъ Богу, на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе. Ходъ проповѣди изображается графически, діалектически разобрано, по рубрикамъ, понятіе мира съ ссылками на Саллюстія и какую-то propositio de causis — и внушеніемъ, что міръ не возможенъ безъ королевскаго ока (sine regali providentia), что въ государствѣ подобаетъ властвовать одному, ибо, по слову евангелія, всякое царство, раздѣлившееся въ самомъ себѣ, запустѣетъ (Лук. XI, 17) и одинъ лишь царь всего сущаго — «по послѣднему слову философа въ книгѣ о метафизикѣ». Если въ этомъ словѣ начитанность Роберта служитъ политикѣ, въ другихъ случаяхъ — риторическимъ цѣлямъ: толкуя напр. 2-е посланіе ап. Павла къ Тимоѳею 4, 11, король даетъ видимо серьезное значеніе созвучіямъ Lucas и lux, различая три рода свѣта: вещественный, какъ бы погруженный въ веществѣ, которымъ свѣтятся нѣкоторые черви, рыбья чешуя и гнилое дерево; это — низшій свѣтъ, видимый лишь ночью; второй — стихійный (пламя свѣчи и т. д.), третій — небесный, заимствованный (какъ, напримѣръ, у луны), либо исконный (солнце). Эта троичность переносится затѣмъ на тройственный свѣтъ: этики, политики и теорики; первый сіяетъ въ достойныхъ людяхъ, второй въ лицахъ духовныхъ, третій въ ученыхъ. Все это — по поводу созвучія Lucas и lux, но предпочтеніе ученыхъ интересно: знакъ времени — и самосознанія.

1) Riv. di filologia romanza I, 245.

Учительное пристрастіе короля дѣйствовало заразительно, его придворные пустились въ тотъ-же литературный родъ, и съ именемъ Бартоломея изъ Капуи, великаго протонотарія неаполитанскаго королевства, сохранилось 27 такихъ же назидательныхъ рѣчей. Извѣстно, какъ язвительно посмѣялся Дантъ надъ этой королевской слабостью, назвавъ Роберта «королемъ отъ назиданій»; самая форма назиданій была тогда популярна: рѣчь Заноби да Страда, которую Боккаччьо не только читалъ, но и внесъ въ свою записную тетрадь, такое же схоластическое упражненіе на текстъ изъ притчъ Соломона: («Послушайте меня, и блаженны тѣ, которые хранятъ пути мои» VIII, 32), въ которомъ ссылки на священное писаніе чередуются съ цитатами изъ классиковъ и Петрарки; Виргиліевское: o fortunatos... agricolas (Georg. II, v. 458—9) объясняется въ связи съ евангельской притчей о сѣятелѣ, какъ «мудрые», и предвосхищена одна изъ невѣроятныхъ греческихъ этимологій Боккаччьо (эклога IV): doris = amaritudo. Еще одинъ шагъ, и учительное содержаніе измѣнится, sermones короля Роберта уступятъ мѣсто риторическимъ рѣчамъ на общія темы, въ родѣ многихъ посланій Петрарки, юношескихъ писемъ Боккаччьо, стилистически развивающихъ извѣстное душевное настроеніе, и популярныхъ въ XV вѣкѣ политическихъ dicerie.

Такова была ученость короля Роберта; она обличала честное служеніе «небесному свѣту», сіяла на престолѣ, когда во Франціи короли были безграмотны [1]); онъ утверждалъ, что не поколебался бы въ выборѣ между наукой (litteras) и царской властью [2]); онъ привлекалъ, и не одно желаніе польстить Роберту побудило Петрарку подвергнуться у него предварительному испытанію, прежде чѣмъ принять вѣнецъ на Капитоліи. Робертъ внялъ предложенію благодушно и серьезно, въ такомъ же горделивомъ сознаніи своего права, съ какимъ предложилъ медицинскому факультету въ Неаполѣ испытаннаго имъ врача. Въ теченіе трехъ дней король и поэтъ красовались другъ передъ другомъ своей

1) De Casibus, посвятительное письмо.

2) Petrarca, Rer. Mem. I, II, c. 26.

ученостью, встрѣтились два самомнѣнія, средневѣковая энциклопедія состязалась съ наукой возрожденія; побѣдилъ Петрарка своей восторженной рѣчью объ искусствѣ и поэтахъ.

Боккачьо разсказалъ намъ объ этомъ диспутѣ со словъ Роберта: доблестный король, знаменитый философъ, изрядный знатокъ медицины и выдающійся богословъ своего времени, до шестидесяти шести лѣтъ пренебрегалъ Виргиліемъ, почитая его баснословомъ безъ всякаго содержанія, если не считать внѣшнія поэтическія прикрасы; когда же Петрарка раскрылъ ему тайное значеніе поэмъ, онъ пожурилъ себя, утверждая, какъ то самъ я слышалъ отъ него собственными ушами, что никогда и не подозрѣвалъ, какой возвышенный смыслъ скрывается подъ забавной оболочкой поэтическихъ вымысловъ. Онъ искренне корилъ и себя и судьбу, что такъ поздно позналъ искусство поэзіи, и ни старость, ни сознаніе, что ему жить недолго, не помѣшали ему, отложивъ занятія болѣе видными науками (splendentium facultatum), отдаться чтенію Виргилія, дабы вполнѣ уразумѣть его смыслъ. Лишь скорая смерть прервала занятія, которыя, безъ сомнѣнія, были бы во славу поэтовъ и на пользу итальянцевъ, предающихся этому занятію [1]). За то въ эпитафіи Роберту Петрарка заставилъ плакать надъ нимъ семь осиротѣлыхъ свободныхъ искусствъ и даже девять — музъ.

Диспутъ Петрарки происходилъ въ мартѣ 1341 года. Боккачьо уже успѣлъ уѣхать изъ Неаполя. Незамѣтно для короля-философа, вблизи придворныхъ сферъ, успѣлъ сложиться другой поэтъ возрожденія, и его руководителями были люди изъ ученаго кружка того же Роберта.

Боккачьо зналъ его уже богословомъ и королемъ «отъ назиданій», но позади лежали другіе годы, когда во дворцѣ Кастельнуово знали и празднества, и веселье, и любовь. Подобно отцу и дѣду, Робертъ продолжалъ строиться въ Кастельнуово: предприняты были передѣлки въ залѣ для пировъ, расписаны

1) Gen. Deor. XIV, 22, біографія Петрарки, написанная Боккачьо; сл. Petrarca, Rer. Mem. l. c.

капеллы, украшены дворцовые сады; въ томъ, что̀ прилегалъ къ морю, посажены были фазаны и другія птицы, вырыты гроты для ланей и кроликовъ, устроены фонтаны, бесѣдки и насажены тѣнистыя деревья. Боккаччьо описалъ этотъ садъ въ своемъ первомъ романѣ (Filocolo): онъ находился не вдалекѣ за городскими стѣнами, къ той сторонѣ, гдѣ покоится прахъ величайшаго изъ поэтовъ, Марона, и авторъ представляетъ себѣ подъ его сѣнью веселое общество, среди котораго царитъ «дочь великаго правителя, подъ чьимъ скипетромъ мирно пребываютъ эти области»: предметъ его страсти, Марія-Фьямметта.

Это имя переноситъ насъ къ первымъ годамъ Роберта. Не задолго до своего вѣнчанія на царство или вскорѣ послѣ того (13 ноября 1310 года) онъ устроилъ въ Кастельнуово великое празднество для своихъ приближенныхъ, и для большей торжественности самъ явился въ царственномъ одѣяніи. «Когда, разсказываетъ Боккаччьо, серебряные сосуды предлагали обильныя яства, золотые чеканные—дорогія вина, королевскіе покои полны были родовитыхъ юношей-прислужниковъ, а разнообразные мелодическіе звуки заставляли содрогаться сіяющій покой», король, прохаживаясь и бросая влюбленные взгляды на ту и другую даму, увлекся одной изъ нихъ, француженкой, женой графа изъ дома Аквино, занимавшаго не малую должность при дворѣ. Потомъ онъ часто видѣлъ ее и все болѣе увлекался; однажды, когда она явилась къ нему, чтобы испросить у него какой-то милости, онъ «завлекъ ее въ свои сѣти», и она стала матерью Маріи [1]).

Это любовное похожденіе Роберта было не единственнымъ; со второй своей женой, Санціей, дочерью короля Майорки, святошей и неплодной, онъ на столько не ладилъ, что въ 1317 году она обращалась къ папѣ Іоанну XXII съ просьбой развести ее съ мужемъ, а ей дозволить постричься. Папа удерживалъ ее отъ этого «дьявольскаго искушенія», увѣщевая ее быть терпѣливой и любовной, дабы ея мужъ еще болѣе не разнуздался и у нихъ

1) Ameto, стр. 142 слѣд.; Filocolo. I, стр. 4 слѣд.

пошли-бы дѣти. Увѣщаніе не помогло; не прошло и двухъ мѣсяцевъ послѣ перваго, какъ папа поставленъ былъ въ необходимость обратиться къ самому королю: не только общая молва, но и очевидность говоритъ о тебѣ, любезнѣйшій сынъ, что хотя изъ всѣхъ католическихъ властителей міра ты наиболѣе богатъ знаніемъ и отлично одаренъ природнымъ умомъ, одно ты исключаешь изъ своихъ царственныхъ соображеній, ибо неопытныхъ юношей, низкихъ духомъ и родомъ, не умѣющихъ, по недостатку знанія и прилежанія, управлять собою, ты приблизилъ къ себѣ, неразумно вступивъ на путь Ровоама.

Но пути Ровоама ожидали Роберта въ другомъ мѣстѣ; онъ не совратился на нихъ — благодаря своей діалектикѣ.

У анжуйскаго дома были старинныя связи съ братіей св. Франциска; ударившись въ религіозность, Санція учредила обитель этого ордена рядомъ съ храмомъ св. Клары, основаннымъ ею и ея мужемъ. Броженіе, начавшееся въ средѣ ордена тотчасъ по смерти его основателя, продолжалось, и вопросъ о болѣе или менѣе широкомъ соблюденіи монашескаго устава грозилъ разростись въ общецерковный. Образовались партіи; положеніе, выставленное крайними изъ францисканцевъ, что ни у Христа, ни у апостоловъ не было собственности, касалось не только иноческаго обѣта нищеты, но и имущественныхъ и свѣтскихъ отношеній церкви. Онъ шелъ въ руку сторонникамъ Людовика Баварскаго, въ церкви онъ вызвалъ смуту. Булла папы Іоанна XXII отъ 23 января 1318 года объявила еретическимъ мнѣніе, будто существуютъ двѣ церкви, одна плотская, удрученная богатствами, погрязшая въ утѣхахъ, запятнанная грѣхами, т. е., церковь папы, другая духовная, препоясанная бѣдностью. Пока инквизиція работала, сомнѣнія объ еретическомъ характерѣ новаго ученія «братцевъ» (fraticelli) поднимались въ средѣ вѣрующихъ и доминиканцы спорили о томъ съ францисканцами. Въ 1322 году, на съѣздѣ въ Перуджіи, провинціалы францисканскаго ордена подъ предсѣдательствомъ своего генерала, фра Микеле изъ Чезены, положили, что ученіе о томъ, что у Христа и апостоловъ не было

никакой собственности, ни общаго владѣнія, ничуть не противорѣчитъ здравымъ началамъ католической церкви. Борьба обострилась, и фра Микеле перешелъ на сторону императора, обвинивъ въ ереси самого папу.

Какъ глава гвельфовъ и преданный сынъ церкви, Робертъ долженъ былъ бы отнестись отрицательно къ доктринѣ, осужденной римской куріей и благопріятной Людовику Баварскому. Тѣмъ неожиданнѣе то, что совершается теперь при дворѣ: Робертъ является защитникомъ фра Микеле, противъ котораго возбуждено было преслѣдованіе, извиняетъ, что тотъ не явился по вызову папы, ибо заболѣлъ, и самъ король посылалъ къ нему въ Тоди своего врача. Когда въ Неаполѣ поднялся процессъ противъ францисканской ереси, оказалось, что Андрей Гальяно, капелланъ короля, не только зараженъ ею, но и писалъ въ духѣ, несогласномъ съ воззрѣніями папы; что самъ король подпалъ вліянію Петра Каденета, по поводу котораго писалъ прежде папѣ, прося его удалить отъ королевы этого монаха, сѣющаго плевелы ереси. Побѣжденная, Санція отомстила: король, какъ и она, покровительствуетъ подъ рукой гонимымъ «братцамъ», братъ королевы, Филиппъ, склоняется къ ихъ толку; и Робертъ, и Санція задерживаютъ папскія посланія къ инквизиторамъ; защищая Андрея Гальяно, король, въ письмѣ къ папѣ, не отрицаетъ открыто, что онъ писалъ въ защиту ереси, а говоритъ только, что онъ не изрекъ ничего, противнаго католической вѣрѣ, уваженію къ церкви и доброй нравственности.

Все это могло быть въ Робертѣ дѣломъ убѣжденія, вліянія клерикальнаго кружка, но приводило его, гвельфа и паписта, въ противорѣчіе съ самимъ собою. Дѣло рѣшилъ король-богословъ, какъ и въ преніи съ Петраркой торжествовало самомнѣніе короля-философа. Робертъ пишетъ трактатъ «о евангельской нищетѣ апостоловъ и ихъ нарочитыхъ послѣдователей» (de apostolorum ac eos precipue imitantium evangelica paupertate), который повергаетъ на усмотрѣніе и исправленіе святѣйшаго папскаго престола. Онъ обѣщаетъ быть краткимъ, не вполнѣ исчерпать истину,

разбираетъ вопросъ о нестяжаніи и вольной нищетѣ у древнихъ, цитуя Валерія Максима, Сенеку, Іоанна Златоуста, contra Iovinianum, Сократа (Socrates ille Tebarius?) и легендарнаго философа Секунда, и, переходя на христіанскую почву, обѣщаетъ пользоваться священнымъ писаніемъ и твореніями святыхъ отцевъ болѣе, чѣмъ филологическими аргументами (filologisticis illationibus?). Вопросъ объ апостольской бѣдности ведетъ къ другому: объ общности владѣнія у древнихъ, объ общинѣ женъ у нѣкоторыхъ народовъ, наконецъ, объ общинной собственности духовныхъ братствъ. Бѣдность опредѣляется, какъ всецѣлое отсутствіе земныхъ благъ, согласно съ словами Спасителя: если хочешь быть совершенъ, поди, продай имѣніе твое и раздай нищимъ (Матѳ. XIX, 21); этому должны послѣдовать всѣ, произнесшіе обѣтъ нищеты. Съ другой стороны, мы знаемъ изъ исторіи древней христіанской церкви, что вѣрующіе продавали свое имущество и полученное повергали къ ногамъ апостоловъ, для раздачи всѣмъ. Если нѣчто раздавалось, то было, стало быть, нѣчто въ общей собственности? Какъ помирить ее съ ея евангельскимъ отрицаніемъ? Различеніемъ владѣнія, собственности, отъ пользованія ею; это должно оправдать имущество духовенства (за исключеніемъ произнесшихъ обѣтъ нищеты) и церкви: церковь не владѣетъ, а управляетъ собственностью и даромъ Константина во имя всѣхъ вѣрующихъ и на пользу имъ, какъ и у Христа и апостоловъ не было имущества, а лишь его узуфруктъ.

Такъ рѣшался теоретически вопросъ, оставшійся на практикѣ по прежнему открытымъ для всякаго, кто пожелалъ бы опредѣлить границы владѣнія и узуфрукта. Рѣшеніе вовсе не оригинальное, какъ полагаетъ профессоръ Сирагуза, оригиналенъ развѣ ученый скарбъ, которымъ обставленъ вопросъ о собственности и пользованіи. Къ этому казуистическому различенію не разъ прибѣгали въ теченіе францисканскаго спора: его можно встрѣтить у Данте (De Monarchia, III, 10); Оливи пытался даже ограничить широкую идею пользованія требованіемъ одного лишь

необходимаго: pauper usus это тотъ, при которомъ человѣкъ кажется скорѣе бѣднымъ, чѣмъ богатымъ, и ближе къ нищетѣ, чѣмъ къ благосостоянію. Едва ли такое рѣшеніе кого нибудь удовлетворило; Робертъ былъ, очевидно, доволенъ своимъ: онъ повергаетъ на судъ новое свое писаніе, напередъ готовый повиноваться, но если бы кто нибудь, кромѣ папы, вздумалъ взвести хулу на его ученіе, да будетъ онъ сочтенъ невѣрующимъ, ненавистникомъ, не католикомъ, а еретикомъ.

Самъ Робертъ стоялъ выше подозрѣній въ ереси; человѣкъ благочестивый, онъ съ годами становился религіонистомъ. По смерти сына, единственнаго наслѣдника, унесеннаго въ 1328 году малярiей, его характеръ замѣтно мѣняется: пораженный нежданной утратой, онъ какъ-то сосредоточился, уходя въ науку и благочестіе; монахи и святые мужи и жены чаще навѣдываются въ Кастельнуово; подъ вліяніемъ этого набожнаго настроенія или, какъ говорятъ, во искупленіе грѣховъ сына, Робертъ велѣлъ заново украсить обѣ дворцовыя капеллы, для чего вызванъ былъ изъ Флоренціи Джьотто. Не щедрый по природѣ, онъ начинаетъ теперь копить и скряжничать, его казна въ одной изъ башень Кастельнуово стала легендарной [1]). Боккаччьо разсказываетъ о флорентійскомъ скульпторѣ Буонаккорсо, также вызванномъ королемъ, что когда тотчасъ по пріѣздѣ его потребовали къ нему, какъ онъ былъ, въ дорожныхъ сапогахъ и при шпорахъ, тотъ спросилъ его о стоимости нѣкоторыхъ работъ, относящихся до его искусства. Буонаккорсо отвѣчалъ скромно, но не безъ негодованія, и лишь только вышелъ изъ дворца, сѣлъ на коня и поѣхалъ обратно домой, ибо полагалъ, что его потребовали не къ королю, а къ торгашу [2]).

Лишь въ 1333 году, когда праздновалась помолвка малолѣтней внучки короля, Джьованны, съ малолѣтнимъ же троюроднымъ ея братомъ Андреемъ венгерскимъ, Кастельнуово снова увидѣлъ пиры и веселье. Робертъ былъ доволенъ: бракъ, заклю-

1) Баллада на пораженіе при Montecatini; Amor. Visione c. 14.
2) Письмо къ Нелли у Corazzini, стр. 147.

ченный имъ по политическимъ расчетамъ и разыгравшійся такъ трагически, казалось, обезпечивалъ престолъ за его родомъ. Вернулись старыя привычки: король по-прежнему забавляется въ своемъ саду стрѣльбой изъ лука, обсуждая и рѣшая въ промежуткахъ государственныя дѣла [1]); тѣшится скоморохами и моряками, скачущими на апулійскій ладъ. Но старѣясь, онъ впадаетъ въ ригоризмъ: его указъ 1335 года, повторяющій запреты многихъ предыдущихъ, направленъ противъ нѣкоторыхъ новшествъ въ костюмахъ и нравахъ, указъ 1339—1340 гг. — противъ тѣхъ, кто похищаетъ и насильно обнимаетъ дѣвушекъ. Первый заслуживаетъ особаго вниманія: въ Неаполѣ, особенно среди молодежи, завелись новые нравы, разныя привычки, кривлявыя тѣлодвиженія, разсчитанныя на то, чтобы обратить вниманіе. Вытянувъ голову, съ нечесанными волосами и отпущенной бородой, скрывавшей бо̀льшую часть лица, болѣе страшные, чѣмъ привлекательные на видъ, эти люди укоротили до ягодицъ платье, бывало, доходившее до колѣнъ; ходятъ въ обтяжку, показывая, что̀ показывать было бы стыдно: худые — свои поджарые мускулы, толстяки — одутлый животъ. Они разучились и верхомъ ѣздить, и носить оружіе: сидятъ на лошади бокомъ, правятъ обѣими руками, отправляясь на войну не защищаютъ отъ ударовъ ни грудь, ни плечи. Какъ въ этомъ они уподобляются женщинамъ, такъ длинной бородой арабскимъ анахоретамъ и философамъ; какіе гости заводятся въ грязныхъ волосахъ — про то знаютъ ихъ товарищи и господа, за которыми они ходятъ. Старики не лучше молодыхъ: имъ бы слѣдовало подавать примѣръ, а они первые увлекаются недостойными новшествами.—И Робертъ цитовалъ священное писаніе и приводилъ изъ второй книги Маккавеевъ изреченіе противъ тѣхъ, кто отечественной славѣ предпочиталъ похвальбу славою греческой.

Это заключеніе не совсѣмъ неожиданно: новшества, какъ внѣшность, могли быть навѣяны французской модой, но они вы-

1) Petrarca, Rer. Mem. I, 1, 8.

жадные волки, хватаются за добычу подъ покровомъ овечьей шкуры; отъ ханжества растлѣвается міръ.—И Боккаччьо вторилъ тому въ своей характеристикѣ монаховъ, которые «не стыдятся являться тучными, съ цвѣтущимъ лицомъ, изнѣженные въ платьяхъ и во всемъ остальномъ; выступаютъ не какъ голуби, а гордо, какъ пѣтухи, поднявъ гребень и выпятивъ грудь; не станемъ говорить о томъ, что ихъ кельи полны баночекъ съ разными мазями и притираніями, коробокъ съ разными мастями, стклянокъ и пузырьковъ съ пахучими водами и маслами, кувшиновъ, переполненныхъ мальвазіей, греческимъ и другими дорогими винами, такъ что, глядя, кажется, это не монашескія кельи, а москательныя и парфюмерныя лавки. Хуже того: имъ не въ стыдъ, если другіе знаютъ, что у нихъ подагра, и они воображаютъ, будто другіе не вѣдаютъ и не понимаютъ, что великіе посты, простая и въ небольшомъ количествѣ употребленная пища и умѣренная жизнь дѣлаютъ людей худыми и тощими и большею частью здоровыми, а если и заставляютъ ихъ заболѣвать, то, по крайней мѣрѣ, они болѣютъ не подагрой, противъ которой совѣтуютъ обыкновенно, какъ средство, цѣломудріе и все другое, пристойное жизни скромнаго монаха. И они воображаютъ еще, будто другіе не знаютъ, что кромѣ воздержной жизни, долгія бдѣнія и молитвы и бичеванія, по необходимости, дѣлаютъ людей блѣдными и жалкими, и что ни св. Доминикъ, ни св. Францискъ не имѣли по четыре рясы на человѣка и одѣвались не въ цвѣтныя и другія тонкія сукна, а въ рясы изъ грубой шерсти и естественнаго цвѣта, чтобы укрываться отъ холода, а не красоваться. Обо всемъ этомъ да промыслитъ Господь, согласно съ духовными нуждами тѣхъ простецовъ, которые ихъ кормятъ» (Дек. VII, 3).

Король-книгочій уже промыслилъ объ этомъ—своей теоріей узуфрукта.

Интересный типъ, который я назвалъ бы переходнымъ, если бы любой историческій фактъ не подходилъ подъ это опредѣленіе. Робертъ и Карлъ IV подаютъ другъ другу руки. Оба серьозно преданы вопросамъ знанія, но ихъ цензъ средневѣковой,

образовательное настроеніе діалектически-богословское: Карлъ IV такъ же любитъ поспорить съ учеными людьми, такъ же пишетъ свои Moralitates и оставилъ проповѣдь на евангельскій стихъ: Подобно царство небесное сокровищу (Матв. 13—44), въ стилѣ Робертовыхъ sermones — а Петрарка толкуетъ имъ о поэзіи, о славѣ римскаго имени. Оба—политики скопидомы, вотчинники, а ихъ стараются увлечь идеаломъ единой Италіи и римской имперіи. Не мудрено, что Петрарка могъ вчитывать въ нихъ свои убѣжденія и мечты, удивительно, что такіе трезвые, разсудительные люди увлекаются имъ въ свою очередь, зовутъ его къ себѣ, что имъ любы его восторженныя рѣчи, его культъ славы и политическія грезы. Имъ чуялось въ нихъ нѣчто новое, поднимающее при всей своей неопредѣленности, обаятельное своей несбыточностью. Это — поэзія гуманизма задѣла ихъ своимъ крыломъ.

V.

Центрами элегантной жизни вблизи королевскаго двора были двѣ француженки, невѣстки короля. Агнеса Перигорская, вышедшая въ 1321 году замужъ за Джьованни ди Дураццо, уже вдовца, воспиталась при дворѣ матери, извѣстной Бруниссенды де Фуа, въ преданіяхъ свѣтскости и блеска. По смерти мужа (въ 1335 году) она осталась съ тремя дѣтьми, главою дома Дураццо, еще молодая, полная жизни и жажды удовольствій. Боккачьо могъ видѣть ее мальчикомъ, во Флоренціи, куда она пріѣзжала вмѣстѣ съ Карломъ Калабрійскимъ; въ своемъ Любовномъ Видѣніи онъ описываетъ ее красавицей; въ одномъ эпизодѣ его перваго романа, Филоколо, гдѣ аллегорія и анаграмматическое извращеніе имени (Асенга) позволяли ему быть откровеннѣе, она — одна изъ четырехъ нимфъ, которыя, опьяненныя жаромъ и виномъ, кичатся своею красотою и любовными похожденіями и кощунствуютъ надъ богами, а боги наказываютъ ихъ превращеніемъ—въ стилѣ Овидіевыхъ метаморфозъ.

Асенга издѣвается особенно надъ Луною, дозволяющею звать себя красивой, не смотря на то, что ея образъ мѣняется тысячу разъ въ мѣсяцъ, и лишь одинъ изъ нихъ прекрасенъ, да и то ночью, когда и безобразныхъ легко счесть за красавицъ. Моя-же красота не мѣняется отъ времени, хвастается Асенга, у меня нѣтъ затмѣній, мнѣ ни во что ни навѣянныя югомъ облака, ни сѣверный вѣтеръ, проясняющій небо: я всегда та-же, «никогда не скрывала своего чела отъ чьихъ-либо взоровъ, и не намѣрена скрывать, ибо знаю свою красоту, и мнѣ пріятно, что многіе меня любятъ и мною любуются; никогда еще не приказывала я ничего и ни о чемъ не просила, что-бы не было тотчасъ-же исполнено; мнѣ скорѣе пристало имя богини». Луна обращаетъ ее въ терновникъ, бѣлые цвѣты котораго держатся не долго, а черные пупыши, цвѣта луннаго затмѣнія, доживаютъ до поры новаго листа [1]).

Другой братъ Роберта, Филиппъ Тарентскій, женатый въ первомъ бракѣ на Итамарѣ, дочери Никифора Дуки Комнена, деспота Арты и Эпира, развелся съ нею по подозрѣнію въ невѣрности. Въ 1313 году, будучи уже въ лѣтахъ, онъ женился на Катеринѣ де Куртнэ, правнучкѣ Карла I и наслѣдницѣ, по своему дѣду, сыну Балдуина II, номинальныхъ правъ на латинскую имперію Константинополя. Филиппъ скончался въ 1331 году; гордая своимъ титуломъ «императрицы», падкая до роскоши и наслажденій, Катерина окружила себя поклонниками и ухаживателями; молва говорила и о любовникахъ, особливо о Никколò Аччьяйоли, молодомъ флорентійцѣ, котораго она приблизила къ себѣ въ качествѣ совѣтника и воспитателя своихъ сыновей [2]).

Съ конца XIII-го вѣка извѣстенъ былъ во Флоренціи торговый и банкирскій домъ Аччьяйоли, имѣвшій дѣла не только въ главныхъ итальянскихъ городахъ, но во Франціи и Англіи, въ

1) Filocolo II, стр. 263—4, 281—2.

2) О Никколò Аччьяйоли см. Tanfani, Niccola Acciajuoli; Gregorovius, Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter, 2-er Band, стр. 123 слѣд.; о родѣ Аччьяйоли l. c. Register.

Тунисѣ, на Кипрѣ и въ Греціи, гдѣ у нихъ были феоды въ Мореѣ, уступленные имъ Джьованни ди Дураццо. Это приготовило позднѣйшее (до 1460 года) господство Аччьяйоли въ Коринѳѣ, Ѳивахъ и Аѳинахъ и объясняетъ рядъ именъ изъ той-же семьи на епископскихъ каѳедрахъ Коринѳа и Ѳивъ, Патраса и Кефалоніи. Въ началѣ XIV-го столѣтія отецъ Никколò Аччьяйоли учредилъ въ Неаполѣ торговый домъ; денежная помощь, которую онъ оказалъ королю Роберту, не осталась безъ награды: въ 1323 году король сдѣлалъ его своимъ каммергеромъ и совѣтникомъ, далъ ему баронію въ Апуліи и городъ Прато въ Тосканѣ, съ титуломъ королевскаго викарія. Въ 1331 году отецъ Аччьяйоли послалъ въ Неаполь своего сына, Никколò — вести торговое дѣло; это былъ молодой человѣкъ, на три года моложе Боккаччьо [1]), но уже женатый; Боккаччьо [2]) помнитъ, въ какомъ скромномъ видѣ онъ явился, довольствуясь однимъ слугой; отношенія ко двору Катерины побудили его промѣнять коммерческую дѣятельность на другую, болѣе видную, гдѣ онъ могъ проявить свои блестящія дарованія. Войдя въ милость къ вдовствовавшей герцогинѣ Тарента, онъ руководилъ воспитаніемъ ея дѣтей и управленіемъ ея герцогствомъ; въ 1338—41 годахъ сопровождалъ её въ Грецію, гдѣ устроилъ ея дѣла и свои собственныя, вернувшись значительнымъ феодальнымъ владѣльцемъ въ княжествѣ Ахайѣ. Въ событіяхъ, послѣдовавшихъ за смертью короля Роберта († 1343), онъ игралъ роль, далеко выходившую за предѣлы собственно-неаполитанскихъ отношеній; ему, главнымъ образомъ, принадлежитъ умиротвореніе южно-итальянской смуты и сохраненіе престола за королевой Джьованной и ея вторымъ мужемъ, Людовикомъ Тарентскимъ, которые возвели его въ высшую придворную и государственную должность: «великаго сенешаля».

Аччьяйоли представляется намъ хорошимъ типомъ тѣхъ людей, практиковъ, которыхъ движеніе гуманизма коснулось одною

1) Род. 10-го сентября 1310 года.
2) Въ письмѣ къ Нелли у Corazzini, стр. 152.

своею стороною, поднявъ въ нихъ самосознаніе, развивъ энергію, любовь къ славѣ и красотѣ жизни, безъ капли того яда, который вызвалъ меланхолію Петрарки и заставляетъ тревожиться Боккаччьо. Умный и энергичный, онъ не даромъ восхищался изреченіемъ своего придворнаго поэта Заноби да Страда: кто боится смерти, у того нѣтъ желаній. Красивый собою, сильный и ловкій, съ блестящими глазами, бѣлокурый — онъ заслуживалъ названіе льва, какое даетъ ему Боккачьо; левъ кстати красовался въ его гербѣ. Всѣ эти достоинства онъ не только сознавалъ за собою, но и упражнялъ ихъ и холилъ: любилъ показываться въ нарядной одеждѣ, иногда въ порфирѣ, съ блестящей свитой, собиралъ рѣдкое оружіе, кичился дорогими конями; былъ щедръ (на скомороховъ, иронически замѣчаетъ разсердившійся на него Боккаччьо) и гостепріименъ, умѣлъ щегольнут блескомъ своихъ праздниковъ и пировъ, за что его сограждане, скромные флорентійскіе буржуа, обозвали его Сарданапаломъ, самъ же отличался крайней воздержностью, а по постнымъ днямъ ограничивался хлѣбомъ и водою. Снаряжаясь въ греческій походъ, онъ завѣщалъ похоронить себя въ неаполитанской Чертозѣ и чтобъ на его гробницѣ находилось его изваяніе во всеоружіи и съ его имемъ; и онъ поясняетъ, что такое желаніе внушено ему не славолюбіемъ или подобной какой суетностью, а — благимъ рвеніемъ къ Богу и міру! Это—наивная оговорка, обличающая затаенную черту характера, общій психологическій пошибъ времени: культъ личной славы, и мы готовы повѣрить ядовитому воспоминанію Боккаччьо: будто Аччьяйоли не разъ проговаривался при немъ, что предпочелъ бы всѣмъ своимъ богатствамъ — родословную отъ фригійскихъ боговъ! Его образованіе было нахватанное, показное, отзывавшееся переходной эпохой, но въ немъ классическіе мотивы и перечни героическихъ именъ назойливо бьютъ въ глаза: также признакъ времени и увлеченія внѣшнимъ идеаломъ древности. Боккачьо признаетъ за нимъ большія литературныя дарованія — но что въ нихъ толку, когда дѣятельность увлекаетъ его въ другую сторону? Къ тому-же писанія на на-

родномъ языкѣ еще не дѣлаютъ литераторомъ. Находясь въ Палермо, среди военной тревоги, Аччьяйоли пишетъ какую-то книгу, можетъ быть, замѣчательную и достойную гомеровскаго стиха, но не на флорентійскомъ, а на какомъ-то смѣшанномъ языкѣ, говоритъ Боккаччьо, и это стилистическое впечатлѣніе подтверждается письмомъ Аччьяйоли къ нотаріусу Ландольфу и политической исповѣдью, составленною, въ цѣляхъ самозащиты, для его сына Анджело, но назначенною для огласки [1]): вездѣ діалектическія формы полу-наивно, полу-педантически чередуются съ латинизмами. Чѣмъ-то старымъ отзывается попытка Аччьяйоли описать по французски, въ стилѣ романовъ Круглаго Стола, дѣянія крестоносцевъ, и новымъ—его страсть къ письмамъ, которыя не только направлялись къ извѣстному лицу, но и сознательно распространялись повсюду — во свидѣтельство краснорѣчія писавшаго. Это напоминаетъ такую-же сообщительность Петрарки.—Боккаччьо хвалитъ эти письма, замѣчая впрочемъ, что въ нихъ больше красивыхъ фразъ, чѣмъ дѣла; что до своихъ латинскихъ посланій, то самъ Аччьяйоли сознавалъ ихъ стилистическіе недостатки, ихъ правили его литературные пособники, Никколò д'Алифе и Барбато изъ Сульмоны [2]); получивъ отъ Аччьяйоли одно такое письмо, Петрарка отвѣчаетъ, что призналъ въ немъ умъ писавшаго и, вмѣстѣ, сладкозвучное перо «нашего Барбата» [3]).—Какъ у человѣка, чуткаго къ вопросамъ дня, у Аччьяйоли было уваженіе и любовь къ литературѣ въ ея современномъ передовомъ движеніи, но въ этомъ движеніи онъ удѣлялъ себѣ роль не дѣятеля, а покровителя: между Везувіемъ и Фалерномъ онъ затѣвалъ устройство новаго Парнасса, освя-

1) Tanfani, l. c. стр. 201 слѣд., 211 слѣд.

2) Сл. письмо Аччьяйоли къ Петраркѣ у Cochin, Un ami de Petrarque, Lettres de Francesco Nelli à Petrarque, стр. 309—310 (silvestri gramatica); militaris epystola въ надписаніи письма ad Franciscum Petrarcham *laureatum* принадлежитъ, очевидно, не Петраркѣ, а Аччьяйоли (иначе Cochin, стр. 310).—Petr., Fam. XII, 3.

3) Fam. XIII, 9.

щеннаго именемъ Петрарки, котораго звалъ въ Неаполь [1]). Онъ ожидалъ и признанія и панегерика, и находилъ то и другое; Петрарка, на письма котораго онъ напрашивался [2]), отдѣлывался пышными фразами: твои дѣла заслуживаютъ поэмы, твое привѣтливое обращеніе, мягкость нравовъ, благость высокаго ума — лирическихъ пѣснопѣній; ты рожденъ для высокаго подвига, я для того, чтобы связать кое-какъ нѣсколько словъ [3]). Когда Петрарка писалъ эти слова, онъ еще не зналъ лично Аччьяйоли, но могъ дѣйствительно увлекаться его политической ролью; въ 1360 году они познакомились, Аччьяйоли съумѣлъ польстить самомнѣнію гуманиста [4]), и риторизмъ похвалъ не знаетъ теперь мѣры: ты моя краса, краса родины! такъ кончается одно его письмо [5]). Боккаччьо, близко стоявшій къ Аччьяйоли и также прельщавшійся его блестящимъ образомъ, бросился впослѣдствіи въ другую крайность: его стала коробить литературная дружба безъ равенства, отмѣривавшая награды согласно похваламъ, и онъ обидѣлся въ одномъ изъ тѣхъ приливовъ самосознанія и гордости, которые на него находили. Аччьяйоли и не могъ быть имъ доволенъ: онъ не былъ достаточно дворовымъ человѣкомъ, слишкомъ берегъ свое достоинство, свой покой (tranquillitatum sectator). Другое дѣло — Занноби да Страда, флорентійскій грамматикъ и поэтъ, тихій и ласковый, котораго Аччьяйоли къ себѣ приблизилъ; къ нему онъ ощутилъ даже дружбу, которую не воспиталъ въ себѣ по отношенію къ обидчивому, угловатому Боккаччьо.

Именно для характеристики Боккаччьо, какъ и для пониманія эпохи важно было подробнѣе познакомиться съ Аччьяйоли. И тотъ и другой талантливые проходимцы, вышли изъ торговой

1) Fam. XIII, 9 (1352 г.); письмо Нелли къ Петраркѣ отъ 6 ноября 1361 г. у Cochin, l. c. № XXVII, стр. 280—2.

2) Сл. XXVIII и XXIX письма Нелли у Cochin, l. c. стр. 286 и 296, и письмо Аччьяйоли выше стр. 57, прим. 2.

3) Fam. XI, 13; Epist. poet. III, 14.

4) Fam. XXII, 6.

5) Fam. XXIII, 18.

конторы и выработались — одинъ въ государственнаго дѣятеля, другой въ поэта и ученаго; и тотъ и другой показательные типы новой эпохи. Правда, Аччьяйоли помогли его средства, вліяніе его дома и положеніе отца, но слѣдуетъ принять во вниманіе условія флорентійской колонизаціи Неаполя и ту особенность итальянскаго развитія, что культурный раздѣлъ классовъ и тогда и позже ощущался тамъ менѣе рѣзко, чѣмъ гдѣ либо, и ихъ общенію не представлялось большихъ преградъ. Такимъ то образомъ сынъ небогатаго купца, Боккаччьо, проникъ, еще юношей, ко двору короля Роберта [1]), въ близко стоявшія къ нему общественныя и научныя сферы, гдѣ его руководителемъ могъ быть Аччьяйоли и его наблюденія обняли всю неаполитанскую жизнь— отъ народнаго квартала до элегантнаго салона, гдѣ царили красавицы, поименно описанныя имъ въ юношеской бездѣлкѣ, «Діаниной Охотѣ» (La caccia di Diana), и до помпы общественныхъ празднествъ. Ихъ онъ описываетъ также реально, какъ бытовой типъ, подмѣченный въ улицѣ Мальпертуджіо, лишь болѣе торжественно и реторично, съ увлеченіемъ новичка, передъ которымъ негаданно открылась поэзія жизни, и онъ самъ въ ней участвуетъ.

Съ нимъ вмѣстѣ участвуемъ и мы: присутствуемъ на брачномъ пирѣ, когда послѣ свадебнаго стола начинаются танцы подъ звуки музыки либо пѣсни, и молодые люди толпятся вокругъ отдыхающихъ дамъ, которыя бесѣдуютъ о любви. Боккаччьо видимо знакомъ съ обрядовымъ обиходомъ: вдовьи браки надо совершать ночью, пишетъ онъ много лѣтъ спустя Магинарду деи Кавальканти по поводу его свадьбы.—Съ любовью изображаетъ онъ турниры, пришлый обычай, обновленный французскимъ вліяніемъ, но утерявшій въ неаполитанской средѣ свое серьезное значеніе: любовались не силой, а ловкостью, красотою формъ и одежды. Игра продолжала быть не безопасной: Петрарка изрекъ ей проклятіе, когда на одномъ неаполитанскомъ

1) De Cas. Vir. illustr. IX, 26.

турнирѣ палъ прекрасный юноша; такими глупостями не занимались ни Сципіонъ, ни Цезарь, писалъ онъ Уго, маркизу д'Эсте [1]). Въ Боккаччьо, наоборотъ, онѣ вызывали рядъ античныхъ воспоминаній: весною, когда обновляется природа и — пламя въ молодыхъ сердцахъ, неаполитанскія красавицы собираются въ лождіяхъ, посмотрѣть на военную игру, точно снохи Пріама, когда съ другими принаряженными фригійскими женами онѣ пришли привѣтствовать свекра. Къ вечеру, когда слабѣютъ солнечные лучи, являются достохвальные правители Авзонійскаго царства; полюбовавшись на дамъ и ихъ танцы, они удаляются, съ ними и всѣ молодые люди, но чтобы вернуться въ иныхъ роскошныхъ одеждахъ, съ вѣнками и золотыми обручами на головѣ, готовые къ игрѣ. Такого блеска и великолѣпія не довелось описать ни Гомеру, ни Виргилію: здѣсь и Асканій и Деифобъ, Ираклъ и Ахиллъ, и свирѣпый Пирръ, и бѣлокурый Парисъ. Нѣсколько разъ объѣхавъ тихимъ шагомъ площадь, чтобы показаться народу, они принимаются за ристаніе: прямо держась въ стременахъ, закрываясь легкими щитами, съ копьями, обращенными остріемъ къ землѣ, они мчатся по аренѣ, точно вѣтеръ, тогда какъ воздухъ полонъ кликомъ народа, бряцаньемъ бубенцовъ, звуками музыки и звяканьемъ сбруи, и похвалы достаются тому, чье копье держится остріемъ ближе къ землѣ, кто лучше укрылся щитомъ и прямѣе сидитъ на конѣ.—Это не турниръ въ собственномъ смыслѣ слова, а нѣчто вродѣ древнихъ майскихъ празднествъ, принявшихъ оболочку рыцарства.

Любимымъ центромъ неаполитанскихъ удовольствій былъ Байскій берегъ, привлекавшій еще римлянъ поэзіей своего пеизажа, цѣлебными источниками и свободой наслажденій. Боккаччьо какъ впослѣдствіи Понтанъ [2]), воспѣвалъ и описывалъ его не разъ, въ сонетахъ, въ географическомъ трактатѣ (De montibus) и психологическомъ романѣ Fiammetta [3]). Его влекла сюда и

1) Fam. V, 4; Sen. XI, 13.
2) Hendecasyllabi l. I: ad Actium Syncerum.
3) Fiammetta, V, стр. 91 слѣд., 106—7.

живая декорація древности, древней и вмѣстѣ «новой для современныхъ душъ»,—и, болѣе того, воспоминанія о личномъ счастьѣ. Здѣсь гробница великаго Мизена, открывающая путь въ царство Плутона, оракулъ Кумской Сивиллы, Авернское озеро, остатки Нероновскихъ сооруженій и развалины храма, посвященнаго, говорятъ, Венерѣ. Она властвуетъ по прежнему, потому что, продолжаетъ Боккаччьо, парафризируя стихи Овидія [1]), «хотя здѣсь и врачуются тѣлесные недуги, но рѣдко или почти никогда не случалось, чтобы кто нибудь, отправившійся туда душевно-здоровымъ, вернулся здоровый духомъ, не то чтобы больные уврачевались». Какая бы то ни была тому причина: близость-ли моря, откуда вышла Венера, или вліяніе весенней поры, когда преимущественно посѣщаютъ Байи, изысканная-ли пища и старыя вина, способныя оживить мертвеца, только тамъ и почтенныя женщины, отложивъ на время стыдливость, позволяютъ себѣ больше, чѣмъ прилично было бы въ иномъ мѣстѣ. Все отдано забавѣ и развлеченіямъ: охотятся за птицей, ловятъ рыбу, пируютъ на берегу въ тѣни утесовъ, либо выѣзжаютъ въ море, съ пѣснями и музыкой, останавливаясь у всякой скалы и пещеры, пока не пристанутъ къ какому нибудь излюбленному мѣсту. Тамъ уже все полно народомъ: гдѣ только есть возможность укрыться отъ лучей солнца, сидятъ кружками, завтракаютъ, переходя изъ одной группы къ другой, приглашая раздѣлить веселье. Послѣ завтрака, пляски и пѣсни; обратный путь съ такими же остановками и встрѣчами: красивыя дѣвушки, босыя, съ обнаженными руками, въ шелковыхъ костюмахъ, бродятъ въ водѣ, отрывая отъ морскихъ скалъ раковины, и молодые люди заглядываются на ихъ прелести. «Здѣсь сердца отверсты и свободны, и таковы тому причины, что едва-ли возможно не сдѣлать того, о чемъ попросятъ»; «время проходитъ большею частью въ бездѣльи, и если проходитъ въ чемъ-либо, то въ разговорахъ о любви, женщинъ промежъ себя, либо въ

1) Ars Amatoria I, 259.

обществѣ молодыхъ людей» — какъ въ 6-й новеллѣ третьяго дня Декамерона [1]).

Въ Филоколо и Декамеронѣ Боккаччьо знакомитъ насъ съ содержаніемъ этихъ бесѣдъ, крайне характерныхъ какъ для міросозерцанія того общества, среди котораго онъ провелъ свою молодость и сложились его взгляды, такъ и для вопроса о вліяніи французской культуры на итальянскую.

Въ Провансѣ и Франціи рыцарскій бытъ создалъ рядъ отношеній между полами, сомнительныхъ съ точки зрѣнія церковнаго и традиціоннаго брака, но получившихъ въ практикѣ жизни значеніе упрочившагося факта и право на признаніе. Самое появленіе этихъ отношеній указываетъ на то, что родовой и дѣловой бракъ, державшійся въ обществѣ, не удовлетворялъ болѣе въ развитыхъ его слояхъ требованіямъ чувства. Новыя отношенія сложились въ господствовавшихъ формахъ феодализма, прочныхъ, но болѣе свободныхъ, чѣмъ освященныя церковью брачныя узы: настоящей любви не можетъ быть между супругами, ибо они отдаются другъ другу въ законѣ, тогда какъ любящіе связаны взаимнымъ одолженіемъ [2]). Рыцарскіе поэты всегда пылаютъ къ женѣ другого, она—сюзеренъ его помысловъ, онъ—ея вассалъ, служащій ей преданно и беззавѣтно; сюзеренъ требовалъ вѣрности, которая скрѣплялась клятвой и поцѣлуемъ, символическимъ обрядомъ, напоминавшимъ брачный; вассалъ робко ждалъ себѣ

1) Съ описаніемъ Боккаччьо любопытно сличить Senecae Epist. LI: Nos utcunque possumus contenti sumus Baiis...: locum ob hoc devitandum, cum habeat quasdam naturales dotes, quia sibi illum celebrandum luxuria desumsit... Illic sibi plurimum luxuria permittit: illic, tanquam aliqua licentia debeatur loco, magis solvitur... Videre ebrios per litora errantes, et commessationes navigantium, et symphoniarum cantibus perstrepentes lacus, et alia, quae velut soluta legibus luxuria non tantum peccat, sed publicat, quid meum est?

2) Сл. Andreae Capellani regii Francorum De Amore libri tres, rec. Trojel (Havniae 1892), lib. I, cap. VI, стр. 141 слѣд.; 153: amorem non posse suas inter duos jugales extendere vires. Nam amantes sibi invicem gratis omnia largiuntur nullius necessitatis ratione cogente. Jugales vero mutuis tenentur ex debito voluntatibus obedire et in nullo se ipsos sibi invicem denegare. Сл. ib. стр. 172 и lib. II, cap. VII, jud. IX, стр. 280—1, jud. XVII, стр. 290; Ov. Art. Am. II, 157—8: Non legis jussu lectum venistis in unum: Fungitur in vobis munere legis amor.

награды; связь покоилась на довѣріи, на оберегѣ чувства отъ законнаго надзора и непрошеннаго соглядатая; чѣмъ рѣже такія отношенія могли доходить до естественной развязки, всегда обставленной опасеніями, тѣмъ болѣе въ нихъ преобладалъ моментъ ожиданія, чаянія, чувство настраивалось болѣзненно-чутко, обращалось на всякую мелочь, анализовало всѣ возможные положенія и въ то-же время обобщалось въ мистическій платонизмъ, въ которомъ искала успокоенія неудовлетворенная страстность. Говорили, что любовь исключаетъ вожделѣніе [1]), что награда любви— въ самомъ чувствѣ [2]). Въ результатѣ получилось пониманіе любви, какъ особой, самоопредѣляющейся силы, облагораживающей человѣка, подчиняющей его себѣ внѣ счетовъ съ условной нравственностью. Амуръ самъ себѣ судья; средневѣковая аллегорія любитъ представлять его судящимъ и рядящимъ въ дѣлахъ, ему подвластныхъ; а ему подвластно все: Amors que totas causas vens, поетъ о немъ Arnautz de Maruelh; такъ въ суровую условность аскетическаго обѣта яркимъ лучемъ свѣта врывался кликъ св. Бернарда: Magna res est amor [3]).

Эта любовь, эта joi d'amor, наполняющая лирику трубадуровъ и романы бретонскаго цикла, по существу, не новая: народная плясовая пѣсня, полная весенняго разгула, изстари пѣла объ ея радостяхъ и бремени брака. Новымъ представляется то, что это чувство теперь систематизируется, что вопросы о природѣ любви, тонкости любовной практики начинаютъ всѣхъ интересовать, что о нихъ толкуютъ въ культурномъ обществѣ. Это былъ интересъ дня, на который отзывались поэты въ своихъ тенцонахъ и jeux-partis, дамы въ бесѣдѣ салоновъ. Кто счастливѣе: тотъ-ли, кто молитъ о любви, или тотъ, кто владѣетъ ею? Кто несчастнѣе: тотъ-ли, кто ревнуетъ любимую, обладаемую имъ женщину, или не ревнивый, но не пользующійся взаимностью? Таковы во-

1) Сл. напр. Guilhem de Montanhagol и Francesco da Barberino, Doc., part. II, str. 6 и канцона 6-я.

2) Мадонна Лиза у Фр. да Барберино въ комментаріяхъ къ Doc.

3) 83-я проповѣдь.

просы въ одномъ изъ jeux-partis знакомаго намъ Adans de la Halle. Чтеніе Овидіевой Ars Amatoria, извѣстной въ цѣломъ рядѣ переводовъ и подражаній, шло на встрѣчу общественному спросу: разобраться въ вопросахъ чувства, и помогало ихъ формулировать. Умѣть любить стало искусствомъ; явились особые казуисты любви и попытки обосновать логически нелегальныя отношенія. Такимъ казуистомъ былъ въ концѣ XII-го вѣка нѣкій капелланъ Андрей: въ своемъ латинскомъ трактатѣ о Любви онъ разсказалъ намъ, между прочимъ, о бесѣдахъ и преніяхъ по любовнымъ вопросамъ, поднимавшимся въ обществѣ виконтессы нарбоннской Эрменгарды, Аліэноры, разведенной королевы французской, впослѣдствіи англійской, и Маріи Шампанской; но живую салонную болтовню или и серьезные разговоры, нравственно обязывавшіе своимъ рѣшеніемъ заинтересованныя лица, онъ представилъ схоластически подъ видомъ суда и судоговоренія; судьи — дамы. За вычетомъ этой формы, подсказанной аллегорическими представленіями о дворѣ, судилищѣ Амура, и въ свою очередь создавшей въ исторіи литературы миѳъ о настоящихъ «судилищахъ любви», съ ихъ особой юрисдикціей и исполненіемъ нравственной кары надъ виновными, остается самое содержаніе бесѣдъ, постановка вопросовъ и вызванныя ими рѣшенія [1]). Различается напр. чистая любовь (purus amor), ограничивающаяся умственнымъ созерцаніемъ и сердечной привязанностью, доходящая до объятія и поцѣлуя и осязанія голаго тѣла — и любовь, смѣшанная (mixtus amor) съ тѣлесной похотью, недолговѣчная [2]). Крестьяне способны лишь къ послѣдней, ихъ не слѣдуетъ обучать таинствамъ высшей любви, ибо это дѣло имъ не свойственное, онѣ влекутся къ Венерѣ не иначе, какъ лошадь или мулъ; къ тому-же, еслибы посвящать ихъ въ тѣ таинства, поля остались бы невоздѣланными за недостат-

1) Новѣйшую литературу о «судилищахъ любви» сл. у Crescini, Per la quistione delle corti d'amore (Padova, 1891); повторено въ его-же: Per gli studi Romanzi. Saggi ed Appunti. Padova, 1892.

2) Andr. Capell. l. c. l. I, cap. VI, стр. 182 слѣд.

комъ работниковъ [1]). Интересно отмѣтить эту сословную исключительность въ вопросѣ чувства, не знавшаго отличія кастъ, какъ то утверждаетъ самъ Андрей [2]), и на практикѣ постоянно смѣшивавшаго границы духа и плоти. Дѣло въ томъ, что новая эволюція любви совершалась въ средѣ интеллигентной аристократіи, облекалась въ ея бытовыя формы; онѣ же давали и матерьялъ для фиктивныхъ приговоровъ. Ставилось напр. такое положеніе: рыцарь, любящій нѣкую даму, прибѣгаетъ къ посредству пріятеля, имѣющаго къ ней болѣе доступа, чѣмъ онъ, а пріятель, пользуясь случаемъ, самъ ищетъ любви дамы, которая и склоняется на его просьбы. Рѣшили: предоставить обоимъ предателямъ мирно наслаждаться плодами своей измѣны, но исключить ихъ изъ любви кого-бы то ни было другого и не принимать въ общество рыцарей и дамъ, его, какъ проступившагося противъ рыцарскаго слова, ее — противъ чести дамъ. Подобное рѣшеніе дается по поводу человѣка, открывшаго довѣренную ему тайну двухъ влюбленныхъ [3]).

Вся эта теорія любви и выразившія ея лирическія формулы, усвоенныя поэтами сициліанской школы, нашли въ Италіи особое развитіе. Классическое преданіе дало здѣсь новую жизненность и реальныя краски для олицѣтворенія Амура; философія болонской школы углубила анализъ чувства, перенеся центръ тяжести съ діалектическихъ тонкостей на психологію, поставивъ вопросъ о «благоустроенномъ сердцѣ» (cuor gentile), какъ естественномъ сосудѣ любви; разборъ ея разнообразныхъ аффектовъ обогатилъ поэтическій языкъ новыми выраженіями, образными въ своей отвлеченности: «духи любви» отвѣтили на всѣ процессы впечатлѣнія, увлеченія, отчаянія, духи печальные и радостные, блѣдные и рдѣющіе стыдомъ. Таковъ языкъ флорентійской поэзіи «новаго стиля»; она предполагала и въ обществѣ соотвѣтствующій инте-

1) l. c. lib. I, c. XI, стр. 235—6.
2) l. c. lib. I, c. VI, стр. 17—18, 23—5, 37—8, 45, 47, 51, 53 слѣд. 59, 61, 113, 179.
3) l. c. lib. II, cap. VII, jud. XVI (стр. 288—9) и XVIII (стр. 290—1).

ресъ къ вопросамъ любви. И здѣсь въ модѣ форма тенцоны: Гвидо Кавальканти поетъ о природѣ любви въ отвѣтъ Гвидо Орланди; такова тема и перваго стихотворенія, съ которымъ Данте обращается къ другимъ итальянскимъ поэтамъ; Франческо да Барберино толкуетъ объ Амурѣ съ Фра Амьери и въ 18-мъ отдѣлѣ своего Del Reggimento наставляетъ дамъ въ нѣкоторыхъ любовныхъ вопросахъ, которые имъ подобаетъ знать.

Такіе-же разговоры и тотъ-же интересъ къ теоріи любви засталъ Боккаччьо въ неаполитанскихъ салонахъ 30-хъ годовъ XIV вѣка. Онъ говоритъ о нихъ въ посвятительномъ письмѣ къ своему Филострато, а въ одномъ эпизодѣ Филоколо, прототипѣ Декамерона, выводитъ передъ нами цѣлое общество мущинъ и и женщинъ, расположившихся въ саду у источника, въ тѣни деревьевъ, укрывающихъ ихъ отъ полуденнаго зноя. Бесѣда идетъ о любви, нерѣдко по поводу какого-нибудь разсказа; предсѣдательствуетъ и рѣшаетъ Фьямметта. Первый вопросъ—шутливый: за одной дѣвушкой ухаживаютъ двое; снявъ вѣнокъ съ головы одного изъ нихъ, она возлагаетъ его на себя, а свой надѣваетъ на другого. Кому она выразила болѣе любви? Послѣднему, ибо болѣе любятъ того, кому что-нибудь даруютъ, чѣмъ того, у кого что-либо берутъ. Это сюжетъ, напоминающій joc partit Savaric'а de Mauleo и одинъ анонимный итальянскій сонетъ, тенцону Адріана и Антоніо изъ Пизы—и сходный мотивъ у Ямвлиха: трое соискателей ухаживаютъ за Месопотаміей, основывая свои права на заслугахъ и знакахъ любви, полученныхъ ими отъ дѣвушки: одному она подарила кубокъ, изъ котораго обыкновенно пила, на другого возложила свой вѣнокъ, третьяго поцѣловала. Бахоръ, хорошій судья любовныхъ распрей, рѣшаетъ въ пользу послѣдняго [1]).—Второй вопросъ: кто несчастнѣе—та-ли, которая насладилась своею любовью и чей милый живетъ въ изгнаніи, или та,

1) Сл. Seelbach, Das Streilgedicht in der prov. Lyrik, стр. 81; Greif въ Zs. für vergl. Litteraturgeschichte u. Renaissance-Litteratur, N. F., I B., стр. 291—3; Bolte въ Vierteljahrsschrift f. Literaturgeschichte II, стр. 575 слѣд.

которая не насладилась потому, что разныя препятствія держатъ ее вдали отъ любимаго человѣка? — Несчастнѣе первая, ибо ее постоянно должна мучить память о быломъ счастьѣ.—Чья любовь предпочтительнѣе: дѣвушки, замужней женщины или вдовы? (вопросъ IX). Фьямметта рѣшаетъ въ пользу вдовы, какъ Пуччи въ отвѣтномъ сонетѣ къ Боккаччьо [1]) и Жиро̀ Рикье въ тенцонѣ съ Гильемъ Ренье [2]). — Или ставится вопросъ (III): кого предпочесть въ любви: храбраго, обходительнаго и щедраго—или мудраго? Побѣда остается за мудрымъ, какъ въ Consilium Romaricimontis, въ Altercatio Phyllidis et Florae и ихъ французскихъ подражаніяхъ преимущество отдано клерку передъ рыцаремъ [3]). То-же противоположеніе мудраго, любезнаго и щедраго — храброму и именитому, и въ томъ-же вопросѣ о выборѣ, даетъ содержаніе тенцонамъ Рустико да Филиппо (либо Palamidesse Berlendote) [4]) и провансальцевъ [5]), тогда какъ сонетъ Кьяро Даванцати [6]) вводитъ насъ всецѣло въ отношенія, среди которыхъ сложился кодексъ Андрея Капеллана. Поэтъ завѣряетъ свою даму въ неизмѣнной преданности звѣздѣ своего сердца, она отвѣчаетъ его любви, но говоритъ, что теперь ему слѣдовало бы измѣнить свои привязанности и отдаться другой. Оказывается, что оба связаны—бракомъ; тѣмъ не менѣе бесѣда продолжается и поэтъ убѣждаетъ свою даму дозволить ему любить ее по прежнему, ибо, прежде чѣмъ вступить въ брачную связь, онъ у нея-же попросилъ на то дозволенія. Пожеманившись и заявивъ о своемъ намѣреніи соблюсти вѣрность своему мужу, дама изъявляетъ о

1) Сл. Bocc. Rime № 101.

2) Rev. des langues romanes t. XXXII, стр. 116—117; сл. Guido Cavalcanti, ed. Ercole, стр. 58—9 и Knobloch, Die Streitgedichte im Prov. und Altfranz. стр. 47, 68.

3) Сл. еще Andr. Cap. l. c. lib. I, c. VI, стр. 189.

4) О тенцонахъ Adriano и Antonio da Pisa и Palamidesse Berlendote (либо Rustico da Filippo) сл. Gaspary въ Literaturblatt. f. germ. u. rom. Philol. 1885, p. 74. Сл. Canzonette antiche pubblicate da Edoardo Alvisi, p. 42—44.

5) Knobloch, l. c. 69.

6) Между 1360 и 1280-мъ гг.

своемъ согласіи, допуская даже, что ихъ тайная любовь можетъ быть порой увѣнчана — счастьемъ [1]).

Нѣтъ сомнѣнія, что эти любовныя бесѣды сложились подъ впечатлѣніемъ салонной моды, занесенной изъ Франціи, но въ Неаполѣ онѣ нашли почву, готовую къ ихъ воспріятію, какъ рыцарскія ристанія, описанныя Боккаччьо, вошли въ колею майскихъ празднествъ. Если во Франціи рыцарскій идеалъ любви опредѣлялся отчасти недочетами традиціоннаго брака, то въ Италіи эти отрицательныя условія должны были существовать въ болѣе рѣзкихъ формахъ. Особенно на югѣ скрещиваніе разныхъ культуръ, латинской, византійской и арабской, должно было необходимо повести къ взаимному ослабленію унаслѣдованныхъ нравственныхъ понятій, и не въ кругу лишь семьи; съ другой стороны антицерковное движеніе XIII вѣка, въ главѣ котораго сталъ Фридрихъ II, умалило сдерживающее значеніе церкви и ея морали. И здѣсь началось разложеніе бытовой семьи, и не французскимъ вліяніемъ объясняется распущенность байскихъ нравовъ; это наслѣдіе Рима и императорскаго гарема въ Луцерѣ; въ XIV-мъ вѣкѣ Антоніо Пуччи жалуется на тлетворное вліяніе рабынь, которыхъ привозили съ востока итальянскіе кунцы. И здѣсь въ высшихъ классахъ, болѣе культурныхъ и нервно поживших, чѣмъ соотвѣтствующіе во Франціи, долженъ былъ явиться спросъ на отношенія, которыя удовлетворили бы требованіямъ личности. Рыцарскій амурный идеалъ отвѣтилъ имъ, но и самъ вошелъ въ эволюцію новой среды. Этотъ идеалъ былъ несомнѣннымъ прогрессомъ въ исторіи личнаго чувства и самосознанія, но на первыхъ порахъ прогрессомъ одностороннимъ. Его сложили мужчины — не женщины; этого не слѣдуетъ забывать, когда говорятъ о женственномъ характерѣ среднихъ

1) Сл. Andr. Cap., l. c. lib. II, c. VII, jud. VIII, стр. 280: Quum domina quaedam satis idoneo copularetur amori, honorabili postmodum conjugio sociatur et suum coamantem subterfugit amare et solita sibi solatia negat. Эрменгарда рѣшаетъ: Nova superveniens foederatio maritalis non recte priorem excludit amorem.

вѣковъ въ сравненіи съ эпохой возрожденія; рыцарскіе поэты возвеличили любовь, какъ облагораживающее чувство, какъ живительную силу, внушающую мужество, героизмъ подвига или самоотреченія; на далекихъ границахъ она сплывалась съ неземною любовью, движущею небесами. Это идеальное пониманіе озаряло и женщину, его внушившую, но лишь условно: центръ тяжести лежалъ въ новой цѣнности, какую получало чувство для того, кто его ощутилъ. Женщина можетъ, не сдѣлавъ ничего замѣчательнаго, быть поводомъ мужчинѣ совершить, благодаря ей, великія и достойныя памяти дѣла, говоритъ Боккаччьо въ одномъ изъ своихъ позднихъ произведеній [1]); она можетъ быть ниже внушеннаго ею чувства, или безсознательно зародивъ его, обмануть, и тогда какъ одухотворяющая сила любви превозносится до небесъ, ея орудіе топчется въ грязь. Оттого и въ эпоху платонизирующей рыцарской лирики и у капеллана Андрея и въ пору Возрожденія, не у одного лишь Боккаччьо, это странное чередованіе идеализаціи и чувственности, диѳирамба любви и ожесточенія противъ женщинъ, подбирающаго къ нимъ всѣ оскорбительные эпитеты средневѣковаго ригористическаго поученія и условныя схемы восточныхъ сказокъ о злыхъ женахъ. Нѣтъ естественной середины, на которой могли бы успокоиться эти крайности: нѣтъ прочувствованнаго идеала семьи, въ немъ слишкомъ много долга и героизма, и слишкомъ мало мѣста для любви.

Для того, чтобы выйти изъ этой страдательной роли и отраженнаго ореола, женщинѣ надо было взять на себя иниціативу всей той мысленной работы, которая привела мужчину къ постановкѣ новыхъ требованій, и не только имъ подчиняться, но и самостоятельно ихъ заявить. Надо было научиться мыслить и говорить, съумѣть защитить свои положенія, отвести нападки, не ища, но и не опасаясь откровенностей, знать цѣну остраго слова и шутки, этой необходимой принадлежности культурной

1) De Claris Mulieribus, введеніе.

итальянской бесѣды, теорію которой далъ Петрарка, въ XV-мъ вѣкѣ Понтанъ. Такія женщины не постоятъ за словомъ, въ границахъ, указанныхъ приличіемъ, и вообще умѣютъ разсуждать: ben parlante назвалъ ихъ Боккаччьо; для нихъ и написаны его «сто новеллъ», не для тѣхъ, кто «удовлетворяется иглой, веретеномъ и мотовиломъ» [1]), кто рядится, полагая, что чѣмъ пестрѣе на ней платье и чѣмъ больше на немъ полосъ и украшеній, тѣмъ болѣе ее слѣдуетъ почитать, «не помышляя о томъ, что еслибъ нашелся кто-нибудь, кто-бы все это навьючилъ или навѣсилъ на осла, оселъ могъ-бы снести гораздо большую ношу, чѣмъ любая изъ нихъ, и что за это его сочли бы не болѣе, какъ осломъ». «Такъ разукрашенныя, подкрашенныя, пестро одѣтыя, онѣ стоятъ, словно мраморныя статуи, нѣмыя и безчувственныя, и такъ отвѣчаютъ, когда ихъ спросятъ, что лучше было-бы, если-бы онѣ промолчали; а онѣ увѣряютъ себя, что ихъ неумѣніе вести бесѣду въ обществѣ женщинъ и достойныхъ мужчинъ исходитъ отъ чистоты духа, и свою глупость называютъ скромностью, какъ будто та женщина и честна, которая говоритъ лишь со служанкой или прачкой или своей булочницей; вѣдь еслибъ природа того хотѣла, какъ онѣ въ томъ увѣряютъ себя, другимъ бы способомъ ограничила ихъ болтливость» [2]). Эти простушки могутъ пасть по темпераменту и покаяться не въ глубокомъ сознаніи вины, а въ сознаніи проступка передъ ходячимъ кодексомъ нравственности; ни одна изъ нихъ не могла бы повести рѣчи Гисмонды, когда отдавшись въ любви Гвискардо, доблестному, но худородному служителю ея отца, салернскаго принца Танкреда, она, во всемъ признаваясь, желаетъ «дѣйствительными доводами защитить свою честь». Да, я пала, говоритъ она отцу, но употребила всѣ старанія, «чтобы изъ того грѣха, къ которому увлекала меня природа, не вышло позора ни тебѣ, ни мнѣ»; Гвискардо я выбрала не случайно, а «съ разумнымъ раз-

1) Декамеронъ, введеніе.

2) Декамеронъ, I, 10; сл. VI, 1.

счетомъ». Онъ, говоришь ты, человѣкъ низкаго происхожденія, но развѣ это недостатокъ, спрашиваетъ она, защищая принципъ безсословной любви: ты «коришь не мой грѣхъ, а грѣхъ фортуны, очень часто возвышающей недостойныхъ и оставляющей внизу достойнѣйшихъ». Вѣдь ты знаешь, «что у всѣхъ насъ плоть отъ одного и того-же плотскаго вещества, и что всѣ души созданы однимъ Творцемъ съ одинаковыми свойствами, одинаковыми качествами. Лишь добродѣтель впервые различила насъ, рождавшихся и рождающихся одинаковыми, и тѣ, у которыхъ ея было больше, и они въ ней были дѣятельнѣе, были названы благородными, а остальные остались неблагородными. И хотя противоположный обычай прикрылъ впослѣдствіи этотъ законъ, онъ еще не уничтоженъ и не искорененъ ни изъ природы, ни изъ добрыхъ нравовъ; потому, кто поступаетъ добродѣтельно, открыто заявляетъ себя благороднымъ, и если называютъ его иначе, то виновенъ въ этомъ не названный, а тотъ, кто называетъ». Ты говоришь, что онъ бѣднякъ, «но бѣдность ни у кого не отнимаетъ благородства, а только достояніе. Много королей, много великихъ властителей были бѣдняками, и многіе изъ тѣхъ, которые копаютъ землю и пасутъ овецъ, были и пребываютъ богачами». И она проситъ отца обратить свою жестокость на нее, какъ на первую причину проступка, ужъ «если допустить проступокъ», и узнавъ, о гибели милаго, сама убиваетъ себя, дабы «дѣломъ мужественно выразить величіе своего духа» [1]).

Такія женщины почерпаютъ свою энергію не въ одномъ только темпераментѣ, а и въ сознаніи своей индивидуальности, въ образовательномъ цензѣ, выдвинувшемъ ихъ изъ толпы и освобождавшемъ изъ узъ преданія. Это обходилось не безъ крайностей и нравственныхъ излишествъ, ибо сдерживающая сила принципа была еще впереди, къ нему еще направлялось движеніе. Данте иронически относится къ вѣтреной Гаѣ [2]), презри-

1) Декамеронъ, IV, 1.
2) Purg. XVI, 141; сл. Benv. da Imola, Comm. III, 451.

тельно къ распущенности Чангеллы, о которой такъ потѣшно разсказываетъ Боккаччьо и Бенвенуто изъ Имолы [1]). Но крайности выработаются въ болѣе самосознательный типъ передовой женщины XVI вѣка; платонизирующія бесѣды о вопросахъ любви обратятся тогда въ пустую моду, феррарскія дамы будутъ засыпать подъ ихъ журчанье, и флорентійскій посланникъ разскажетъ намъ, что Альфонсу II приходилось будить невнимательныхъ слушательницъ.

Боккаччьо былъ самъ участникомъ этого культурнаго движенія въ его началахъ, въ періодъ новообразованій; что онъ изъ него обобщилъ и усвоилъ, то отложится позднѣе въ типахъ и этическихъ взглядахъ его Декамерона; пока онъ заноситъ пережитое въ «книгу своей памяти», гдѣ на первыхъ страницахъ стоитъ имя его Фьямметты-Маріи.

3) Corbaccio; Benv. da Imola l. c. V, 147.

II.

НЕАПОЛЬ. НАУКА И ЛЮБОВЬ. ЮНОШЕСКАЯ ЛИРИКА И ФИЛОСТРАТО.

I.

Боккаччьо такъ разсказываетъ, въ одномъ эпизодѣ своего перваго романа (Филоколо), отъ имени пастуха Идалага, содержанiе своей неаполитанской жизни: ребенкомъ онъ слѣдовалъ путями отца-пастуха (былъ въ наукѣ у купца), но когда окрѣпло въ немъ врожденное ему благородство духа, онъ, покинувъ низменные холмы, потщился воззойти трудными тропами къ болѣе высокимъ предметамъ, но по неосторожности впалъ въ сѣти Амура, изъ которыхъ никогда не могъ выпутаться [1]). Какiе это высокiе предметы — это объясняется изъ слѣдующихъ подробностей того-же эпизода: покинувъ отцовскiе поля (Флоренцiю), Идалагъ явился въ эти лѣсныя сѣни (Неаполь), чтобы продолжать дѣло, которому научился (торговое); здѣсь, пребывая съ почтеннымъ пастухомъ Кальметой, которому вѣдома была сущность почти всѣхъ вещей, онъ внималъ, когда, подъ звуки свирѣли, тотъ поучалъ его измѣненiямъ и движенiямъ луны, почему она то теряетъ, то обновляетъ свой свѣтъ, порой замедляется въ своемъ эпициклѣ, плыветъ то быстрѣе, то ровнѣе. Его грубый умъ увлекается этими наставленiями, и онъ усваиваетъ ихъ, не какъ арабъ въ пустынѣ, а пристальнымъ изученiемъ. Ставъ опытнымъ въ этомъ дѣлѣ, онъ разстался съ пастушеской жизнью и весь отдался Палладѣ; одиночество лѣса облегчало ему слѣдованiе по ея труднымъ стезямъ; онъ сторожится стрѣлъ Амура и все-таки становится жертвой «коварнаго стрѣлка» [2]).

1) Filocolo, v. II, стр. 238.

2) l. c. стр. 243, 246 слѣд.

Итакъ: обученіе у Кальметы, увлеченіе Палладой — и затѣмъ сѣти Амура: наука и любовь [1]).

Кальмета — это Андалоне ди Негро, родомъ изъ Генуи, извѣстный математикъ и астрономъ, объѣхавшій почти весь свѣтъ и многое видѣвшій на своемъ вѣку (род. ок. 1260 г.), человѣкъ образованный и, можетъ быть, поэтъ. Андалоне увлекъ молодаго Боккаччьо на стези Паллады, и ученикъ всегда хранилъ о немъ благодарную память. Онъ красовался своими астрономическими знаніями, и когда ему случалось коснуться какого-нибудь хронологическаго момента личныхъ воспоминаній, разсѣянныхъ въ его романахъ, любилъ выражать ихъ описательно, терминами ходячей астрономіи; въ своихъ Генеалогіяхъ боговъ онъ постоянно цитуетъ своего достопочтеннаго учителя по вопросамъ хронологіи, астрономіи и астрологіи — потому что Андалоне вѣрилъ въ астрологическіе бредни и самъ оставилъ Introductio ad judicia astrologica. Увлеченіе не новое и на латинскомъ западѣ, и въ Византіи; какъ въ XIII столѣтіи Фридрихъ II и Эццелино да Романо держали астрологовъ Ѳеодора и Гвидо Бонатти, такъ король Робертъ приблизилъ къ себѣ Андалоне и Діонисія da Borgo San Sepolcro, а извѣстный Cecco d'Ascoli былъ астрологомъ при сынѣ Роберта, Карлѣ Калабрійскомъ. По естественной слабости къ другу, Петрарка поощрялъ Діонисія и его покровителя къ занятіямъ астрологіей [2]), хотя при другихъ случаяхъ, между прочимъ въ письмѣ къ Боккаччьо [3]), рѣзко выступалъ противъ вѣры въ вліяніе звѣздъ и въ возможность изъ ихъ

1) Объ учителяхъ Боккаччьо сл. Faraglia, Barbato di Sulmona e gli uomini di lettere della corte di Roberto d'Angiò (Archiv. Stor. ital. III, 1889); мою статью: Учители Боккаччьо, Вѣстникъ Европы, 1891, Ноябрь. — Объ Андалоне спеціально: Cornelio de Simoni, Intorno alla vita ed ai lavori di Andalò di Negro (оттискъ изъ Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche, t. VII, Luglio 1874, обязательно доставленной мнѣ авторомъ). О Варлаамѣ: Успенскій, Очерки по исторіи византійской образованности (Спб. 1892), сл. Указатель, a. v. Варлаамъ; еп. Порфирій Успенскій, Исторія Аѳона, ч. III: Аѳонъ монашескій, отд. II, стр. 217 слѣд. (Спб. 1892).

2) Сл. Epist. poet. I, 13.

3) Sen. III, 1.

сочетаній предвидѣть судьбу. Боккаччьо остался вѣренъ звѣздамъ, какъ и его Фьямметта[1]): онъ развиваетъ это ученіе въ Генеалогіяхъ боговъ[2]), и еще въ послѣднемъ трудѣ, чтеніяхъ о Божественной Комедіи, готовъ спасти принципъ астрологіи — осуждая астрологовъ. Если въ этомъ вопросѣ Петрарка представляется намъ бо̀льшимъ раціоналистомъ, то въ Боккаччьо отразился общій типъ людей Возрожденія, среди которыхъ увлеченіе астрологіей отвѣтило спросамъ крѣпнувшаго самосознанія. Личность развилась, и чѣмъ сильнѣе ощущалась ея цѣнность, тѣмъ страстнѣе было желаніе увѣренности, опредѣленія: если пути промысла неисповѣдимы, то многое вѣщаютъ звѣзды. Соединялось несоединимое: въ королѣ Робертѣ богословъ уживался съ астрологомъ; Чино изъ Пистойи проситъ Чекко д'Асколи открыть ему, какія созвѣздія ему благопріятны, какія враждебны — ибо «отъ ихъ суда не уйти»; личность, отважно вышедшая искать своей доли, встрѣтилась съ желѣзной стѣной фатализма; изъ противорѣчій свободы и рока выпутывались софизмомъ, что мудрый даетъ законы свѣтиламъ[3]). Вопросъ о судьбѣ, о фортунѣ, со времени Боэція одно изъ любимыхъ общихъ мѣстъ средневѣковой поэзіи, историческихъ «сѣтованій» (lamenti)[4]) и поэмъ Генриха изъ Сеттимелло и Генриха Миланскаго, сталъ теперь очереднымъ: о немъ толкуютъ Чекко деи Росси и Заноби да Страда; Томмазо дель Гарбо, флорентійскій медикъ[5]), и поэтъ Браччьо Браччи обращаются къ Петраркѣ съ просьбой разъяснить имъ, что̀ такое фортуна; о томъ же разспрашиваетъ его дофинъ за столомъ у Французскаго короля, и Петрарка отдѣлывается общими мѣстами[6]); иные дни Декамерона сами собой распредѣляются по категоріямъ счастливой или несчастной судьбы; въ трактатѣ о Роковой участи великихъ людей

1) Fiammetta, стр. 62.
2) Gen. Deor. I, 10; III, 22; IX, 4.
3) Sen. III, 1.
4) Сл. A. Medin, Ballata alla Fortuna, въ Propugnatore, N. S., v. II, fasc. 7—8, стр. 101 слѣд.
5) Sen. VIII, 3.
6) Fam. XXII, 13.

чудовищный образъ Фортуны врывается къ поэту и запрещаетъ ее злословить.

Всѣ эти вопросы могли предстать еще юношѣ Боккаччьо въ его бесѣдѣ съ Андалоне; живымъ отзвукомъ такихъ бесѣдъ, интересовавшихъ, очевидно, и ученика и учителя, является апологъ о фортунѣ, полушкольнаго, полународнаго содержанія, и такого-же назидательнаго характера, какъ апологъ Павла (или Петра) діакона, переданный Петраркой [1]). Разсказываетъ Боккаччьо: когда еще молодымъ человѣкомъ онъ слушалъ Андалоне, попалась однажды при чтеніи такая фраза: нечего обвинять звѣзды, когда несчастный самъ снискалъ себѣ недолю [2]). Какъ услышалъ это Андалоне, шутникъ, не смотря на лѣта (festivus, esto longevus), весело замѣтилъ: Это подтверждается древней хорошенькой притчей. Боккаччьо попросилъ разсказать ее, и, благодушный и сговорчивый Андалоне, подозвавъ нѣсколькихъ изъ своихъ именитыхъ слушателей, началъ такъ: встрѣтились однажды Фортуна (понятая здѣсь, какъ счастье, богатство) и Нищета, или лучше бѣдная Доля, но добровольная, по собственному побужденію отказавшаяся отъ благъ Фортуны, свободная отъ ея узъ, ликующая своей свободой «кормилица Рима»; встрѣтились и вступили въ перебранку и бой, въ которомъ первая побѣждена и покорятся условіямъ побѣдительницы. — Въ дальнѣйшемъ разсказѣ значеніе Фортуны мѣняется: это уже Судьба, въ услуженіи которой стоятъ образы, знакомые народной сказкѣ: счастливой и несчастной Доли (Fortunium и Infortunium). И вотъ Нищета требуетъ: пусть счастливая Доля ходитъ свободно по свѣту, куда пошлетъ ее Судьба, а несчастную прикуютъ цѣпями къ столбу, чтобы ей нельзя было тронуться съ мѣста, ни переступить чей-либо порогъ, — развѣ вмѣстѣ съ тѣмъ, кто развяжетъ ея путы. Это сказочный мотивъ: лихая доля привязывается къ тому, кто освободитъ ее, закованную, запертую;

1) Fam. III, 13.

2) Non incusanda sydera sunt, cum sibi infortunium quaesierit oppressus.

вмѣстѣ съ тѣмъ это и практическій, не логическій выходъ изъ идей фатализма: несчастная доля — въ рукахъ самого человѣка [1]).

Такъ могъ рѣшать, въ благодушномъ противорѣчіи съ собою, старикъ Андалоне; прислушался-ли къ нему Боккаччьо? Его юношеское письмо къ анониму [2]) надписано: враждебный судьбѣ; такая-же подпись въ письмѣ къ Аччьяйоли отъ 1341 года [3]); «враждебной судьбѣ» зоветъ себя [4]) и непризнанная мужемъ Джилетта изъ Нарбонны. «Fata neronizant in me, говорилъ когда-то Генрихъ изъ Сеттимелло, ему враждебна Фортуна, Rhamnusia [5]); раннія письма Боккаччьо полны жалобъ именно на Рамнузію. И позже онъ не выходитъ изъ противорѣчій фатума и свободы: если Фьямметта влюбилась, то такова ея доля [6]), Мессалина ищетъ себѣ извиненіе въ томъ, что родилась при роковомъ сочетаніи созвѣздій [7]); долю посылаютъ небеса [8]), а вмѣстѣ съ тѣмъ человѣку вольно отдаться или нѣтъ всесильному Амуру [9]). Такъ и въ введеніи къ притчѣ о Фортунѣ и Нищетѣ несчастные, оказывается, сами вызвали свою судьбу.

Въ Генеалогіяхъ боговъ [10]) Боккаччьо упоминаетъ и другого человѣка, которому онъ многимъ былъ обязанъ въ первые годы своей неаполитанской жизни: съ 1332 года мы встрѣчаемъ при дворѣ, въ званіи клерика, нотаріуса канцеляріи и королевскаго библіотекаря, Паоло изъ Перуджіи, игравшаго не послѣднюю роль въ ученомъ кружкѣ Роберта. Ранняя классическая начитанность Боккаччьо, особливо по отдѣлу миѳологіи, идетъ изъ

1) De Cas. l. III, c. 1.
2) Corazzini, стр. 457: Sacrae famis.
3) l. c. стр. 18; сл. Amor. Vis. XXX, 17 и Canzone IV.
4) Дек. III, 9.
5) De diversitate fortunae lib. I, v. 20; l. II, v. 133, 195.
6) Fiammetta, стр. 103.
7) De Cas. VII, 3; сл. Gen. Deor. IX, 4.
8) Fiammetta, стр. 152.
9) Ib. стр. 149.
10) Gen. Deor. XV, 6.

этого источника. «Если былъ, когда-либо, человѣкъ, съ такимъ увлеченіемъ разыскивавшій повсюду, по приказанію своего повелителя, рѣдкія сочиненія, историческія и поэтическія—то это былъ онъ; человѣкъ степенный, уже не молодой, полный разнообразнаго знанія,.... онъ написалъ громадный трудъ, названный имъ Liber Collectaneum, гдѣ, кромѣ многихъ другихъ свѣдѣній, относящихся къ разнымъ предметамъ, собрано было все, что можно было найти о языческихъ богахъ, не только у латинянъ, но и у грековъ, собрано, какъ я полагаю, при помощи Варлаама». «Въ то время, когда я съ нимъ познакомился, ему, помнится, не было равнаго въ такого рода занятіяхъ», вспоминаетъ Боккаччьо. Онъ многое извлекъ изъ его энциклопедіи; онъ и самъ— такой-же собиратель: его записная тетрадь представляетъ репертуаръ самыхъ разнообразныхъ свѣдѣній и помѣтокъ, и въ содержаніи классической древности его всегда привлекала фабула, новелла миѳа. Это — свойство таланта и, можетъ быть, печать учителя. Когда впослѣдствіи, приступивъ къ своимъ Генеалогіямъ боговъ, Боккаччьо вспомнилъ о комментаріяхъ своего наставника, ихъ не оказалось на лицо: Паоло покинулъ дворъ еще до смерти Роберта (1343 г.), жилъ въ нуждѣ, обремененный семействомъ, пока королева Джьованна не утвердила за нимъ мѣста нотаріуса въ Terra di Lavoro, доходами котораго онъ жилъ, имѣя тамъ замѣстителя. Онъ умеръ въ пору чумы 1348 года, а его жена, Біэлла, находясь въ стѣсненномъ положеніи, растеряла всѣ его сочиненія. Отъ него остался лишь комментарій къ сатирамъ Персія и небольшой генеалогическій перечень древнихъ боговъ и героевъ, очевидно, предназначенный для школьнаго обихода. Онъ можетъ дать понятіе о соотвѣтствующей части Collectanea Паоло, которыми Боккаччьо пользовался, но съ выборомъ, порой предпочитая его толкованіе миѳа другимъ, нерѣдко расходясь съ нимъ, постоянно его цитуя, кое-гдѣ ссылаясь и на источникъ его греческой мудрости, монаха Варлаама.

Зналъ-ли онъ лично этого страннаго человѣка, предшественника захожихъ въ Италію византійскихъ ученыхъ XV-го вѣка,

подвижнаго и заносчиваго, тщеславнаго, но талантливаго греко-итальянца, показывавшаго среди грековъ презрѣніе къ византійской культурѣ и наукѣ [1]), а на западѣ предъявлявшаго свидѣтельства императоровъ, именитыхъ и ученыхъ людей, что уже давно не было мужа столь замѣчательнаго и великаго знанія, какъ онъ?

Съ легкой руки Петрарки и Боккаччьо Варлаамъ занялъ мѣсто въ исторіи ранняго итальянскаго Возрожденія. Они реторично преувеличили его въ своихъ воспоминаніяхъ, а историки литературы повѣрили имъ на слово. Его роль въ подъемѣ гуманистическихъ интересовъ придется сильно ограничить.

Бернардо, въ монашествѣ Варлаамъ, родился въ концѣ XIII вѣка, въ греческой Калабріи, въ Семинарѣ, гдѣ въ сосѣднемъ монастырѣ св. Филарета воспитывался и принялъ постриженіе [2]). На сколько онъ обязанъ своимъ образованіемъ монастырской либо вообще итальянской школѣ, или школамъ Солуня, гдѣ онъ жилъ раньше, чѣмъ въ 1327—8 году объявился въ Константинополѣ, сказать трудно; упрекъ въ крайнемъ пристрастіи итальянцевъ къ силлогизму, который имъ такъ же необходимъ, какъ лопата копачу и весло плывущему, предъявляется и Варлааму его византійскими противниками; это и полемическая выходка — и свидѣтельство вліянія западной схоластической науки.

Пробывъ нѣкоторое время въ Солуни и на Аѳонѣ, гдѣ познакомился съ господствовавшими тамъ мистическими теченіями, онъ переѣхалъ въ Константинополь; здѣсь онъ тотчасъ же обратилъ на себя вниманіе императора Андроника младшаго и его родственника Іоанна Кантакузина. Онъ былъ ученъ и краснорѣчивъ, быстро усваивалъ и отлично излагалъ, превозносясь своимъ знаніемъ, и, какъ говорили его противники [3]), строя свою обще-

1) Nic. Gregorae I ed. Bonn., p. 555.

2) Basilii caesariensis monachum, выражается о немъ Боккаччьо, Gen. Deor. XV, 6.

3) Nic. Greg. l. c.

ственную репутацію на приниженіи и порицаніи другихъ. Кантакузинъ, впослѣдствіи ему враждебный, былъ совершенно увлеченъ его «латинской ученостью»; ему, пришельцу, поручено было преподаваніе богословія и толкованіе ученій св. Діонисія Ареопагита [1]), а въ 1331 году онъ былъ сдѣланъ настоятелемъ монастыря Пандократора, одного изъ важныхъ въ Константинополѣ. Полный самомнѣнія, онъ вызвалъ на ученый споръ Никифора Григору, но былъ пораженъ и осмѣянъ. Такъ увѣряетъ его совопросникъ, добавляя, что именно эта неудача и побудила его искать славы на другомъ поприщѣ [2]), когда, удалившись въ Солунь, онъ поднялъ догматическій споръ, взволновавшій византійскую церковь: о еретическихъ мудрованіяхъ аѳонскихъ иноковъ — гезихастовъ касательно таинствъ созерцательной жизни и сердечной молитвы, въ защиту которыхъ выступилъ Григорій Палама.

Между тѣмъ Варлаамъ въ чести у императора, ведетъ бесѣду съ послами папы Іоанна XXII, явившимися въ Константинополь по вопросу о соединеніи церквей, а въ 1339 году отправленъ вмѣстѣ съ Стефаномъ Дандоло къ королю Роберту, Филиппу IV и Бенедикту XII толковать о томъ-же соединеніи и общихъ военныхъ мѣрахъ противъ турокъ, занявшихъ малую Азію. Переговоры ни къ чему не привели, взамѣнъ того они открыли Петраркѣ и Боккаччьо новые горизонты знанія.

Въ Неаполѣ, гдѣ Варлаамъ былъ весною 1339 года, отправляясь въ Авиньонъ, и на обратномъ пути въ Сентябрѣ, онъ познакомился съ ученымъ кружкомъ короля Роберта и вошелъ въ особую дружбу съ Паоло изъ Перуджіи, которому доставилъ свѣдѣнія и толкованія по греческимъ миѳамъ изъ какихъ-то «греческихъ анналъ [3]). И Паоло и Боккаччьо позволяютъ себѣ кое-когда противорѣчить его показаніямъ, но полны уваженія къ

1) l. c. стр. 922.
2) l. c. стр. 555—6.
3) Gen. Deor. IX, 7; сл. IV, 47.

этому «человѣчку, маленькому ростомъ, но великому знаніемъ» [1]), предъявлявшему на то царскія ручательства. «Ему-ли не повѣрю я, особенно въ томъ, что касается Греціи? продолжаетъ Боккаччьо. Я не видѣлъ ни одного его труда, хотя слышалъ, что онъ написалъ ихъ нѣсколько; были у меня нѣкоторыя его писанія, не сведенныя въ книгу и безъ заглавія, свидѣтельствовавшія, что если въ латинской литературѣ онъ не былъ достаточно свѣдущъ, то многое видѣлъ и проницательно уразумѣлъ».

По возвращеніи съ запада, гдѣ онъ не достигъ цѣли своего посольства, Варлаамъ является въ Солуни и на Аѳонѣ; здѣсь и разыгралась его распря съ гезихастами и Паламой, которыхъ поддерживалъ своимъ вліяніемъ разошедшійся съ Варлаамомъ Кантакузинъ. Обличенія Варлаама побудили созвать въ св. Софіи соборъ на 11-е іюня 1341 года; соборъ рѣшилъ не въ его пользу, и онъ покинулъ Грецію; въ 1341 году онъ снова въ Неаполѣ, въ 1342—въ Авиньонѣ. Вліяніе Петрарки доставило ему епископство въ Джераче, недалеко отъ Семинары [2]); здѣсь онъ и умеръ въ концѣ 40-хъ или началѣ 50-хъ годовъ.

Можетъ быть, ко второй поѣздкѣ Варлаама, скорѣе, чѣмъ къ первой, относится сближеніе Петрарки съ Варлаамомъ. Когда въ Авиньонѣ явился этотъ «современный представитель греческой мудрости», Петрарка вздумалъ учиться у него по гречески: ему хотѣлось въ подлинникѣ познакомиться съ греками, которыхъ онъ зналъ лишь въ отраженіяхъ римлянъ. У него уже былъ экземпляръ Платона [3]); позднѣе грекъ Николай Сигеръ доставилъ ему Гомера, и Петрарка просилъ его о присылкѣ Гезіода и Еврипида [4]), какъ нѣсколько лѣтъ спустя ждалъ отъ Леонтія Пилата списковъ Еврипида и Софокла [5]); но они для него нѣмы; онъ все

1) l. c. XV, 6.

2) Посвященъ въ Авиньонѣ 2 окт. 1342 года.

3) Сл. Var. 25 (къ Боккаччьо); Fam. XVIII, 2; De sui ipsius et aliorum ignorantia, стр. 1053—4; Boccaccio, Comm. l. XV, ed. Milanesi, I, 370.

4) Fam. XVII, 2, отъ 1354 г.

5) Sen. VI, 1.

еще надѣялся научиться ихъ языку, какъ то удалось въ старости Катону, принялся было съ Варлаамомъ читать діалоги Платона en regard съ подлинникомъ, и лишь быстрый отъѣздъ учителя на епископію и его ранняя смерть помѣшали этому намѣренію[1]). За то рвенія было много: «каждый день приходилъ ко мнѣ Варлаамъ писалъ Петрарка Сигеру[2]), и какъ онъ самъ заявлялъ, получалъ отъ бесѣды со мною не менѣе, если не болѣе пользы, чѣмъ я отъ него. Говорилъ ли онъ такъ искренне, или изъ любезности — не знаю; вѣрно одно, что если въ греческомъ языкѣ онъ былъ краснорѣчивѣйшимъ, его латинская рѣчь лишена была всякаго изящества, и его прекрасный умъ, изобиловавшій идеями, былъ бѣденъ словами для ихъ выраженія. Потому, поочередно подавая другъ другу руку, я невѣрнымъ шагомъ робко вступалъ въ его область, онъ, подъ моимъ руководствомъ и часто съ бо̀льшимъ успѣхомъ, слѣдовалъ за мною въ мою. Ибо между нами было еще и то отличіе, что онъ гораздо болѣе зналъ по латыни, чѣмъ я по гречески; въ послѣднемъ я былъ совсѣмъ новичкомъ, въ первомъ онъ пошелъ нѣсколько далѣе, ибо, родившись въ итальянской Греціи и будучи старше меня, онъ имѣлъ случай общаться съ латинами, они были его учителями, и ему легко было вернуться къ старой привычкѣ».

Общественная и церковная дѣятельность Варлаама производитъ впечатлѣніе какой-то двойственности и неясности, что̀ легко вмѣнить его психологическому типу, если забыть условія времени и обстоятельствъ и колеблющійся обликъ личностей и народныхъ группъ, случайно поставленныхъ на политическихъ и культурныхъ границахъ. Они—прирожденные посредники, они поневолѣ двоятся, и эта двойственность порождаетъ въ нихъ равнодушіе или раціонализмъ; въ этихъ условіяхъ переходъ на ту или другую сторону совершается при меньшемъ давленіи разсчета или увлеченія, не вызывая обычныхъ идей вмѣняемости, но и роковымъ об-

1) Fam. XXIV, 12; Var. 25; Sen. XI, 9; De sui ipsius et aliorum ignorantia l. c.; De Contemptu mundi, стр. 346.

2) Fam. XVIII, 2.

разомъ не вызывая симпатій. Калабріецъ Леонтій Пилатъ, ученикъ Варлаама, позднѣе учитель Боккаччьо, такой-же двуличный типъ: итальянецъ съ греками, грекъ съ итальянцами, онъ выдаетъ себя за уроженца Солуня, бранитъ Италію, разставаясь съ Петраркой, и снова направляется въ эту благословенную страну, осыпая хулами все византійское. Ему недостаетъ лишь общественной, отвѣтственной дѣятельности, которая бросаетъ тѣнь на Варлаама. Уроженецъ Италіи, грекъ по исповѣданію, Варлаамъ явился естественнымъ дѣятелемъ въ вопросѣ объ единеніи церквей; его рѣчь къ папѣ обличаетъ въ немъ ловкаго политика, докладная записка предлагаетъ обойтись безъ обсужденія догмата объ исхожденіи Св. Духа, предоставивъ ученымъ толковать о немъ и каждому исповѣдывать по своему. Онъ пишетъ противъ Ѳомы Аквинскаго, посвящаетъ какому-то Франциску свой трактатъ противъ папскаго главенства, затѣмъ становится на сторону католичества и въ посланіи къ друзьямъ въ Греціи обличаетъ греческую схизму, поднимая вопросы о приматѣ папы и объ исхожденіи Св. Духа.

Была-ли эта двойственность Варлаама выраженіемъ колебаній, вышедшихъ къ убѣжденію,—этотъ вопросъ намъ здѣсь не важенъ; существеннѣе вопросъ о двойственности его образовательнаго ценза. Если Кантакузинъ называетъ его «единомышленникомъ латинамъ», то этимъ не только выражается подозрѣніе въ религіозномъ единомысліи, но и въ качествѣ и характерѣ его знаній. Петрарка и Боккаччьо ставили ихъ очень высоко, но на вѣру: они не знали писаній Варлаама по церковнымъ и догматическимъ вопросамъ, ни его Этики по ученію стоиковъ, ни его трактатовъ по астрономіи и замѣтокъ о Гармоніи Птолемея по поводу двухъ главъ, дополненныхъ Григорой. Если присоединить къ этому его занятія Евклидомъ, Аристотелемъ и Платономъ, то получится очень почтенный кругъ знаній, которымъ въ то время могли обладать немногіе. Григора, очевидно, искажаетъ факты, когда въ своей исторіи говоритъ о латинской лишь учености Варлаама, а эллинской онъ будто-бы коснулся лишь концами

пальцевъ, и окончательно переходитъ въ преувеличеніе, изображая намъ (въ своемъ діалогѣ Флорентій) фигуру хвастливаго воина отъ науки, Ксенофана-Варлаама, Ѳразимахова сына. Онъ, говорятъ намъ, явился изъ Калабріи, гдѣ не осталось и слѣда не только эллинскихъ музъ, но и того языка, на которомъ говорятъ греческіе крестьяне и копачи; по рожденію латинянинъ-итальянецъ, онъ объясняется на діалектѣ, по гречески лишь съ затрудненіемъ. Свои знанія онъ, какъ слышно, пріобрѣлъ не въ Калабріи, а въ глубинѣ Италіи, и не обширныя, а лишь по Аристотелевой физикѣ и логикѣ, которыми особенно занимаются латиняне и итальянцы, къ тому же и не въ подлинникѣ, а въ старомъ сокращенномъ переводѣ на ихъ языкъ. Какъ человѣкъ любящій по природѣ все прекрасное, онъ возымѣлъ желаніе усовершенствоваться въ эллинскомъ языкѣ; потому, переправившись въ Калидонъ, городъ этолійцевъ, здѣсь совсѣмъ преобразилъ и языкъ и бороду, и одежду и манеры и обычаи, рѣшивъ, что не слѣдуетъ брить бороды, ни одѣваться въ латинское платье, чуждое грекамъ, съ которыми ему пришлось-бы общаться, а дабы ему болѣе вѣрили и его не подозрѣвали, облекся въ темную мантію. Оттуда онъ перешелъ въ нѣкій ѳессалійскій городъ, славившійся своею ученостью далеко за предѣлами сосѣдей и не уступавшій въ этомъ отношеніи ни одному изъ главныхъ городовъ отъ Этоліи до Локръ Озольскихъ; онъ отстоитъ отъ Аѳинъ и Аттики не менѣе, какъ на 2000 стадій. Пробывъ здѣсь продолжительное время и пріобыкнувъ къ греческому языку, Ксенофанъ возмечталъ о себѣ, и какъ у людей, не привычныхъ къ вину, оно бьетъ въ голову и они видятъ не видимое, и не то, что̀ есть, такъ и онъ, исполнясь гордыни, почелъ себя великимъ человѣкомъ, чреватымъ всякой мудростью, а на другихъ смотрѣлъ свысока. Узнавъ, что въ Аѳинахъ, «этой столицѣ всякой мудрости» [1]), не было въ то время Митродора (Метохита, великаго логоѳета), а Никагора (Григора) наложилъ на себя не-

1) Аѳины=Константинополь; то-же въ надгробномъ словѣ Григоры Метохиту: τὴν τῆς σοφίας μητρόπολιν.

вольное молчаніе, онъ явился туда, надѣясь тамъ заработать себѣ славу, ибо считалъ тамошнихъ софистовъ торгующими мудростью по мелочамъ. Онъ сталъ ходить по площадямъ и на собранія, обѣщая научить всякаго въ короткое время и за малую цѣну, далеко меньшую стоимости — ему не торговаться, какъ мелочнымъ продавцамъ,—а иныхъ поучая и даромъ.

Когда онъ услышалъ о томъ, что Митродоръ вернулся изъ ссылки и снова сталъ показываться съ своимъ другомъ Никагорой, то возревновалъ къ ихъ славѣ и принялся ихъ злословить: Гдѣ эти скитальцы, такъ ложно прославленные? Пусть явятся и покажутъ, что̀ такое они взяли у Аристотеля, что̀ знаютъ объ искусствѣ различенія и анализа, объ аподиктическихъ и діалектическихъ силлогизмахъ? А я хочу показать аѳинянамъ нѣчто новое и совсѣмъ неожиданное. Былъ онъ человѣкъ большой памяти, и что̀ прочелъ, то передавалъ устно, обстоятельно, точно по книгѣ, особливо толкователей всѣхъ твореній Аристотеля; только въ произношеніи словъ слышался варваризмъ, видно было, что онъ латинянинъ. Наморщивъ лобъ, онъ принимался различать ученіе о наукахъ вообще—и науку о добродѣтеляхъ, украшающихъ душу, устанавливая и еще дѣленіе, опредѣленное понятіемъ состязанія: тѣла противъ тѣла — это насиліе, и слова противъ слова: это искусство пренія; и такъ далѣе, восходя до недѣлимыхъ. Что до науки или искусства добродѣтели, не подлежащаго дальнѣйшему дѣленію, то усвоить его легко всякому, къ нему обращающемуся, за нѣсколько драхмъ. Кто-бы пожелалъ напр. узнать о справедливости и мужествѣ, какая изъ этихъ двухъ душевныхъ добродѣтелей выше, тому станетъ ясно, что мужество относится къ войнѣ и грабежу, справедливость-же къ противоположному.—Когда ему замѣтили на это съ удивленіемъ, что въ своемъ анализѣ онъ отнесъ мужество къ видамъ добродѣтелей души, а теперь относитъ его къ тѣлесной мерзости, онъ ничего другого не отвѣчалъ, какъ лишь то, что тутъ все дѣло въ словахъ, которыми пусть занимаются грамматики и риторы, а не тѣ, кто хочетъ философствовать въ направленіи Аристотеля.

У Ксенофана явились послѣдователи, которые повѣрили ему и уже стали было негодовать, не видя исполненія обѣщаній; они то и побудили его вызвать на споръ Никагору: онъ теперь не въ чести у властей, да и опечаленъ какъ собственными невзгодами, такъ и тяжкой болѣзнью друга Метохита († 1332); либо власти не позволятъ ему выступить, либо онъ самъ не приметъ вызова, что будетъ сочтено за боязнь, и слава Ксенофана поднимется; какъ отъ блестящихъ и свѣтлыхъ предметовъ свѣтъ отражается на близкіе къ нимъ, такъ слава врага на нападающемъ. — Такъ говорили Ксенофану его пріятели, но вмѣстѣ съ тѣмъ совѣтовали поучиться у ихъ грамматиковъ правильному словоупотребленію, какъ-бы его противникъ, не обращая вниманія на содержаніе рѣчей, не сразилъ его съ перваго слова за плохой эллинизмъ. Неужели мнѣ, такому философу, словно раку, попятиться назадъ въ ребячью школу? негодуетъ Ксенофанъ; вѣдь это значило бы желать убѣлить эѳіопа. Лучше я изложу вамъ вкратцѣ, что имѣю сказать, а вы пройдитесь по моимъ рѣчамъ вашимъ грамматическимъ канономъ, будто губкой. Это и было сдѣлано.

Никагора принялъ вызовъ нехотя и по принужденію. Собралось много народа, одни послушать Ксенофана, другіе, мудрецы, поглядѣть, какъ Никагора сниметъ съ аѳинянъ позоръ: въ былое время говорили, что не слѣдъ носить въ Аѳины совъ, теперь не по чемъ стали галки и майскіе жуки. Ксенофанъ храбро заявляетъ превосходство своихъ знаній надъ присутствующими мудрецами, пусть спрашиваютъ его, о чемъ угодно — и онъ цитуетъ стихъ Гомера. Никагора даетъ ему вопросъ изъ астрономіи, не трудный, а такой, какой доступенъ школьникамъ, дабы тѣмъ болѣе посрамить Ксенофана. И онъ дѣйствительно не отвѣчаетъ ни слова, смущенъ, колеблется и говоритъ: Зачѣмъ спрашиваешь ты меня о томъ, что недоступно смертнымъ? Кто изъ рожденныхъ на землѣ когда либо восходилъ на небо, чтобы повѣдать людямъ о звѣздныхъ путяхъ? Онъ отрицаетъ эту возможность, пересыпая отвѣтъ отрывками стиховъ. Въ толпѣ поднялся смѣхъ и свистъ,

Ксенофана срамятъ, а Никогора велитъ всѣмъ умолкнуть: не всѣмъ дано все знать, говоритъ онъ; немудрено, что Ксенофанъ, родившійся среди латинянъ, не знаетъ астрономіи: этой наукой, процвѣтающей у эллиновъ, тамъ не занимаются. Ксенофанъ можетъ проявить свои знанія на чемъ-либо иномъ. — На всемъ, кромѣ астрономіи и связанныхъ съ нею наукъ, соглашается Ксенофанъ и возмущенъ, когда Никагора ласково и спокойно задаетъ ему вопросъ—по грамматикѣ: въ этомъ рабскомъ, служебномъ искусствѣ, какъ и въ реторикѣ, философъ не нуждается. Напрасно Никагора указываетъ ему, что только благодаря посредству языка дошли до насъ творенія Аристотеля и Платона, что безъ реторики не обошлись ни Горгій, ни Демосѳенъ, ни Ѳукидидъ, ни Платонъ, величайшій изъ «эллинскихъ гласовъ». Занятіе такими пустяками не позволяетъ украшать душу, а въ этомъ была моя высочайшая цѣль, отвѣчаетъ Ксенофанъ.—Снова зашумѣла толпа, послѣдователи Ксенофана присѣли, краснѣя, онъ самъ попался, какъ рыба въ сѣти, и бѣшено обратившись на себя, какъ вакханки на Пенѳея, сбросивъ куколь и платье, бросился бѣжать. Когда его удержали, укоряя малодушіемъ, онъ сталъ бранить Никагору, что тотъ коварно поступаетъ съ нимъ, сознательно задавая ему вопросы, на которые онъ не можетъ отвѣтить, обходя знакомые ему. Никагора, улыбаясь, успокоиваетъ его и настолько ободряетъ, что Ксенофанъ предлагаетъ испытать его въ философіи Аристотеля и во всѣхъ познаніяхъ, которыя съ нею связаны и къ ней ведутъ. Онъ утверждаетъ, что Аристотель отрицалъ, какъ служебныя и обманчивыя, занятія грамматикой и риторикой, и сознается, что никогда не видѣлъ относящихся къ этой области сочиненій Аристотеля и не слыхалъ о нихъ; что же касается физики, онъ готовъ обо всемъ разсуждать научно, путемъ діалектическихъ и аподиктическихъ силлогизмовъ. — Но силлогизмы — принадлежность низшаго пониманія, отвѣчаетъ Никагора, это ложныя украшенія, органы, устроенные для другой цѣли; только итальянцы и тѣ, кто, учившись у нихъ, коснулись лишь концами пальцевъ преддверій науки, не поняли, чего ради

слѣдуетъ учиться этому искусству, и на силлогизмахъ остановились, полагая что въ нихъ — все, какъ кормчій судна счелъ-бы себя искуснымъ, потому лишь, что купилъ руль, или музыкантъ, пріобрѣтя плектръ. Древніе изобрѣтатели философіи и логики, слѣдуя водительству разума, исходили изъ высшаго умозрѣнія и, почерпая въ немъ привычку невещественной вѣры, уже затѣмъ обращались къ вещественному, познаваемому чувствами, возводя его къ единому началу, какъ бы по лѣствицѣ, которую уготовилъ имъ свыше разумъ въ силу присущаго ему знанія. Тотъ заслуживаетъ похвалы, кто, не будучи въ состояніи изойти изъ этого начала, взберется по этой лѣствицѣ къ юдоли истиннаго знанія, но еще болѣе тотъ, кто овладѣвъ имъ и отправившись отъ единаго по существу, обратится къ подлежащему чувствамъ, раскиданному въ разнообразіи явленій и, вмѣстѣ, вышедшему изъ одного корня, и въ пестрой связи многаго усмотритъ единое. Все это зналъ Аристотель, и какъ поэты въ образахъ миѳа являютъ непосвященнымъ отраженія истины, такъ и онъ изобрѣлъ для нихъ-же и для той-же цѣли нѣсколько извѣстныхъ и обманчивыхъ методовъ. — И Никагора пользуется возраженіемъ Ксенофана, чтобы подвергнуть критикѣ діалектическій и аподиктическій силлогизмы.

Въ дальнѣйшемъ спорѣ Ксенофанъ отходитъ въ сторону и выступаетъ вмѣсто него одинъ изъ его товарищей, Ксенократъ, такой-же, какъ онъ, аристотеликъ, но болѣе знающій и готовый убѣдиться, тогда какъ Никагора раскрываетъ, съ постоянными ссылками на то или другое сочиненіе Аристотеля, его противорѣчія и колебанія между его собственными положеніями и мнѣніями древнихъ мыслителей, Пиѳагора, Демокрита, Анаксимандра, Галена и Иппократа, лучшаго изъ теологовъ Гермеса Трисмегиста и «великаго гласа Эллады», Платона. Противъ него Аристотель тѣмъ болѣе провинился, порицая его, что является неблагодарнымъ его ученикомъ. Противорѣчія объясняются не изъ промаховъ памяти — ихъ слишкомъ много, — когда съ одной стороны говорится о безсиліи человѣческаго пониманія, съ другой чув-

ственный міръ ставится впереди чувственнаго воспріятія, какъ его условіе, а человѣческое знаніе сводится къ неясному представленію истинъ, добытыхъ изъ внѣшнихъ воспріятій и запечатлѣнныхъ живописцемъ природы на скрижаляхъ души. Если захотѣть глубже проникнуть въ сущность вещей, я обратился бы скорѣе къ дельфійскимъ богословамъ: недоумѣваютъ и они, но близкое общеніе съ божествомъ просвѣщаетъ ихъ свыше. Но что говорить о богословахъ Дельфъ, когда я могу указать на лучшихъ, чѣмъ они, и также полныхъ недоумѣнія передъ тайной сущаго? На этомъ я кончу.

Конченъ и споръ. Никагора увѣнчанъ, какъ побѣдитель, Ксенофанъ подвергается порицанію за то, что захотѣлъ вмѣшаться въ число философовъ, выдавъ за золотой или серебряный — сосудъ изъ неблагороднаго металла. Ксенофанъ сгорѣлъ отъ стыда, готовъ провалиться или утопиться, умеръ-бы съ горя, если бы кое-кто не успокоилъ его ласковыми словами. Онъ затѣваетъ отомстить за пораженіе: ходитъ къ ученикамъ Никагоры, подъ видомъ обученія, и усвоивъ себѣ нѣчто по математикѣ и астрономіи, начинаетъ обстрѣливать Никагору тупыми стрѣлами; тотъ отмалчивается. Видя свое невѣжество обнаруженнымъ, онъ отплылъ изъ Константинополя на сѣверъ въ нѣкій ѳессалійскій градъ (Солунь), извѣстный своей ученостью, тамъ онъ собираетъ деньги, ратуетъ и препирается въ союзѣ съ другими, либо по найму, противъ Никагоры.

Діалогъ Григоры, очевидно, памфлетъ, въ которомъ захожему ученому, осмѣлившемуся принести совъ въ Аѳины, предназначено сложить оружіе передъ бездной византійской учености. Она была значительна: Григора, прозванный у своихъ современниковъ «философомъ», былъ человѣкъ широкаго образованія, учившійся астрономіи у великаго логоѳета Ѳеодора Метохита, такого же, какъ и онъ полигистора, и въ свою очередь обучавшій его дѣтей, объясняя имъ древнихъ писателей; Палама знатокъ философіи и естественныхъ наукъ. Въ сравненіи съ ними Варлаамъ — почти неучъ; это — выходка

полемиста, ритора, утверждавшаго, что по правиламъ его искусства въ похвальныхъ словахъ можно говорить, что угодно [1]). Важнѣе то, несомнѣнно историческое, освѣщеніе, въ которомъ представляется намъ ученый типъ Варлаама: онъ, главнымъ образомъ, діалектикъ, преданный силлогизму и ничего не знающій выше того Аристотеля, котораго изучали въ западныхъ школахъ. Эту діалектическую ловкость, увлеченіе свѣтской наукой вообще онъ вносилъ въ богословскіе споры. На это-то и нападаютъ его противники: Григора пишетъ цѣлый трактатъ, ограничивающій роль силлогизма въ вопросахъ догмата; Палама оспариваетъ Варлаама словами святыхъ мужей и богослововъ, а не силлогизмами и геометрическими выкладками [2]), уличая его въ томъ, что «боголѣйственную премудрость Духа онъ ставитъ наравнѣ съ уроками философіи, потому, будто бы, что Господь сообщилъ намъ и «наставленія посредствомъ боговоздѣйствія, и уроки философическіе» [3]). Въ посланіи къ Варлааму «о двухъ началахъ» онъ упрекаетъ его въ пристрастіи къ діалектикѣ и греческимъ философамъ: «Посмотримъ на плоды просвѣщенія Сократовскаго и Платоновскаго. Чѣмъ они хороши? Ужъ не дозволеніемъ-ли общенія женщинъ? Не допущеніемъ ли педерастіи? Не почитаніемъ-ли демоновъ и героевъ? Не ссылкою-ли нашихъ душъ съ неба въ тѣла животныхъ? А Аристотелево маловникающее провидѣніе, что это такое?» Въ другомъ письмѣ Палама выступилъ противъ положенія Варлаама, будто нѣтъ никакихъ доказательствъ ни объ одномъ изъ божественныхъ дѣлъ, приводя доводы и называя доказательства Аристотеля неопредѣленными и неумѣстными [4]). Еще рѣзче высказывается о Варлаамѣ патріархъ константинопольскій Нилъ въ похвалѣ Паламѣ: для Варлаама нѣтъ ничего выше эллинской мудрости, непререкаемости

1) Nic. Greg. l. c. l. X, c. 8 слѣд.

2) Cantacuz. ed. Bonn. I, 552.

3) Еп. Порфирій, Первое путешествіе въ аѳонскіе монастыри, I, I, стр. 235—6.

4) l. c. стр. 232; Migne, Patrol. graec. 151, col. 384.

силлогизмовъ и добытой такимъ путемъ истины; если кто не продѣлалъ этого пути, нельзя приблизиться и къ познанію Бога, говоритъ онъ; не побывавъ въ школѣ Пиѳагора, Аристотеля и Платона, не научившись у нихъ законамъ природы, происхожденія и разрушенія сущаго, нельзя познать истины. А если Богъ-истина, то тотъ, кто не научился у эллинскихъ мудрецовъ движенію небесныхъ свѣтилъ и природы, т. е. истинѣ, не въ состояніи познать и Бога. Такимъ неразуміемъ зараженъ не одинъ Варлаамъ, а издавна всѣ латины [1]). Источникъ его знаній Органонъ и нѣкоторыя другія сочиненія, отъ остальныхъ наукъ онъ едва вкусилъ, пишетъ о немъ Христодулъ [2]), церковными писателями не занимался [3]). Его послѣдователи, Акиндинъ, Димитрій Солунскій, монахъ Прохоръ—такіе-же силлогисты, какъ и онъ. Меня обвиняютъ, говоритъ послѣдній, что я пользуюсь въ своихъ разсужденіяхъ силлогизмами, считая ихъ оракуломъ богословія. Но что-же дѣлать? Наши очи затмились, духовные стражи слѣпотствуютъ, проповѣдники нѣмы, поучаемые расположены недоброжелательно къ учителямъ своимъ и не считаютъ себя обязанными ихъ слушаться. Неужели теперь бросить силлогизмъ, это единственно оставшееся средство къ отысканію истины? [4]).

Мы признали въ грубоватой характеристикѣ Варлаама у Григоры долю страстныхъ выходокъ; но это выходки типическія. Читая нареканія Анны Комнены на Іоанна Итала, мы невольно припоминаемъ Ксенофана: Италъ столь же силенъ въ философіи Аристотеля и Платона, онъ оффиціальный преподаватель философіи, и его также обвиняютъ въ ереси и эллинскихъ мудрованіяхъ; онъ также несвѣдущъ въ грамматикѣ и не отвѣдалъ нектара реторики; греческій языкъ обличаетъ въ немъ иностранца

1) Migne, l. c. col. 663 слѣд.

2) Сл. предисловіе къ словамъ противъ ереси Варлаама и Акиндина у Bandini, Joh. Chrysostomi, II, стр. 128.

3) Сл. XII-е слово Филоѳея противъ Григоры, Migne, l. c. col. 1110.

4) Migne, l. c. col. 699 и 701.

изъ латинскихъ областей, рѣчь отличается деревенскимъ пошибомъ. Какъ Ксенофанъ, онъ страстенъ, невоздерженъ въ аффектѣ, напыщенъ, вся его сила въ страшной діалектикѣ, которою онъ опутаетъ всякаго; въ спорахъ онъ непобѣдимъ. Онъ знакомъ съ византійской школой и слушалъ Пселла, но родомъ онъ итальянскій грекъ, долго жилъ въ Сициліи, затѣмъ въ Ломбардіи; Пселлъ называетъ его ломбардомъ. Чѣмъ онъ обязанъ западному воспитанію, мы не знаемъ—и остается открытымъ вопросъ, что̀ опредѣлило оригинальность его философскихъ воззрѣній, оказавшихъ извѣстное вліяніе и на западную схоластику.

Въ вопросѣ о Варлаамѣ раздѣлъ западныхъ и византійскихъ теченій провести легче. Онъ прошелъ латинскую школу, это опредѣляетъ его роль въ борьбѣ съ византійцами. За противоположностью богословской и эллинской мудрости, за вопросами о границахъ разумѣнія и правахъ силлогизма, чувствуется нѣчто другое: противорѣчія аристотелевской философіи и того неоплатонизма, которымъ освѣщаются въ концѣ діалога «Флорентій» рѣчи Никагоры, которымъ безсознательно питается, въ лучшихъ своихъ представителяхъ, мистицизмъ аѳонскихъ гезихастовъ. Варлаамъ отнесся къ нему, какъ узкій раціоналистъ и діалектикъ, схватывая показные концы, подходя съ силлогизмомъ къ анализу нерукотворнаго Ѳаворскаго свѣта и поднимая на смѣхъ монаховъ-простецовъ, выработавшихъ, какъ пріемъ созерцательнаго самоуглубленія, смотрѣніе въ пупъ. Вопросъ о преимуществѣ платоновской или аристотелевской философіи давно уже поставленъ въ Византіи: учитель Пселла, Іоаннъ Мавроподъ, былъ почитателемъ Платона, Пселлъ ставилъ его выше «Философа церкви»; это вызвало броженіе мысли, оживленный споръ аристотеликовъ съ платониками, напоминающій аналогическое движеніе въ позднѣйшемъ Возрожденіи. Въ концѣ XIII и началѣ XIV в. Никифоръ Хумнъ пишетъ противъ платоновской философіи — и противъ нападавшихъ на нее неумѣлыхъ аристотеликовъ; его противникомъ является платоникъ Метохитъ; Григора сознательно платонизируетъ даже въ стилѣ, и его философскимъ оппо-

понентомъ является Агаѳангелъ; Кантакузинъ комментируетъ Аристотеля, аристотеликъ Варлаамъ втягивается въ общее теченіе, взявшись объяснить проникнутыя неоплатонизмомъ писанія Діонисія Ареопагита; Платонъ и Аристотель стоятъ на очереди въ его перепискѣ съ Георгіемъ Лапиѳомъ.

Имя Георгія переноситъ насъ въ одинъ изъ тѣхъ центровъ культурнаго и литературнаго общенія между западомъ и Византіей, какимъ въ то время могъ являться еще Неаполь: въ Кипръ, ко двору короля Гуго IV-го. Та-же помѣсь народностей, греческой и романской, но въ обратномъ отношеніи; царитъ французская династія Лузиньяновъ и развивается потребность учиться не только греческому и французскому, но и сирійскому языку для сношенія съ восточными патріархатами. Король Гуго извѣстенъ какъ мудрый и счастливый администраторъ, освободившій греческое населеніе отъ рабства, въ которомъ держали его первые завоеватели Кипра; и Боккаччьо и пріятель Лапиѳа, Григора, написавшій риторическій панегерикъ Гуго, прославляютъ подвиги его государственнаго устроенія и любовь къ наукамъ. Онъ занимается богословіемъ и интересуется астрологіей: въ бытность свою въ Римѣ ищетъ знакомства съ Андалоне ди Негро и ведетъ дружбу съ другимъ извѣстнымъ математикомъ XIV вѣка, котораго нерѣдко цитуетъ и Боккаччьо, Павломъ Геометромъ; любитъ бесѣдовать съ учеными, являвшимися къ нему въ его замокъ въ горахъ св. Иларіона; въ числѣ ихъ былъ и Георгій Лапиѳъ, имѣвшій не вдалекѣ прекрасное помѣстье. По словамъ Григоры, король чтилъ его какъ за его достоинства, такъ и за обширныя познанія. Самъ Гуго былъ не мало посвященъ въ латинскую мудрость, продолжаетъ Григора, и по этой причинѣ постоянно держалъ при себѣ ученыхъ латинянъ, но болѣе дорожилъ музой и обществомъ Георгія, ибо, говорилъ онъ, «правители становятся мудрыми отъ общенія съ мудрецами». Вслѣдствіе этого онъ овладѣлъ и тою и другой наукой, какъ греческой, такъ и латинской[1]), въ которыхъ Георгій былъ одинаково

1) Сл. тоже у Боккаччьо, Gen. Deor. XV, 7.

силенъ, и любилъ присутствовать при спорахъ послѣдняго съ учеными латинянами, которыхъ онъ поражалъ силлогизмами, точно стрѣлами, особенно, когда дѣло заходило о блюденіи вѣры отцевъ; случалось, что обрушиваясь на нихъ свидѣтельствами св. Писанія, Георгій заставлялъ ихъ нѣмотствовать, какъ рыбы, и когда это сердило короля, успокоивалъ его прелестью своей рѣчи и доводами истины. Всѣ, хотя бы немного причастные греческой или латинской наукѣ, отдавали ему пальму первенства въ такого рода спорахъ, въ которыхъ ставились, вѣроятно, и вопросы по астрологіи. Самъ Лапиѳъ занимается ею, изучаетъ Птолемея и астрологическія сочиненія древняго и новаго времени, устраняя вопросы, выходящіе за предѣлы, положенные священными законами, допуская лишь тѣ, которые позволяютъ съ надлежащей осторожностью искать причины вещей—и тѣ потому, главнымъ образомъ, чтобы не смутиться хитростью латинянъ, много занимающихся этой наукой, и самого короля, къ которому нерѣдко пріѣзжаютъ для ученыхъ споровъ арабы изъ Египта, полагающіе въ астрологіи главную суть человѣческаго знанія [1]).

Богословскіе вкусы короля объясняются какъ его религіозностью, такъ и церковными спорами, раздѣлявшими на Кипрѣ представителей той и другой церкви, между прочимъ, по вопросу о древѣ креста, принесенномъ на островъ царицей Еленой. Другимъ, на этотъ разъ литературнымъ интересамъ отвѣтилъ трактатъ Боккаччьо о Генеалогіяхъ боговъ. Гуго побудилъ его къ этому труду черезъ посредство одного изъ своихъ служилыхъ людей, Доннино изъ Пармы; когда въ 1350 году Боккаччьо проживалъ въ Равеннѣ, къ нему явился, съ тѣмъ-же напоминаніемъ, одинъ изъ ближнихъ короля, флорентинецъ Беккино Беллинчьони; еще позже Гуго писалъ о томъ-же знакомому Боккаччьо, Павлу Геометру. Все это заставило Боккаччьо приняться снова за полузабытый (semisopitum) трудъ [2]), надъ

1) Nic. Greg., l. c. III, стр. 28 слѣд.
2) Сл. Gen. Deor., посвященіе и XV, 13.

которымъ онъ продолжаетъ работать, черпая въ источникахъ, какъ прежде черпалъ изъ Коллектаней Паоло Перуджинскаго и замѣтокъ Варлаама. Послѣднія онъ приводитъ не разъ въ объясненіе того и другого миѳа. Такъ миѳъ о Девкаліонѣ и Пиррѣ и камняхъ, которые они бросали позади себя и которые превращались въ людей, Варлаамъ, по словамъ Паоло, толковалъ такъ, что супруги убѣдили людей, спасшихся отъ потопа въ каменныя пещеры, выйти оттуда, по миновании опасности, и снова населить землю. Сходное толкованіе давалъ онъ миѳу о Діанѣ и Аполлонѣ, родившихся на окутанномъ туманомъ островѣ Ортигіи: послѣ потопа, бывшаго при царѣ Огигесѣ, отъ влажной и вмѣстѣ горячей земли пошли такія облака, что на эгейскомъ морѣ и въ Ахайѣ не видать было ни луны ни солнца; когда облака разрѣдились, особенно на островахъ, гдѣ испареній земли, вслѣдствіе сосѣдства моря, было меньше, случилось однажды ночью, за часъ до разсвѣта, что первыми усмотрѣны были лучи мѣсяца, а затѣмъ и солнечные. Это возбудило общую радость, и о свѣтилахъ, которыхъ считали погибшими, стали говорить, что Аполлонъ и Діана родились на островѣ Ортигіи, прозванномъ Делосомъ, ибо тамъ они какъ-бы объявились впервые. — Варлаамъ, очевидно, не шелъ дальше внѣшняго евгемеризма и натурализма, въ стезяхъ усвоеннаго имъ философскаго міровоззрѣнія, а Боккаччьо вносилъ его показанія въ угловатыя, но грандіозныя по замыслу Генеалогіи боговъ, пытаясь объединить поэзію и религію.

Когда въ 1339 году Варлаамъ явился въ Неаполь, Боккаччьо былъ еще тамъ; онъ могъ видѣть заѣзжаго грека и заинтересоваться имъ, но показанія Бокаччьо могутъ дать поводъ заключить, что личнаго знакомства между ними не было и посредникомъ между ними являлся Паоло. Боккаччьо говоритъ, напр., что Варлаамъ былъ малъ ростомъ, точно видѣлъ его; нѣкоторыя писанія Варлаама были у него въ рукахъ, но онъ могъ получить ихъ и отъ Паоло; на него онъ ссылается, приводя показанія Варлаама. Такъ Паоло разсказывалъ, въ присутствіи Боккаччьо, будто

слышалъ отъ Варлаама, что во время оно не было во всей Греціи, на островахъ и побережьи, ни одного именитаго человѣка, который не производилъ бы свой родъ отъ какого-нибудь языческаго бога.

Роль Варлаама въ судьбѣ ранняго итальянскаго гуманизма представляется внѣшней и случайной. Воспитанный въ преданіяхъ западной университетской школы, гдѣ царила схоластика и арабскій Аристотель, онъ и въ Греціи не освободился отъ ея метода: въ Византіи его укоряютъ пристрастіемъ къ діалектикѣ и Аристотелю противополагаютъ Платона и христіанскій неоплатонизмъ. На западѣ, въ кружкахъ начинателей Возрожденія, онъ засталъ сходное движеніе: Петрарка жаждетъ прочесть Платона въ подлинникѣ и жалуется, что скорый отъѣздъ Варлаама помѣшалъ ему въ этомъ дѣлѣ. И онъ также ратуетъ противъ схоластики и діалектической болтовни, забывающей изъ-за слова сущность вещей, противъ непогрѣшимаго Аристотеля, и увлекается Платономъ, котораго знаетъ изъ римскихъ писателей и немногихъ доступныхъ ему переводовъ [1]), но понимаетъ болѣе чутьемъ: именно имя и ученіе Платона отвѣтило его внутреннему спросу, спросу Возрожденія. Платонъ для него «потокъ божественнаго краснорѣчія», первый изъ числа философовъ, всего ближе подошедшихъ къ поставленной небомъ цѣли, къ ученію христіанства; Боккачьо называетъ его въ своихъ Генеалогіяхъ богословомъ [2]), человѣкомъ божественнаго разума [3]), ссылаясь на «католическихъ философовъ» [4]). Это почти тѣже воззрѣнія, что и у Григоры. — Варлаамъ проходитъ мимо того и другого движенія безучастно; средневѣковой схоластикъ, противникъ платоновской философіи [5]), онъ могъ подѣлиться съ своими западными друзьями лишь знаніемъ греческаго языка и обрывками

1) De ignorantia стр. 1053—4.
2) Gen. Deor. l. XIV, c. 13.
3) Comm. ed. Milanesi, lez. I, vol. I, 79.
4) l. c. lez. XVI, vol. I, 379.
5) Сл. Legrand, Cent dix lettres grecques de Fr. Filelphe, стр. 152 слѣд.

эрудиціи, а его возвеличили въ силу надеждъ и чаяній, въ которыхъ выразилась самостоятельная эволюція гуманизма и на которыя онъ не былъ въ состояніи отвѣтить.

II.

Въ 30-хъ годахъ XIV-го столѣтія вокругъ молодого Боккаччьо слагалась, окутывая его, неясная пока атмосфера гуманизма, сотканная изъ просвѣтовъ и чаяній какой-то новой культуры и захватовъ въ прошлое. Движеніе опредѣляется въ поколѣніи, слѣдующемъ за учителями Боккаччьо, среди людей, близко стоявшихъ ко двору, нотаріусовъ, судей, профессоровъ и представителей неаполитанской знати. Съ иными изъ нихъ Боккаччьо могъ познакомиться въ свое первое неаполитанское пребываніе, съ кѣмъ — рѣшить трудно; съ другими онъ сблизился въ послѣдующія поѣздки; съ Барбатомъ до 1353 года; Баррили онъ упоминаетъ въ Генеалогіяхъ боговъ [1]).

Барбата изъ Сульмоны, неаполитанца Джьованни Баррили и Николая д'Алифе мы встрѣчаемъ уже съ 1327 года въ должностныхъ и литературныхъ отношеніяхъ къ двору; видимъ ихъ и въ кружкѣ Аччьяйоли—и въ дружеской перепискѣ съ Петраркой. Съ Барбатомъ сблизилъ его король Робертъ въ 1341 году, когда поэтъ явился къ нему для извѣстнаго намъ ученаго испы-

1) XIV, 19: покинувъ Римъ, Виргилій избралъ себѣ вблизи Неаполя semotum locum quieto atque solitario littori proximum, ut magni spiritus homo Iohannes Barillus ajebat, inter promontorium Posilibi et Puteolos vetustissimam Graecorum coloniam, ad quem nemo fere, nisi eum quaereret, accedebat.—О Барбатѣ и Баррили сл. Faraglia, I due amici del Petrarca Giovanni Barrili e Marco Barbato Sulmonese (Archivio d. Società storica per le provincie napoletane IX); его-же: Barbato da Sulmona e gli uomini di lettere della corte di Roberto d'Angiò, l. c. Свѣдѣнія о Барбато, Баррили и Пьетро ди Монтефорте у Hortis, Studi (сл. Indice), у него-же, стр. 347—8 неизданное письмо Барбата къ Пьетро ди Монтефорте. О Баррили († 1367) говоритъ Matteo Camera, Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I[a] regina di Napoli e Carlo III di Durazzo (Salerno, 1889), пользовавшійся его неизданными пока лѣтописными воспоминаніями о современныхъ ему событіяхъ (сл. стр. 1—2, 263—4).

танія; Баррили назначенъ былъ королемъ присутствовать при вѣнчаніи Петрарки на Капитоліи, но не поспѣлъ, задержанный разбойниками близь Ананьи. Когда по смерти Роберта Петрарка снова пріѣхалъ въ Неаполь въ 1343 году, Барбато и Баррили были его руководителями въ окрестностяхъ Неаполя: съ ними онъ посѣтилъ мѣста, воспѣтыя Виргиліемъ и, ранѣе его, Гомеромъ: Байи, хранящія память не столько о доблести римлянъ, сколько объ ихъ сладострастіи, Авернское озеро съ пещерой Сивиллы, Литернумъ, гдѣ жилъ въ изгнаніи Сципіонъ, а одна дѣвушка изъ Поццуоли, силачка, напомнила ему древнюю Камиллу, рожденную въ сосѣднемъ Пиперно [1]). Друзья должны были толковать о многомъ, Петрарка могъ увлекать ихъ чтеніемъ эпизодовъ изъ своей Африки, отрывокъ которой, всего нѣсколько стиховъ, съ трудомъ выпросилъ у него Барбато [2]); на интересы къ классической древности указываетъ подаренная ему Барбатомъ [3]) рукопись цицероновскихъ Академикъ. Поднимались вопросы и другого характера. Петрарку просили основаться въ Неаполѣ, но онъ самъ знаетъ, что онъ—непосѣда; къ тому же положеніе Неаполя, гдѣ многое напоминало ему Роберта [4]) и все предоставлено было теперь неопытнымъ рукамъ юной королевской четы, проискамъ анжуйскихъ принцевъ и своеволію знати, внушало опасенія. Онъ ожидалъ всего худшаго, и когда три года спустя совершилась катастрофа и убитъ былъ король Андрей, онъ напомнилъ Барбату свои прежнія бесѣды и совѣтовалъ ему быть настороже. Барбато удалился отъ дѣлъ въ свою Сульмону, гдѣ пріобрѣлъ помѣстья, и гдѣ посѣтилъ его въ 1362 году, возвращаясь изъ Неаполя, Боккаччьо. Съ Петраркой онъ болѣе не видѣлся, но сношенія между ними не

1) Fam. V, 4; Epist. poet. II, 15; De Nolhac, Le De Viris illustribus de Petrarque, Paris, 1890, p. 29 прим. 1 отд. отписка; сл. его-же Petrarque et l'humanisme стр. 130.

2) Sen. II, 1.

3) Sen. XVI, 1.

4) Epist. poet. II, 6.

прерывались: они продолжали обмѣниваться письмами, и Петрарка посвятилъ ему одну книгу своихъ стихотворныхъ посланій. Когда по кончинѣ Барбата († въ 1363 году) одинъ изъ его учениковъ попросилъ Петрарку написать нѣчто въ похвалу учителю, напоминаніе дорогаго имени заставило поэта отстать на время отъ «своихъ мелкихъ, быть можетъ, но многочисленныхъ и разнообразныхъ работъ», и онъ пишетъ въ отвѣтъ «о талантѣ и нравахъ Барбата Сульмонскаго». Никто болѣе его не заслужилъ поэтическаго восхваленія, говоритъ онъ; не было человѣка болѣе чистыхъ нравовъ, бóльшаго любителя поэзіи, которой онъ жаждалъ, какъ изысканной пищи, великодушно презирая всякую другую роскошь; не было человѣка столь остраго ума, краснорѣчиваго, писавшаго столь изящно, богатаго знаніями и памятью. Меня онъ такъ любилъ, что ни съ кѣмъ не поставилъ бы въ уровень, не то чтобы ниже кого-другого; мы были связаны съ нимъ неразрывной дружбой, но въ теченіе двадцати двухъ лѣтъ, съ тѣхъ поръ какъ я его не видѣлъ, мнѣ неизвѣстно, что онъ творилъ; при его богатомъ дарованіи онъ могъ написать многое; не имѣя о томъ понятія, я, при недостаткѣ свободнаго времени, не въ состояніи ничего прибавить къ сказанному.— И онъ побуждаетъ своего корреспондента самому взяться за перо, дабы и Петрарка могъ увѣдать о содѣланномъ Барбатомъ, а его родина возгордиться знаменитѣйшимъ изо всѣхъ своихъ гражданъ, не исключая Овидія: тотъ запятналъ дурными нравами блестящій талантъ, нашъ другъ былъ великъ умомъ, но еще выше добродѣтелью [1]). — Въ поэтическомъ посланіи къ Ринальду да Виллафранка [2]) Петрарка выразился опредѣленнѣе: Барбато является поэтомъ, его уста полны касталійскаго нектара, онъ достоинъ лавровъ, но скромно несетъ заслуженное отличіе, второй Овидій Назонъ, явившійся среди пелигновъ.

Какой изъ двухъ отзывовъ ближе къ истинѣ, сказать трудно:

1) Sen. III, 4.

2) Epist. poet. l. II, 16; сл. II, 7.

*

поэтическіе опыты Барбата, существованіе которыхъ засвидѣтельствовано, утрачены; остался отрывокъ его толкованій одного письма Петрарки. Онъ поможетъ намъ разобраться въ вопросѣ.

Стараніями Аччьяйоли Джьованна вышла во второмъ бракѣ за бывшаго его воспитанника, Людовика Тарентскаго; смута, начавшаяся по смерти Роберта, казалось, кончилась; Аччьяйоли помирилъ новаго короля съ папой; власть, сосредоточилась въ рукахъ «великаго сенешаля». Петрарка зналъ издали его блестящія дарованія, и не стоя близко къ дѣлу, не вѣдая, какою массой интригъ и заднихъ ходовъ достигнутъ былъ видимый миръ, возложилъ на Аччьяйоли радужныя надежды: онъ будетъ миротворцемъ, возстановитъ золотой вѣкъ Роберта — и Петрарка поучаетъ его, въ какомъ духѣ ему слѣдуетъ руководить молодымъ королемъ, дабы сдѣлать изъ него идеалъ правителя. Это была одна изъ тѣхъ праздныхъ фантасмагорій, какими часто увлекался поэтъ и которыя не оправдывали ни люди, ни событія.— Въ этомъ духѣ онъ и написалъ письмо къ Аччьяйоли [1]), Барбато вздумалъ его комментировать, какъ объясняютъ древній текстъ, вставляя похвалы Петраркѣ и — благодатной Кампаніи; Петраркѣ вѣнчанному поэту, которымъ однимъ можетъ возгордиться нашъ вѣкъ, утратившій не только останки древнихъ поэтовъ, философовъ и ученыхъ, но и множество книгъ, по нерадѣнію и неправедному духу стяжанія. Похвалы Петраркѣ расточаются по категоріямъ вѣрности (памяти короля Роберта), любви (къ Барбату) и смиренія. Толкованіе текста придаетъ громадное, таинственное значеніе всякой мелочи, чередуясь съ наивными грамматическими замѣтками: многозначительнымъ является даже частица «уже» (jam), съ котораго начинается посланіе, и намъ говорятъ, что «свѣтлый»—естественный эпитетъ напр. дня, и что въ другомъ смыслѣ употребляется «свѣтлость», когда дѣло идетъ объ именитыхъ людяхъ. — Все это отзывается средневѣковой

1) Fam. XII, 2.

манерой: и страсть къ различеніямъ и подраздѣленіямъ, и напускное преувеличеніе толкуемаго. Переходъ отъ схоластическаго схематизма къ болѣе свободнымъ и реальнымъ пріемамъ гуманизма совершался не вдругъ: въ вѣнчальной рѣчи Петрарки, въ комментаріяхъ Боккаччьо много средневѣковщины, толкованія Доната дельи Альбанцани, младшаго современника Петрарки и Боккаччьо, на Валерія Максима, не далеко ушли отъ такого-же труда Діонисія da Borgo San Sepolcro.—Съ текстами и авторитетами въ рукахъ Барбато желаетъ объяснить мало понимающимъ полныя тайнаго смысла рѣчи поэта, почему и перетираетъ ихъ, какъ перетираютъ ароматическія вещества, чтобы запаху отъ нихъ было больше[1]). Такъ выражается онъ въ письмѣ къ Пьетро да Монтефорте, посылая ему свой комментарій — съ просьбой сдѣлать въ немъ какія нужно поправки и показать одному лишь общему пріятелю, нотаріусу Tommaso de Joha.

Съ подобной же просьбой обратился Боккаччьо къ тому же Пьетро по поводу своихъ Генеалогій. Это было въ 1372 году. Профессоръ гражданскаго права и членъ Великаго суда, Пьетро де Монтефорте интересовался поэзіей, и какъ самъ онъ писалъ Боккаччьо, принизилъ однажды гордыню какого-то непризваннаго судьи, позволившаго себѣ нападать на поэзію, еще не видавъ и не уразумѣвъ рѣчи поэтовъ. Отъ графа Уго да Сансеверино, гдѣ въ 1370—1 годахъ Пьетро познакомился съ Боккаччьо, онъ, вѣроятно, и получилъ экземпляръ Генеалогій, еще не обработанныхъ въ окончательномъ видѣ и предоставленныхъ авторомъ хозяину лишь подъ условіемъ не распространять ихъ безъ необходимыхъ исправленій. Пьетро прочелъ ихъ и написалъ Боккаччьо хвалебное посланіе; тотъ отвѣчалъ: онъ еще не получалъ экземпляра своей книги съ замѣтками Пьетро, пишетъ онъ ему, но уже знаетъ одно изъ его возраженій: книга о языческихъ богахъ

1) Тотъ-же образъ въ письмѣ Нелли къ Петраркѣ у Cochin, l. c. № XIV (nunc triti ac confricati piperis fragrantis suavius sentiebam odorem — по поводу чтенія Стація).

казалась ему слишкомъ не христіанской. Боккаччьо оправдывается, проситъ указаній и поправокъ; но характерно такое именно заявленіе со стороны защитника поэзіи, «щедраго хозяина Піэридъ», какъ называетъ его въ своемъ посланіи Барбато.

Барбато стоитъ за многихъ: къ его имени невольно примкнули имена нѣкоторыхъ другихъ сочувственныхъ ему дѣятелей, первыхъ дѣятелей южноитальянскаго возрожденія; къ нимъ пристанутъ впослѣдствіи другіе: флорентинецъ Заноби, секретарь Аччьяйоли, еще позже Нелли. Письмо Петрарки въ похвалу Барбата даетъ намъ мѣру дѣятельности этого кружка, въ которомъ страстность неясныхъ стремленій перевѣшивала слабость наивныхъ начинаній: клички второго Назона, хозяина Піэридъ, воспитанника музъ (какъ зовутъ Николая д'Алифе), указываютъ не на дѣйствительную литературную дѣятельность, а на существованіе извѣстныхъ интересовъ, на подъемъ мысли въ области поэзіи и гуманистическаго знанія—отъ вопросовъ дня, дѣловой карьеры и узкаго преданія школы. Ея печать видимо лежитъ на Барбатѣ и Пьетро де Монтефорте; это обрывокъ цѣпи, который они унесли безсознательно на новые пути, гдѣ всякое открытіе кажется имъ откровеніемъ, одинъ порывъ къ идеалу — подвигомъ; всѣ они Назоны, любимцы музъ; всѣ издали молятся на Петрарку: его канцоньере вліяетъ на юношескую лирику Боккаччьо, Гвильельмо Марамальдо, съ которымъ Петрарка подружился въ Неаполѣ,— первый неаполитанскій петраркистъ; но всего болѣе манила глубина классическаго знанія, таинственная Африка Петрарки. Всѣ чего то ждутъ, всѣ идеально настроены; въ этой сферѣ сложился молодой Боккаччьо.—Когда, послѣ его отъѣзда, явился въ Неаполь Петрарка, это было событіемъ: бродившія силы сплотились вокругъ него въ какую то платоновскую республику философовъ; въ ней всѣ друзья: Сильвій — Петрарка, Питій — Барбатъ, Идей — Баррили; культъ дружбы, типичный для возрожденія, поддерживался единствомъ стремленій: всѣ ищутъ того же, каждый приноситъ свою лепту, ободряя другого, интересуясь его работой, прося пересмотрѣть и исправить свою;

нѣсколько стиховъ Африки, довѣренные Петраркой Барбату подъ строгой тайной, вскорѣ облетѣли весь кружокъ гуманистовъ, а Пьетро де Монтефорте достаетъ при тѣхъ-же условіяхъ Генеалогіи боговъ. Частныя письма ни для кого не тайна, онѣ какъ-бы и пишутся въ виду друзей: онѣ — ихъ литературный органъ. Петрарка царитъ въ этомъ кружкѣ вблизи и издали, шлетъ письма и стихотворныя посланія, дѣятельно сѣетъ дружбу, спѣшитъ подавить проявленіе расходившихся самолюбій, пристроиваетъ Заноби у Аччьяйоли и старается водворить согласіе между нимъ и недовольнымъ на него Баррили, котораго поучаетъ по этому поводу философіи Платона [1]). Дѣло выше всего, и оно всѣхъ настраиваетъ торжественно: живется въ мірѣ идей и образовъ, облекающихся въ пластическую фразу, и эта пластичность закупаетъ на столько, что кажется дѣйствительностью; работа мысли идетъ въ этой чередѣ, принимая слово за дѣло, заслуживаясь звучныхъ періодовъ, увлеченная логикой желанья. На землѣ Аччьяйоли, неаполитанскія смуты, полосы средневѣковаго мрака; тамъ гдѣ-то, въ сіяньѣ, силуэты золотаго вѣка, Римъ и Капитолій, поэзія и дружба, и императоры, подающіе руку трибунамъ народной свободы.

Когда Филиппо Виллани разсказываетъ, что Боккаччьо внезапно объяло поэтическое вдохновеніе (subitoque Pieridum raptus amore) въ Неаполѣ, у гробницы Виргилія — это совершенно въ стилѣ ранней гуманистической восторженности, и мы склонны повѣрить ему на слово. Быть можетъ, впрочемъ, источникомъ Виллани было письмо Боккаччьо отъ 1338—9 года къ какому-то военному человѣку, гдѣ также говорится объ откровеніи, бывшемъ ему у гробницы Виргилія; но это было откровеніе любви: ему явилась въ свѣтломъ видѣніи его Фьямметта; не классическая, холодная и учительная муза, какою представлялъ ее себѣ впослѣдствіи Боккаччьо подъ наитіемъ Петрарки, а муза — женщина, вдохновившая его первыя произведенія, красавица неапо-

1) Fam. XII, 14.

литанка, не столько просвѣтленная древнимъ идеаломъ красоты, сколько наряженная въ бутафорскія принадлежности антика. «Недавно моя отвага увлекла меня въ высокій сонмъ Геликона, и я стоялъ, внимая, что тамъ творится и о чемъ идетъ бесѣда, когда, точно лаконская красавица Париса, вышла нимфа изъ веселой рощи съ зеленымъ вѣнкомъ на головѣ, и подойдя ко мнѣ, сказала: Я та, что дѣлаю безсмертнымъ имя всякаго, слѣдующаго за мною, и вотъ я явилась сюда, готовая полюбить. Встань-же и прійди. — И я всталъ, уже воспламененный ею, и выйдя изъ ада, вступилъ въ праздникъ любви» [1]). Такъ и въ Лаурѣ Петрарки женщина и муза поэзіи, подающая славу (Дафне), сплетались игриво и, вмѣстѣ, сознательно. Самъ Боккаччьо отлично опредѣлилъ источникъ своего юношескаго вдохновенія, отвѣчая въ введеніи къ 4-й книгѣ Декамерона своимъ хулителямъ: они говорили, что ему приличнѣе было-бы пребывать съ музами на Парнассѣ, чѣмъ увлекаться женщинами, бесѣдуя съ ними и о нихъ. Совѣтъ хорошій, отвѣчалъ онъ, но мы не можемъ постоянно быть съ музами и не должны навлечь на себя порицаніе если находимъ удовольствіе въ томъ, что на нихъ похоже; музы—женщины; «женщины были мнѣ поводомъ сочинить тысячу стиховъ, тогда какъ музы никогда не дали мнѣ повода и для одного»; онѣ только помогали мнѣ сочинить эту тысячу, не разъ являлись побыть со мною, когда я писалъ скромнѣйшіе разсказы Декамерона, «можетъ быть, въ угоду и честь того сходства, какое съ ними имѣютъ женщины».

Указанное выше письмо Боккаччьо то самое, въ которомъ онъ, въ одномъ изъ обычныхъ упадковъ духа, называлъ себя грубымъ, уродомъ, грязнымъ Діонеемъ [2]). Первыя строки наполнены такими же картинами: мрачный шаржъ, на которомъ тѣмъ ярче выступаетъ свѣтлое видѣніе Фьямметты. Боккаччьо жалуется: онъ погруженъ въ мракъ невѣжества, нѣтъ

1) Сон. XXVIII.

2) Сл. Corazzini, стр. 451 слѣд.: Cuidam viro militi. Сл. выше стр. 19.

у него ни виду, ни имени; постоянная игрушка судьбы, онъ бродитъ въ извилинахъ лабиринта: принужденъ жить въ крестьянской обстановкѣ, среди «стигійскаго» дыма и грязи и ослинаго крика [1]), питаться растительной пищей, обонять отвратительные запахи и вращаться среди всѣхъ нечистотъ «виргиліевскаго Неаполя». — Если это не реторика, то преувеличеніе, подсказанное страстнымъ моментомъ: болѣе двадцати лѣтъ спустя, въ письмѣ къ Нелли, Боккаччьо хвалится, какъ хорошо и даже роскошно онъ жилъ въ Неаполѣ въ юные годы [2]). — При всемъ томъ онъ тщательно блюдетъ свою свободу, говорится далѣе въ письмѣ; свободу отъ любви, отъ сѣтей Амура? — И вотъ однажды поднявшись до разсвѣта, усталый и полусонный, онъ вышелъ изъ своей конуры на берегъ моря. Уже ночь переходила въ день, и онъ спокойно гулялъ, когда у гробницы Марона ему внезапно предстала, точно молнія, сошедшая съ неба, свѣтлая жена, образъ которой и нравы какимъ то чудомъ шли на встрѣчу его желаніямъ. Онъ пораженъ, силится, раскрывая глаза, увѣрить себя, что ему не снится; и какъ за молніей слѣдуетъ громъ, такъ за пламенемъ, которымъ объяла его ея красота, послѣдовала страстная, могучая любовь, точно вернулся къ себѣ на родину изгнанный изъ нея властитель, и все, что было тамъ враждебнаго ему, уничтожилъ, изгналъ, либо связалъ; какъ онъ овладѣлъ имъ, это его корреспондентъ узнаетъ изъ краткаго стихотворенія (brevi Calliopeo sermone), гдѣ объ этомъ сказано будетъ аллегорически. Говорить-ли далѣе? Послѣ долгихъ усилій онъ удостоился милости Амура и, отважный, но неискусный, сохранялъ ее нѣкоторое время, но когда онъ обрѣтался на верху счастья, не вѣдая скользкихъ путей и превратностей фортуны, по какой-то причинѣ, описать которую можно развѣ слезами, но безъ всякой вины съ своей стороны, онъ навлекъ

1) Latratus brunellitos, можетъ быть, отъ Brunellus — оселъ: дѣйствующее лицо одной средневѣковой латинской поэмы того-же названія.

2) Corazzini, стр. 140.

на себя гнѣвъ своей дамы и палъ въ бездну несчастій. Не помогли ни сѣтованія, ни старанія снова войти въ милость дамы, и онъ остался одинъ, плача и неустанно поминая прежніе годы.

Въ этихъ строкахъ вся внѣшняя исторія любви Боккаччьо; можетъ быть, самое раннее о ней упоминаніе.

Вообще всѣ его письма 1338—9 годовъ — ихъ немного,— отличаются какою-то странною возбужденностью, горячностью человѣка, ищущаго пути, нравственныхъ устоевъ, пробивающагося къ свѣту; поэта, закрѣпощеннаго каноническимъ правомъ и любовью. Все его письмо къ герцогу Дураццо [1]) полно жалобъ на фортуну и любовь; въ концѣ должно было слѣдовать стихотвореніе, но оно не дошло до насъ. Онъ пишетъ напыщенно и неправильно, его латынь искусственна, но не элегантна, отзывается средневѣковщиной, въ которой тѣмъ рѣзче и рельефнѣе выступаютъ уродливые грецизмы [2]); его ученый скарбъ такой-же странный, не опредѣлившійся, цитаты и имена безъ разбора. Онъ самъ сознаетъ, что не доучился, не его дѣло — писать [3]), но онъ жаждетъ знанія: пріобрѣлъ себѣ Ѳиваиду Стація и проситъ пріятеля прислать ему свой экземпляръ съ глоссами (можетъ быть, Лактанція Плацида?), которыя велитъ внести въ свою рукопись, иначе, безъ учителя, ему не понять текста. Еслибъ ты зналъ, какъ меня, слабаго, обуреваетъ любовь, бѣдность и судьба [4]), ты поторопился бы посылкой: какъ увижу я своихъ учителей, толкователей Декреталій, такъ и бѣгу отъ нихъ, и нѣтъ мнѣ иного утѣшенія, какъ книги, которыя я принимаюсь читать, вращаясь среди нихъ, какъ гость, не какъ хозяинъ; читая о чужихъ печаляхъ, облегчаю свои собственныя, по пословицѣ, что утѣшеніемъ скорбящему бываетъ товарищъ по несчастью.—И онъ ждетъ письма, успокоивающаго слова, которое разсѣяло бы его

1) Corazzini, стр. 432—40, апрѣля 1339 г.

2) Ib. Nereus amphitritibus стр. 440 слѣд.

3) Movortis miles extrenue ib. стр. 451 слѣд.

4) Rammeria? Сл. Ramnusia въ письмѣ: Nereus и къ герцогу Дураццо; Rannusia въ Ameto стр. 2.

духовный мракъ, дало бы ему распознаться въ родахъ любви и, упорядочивъ права плоти и духа, позволило увлечься правильно, не принимая маловажное за серьезное, худое за доброе, и на оборотъ [1]).

Таково было его состоянiе духа среди навязанныхъ ему занятiй Декреталiями, посильными, на свой страхъ, порывами къ поэзiи и антику и обуявшей его любовью къ Фьяметтѣ. Его видѣнiе у гробницы Виргилiя, очевидно, не реальная встрѣча, а реторическiй образъ съ психологической подкладкой. Вращаясь въ неаполитанскомъ обществѣ, Боккаччьо не разъ увлекался той и другой красавицей [2]) и, какъ самъ онъ говоритъ, не безъ удачи; онъ сообщилъ намъ (въ Ameto) фиктивныя имена нѣкоторыхъ изъ нихъ: Абротонiя и Пампинея являются въ числѣ разсказчицъ Декамерона; онѣ были предметомъ его первыхъ лирическихъ опытовъ. Въ бiографическомъ эпизодѣ Филоколо, которымъ мы уже пользовались, говоря объ отношенiяхъ Боккаччьо къ Кальметѣ=Андалоне ди Негро [3]), эти раннiя увлеченiя представляются подъ видомъ охоты: Идалагъ-Боккаччьо преданъ Палладѣ—наукѣ, избѣгаетъ стрѣлъ Амура; его занятiя: поэзiя (лира Орфея) и охота въ лѣсу (Неаполь) на птицъ, которыя оборачиваются въ красавицъ. На первыхъ порахъ онъ поднялъ своею стрѣлою бѣлую голубку, затѣмъ чернаго дрозда, попугая, наконецъ фазана; тутъ и поджидалъ его Амуръ: передъ нимъ явилась женщина, превышавшая всѣхъ другихъ своими прелестями, именитаго, богатаго рода. Ты бѣжишь отъ меня? спрашиваетъ она его; но никто не любитъ тебя такъ, какъ я. — Онъ хотѣлъ было удалиться: вѣдь это она издѣвается надо мной! думается ему, но благородство духа, врожденное ему не по отцу, а по матери, удержало его: оставивъ всѣ другiя начинанiя, онъ весь отдался желанiю узнать, подъ игомъ новой власти, какую силу

1) Sacrae famis, Corazzini, стр. 457 слѣд., 28 iюля 1338 г.
2) Fiammetta, стр. 11: esperto in più battaglie amorose.
3) Сл. выше стр. 75.

проявляетъ надъ человѣческими сердцами украшенное слово [1]). Онъ становится поэтомъ Фьямметты.

Когда она явилась на его горизонтѣ, всѣ другія страсти поблекли: онѣ были только преддверіемъ, откровеніемъ чего то другого, что ему роковымъ образомъ суждено, чего онъ чаялъ и не находилъ, что, казалось, гдѣ-то видѣлъ въ смутныхъ, пророческихъ образахъ. Видѣлъ въ то утро у гробницы Виргилія; когда Калеоне-Боккаччьо впервые подъѣзжалъ къ Неаполю и уже вступилъ въ городъ, его глазамъ представилась юная красавица, граціозная и изящная, въ зеленомъ платьѣ, убранная, какъ прилично было ея лѣтамъ и древнимъ обычаямъ города; весело привѣтствовавъ его, она взяла его за руку и поцѣловала, онъ отвѣтилъ на поцѣлуй. Приди сюда, ты обрѣтешь здѣсь источникъ всѣхъ твоихъ благъ, говоритъ она ему тихимъ голосомъ; и, казалось, онъ готовъ былъ послѣдовать за ней. Тутъ онъ очнулся, едва не свалившись съ лошади [2]). — Позже ему приснилась Абротонія, которую онъ покинулъ, и Пампинея, которая его отвергла за его проступки: онѣ будто корили его, издѣваясь надъ его грустью, а онъ просилъ ихъ оставить его въ покоѣ, въ награду за прежнюю любовь и службу и стихи, воспѣтые въ ихъ честь. — Вскорѣ объявится та, которую ты воспоешь еще болѣе, которая такъ овладѣетъ твоимъ сердцемъ, какъ никогда не владѣли мы. Подожди, мы покажемъ ее тебѣ.— Поэтъ очнулся, ощупью бродитъ по комнатѣ, ищетъ комелька, и, ожегшись углемъ, вздуваетъ огня; ночныя тѣни удалились, и онъ снова заснулъ. Видитъ Абротонію и Пампинею, между ними красавица, одѣтая въ зеленое платье; ему говорятъ: вотъ та, которая будетъ единственной владычицей твоей души, которая подвергнетъ испытанію, на сколько сильны ея доблести.— Поэтъ любуется ея прелестями; малымъ покажется всякій трудъ тому, кто заслужилъ бы имъ ея милость, думаетъ онъ и припо-

1) Filocolo, II, стр. 246—8.

2) Ameto, стр. 149.

минаетъ, что видѣлъ ее, когда въѣзжалъ въ Неаполь: это она его привѣтствовала и поцѣловала [1]).

11-го Апрѣля 1338 года, въ страстную субботу, онъ встрѣтилъ впервые реальную Фьямметту за обѣдней въ храмѣ св. Лаврентія: прислонившись къ мраморной колоннѣ, онъ заглядѣлся на нее и не призналъ съ перваго раза: она была одѣта въ черное; но что-то подсказывало ему, что онъ ее знаетъ. На другой день онъ снова пошелъ въ церковь; Фьямметта явилась въ роскошномъ нарядѣ, блестѣвшемъ золотомъ и драгоцѣнными камнями. Его сердце дрогнуло, трепетъ пошелъ по всему тѣлу. Что со мной? спрашиваетъ онъ себя въ смущеніи; смотритъ въ глаза красавицы и видитъ въ нихъ Амура, столь милостиваго и сострадательнаго, что онъ готовъ служить ему, хотя до того молилъ лишь о пощадѣ. Зеленый цвѣтъ платья внезапно освѣтилъ въ его памяти все прошлое, пережитое въ пророческихъ снахъ: это владычица моего сердца, та, что мнѣ суждена, мое «блаженство» [2]).

III.

Фьямметта было поэтическое имя, подъ которымъ Боккаччьо воспѣвалъ Марію, считавшуюся дочерью графа Аквино — и плодомъ любви короля Роберта. Умирая, мать открыла ей тайну ея рожденія, дабы она съ тѣмъ большею увѣренностью могла пользоваться щедротами предполагаемаго отца. По смерти матери ее отдали на воспитаніе въ монастырь, на служеніе Вестѣ, но ея красота обратила на себя вниманіе одного молодаго человѣка, красиваго, богатаго, изъ хорошаго рода; она отвергла его предложеніе, но юноша обратился къ посредству того, кого считали ея родителемъ: Фьямметту убѣдили, что и замужемъ она въ состояніи будетъ питать огонь Весты, и бракъ состоялся [3]);

1) Ameto, стр. 149—153.
2) Ameto, стр. 153—5; Fiammetta, стр. 9; Filocolo, I, стр. 5.
3) Ameto, стр. 142 слѣд.

счастливый бракъ, полный внимательности и долга и того, что казалось любовью, пока его не посѣтила побѣдная страсть [1]).

Марія была, кажется, однихъ лѣтъ съ Боккаччьо или немногимъ старше его, что не лишне отмѣтить для характеристики ихъ отношеній. Боккаччьо не разъ описываетъ ея красоту, подъ ея именемъ и именами другихъ своихъ героинь: очевидно, красота Фьямметты казалась ему идеальной, и онъ надѣлялъ ею тѣхъ, кого надо было представить красавицами. На сколько въ его описаніи еще отзывается типъ женскаго изящества, господствовавшій въ европейской и итальянской поэзіи XIII—XIV вѣковъ, и на сколько въ немъ личнаго элемента—сказать трудно. Типомъ красавицы для рыцарскихъ поэтовъ и поэтовъ старой итальянской школы [2]) была блондинка; блондинкой является и Фьямметта. Боккаччьо любитъ представлять ее себѣ одѣтой въ зеленый цвѣтъ; это, быть можетъ, тоже символъ: цвѣтъ надежды; но dame Oyseuse въ Roman de la Rose, изображеніе которой напоминаетъ Емилію въ Тезеидѣ Боккаччьо, одѣта такъ же. Тѣмъ не менѣе описаніе повторяется такъ настойчиво и въ общемъ однообразно, что поневолѣ вѣришь въ его реальность. Въ концѣ IV-го дня Декамерона Филострато возлагаетъ вѣнокъ на бѣлокурую головку Фьямметты; ея «вьющіеся, длинные и золотистые волосы падали на бѣлыя, нѣжныя плечи, кругленькое личико сіяло настоящимъ цвѣтомъ алыхъ розъ и бѣлыхъ лилій, смѣшанныхъ вмѣстѣ; глаза, какъ у яснаго сокола, ротъ маленькій, съ губками, точно рубины» [3]). Амето [4]) любуется ея волосами, часть которыхъ приподнята была надъ ушами, другая падала до конца затылка двумя густыми косами; скрестившись назади, онѣ снова взбирались къ вершинѣ бѣлокурой головки и опять

1) Fiammetta, стр. 4; сл. еще Filocolo, II, стр. 30.

2) Сл. Renier, Il tipo estetico della donna del Medio Evo (Ancona, 1885) и отчеты въ Riv. critica d. lett. ital. II, 132—141; въ Nuova Antologia v. LXXXIII 594 (Borgognoni) и Torraca, Discussioni e ricerche letterarie, стр. 291; мой отчетъ въ Журн. Мин. Нар. Просв., ч. CCXIV, отд. 2, стр. 189—191.

3) Сл. мой переводъ I, стр. 344.

4) Ameto, стр. 40—2.

спускались, пряча свои концы подъ первыми, поднявшимися, и здѣсь скрѣплены были золотой съ жемчугомъ булавкой, такъ что ни одинъ волосокъ не выходилъ изъ назначеннаго ему мѣста. На голову наброшенъ тончайшій вуаль, поверхъ его вѣнокъ изъ цвѣтовъ, скрѣпленный золотомъ, укрывавшій отъ солнечныхъ лучей не менѣе, чѣмъ то дѣлаетъ греческая (данайская) шляпа. Черная лента отдѣляетъ линію золотистыхъ волосъ отъ лба, внизу котораго вырисовываются полукругами двое тонкихъ бровей, цвѣта ночнаго мрака, изящно раздѣленныхъ большимъ пространствомъ, а подъ ними пара плутовскихъ въ своемъ движеніи глазокъ; что̀ они таятъ въ себѣ и кто въ нихъ пребываетъ, того не угадать, и смущенный Аметъ отводитъ отъ нихъ свой взглядъ, чтобы полюбоваться носомъ, не сгорбленнымъ, не широкимъ и не малымъ, а какому слѣдуетъ быть на красивомъ лицѣ; щечками цвѣта молока, въ которое капнула свѣжая кровь— когда красавицѣ жарко, въ иное время—цвѣта темно-блѣднаго, восточнаго жемчуга и т. д.

Боккаччьо стоитъ за плечами Амета, и его глаза также спускаются отъ линіи волосъ къ бровямъ, глазамъ, носу, губкамъ, подбородку, медленно подбирая черту за чертой, не минуя ни одного мелкаго штриха, напр. что ни одинъ волосокъ не выдѣлялся изъ гладкой прически [1]); видимо любуясь каждой подробностью. Таковы его описанія природы, зданій, характеровъ; точно передъ нимъ ландшафтъ или оригиналъ, и онъ задался мыслью воспроизвести ихъ съ возможной точностью, предоставляя намъ схватить въ нихъ то общее, то впечатлѣніе жизни, которое выносилъ самъ. Средневѣковой поэмѣ, народной пѣснѣ знакомы такія же статистическія описанія напр. красоты, но это реализмъ, одеревенѣвшій въ постоянно повторяющейся формулѣ; у Боккаччьо она раскрылась для личныхъ цѣлей; тѣ-же пріемы, но задача другая, онъ — начинатель художественнаго реализма. И онъ достигалъ своихъ цѣлей, когда дѣло шло объ объектахъ движущихся, раз-

1) Сл. сонетъ XXXI; Teseide XII, 54; сл. Дек. IX, 8: о Бьонделло.

вивающихся во времени: для характеристики психологическаго или общественнаго типа дорога всякая фраза, движеніе, обрывокъ разговора, складъ рѣчи; общее получится въ концѣ, какъ выводъ, въ которомъ вы сами желаете участвовать работой мысли. Описаніе природы, красоты, всего покоющагося и не движущагося должны быть выводомъ самого художника, мы не можемъ участвовать въ его работѣ, готовы раздѣлить его впечатлѣніе и не въ силахъ оживить его фотографическій снимокъ, когда напр. при описаніи поляны намъ говорятъ, что тамъ были ели, кипарисы, лавры — и нѣсколько пиній [1]), либо о веселомъ обществѣ Декамерона, что они пропѣли именно шесть пѣсенокъ [2]). Мы готовы принять на вѣру точную опись прелестей красавицы, но пока развѣ ея плутовскія глазки позволяютъ намъ угадать, что̀ побудило Боккаччьо назвать ее своей Искоркой, Фьямметтой, и постоянно играть въ своихъ сонетахъ словами: огонь и пламя, fuoco и fiamma [3]). Любовные сонеты и Филострато подскажутъ намъ многое..

Боккаччьо страшно увлекся Фьямметтой, она заинтересовалась незнакомцемъ, имя котораго узнала лишь нѣсколько дней спустя послѣ встрѣчи въ Санъ-Лоренцо [4]). Влюбленный поэтъ ищетъ случаевъ увидѣть ее, старается познакомиться съ ея родней, вступаетъ въ такую дружбу съ ея мужемъ, что тотъ не находитъ ничего пріятнѣе его общества. Она замѣчаетъ это и своими дѣйствіями и движеніями тайно даетъ ему понять, что и она горитъ тѣмъ-же пламенемъ; пусть только будетъ остороженъ, какъ она [5]). Однажды онъ случайно зашелъ въ церковь св. арх. Михаила при монастырѣ монахинь-бенедиктинокъ и здѣсь встрѣтилъ даму своего сердца въ веселой бесѣдѣ, къ которой допущенъ былъ и

1) Декамеронъ, конецъ VI дня.

2) Введеніе къ IX-у дню.

3) Сл. сонеты 19, 40, 41, 46, 83, 98, 107; Filocolo, II, стр 81—2; Amorosa Visione, стр. 7.

4) Fiammetta, стр. 14.

5) Fiammetta, стр. 29.

онъ съ товарищемъ. Переходя отъ одного предмета къ другому, стали говорить и о приключеніяхъ доблестнаго юноши Флоріо, сына испанскаго короля Феличе, и Боккаччьо разсказалъ о нихъ съ увлеченіемъ. Повѣсть понравилась Фьямметтѣ и съ милымъ движеніемъ обратившись къ разскащику, котораго она, очевидно, уже знала за поэта, она весело сказала: Какъ подумаемъ мы объ этихъ влюбленныхъ молодыхъ людяхъ, о великой твердости ихъ духа, и какъ, соединенные силой любви въ одномъ желаніи, они постоянно были вѣрны другъ другу, приходится сознаться, что ихъ память терпитъ великій уронъ, ибо ни одинъ еще поэтъ не возвеличилъ стихами ихъ славу, какъ бы то слѣдовало, и она предоставлена баснословнымъ росказнямъ невѣждъ. Вотъ почему, тщеславная тѣмъ, что буду поводомъ къ ихъ прославленію, и тѣмъ, что ощутила жалость къ ихъ судьбѣ, я хочу попросить тебя написать по итальянски небольшую книжку, въ которой говорилось бы объ ихъ происхожденіи, любви и приключеніяхъ, все до конца [1]).

Это была первая просьба Фьямметты, которой Боккаччьо дорожилъ, какъ залогомъ лучшаго будущаго, и обѣщалъ исполнить. Такъ затѣянъ былъ его первый романъ, Филоколо, съ содержаніемъ какой-нибудь византійской повѣсти, отразившейся въ французскихъ поэмахъ XII—XIII вѣка; Боккаччьо могъ знать итальянскую народную поэму на тотъ-же сюжетъ, пересказъ французской. Вкусъ къ романическимъ захожимъ изъ Франціи сюжетамъ былъ распространенъ въ итальянскомъ обществѣ и среди дамъ: флорентійская вдова, столь жестоко осмѣянная Боккаччьо, зачитывается похожденіями Ланцелота и Джиневры, Тристана и Изотты, Флоріо и Біанчифьоре [2]); въ счастливые, но не долгіе дни любви Фьямметта охотно слушаетъ и читаетъ разныя исторіи, особенно любовныя [3]), и французскіе романы [4]).

1) Filocolo I, стр. 6—7.
2) Corbaccio, стр. 233.
3) Сл. посвятительное письмо къ Тезеидѣ.
4) Fiammetta, стр. 185—186.

Чтеніе отвѣчало настроенію: въ психологическомъ этюдѣ, носящемъ имя Фьямметты, въ которомъ Боккаччьо, извращая факты, представляетъ ее покинутой своимъ милымъ, она коротаетъ время, разсказывая что-либо своимъ дѣвушкамъ, либо слушая сказки; а когда этого нельзя устроить, припоминаетъ разные горестные случаи, которые сравниваетъ съ своимъ положеніемъ, и какъ бы найдя товарищей по несчастію, отводитъ душу [1]). Повѣсть о чужомъ горѣ или счастьѣ помогала разобраться въ своемъ собственномъ, обобщая его; въ этомъ смыслѣ новеллы Декамерона и были написаны «на помощь и развлеченіе любящихъ» [2]): каждый разсказъ вызывалъ житейскую и психологическую оцѣнку, личные интересы разскащиковъ сказывались въ выборѣ того или другого сюжета. Сцена въ монастырѣ св. Михаила—первый листокъ Декамерона: когда въ веселомъ кружкѣ бесѣдовали о судьбахъ Флоріо и Бьянчифьоре, Боккаччьо и Фьямметта могли безсознательно отождествлять себя съ героемъ и героиней романа, полюбившими другъ друга съ дѣтства какою-то роковою страстью, разлученными цѣлымъ рядомъ препятствій и все-же кончившими гимномъ торжествующей любви.

Подъ этимъ впечатлѣніемъ начатъ былъ Филоколо; Боккаччьо кончилъ его уже во Флоренціи, послѣ разрыва съ Фьямметтой; оттого въ немъ такъ много автобіографическихъ эпизодовъ, веселыхъ и грустныхъ воспоминаній, нерѣдко перерастающихъ канву разсказа, болѣе его не интересовавшаго: дѣйствительность нарушила его поэтическія грезы.

Пока онъ счастливъ: ему сказали, что его любятъ [3]). «Теперь за тобой стало собраться съ духомъ и пойти за мною, припасшей тебѣ вѣнокъ изъ столь дорогихъ тебѣ листьевъ. Что же ты намѣренъ дѣлать? Приди, говоритъ мнѣ красавица, которою увлекъ меня Амуръ; а я стою недвижимъ: таково мое малодушіе» [4]). Робость-ли

1) Fiammetta, стр. 181—2.

2) Введеніе, стр. 3 перев.; сл. Ameto, стр. 2.

3) Filocolo II, стр. 248.

4) Сонетъ XXVII.

это влюбленнаго или недовѣрчивость, внушенная ему высокимъ положеніемъ его дамы, только онъ побѣдилъ то и другое, и начинаетъ ухаживать. Фьямметта становится его музой: «Когда то я взывалъ въ своихъ нуждахъ къ музамъ Парнасса, но съ тѣхъ поръ, какъ я влюбился въ тебя, мадонна, любовь заставила меня измѣнить старому обычаю. . . Ты моя радость и утѣшеніе, ты мнѣ Юпитеръ и Аполлонъ, моя муза; я это знаю по опыту [1]). Онъ хочетъ испытать надъ нею силу «украшеннаго слова», воспѣвая ея красоту [2]), и она расточаетъ похвалы его стихотвореніямъ [3]). Измышленное имя Фьямметта позволяло сказать многое; Боккачьо знаетъ, что извѣстное положеніе обязываетъ къ осторожности и тайнѣ, и самъ называетъ себя то Памфиломъ [4]), то Калеоне [5]). Онъ выработалъ себѣ языкъ знаковъ и иносказаній и объясняется въ любви безъ словъ; иногда, воспламененный любовью, онъ разсказываетъ, въ присутствіи близкихъ къ Фьямметтѣ людей, о ней и о Памфило, будто-бы о грекахъ, о томъ, какъ они увлеклись другъ другомъ и что за тѣмъ послѣдовало, обставляя новеллу соотвѣтствующими именами лицъ и мѣстностей. Фьямметта смѣялась, порой ее разбиралъ и страхъ, какъ бы, увлекшись, Памфило не сказалъ что лишнее; но онъ былъ хитрѣе, чѣмъ ей казалось, и сама она научилась у него языку знаковъ и въ выдумкахъ превзошла любого поэта, отвѣчая разсказами на иносказанія милаго [6]).

Откуда ея имя? Видѣть ли въ немъ позднѣйшее измышленіе автора «Фьямметты», или оно въ самомъ дѣлѣ подсказалось ему уже въ раннихъ отношеніяхъ любви? Въ III-й и V-й эклогахъ Боккачьо одинъ изъ собесѣдниковъ носитъ имя Памфило, что̀ объясняется: totus amor, всецѣло любящій; Боккачьо могъ вы-

1) Filostrato, I, 1—2. Сл. посвященіе, стр. 5.
2) Filocolo, II, стр. 248, 261.
3) Посвященіе Тезеиды, Corazzini, стр. 3.
4) Фьямметта, Декамеронъ.
5) Амето, Филоколо.
6) Fiammetta, c. I, стр. 30—31.

читать его изъ анонимной поэмы XII-го вѣка, De Amore или De arte amandi, одномъ изъ популярныхъ въ средніе вѣка подражаній Овидію. Дѣйствующія въ немъ лица Памфилъ и Галатея; ихъ имена греческія — а Боккаччьо разсказываетъ о себѣ и Фьямметтѣ, какъ о грекахъ; Памфилъ поэмы — бѣдный юноша, горящій любовью къ богатой и родовитой Галатеѣ; это тѣ-же отношенія, что̀ и у Боккаччьо, и у него та-же робость, что̀ у героя поэмы:

47 Dicitur et fateor me nobilioribus ortam,
Huic ideo metuo dicere velle meum.
Fertur, et est verum, quod me sit ditior illa,
Et decus et dotes copia saepe rogat,
Nec mihi sunt dotes decus ingens copia grandis,
Sed quod habere queo, quero labore me.

Онъ молитъ о помощи Венеру; она ободряетъ его дѣйствовать (76 labor improbus omnia vincit; 87 rebus et in multis ars adjuvat officiumque): пусть не пугается отказа, онъ явится непремѣнно (76 Quodque precando petis prius aspera forte negabit), но за нимъ скрывается желаніе (112 Sed quod habere cupit hes magis ipsa negat); сладкія рѣчи возбуждаютъ и питаютъ любовь (107 Excitat et nutrit facundia dulcis amorem), — какъ и Боккаччьо пытаетъ силу «украшеннаго слова», copiosa sermonis facundia, какъ выразился бы капелланъ Андрей. Помощь Венеры ограничивается, впрочемъ, однимъ совѣтомъ, дѣйствіе разрѣшается съ появленіемъ услужливой старухи извѣстнаго типа, прошедшаго изъ элегіи Овидія [1]) и восточныхъ повѣстей въ средневѣковые фабліо̀, въ Roman de la Rose, поэму de Vetula и новеллу Декамерона [2]). Она то и устраиваетъ любовь Памфила и Галатеи, которая увлечена и страшится, стыдлива и разумна — и горитъ желаніемъ.

Боккаччьо упоминаетъ Памфила, очевидно указанную поэму, въ Любовномъ Видѣніи [3]), наряду съ Пандаромъ (Ѳиванскимъ), а

1) Am. I, 8.
2) Дек. V, 10.
3) Cap. V, str. 11.

въ посланіи къ Якову Пиццинги считаетъ его въ числѣ итальянскихъ поэтовъ, поддерживавшихъ въ средніе вѣка заглохшее пламя поэзіи [1]). Именно ситуація поэмы могла дать ему идею перевести ея отношенія на свои собственныя: та-же противоположность соціальнаго положенія, и та-же смѣсь страстности и выдержки въ Фьямметтѣ — Галатеѣ. О Фьямметтѣ онъ, очевидно, не могъ говорить, какъ о греческомъ имени; онъ, можетъ быть, и называлъ ее Галатеей, разсказывая о любви двухъ грековъ. Не она-ли является въ его XII-й эклогѣ:

Me Galatea diu, me quondam Phyllis amavit,

въ XVI-й:

lusit Galatea potentem
Viribus?

Не она-ли разумѣется и въ его отвѣтномъ посланіи къ Чекко да Милето? Положимъ предѣлъ нашимъ пѣснямъ, говоритъ онъ ему, онѣ не способны къ великому, но намъ знакомъ Пафосъ и пламя Венеры и жестокія стрѣлы Амура, ибо шаловливая Галатея, улыбаясь, даритъ меня своими вздохами — и не тушитъ грознаго пламени:

Nam placido Galatea mihi suspiria vultu
Lasciviens prestat, nec diros opprimit ignes.

Имя Галатеи [2]) не удержалось, предпочтеніе отдано было Фьямметтѣ, можетъ быть, подсказанной Овидіемъ [3]). Байскій берегъ видѣлъ ее нерѣдко вмѣстѣ съ Памфиломъ участниками одного изъ тѣхъ веселыхъ обществъ, которыя изобразилъ намъ Боккаччьо [4]).

Его лирика [5]) отражаетъ все развитіе его страсти, съ ея

1) Corazzini, стр. 194.

2) Сл. Галатею = Лауру XI-й эклоги Петрарки.

3) Am. II, 16, v. 11: at meus *ignis* abest.

4) Fiammetta, c. V, стр. 108.

5) Цитую по изданію Moutier; сл. Carducci, Cantilene e ballate l. VI: Ballate tratte dalle dieci giornate del Decameron ed altre Canzoni a ballo e madrigali di Messer Giovanni Boccaccio. Къ библіографіи лирическихъ произведеній Боккаччьо сл. Indice delle carte di Pietro Bilancioni въ Propugnatore N. S. vol. II, fasc. 11—12, стр. 284—6.

надеждами и упоеніями, порывами плотской ревности и полетами въ области любви, отвлеченной до значенія небесной добродѣтели. Фьямметта—красавица, ея прелестей не описать, говоритъ поэтъ[1]), но онъ пытается изобразить въ другомъ сонетѣ[2]) типъ знакомый намъ изъ Декамерона и Амето, подчеркивая въ первой строфѣ смѣхъ Фьямметты; онъ его особенно очаровалъ: когда она смѣется, небо кажется отверстымъ и улыбается весь міръ[3]). Природа соединила въ ней, какъ въ своей сокровищницѣ, и золотыя кудри, и смѣющіеся глаза, блестящіе и нѣжные, изящныя движенія и степенные нравы, сдержанную шутливость и честное простодушіе рѣчи. Если я страстно вздыхаю по ней, да не порицаютъ меня тѣ, кто не вѣдаетъ, что наградой моихъ страданій—надежда[4]). Онъ любитъ представлять себѣ Фьямметту на берегу моря, въ обществѣ дамъ[5]); либо она сидитъ подъ тѣнью деревьевъ, плетя изъ своихъ золотистыхъ волосъ сѣти, куда попадутъ всѣ, поглядѣвшіе на нее, какъ попалъ и онъ, слишкомъ понадѣявшись на себя, увлеченный невѣдомой силой[6]). Чаще всего она катается въ лодкѣ и поетъ: это воспоминаніе байскихъ прогулокъ[7]); ея голосъ чарующій: дельфины слѣдуютъ за нею, какъ за пѣснью Аріона[8]), но ни голосъ того, кто усыпилъ Аргоса, ни пѣсни Аріона и сиренъ не сравняются съ тою, которую пѣла она, убирая свои волосы цвѣтами и зеленью; она-то и зажгла въ моемъ сердцѣ искорку, прибавляетъ поэтъ, риѳмуя angioletta и fiammetta[9]).— Его любовь чиста, поднимаетъ его нравственно: она возжигаетъ въ немъ лишь побужденіе къ добру[10]), онъ ничего иного не же-

1) Сонетъ XVIII.
2) Сон. III.
3) Сон. LXXXIX.
4) Сон. LXI.
5) Сон. XXXI.
6) Сон. XXXVIII.
7) Сон. XXXII; сл. Fiammetta, стр. 93.
8) Сон. LIII.
9) Сон. XLI.
10) Сон. LXII.

лаетъ, какъ доставить столь прелестному созданію удовольствіе въ предѣлахъ честности [1]); пусть Фьямметта подаритъ его однимъ лишь вздохомъ: онъ утолитъ сжигающее его пламя [2]). Въ ея лицѣ ему видится красота небесъ, она-то и поднимаетъ его на крыльяхъ добродѣтели [3]), потому что любовь воспитываетъ благородный духъ въ радушіи и смиреніи и какъ отъ врага бѣжитъ отъ всего низкаго [4]).

Такъ уже въ ранней лирикѣ Боккаччьо намѣченъ мотивъ одухотворяющей любви, къ которому онъ такъ часто возвращается впослѣдствіи. Очевидно, для него это не одна лишь мода, не лирическая формула, а вмѣстѣ и требованіе самосознанія, желаніе помирить спросы темперамента и идеализаціи. Вопросъ платонизирующей любви поставленъ уже въ одной небольшой поэмѣ его первой неаполитанской поры, въ Діаниной охотѣ [5]). Фьямметта не названа, но едва-ли не она разумѣется подъ bella donna, donna piacente, gentile; не даромъ у нея на рукѣ царственный орелъ.

Поэтъ мечтаетъ о томъ, какъ бы ему защититься отъ любви, и слышитъ голосъ дантовскаго spirto gentil, призывающій къ Діанѣ всѣхъ ея партенопейскихъ поклонницъ. Онѣ являются, съ своими именами, принадлежащими къ родовитымъ неаполитанскимъ семьямъ; подобныя перечни красавицъ были не новость въ провансальской и итальянской поэзіи [6]); послѣдняя не названа, потому что ея имя достойно большей хвалы, чѣмъ на какую способенъ поэтъ; она, bella donna (IV п.), избранница Амура, руководитъ другими, и ей порученъ одинъ изъ четырехъ отрядовъ, на которыя Діана дѣлитъ своихъ охотницъ;

1) Сон. LXXXIV.

2) Сон. LXXXV.

3) Сон. L.

4) Сон. CIV.

5) Новое изданіе: La caccia di Diana (pubblicata per le Nozze Casini-Polsinelli da Salomone Morpurgo, Albino e Oddone Zenatti). Firenze, 1885.

6) D'Ancona, Vita Nuova стр. 45 слѣд.; Scherillo, Alcune fonti provenzali della V. N. di Dante § 6.

у ней на рукѣ ловчій орелъ. Начинается охота въ разсыпную, падаютъ звѣри, между ними носорогъ и слонъ, пантера и страусъ. Послѣ охоты Діана ожидаетъ, что вся эта добыча будетъ принесена въ жертву Юпитеру и ей; но красавица (Donna piacente XVI п.) протестуетъ: Не хотимъ мы болѣе пребывать подъ твоей властью, ибо горимъ другимъ пламенемъ. Пока гнѣвная Діана удаляется на небо, красавица (donna gentile, XVII п.) предлагаетъ всѣмъ обратиться къ «святой Венерѣ, матери Амура», и принести ей въ жертву добытыхъ на охотѣ звѣрей, дабы ея сила въ нихъ умножилась, ихъ мысли очистились отъ всякія скверны, сердце стало щедрымъ и привѣтливымъ; пусть покажетъ на нихъ свою силу и исполнитъ ихъ желаніе, сдѣлавъ ихъ доступными любви. — На свѣтломъ облакѣ показывается обнаженная богиня и говоритъ, что ихъ просьба будетъ исполнена; что-то шепнула на огонь, гдѣ лежали жертвенныя животныя, и онѣ ожили въ человѣческомъ образѣ, въ видѣ красивыхъ, веселыхъ юношей; они окунулись въ рѣку и очутились въ дорогихъ одеждахъ краснаго цвѣта. Повинуйтесь этимъ красавицамъ, говоритъ Венера, любите ихъ, и ваши труды увѣнчаются побѣдой, и надъ вами смилуются. Богиня вознеслась на небо, а поэту кажется, что и самъ онъ былъ принесенъ ей въ жертву въ видѣ оленя и также преобразился, какъ другіе, и предоставленъ въ служеніе красавицѣ (XVIII п.). Вотъ что она сдѣлала со мною, чистая и непорочная, сошедшая съ неба, дабы просвѣтить людскія очи, мудрая, съ разсудительной рѣчью, величественннымъ видомъ, съ веселой, легкой поступью. Отдавшись ей, я превратился изъ звѣря въ разумное существо; она гонитъ печаль, дѣлаетъ милостивымъ всякаго, на нее смотрящаго: когда гляжу я на нее, отъ меня бѣжитъ гордость и нерадѣніе, любостяжаніе и гнѣвъ. Пусть всѣ, служащіе тому же властелину, что и я, помолятъ его, чтобы я дольше пробылъ въ ея любви и могъ достойно почтить ее. Болѣе не говорю, ибо намѣренъ воздать ей большія похвалы, отъ которыхъ еще жду себѣ — счастья.

Съ этими мотивами мы встрѣтимся въ эпизодахъ Филоколо,

въ типахъ Амето и Чимоне, въ идеѣ Любовнаго Видѣнія. Въ пору своей молодой страсти къ Фьямметтѣ, Боккаччьо, очевидно, самъ вѣрилъ въ выспренность своихъ желаній и увлекался до восторговъ къ неземной красотѣ небесъ, но онъ не спокоенъ: въ сущности, онъ надѣется на что-то другое, и надежда смѣшана у него со страхомъ, что всякое счастье недолговѣчно [1]); онъ одинъ горитъ, когда природа подъ снѣгомъ; молитъ подать ему воды, и не вымолитъ у Амура ни капли [2]). Онъ жалуется на свои глаза, открывшіеся на красоту, отъ которой онъ погибъ [3]), на Амура и свою милую, и чувствуетъ, какъ она тайно отвѣчаетъ въ его сердцѣ: Моя честь мнѣ дороже твоего горя! [4]). Почему Амуръ не поразилъ и ее, какъ поразилъ его? [5]). Почему не убьетъ его? [6]). Онъ жаждетъ смерти [7]), хотѣлъ-бы бѣжать, но Амуръ останавливаетъ его: Напрасно! Одно слово, улыбка, ласковый взглядъ заставятъ тебя вернуться, и ты будешь болѣе связанъ, чѣмъ прежде [8]); оплачь свою свободу, говоритъ себѣ поэтъ, и тотчасъ-же прибавляетъ, что нѣтъ лучше свободы, какъ быть подвластнымъ столь чудной красотѣ [9]). А она не хочетъ надъ нимъ сжалиться, гнушается имъ, бѣжитъ, лишь только его завидитъ, точно ревнуя къ себѣ, боится всякаго, кто на нее посмотритъ, какъ бы ее не отняли у нея самой [10]); то подаетъ надежду, то пугаетъ отказомъ [11]). Ея прелестные глазки, которыя влекутъ его, какъ птицы влекутся ночью на свѣтъ, кажутся ему коварными? [12]), она какъ бы торжествуетъ въ сознаніи своей силы, когда видитъ его блѣд-

1) Сон. XX.
2) Сон. LXXVII.
3) Сон. LXIII.
4) Сон. LXX.
5) Сон. LXXIX.
6) Сон. LVII
7) Сон. LXXV.
8) Сон. LXXI.
9) Сон. XXII.
10) Сон. XLIV, XLVI, LII: мадригалъ I.
11) Сон. CVII.
12) Сон. XIV.

*

нымъ, убитымъ, измѣнившимся, и вотъ онъ хочетъ, съ согласія Амура, измѣнить ладъ своихъ пѣсенъ: онъ будетъ хулить, что неразумно хвалилъ: можетъ быть, такъ онъ дождется конца своихъ страданій [1]), доживетъ до поры, когда ея золотистые волосы посеребрѣютъ, лицо покроется морщинами, голосъ станетъ хриплымъ — и его печаль обратится въ смѣхъ, и онъ скажетъ: Мадонна, Амуръ васъ болѣе не любитъ и вамъ остается оплакать свою неподатливость [2]).

Но вотъ въ его лирикѣ слышится новая нота: если моя дама не шутитъ надо мною, моя надежда вскорѣ будетъ увѣнчана, говоритъ онъ себѣ; при встрѣчѣ со мною она блѣднѣетъ, то широко уставитъ на меня глаза, полные желанія, то закроетъ ихъ; она вздыхаетъ, точно, подавленная чувствомъ, проситъ у меня мира. Я-ли перестану пылать къ ней, видя, что ей это по сердцу [3]). Ему кажется, что и она переживаетъ то-же, что и онъ [4]).—Настаетъ пора сближенія, интимныхъ бесѣдъ Памфила съ Фьямметтой, опасеній, какъ бы не дознался мужъ [5]), какъ-бы не оговорили ихъ злые языки. Нѣчто подобное случилось, если канцоны IV, V и VI относятся къ Фьямметтѣ, за что говорятъ, повидимому, указанія на разницу общественныхъ положеній. Поэтъ пишетъ своей дамѣ, потому что не можетъ съ нею видѣться; кто тому виною: его-ли неразумное желаніе, направленное къ женщинѣ, стоящей выше его [6])—или враждебная судьба? Это она настроила противъ него грубыхъ, неотесанныхъ людей, завистниковъ, распустившихъ ложные слухи и подозрѣнія, ни на чемъ не основанныя [7]) — и вотъ онъ принужденъ теперь избѣгать мѣстъ, куда влечетъ его любовь, избѣгать не по малодушію, а по благора-

1) Сон. XIII.

2) Сон. LXXXII; сл: XXXVII.

3) Сон. LXVI.

4) Сон. XXIII.

5) Сон. LIV.

6) Canz. IV: Ponendo mia speranza im quella cima — Dove ma'il poder mio — Salir non può.

7) Ib. Per false conietture e segni nudi Di ciascun verisimil fondamento.

зумію, чтобы соблюсти честь милой и чтобъ ихъ обоихъ не охулили. Эти грубые люди — служители дамы; они позволили себѣ оскорбить поэта словомъ и дѣломъ; онъ не можетъ забыть обиды, но проситъ даму не наказывать тѣхъ людей, а ласково внушить имъ, чтобъ они болѣе не забывались и своими лживыми наговорами не пятнали ея чистаго имени. Судьба можетъ раздѣлить насъ тѣлесно, говоритъ онъ, нашихъ душъ никогда не разъединитъ; если моя просьба что-либо значитъ, забудь, что̀ противъ тебя говорили и дѣлали. — Пятая канцона спѣшитъ слѣдомъ за своей «сестрой»: та не произвела впечатлѣнія и не вызвала отвѣта; милая не убѣдилась; ужъ не упрекаетъ-ли она его въ малодушіи? Шестая канцона возвращается къ этому упреку, устраняя его; снова говорится объ оскорбленіи, нанесенномъ поэту; пострадалъ не одинъ онъ: оказывается, что нѣкая дама, носившая его имя (Джьованна?), служила ему отводомъ глазъ и что подъ ея прикрытіемъ онъ являлся, гдѣ могъ видѣть свою милую, не обращая на себя вниманія [1]). Ее-то оскорбили изъ-за него, теперь онъ погибъ, ему не на кого болѣе положиться. Извини-же меня, обращается поэтъ къ своей милой, если я покажусь тебѣ, быть можетъ, слишкомъ осторожнымъ [2]): всѣ эти невзгоды возбудила ты, любовь, которую ты во мнѣ вселила; отъ тебя я жду помощи, отъ твоихъ прекрасныхъ глазъ, отъ звука ангельскихъ рѣчей.

Боккаччьо прибѣгалъ, стало быть, къ тому же средству, которое освятилъ провансальскій любовный обиходъ и дантовская donna dell'ischermo [3]): за фиктивными, болѣе безопасными отношеніями онъ старался скрыть настоящую любовь. Въ юности я былъ твоимъ, говорится въ одномъ мадригалѣ [4]), и если

1) Ov'io potea vedervi e non parere.

2) S'a troppo sicurtà vi paio scorso.

3) Vita Nova § V, слѣд.

4) Если только онъ принадлежитъ Боккаччьо, а не ser Durante da San Miniato, сл. Carducci, Cantilene e ballate, № CCCXXXII; но Laur. Red. 184, c. 80 b: Boccaccio.

показывалъ, что увлекался другой, то для того лишь, чтобы о насъ съ тобой не говорили [1]).

Ко всему этому присоединились и муки ревности.

Каждой весною Байи отнимаютъ у него его милую [2]), и ему кажется, что зефиръ навѣваетъ ему ея образъ, и она говоритъ: Посмотри, какую радость я тебѣ принесла! Онъ хочетъ схватить ее, но она уносится съ вѣтромъ [3]). Онъ самъ поѣхалъ бы въ Байи, но она запретила ему [4]), можетъ быть, чтобы не возбудить вниманія: о нихъ уже пошли слухи. И онъ разражается страшными нападками противъ Бай: все его тамъ страшитъ, и небо, и море, и земля, и то, что дѣлается въ домахъ и внѣ дома; тамъ только о томъ и думаютъ, чтобъ веселиться среди музыки и пѣнія, подманивая пустыми рѣчами неопытные умы, бесѣдуя о побѣдахъ Амура; Венера тамъ всесильна, и часто бываетъ, что Лукреція, отправившись туда, возвращается назадъ Клеопатрой. Онъ это знаетъ и опасается, какъ бы подобнаго рода мысли не проникли и въ сердце его дамы [5]). Когда въ былое время при немъ разсуждали въ кружкахъ, что̀ предпочтительнѣе для влюбленнаго: видѣть ли свою милую, или бесѣдовать о ней, или наконецъ мечтать о ней, Боккаччьо стоялъ за послѣднее; онъ жестоко разубѣдился въ этомъ, когда Фьямметтѣ пришлось уѣхать въ Аквино (Самній), куда онъ не могъ послѣдовать за нею ни подъ какимъ благовиднымъ предлогомъ, если не желалъ принести ея честное имя въ жертву своему счастью. Онъ чувствуетъ себя одинокимъ, точно опустѣлъ съ отъѣздомъ Фьямметты и городъ, и какъ Данту [6]) по смерти Беатриче, такъ и ему подсказываются слова Іереміи: Quomodo sedet sola civitas! Онъ хотѣлъ бы утаить свое горе, чтобы не выдать себя, но это выше его силъ,

1) Madriale II.
2) Сон. XXXIV.
3) Сон. XV.
4) Сон. XXXIII.
5) Сон. LXIX.
6) Vita Nuova § 29; сл. § 31.

и онъ рѣшается отвести душу, воспѣвъ въ лицѣ другого влюбленнаго собственныя страданія. Онъ будетъ пѣть о любви Троила къ Гризеидѣ и объ его гореваньи, когда она удалилась отъ него, какъ удалилась Фьямметта. Троилъ — это онъ, сраженный любовью: такъ произвольно толкуетъ Боккаччьо греческое слово Филострато, которымъ назвалъ свою поэму; Троилъ былъ счастливъ съ Гризеидой, но Боккаччьо связанъ своимъ источникомъ и остерегаетъ насъ отъ отождествленій: если онъ говоритъ о блаженствѣ Троила, то не съ тѣмъ, чтобы увѣрить другихъ, будто и ему улыбнулась судьба, а дабы изображеніемъ счастья лучше оттѣнить послѣдовавшее горе. Троилъ былъ счастливъ обладаніемъ Гризеиды, онъ — лицезрѣніемъ своей дамы, котораго теперь лишенъ; пусть-же вернется она скорѣе, и да возжетъ въ ея сердцѣ Амуръ то чувство, въ которомъ поэтъ видитъ свое единственное блаженство.

Такъ говоритъ Боккаччьо въ письмѣ, которымъ посвятилъ Фьямметтѣ свою первую законченную поэму, Филострато — потому что Филоколо, хотя и начатый ранѣе, въ весеннюю пору любви, дописанъ былъ позднѣе, подъ совершенно иными впечатлѣніями, когда все было кончено и рефлексія вступила въ права чувства. Онъ сочинялся медленно, Филострато вылился заразъ въ минуты аффекта, отъ котораго Боккаччьо пытался освободиться, художественно изобразивъ его внѣ себя. Это изображеніе даетъ намъ мѣру его таланта; Филострато заставляетъ предчувствовать Декамеронъ: это уже новелла, хотя еще въ формахъ рыцарскаго романа; тотъ-же реализмъ, тотъ-же психологическій анализъ, съ его тонкостями и недочетами, то-же отношеніе къ источникамъ.

IV.

Боккаччьо заимствовалъ сюжетъ своей поэмы изъ Roman de Troie французскаго трувера Бенуа de Sainte More — либо изъ его латинскаго пересказа, принадлежащаго Guido delle Colonne.

*

Выборъ палъ на эпизодъ Троила и Гризеиды, разбросанный въ романѣ Бенуа и всецѣло принадлежащій его вымыслу: ничего подобнаго онъ не нашелъ у тѣхъ авторовъ, въ которыхъ средніе вѣка почерпали свои свѣдѣнія о «троянскихъ дѣяніяхъ», у Дарета и Диктиса. Онъ первый представилъ себѣ Троила, Пріамова сына, влюбленнымъ рыцаремъ, увлеченнымъ Брезеидой; онъ-же сдѣлалъ ее дочерью Калханта и изобразилъ мастерски: она поставлена у него въ средоточіи разсказа, кокетливая красавица, полная желанія любить и нравиться и незамѣтно переходящая отъ одной привязанности къ другой, среди упрековъ самой себѣ и самооправданій, что иначе ей и нельзя было поступить.

Жрецъ Калхантъ (смѣшанный съ гомеровскимъ Хризомъ) измѣнилъ троянцамъ и перешелъ въ станъ грековъ, оставивъ въ Троѣ свою дочь Бризеиду. Пользуясь перемиріемъ, онъ требуетъ ея выдачи; по этому поводу мы узнаемъ впервые, что она и Троилъ любятъ другъ друга: это — совершившійся фактъ, на которомъ поэтъ и не останавливается. Оба влюбленныхъ горюютъ; красавица плачетъ: какъ ей покинуть родной городъ для лагеря, гдѣ постыдно было-бы жить и простой служанкѣ! Я не знаю тамъ ни короля, ни герцога, ни графа, который услужилъ-бы мнѣ и почтилъ бы меня. И она поминаетъ Троила: ни одна женщина не полюбитъ его такъ, какъ я. — Ночь они проводятъ вмѣстѣ; на другое утро Бризеида сбирается къ отъѣзду, не забывая пріодѣться къ лицу и велѣть уложить свои платья. Троилъ провожаетъ ее; онъ страшно ее любитъ, она опечалена, но вскорѣ успокоится и обратитъ свою любовь на другого — и поэтъ пользуется случаемъ наговорить общихъ мѣстъ о непостоянствѣ женщинъ, у которыхъ горе держится не долго и одинъ глазъ еще плачетъ, когда другой уже смѣется. При разставаньи оба любовника клянутся въ вѣрности другъ другу, Троилъ удаляется, грустный и задумчивый, а Діомедъ, выѣхавшій на встрѣчу Бризеидѣ, тотчасъ-же, по дорогѣ, начинаетъ ухаживать за нею; счастливъ тотъ, кому вы подарили свою любовь, говоритъ онъ, и не покажись это слишкомъ поспѣшнымъ, я сталъ-бы молить

васъ принять меня, какъ вашего рыцаря и поклонника. Вѣдь часто бываетъ, что люди никогда не видѣвшіеся и не знавшіеся, полюбятъ другъ друга; я никогда не испыталъ любви, но теперь чувствую, что она мною овладѣла.—Бризеида отвѣчаетъ коротко: было-бы нехорошо и непристойно, еслибъ я дала слово полюбить человѣка, котораго никогда не видѣла и не знаю; у кого на сердцѣ такая печаль, какъ у меня, тому мало дѣла до вашихъ словъ: я разсталась съ милымъ и не знаю, увижу-ли его когда нибудь. Вы такъ мужественны, благородны и образованы, что нѣтъ на свѣтѣ женщины или дѣвушки, которая отказала бы вамъ; да и я не отказываю, только нѣтъ теперь желанія полюбить ни васъ, ни кого бы то ни было; еслибы я захотѣла отдаться этому чувству, повѣрьте, никто не былъ бы мнѣ дороже васъ.— Діомедъ видитъ, что она не дикарка; прежде чѣмъ разстаться съ нею, онъ нѣсколько разъ обратился къ ней съ той-же просьбой, унесъ ея перчатку и радуется, видя, что она на то не разсердилась.— Не успѣлъ наступить четвертый вечеръ, какъ у нея прошла уже охота вернуться въ Трою. — Въ одной изъ схватокъ Діомедъ свалилъ Троила съ коня, котораго посылаетъ въ даръ Бризеидѣ. Она говоритъ посланцу: Скажи своему хозяину, что онъ плохо меня чествуетъ; кто меня любитъ, не долженъ наносить вредъ тому, кто мнѣ милъ. Она выражаетъ надежду, что Троилъ съумѣетъ отмстить за свое пораженіе—и вмѣстѣ съ тѣмъ кокетничаетъ съ Діомедомъ: передай ему, что было бы съ моей стороны несправедливо, еслибъ я его ненавидѣла за его любовь ко мнѣ. Она мучитъ Діомеда, хваля передъ нимъ храбрость Троила, и вмѣстѣ съ тѣмъ рада, что Діомедъ попался въ ея сѣти; она даетъ ему вмѣсто значка — свой рукавъ. — Когда впослѣдствіи Троилъ ранилъ Діомеда и наглумился надъ нимъ и измѣнницей, Бризеида не можетъ болѣе скрыть своего новаго чувства: она дѣйствительно полюбила Діомеда. Не хорошую пѣсню сложатъ обо мнѣ, говоритъ она сама себѣ: я измѣнила своему милому безъ всякой вины съ его стороны; я лжива, вѣтрена, неразумна. Но къ чему каяться, когда мое сердце уже отдано другому? Будь я въ Троѣ, ничего подоб-

наго не произошло-бы; здѣсь у меня не было ни друга, ни совѣтчика, ни поддержки. Станутъ злословить меня тѣ, кто опоздалъ съ своимъ утѣшеніемъ; но не слѣдъ томиться и мучиться ради людей: что мнѣ за польза въ томъ, что всѣ веселы, а мое сердце печально?—Ее тревожитъ голосъ совѣсти: она то плачетъ, то весела и успокоивается сознаніемъ, что сдѣланнаго не измѣнить: Господь да пошлетъ всего хорошаго Троилу! Такъ какъ я не могу болѣе любить его, ни онъ меня, я отдаюсь Діомеду; я хотѣла-бы лишь одного — забыть все прошлое.

Таково содержаніе эпизода о Бризеидѣ; позднѣе мы узнаѐмъ, что Троилъ былъ убитъ Ахилломъ.

Боккаччьо воспользовался этимъ эпизодомъ: отбросивъ подробность о конѣ, иначе разработавъ мотивъ «рукава», онъ оставилъ почти безъ измѣненія общій ходъ дѣйствія, развивъ его внутренне и вдвинувъ въ болѣе культурную бытовую обстановку. Существенно измѣнены взаимныя положенія дѣйствующихъ лицъ: главный интересъ сосредоточивается не на Бризеидѣ — Гризеидѣ Боккаччьо —, а на Троилѣ, въ которомъ поэтъ хотѣлъ изобразить самаго себя: не наивнаго юношу французскаго романа, впервые открывающагося чувству любви, а человѣка испытаннаго въ ней, взвѣшивающаго ея горе и радости. Гризеида очутилась вдовою; это дало Боккаччьо болѣе простора: его героиня опытная женщина, она любитъ сознательнѣе и виртуознѣе; кокетство Бризеиды почти изчезло, явилась софистика любви и роковая власть Амура. Между Гризеидой и Троиломъ стало новое лицо Пандара: типъ созданный Боккаччьо; мизогиническая философія Бенуа и монологъ Бризеиды могли лишь издали навести его на его замыселъ. Весь эпизодъ счастливой любви написанъ наново: у Бенуа его нѣтъ, Боккаччьо вложилъ въ него много пережитаго.

Троилъ когда-то увлекался, но позналъ цѣну любовныхъ тревогъ и непостоянство женщинъ [1]) и счастливъ, что теперь

1) Filostrato I, 22; сл. VIII, 30.

онъ свободенъ и его сердце не занято [1]). Такъ было и съ Боккаччьо передъ тѣмъ, какъ онъ увидѣлъ Фьямметту въ церкви Санъ-Лоренцо; Троилъ видитъ Гризеиду въ храмѣ Паллады: она въ черномъ платьѣ, какъ Фьяммєтта. Онъ пораженъ ею; вернувшись домой, онъ предается вздохамъ; любовь овладѣла имъ, и онъ намѣренъ ее таить, дѣйствуя осторожно, потому что, открытая многимъ, она приноситъ не радость, а горе [2]). Онъ старается увидать Гризеиду, обратить ее вниманіе бранными подвигами, забылъ про ѣду и сонъ, поблѣднѣлъ, а она и не замѣчаетъ его страсти. Онъ плачетъ и вздыхаетъ; онъ еще будетъ падать въ обморокъ, биться объ стѣну, болѣть отъ любви; онъ не сантименталенъ, а страстно сензитивенъ, невоздерженъ въ выраженіи аффектовъ, какъ южный человѣкъ, какъ Ромео — и Боккаччьо; какъ онъ, энергиченъ и нерѣшителенъ. — Пока онъ предается грусти, измышляя какъ бы дать понять Гризеидѣ о своей любви, ему на помощь приходитъ его другъ Пандаръ: человѣкъ добрый, привѣтливый, легко относящійся къ жизни и обходящій противорѣчія любви и долга, дружбы и чести при помощи немудрой философіи, которая такъ рельефно выразилась въ извѣстномъ изреченіи Декамерона: скрытый грѣхъ на половину прощенъ. Реалистъ, какъ Діонео, потѣшный разскащикъ Декамерона, онъ не пошелъ далѣе наивнаго смѣшенія внѣшняго приличія съ нравственностью, которое однако не успокоиваетъ его; устроивъ связь Троила съ Гризеидой, онъ говоритъ, что ради друга попралъ свою честь и совратилъ сердце честной женщины [3]). Софистъ въ любви, знатокъ женскихъ слабостей, онъ дѣйствуетъ на Гризеиду навѣрняка, а самъ—несчастенъ въ любви, потому будто-бы, что не съумѣлъ утаить ее [4]); онъ совѣтуетъ Троилу, опечаленному предстоявшимъ отъѣздомъ Гризеиды, обратить вниманіе на другихъ троянскихъ красавицъ, потому что

1) I, 20, 24.
2) I, 36.
3) III, 6; VIII, 23.
4) II, 11.

новая любовь прогоняетъ старую — и ничего не въ состояніи отвѣтить на его вопросъ: почему же и онъ не поступаетъ такъ же[1]). Противорѣчіе ли это у Боккаччьо или подмѣченное имъ дѣйствительное противорѣчіе сердца и разсудка въ теоретикахъ мизантропіи, цинизма?

Узнавъ, что Троилъ любитъ Гризеиду, его родственницу, Пандаръ начинаетъ восхвалять ее[2]): нѣтъ женщины болѣе ея достойной, столь веселой и привѣтливой, такъ владѣющей словомъ, способной на все великое. Она честна и презираетъ любовь, но онъ надѣется подѣйствовать на нее: у него въ запасѣ есть подходящія рѣчи, а ему удавались и болѣе трудныя дѣла. Главное—чтобы обо всемъ этомъ не стало никому извѣстно; всякому любящему вольно слѣдовать своему влеченію, лишь-бы соблюдена была видимость и совершившагося какъ бы не бывало.—Троилъ счастливъ однимъ обѣщаніемъ; не думай, увѣряетъ онъ Пандара, какъ Боккаччьо хотѣлъ-бы увѣрить Фьямметту[3]), чтобъ я желалъ учинить Бризеидѣ что-либо дурное: пусть бы она дозволила любить себя.

Слѣдующій затѣмъ разговоръ Пандара съ Гризеидой проведенъ превосходно[4]). Онъ пришелъ къ ней и, посидѣвъ немного, какъ то бываетъ между родственниками, сталъ пристально глядѣть на нее. Что съ тобою, братецъ, говоритъ Гризеида, что ты такъ смотришь, точно никогда меня не видѣлъ?— Потому я смотрю, весело отвѣчалъ Пандаръ, что, коли не ошибаюсь, личико твое удачливое: такому человѣку ты приглянулась!—Гризеида покраснѣла, какъ утренняя роза: Не издѣвайся надо мной! тому человѣку здѣсь дѣлать нечего, да ничего такого со мною и не приключалось съ тѣхъ поръ, какъ я родилась. — А развѣ ты замѣтила его?—Никого я не замѣтила; правда, кто-то ходитъ мимо и все заглядывается на мою дверь, не знаю только, чего онъ

1) IV, 47 слѣд.
2) II, 22 слѣд.
3) Сон. LXXXIV.
4) II, 34 слѣд.

ищетъ.—Пандаръ догадывается, что она говоритъ не о Троилѣ, и начинаетъ описывать его достоинства: Пристойно дорогому камню быть въ перстнѣ, хорошо звѣздѣ соединиться съ солнцемъ, такому молодцу съ такой красавицей; всякому лишь однажды выпадаетъ счастье, и кто не съумѣлъ овладѣть имъ, пусть коритъ себя самъ.—Что ты—искушаешь-ли меня, или за-правду говоришь, или съ ума сошелъ? спрашиваетъ Гризеида. Кому обладать мною, коли не мужу? Но кто же онъ: чужестранецъ или изъ нашихъ?—Пандаръ называетъ Троила.—Я думала, что еслибъ я влюбилась въ Троила, ты первый, блюдя мою честь, побилъ бы меня, не только бы побранилъ. Что-же будутъ дѣлать другіе, если ты наводишь меня на это дѣло? Съ тѣхъ поръ какъ я потеряла мужа, я сторонюсь отъ любви и хочу жить честно.—Пандаръ видитъ, что ему дѣлать нечего и уже сбирается уходить. Я хвалилъ тебѣ Троила, какъ похвалилъ бы сестрѣ, дочери, женѣ, говоритъ онъ; онъ стоитъ больше твоей любви, а какъ онъ отъ нея страдаетъ, это я видѣлъ вчера; ты не вѣришь этому, оттого тебѣ его и не жаль; пожалѣй его ради меня: нѣтъ человѣка болѣе его вѣрнаго, умѣющаго хранить тайну. Онъ любитъ тебя пуще всего, а вѣдь тебѣ, молодой, хотя ты и въ траурѣ, дозволено любить; не теряй же времени, подумай и о томъ, что старость или смерть отнимутъ у тебя твою красу.—Правду ты сказалъ: годы уносятъ насъ незамѣтно, и многіе умираютъ прежде, чѣмъ завершится путь, назначенный имъ небомъ. Но бросимъ эти мысли; скажи же мнѣ, какъ дознался ты о его любви?—Пандаръ разсказываетъ, какъ онъ подслушалъ любовную пѣснь Троила, какъ засталъ его въ слезахъ и, дознавшись, въ чемъ дѣло, обѣщалъ ему помочь.—Гризеида ощутила жалость: Не такая я суровая, какъ тебѣ кажется, готова уступить твоему желанію, да онъ того и стоитъ; но пусть удовольствуется тѣмъ, что я погляжу на него, и будетъ остороженъ, чтобы ни мнѣ, ни ему не вызвать укора.

Пандаръ идетъ съ этой вѣстью къ Троилу, а Гризеида, оставшись одна, передумываетъ каждое слово, замечталась о

Троилѣ и весело разсуждаетъ про себя: Я молода и красива, богата и родовита, вдова и бездѣтна — и любима. Почему мнѣ не влюбиться? Если это не согласно съ честью — то вѣдь я буду благоразумна и утаю мою страсть такъ, что о томъ никто не узнаетъ [1]). Почему и мнѣ не поступить, какъ дѣлаютъ другія? Кому я понадоблюсь, когда буду старухой [2]). Зачѣмъ не подарю ему мою любовь, не сжалюсь на его слезы?—Далѣе она впадаетъ въ тонъ Пандара; впадаетъ — Боккачьо, нерѣдко заставляющій свои дѣйствующія лица высказывать общія положенія и вести рѣчи, дорогія автору, но нарушающія цѣльность задуманныхъ имъ характеровъ. Такіе недочеты психологическаго анализа, или скорѣе композиціи, встрѣчаются и въ Декамеронѣ; слѣдующія напр. размышленія Гризеиды поражаютъ своей неприготовленностью: теперь и не время выходить замужъ, говоритъ она себѣ, а коли и было бы, гораздо разумнѣе сохранить свою свободу: любовь, проистекающая изъ такой связи, всегда болѣе нравится любовникамъ, и какая бы тамъ не была красота, мужьямъ она скоро надоѣдаетъ; случайный глотокъ воды гораздо слаще вина, имѣющагося въ изобиліи, какъ тайная любовь превосходитъ ту, которую даютъ повторенныя супружескія объятія [3]). — Вмѣстѣ съ тѣмъ у Гризеиды поднимаются и сомнѣнія: она поминаетъ обратную сторону любви, слезы, ревность, которая хуже смерти; любовь Троила пройдетъ, будетъ открыта.

Пока она волнуется между да и нѣтъ, Пандаръ уже обрадо-

1) Сл. Fiammetta, стр. 189; Decam. I, 4; IX, 2; Ov. Art. Am. II, 389: Ludite, sed furto celetur culpa modesto; Am. III, 14, 5: Non peccat, quaecumque potest peccasse negare.

2) Сл. Дек. V, 10; Ov. Art. Am., II, 59 слѣд.

3) Сл. Filostrato, II, 74; IV, 153; Filocolo, II, стр. 95; Fiammetta, стр. 71; Decamerone III, 6; VII, 6; Сл. Ovid. Art. Am. I, 347: Sed cur fallaris, cum sit nova grata voluptas, Et capiant animos plus aliena suis? Fertilior seges est alienis semper in agris, Vicinumque pecus grandius uber habet; III, 585—6: Hoc est uxores quod non patiatur amari: Conveniunt illas, cum voluere, viri. Сл. Amor. II, 19, v. 3: Quod licet, ingratum est, quod non licet, acrius urit.; 25: Pinguis amor nimiumque patens in taedia nobis Vertitur, et stomacho, dulcis ut esca, nocet.

валъ Троила, который разцвѣлъ, какъ свернувшіеся отъ ночнаго холода цвѣтки раскрываются на утреннемъ солнцѣ. Онъ идетъ посмотрѣть на Гризеиду: она стоитъ у окна, не дичится и скромно устремила взглядъ къ нему на грудь. Онъ въ восторгѣ, она внезапно увлекается имъ и мысленно горюетъ о времени, потерянномъ для любви.

Но какъ бываетъ, что вмѣстѣ съ надеждой ростетъ и любовь, такъ было и съ Троиломъ. Гризеида дозволила ему любоваться ею, но этого ему мало; онъ хочетъ чего-то бо̀льшаго, такъ дурно направлены его желанія [1]). Онъ говоритъ объ этомъ Пандару; тотъ понялъ, въ чемъ дѣло и совѣтуетъ ему написать Гризеидѣ письмо: онъ самъ отнесетъ его и замолвитъ слово.— Но вѣдь женщины стыдливы: она съ негодованіемъ отвергнетъ письмо, и мое положеніе только ухудшится, замѣчаетъ Троилъ; Пандаръ успокоиваетъ его, ручаясь, что доставитъ ему собственноручный отвѣтъ красавицы. Съ письмомъ Троила [2]) онъ идетъ къ Гризеидѣ; какъ увидѣла она его, оставила свое общество и и ступила нѣсколько шаговъ ему на встрѣчу, блѣдная, какъ жемчугъ востока, и боясь, и желая вѣсти. Что привело тебя сюда? какія у тебя вѣсти? спрашиваетъ она и, узнавъ о письмѣ, говоритъ: Да будешь ты счастливъ въ любви, Пандаръ, но подумай-же и обо мнѣ, не только о Троилѣ; если надо поступиться честью, чтобы облегчить страданія другого, то, ради Бога отнеси это письмо обратно.— Вотъ еще новости! Чего женщины наиболѣе желаютъ, на то гнѣваются и негодуютъ при людяхъ, но я вѣдь такъ долго говорилъ тебѣ объ этомъ дѣлѣ, что со мной тебѣ нечего стыдиться; не отказывайся-же, прошу тебя.— При этихъ словахъ Гризеида улыбнулась, взяла письмо и, спрятавъ на груди, говоритъ: Я прочту его, когда будетъ время; если я поступаю дурно, то причина тому желаніе сдѣлать тебѣ удовольствіе; да поможетъ Господь моей простотѣ!—Лишь только ушелъ Пандаръ,

1) II, 87.
2) II, 96—106.

она, оставивъ подругъ, ушла къ себѣ въ комнату и принялась за письмо, читаетъ и перечитываетъ каждое слово, благодаритъ Амура: надо найти время и мѣсто, чтобъ утишить это пламя, не то краски сойдутъ съ лица и обличатъ затаенное желаніе, а это было-бы для меня не малымъ горемъ: я не хочу ни умереть, ни уморить другого. — И она отдается любовнымъ мечтамъ. Снова приходитъ къ ней Пандаръ: Ну, что-же ты скажешь о письмѣ моего друга?—Право не знаю.—Отвѣтила-ли ты ему?—Отвѣчу вскорѣ.—Подумай-же объ этомъ, утѣшь его!—Не знаю, какъ это сдѣлать!—Любовь хорошо тому научаетъ. — Я такъ и сдѣлаю, коли тебѣ угодно, но далъ бы Богъ, чтобы все пошло благополучно.—Пойдетъ, говоритъ Пандаръ, на сколько это въ силахъ того, кому оно всего дороже.

По удаленіи Пандара Гризеида садится писать. Ея письмо сдержанно-страстное, все обѣщающее и все берущее назадъ. Она готова сдѣлать пріятное Троилу—подъ условіемъ сохранить свою честность и цѣломудріе; еслибъ свѣтъ былъ таковъ, какимъ-бы ему слѣдовало быть, я охотно склонилась-бы на твои просьбы; теперь съ нимъ надо считаться, иначе намъ обоимъ придется страдать. Жалость влечетъ меня къ уступкамъ, но я увѣрена въ твоей доблести: ты знаешь, что̀ мнѣ пристойно, удовлетворишься моимъ отвѣтомъ и постараешься положить предѣлъ твоимъ томленіямъ. Мнѣ это больно; поистинѣ, я сдѣлала бы все, что ты желаешь, еслибъ то было не неприлично. Быть можетъ, исполненіе выступитъ еще на мѣсто желанія; болѣе не пишу, но молю Бога, чтобы онъ удовлетворилъ и тебя и меня.

Прочтя это письмо, Троилъ и Пандаръ заключили, что Гризеида сдалась и защищается лишь для виду. Троилъ ободрился, снова засылаетъ Пандара. Я ничего иного не въ состояніи сдѣлать, отвѣчаетъ Гризеида, дѣлаю то, что ты самъ наказалъ мнѣ, стану любить его братской любовью. Она дорожитъ вѣнцомъ цѣломудрія; его нахваливаютъ попы тѣмъ, съ кого не могутъ его сорвать, смѣется Пандаръ [1]), проситъ ее бросить свою дикость

1) Сл. Дек. III, 7 = I, стр. 234 русск. пер.

и прямо ставитъ вопросъ: Скажи же мнѣ, когда ему придти къ тебѣ? — До чего довелъ ты меня, Пандаръ! плачется она; чего ты хочешь отъ меня? Ты заставилъ меня забыть мою честь, я вѣдь не смѣю прямо посмотрѣть тебѣ въ глаза. Зачѣмъ не умерла я въ тотъ день, когда выслушала тебя, а ты заронилъ въ мое сердце желаніе, которое никогда его не покинетъ? Оно будетъ мнѣ утратой чести, причиной безконечныхъ золъ; я болѣе не въ силахъ — и готова сдѣлать все, что тебѣ угодно, лишь бы все сказанное и сдѣланное сохранилось въ тайнѣ. — Ты только не проболтайся, мы не скажемъ ни слова. Когда же придти ему! Пора доткать полотно; любовь, увѣнчанная дѣломъ, скрывается легче. — Гризеида назначаетъ время: вскорѣ праздникъ, всѣ домашніе отправятся туда, она будетъ одна.

Таково содержаніе первыхъ двухъ пѣсенъ Филострато, наиболѣе автобіографическихъ: Боккаччьо самъ пережилъ, что заставляетъ перечувствовать Троила, какъ далѣе переживетъ въ его лицѣ мученія разлуки. То, что въ третьей пѣснѣ говорится о счастьѣ Троила съ Гризеидой, принадлежитъ не области дѣйствительныхъ воспоминаній, а пылкому воображенію влюбленнаго поэта, о чемъ онъ уже предупредилъ въ посвятительномъ письмѣ. Троилъ разцвѣлъ отъ счастья, какъ весной разцвѣтаетъ вся природа [1]); въ темную облачную ночь онъ въ первый разъ посѣщаетъ свою милую, и она опечалена, когда пѣніе пѣтуховъ возвѣстило приближеніе дня [2]). Въ описаніе ихъ блаженства вторгается личное нареканіе Боккаччьо: противъ любостяжателей и скопидомовъ, не видящихъ ничего выше денегъ и порицающихъ тѣхъ, кто отдался печальному «безумію любви» [3]). Какъ понимаетъ ее Боккаччьо, это видно изъ восторженнаго гимна, который поетъ ей Троилъ: гуляя по саду, подъ руку съ Пандаромъ, онъ не можетъ наговориться съ нимъ о Гризеидѣ и порой принимается пѣть о вѣчномъ свѣтѣ, украшающемъ третье небо,

1) III, 12.
2) III, 42—3.
3) III, 38—9.

о милой солнцу дочери Юпитера, во власти которой состоитъ и небо и земля, море и преисподняя, боги и люди, Юпитеръ и Марсъ; она прогоняетъ малодушіе, дѣлаетъ своихъ поклонниковъ способными ко всему великому, смягчаетъ нравы; она источникъ мира и дружбы, ей вѣдомы тайныя свойства вещей, она даетъ законы міру [1]). Самъ Троилъ испытываетъ это вліяніе и преображается: онъ становится мужественнѣе, человѣчнѣе, снисходительнѣе [2]); это любимый мотивъ облагораживающей любви, уже намѣченный въ лирикѣ Боккаччьо [3]).

Но счастье длилось не долго; съ четвертой пѣснью Филострато мы впервые вступаемъ въ содержаніе французскаго романа, т. е. того эпизода, который задумалъ обработать Боккачьо. Калхантъ требуетъ выдачи Гризеиды; услышавъ о томъ, Троилъ едва удерживаетъ слезы, хочетъ помѣшать выдачѣ, любовь дѣлаетъ его готовымъ на все—и вмѣстѣ съ тѣмъ у него является мысль, какъ-бы Гризеида не разгнѣвалась на него въ своей стыдливости. Онъ мучится, желая и не желая вмѣстѣ; падаетъ, какъ лилія, подрѣзанная плугомъ и сожженная солнцемъ [4]), мятется, какъ быкъ, почувствовавшій смертельный ударъ [5]).—До сихъ поръ я пѣлъ о счастіи Троила, хотя къ этому счастію и примѣшивались вздохи, вставляетъ свое слово поэтъ, обращаясь къ Фьямметтѣ: теперь радость обратится въ горе и я съумѣю изобразить его — такъ опечалено мое сердце твоимъ отсутствіемъ. Вернись-же, если не хочешь увидать меня мертвымъ [6]).—Троилъ плачетъ, жалуется на судьбу и Амура, клянетъ Калханта; плачетъ и Пандаръ, котораго онъ позвалъ къ себѣ, но затѣмъ принимается его утѣшать: Ты по крайней мѣрѣ былъ счастливъ, предоставь печалиться мнѣ, который любилъ и

1) III, 74 слѣд.

2) III, 90 слѣд.

3) Сон. L и CIV.

4) IV, 18.

5) IV, 27.

6) IV, 23—25.

не былъ удостоенъ даже однимъ взглядомъ; въ Троѣ есть и другія красавицы. — Оставь эти рѣчи Пандаръ; ты такъ говоришь, будто меньшее несчастіе потерять любимое, чѣмъ никогда не владѣть имъ. Повѣрь мнѣ, такую любовь, какъ мою, никогда не изгнать изъ сердца, ее можетъ развѣ утолить время, горе, смерть, или бѣдность и невозможность свиданія [1]). — Если тебѣ такъ больно разстаться съ ней, почему ты ее не похитишь? спрашиваетъ Пандаръ. Похищеніе броситъ тѣнь на ея честное имя, отвѣчаетъ Троилъ; я хотѣлъ было попросить ее за себя у отца, но это раскрыло-бы наши отношенія, да отецъ и не отдалъ бы ее за меня, потому что прочитъ мнѣ другую, и сказалъ бы, что она мнѣ не ровня. — Будь я такъ влюбленъ, какъ ты говоришь, я все-же увезъ бы ее не смотря ни на что: любовь не знаетъ такихъ тонкостей, не блюдетъ ни обѣщаній, ни даннаго слова, а судьба благопріятствуетъ смѣлымъ; да я и не думаю, чтобъ Гризеида разсердилась на то: вѣдь она такъ любитъ тебя. Разумѣется, мнѣ было бы непріятно, еслибъ о ней пошла худая слава; но пусть обойдется, какъ обходится Елена [2]). — Но Троилъ не хочетъ сдѣлать ничего, что было бы непріятно Гризеидѣ: онъ напередъ попытаетъ ее, и Пандаръ обѣщаетъ устроить ихъ свиданіе. Гризеида съ своей стороны предается горю: Пандаръ застаетъ ее распростертой на постелѣ, она плачетъ, бьетъ себя въ грудь, рветъ волосы: Увы, Троилъ, говоритъ она, неужели позволишь ты мнѣ удалиться и не удержишь насильно? [3]). Увидѣвъ вошедшаго Пандара, она отъ стыда прячетъ въ рукахъ свое заплаканное лицо; самъ Пандаръ разжалобился, но затѣмъ начинаетъ ее усовѣщивать: Полно плакать, подумай, вѣдь сейчасъ явится Троилъ; еслибъ онъ зналъ, что ты такъ печалуешься, онъ навѣрно убилъ бы себя. Встань и ободрись, чтобы облегчить, а не усилить его горе. — Въ свиданіи съ Троиломъ Гризеида

1) IV, 59.
2) IV, 74.
3) IV, 91.

падаетъ замертво, а Троилъ готовъ заколоть себя, чтобы соединиться съ милой, если и тамъ, какъ слышно, любятъ. Влюбленные, бесѣдуютъ другъ съ другомъ; Гризеида говоритъ о возможности свиданій: она будетъ пріѣзжать въ Трою во время перемирія, а тамъ убѣдитъ отца, стараго и жаднаго, и совсѣмъ оставить ее въ городѣ. Троилу хотѣлось бы повѣрить, что все это такъ, а между тѣмъ не вѣрится: почему же такъ настоятельно требуетъ тебя отецъ? Нѣтъ, онъ не отпуститъ тебя. Лучше тайно убѣжимъ отсюда, не смотря на честное слово царя, и гдѣ-нибудь вмѣстѣ, къ обоюдной радости, проведемъ остатокъ дней; таково мое желаніе, если только ты на это согласна. — Но у Гризеиды являются сомнѣнія: она завѣряетъ Троила въ своей любви, ничто не отвратитъ ее отъ него, но его рѣшеніе грозитъ тремя печальными послѣдствіями: нарушено будетъ честное слово, удаленіе Троила истолкуютъ какъ боязнь и трусость, ея цѣломудріе будетъ запятнано. И она присоединяетъ и еще одно соображеніе, уже предвосхищенное выше и также неумѣстное, потому что заимствованное изъ арсенала Пандара: что тайная любовь милѣе явной и удовлетворяетъ дольше [1]). Лучше всего остановиться на принятомъ ею рѣшеніи; черезъ десять дней она свидится съ Троиломъ. — Останься лучше, найди какое нибудь средство, я знаю, ты находчива; посуди сама, каково мнѣ будетъ жить безъ тебя! — Увы! ты убиваешь меня, не знаешь, какъ дѣйствуетъ на меня твое гореванье. Вижу, ты не вѣришь моему слову; но почему же? Куда дѣлось твое самообладаніе? Неужели я такъ не умна, что не найду возможности вернуться къ тебѣ, кого люблю болѣе самой себя? — И она проситъ не забывать ее для другой, иначе она убьетъ себя. — Мнѣ ли тебя забыть? отвѣчаетъ Троилъ; я полюбилъ тебя не за красоту, не за родовитость и богатство, а привлекли меня твои величавое, сановитое обхожденіе, рыцарственная доблесть и рѣчи, твоя несравненная привѣтливость и изящно-горделивая женственность, передъ которой кажутся

1) IV, 153.

низменнымъ всякій обычный поступокъ и желаніе [1]). — За этой характеристикой Гризеиды мы невольно ищемъ Фьямметту.

Между тѣмъ изъ греческаго стана явился Діомедъ, чтобы сдать Троянцамъ Антенора и увезти Гризеиду. Троилъ еще разъ чувствуетъ рѣшимость отчаянія: почему-бы не убить ему Діомеда, не вызвать на бой своихъ братьевъ, не стакнуться съ греками, чтобы они уступили ему Гризеиду, не отбить ее у нихъ? Но онъ не рѣшается ни на что, потому что боится, какъ бы сама Гризеида не погибла при этомъ случаѣ. — Когда настало время отъѣзда, Гризеида сдерживаетъ свое горе, сѣла на коня, и съ пренебреженіемъ сказавъ Діомеду: Что-жъ, поѣдемъ! пришпорила лошадь, простившись лишь съ своими, не слушая ничьихъ пожеланій и никого не удостоивъ взглядомъ. Троилъ съ товарищами провожаетъ ее за городскую стѣну, съ соколомъ на рукавицѣ; при разставаньи они остановились и пристально поглядѣли другъ другу въ глаза; Гризеида не удержалась отъ слезъ, Троилъ подъѣхалъ ближе, взялъ ее за руку и тихо шепчетъ: Вернись-же, не дай мнѣ умереть [2]). И онъ тотчасъ-же повернулъ коня, ни слова не перемолвивъ съ Діомедомъ; тотъ хорошо понялъ, что передъ нимъ двое влюбленныхъ, и пока размышляетъ объ этомъ, самъ незамѣтно влюбляется въ Гризеиду.

Вернувшись, Троилъ тоскуетъ, ищетъ утѣшенія, бесѣдуя съ Пандаромъ о Гризеидѣ; тотъ совѣтуетъ ему разсѣяться, увлекаетъ въ лагерь Сарпедона, но Троилу не по себѣ и уже черезъ пять дней онъ упрашиваетъ пріятеля вернуться въ городъ. Не встрѣчу-ли я тамъ своей милой? говоритъ онъ, а Пандаръ про себя: Пройдутъ и десять дней, и мѣсяцъ и годъ, прежде чѣмъ ты ее увидишь. Они идутъ посмотрѣть на домъ Гризеиды: Троилъ старается казаться веселымъ, но когда увидѣлъ запертыя двери и окна, у него точно сердце разорвалось, такъ онъ измѣнился въ лицѣ. Всюду ему поминается Гризеида; когда онъ

1) IV, 164—5.
2) V, 12.

устаетъ тосковать, забывается, тихо напѣвая о своей милой, и все считаетъ дни, и кажется ему, что солнечные кони бѣгутъ не по прежнему.

Горюетъ и Гризеида; зачѣмъ не согласилась она на предложеніе Троила похитить ее? Она сдѣлаетъ все, чтобы убѣжать отсюда, и пусть говорятъ о ней, что хотятъ. Влюбленныя Діомедъ старается привлечь ея вниманіе; не прошелъ еще четвертый день съ ея пріѣзда, какъ зайдя къ ней подъ какимъ то предлогомъ, онъ засталъ ее въ такой печали, что счелъ всякое ухаживаніе напраснымъ. Надо быть великимъ искусникомъ, чтобы изгнать изъ ея сердца прежнюю любовь [1]), говоритъ онъ себѣ, но какъ человѣкъ рѣшительный и отважный, готовъ попытать счастья.

Присѣвъ, онъ заводитъ рѣчь о распрѣ грековъ съ троянцами; спрашиваетъ Гризеиду, не кажутся-ли ей странными обычаи грековъ, и доходитъ до вопроса: почему Калхантъ медлитъ выдать ее замужъ. Занятая своими мыслями, Гризеида не замѣчаетъ его хитрости и «по произволенію своего властелина Амура [2]) отвѣчаетъ такъ, что порой печалитъ Діомеда, порой возбуждаетъ въ немъ надежды. Ободренный этимъ, онъ продолжаетъ; ему ясно, что она кого-то любитъ въ Троѣ, но пусть лучше оставитъ это, вѣдь городу не спастись, еслибъ въ немъ было двѣнадцать Гекторовъ; не даромъ Калхантъ настаивалъ на твоемъ возвращеніи, а я поощрялъ его къ тому, наслышавшись о твоихъ чудесныхъ доблестяхъ, не пощадилъ трудовъ. И такъ, красавица, забудь ненадежную любовь къ троянцу: они всѣ варвары и необразованы, греки умѣютъ любить лучше, и твоя красота найдетъ здѣсь достойнаго поклонника. Если бы ты то дозволила, я сталъ бы охотнѣе твоимъ слугой, чѣмъ царемъ надъ греками. — Сказавъ это, онъ вспыхнулъ, голосъ у него задрожалъ, и самъ онъ потупился въ сторону; затѣмъ, быстро

1) VI, 10.
2) VI, 13.

спохватившись, продолжалъ: Не гнѣвайся на меня, я не менѣе хорошаго рода, чѣмъ любой въ Троѣ; будь живъ мой отецъ Тидей, я былъ бы царемъ — и еще буду имъ; говорятъ, мой родъ ведется отъ боговъ. Потому отгони печаль, и если я кажусь того достойнымъ, прими меня своимъ служителемъ; я заслужу это, и Діомедъ еще будетъ твоимъ.

Слушая эти рѣчи, Гризеида горѣла, отвѣчая коротко и отрывисто; ей нравится отвага Діомеда, но пока она принадлежитъ Троилу и отвѣчаетъ тихимъ голосомъ: Я люблю мою родину, желала бы видѣть ее освобожденной; меня печалитъ, что я удалена изъ нея — тѣмъ не менѣе я благодарна тебѣ за все, что ты предпринялъ ради меня. Греки храбры и образованы, нѣтъ спора, но неразумно хвалить себя, порицая другихъ. По смерти мужа я никого не любила, и нѣтъ у меня на то охоты; одному я дивлюсь: какъ ты, будучи царскаго рода, могъ увлечься такой простой женщиной, какъ я? Тебѣ была-бы въ пору Елена прекрасная. Я не говорю, чтобы любовь твоя была мнѣ непріятна, но время теперь не такое, вы во всеоружіи: дай прійти побѣдѣ, которую ты ожидаешь, я посмотрю; быть можетъ, и я буду болѣе расположена къ веселью и твои рѣчи понравятся мнѣ болѣе; кто хочетъ подѣйствовать на сердце другого, долженъ умѣть выбрать время. — Эти слова обнадежили Діомеда; онъ былъ молодъ и красивъ, высокаго роста, храбръ и краснорѣчивъ, какъ любой изъ грековъ, расположенъ къ любви. Обо всемъ этомъ раздумалась Гризеида по его уходѣ: склониться ли ей или бѣжать отъ новой привязанности? Это и охладило ея страстное желаніе возврата, новыя надежды утолили жгучесть страданій; такъ и вышло, что Гризеида не сдержала Троилу даннаго слова.

Въ поэмѣ Боккаччьо мы ее болѣе не встрѣтимъ; весь эпизодъ объ ея измѣнѣ сокращенъ въ сравненіи съ тѣмъ развитіемъ, какое онъ получилъ во французскомъ подлинникѣ. Боккаччьо писалъ здѣсь не съ натуры: Фьямметта еще не была для него измѣнницей Гризеидой. Героиня французскаго романа страдаетъ и въ тоже время чувствуетъ потребность утѣшенія, и,

кокетничая съ Діомедомъ, втягивается въ новую любовь; Боккаччьо ограничивается одной сценой объясненія; Гризеида какъ то сразу безсознательно измѣняетъ Троилу: послѣ мужа она будто бы никого не любила, говоритъ она Діомеду. Видимаго мотива нѣтъ; если Боккаччьо не подсказалъ его впослѣдствіи [1]), говоря о женской вѣтренности и непостоянствѣ, то вся вина въ Амурѣ: онъ властелинъ Гризеиды, онъ и нашептываетъ ей отвѣты, которые то печалятъ, то радуютъ Діомеда.

Насталъ десятый день, и Троилъ идетъ съ Пандаромъ къ городскимъ воротамъ поджидать Гризеиду; прошелъ полдень, а она не явилась; видно, отецъ не отпустилъ ее безъ завтрака, утѣшаетъ себя Троилъ; можетъ быть, и такъ, говоритъ Пандаръ. Снова возвращаются они къ воротамъ: часы проходятъ, настали сумерки, вечеръ; она навѣрно пріѣдетъ ночью, чтобъ не возбудить толковъ, говоритъ Троилъ; посмотри-ка Пандаръ, что это тамъ виднѣется? — Коли не ошибаюсь — повозка. — Уже показались звѣзды, Троилъ все ждетъ, а Пандаръ смѣется про себя надъ его ожиданіями; уже сторожа у воротъ готовятся запереть ихъ, Троилъ велитъ имъ помедлить болѣе, чѣмъ на два часа, а затѣмъ говоритъ Пандару: Какіе-же мы недогадливые! Вѣдь она сказала мнѣ, что десять дней пробудетъ съ отцомъ; она, стало быть, пріѣдетъ завтра. Но прошелъ и слѣдующій день, и много другихъ, а Гризеиды все нѣтъ. Троилъ въ отчаяніи; имъ овладѣлъ лихой духъ ревности, не знающій покоя, какъ то вѣдаютъ всѣ, испытавшіе его [2]); въ вѣщемъ снѣ онъ видитъ, что вепрь набросился на Гризеиду и вырвалъ у нея сердце, а ей это какъ будто и любо; вепрь—это, навѣрно, Діомедъ: вѣдь его отецъ убилъ Калидонскаго вепря. Пандаръ едва удерживаетъ Троила отъ самоубійства: не всякому сну надо вѣрить, говоритъ онъ ему; если уже искать смерти, то вѣдь греки у воротъ; прежде чѣмъ отчаяться, надо разсѣять подозрѣнія: почему бы не написать тебѣ Гризеидѣ? —

1) VIII, 30.
2) VII, 18.

И Троилъ пишетъ ей письмо [1]); это одно изъ лучшихъ мѣстъ поэмы: тихое увѣреніе въ любви, нерѣшительные упреки, робкое подозрѣніе—не задержала ли ее новая привязанность; нѣсколько картинокъ природы, отвѣчающихъ полету чувства куда-то. «Смотрю я на волны, спускающіяся къ морю; она живетъ въ ихъ близи; и я говорю: онѣ текутъ туда, гдѣ пребываетъ небесный свѣтъ моихъ очей, и она ихъ увидитъ; почему не могу я, несчастный, быть на ихъ мѣстѣ?» [2]).— Отвѣта не было, и Троилъ слегъ; однажды подслушалъ его жалобы и имя Гризеиды его братъ Деифебъ и, не показавъ виду, начинаетъ ободрять его: настала весна, насталъ и срокъ перемирія; неужели не выйдешь ты съ нами, по прежнему, на грековъ? Троилъ воспрянулъ, какъ голодный левъ, завидѣвшій добычу: онъ еще слабъ, но будетъ биться на славу, такова его ненависть къ грекамъ. Понялъ Деифебъ, въ чемъ дѣло, сообщилъ о томъ и братьямъ, и они посылаютъ къ нему троянскихъ женъ, развлечь его музыкой и пѣснями. Всѣ утѣшаютъ его, одна Кассандра, прослышавъ о Гризеидѣ, клянетъ Амура, посѣтившаго Троила и грозящаго гибелью имъ всѣмъ. И въ кого только онъ влюбился! Еще бы въ благородную даму, а то въ дочь негоднаго жреца, измѣнника! — Троилъ не сдержалъ своего гнѣва: Твои порицанія, Кассандра, уже многимъ учинили горе; не лучше ли было бы помолчать, чѣмъ говорить такъ невоздержно? Надо мнѣ обличить твое безобразіе: ты хочешь пристыдить меня моей любовью къ Гризеидѣ, но пока плохо научилъ тебя Аполлонъ, котораго ты будто бы провела! Если-бы я былъ такъ близокъ къ Гризеидѣ, какъ ты полагаешь, клянусь тебѣ, скорѣе Пріамъ предалъ бы меня смерти, чѣмъ я позволилъ ее увезти. А если бы и было такъ, развѣ она не достойна хоть какого высокопоставленнаго человѣка? — И онъ принимается восхвалять ея красоту и честность, скромность и стыдливость, ея умъ и степенные нравы. Объ ея цѣломудріи идетъ

1) VII, 52 слѣд.
2) VII, 65.

молва; что до царственной крови, то вѣдь вѣнецъ и скипетръ еще не дѣлаютъ царемъ; дѣлаетъ доблесть, не власть; еслибъ она могла, она стала бы властвовать не хуже тебя[1]).—Ступайте вы всѣ въ недобрый часъ, а коли не умѣете разсуждать, возмитесь за прялки и постарайтесь исправить свою мерзость, а чужую добродѣтель оставьте въ покоѣ [2]).

Долгое гореванье Троила сдѣлало его выносливымъ, ненависть къ грекамъ, печаль по убитомъ Гекторѣ быстро подняли его силы: онъ показывается въ битвахъ. Гризеида отвѣтила ему, измысливъ извиненіе, завѣряя въ любви, обѣщая пріѣхать; онъ шлетъ ей письма съ Пандаромъ, пользуясь сроками перемирія, самъ сбирается пойти къ ней въ одеждѣ паломника; но у него ростутъ сомнѣнія. Однажды Деифебъ вернулся съ поля битвы съ платьемъ раненаго Діомеда; на немъ была пряжка, та самая, которую Троилъ подарилъ Гризеидѣ въ утро передъ разставаньемъ. Тогда ему стало все ясно: онъ коритъ Гризеиду, взываетъ къ мести боговъ, ищетъ случая сразиться съ Діомедомъ; нѣсколько разъ они бьются, осыпая другъ друга ударами и бранными словами, пока Троилъ не палъ подъ ударами Ахилла. Такъ осуществились надежды, которыя Троилъ возлагалъ на негодную Гризеиду, заключаетъ свой разсказъ Боккаччьо и, обращаясь къ новичкамъ въ любви, проситъ ихъ поучиться на его примѣрѣ: молодая женщина вѣтрена [3]), мѣрка ея красоты не одно зеркало, а и толпа поклонниковъ; она кичится своей молодостью, не знаетъ ни добродѣтели, ни совѣсти, и вѣчно колеблется, какъ листъ по вѣтру (come foglia al vento). Иныя изъ нихъ, высокородныя, знающія счетъ своимъ предкамъ, полагаютъ, что это даетъ имъ преимущество въ любви, выступаютъ надменно, поднявъ носъ къ верху; этихъ берегитесь, онѣ дуры, не благородныя женщины. У женщины совершенной болѣе по-

1) VII, 99.
2) VII, 101.
3) VIII, 30: Giovane donna è mobile.

стоянства въ любви, ей нравится быть любимой; она разбираетъ и смотритъ, чего ей слѣдуетъ избѣгать, устраняетъ и останавливается на выборѣ, предусматриваетъ и ожидаетъ предложенія. Этихъ слѣдуетъ любить; но не надо выбирать поспѣшно, потому что не всѣ одинаково разумны, хотя были-бы и въ лѣтахъ; такихъ и цѣнятъ менѣе [1]).

Въ послѣдней коротенькой пѣснѣ [2]) Боккаччьо обращается къ своей поэмѣ: пусть отправится она къ прелестной дамѣ его сердца и умолитъ ее вернуться. Я знаю и чувствую, что она можетъ обратить меня въ ничто, можетъ и вознести выше, чѣмъ я того стою; эта мысль, болѣе, чѣмъ скорбь разлуки, и сдѣлала мою поэму говорливой. — И онъ кончаетъ пожеланіемъ себѣ радостнаго отвѣта.

Даже въ нашей краткой передачѣ содержанія поэмы не трудно было замѣтить неровности ея исполненія. Авторъ видимо спѣшитъ къ концу [3]): смерть Троила разсказана въ двухъ словахъ; могутъ сказать, что и Гризеида сдается Діомеду слишкомъ поспѣшно, тогда какъ здѣсь именно представлялся большой сюжетъ для психологической разработки. Можно-бы объяснить эту краткость въ связи съ автобіографическими мотивами поэмы [4]), но именно по отношенію къ нимъ, а вмѣстѣ и къ хронологіи боккаччьевскихъ произведеній Филострато вызываетъ вопросъ, который мы предрѣшили, поставивъ его разборъ на первомъ мѣстѣ [5]). Точно-ли слѣдуетъ отнести эту поэму къ порѣ чающей, еще не удовлетворенной страсти? Такъ завѣряетъ насъ авторъ, но у него могли быть на то свои причины, онъ желалъ отвести глаза, и отъѣздъ Фьямметты, можетъ быть, такой же его вымыселъ, какъ и увѣреніе, что Троилъ и Боккаччьо сходны лишь по мукамъ ревности, не по взаимности счастья. И въ самомъ

1) VIII, 31—2.
2) IX, 1—8.
3) Сл. VIII—IX пѣсни.
4) Сл. выше стр. 137.
5) Согласно съ Crescini, Contributo, стр. 197.

дѣлѣ: Троилъ волнуется и негодуетъ, какъ обманутый, не какъ чающій любовникъ, къ послѣднему выборъ такого сюжета, какъ эпизодъ о Троилѣ, не идетъ, и немыслимы страстныя нареканія на женщину, когда дѣло шло, какъ насъ увѣряютъ, лишь объ отъѣздѣ милой. Все это какъ-бы перемѣщаетъ Филострато къ другому біографическому моменту, когда сѣтованія Троила уже были мотивированы измѣной.

Къ этому присоединяется и соображенія литературно-эстетическаго характера. Въ сравненіи съ Филоколо, начатымъ въ Неаполѣ, дописанномъ во Флоренціи, Филострато является произведеніемъ болѣе цѣннымъ, лучше скомпонованнымъ, авторъ свободнѣе орудуетъ языкомъ, обнаруживая бо̀льшее мастерство стиля и характеристики — и окончательно порвалъ съ миѳологіей, которая переполняетъ его Филоколо и отъ которой онъ освобождался постепенно, по мѣрѣ того какъ зрѣлъ его талантъ.

Противъ всѣхъ этихъ соображеній могутъ быть выставлены другія, вѣскія. Нѣтъ сомнѣнія, что Боккаччьо старался маскировать свои отношенія къ Фьямметтѣ, но въ данномъ случаѣ нѣтъ никакихъ особыхъ поводовъ предположить, чтобъ отъѣздъ Фьямметты былъ исключительно декораціей. Боккаччьо былъ ревнивъ; вспомнимъ его горе, когда Фьямметта запретила ему сопровождать ее въ Байи. По случаю другой, болѣе долгой отлучки, ему вспомнился сѣтующій, ревнивый Троилъ, и въ этой чертѣ онъ подчеркнулъ самого себя; что сказано о Гризеидѣ, воспроизводятъ черты унаслѣдованной фабулы; оттого такъ небрежно мотивирована измѣна и едва намѣчена смерть Троила.

Стилистическій моментъ схваченъ вѣрно: дѣйствительно, въ сравненіи съ октавами Филострато проза Филоколо производитъ болѣе архаичное, скажемъ болѣе, неуклюжее впечатлѣніе, но не слѣдуетъ забывать, что въ художественномъ стилѣ своей прозы Боккаччьо былъ почти начинателемъ; здѣсь преданіе его не связывало, но и не указывало путей; ему приходилось творить, и онъ нерѣдко распространялся безъ мѣры, увлекаясь эпизодами, отдаваясь

своей словоохотливости и паденію цицероновскаго періода. Все это отзывается еще и въ прозѣ Декамерона. Наоборотъ, поэзія повѣствовательнаго содержанія была создана, ея стиль и техника установились, когда Боккаччьо принялся писать въ ея формахъ — и формулахъ; длиннымъ назиданіямъ не было мѣста, разсказъ поневолѣ поспѣвалъ за октавой, и получалось впечатлѣніе чего-то болѣе живого, спѣшащаго, цѣлаго. Это — хронологическіе моменты, но не по отношенію къ Боккаччьо, а къ тѣмъ литературнымъ преданіямъ, въ которыхъ онъ являлся то начинателемъ, то продолжателемъ, художественно восполнявшимъ готовыя формы поэтической рѣчи: его октава бойко спѣшитъ въ Филостратѣ, тише движется въ Тезеидѣ подъ стать содержанію, рѣзва и фамильярно-небрежна въ Ninfale Fiesolano.

Біографическимъ, не хронологическимъ моментомъ объясняются въ Филострато совершенство характеристикъ: Пандаръ, Гризеида, Троилъ смѣло могутъ подать руку лучшимъ образамъ Декамерона; сложный и тонкій профиль Пандара стоитъ выше многихъ изъ нихъ. Въ Филоколо нѣтъ ничего подобнаго, лица тусклы и вялы, нѣтъ того смѣха и жизнерадостности, которая проникаетъ Филострато, перебивая его скорбныя ноты. Съ Филоколо Боккачьо на нѣсколько лѣтъ уйдетъ въ гореванье и созвучный ему дантовскій аллегоризмъ; лишь переживъ то и другое, освободившись отъ гнетущаго чувства, онъ очнется, и смѣхъ и жизнерадостность наполнятъ Декамеронъ. Между Филострато и Филоколо разница не столько таланта, сколько настроенія и литературныхъ вліяній.

Остается еще одно соображеніе, заимствованное отъ миѳологическаго балласта. Начинающему гуманисту онъ былъ дорогъ, какъ внѣшній матерьялъ эрудиціи: такъ въ Филоколо; позже поэтъ овладѣваетъ имъ, подчиняя человѣческому дѣйствію: канва Ninfale Fiesolano могла бы въ сущности обойтись и безъ Діаны. Но безъ этого матерьяла Боккаччьо никогда не обходится, когда сюжетъ разсказа шелъ ему на встрѣчу. Если Филострато стоитъ въ этомъ отношеніи особо, то потому, что находился за чертой

сознательно-гуманистическихъ стремленій, а французскій источникъ Боккачьо обошелся безъ миѳологіи.

Филострато—первая извѣстная намъ попытка художественно овладѣть той народно-эпической формой, въ которой пересказывались въ Италіи, на площадяхъ и посидѣлкахъ, сюжеты легенды, захожей новеллы и французскаго эпоса, когда, обнароднѣвъ, онъ освободился отъ перенятой, вмѣстѣ съ содержаніемъ, формы долговязыхъ ассонансированныхъ тирадъ. Поэмы флорентійца Антоніо Пуччи, современника Боккачьо, и нѣсколько другихъ, относящихся къ половинѣ XIV-го вѣка, даютъ понятіе объ этой народно-поэтической манерѣ: вмѣсто длинной вереницы стиховъ или риѳмованныхъ двустишій, въ которыхъ дѣйствіе застаивалось, — октава, рѣзко очерченная, торопившая дѣйствіе отъ первой половины строфы, гдѣ поэтъ, располагая шестью стихами, могъ двигаться относительно свободно, къ послѣдней связанной риѳмой парѣ, лишь временно замедляющей движеніе ритма—передъ новой октавой. Это чередованіе строфы и антистрофы вносило въ изложеніе болѣе живости, спѣха — и дѣйствіе ему отвѣчало: обыкновенно небольшая тема, фантастическое или чувствительное происшествіе, элементъ чудеснаго, умѣренный благодушнымъ смѣхомъ, обращенія къ Богу и святымъ — и слушателямъ, незатѣйливыя риѳмы, готовые эпитеты, общія мѣста въ описаніяхъ красоты, убранства—и преобладаніе діалога. Все это было во вкусѣ той публики, къ которой обращались народные сказатели: итальянской и буржуазной, искавшей въ темахъ романа не рыцарскаго идеала, а новаго развлеченія, новеллы.

Пріемы Боккачьо, въ сущности, тѣже, но его поэтическій цензъ выше, и у него публика другая: онъ пишетъ для неаполитанскихъ придворныхъ кружковъ, для Фьямметты. И у него коротенькая тема, — эпизодъ любви и невѣрности, распространенный описаніями, разсужденіями, посланіями; въ нихъ много реторики, но все носитъ личную печать; и у него пріемъ обращенія, но не къ слушателямъ, собравшимся вокругъ разскащика,

а къ новичкамъ въ любви, которые научатся на примѣрѣ Троила, къ Фьямметтѣ, которую онъ хочетъ разжалобить.

Художникъ сказывается въ мастерствѣ діалога, въ характеристикѣ дѣйствующихъ лицъ: вмѣсто маріонетокъ-типовъ полународной эпической пѣсни въ первый разъ являются люди, мелкіе недочеты психологическаго анализа исчезаютъ въ массѣ тонко подмѣченнаго, схваченнаго въ жизни, лично пережитаго. Троилъ—идеалъ влюбленнаго, Фьямметта можетъ быть спокойна: онъ сдержанъ и остороженъ, полонъ безконечной преданности и вѣренъ тайнѣ; если онъ колеблется, то потому, что не хочетъ ее выдать; когда Гризеида увѣряетъ Діомеда, что послѣ мужа она никого не любила, она говоритъ такъ по естественной стыдливости, не изъ желанія скрыть дѣйствительныя отношенія; Троилъ гнѣвно устраняетъ подозрѣнія Кассандры, и восхваляя цѣломудріе Гризеиды, дѣйствуетъ въ виду одной цѣли: сохраненія тайны. Въ обращеніи къ юношамъ Боккаччьо рисуетъ свой идеалъ «современной» женщины, разумной въ выборѣ, постоянной въ любви, не кичащейся своимъ родомъ. Это было застѣнчивое указаніе Фьямметтѣ и вмѣстѣ усиліе освободиться отъ робости: онъ еще въ положеніи Идалага, котораго любовно манитъ къ себѣ высокородная красавица, а онъ — сынъ купца и боится, не насмѣхается ли она надъ нимъ [1]). Въ беззавѣтной страсти бѣдной Лизы къ королю Пьетро [2]) Боккаччьо могъ поэтически пережить моменты своихъ собственныхъ колебаній.

Но любовь взяла свое; робкіе люди способнѣе другихъ на отчаянныя выходки. Однажды ночью, въ октябрѣ [3]) когда мужъ Фьямметты уѣхалъ въ Капую, а она одна засыпала въ постели, ей представилось нѣчто, что было не сновидѣніемъ: рядомъ съ

1) Сл. сон. XXVII. Сл. у Андрея Капеллана (l. c. lib. I, c. VI, стр. 40) вопросъ дамы ухаживающему за нею купцу: Sed ubi deprehendi major audacia potest, quam illius, qui totius hebdomadis tractu variis *mercimonii lucris* toto mentis intrudit affectu?

2) Декамеронъ X, 7.

3) Когда Аполлонъ умѣрялъ ядовитый холодъ Скорпіона, Ameto стр. 146.

собою она увидѣла Калеоне-Боккаччьо. Она хочетъ закричать, но по голосу узнаетъ посѣтителя и воздерживается; происходитъ страстное объясненіе: Боккаччьо выйдетъ отъ нея либо счастливымъ, либо мертвымъ, говоритъ, какъ одолѣла его любовь отъ вѣщаго видѣнія при въѣздѣ въ Неаполь до сцены въ церкви. Фьямметта обѣщана ему, суждена издавна, заключена на вѣкъ въ его сердцѣ; пусть же отдастся ему, какъ онъ отдался ей, и тѣмъ спасетъ въ одно и тоже время его жизнь и свою честь. Фьямметта слушаетъ его, она и раньше, по разнымъ признакамъ, догадывалась о его страсти; видитъ у него кинжалъ въ рукѣ, колеблется между жалостью и долгомъ—когда покой внезапно освѣтился, и Венера грозно шепчетъ ей: пусть смилуется надъ ея подданнымъ, если ей страшенъ гнѣвъ боговъ. Богиня удалилась, но ея горячій лучъ коснулся красавицы и зажегъ въ ней желаніе [1]).

Вся эта сцена ночного посѣщенія врасплохъ спящей красавицы встрѣчается въ мотивахъ народной поэзіи [2]), и мы вправѣ были-бы предположить, что Боккаччьо воспользовался имъ для романической разработки своихъ воспоминаній, еслибъ онъ не возвращался къ нему не разъ по разнымъ поводамъ. Въ одномъ автобіографическомъ эпизодѣ Филоколо нимфа Alleyram, т. е. въ обратномъ чтеніи Mariella (Марія-Фьямметта), разсказываетъ о юношѣ, котораго она приблизила къ себѣ изъ числа другихъ: онъ воспѣвалъ ея красоту, былъ рьянымъ защитникомъ ея противъ завистливыхъ наговорщиковъ; «тайный паломникъ любви», онъ невѣроятными способами доискивался того, что я впослѣдствіи ему даровала, и наконецъ, набравшись отваги болѣе всѣхъ, когда-либо ухаживавшихъ за мною, постарался добиться и добился того, въ чемъ я ему притворно отказывала [3]). То-же положеніе повторяется въ «Фьямметтѣ» [4]), гдѣ сама героиня разсказываетъ, какъ для нея и Памфило дни проходили въ наде-

1) Ameto стр. 146 слѣд.
2) Напр. въ Lancelot du Lac.
3) Filocolo II, стр. 261—2.
4) Fiammetta, стр. 32, 79.

ждахъ, питавшихъ ихъ страсть, и это томило обоихъ, онъ нашептывалъ ей о своихъ желаніяхъ, она притворялась, будто противится тому всѣми силами, пока Памфило, не повѣривъ тому, не выбралъ подходящее время и мѣсто, и болѣе отважный, чѣмъ разсудительный, болѣе смѣлый, чѣмъ искусный, не достигъ того, чего она сама желала, хотя показывала обратное; ночью онъ явился къ ней обманно, и она очутилась въ его объятіяхъ, прежде чѣмъ вышла изъ объятій сна. — Такъ и въ Филоколо влюбленный Флоріо проникаетъ въ башню, гдѣ эмиръ Александріи держалъ его Бьянчифьоре, и посѣщаетъ ее, еще покоившуюся, и у нея сонъ также переходитъ въ дѣйствительность [1]). Ни въ одномъ изъ извѣстныхъ намъ пересказовъ этого романа нѣтъ соотвѣтствующей сцены; и здѣсь, какъ часто, Боккаччьо внесъ отрывокъ своей автобіографіи; онъ потому и любилъ возвращаться къ этимъ воспоминаніямъ, что переживалъ ихъ съизнова.

Боккаччьо на верху счастья, Памфило поетъ отъ избытка блаженства, которымъ Амуръ такъ переполнилъ его сердце, что оно просится наружу, сіяетъ на лицѣ; забыта робость и сословные счеты; теперь, говоритъ онъ, ему легко переносить пламя Амура, потому именно, что его любовь поставлена такъ высоко [2]). Сонеты этой поры [3]) полны восторговъ, чувство бьетъ черезъ край, слова громоздятся, какъ Осса на Пеліонъ: ни одна гора въ свѣтѣ не была такъ мила своимъ пастухамъ, какъ Мизенская, гдѣ моя любовь нашла успокоеніе, — и два четверостишія сонета [4]) наполняются названіями горъ:

E Cinto, e Caucaso, Ida e Sigeo,
Libano, Serio, Carmelo ed Ermone,
Atos, Olimpo, Pindo, Citerone,
Aracinto, Menalo, Ismo e Tifeo и т. д.

Какъ долго длились эти восторги, не знавшіе счетовъ съ

1) Filocolo, II, стр. 168 слѣд.
2) Декамеронъ VIII, стихотвореніе.
3) Сон. XLVII, XLVIII.
4) Сон. XLVII.

*

сомнѣніями, неизвѣстно, но сомнѣнія явились. Мы знаемъ, бывали и раньше мимолетныя размолвки, но Байи раскрыли поэту глаза, и онъ обрушивается на нихъ, такъ же яростно громоздя проклятія, какъ прежде воспѣвалъ блаженство Мизенскихъ горъ: своей распущенностью онѣ растлили цѣломудреннѣйшую женщину — если, недавно тому назадъ, не обманули меня мои глаза, говоритъ онъ; зачѣмъ не былъ я слѣпъ въ ту пору? [1]) почему не бѣжалъ отъ мѣстъ, гдѣ царитъ Вакхъ и Церера, еще раздается пѣснь сиренъ и нѣтъ мѣста для любви, вѣрности, чести? Зачѣмъ, зная все это, отдался я обаянію коварныхъ глазъ женщины, которая не любитъ меня, тогда какъ я былъ ей такъ преданъ? [2]). Онъ самъ что-то видѣлъ и не ошибся, мысль о счастливомъ соперникѣ не покидаетъ его: онъ клянетъ Амура за то, что предпочелъ ему, вѣрному служителю, человѣка, менѣе его достойнаго [3]); Фьямметта забыла его, отдалась другому юношѣ [4]), отвернулась отъ него безъ его вины; напрасно онъ употребляетъ всѣ старанія и искусство, чтобы снова пріобрѣсть ея расположеніе; ему остается утирать слезы, почерпая въ своемъ сердцѣ невеселыя мысли, питая печаль воспоминаніями, постоянными бесѣдами о прошломъ [5]). Его лирика полна отчаянія: если бы онъ могъ выразить терзанія, которыя онъ испытываетъ—по своей-ли винѣ, или заблужденію милой, всѣ стали бы изумляться не тому, что онъ такъ измѣнился, поблѣднѣлъ, а тому, что онъ еще не умеръ. Ему самому такъ жаль себя подчасъ, что у него является желаніе облегчить себя, повѣдавъ, въ слезахъ, о той, кто причина его горя, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ боится, какъ бы горе отъ того не усилилось [6]) и не порадовались тѣ, кто завидовалъ его счастью [7]). Онъ перебираетъ въ мысли

1) Сон. IV.
2) Сон. V.
3) Сон. LV.
4) Баллата I, мадригалъ III.
5) Сл. письмо Cuidam viro militi.
6) Сон. XXX, LXXXVII.
7) Сон. LVIII.

всевозможные роды ужасной смерти, каждая изъ нихъ, кажется, шепчетъ ему: Приди, я освобожу тебя; но онъ не можетъ рѣшиться [1]). Его страданія безконечны, какъ страданія Прометея: казалось бы, его сердце ослабѣло, истощилось отъ горя, а судьба тихонько обновляетъ его для новыхъ мученій [2]). Онъ желалъ бы выплакать глаза, впервые отразившіе въ его скорбномъ сердцѣ безжалостные взоры красавицы, нынѣ гнушающейся имъ [3]), и клянется никогда болѣе не попадаться въ сѣти Амура: онъ отнялъ у него сонъ и покой и пищу, заставилъ забыть себя, сдѣлавъ посмѣшищемъ для другихъ [4]). Нѣтъ безумнѣе человѣка, отдающаго въ руки женщины свою честь, свободу и жизнь: онѣ — не женщины, а горе, не знаютъ ни жалости, ни вѣрности, ни любви, и рады страданіямъ тѣхъ, кто наиболѣе имъ довѣрился [5]). Иногда у него является надежда, что любовь Фьямметты снова разцвѣтетъ для него, какъ подъ дыханіемъ зефира травой и цвѣтами обновляется земля [6]); еслибъ только онъ могъ объясниться съ ней, его томленія и тоска длились бы не долго, — онъ въ этомъ увѣренъ, и ея взоры склонились бы на него сострадательно, безъ гнѣва и негодованія [7]). Но она уѣхала, вмѣстѣ съ тѣмъ отлетѣла, какъ будто, и его надежда; одна лишь мысль поддерживаетъ его хилое существованіе: что она скоро вернется; теперь приходится ѣхать и ему, ѣхать противъ воли, онъ не надѣется увидѣть ее болѣе и умретъ вдали отъ желанной, оплакивая свою жестокую судьбу [8]).

И такъ, Фьямметты не было въ Неаполѣ, когда въ началѣ 1340-го года оставилъ его и Боккаччьо. Онъ долженъ былъ уѣхать противъ воли; въ «Фьямметтѣ» [9]) говорится, что Памфило

1) Сон. XVI.
2) Сон. LXXII.
3) Сон. XLIII.
4) Сон. LXXVI.
5) Сон. XXXV.
6) Сон. CV.
7) Сон. CVI.
8) Сон. CIII.
3) Fiammetta, стр. 38—9.

**

вызванъ былъ отцомъ: вдовый и старый, безъ надежды на потомство, онъ будто-бы желалъ видѣть единственнаго сына, оставшагося въ живыхъ; Памфило медлилъ нѣсколько масяцевъ, измышляя предлоги, лишь бы не разстаться съ Фьямметтой; тогда отецъ сталъ дѣйствовать на него при посредствѣ друзей и родныхъ, говоря, что умретъ неутѣшнымъ, если не увидитъ сына; и Памфило поѣхалъ.

Мы не знаемъ, на сколько мотивъ отъѣзда принадлежитъ дѣйствительности, либо вымыслу романа, изъ котораго можно было бы почерпнуть и нѣсколько другихъ хронологическихъ данныхъ: Памфило обѣщалъ уѣхать на три или четыре мѣсяца [1]), а въ апрѣлѣ какого-то года оказывается, что назначенный имъ срокъ прошелъ четыре раза и болѣе [2]). Онъ уѣхалъ, стало-быть, въ августѣ, скорѣе въ апрѣлѣ 1340-го года, ибо апрѣль, отъ котораго ведетъ счетъ Фьямметта, можетъ относиться лишь къ 1339-му году, а отъѣздъ Боккаччьо предполагаетъ его ночное свиданіе съ Фьямметтой въ октябрѣ, очевидно, 1338-го, перваго года ихъ знакомства.—Отмѣтимъ кстати документъ, относящійся къ той-же неаполитанско порѣ (1340 г.), по которому отецъ Боккаччьо внесъ отъ имени сына арендную плату за земли, принадлежавшія церкви св. Лаврентія у Croce Capuana, капуанскаго архіепископства [3]).

Такъ кончились реальныя отношенія Боккаччьо къ Фьямметтѣ. Мы искали ихъ отраженія въ его лирикѣ, внося въ нее извѣстную цѣльность, иногда фантастическую, потому что развитіе чувства трудно поддается хронологіи и напр. группа лирическихъ пьесъ, настроенныхъ ревностью и сомнѣніями, легко можетъ распредѣлиться по ту и другую сторону извѣданнаго счастья.

Кто былъ счастливымъ соперникомъ Боккаччьо? Мы не поставили бы этого вопроса, если бы Боккаччьо не подвелъ насъ

1) Fiammetta, стр. 44.
2) Ib. стр. 166, 169.
3) Manni, Istoria del Decamerone, parte I, стр. 20—31.

самъ къ его видимому рѣшенію и не поставилъ передъ западней. Уже изъ Флоренціи онъ послалъ Фьямметтѣ, тогда далекой отъ него, свою новую поэму «Тезеиду», съ посвятительнымъ письмомъ. Герои поэмы Арчита и Палемонъ, два пріятеля, одинаково влюбленные въ прекрасную Емилію; они поставлены въ необходимость биться изъ-за нея: она достанется побѣдителю. Арчита молитъ Марса о побѣдѣ, Палемонъ Венеру объ обладаніи Емиліей; мольбы услышаны, боги сговорились удовлетворить того и другого. Побѣждаетъ Арчита, но его конь, напуганный Эринніей, которую вызвала изъ преисподней Венера, сбрасываетъ сѣдока и падаетъ на него всей тяжестью. Арчита побѣдилъ, но умираетъ, и передъ смертью проситъ Емилію выйти за его соперника и друга.—То, что разсказано мною о двухъ влюбленныхъ юношахъ и дѣвушкѣ, поясняетъ авторъ въ посвященіи Фьямметтѣ, напомнитъ тебѣ, что было между нами и что я говорилъ тебѣ, а ты мнѣ, если только ты не обманывала меня. Какого изъ двухъ юношей я разумѣю, этого я не указываю, ты догадаешься сама; лишнее объясняется тѣмъ, что я принужденъ былъ слѣдовать разсказу (т. е. оригиналу поэмы), да и желалъ скрыть, что не годится знать никому, кромѣ насъ двоихъ [1]). — Побѣдитель Арчита, въ такомъ случаѣ, Боккаччьо, потому что Емилія досталась поклоннику Венеры, Палемону. Далѣе этихъ отождествленій мы пойти не можемъ, а онѣ ничего не объясняютъ. Портретъ Емиліи напоминаетъ знакомое намъ изображеніе Фьямметты; обѣ являются въ числѣ собесѣдницъ Декамерона.

Боккаччьо уѣхалъ изъ Неаполя надломленный, убитый разрывомъ съ Фьямметтой; онъ не устаетъ о немъ думать, возвращается къ нему страстно и настойчиво, какъ будто желая представить его себѣ снова, увѣриться. Такъ произошелъ рядъ автобіографическихъ эпизодовъ его Филоколо; они важны для характеристики Боккаччьо и Фьямметты, и мы можемъ переска-

1) Teseide, стр. 3—4.

зать ихъ теперь же, не заходя глубоко въ содержаніе романа, развивающагося въ сторонѣ.

Царственные родители Флоріо замѣтили его страсть къ Бьянчифьоре, воспитывавшейся у нихъ, и какъ они полагали, худородной, и удалили сына, подъ предлогомъ ученья, изъ Марморины (Вероны) въ Монторіо. Между тѣмъ въ Бьянчифьоре влюбился пріѣзжій рыцарь Филено; мать Флоріо поощряетъ его ухаживанія и Бьянчифьоре не можетъ отказать ему въ своемъ вуалѣ, который служитъ ему значкомъ на турнирѣ. Увѣренный въ любви красавицы, не зная объ ея отношеніяхъ къ Флоріо, Филено хвалится тѣмъ передъ нимъ самимъ, когда однажды заѣхалъ въ Монторіо. Тотъ приходитъ въ отчаяніе, его посѣтила богиня Ревности; онъ замышляетъ отправиться въ Марморину и убить соперника, но вѣщее сновидѣніе предупреждаетъ Филено: онъ бѣжитъ, скитается по Италіи, побывалъ и въ Байяхъ, и наконецъ останавливается въ долинѣ, посреди которой возвышалась гора, обросшая непроходимымъ дубовымъ лѣсомъ (Cerreto = Чертальдо), съ древнимъ храмомъ на вершинѣ, обвитымъ зеленью плюща. Здѣсь онъ остается, питаясь корнями и свободно отдаваясь слезамъ. Онъ несчастенъ потому только, что любилъ и любитъ; развѣ это преступленіе? Чѣмъ провинился онъ передъ Флоріо? Какъ слѣпы тѣ, которые дѣлаютъ и зовутъ Амура богомъ своихъ неразумныхъ желаній! Филено коритъ его, а вмѣстѣ съ нимъ и женщинъ, въ глазахъ которыхъ онъ любитъ гнѣздиться. Нареканія Филено отличаются крайностью средневѣковой инвективы, не щадящей никого, отъ Еввы до женъ Лемноса, въ одну ночь убившихъ своихъ мужей. Сѣтованія несчастнаго разносятся далеко; услышалъ ихъ, проходя у подножія горы, какой-то юноша, и является утѣшить его. Я несчастнѣе чѣмъ ты, говоритъ онъ: не далеко отсюда (Чертальдо), хотя ближе къ тому городу, гдѣ ты былъ недавно, а я учился (Неаполь), жила (въ Аквино) благородная дама, которую я любилъ и люблю болѣе всего на свѣтѣ; она удостоила меня, за мое вѣрное служеніе, того, чего я страстно желалъ; но это длилось не долго,

судьба обратила въ адъ прошлое блаженство, и въ то время, какъ я былъ наиболѣе увѣренъ въ ея привязанности, я увидѣлъ собственными глазами, что она покинула меня для другого, что она долго меня обманывала, говоря, что любитъ меня одного. Когда я убѣдился въ этомъ, моя печаль не знала мѣры, я думалъ, что умру, но совѣты разума поддержали меня, и какъ видишь, я еще живъ, прикрывая горе притворной веселостью. Надо умѣть любить согласно съ природой любимаго; неразуменъ тотъ, кто пожелалъ-бы извлечь сладкій сокъ изъ ядовитой цикуты, еще неразумнѣе, кто полюбитъ женщину въ надеждѣ, что она долго будетъ любить его. Онѣ по природѣ измѣнчивы, этого не измѣнить, поэтому и любить ихъ слѣдуетъ такъ, чтобы любящіе могли также свободно смѣяться надъ ихъ непостоянствомъ, какъ онѣ сами. Никто не посѣтуетъ, послѣдовавъ этому совѣту; и зачѣмъ сѣтуешь ты, ничего не потерявъ? Напротивъ, возблагодари боговъ, что они во время открыли тебѣ глаза. Если ты горюешь о твоемъ изгнаніи, то развѣ міръ открытъ не для всѣхъ? Для добродѣтельныхъ родина — всюду, и вездѣ насъ одинаково ожидаетъ смерть. Оставь-же слезы, пойди со мной, воспрянь доблестью, забывъ свою страсть къ той дѣвушкѣ, и да спадетъ съ неба пламя и пожретъ ихъ всѣхъ! — Но Филено не можетъ совладѣть съ своей печалью, и сострадательный путникъ уходитъ своей дорогой [1]).

Безыменный путникъ — это Боккаччьо; мы встрѣтимъ его и далѣе съ тѣми-же воспоминаніями.

Флоріо вернулся въ Марморину, а его Бьянчифьоре нѣтъ; ему говорятъ, что она скончалась, онъ хочетъ убить себя; тогда отецъ и мать покаялись ему: во избѣжаніе ненавистнаго брака, они продали дѣвушку купцамъ, тѣ — александрійскому эмиру. Не зная, гдѣ она, Флоріо отправляется отыскивать ее; буря заноситъ его корабль къ Неаполю, гдѣ они ждутъ попутнаго вѣтра. Флоріо печаленъ, его встревожило сновидѣніе: ему каза-

1) Filocolo I, 244—303.

лось, что онъ находится на горѣ Фалерно (у Неаполя), видитъ сокола, летѣвшаго отъ дубоваго лѣса (Cerreto = Чертальдо); фазанъ поднялся изъ долины горъ, недалеко отъ мѣста, гдѣ родился Овидій [1]); соколъ настигъ его на полянѣ наверху Фалерно, и крѣпко вцѣпившись въ него, отбивался отъ слетѣвшихся птицъ [2]) — когда внезапно явился [3]) громадный, остервенѣлый отъ голода песъ, откусилъ голову фазана и вырвалъ его туловище изъ когтей сокола. Флоріо чудилось, будто соколъ обратился въ горлицу, сидитъ на сухомъ деревѣ и плачетъ, какъ человѣкъ; небо заволоклось тучами, точно настала ночь смерти, и свѣтъ снова обратится въ хаосъ: такой ядовитый пошелъ дождь и градъ, съ громомъ и молніей, небо и море возстали на землю; а соколъ продолжалъ сѣтовать, свернувъ крылья [4]).

Опять передъ нами Боккаччьо съ его повѣстью несчастной любви: онъ любилъ Фьямметту (фазанъ), обладалъ ею, но ее отбили у него (голодный песъ), онъ опечаленъ до смерти и ему кажется, въ избыткѣ горя, что рушится и природа. Мрачная картина сознательно помѣстилась передъ свѣтлымъ воспоминаніемъ, какъ разсказъ о чумѣ въ заголовкѣ Декамерона: еще Флоріо занятъ своимъ сномъ, а его другъ Аскальоне увлекаетъ его на прогулку; изъ одного сада раздаются звуки музыки и пѣсни; они остановились послушать, нѣсколько юношей приглашаютъ ихъ войти, раздѣлить ихъ веселье. Въ саду нѣсколько дамъ; пробывъ нѣкоторое время съ молодыми людьми, Флоріо и его товарищъ хотятъ удалиться, но одна изъ дамъ проситъ ихъ сдѣлать нѣчто и имъ въ угоду, проведя въ ихъ обществѣ остатокъ дня. Флоріо спѣшитъ согласиться; послѣ того какъ онъ не видѣлъ своей Бьянчифьоре, никогда не встрѣчалъ онъ такой красавицы. О какъ должны вы благодарить боговъ! говоритъ онъ одному юношѣ, съ которымъ особенно сошелся, изящныхъ нравовъ и

1) Сульмона вмѣсто Аквино, откуда родъ Маріи-Фьямметты.
2) Изъ Сіены, съ береговъ Роны и Арно.
3) Отъ сосѣднихъ съ Pompeano горъ.
4) Filocolo II, стр. 23—26.

краснорѣчивому, по имени Галеоне.—Почему такъ?—Вамъ такъ хорошо живется, вы сошлись въ одномъ желаніи. —Къ этому побудила насъ и въ этомъ поддерживаетъ та женщина, въ которой покоятся всѣ прелести; та, что просила васъ остаться. Это Марія, которую мы зовемъ Фьямметтой, дочь правителя этой страны и наша властительница; нѣтъ добродѣтели, достойной великаго сердца, которая не заключалась бы въ ея сердцѣ. — Уже солнце было въ полуднѣ, общество разбрелось кружками по саду, ища тѣни; съ Фьямметтой остались четыре дамы, Галеоне, съ нимъ двое юношей, и Флоріо съ товарищами. Взявъ Флоріо за руку, она ведетъ всѣхъ на тѣнистый лужокъ; усѣвшись здѣсь, они начинаютъ бесѣдовать, но такъ какъ одинъ прерывалъ другого, Фьямметта предложила для большаго порядка избрать короля, которому каждый и предлагалъ бы какой-нибудь вопросъ о любви, а онъ разрѣшалъ бы сомнѣнія. Всѣ единогласно выбрали Аскальоне, какъ старшаго, но онъ пользуется своимъ правомъ лишь за тѣмъ, чтобы въ свою очередь избрать Фьямметту, которую и вѣнчаетъ лавромъ: никогда не видѣлъ онъ, да и ему не называли женщины столь достойной, какъ эта Искорка (Фьямметта), присутствіемъ которой Амуръ во всѣхъ насъ заронилъ искры любви; ей вѣдомы всѣ его тайные ходы, она отвѣтитъ на всѣ наши вопросы. — Фьямметта скромно принимаетъ предложенный ей санъ, она станетъ отвѣчать по мѣрѣ своего недостаточнаго знанія, легко, не углубляясь въ суть вопросовъ и прося избѣгать тонкостей, потому что, утруждая умъ, онѣ не принесутъ удовольствія [1]).

Начинаются бесѣды и разсказы, «вопросы любви», какъ называетъ ихъ Фьямметта; съ содержаніемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ мы уже познакомились выше [2]); далѣе мы раскроемъ ихъ личный элементъ. Передъ нами, въ зародышѣ, планъ Декамерона,

1) Filocolo II, 27—34.

2) Сл. стр. 66—7. Къ библіографіи перваго вопроса въ бесѣдахъ Филоколо сл. сонетъ Pietro Montanaro (Come ciò sia che duo diversi amanti). Сл. Indice delle carte di P. Bilancioni, ed. C. e L. Frati, a. v.

какъ сцена въ монастырѣ св. Михаила была его первымъ листкомъ: то-же общество въ саду, на лужайкѣ, въ числѣ бесѣдующихъ Фьямметта и Боккаччьо, скрывающійся подъ именемъ Галеоне. Такъ онъ названъ и въ извѣстномъ намъ автобіографическомъ эпизодѣ Амето. Онъ въ періодѣ восторженнаго поклоненія.

Дальнѣйшее развитіе романа приводитъ насъ къ знакомому уже намъ отчасти эпизоду объ Идалагѣ. Флоріо покинулъ Неаполь въ поискахъ за Бьянчифьоре, находитъ ее и соединяется съ нею послѣ разныхъ приключеній и опасностей. На обратномъ пути, остановившись снова въ Неаполѣ, онъ посѣщаетъ его окрестности, Байи и Мизенъ, Кумы и Поццуоли; однажды, охотясь въ лѣсу, онъ нацѣлилъ копье на оленя, а попалъ въ сосну; изъ нея вышла кровь и послышался жалобный голосъ: это Идалагъ-Боккаччьо, обращенный въ дерево. По просьбѣ Флоріо, къ которому подошла и Бьянчифьоре, онъ разсказываетъ свою исторію, отдѣльными подробностями которой мы уже воспользовались выше[1]), а здѣсь перескажемъ въ порядкѣ; это — автобіографическій эпизодъ, съ измѣненными или вымышленными именами, въ рамкахъ Овидіевой метаморфозы. Идалагъ начинаетъ издалека: какъ отецъ увлекъ и обманулъ въ царствѣ Франконарха (во Франціи) бѣдную Джьянну (Giannai) и Идалагъ былъ плодомъ этой любви; какъ плохо жилось Идалагу въ домѣ мачехи Маргариты (Garamirta) и онъ удалился къ пастуху Кальмету (въ Неаполь къ Андалоне ди Негро). Слѣдуетъ разсказъ объ его наукѣ у Кальметы и о томъ, какъ избѣгая Амура, онъ все-же попалъ въ его сѣти и на охотѣ погнался за фазаномъ, который, обратившись въ красавицу, манитъ его къ себѣ. Ей онъ отдается, ухаживаетъ за нею, воспѣваетъ ее; она склоняется къ его желаніямъ, завѣряетъ въ своей любви, но увлекшись кѣмъ-то другимъ, покидаетъ его. Идалагъ самъ видѣлъ это своими глазами; онъ молитъ, упрашиваетъ, проливаетъ слезы, его отчаяніе

1) Сл. стр. 75—6, 109—110.

не знаетъ мѣры и онъ уже готовъ наложить на себя руки, когда сострадательная Венера обратила его въ сосну. Сосна — его символъ; ея вѣчно зеленыя вѣтви означаютъ надежду, которая никогда не угаснетъ. Это не мѣшаетъ ему обратиться съ наставленіемъ къ тѣмъ, кто возлагаетъ надежду на мірское, особенно на женщинъ, въ которыхъ нѣтъ ни разума, ни постоянства, а испорченная воля не знаетъ узды. Онъ пошелъ бы и дальше въ этихъ нареканіяхъ, еслибъ Бьянчифьоре не вступилась за добродѣтельныхъ женщинъ. Кто ты? спрашиваетъ Идалагъ; ты говоришь такъ, какъ будто сама изъ ихъ числа. Узнавъ, что это Бьянчифьоре, онъ спѣшитъ извиниться; она кажется ему бо̀льшимъ чудомъ, чѣмъ его превращеніе въ сосну; о ней и о Флоріо онъ не разъ слышалъ изъ разсказовъ пастуховъ, собиравшихся подъ его тѣнь; счастливая парочка идеальныхъ любовниковъ поставлена какъ бы въ контрастъ съ поблекшимъ счастьемъ Идалага и его нимфы. Потому что и она тутъ вблизи, такъ же превращенная, и Идалагъ проситъ своихъ собесѣдниковъ посѣтить ее на обратномъ пути въ городъ, гдѣ у прозрачнаго источника она лежитъ въ видѣ бѣло-мраморнаго камня. Двѣ дѣвушки ведутъ Флоріо и его спутниковъ въ гротъ и разсказываютъ повѣсть о кощунственныхъ нимфахъ, наказанныхъ богами. Одну изъ нихъ, Асенгу (Агнесу Перигорскую), мы уже назвали, сообщивъ и содержаніе соотвѣтствующаго эпизода [1]); первой названа Alleiram-Mariella, т. е. Марія-Фьямметта. Она хвалилась передъ своими товарками, что сильнѣе Венеры: не многіе изъ боговъ могутъ указать на такую родословную, какъ она; она богата и красива; кто-бы ни проходилъ мимо ея дома, свои или пріѣзжіе, всѣ заглядываются на нее; но хотя она и нравилась многимъ, не многіе нравились ей, а она всѣхъ обнадеживала взглядомъ, выслушивала любовныя рѣчи и сама отвѣчала любовно, всѣхъ запутывая въ свои сѣти. Много разъ Амуръ обращалъ на нее свои стрѣлы, не уязвляя ея сердца, но она представ-

1) Сл. стр. 53—54.

лялась уязвленной, и вотъ одни проживались изъ-за нея, другіе тщились обратить ее вниманіе подарками, строили другъ другу ковы, падали въ самозабвеніи, сломавъ ноги, въ глубокую яму. Она надо всѣми смѣялась, выбирая изъ нихъ, съ глазомъ знатока, тѣхъ, кто, казалось, болѣе отвѣчалъ ея вкусамъ, но еще не утоливъ жажды, она разбивала сосудъ съ водою и бросала осколки. И она разсказываетъ о своихъ отношеніяхъ къ Идалагу, не называя его: какъ она привлекла его къ себѣ и онъ сталъ ея поэтомъ и защитникомъ, и набравшись отваги, пробрался къ ней тайно. Она измѣнила и ему, его веселье обратилось въ слезы; напрасно молилъ онъ ее, а Венера грозила ей въ сновидѣніяхъ: она осталась непреклонной, Идалагъ обратился въ сосну, а она похваляется, на зло Венерѣ, что еще велитъ срубить и сжечь дерево. За такія кощунственныя рѣчи она и обращена въ холодный мраморъ.

Разсказъ дѣвушки наводитъ Флоріо на размышленія о человѣческой гордынѣ. Всѣ возвращаются въ городъ; на пути — сонъ въ руку: Флоріо встрѣчаетъ Галеоне - Боккаччьо, котораго видѣлъ прежде счастливаго въ обществѣ Фьямметты. Что съ красавицей Фьямметтой? спрашиваетъ онъ. Галеоне печально потупился; судьба измѣнила мнѣ, отвѣчаетъ онъ, изчезла въ внезапномъ порывѣ бури звѣзда, ясный лучъ которой руководилъ мою ладью къ желанной пристани; несчастный кормчій, я остался одинъ среди волнующагося моря; боги отвернулись отъ меня, покинули ложные друзья, а истинный другъ не можетъ оказать мнѣ помощи. — Флоріо утѣшаетъ его измѣнчивостью фортуны: Помнишь, какъ еще недавно тому назадъ твоя судьба была противоположна моей? Ты любовался твоей желанной, я скитался печально, не зная, гдѣ моя. Теперь я счастливъ; надѣйся и ты [1]). Кто знаетъ, не лежитъ-ли за высокими горами глубокая долина [2]).

Въ IV-й и V-й книгѣ Филоколо судьба Флоріо и Бьянчифьоре

1) Filocolo II, 235—276.

2) Сл. Введеніе въ первый день Декамерона, стр. 5 русск. перев.

и Галеоне и Фьямметты развиваются нѣкоторое время параллельно, какъ бы оттѣняя другъ друга обратнымъ развитіемъ; между двумя появленіями Галеоне, то счастливаго, то убитаго горемъ, аллегорическій разсказъ объ Идалагѣ приводитъ катастрофу. Всѣ эти партіи могли быть написаны вмѣстѣ или въ короткій другъ за другомъ промежутокъ времени, такъ онѣ тѣсно связаны. Въ нихъ мы поищемъ объясненія любви Боккаччьо къ Фьямметтѣ.

Если прислушаться къ страстнымъ жалобамъ Идалага—она безжалостная кокетка, надменная своей красотой, неспособная къ любви, забавлявшаяся тѣмъ, что привлекала къ себѣ поклонниковъ, равнодушная къ ихъ горю. Эта характеристика, переходящая въ крайнія нареканія противъ женщинъ вообще, объясняется художественнымъ шаржемъ, отвѣчавшимъ душевному настроенію: обманутаго, оскорбленнаго чувства [1]). Очевидно, это не послѣднее слово Боккаччьо, иначе трудно себѣ объяснить всю первую половину его литературной дѣятельности, до Декамерона включительно: такъ она полна любовныхъ воспоминаній о Фьямметтѣ; ей посвящена Тезеида, она является дѣйствущимъ лицомъ въ Амето и Декамеронѣ, стоитъ въ средоточіи Любовнаго Видѣнія и романа, названнаго ея именемъ. Сколько-бы мы ни отнесли на счетъ идеализаціи поэта, самая ея возможность заставляетъ искать ея причинъ въ самомъ объектѣ: въ Фьямметтѣ могли быть чары, заставлявшія Боккаччьо забывать порой ея вѣроломства, извинять ее, можетъ быть—винить самого себя.

Бесѣды въ саду, въ которыхъ участвуетъ Флоріо, а Фьямметта является верховнымъ судьей вопросовъ любви, представляютъ въ этомъ отношеніи любопытныя откровенія. Въ нихъ много общаго, но много и личнаго, что̀ нетрудно выдѣлить. Фьямметта говоритъ о нерушимости супружеской клятвы, о цѣломудріи женъ, украшающемъ мужей, хотя немногимъ приходится въ этомъ позавидовать [2]); о томъ, что не слѣдуетъ доби-

1) Сл. сонетъ XXXV.

2) Вопросъ IV.

ваться любви замужней женщины, и что одна и таже любовь, какъ одна и таже пища надоѣдаетъ [1]). Иначе она и не могла рѣшать въ извѣстныхъ вопросахъ, не выходя изъ роли судьи; но ставились и другіе, въ общихъ формулахъ которыхъ сквозитъ отношеніе Боккаччьо къ Фьямметтѣ; они понимали другъ друга на полусловѣ, какъ Памфило объяснялся съ своей милой, разсказывая ей повѣсти, интимный смыслъ которыхъ былъ ясенъ имъ однимъ. Съ этой точки зрѣнія нѣкоторые изъ вопросовъ, упомянутыхъ выше, теряютъ свою отвлеченность, проникаясь живымъ интересомъ личности. Любовь дѣлаетъ человѣка застѣнчивымъ; любящая выжидаетъ объясненія, хотя сама была-бы готова объясниться первой [2]); лучше думать о милой, чѣмъ созерцать ее, потому что воображеніе даетъ широкій просторъ желаніямъ [3]). Какая то дама ставитъ вопросъ: она — родовитая неаполитанская красавица, по имени Марія; долго отрицалась любви, но наконецъ не пожелала долѣе противиться закону, которому подчиняются всѣ другіе, и рѣшила влюбиться. Ей предстоитъ рѣшить выборъ между тремя ухаживающими, ей одинаково нравящимися: одинъ изъ нихъ превзошелъ бы силой самого Гектора, другой щедръ и радушенъ, третій исполненъ мудрости. На комъ изъ нихъ остановиться? — Фьямметта рѣшаетъ въ пользу мудраго: онъ одинъ въ состояніи долго соблюсти любовь и, вмѣстѣ, честь своей дамы, ибо его разсудокъ обуздываетъ его желанія [4]). — Вспомнимъ, что имя Фьямметты было Марія, что она такая же красавица, хорошаго рода, а Боккаччьо не блисталъ ни силой, ни богатствомъ; онъ бралъ своимъ образованіемъ, и отъ него ожидали разсудительности и обузданія желаній, въ видахъ тайны, за то ему и воздастся многое. Слѣдующій вопросъ [5]) снова ставитъ передъ нами знакомыя отношенія Бок-

1) Вопросъ IX; сл. выше стр. 134 и прим. 3.
2) Вопросъ VI.
3) Вопросъ XI.
4) Вопросъ III.
5) Вопросъ VIII.

каччьо къ Фьямметтѣ. Спрашивается: кого слѣдуетъ предпочесть изъ двухъ женщинъ, одинаково нравящихся: ту-ли, которая и по роду и по состоянію выше любящаго, либо ту, которая ниже. Мужчина созданъ для того, чтобы стремиться къ высшему, отвѣчаетъ Фьямметта, къ тому-же и пословица говоритъ: лучше хорошо желать, чѣмъ плохо держать; потому предпочтеніе должно быть отдано женщинѣ, выше поставленной. Если и труднѣе бываетъ добиться ея любви, то за то такую любовь и цѣнятъ и берегутъ тѣмъ болѣе, чѣмъ бо̀льшихъ усилій она потребовала. Если бы на это возразили, что именитая женщина станетъ стремиться къ любви человѣка, выше ея по положенію, и пренебрежетъ худороднымъ, на это можно отвѣтить: что самый заурядный мужчина, въ силу естественной доблести, выше самой родовитой въ свѣтѣ женщины, и что всякій, кого бы она ни избрала, будетъ превосходить ее. Потому да не отчавается никто полюбить женщину выше себя, отчего ему послѣдуетъ благо, ибо, изъ желанія понравиться ей, онъ будетъ стараться усвоить себѣ хорошіе манеры, войдетъ въ общество благородныхъ людей, изощритъ и украситъ свою рѣчь, полюбитъ роскошныя одежды, станетъ способнымъ на мужественные подвиги [1]).

Такъ могла говорить Фьямметта, ободряя робкаго Боккаччьо, котораго пугало неравенство ихъ общественнаго положенія: пусть осмѣлится, она подниметъ его своею любовью. Какъ она понимаетъ ее, что отъ нея ждетъ, это разъясняютъ другія ея рѣшенія. Боккаччьо ревнивъ, способенъ пережить мученія Троила [2]); онъ самъ видѣлъ измѣну своей милой [3]), какъ безыменный утѣшитель Филена, какъ Идалагъ и пріятель Клоника въ пятомъ вопросѣ, вызывающемъ такое рѣшеніе Фьямметты: что гораздо менѣе жалокъ человѣкъ несчастный въ любви, чѣмъ страдающій ревностью. Мѣткая характеристика ревнивца въ

1) Сл. Андрея Капеллана l. c. lib. II, cap. VII. jud. III, стр. 275: femina etenim rerum fertilitate beata laudabilius inopem sibi nectit amorem.

2) Филострато VII, 18.

3) Сон. IV.

въ устахъ Фьямметты [1]) назначена для Боккаччьо; вспомнимъ, что и онъ находится въ ея обществѣ подъ именемъ Галеоне. И вотъ онъ и Фьямметта выступаютъ въ вопросѣ седьмомъ, поставленномъ какъ бы въ центрѣ [2]) и сознательно-поэтически выдвинутомъ изъ числа другихъ. Общество расположилось подъ навѣсомъ деревьевъ у фонтана; солнечный лучъ пробился сквозь вѣтви, упалъ въ волны, и его отраженіе играетъ на лицѣ и золотистыхъ волосахъ красавицы-королевы, точно огонекъ (fiammetta) спустился на нее изъ зеленой листвы. Галеоне сидитъ противъ нея по ту сторону источника и такъ погруженъ въ ея созерцаніе, что не слышитъ обращенныхъ къ нему вопросовъ. Отчего ты такъ задумался, ты, единственное, быть можетъ, желаніе той, которую ты созерцаешь? спрашиваетъ его Фьямметта; почему не говоришь и все смотришь на меня, точно никогда меня не видѣлъ? — Галеоне приходитъ въ себя, какъ человѣкъ, который боится прервать сладкое сновидѣніе; онъ видѣлъ нѣчто чудесное: будто вышелъ изъ воды какой то духъ, граціозный и игривый, и увлекъ за собой мою душу, проникнувъ въ ваши очи, которые загорѣлись новымъ блескомъ; затѣмъ онъ выступилъ изъ нихъ, оставивъ въ нихъ свой слѣдъ, взвился огонькомъ на вашъ вѣнокъ и далѣе перелетѣлъ на деревья, то прячась, то скача по вѣткамъ, какъ птичка, съ пѣснями о любви: «Я неба третьяго прелестное созданье» (мадригалъ). Много онъ пѣлъ еще, но лишь только вы заговорили, онъ снова запрятался въ ваши глазки, отъ которыхъ все здѣсь освѣтилось, какъ отъ сіянія утреннихъ звѣздъ. — Вотъ отъ какого блаженства я долженъ былъ оторваться! говоритъ Галеоне-Боккаччьо, погружаясь фантазіей въ дантовскіе мотивы. — Всѣ смотрятъ на Фьямметту и видятъ, что казалось бы невозможнымъ; она сидитъ безмолвно, не измѣнившись въ лицѣ, окутанная смиреніемъ, а Галеоне пред-

1) Сл. ея разсказъ въ Декамеронѣ VII, 5; Andr. Capellani l. c. lib. II, cap. VI, стр. 145 слѣд.

2) Всѣхъ вопросовъ тринадцать.

лагаетъ ей вопросъ: слѣдуетъ-ли человѣку, къ своему благу, любить, или нѣтъ.—Фьямметта отвѣчаетъ, вздохнувъ: Мнѣ придется говорить противъ того, чего сама я желаю, и да проститъ мнѣ Амуръ, если, слѣдуя побужденіямъ разсудка, я скажу нѣчто противъ его божества. Есть три рода любви: одна — честная, настоящая, законная, та, которой подобаетъ отдаваться всякому; любовь, соединяющая Творца съ его твореніемъ, содержащая небеса и міръ, царства и народы; въ силу ея мы можемъ удостоиться царства небеснаго, безъ нея не можемъ проявить присущія намъ силы добродѣтели. — Вторая любовь — любовь по вожделѣнію: это та, которой мы подвержены, наше божество; третья — презрѣнная: любовь по разсчету [1]). Вопросъ, поставленный Галеоне, касается, очевидно, второй любви, и Фьямметта заявляетъ, что кто желаетъ жить добродѣтельно, тому не слѣдовало-бы ей отдаваться, ибо она лишаетъ чести, приноситъ скорбь, питаетъ пороки, порождаетъ заботы, отнимаетъ лучшее достояніе человѣка — свободу. Да здравствуетъ тотъ, кто способенъ остаться свободнымъ!—Галеоне пораженъ, онъ ожидалъ другого отвѣта, надѣялся, что Фьямметта поддержитъ и ободритъ любящихъ. Онъ другого мнѣнія: всякому, стремящемуся къ высокой цѣли, надо любить, ибо любовь умножаетъ добродѣтели. И онъ говоритъ объ ея облагораживающемъ вліяніи, какъ говорилъ Троилъ [2]), приводя въ примѣръ боговъ и героевъ и поэтовъ, которыхъ любовь побудила оставить по себѣ вѣчную славу въ священныхъ стихахъ. Что казалось имъ достойнымъ, то достойно и намъ: станемъ же любить и служить Амуру, и да здравствуетъ

1) Сл. троякое дѣленіе любви: celestials, naturals и carnals у Guiraut Riquier въ толкованіи на канцону Guiraut de Calanson и Gen. Deor. I, 15: Платонъ (у Апулея De dogmate Platonis) различаетъ три рода любви: quorum primum dixit esse divinum, cum incorrupta mente et virtutis ratione convenientem; alterum degeneris animi corruptaeque voluntatis passionem; tertium ex utroque permixtum. Post quem auditor ejus Aristoteles, mutatis fere potius verbis quam sententia, aeque triplicem voluit, primum dicens propter honestum, secundum propter delectabile, tertium propter utile moventem captos a se.

2) Filostrato III, 74 слѣд.

вѣчно нашъ властелинъ! — Ты, я знаю, влюбленъ, отвѣчаетъ Фьямметта, а сужденія влюбленныхъ ложны; я въ томъ же положеніи, и какъ мнѣ то ни больно, я нарушу естественное молчаніе, дабы ты не заблуждался. Любовь не что иное, какъ неразумное желаніе, рождающееся отъ страсти, объявившейся въ сердцѣ вслѣдствіе представшаго глазамъ сладострастнаго наслажденія, воспитанное въ неразумномъ духѣ воспоминаніемъ и тунеядствомъ мысли [1]).—И Фьямметта опровергаетъ такими же примѣрами все, сказанное Галеоне въ защиту облагораживающей любви [2]); не находитъ оправданія и поэзія и краснорѣчіе влюбленныхъ: оно можетъ подвинуть даже камни, но его сила въ лести, недостойной порядочнаго человѣка, какъ вообще все благородное, совершаемое любящими, является лишь средствомъ къ достиженію далеко не благородной цѣли, а человѣкъ измѣряется его побужденіями. И такъ начало любви—страхъ, въ срединѣ грѣхъ, въ концѣ печаль и досада. Лишь неразумные могутъ ее восхвалять, и мы охотно обошлись бы безъ нея, но поздно познали ея вредъ, и намъ, попавшимъ въ ея сѣти, остается лишь слѣдовать по ея путямъ, пока и намъ не объявится тотъ свѣтъ, который извлекъ Енея изъ юдоли мрака, т. е. пока мы не сподобимся честной, небесной любви.

Боккаччьо любилъ страстно, плотски ревниво, и вмѣстѣ съ тѣмъ готовъ былъ поэтизировать эту любовь въ верховный принципъ міровой и человѣческой жизни, способенъ вѣрить въ ея нравственную, поднимающую силу, уноситься съ упоеніемъ въ надзвѣздныя выси платонизма — и снова падать до уровня волнующейся, оскорбленной плоти. Фьямметтѣ знакомы эти крайности раздраженной фантазіи, ореола и тины, млѣнія и титаническаго гнѣва; женщина развитая, способная встрѣтить откро-

1) Сл. Gen. Deor. IX, 4: mentis quaedam passio ab exterioribus illata et per sensus corporeos introducta et intrinsecarum virtutum approbata praestantibus ad hoc supercaelestibus corporibus aptitudinem.

2) Сл. Canzone I и у Андрея Капеллана (l. c. lib. I, cap. VI, стр. 152 слѣд.) рѣчь дамы противъ любви.

венность и прочесть между строками [1]), она относится съ сомнѣніемъ къ выспреннему чувству, способному, въ минуты аффекта, обратиться въ грязныя разоблаченія боккаччьевской сатиры, Корбаччьо. Идеальна, нравственна лишь небесная любовь, земной мы подвластны, въ ней много горя, но съ этимъ приходится мириться, надо только умѣть упорядочить ее, избѣгая ненужной ревности, обуздывая желанія.

Съ этимъ Боккаччьо пока не можетъ помириться; противорѣчія темперамента и идеализаціи въ немъ такъ же сильны, какъ желаніе объединить ихъ, оправдавъ первый цѣлями второй — и восторженныя рѣчи Галеоне найдутъ себѣ выраженіе въ аллегоріяхъ Амета и тревожныхъ признаніяхъ Любовнаго Видѣнія.

1) Chiuso parlare въ посвященіи Тезеиды.

III.

ФЛОРЕНЦІЯ. АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЯ ПЕРЕЖИВАНІЯ (ФИЛОКОЛО, АМЕТО, ЛЮБОВНОЕ ВИДѢНІЕ).

I.

Боккачьо вернулся во Флоренцію (или Чертальдо)[1]) «противъ воли», вернулся неаполитанцемъ по привычкамъ и симпатіямъ, и ему пришлось съ трудомъ вживаться въ новыя для него отношенія. Среди тусклой домашней обстановки вспоминались неаполитанскіе придворные кружки, въ которыхъ сіяла его Фьямметта, широкое раздолье жизни и блескъ нарядовъ, вызывавшихъ нареканія флорентійскихъ буржуа, когда французы, пришедшіе съ Карломъ Калабрійскимъ (1326 г.) и герцогомъ Аѳинскимъ (1342 г.) принесли съ собою развращенныя моды [2]) и такіе-же нравы [3]). Послѣднее стихотвореніе Ameto написано подъ впечатлѣніемъ подобнаго контраста: съ одной стороны поэтическая фантасмагорія нимфъ, воспитывающихъ юношу для высшихъ цѣлей любви, веселыя бесѣды и желанія, побуждающія ко благу, съ другой постылый домъ отца, успѣвшаго жениться во второй разъ (вѣроятно въ 1342—3 г.) на Беатриче деи Бостики. Мы знаемъ, какъ сложились отношенія Боккачьо къ отцу: онъ говоритъ о немъ съ откровенною горечью, никогда не доходящею до циническаго ожесточенія Чекко Анджьольери, но поражающею насъ своею неумѣренностью [4]). Въ Амето она вызвана психологи-

1) Сл. въ Филоколо эпизодъ о Филено, выше стр. 158.

2) Giov. Villani, X, cap. 11; XII, cap. 4, 8.

3) Сл. Декам. VI, 3.

4) Сл. выше стр. 172 слѣд.; о Чекко Анджьольери сл. Alessandro D'Ancona, Studî di critica e storia letteraria, стр. 107 слѣд.

ческимъ моментомъ: память о прошломъ заставила все являться въ черномъ цвѣтѣ. Поэтъ разстается съ болью въ сердцѣ съ обществомъ нимфъ, которыми любовался, которыхъ подслушивалъ изподтишка, и принужденъ идти туда, «гдѣ царитъ уныніе и вѣчная тоска; тамъ никогда не смѣются, либо изрѣдка; мрачный, молчаливый, скучный домъ принимаетъ и держитъ меня противъ воли, и тяжело удручаетъ суровый, печальный видъ старика холоднаго, грубаго и скупаго. Возвращеніе подъ такой кровъ послѣ блаженныхъ дней превращаетъ то блаженство въ печаль и горе» [1]).

Въ Любовномъ Видѣніи повторяются тѣ-же жалобы на скупость и суровость отца, продолжавшаго торговать съ домомъ Барди [2]), но вѣроятно пострадавшаго въ флорентинскомъ банковомъ крахѣ 1342 года. Онъ могъ поневолѣ сжаться, тѣмъ болѣе для сына, явившагося домой не каноникомъ, а поэтомъ. Эти естественныя отношенія приняли въ фантазіи Боккаччьо трагическій оттѣнокъ. Онъ чувствуетъ себя одинокимъ: у него нѣтъ друзей, кромѣ Никколò ди Бартоло дель Буоно; онъ одинъ понялъ «славу Чертальдо», говоритъ, разумѣя Боккаччьо, Никкола да Монтефалько: держалъ его въ чести, поддерживалъ своими средствами [3]); этому единственному другу, казненному въ 1360 году по обвиненію въ заговорѣ противъ гвельфской партіи, Боккаччьо и посвятилъ своего Амето.

Понятно, что ему хочется вырваться изъ Флоренціи.

Въ іюнѣ 1341 года вернулся изъ Греціи Аччьяйоли [4]); Боккаччьо схватился за него: 28-го августа онъ пишетъ ему письмо, риторически-восторженное, въ которомъ многое показалось бы лестью, если бы не извинялось обычнымъ у Боккаччьо шаржемъ

1) Ameto, стр. 199.

2) Сл. его счеты съ домомъ Барди отъ 1336—8 годовъ у Del Lungo, Beatrice nella vita e nella poesia del secolo XIII, стр. 162, 163.

3) Che'n triumfo el mantenne ed a soi spese. Сл. Hortis, Studi, стр. 145, прим. 1.

4) Сл. выше стр. 55.

и страстностью надежды. Вашъ отъѣздъ былъ для меня столь же горестенъ, какъ отъѣздъ Енея Дидонѣ, пишетъ онъ Аччьяйоли; я ждалъ васъ, какъ Пенелопа Улисса; вѣсть о вашемъ возвращеніи обрадовала меня во мракѣ моихъ бѣдъ, какъ святыхъ отцевъ утѣшила въ лимбѣ вѣсть о пришествіи Христа. Я счастливъ, что вы вернулись, не столько ради себя, сколько потому, что вы заставите умолкнуть злостныхъ льстецовъ и завистниковъ и наступите на выю надменнымъ. Я ничего не пишу вамъ о моемъ невольномъ житьѣ во Флоренціи, потому что объ этомъ слѣдовало бы написать слезами, не чернилами. Одно скажу вамъ: на васъ моя надежда, что вы измѣните мою жалкую участь къ лучшему, какъ Александръ Великій измѣнилъ судьбу пирата Антигона. И эта надежда не новая; она одна и осталась у меня съ тѣхъ поръ, какъ по Божію произволенію, отнятъ у меня мой отецъ и наставникъ маэстро Діонизіо (Dionisio da Borgo San Sepolcro).—И Боккаччьо кончаетъ заявленіемъ увѣренности, что вскорѣ онъ увидится съ Аччьяйоли. Письмо подписано: Джьованни Боккаччьо изъ Чертальдо, «враждебный фортунѣ» [1]).

Аччьяйоли пріѣхалъ во Флоренцію въ ноябрѣ 1341 года, вмѣстѣ съ знакомымъ намъ Джьованни Баррили; актомъ 8-го февраля онъ записалъ нѣкоторыя свои помѣстья за Чертозой, которую давно затѣялъ основать подъ Флоренціей, и Боккаччьо было поручено, въ числѣ трехъ уполномоченныхъ, наблюсти за передачей указаннаго имущества пріорамъ будущаго монастыря [2]). Была ли между нимъ и Аччьяйоли рѣчь о его надеждахъ — мы не знаемъ; въ сущности Аччьяйоли явился во Флоренцію съ тайной миссіей, характерной для него, какъ политическаго дѣятеля, забывшаго интересы роднаго города. Дѣло шло о пріобрѣтеніи Лукки, которую Мастино делла Скала, не будучи въ состояніи удержать въ своей власти, предлагалъ купить флорентійцамъ. Тѣ, согласились, но пизанцы, опасаясь сильныхъ сосѣдей, пос-

1) Tanfani, l. c. стр. 44 и слѣд.
2) Corazzini, стр. 17—18.

пѣшили ихъ предупредить, и ихъ войско подошло къ городу, куда успѣлъ проникнуть небольшой флорентійскій отрядъ. Въ послѣдовавшемъ затѣмъ дѣлѣ флорентійцы были разбиты; тогда они обратились за помощью къ королю Роберту, но тотъ отдѣлывался совѣтами и обѣщаніями, а посольство Аччьяйоли не имѣло иной цѣли, какъ убѣдить заинтересованныя стороны, что лучшее рѣшеніе вопроса — отдать Лукку въ руки короля. Дѣло не удалось и Аччьяйоли уѣхалъ въ концѣ февраля или началѣ марта 1342 года.

Поѣхалъ-ли съ нимъ Боккаччьо? Лишь предположеніемъ такой, хотя бы кратковременной поѣздки въ Неаполь объяснилось бы въ біографіи Боккаччьо одно загадочное обстоятельство. Выше [1]) мы сказали, что его не было въ Неаполѣ, когда въ Мартѣ 1341 года происходило торжественное испытаніе Петрарки королемъ Робертомъ [2]), иначе онъ навѣрно упомянулъ бы о томъ впослѣдствіи, во всякомъ случаѣ постарался бы тогда же увидѣть вѣнчаннаго поэта—а Петрарка пишетъ ему по поводу ихъ перваго свиданія въ 1350 году, что Боккаччьо никогда дотолѣ его не видѣлъ [3]). Если въ мартѣ 1341 года онъ былъ уже во Флоренціи, то когда же слышалъ онъ изъ устъ короля Роберта похвалы поэзіи, высокое значеніе которой раскрылось ему впервые въ диспутѣ съ Петраркой? Робертъ скончался въ январѣ 1343 года; время, въ теченіе котораго Боккаччьо могъ слышать отзывъ Роберта, ограждено періодомъ послѣ марта 1341 года до конца 1342, и всего естественнѣе предположить, что именно отъѣздъ Аччьяйоли въ февралѣ послѣдняго года могъ еще разъ увлечь Боккаччьо туда, куда тянули его воспоминанія и любовь.

Но вернемся къ флорентійскимъ отношеніямъ. 9 мая явился съ своимъ отрядомъ въ лагерь флорентійцевъ, еще продолжавшихъ войну, и по ихъ вызову, Вальтеръ Бріэннскій, котораго

1) Стр. 43.
2) Сл. Fam. IV, 7 и прим. Fracassetti.
3) Fam. XXI, 15.

они уже видѣли въ своихъ стѣнахъ въ 1326 году, въ качествѣ викарія Карла Калабрійскаго. Родичъ французскаго королевскаго дома, женатый на племянницѣ короля Роберта, титулованный герцогъ Аѳинъ, съ какими-то правами на Кипръ, онъ искалъ удачи и власти: Виллани изображаетъ его жаднымъ и вѣроломнымъ, но смѣтливымъ и хитрымъ авантюристомъ; небольшаго роста, некрасивый собою, непривѣтливый, онъ походилъ съ своей бородой, которая послѣ него вошла въ моду, скорѣе на грека, чѣмъ на француза[1]). Позднѣйшая роль Вальтера въ судьбахъ Флоренціи оправдываетъ эту характеристику; въ началѣ его храбрость оживила надежды: въ одномъ изъ тѣхъ стихотворныхъ памфлетовъ, въ которыхъ Антоніо Пуччи, воспѣвшій всѣ фазисы войны съ Луккой, выносилъ на площадь свой флорентійскій патріотизмъ, отъ мужественнаго и мудраго вождя ждали возстановленія чести; съ нимъ не много нѣмцевъ, за то его итальянцы и французы будутъ биться какъ львы (Come Lucca si perdè rammaricandosi Firenze). — Между тѣмъ Флоренція продолжала искать союзниковъ и, забывъ свои гвельфскія преданія, обратилась за помощью къ Людовику Баварскому, находившемуся тогда въ Тріентѣ. Эта мѣра вызвала финансовый и политическій переворотъ: Флоренція была издавна главой средне-итальянскаго гвельфизма, и ея обращеніе къ императору истолковано было, какъ переходъ въ лагерь гибеллиновъ; на гвельфовъ Неаполя это извѣстіе произвело удручающее впечатлѣніе: всѣ бросились вынимать изъ флорентійскихъ банковъ свои вклады: недовѣріе породило рядъ банкротствъ и упадокъ кредита; къ тому-же обнаружились недочеты и растраты во временномъ правленіи «двадцати», учрежденномъ съ начала войны. Не зная, что̀ начать, богатые пополаны обратились къ Вальтеру, выбрали его «консерваторомъ народа», начальникомъ охраны, съ верховной властью въ теченіе года на войнѣ и правомъ уголовнаго суда въ городѣ и внѣ его.

1) Cron. l. XII, c. 8.

Надѣялись, что онъ умиротворитъ городъ, гдѣ власть находилась въ рукахъ разжившейся гвельфской буржуаціи, купцовъ-оптиматовъ (popolani grassi) и большихъ цеховъ; мелкіе не участвовали въ правленіи, изъ котораго исключены были и аристократы-гвельфы, такъ называемые гранды, и черный народъ. Гранды могли лишь косвенно вліять на городскія отношенія, по скольку сидѣли въ «магистратѣ гвельфской партіи», стоявшемъ на стражѣ гвельфскихъ интересовъ вообще; они естественно стремились къ расширенію своихъ правъ и въ этомъ смыслѣ разсчитывали на Вальтера, тогда какъ богатые пополаны, потерпѣвшіе финансовое крушеніе, надѣялись при немъ поправить свои дѣла. Но раздоръ партій указалъ ему на другія цѣли: опираясь на грандовъ и плебсъ, онъ сталъ домогаться единоличной власти, и въ сентябрѣ 1342 года его провозгласили пожизненнымъ властителемъ Флоренціи, онъ сталъ подписываться: «dux et dominus Florentinorum». Но онъ никого не удовлетворилъ: ни грандовъ, которые ожидали, что онъ дастъ имъ участіе во власти, ни пополановъ-буржуа, ея лишившихся, ни ремесленниковъ, которыхъ заработки уменьшились при его правленіи, деспотически стремившемся къ устраненію народныхъ порядковъ, противъ чего предупреждалъ его осторожный король Робертъ. Его вымогательства и жестокія мѣры, распущенность нравовъ, которыми отличались его пособники, ихъ посягательство на честь флорентійскихъ женъ и соблазнъ необычныхъ французскихъ нарядовъ — все это питало недовольство; явились заговоры, и въ общемъ возстаніи народа герцогъ, осажденный въ Палаццо Синьоріи, принужденъ былъ удалиться (6 августа 1343 года). Послѣдовавшія затѣмъ внутреннія движенія Флоренціи привели къ новому ограниченію правъ грандовъ и поднятію цеховъ и мелкаго люда (popolo minuto).

Флорентинскіе демократы вздохнули свободно; въ стихахъ и прозѣ и живописи осталась память того страстнаго вниманія, съ которымъ они слѣдили за недолговѣчной дѣятельностью герцога Аѳинскаго. 15-го сентября 1342 года, во время большаго

торжества въ St-a Croce по случаю водворенія новаго правителя, епископъ Флоренціи, Анджело Аччьяйоли величалъ его въ проповѣди[1]); надежды, которыя на него возлагали, выразились въ сонетѣ Пьеро д'Ансельмо, написанномъ въ началѣ его власти: герцогъ названъ здѣсь «наслѣдникомъ великаго Агамемнона», онъ отмститъ похитителю Елены; «велика была мудрость твоего правленія и болѣе въ немъ доблести, чѣмъ въ какомъ другомъ» [2]). Аньоло Торини Бенчивенни обратился къ нему съ канцоной, полной вѣры въ «новаго Тезея» и добрыхъ совѣтовъ, и затѣмъ съ другой, сѣтовавшей о неосуществившихся ожиданіяхъ. Когда онъ палъ, Паоло делль Аббако разсказалъ въ двадцати стансахъ его исторію до изгнанія включительно, а Антоніо Пуччи сложилъ по этому поводу баллату и заставилъ самого герцога оплакивать свою участь: онъ намѣревался стать «королемъ Тосканы», а съ нимъ приключилось то-же, что съ Симономъ магомъ (Come fu cacciato di Firenze il duca d'Atene e lamento che fe') [3]). Говорятъ, Симоне изъ Сіэны изобразилъ его Лонгиномъ въ сценѣ Распятія, до сихъ поръ красующейся въ S. Maria Novella, въ капеллѣ degli Spagnuoli; въ 1344 году поручено было Джьоттино написать въ Палаццо Подесты портреты герцога и его клевретовъ съ соотвѣтствующими стихотворными надписями обличительнаго характера.

Всѣ эти событія прошли передъ глазами Боккаччьо и не могли не волновать его. Въ книгѣ о Роковой участи великихъ людей [4]) онъ разсказываетъ исторію Вальтера Бріеннскаго, горюя о Флоренціи и порицая непостоянство, вѣтренность и необдуманность ея гражданъ. Но эта книга начата значительно позже и въ эпизодѣ о Вальтерѣ непосредственныя впечатлѣнія чере-

1) Giov. Villani XII, 3.

2) Giorn. Stor d. letterat. ital. fasc. 2, стр. 311.

3) Сл. Medin, Il Duca d'Atene nella poesia contemporanea, въ Propugnatore N. S. v. III, f. 15, стр. 388 слѣд. и приведенную тамъ литературу. Общее обозрѣніе событій у Perrens, Histoire de Florence, t. IV, стр. 215 слѣд.

4) IX, 24.

дуются въ ней съ разсказами по слухамъ и показаніями Виллани. Въ Амето, написанномъ въ 1340—1 годахъ, Боккаччьо такъ гордится Флоренціей: несмотря на различныя превратности судьбы, она вышла изъ пережитыхъ волненій сильнѣе и прекраснѣе прежняго; расширивъ свои владѣнія, многолюдная, она заключила въ своихъ стѣнахъ враждебныя волны; нынѣ она могущественнѣе, чѣмъ когда-либо, ея границы простерлись далеко; подчиняя *народному закону* непостоянную кичливость грандовъ и сосѣдніе города, она пребываетъ въ славѣ, готовая и на болѣе великое, если страстная зависть и жажда любостяжанія и невыносимая гордыня, въ ней властвующія, ей въ томъ не помѣшаютъ, какъ того позволено опасаться» [1]). Эти опасенія оправдались на событіяхъ 1342—3 годовъ, и, удерживая Памфило, Фьямметта могла выразить взгляды Боккаччьо: «самъ ты говорилъ, что твой городъ полонъ пышныхъ словъ и малодушныхъ поступковъ, руководится тысячью — не законовъ, а мнѣній, которыхъ столько-же, сколько людей; онъ всегда въ оружіи, трепещетъ внутренней и внѣшней войною, изобилуетъ гордецами, любостяжателями и завистниками, полонъ безчисленныхъ заботъ; все это тебѣ не по сердцу. И ты хочешь покинуть Неаполь, веселый и мирный, благодатный и роскошный, къ тому-же обрѣтающійся *подъ властью одного короля!* Все это тебѣ пріятно, насколько я знаю» [2]).

Романъ «Фьямметты, откуда взяты эти слова, написанъ до 50-го года, когда Боккаччьо еще не принималъ личнаго участія въ дѣлахъ республики; его похвалы» *народному закону* — и *власти одного*, смѣняющія другъ друга на разстояніи нѣсколькихъ лѣтъ, не противорѣчіе, не отзываются безразличіемъ человѣка, стоящаго не у дѣлъ, а нападки на зависть и гордыню и любостяжаніе не пустыя мѣста реторики и морализаціи. Именно онѣ, въ отрицательной постановкѣ вопроса, и раскрываютъ

1) Ameto, стр. 180—1.
2) Fiammetta, стр. 43.

принципы, опредѣлившіе политическіе воззрѣнія Боккаччьо — и Петрарки: разрывъ личности и традиціи, совершившійся въ нихъ, перенесъ центръ тяжести на личность: ее онѣ цѣнятъ и въ себѣ и въ другихъ, Петрарка холитъ ее, любовно и тревожно, Боккаччьо мастеръ схватитъ ея живыя черты въ герояхъ своихъ новеллъ; но и вопросы политики, республики или единовластія, разрѣшаются для нихъ въ концѣ концовъ въ вопросы личности: Петрарка будетъ говорить о Римѣ и имперіи и Кола ди Ріенцо, Боккаччьо изобразитъ въ сновидѣніи Бьянчифьоре Дантовскій идеалъ: папы и императора, любовно связанныхъ идеей Рима[1]), но въ сущности хорошо живется тамъ, гдѣ царитъ любимецъ Паллады, Робертъ, либо властвуютъ оптиматы ума и добродѣтели, не знающіе ни гордости, ни зависти, ни любостяжанія.

Такая точка зрѣнія предполагаетъ слабый интересъ къ унаслѣдованнымъ формамъ политическаго быта, къ преданіямъ свободы, хотя-бы въ формахъ олигархія, за которыя борются флорентійскіе пополаны и которыя воспѣваетъ народникъ Пуччи. Впослѣдствіи и Боккаччьо втянется въ теченія мѣстной политики; пока онъ ушелъ въ самого себя; его письмо къ Бартоло дель Буоно съ посвященіемъ Амето проникнуто жгучимъ чувствомъ одиночества: О ты мой единственный другъ, дѣйствительнѣйшій примѣръ настоящей дружбы», пишетъ онъ ему[2]). Онъ живетъ воспоминаніями и самоанализомъ, дописывая въ Филоколо исторію своей любви.

Во Флоренціи онъ вернулся уже съ значительной латинской эрудиціей, поэтомъ и разсказчикомъ; манера Филострато показываетъ на его будущее мастерство въ новеллѣ; Филоколо начатъ въ Неаполѣ, тамъ-же сложился, по живымъ слѣдамъ любви, и циклъ сонетовъ, внушенныхъ Фьямметтой. Дантовскія ремминисценціи встрѣчаются въ Діаниной охотѣ, указаны были въ

1) Filocolo, II, стр. 296 слѣд.
2) Corazzini, стр. 17.

Филострато: таковъ образъ цвѣтка, пораженнаго ночнымъ морозомъ и поднимающагося при лучахъ солнца [1]); цитата изъ Іереміи (въ посвятительномъ письмѣ), излюбленное Боккаччьо сравненіе съ огнемъ, быстро охватывающимъ жирные предметы [2]); иные выраженія и цѣлые стихи Данте повторены безъ измѣненія [3]). Рядомъ съ этимъ вліяніемъ — вліяніе Петрарки сказывается въ Филострато и въ пѣсняхъ къ Фьямметтѣ: тѣ-же мотивы, образы [4]), прямыя подражанія [5]), точно начинающій поэтъ учится у великаго мастера слова, состязаясь съ нимъ на одномъ и томъ-же сюжетѣ, и не всегда счастливъ въ его выборѣ. У Петрарки есть сонетъ XCVIII: ничто не утишитъ его любовнаго пламени, лишь близость Лауры, говоритъ онъ; это выражено образно: вмѣсто Лауры — рѣка Сорга и лавръ на ея берегу, символъ Лауры. Воды Сорги потушатъ его пламя; но образъ лавра примѣнился, и онъ также служитъ — утоленію жара. Но Петрарка не удовольствовался неудачной постановки параллелей, а и развилъ ихъ въ началѣ сонета: никакая рѣка (первое четверостишіе занято перечисленіемъ рѣкъ), никакое дерево — не въ состояніи утолить въ немъ огня любви! — Боккаччьо взялся именно за этотъ сонетъ, не отличающейся ни ясностью, ни вкусомъ, и, въ подражаніе ему, написалъ и свой, въ которомъ, выражая свое блаженство съ Фьямметтой, нагромоздилъ названія горъ: ему надо было сказать, что ни одна изъ нихъ не доставила своимъ пастырямъ такого счастія, какъ ему Мизенъ! [6]). — Иной разъ въ наивномъ подражаніи проскальзываетъ реалистъ Декамерона. Если я доживу до той поры, говоритъ Петрарка, обращаясь къ Лаурѣ, когда поблекнетъ пре-

1) Filostrato, II, 80=Inf. II, 127 слѣд.; сл. Teseide IX, 28.

2) Тамъ-же; сл. Ameto, стр. 16, Декамеронъ, вступленіе, стр. 7 перев.; Corbaccio, стр. 177—8 и письмо къ Кавальканти, у Corazzini, стр. 296. Сл. Inf. XIX, 28, 30.

3) Сл. VIII, 17=Purg. VI, terz. 40; VII, 94=Convito, tratt. IX.

4) Сл. сон. XXI = Petr. XLIX; сон. XXXVIII = Petr. madrigale III, сон. CXXIX; сон. XIV = Petr. XCII; сон. LXXIX = Petr. сон. III.

5) Сон. CX = Petr. LXX.

6) Сл. выше стр. 153.

красный блескъ твоихъ очей, посеребрятся твои волосы, ты оставишь вѣнки и цвѣтныя платья и потеряетъ краски твое лицо, что̀ заставляло меня страшиться и млѣть, Амуръ дастъ мнѣ настолько отваги, что я повѣдаю тебѣ о моихъ прежнихъ страданіяхъ, и твой поздній вздохъ будетъ мнѣ утѣшеніемъ въ печали. Подражаніе Боккаччьо переходитъ въ реторическій шаржъ, утѣшеніе вздоха — въ злорадство: у Фьямметты сморщится лицо, высохнетъ сокровище персей, голосъ станетъ хриплымъ — и онъ нарадуется и наглумится надъ бывшей красавицей, отъ которой отвернулся Амуръ [1]). Оригинальность Боккаччьо-лирика надо искать въ пьесахъ подобной-же реалистической окраски; у Петрарки не найти такой изящной и чувственно-шаловливой картинки какъ въ слѣдующемъ сонетѣ [2]): у источника, на лужку, среди зелени и цвѣтовъ, сидятъ три дѣвушки, болтая, быть можетъ, про свою любовь; зеленая вѣтка защищаетъ ихъ лицо, обрамляя золотистые волосы, а мягкій вѣтерокъ, кружась, смѣшиваетъ золото и зелень. Слышалъ я, одна сказала: Что если вдругъ придутъ сюда наши милые, не побѣжать-ли намъ съ испуга? А двѣ другія отвѣтили: Неразумна была-бы та, которая убѣжала-бы отъ такого счастья.

Отъ мотивовъ Петрарки въ лирикѣ Боккаччьо мы переходимъ къ осязательнымъ вѣяніямъ Данте въ его Филоколо. Но Филоколо дописанъ во Флоренціи; его старыя партіи могли быть пересмотрѣны на ново, какъ и лирическія пьесы подвергнуться новой переработкѣ. Не одинъ лишь Петрарка возвращался съ тактомъ художника къ своимъ стихотвореніямъ, къ стилю своихъ латинскихъ трактатовъ, чтобы дать имъ окончательную отдѣлку; такъ поступали и другіе, болѣе мелкіе поэты, отъ которыхъ не ожидать такого сознанія стиля. Болѣе ста разъ принимался я за «созданіе» этого сонета, пишетъ Биндо Боники († 1338) къ Сеннуччьо, и тоже говоритъ Антоніо Пуччи, поэтъ-народникъ,

1) Сон. LXXXII.
2) Сон. XII.

пѣвшій съ плеча: «сто разъ и болѣе поверчусь я на постели, прежде чѣмъ выжму изъ себя стихи, а за тѣмъ трижды напишу ихъ, потому что хочу ихъ исправить прежде, чѣмъ пустить въ народъ».

Такъ долженъ былъ работать и Боккаччьо, почему труднымъ представляется рѣшеніе вопроса: какой порѣ его дѣятельности принадлежатъ вѣянія Данте и Петрарки, обнаруживающіяся въ его первыхъ произведеніяхъ. Тѣ и другія онъ могъ испытать уже въ Неаполѣ. Политическія и торговыя связи съ Тосканой сопровождались здѣсь и вліяніемъ литературнымъ[1]): тосканскіе элементы входятъ въ составъ такихъ полународныхъ дидактическихъ стихотвореній XIV-го вѣка, каковы Regimen Sanitatis, книга Катона и поэма объ источникахъ Поццуоли; недавно изданное загробное видѣніе, въ народныхъ формахъ октавы, съ содержаніемъ Виргиліевской легенды и Божественной Комедіи и дантовской фразіологіей[2]), также относитъ насъ къ XIV-му вѣку; половинѣ того-же столѣтія принадлежатъ юношескія произведенія Бартоломея Капуанскаго, графа d'Altavilla, обличающія дантовскіе мотивы. Его жена Андреина Аччьяйоли, та самая, которой Боккаччьо посвятилъ впослѣдствіи свой трактатъ объ именитыхъ женщинахъ, посылаетъ поэтическіе опыты своего мужа во Флоренцію, къ своему брату Донато, съ просьбой исправить ихъ форму, ибо, говоритъ она, здѣсь нехорошо пишутъ на нашемъ языкѣ. Позже, за Гвильельмомъ Марамальдо, пріятелемъ Петрарки, являются во второй половинѣ вѣка поэты, пишущіе въ стилѣ Петрарки и тосканцевъ.

Это — признаніе литературнаго примата Тосканы; Боккаччьо выражаетъ его въ Филострато, въ первыхъ любовныхъ пѣсняхъ. Во Флоренціи это литературное преданіе обязало его, обступило крѣпче, и въ немъ необходимо произошелъ подборъ

1) Сл. выше стр. 29.

2) Una visione dell'Inferno di imitazione dantesca, publ. da A. Solerti. Bologna, Zanichelli, 1892.

въ уровень съ психическимъ настроеніемъ автора. Боккаччьо пока не въ силахъ забыть прошлое и старается сохранить его отъ нравственнаго крушенія, идеализуя. Въ этой идеализаціи ясно чувствуется вліяніе Данте.

Для Италіи Божественная Комедія была откровеніемъ, надъ которымъ задумывались, которое начинали толковать, изъ котораго черпали поэты разныхъ направленій: Антоніо изъ Феррары, Фаціо дельи Уберти, Ванноццо изъ Падуи, Савіоццо изъ Сіены, Доменико да Монтикьелло и др.; его аллегорія создала цѣлый литературный родъ, вызвала подражанія; благодаря ей терцина стала любимымъ итальянскимъ метромъ XIV—XV вѣковъ. Во Флоренціи этотъ культъ Данте получилъ мѣстный, домашній колоритъ, въ которомъ къ чествованію поэта примѣшивались идеи муниципальной гордости и сознаніе вины передъ гражданиномъ-изгнанникомъ. Теперь онъ сталъ славой Флоренціи, окружился народной легендой; Джьованни Виллани величаетъ его въ своей хроникѣ; такому реалисту, какъ Антоніо Пуччи, видится во снѣ семь свободныхъ искусствъ и богословіе, сѣтующія о смерти великаго поэта [1]); въ (недошедшемъ до насъ) письмѣ къ Петраркѣ Боккаччьо утверждалъ въ 1359 году, что Данте былъ ему, еще юношѣ, первымъ свѣточемъ и руководителемъ [2]); уже въ юношескихъ письмахъ Боккаччьо чувствуется подражаніе, иногда дословное, дантовскихъ посланій. Разумѣется, въ его показаніи надо удѣлить мѣсто и реторикѣ: говорилъ-же онъ по другому поводу [3]), что въ юности (ineunte juventute) больше всѣхъ другихъ почиталъ Петрарку. Но именно въ первые годы по возвращеніи изъ Неаполя, когда онъ переживалъ свою любовь къ Фьямметтѣ, и она одухотворялась въ его воспоминаніяхъ, дантовскія вѣянія могли пойти на встрѣчу его собственному настроенію: онѣ опредѣлили черты новаго, возникавшаго въ немъ

1) Centiloquio c. LV.
2) Сл. Petr. Fam. XXI, 15.
3) De Cas. VIII, c. l.

образа, въ которомъ яркія краски страсти смягчены болѣе строгимъ, сдержаннымъ колоритомъ старо-флорентійской школы; этому отвѣтилъ и *новый* (т. е. аллегорическій) стиль» Боккаччьо, о которомъ онъ заявляетъ въ двухъ первыхъ сонетахъ и первой главѣ Любовнаго Видѣнія — очевидно не въ томъ смыслѣ, въ какомъ въ Филоколо говорится о «новыхъ стихахъ». Небольшой пересказъ въ терцинахъ содержанія трехъ кантикъ Божественной Комедіи [1]), относящійся, вѣроятно, къ этой порѣ дѣятельности Боккаччьо, входитъ въ рядъ подобныхъ-же, болѣе древнихъ [2]); интересъ къ Данте обличаетъ здѣсь лишь выборъ, а не постановка темы. Иное значеніе получаетъ тотъ эпизодъ Любовнаго Видѣнія, гдѣ изъ сонма поэтовъ, окружающихъ Мудрость, выдѣленъ одинъ, котораго она вѣнчаетъ лавромъ. Увидѣвъ это торжество, Боккаччьо подходитъ ближе; онъ не узналъ вѣнчаннаго, но аллегорическая жена говоритъ ему: Это Данте Алигьери, флорентинецъ, писавшій вамъ превосходнымъ слогомъ о высшемъ благѣ и карахъ и великой смерти. Былъ онъ при жизни славой музъ, и здѣсь онѣ не чуждаются его общества [3]). Когда Боккаччьо услышалъ имя учителя, которому онъ обязанъ всѣмъ, что есть въ немъ хорошаго, онъ возблагодарилъ Господа, сподобившаго его увидѣть, прославленнымъ, того, кого желалъ; онъ не можетъ отвести глазъ отъ «властителя великаго знанія» и проклинаетъ Атропосъ, рано угашающую въ доблестныхъ людяхъ огонь, возженный Лахезисъ. «Да здравствуетъ твоя слава, о ты, знаменитая честь флорентійцевъ, неблагодарныхъ, не познавшихъ тебя при жизни! Блаженными могутъ почесть себя тѣ, кто знали тебя, и та, которая тебя понесла». — Что ты такъ смотришь на него, точно думаешь своимъ взглядомъ вернуть ему скошенныя смертью силы? говоритъ, обращаясь къ Боккаччьо, его руководительница, побуждая его итти далѣе; а онъ ей въ

1) Argumenti in terza rima alla Divina Commedia di Dante Alighieri.
2) Menghino Mezzani, Iacopo Alighieri, Bosone da Gubbio, Mino d'Arezzo.
3) Amorosa Visione V, 25—29.

отвѣтъ: «Ты не знаешь, почему мнѣ такъ пріятно лицезрѣніе того, на кого я смотрю; если бы знала, быть можетъ, не говорила бы столь гнѣвно» [1]).

Если мы вѣрно поняли душевное состояніе Боккаччьо въ первые годы его флорентійской жизни, обаяніе Данте станетъ намъ понятнымъ: онъ помогъ ему выйти изъ періода страстныхъ волненій и вмѣстѣ спасти для любви, что̀ въ этой страсти было человѣчнаго; мягкіе, примиряющіе тона Vita Nuova пали на преображеніе Фьямметты. Это чувствуется и въ послѣднихъ эпизодахъ Филоколо и въ Любовномъ Видѣніи. Далѣе и глубже этого вліянія онъ едва-ли когда пошелъ: человѣкъ другого темперамента и другой исторической среды, широко открытый впечатлѣніямъ величія, онъ болѣе благоговѣлъ передъ Данте, чѣмъ вживался въ него; его подражанія ниже его комментарія. Другая, гражданская сторона Данте, которую онъ такъ оттѣняетъ впослѣдствіи, могла привлекать его и въ эту пору: уже въ Любовномъ Видѣніи говорится о неблагодарныхъ флорентинцахъ, какъ въ прекрасномъ сонетѣ, неизвѣстно какого времени, который Боккаччьо могъ написать подъ портретомъ Данте, либо въ заголовкѣ какого-нибудь экземпляра Божественной Комедіи: «Я Данте Алигьери, таинственная Минерва мудрости (intelligenza) и искусства, въ духѣ котораго прирожденное изящество достигло высоты, считающейся чудомъ природы. — Моя высокая фантазія, находчивая и увѣренная, странствовала по областямъ тартара и неба, и я сдѣлалъ мой благородный трудъ достойнымъ свѣтскаго и духовнаго чтенія. — Славная Флоренція была матерью, скорѣе мачехой мнѣ, любящему сыну, по винѣ преступныхъ, негодныхъ языковъ. — Равенна была мнѣ пристанищемъ въ изгнаніи, тамъ мое тѣло, душа у Верховнаго Отца, передъ лицемъ котораго зависть не побѣждаетъ разумнаго рѣшенія» [2]).

1) VI, 1—11.
2) Сон. CVIII.

II.

Выше мы предположили, что дантовскія вліянія совпали у Боккачьо съ извѣстнымъ моментомъ его любви; онѣ важны для внутренней исторіи перваго произведенія, за окончаніе котораго онъ принялся во Флоренціи: его Филоколо. Мы уже знаемъ, что начатый въ Неаполѣ по желанію Фьямметты, онъ лишь впослѣдствіи разросся, параллельно съ сердечной біографіей Боккачьо, въ объемистый романъ. Едва-ли такой именно романъ отвѣчалъ цѣлямъ заказчицы: ея желаніе было, чтобы какой-нибудь поэтъ воспѣлъ въ стихахъ исторію Флоріо и Бьянчифьоре [1]); странно, что на первыхъ же страницахъ своего разсказа въ прозѣ [2]) Боккачьо проситъ прислушаться — къ «новымъ стихамъ»; новымъ въ томъ-же смыслѣ, въ какомъ онъ самъ называетъ себя [3]) «новымъ авторомъ», новичкомъ; Филострато еще не былъ написанъ, когда Боккачьо свидѣлся съ Фьямметтой въ монастырѣ св. Михаила; онъ еще штудировалъ каноническое право [4]). Можно предположить, что упоминаніе «стиховъ», повторенное и въ срединѣ, и въ заключеніи Филоколо [5]), если оно не равносильно поэтическому замыслу вообще (versi = carmen), осталось въ текстѣ, какъ слѣдъ дѣйствительно задуманнаго и даже набросаннаго въ прозѣ, но потомъ оставленнаго плана. Такъ явился, вмѣсто поэмы, въ которой мы встрѣтили бы, быть можетъ, манеру Филострато, большой романъ въ пяти книгахъ, загроможденный классическими декораціями и эпизодами личнаго характера, писавшійся исподоволь, съ видимыми признаками усталости. Была сдѣлана попытка отдѣлить приблизительно тѣ его части, которыя могли быть затѣяны въ Неаполѣ, отъ написанныхъ во Флоренціи. Въ

1) Filocolo, I, стр. 7.
2) I, 9.
3) l. c.
4) I, 8.
5) Filocolo, II, стр. 8 (memorevoli versi) 376—7.

Амето, котораго относятъ къ 1340—41 годамъ, Адіона говоритъ, при видѣ одной сосны, что она приняла бы ее за Идалага, еслибъ онъ обращенъ былъ въ сосну [1]). Такое именно превращеніе совершается съ нимъ въ Филоколо, и является поводъ предположить, что когда написана была приведенная выше фраза Амето, Боккаччьо уже задумалъ такъ именно завершить эпизодъ объ Идалагѣ, но еще не сдѣлалъ этого; съ этимъ вмѣстѣ и все слѣдующее за эпизодомъ пришлось бы считать за оконченное во Флоренціи. Но съ такимъ-же точно правомъ и въ тѣхъ-же цѣляхъ мы могли бы воспользоваться автобіографическимъ отрывкомъ о Филено, стоящимъ въ романѣ значительно ранѣе Идалага: сѣтующаго Филено безъименный странникъ изъ Неаполя утѣшаетъ разсказомъ о своемъ собственномъ любовномъ горѣ; мѣсто дѣйствія—Чертальдо, куда Боккаччьо явился, покинувъ Неаполь. Мы не отнесемъ всего того, что слѣдуетъ далѣе въ романѣ, на счетъ Флоренціи: эпизоды личнаго, аллегорическаго характера могли быть писаны не въ связи общаго разсказа, а вноситься въ него впослѣдствіи, и все написанное подвергнуться новому пересмотру и обработкѣ. Въ этомъ смыслѣ дантовскія вліянія и являются хронологическимъ моментомъ: первыя страницы Филоколо не производятъ впечатлѣнія жгучей, юношеской страстности, непосредственности Филострато; тонъ взятъ дантовскій, платоническій: Амуръ такъ жалостно смотритъ на поэта изъ очей его милой [2]), она его — блаженство [3]).

Введеніе въ первую книгу Филоколо стоитъ еще внѣ дѣйствія романа. Юнона (аллегорія церкви, невѣсты Христовой) преслѣдуетъ своею ненавистью родъ Енея, римлянъ; слышитъ, что въ крайнемъ углу Авзоніи еще остались потомки неблагодарнаго отродья, пытаясь процвѣсть и кичась знаменіемъ орла, любимаго Юпитеромъ (Гогенштауфены). Явившись къ

1) Ameto, стр. 90.
2) Filocolo I, 5.
3) Ib. 6.

своему намѣстнику (папѣ), она побуждаетъ его вызвать изъ странъ между западомъ и Бореемъ (Франціи) доблестнаго юношу, потомка того, кто когда-то освободилъ предшественниковъ папы отъ лангобордскаго ига (Карла Анжу̀), и какъ у Виргилія она спускается въ царство Плутона, чтобы возбудить Алекто, такъ и здѣсь. — Такимъ образомъ мотивируется появленіе на сцену Карла Анжу̀, его сына и внука, короля Роберта, что̀ даетъ поводъ разсказать о его связи съ матерью Маріи-Фьямметты, о первомъ свиданіи съ нею Боккаччьо въ церкви Санъ-Лоренцо и другомъ, въ монастырѣ св. Михаила, когда она попросила его воспѣть любовь Флоріо и Бьянчифьоре. — Введеніе кончается обращеніемъ къ любящимъ: примѣръ Флоріо и Бьянчифьоре долженъ ихъ успокоить; не они первые испытали превратности судьбы; товарищество по несчастію доставляетъ, какъ говорятъ, утѣшеніе [1]), надежда облегчаетъ горе.

Начало разсказа поставлено на широкой эпической базѣ, переростающей его скромное, сравнительно, содержаніе: говорится о древней враждѣ Юпитера (бога) и Плутона (дьявола), изгнаннаго съ его клевретами въ мрачное царство Дита; вмѣсто нихъ созданы люди; единородный сынъ (Юпитеръ) посланъ на землю совершить тайну искупленія; изображается, въ духѣ той-же классической травестіи, распространеніе христіанства на западѣ: одинъ изъ вельможныхъ воителей Сына посланъ на далекій западъ, гдѣ безстрашно принялъ ударъ Атропосъ, и его останки покоятся въ великолѣпномъ храмѣ (св. Іаковъ въ St. Yago de Campostella). Римъ можетъ возликовать: когда то увѣнчанный лавровымъ вѣнкомъ побѣды, онъ украсится теперь другимъ, вѣчнымъ.

Римъ и св. Іаковъ уже вводятъ насъ въ содержаніе романа, которое мы передадимъ въ краткихъ чертахъ, минуя знакомые намъ вставные эпизоды автобіографическаго характера.

Въ Римѣ живетъ благородный юноша, потомокъ перваго

1) Сл. Fiammetta, стр. 181—2.

завоевателя Карѳагена, Квинтъ Лелій Африканъ; онъ женатъ на Юліи Топазіи, но послѣ пятилѣтняго брака у нихъ нѣтъ дѣтей. Услышавъ о чудесахъ того «бога, что пребываетъ на далекихъ гесперійскихъ берегахъ» (св. Іакова), онъ молится о ниспосланіи ему потомства, обѣщая совершить паломничество къ далекому храму святого. Святой является ему во снѣ и говоритъ, что Господь услышалъ его молитву: его жена забеременѣла. Когда мужъ сбирается въ обѣщанный путь, она упрашиваетъ его со слезами взять ее съ собою: она будетъ ему тѣмъ-же, чѣмъ Ипсикратея Митридату—и мужъ соглашается: ему также припомнился Тиверій Гракхъ и Корнелія.

На слѣдующее утро, помолившись въ храмѣ, они отправляются въ путь съ большой свитой. Печальному владыкѣ, чьи владѣнія обтекаетъ Ахеронтъ, непріятны эти подвиги христіанскаго благочестія; онъ хочетъ запугать путниковъ и держитъ съ этой цѣлью рѣчь къ своимъ. Принявъ образъ рыцаря, правившаго городомъ Марморины (Вероной) отъ имени короля Феличе, потомка Аталанта и властителя Гесперіи, онъ спѣшитъ на своемъ конѣ (онъ такъ худъ, что можно было-бы пересчитать его кости), къ королю, котораго застаетъ на охотѣ, и разсказываетъ ему, будто римляне ночью напали врасплохъ на Марморину, сожгли ее, а жителей перебили; враги недалеко. Кончивъ этотъ разсказъ, мнимый рыцарь упалъ бездыханный.

Король встревоженъ, собираетъ войско, и принеся жертву Марсу, выступаетъ по дорогѣ къ Марморинѣ. Расположившись на высокой горѣ, онъ видитъ рано утромъ Лелія и его спутниковъ, поднимавшихся изъ полной тумана долины; принявъ ихъ за непріятельскій отрядъ, онъ держитъ рѣчь къ своимъ, ободряя ихъ къ нападенію. Юлія первая увидѣла враговъ и предупреждаетъ о томъ мужа; но бѣгство невозможно; если это разбойники, надо предоставить имъ безъ боя всѣ свои драгоцѣнности; если они имѣютъ въ виду отнять у нихъ жизнь—молить о пощадѣ, и, въ случаѣ нужды, защищаться. Въ этомъ смыслѣ Квинтъ Лелій держитъ рѣчь къ своимъ, ободряя ихъ примѣрами древней

доблести; пусть вспомнятъ, что ихъ враги — противники ихъ закона, а имъ придется защищать «законъ Юпитерова сына» (Христа); коли они падутъ, имъ простится многое, души ихъ сподобятся вѣчной жизни, ихъ прахъ — поклоненія. Готовясь къ отпору, Квинтъ Лелій дѣлитъ свой отрядъ на три части, поручая ихъ тремъ вождямъ; имена имъ даны классическія; одинъ изъ нихъ Остацій, извѣстный поэтъ, по прозванію Артифилъ, доблестный и могущественный.—Юлія плачетъ, умоляетъ мужа не оказывать сопротивленія, либо бѣжать. Куда дѣвался твой мужественный духъ? спрашиваетъ онъ ее: ты обѣщала мнѣ быть выносливой въ войнѣ и трудахъ, какъ жена Митридата, но ты не походишь на твоего предка Цесаря, а царство божіе достается лишь въ награду мужественному подвигу. Но Юлія желала бы, чтобы первый ударъ, обращенный на мужа, палъ на нее, какъ Тисбе и въ смерти не хотѣла разстаться съ своимъ Пирамомъ. Ее, упавшую въ обморокъ, относятъ на ближній лужокъ; по приказанію Лелія «святой мужъ» приноситъ жертву Юпитеру; всѣ молятся, Лелій проситъ знаменія; свѣтлое облачко является надъ ними, его блескъ слѣпитъ глаза; изъ него слышенъ голосъ, ободряющій къ битвѣ: Я отмщу за вашу смерть; кровь праведника искупаетъ народъ; сегодня вы будете въ храмѣ того, къ кому направляетесь, и я уготовлю вамъ побѣдные вѣнцы. — Слѣдующая за тѣмъ битва описана подробно: три отряда римлянъ вводятся въ бой одинъ за другимъ, происходитъ рядъ поединковъ; «великая тьма золъ рождалась тамъ, удары и стоны, точно разверзлось облако, когда Юпитеръ мечетъ свои молніи» [1]); Артифилъ бьется, стоя на убитомъ конѣ, кругомъ него, въ высоту коня, груды непріятелей, сраженныхъ его сѣкирой; отъ звука трубъ содрагаются пустынныя поля, кони поднимаютъ такую пыль, какую въ степи взвѣваетъ ѳракійскій вѣтеръ; стрѣлы и копья застилаютъ свѣтъ, и въ общей давкѣ убитымъ негдѣ упасть, они стоятъ. — Всѣ христіане перебиты; Юлія очнулась,

1) I, 47.

когда все было кончено, вопль ея подругъ, голоса грабителей говорятъ ей о несчастіи, ея постигшемъ; она плачетъ, рветъ волосы и одежду, омываетъ слезами лицо Лелія, котораго по оружію признала въ числѣ убитыхъ; она ищетъ смерти. Солнце уже зашло, а ея сѣтованія доносятся до короля, расположившагося станомъ на мѣстѣ битвы; онъ посылаетъ своего рыцаря Аскальоне, живавшаго въ Римѣ, узнать, въ чемъ дѣло. Увидѣвъ Юлію, Аскальоне самъ умиляется и плачетъ; Юлія проситъ у него смерти, онъ утѣшаетъ ее, приглашаетъ пойти къ королю, ручаясь за то, что честь ея и ея спутницъ будетъ сохранена. Хотя и сильно опечаленная, она сдается на просьбы, ибо не забыла драгоцѣнныхъ правилъ вѣжливости [1]) и не можетъ показаться неучтивой; она бросается на колѣни передъ королемъ, но онъ не допускаетъ того и узнаéтъ, что поразилъ не враговъ, а паломниковъ, еще видѣвшихъ проѣздомъ Марморину цвѣтущей и населенной. Это откровеніе его поразило; судьбы не избѣжать, говоритъ онъ; ему самому пристало горевать, но онъ не можетъ отдаться горю, ибо обязанъ выраженіемъ лица успокоить своихъ подданныхъ. Онъ предлагаетъ Юліи послѣдовать за нимъ: будетъ держать ее въ чести, выдастъ замужъ, если-же она желаетъ соблюсти свою чистоту, станетъ беречь ее и съ почетомъ вернетъ домой, когда она разрѣшится отъ бремени. Юлія, все еще плача, разсудила разумно, что ей лучше согласиться, хотя видимо она и высказывала нежеланіе [2]). Велѣвъ предать сожженію тѣло Лелія и другихъ, предоставивъ иныя на пожраніе звѣрямъ, всѣ отправляются въ Севилью, гдѣ король поручаетъ Юлію попеченію и любви своей супруги, а оттуда черезъ нѣсколько дней ѣдетъ въ Марморину, гдѣ ему стало ясно, въ какой онъ былъ введенъ обманъ. Королева, также беременная, замѣтила состояніе Юліи, которую полюбила, и утѣшаетъ ее въ печали; и та нѣсколько подбодрилась, начинаетъ заниматься рукодѣльемъ, выводя на тканяхъ такія фигуры, что онѣ затемнили бы собой узоры Арахны.

1) I, 60.
2) I, 63.

Небольшой эпизодъ прерываетъ здѣсь связь разсказа: Плутонъ снова затѣялъ смуту, принялъ образъ Глориціи, приближенной Юліи, и въ этомъ видѣ является въ Римъ, гдѣ пугаетъ родственниковъ Юліи и Лелія разсказами о томъ, что они убиты, и она одна спаслась отъ побоища. Сказавъ это, она падаетъ мертвой.

Въ маѣ мѣсяцѣ королева и Юлія разрѣшились въ одинъ и тотъ-же день отъ бремени: та мальчикомъ, эта дѣвочкой. Юлія умираетъ тотчасъ послѣ родовъ, поручивъ свою дочку Глориціи. Ея смерть оплакана всѣми, королева говоритъ, что дѣвочка будетъ ей на мѣсто дочери, подругой ея сына; впослѣдствіи она часто вспоминала эти пророческія слова. Послѣ торжественныхъ похоронъ Юліи, на гробницѣ которой начертали, что она происходитъ отъ Юлія Цезаря, король, прійдя къ королевѣ, велитъ показать себѣ обоихъ малютокъ, беретъ ихъ на руки, любуется ихъ красотой и даетъ имъ имена, въ соотвѣтствіи съ днемъ ихъ рожденія, когда каждый цвѣтокъ проявляетъ свою красу: одному Флоріо, другой Бьянчифьоре. Они одѣты по царски, растутъ и воспитываются вмѣстѣ; ихъ воспитаніе поручено Аскальоне, Рахео учитъ ихъ читать псалтирь и «книгу Овидія, гдѣ великій поэтъ показываетъ, какъ тщательно слѣдуетъ возжигать въ холодныхъ сердцахъ святое пламя Венеры» [1]). — Дѣти учатся «любовнымъ стихамъ», и Венерѣ любо упоминаніе ея имени; спустившись на Киѳеру (monte Citereo), она побуждаетъ своего сына, который закалялъ въ то время новыя стрѣлы въ священныхъ водахъ: пусть отправится въ Марморину и, явившись къ молодымъ людямъ въ образѣ короля Феличе, вложитъ въ ихъ чистыя сердца свое тайное пламя. Амуръ такъ и дѣлаетъ: поцѣловалъ Флоріо, дохнулъ на Бьянчифьоре, и они исполнились новаго желанія, глядя другъ на друга молчаливо и съ удивленіемъ.—Съ другой стороны и Венера посѣтила короля пророческимъ сномъ, въ которомъ ему представилась вся

1) I, 76.

судьба Флоріо и Бьянчифьоре въ аллегорическихъ образахъ звѣрей: онъ львенокъ, она лань; свѣтлый духъ, явившись съ неба, вскрываетъ грудь перваго и питаетъ лань его сердцемъ, и наоборотъ. Дантовскій образъ, которымъ Боккачьо воспользуется и далѣе.

Амуръ покинулъ молодыхъ людей, Флоріо закрылъ книгу и говоритъ Бьянчифьоре: Откуда внезапно объявилась въ тебѣ такая красота? Ты прежде мнѣ такъ не нравилась, теперь же я не могу наглядѣться на тебя? — Не знаю, отвѣчаетъ Бьянчифьоре, одно только могу сказать тебѣ, что и со мной произошло подобное; можетъ быть, священные стихи, которые мы благоговѣйно читаемъ, возжгли въ насъ новое пламя, какъ то бывало съ другими. — Я думаю, что такъ и есть, какъ ты говоришь, потому что одна ты нравишься мнѣ болѣе всего на свѣтѣ. — Да и ты нравишься мнѣ не менѣе. — Такъ они бесѣдовали, а книги были закрыты; въ это время вошелъ Рахео, бранитъ ихъ за нерадѣніе; они покраснѣли, какъ двѣ алыхъ розы, раскрыли книги, но продолжаютъ изъ-подтишка любоваться другъ другомъ и запинаются, сказывая стихи, которые прежде давались имъ легко.— Рахео замѣтилъ это, нѣсколько разъ подглядѣлъ украдкой, какъ они невинно цѣловались, говоритъ объ этомъ Аскальоне; не желая взять на себя отвѣтственности, они разсказываютъ о томъ королю: дѣти совсѣмъ отбились отъ занятій, одинъ ничего не дѣлаетъ, не спросясь другого. Король огорченъ, но отвѣчаетъ, притворно смѣясь: пусть наставники ихъ попугаютъ; если же это не поможетъ, онъ самъ приметъ мѣры. Когда ушли наставники, онъ сидитъ, задумавшись, опустивъ лицо на руку; въ этомъ положеніи застаетъ его королева, которой онъ открываетъ, какой ударъ готовитъ имъ Фортуна: Флоріо влюбился въ дѣвушку простаго званія; другое дѣло, еслибъ Бьянчифьоре была царскаго рода, а теперь онъ такъ огорченъ, что почелъ бы за счастье, если бы боги отняли у него сына въ дѣтствѣ, какъ то сдѣлали съ Ганимедомъ; онъ не пролилъ бы надъ нимъ слезъ, какъ не пролили надъ своими сыновьями ни Ксенофонтъ, ни Анаксагоръ,

теперь-же печаль довела его почти до смерти. — Королева успокоиваетъ его: любовь въ самомъ началѣ, не успѣла развиться, и ее легко прервать, — и она совѣтуетъ послать Флоріо, какъ-бы для окончанія образованія, въ сосѣдній Монторіо, гдѣ властвовалъ ихъ родственникъ, герцогъ Ферамонте. — Королю понравился совѣтъ королевы; но ихъ разсчеты напрасны: Венера была на вершинѣ своего эпицикла и любовью росило даже небо Сатурна, когда родились Флоріо и Бьянчифьоре; можно разлучить ихъ тѣла, не души; препятствіе лишь усиливаетъ желаніе, внушая невиннымъ любящимъ незнакомыя имъ мысли; пока они пылаютъ другъ къ другу тайно, ограничиваясь обоюднымъ лицезрѣніемъ, которое пріѣлось бы имъ, какъ все, что имѣется въ избыткѣ [1]).

На другое утро отецъ объявилъ сыну о своемъ желаніи, чтобы онъ поѣхалъ въ Монторіо изучать «священныя начала Пиѳагора», предаться «священнымъ» наукамъ, которыя наиболѣе украшаютъ правителей. Смущенный Флоріо отговаривается: его удаленіе будетъ причиной невольныхъ тревогъ, онъ предпочелъ бы, еслибъ отецъ вызвалъ учителей сюда. Король понимаетъ настоящую причину отговоровъ и начинаетъ убѣждать сына, что тревожиться будетъ нечего, до Монторіо недалеко, а молодымъ людямъ пристало знакомиться съ обычаями разныхъ народовъ; вѣдь странствовали и Андрогей и Язонъ. — Флоріо поѣхалъ бы и дальше ихъ, если бы разсчитывалъ найти то, чего болѣе всего желаетъ и что любитъ, но его дорогая Бьянчифьоре здѣсь, ея лицо, сіяющее, какъ утренняя звѣзда — вотъ цѣль его занятій, безъ нея онъ никуда не поѣдетъ, а съ нею пусть пошлютъ его, куда угодно; онъ счастливъ, что обрѣлъ свое блаженство дома, не ища его вдалекѣ, какъ Персей и Парисъ. — Флоріо умолкъ, а отецъ принимается гнѣвно упрекать его за то, что онъ позволилъ себѣ такъ отдаться страсти, къ тому-же — къ рабѣ, выросшей въ ихъ домѣ; еслибъ онъ не былъ увѣренъ, что сынъ отстанетъ

1) I, стр. 89: цитата, которую слѣдуетъ присоединить къ собраннымъ выше, стр. 134, прим. 3.

отъ любви, онъ убилъ бы его тотчасъ-же, но такъ какъ онъ желаетъ, чтобы Флоріо продолжалъ свои занятія, онъ убѣждаетъ его ѣхать, обѣщая послать къ нему Бьянчифьоре, лишь только поправится здоровье королевы, которой необходимъ ея уходъ.— Флоріо говоритъ о могуществѣ любви, которой не противостояли ни боги, ни герои, выражаетъ подозрѣнія, что Бьянчифьоре именитаго рода; если бы этого и не было, то вѣдь истое благородство въ добродѣтели, а Бьянчифьоре зажгла въ немъ такое пламя, что если бы онъ былъ и самаго низменнаго происхожденія, преобразился бы внезапно въ благороднаго.—Все это общія мѣста любовной теоріи, знакомые намъ изъ Филострато; страннымъ шаржемъ поражаетъ описаніе доблестей Бьянчифьоре: въ ней соединились куманская Сивилла, Венера и Пенелопа; среди бѣдствій у нея твердость Катона, ея рѣчь не уступаетъ краснорѣчію древняго Цицерона!

Флоріо сдался, не подозрѣвая коварства отца; поняла его Бьянчифьоре, подслушавшая этотъ разговоръ, и тихо плачетъ, подбирая классическія параллели къ своему горю. Какъ позволилъ себя обмануть Флоріо? Ему слѣдовало молить отца, дать себя истязать, уступить лишь силѣ; онъ возложилъ руки на себя, потому что самъ же говорилъ ей, что его душа и жизнь — съ нею; онъ удалится лишь тѣломъ, а она, бѣдная, останется, слѣдуя мыслью за нимъ, и предпочла бы обратиться въ книгу, что̀ будетъ у него передъ глазами, чѣмъ пребывать здѣсь въ своемъ образѣ. Но боги и Фортуна по праву враждебны намъ, продолжаетъ Бьянчифьоре, впадая въ тонъ изощренной опытомъ женщины: у насъ было достаточно времени и возможности вкусить конечныя утѣхи любви, а мы и не попытались; если бы это случилось, насъ связали бы болѣе крѣпкія узы, и насъ трудно было-бы разлучить, либо онѣ ослабѣли бы совсѣмъ, или отчасти, и твой отъѣздъ былъ бы мнѣ менѣе горестенъ. Вотъ это и заставляетъ меня печалиться, хотя съ другой стороны я и довольна, что мы сохранили цѣломудріе, ибо другія отношенія не совсѣмъ пристали нашему возрасту. — Она надѣется,

что боги сохранили ихъ для лучшей доли, тѣмъ не менѣе завидуетъ судьбѣ Аретузы, Гекубы (обращенной въ собаку), Мелеагра, и кончаетъ увѣренно: Я буду рада, если меня пошлютъ къ нему; коли не пошлютъ, я явлюсь сама.

Между тѣмъ Флоріо негодуетъ на себя, что далъ согласіе отцу: Вѣдь не убилъ-же бы онъ меня, можетъ-быть изгналъ бы, а я увезъ бы съ собою Бьянчифьоре. Если онъ не пошлетъ ее ко мнѣ, у меня будетъ законная причина явиться самому, и впредь изъ меня уже не выжмутъ такого: да. — Онъ идетъ къ Бьянчифьоре, которую застаетъ въ слезахъ; она осыпаетъ его упреками. Первый касается — не любви, а почета, котораго онъ лишитъ ее, удалившись: ради него, считавшагося ея братомъ, ея чествовали, теперь на нее накинутся всѣ ея завистники. Это ей подѣломъ: ей надо было подумать о своемъ низменномъ происхожденіи, прежде, чѣмъ полюбить; она наложила бы на себя руки, какъ Дидона, если бы не увѣренность, что всякая доблестная любовь возжигаетъ таковую же и въ любимомъ предметѣ (Данте), лишь бы объявилось ея пламя и не было опасенія — поразить въ самой себѣ ту малую часть любви, которую онъ къ ней питаетъ.—Такъ говорила, среди слезъ и поцѣлуевъ, Бьянчифьоре; самъ Флоріо расплакался, утѣшая ее: Ты сѣтуешь о меньшей долѣ нашего горя, говоритъ онъ, унижаешь себя безъ нужды, когда причина почета, которымъ тебя окружали, въ самой тебѣ. Онъ снова восхваляетъ ее, поминая Аполлона, Венеру и Амфіона; ты была-бы достойной супругой императора — и Юпитера, если бы мыслима была смерть Юноны. Я полюбилъ тебя за твои достоинства; вели, и я не пойду; если отецъ не отпуститъ меня къ тебѣ, я тотчасъ же вернусь; безъ тебя я не могу существовать; но не думай, чтобы моя любовь была такая же похотливая, какъ любовь Язона и другихъ. — Оба влюбленныхъ плачутъ, глядя другъ на друга, иногда утирая слезы нѣжнымъ пальчикомъ, либо полой платья.

Разсказъ внезапно переходитъ (не вслѣдствіе-ли порчи текста?) къ битвѣ между Сципіономъ Африканскимъ и карѳа-

генскимъ тираномъ Аннибаломъ; сраженный Сципіономъ Алхимедъ даетъ ему, въ уваженіе къ его доблести, чудесный перстень: тотъ, кому онъ его подаритъ, усмотритъ изъ измѣнившагося цвѣта камня, что съ его бывшимъ владѣльцемъ произошло нѣчто непріятное. Съ теченіемъ времени этотъ перстень перешелъ по наслѣдству къ Лелію, отцу Бьянчифьоре. Лишь въ концѣ эпизода мы узнаемъ, для чего онъ былъ нуженъ: Бьянчифьоре даетъ перстень Флоріо; если онъ потускнѣетъ, это будетъ означать, что она въ опасности; пусть ѣдетъ въ Монторіо, чтобы сдержать данное слово, пусть развлекается, но обуздаетъ глаза, «когда увидитъ красивыхъ дѣвушекъ, бродящихъ босикомъ въ прозрачной водѣ, увѣнчанныхъ дарами Цереры и поющихъ любовныя пѣсни, потому что многихъ юношей эти пѣсни плѣняли». — Боккаччьо почему то приглянулся этотъ образъ дѣвушекъ, бродящихъ въ водѣ; онъ возвращается къ нему въ Амето, Фьямметтѣ, Декамеронѣ [1]). Если Флоріо соблазнится, продолжаетъ красавица, я приду въ ярость, собственными руками растерзаю, исцарапаю соперницу, вырву ей волосы, откушу носъ и сама убью себя. Но я полагаюсь на тебя; твое имя одно запечатлѣно въ моей памяти, всѣ мои боги — въ тебѣ, къ тебѣ я стану возсылать мои мольбы. — Она бросается, плача, на шею къ Флоріо; ихъ сердца, полные страха смерти, призвали къ себѣ робкія душевныя силы, каждая жилка послала туда свою кровь, чтобы согрѣть ихъ, и, лишенные ея, члены тѣла обезсилѣли и похолодѣли. Флоріо и Бьянчифьоре падаютъ замертво; очнувшись первымъ, Флоріо сѣтуетъ надъ своей милой, которую считаетъ мертвой, жалуется на боговъ, на отца: Пусть ты вѣчно будешь печаленъ по моей смерти, боги да продлятъ тебѣ жизнь въ долгой нищетѣ, а мы, какъ здѣсь любили другъ друга, такъ будемъ любить и тамъ, среди невѣдомыхъ тѣней. — Онъ хочетъ убить себя, но Бьянчифьоре обнаружила признаки жизни. Оба предаются горю, Флоріо обмѣнивается клятвами съ «властительницей его

1) Ameto, стр. 11; Fiammetta стр. 107; Decam. VI, въ концѣ = пер. II, 39.

души». Ночь прошла для нихъ слишкомъ быстро; на другой день, простясь съ отцемъ и матерью, Флоріо поцѣловалъ при нихъ свою Бьянчифьоре: Съ тобой остается моя душа, кто станетъ чествовать тебя, учествуетъ и меня. Онъ съ трудомъ удерживаетъ слезы и чуть слышно произнесъ: Да сохранитъ васъ Господь! Бьянчифьоре провожаетъ его до послѣднихъ ступеней лѣстницы; она не говоритъ ни слова; когда онъ уѣхалъ, взбирается на самую высокую часть дома и смотритъ вслѣдъ, пока было видно. Вернувшись въ свою комнату, она предается слезамъ, и Глорицiя, сама разстроенная, ободряетъ ее: Развеселись, слезы испортятъ твою красу, и ты перестанешь нравиться Флоріо; если онъ узнаетъ о твоей печали, онъ наложитъ на себя руки; успокойся же ради него.

Вся сцена разставанья напоминаетъ четвертую пѣснь Филострато; Пандаръ [1]) говоритъ то-же, что Глорицiя, та-же сцена обморока [2]).

По дорогѣ спутники Флоріо забавляются охотой, но ему грезится его милая, и онъ сердится, когда его развлекаютъ. Герцогъ Монторіо выѣзжаетъ къ нему на встрѣчу съ блестящей свитой; Флоріо старается казаться веселымъ; его чествуютъ во дворцѣ: въ городѣ празднества длятся нѣсколько дней. — Съ Флоріо поѣхалъ и Аскальоне.

Между тѣмъ Бьянчифьоре каждый день ходитъ на вышку, чтобы поглядѣть въ сторону Флоріо: тамъ ея желаніе и благо. Она рада вѣтерку, приносящемуся оттуда: онъ ласкалъ моего Флоріо; посѣщаетъ въ домѣ всѣ мѣста, гдѣ видѣла Флоріо, храмы и алтари; ничего не дѣлаетъ, не помянувъ милаго; онъ видится ей во снѣ, она молится за него, отстала отъ ряженья и веселья. Такъ сѣтовалъ Боккаччьо по отъѣздѣ Фьямметты [3]); Троилу все напоминаетъ объ удалившейся Гризеидѣ [4]). — Флоріо

1) Ст. 107.
2) Ст. 117 слѣд.
3) Filostrato, введеніе.
4) l. c. V, ст. 51 слѣд.; VI, 4, VII, 63; сонетъ XV.

переживаетъ то-же: съ того дня, какъ онъ впервые воспылалъ къ Бьянчифьоре, онъ не цѣловалъ ее и теперь кается; въ будущемъ онъ не будетъ такъ воздерженъ. Онъ живетъ надеждой; пока стояла зима, его любовный пылъ нѣсколько сдерживался, но когда Фебъ сталъ приближаться къ Созвѣздію Овна и земля одѣлась зеленью и цвѣтами, разцвѣла и любовь, явилась и новая, дотолѣ не знакомая печаль: теперь въ Марморинѣ праздникъ, моя Бьянчифьоре любуется на гарцующихъ юношей, можетъ быть, увлечется кѣмъ-нибудь? Вѣдь женщины непостоянны; вонъ та дѣвушка не знаетъ меня, а засмотрѣлась; такъ можетъ засмотрѣться на другого и Бьянчифьоре. Если Елена и Клитемнестра пали, то виною тому удаленіе ихъ мужей; я удаленъ по злостному желанію отца, котораго да погубятъ боги. — Онъ понялъ, что его обманули, не находитъ покоя ни днемъ, ни ночью, пересталъ заниматься, такъ измѣнился въ лицѣ, что всѣ дивятся; всякій день смотритъ онъ съ вышки дома на сосѣднюю Марморину, а порой ночью пробирается туда тайкомъ, не боясь ни разбойниковъ, ни звѣрей, и осыпаетъ поцѣлуями двери отцовскаго дворца, не смѣя постучаться. Нѣсколько разъ писалъ онъ отцу, что не въ состояніи заниматься по случаю жаркой погоды, и просилъ позволенія вернуться. Король уже провѣдалъ, что дѣлается съ сыномъ; сильно огорченный этимъ, онъ держитъ совѣтъ съ женой; та коритъ его за то, что онъ пощадилъ жизнь римской паломницы, матери Бьянчифьоре; ясно, что сынъ никогда не забудетъ своей милой, если не устранить ее — убійствомъ, но такъ, чтобы хула пала не на нихъ. И она даетъ совѣтъ, какъ это сдѣлать: орудіемъ будетъ ихъ сенешаль Массамутино, озлобленный на Бьянчифьоре за то, что она отвергла его любовь. Въ разговорѣ съ сенешалемъ, король выражаетъ идею, что жизнь слѣдуетъ вести согласно съ правилами добродѣтели, но что дозволены и преступныя дѣянія, если тѣмъ можетъ быть устранена бо̀льшая опасность. Онъ говоритъ о своихъ опасеніяхъ, какъ бы Флоріо не женился на дѣвушкѣ, которую самъ онъ любилъ и любитъ, но которая не ровня его сыну, и

излагаетъ планъ, затѣянный королевой: вскорѣ настанетъ день его рожденья, на праздникъ соберутся всѣ великіе бароны его царства; когда онъ будетъ съ ними за столомъ, сенешаль долженъ устроить такъ, чтобы Бьянчифьоре поднесла имъ жаренаго павлина, насыщеннаго ядовитымъ зельемъ; король броситъ кусочекъ собакѣ, которая, съѣвъ его, околѣетъ; это возбудитъ подозрѣніе, что Бьянчифьоре намѣревалась отравить короля за то, что не послалъ ее въ Монторіо, и ее осудятъ на смерть.

Въ слѣдующемъ эпизодѣ празднества Боккаччьо былъ на своей почвѣ: подробно описанъ пиршественный покой, съ мраморными изваяніями сюжетовъ изъ Ѳиванской и Троянской легендъ, дѣяній Александра Великаго и Фарсалій; столъ короля выше другихъ, съ нимъ шесть именитѣйшихъ бароновъ, по трое съ той и другой стороны. Для сцены съ павлиномъ Боккаччьо воспользовався одной подробностью рыцарскаго быта, проникшею и въ романы: въ извѣстные торжественные дни выносили къ столу павлина, благородную птицу, и столующіе клялись надъ нимъ поочередно совершить что-нибудь особое, какой-нибудь подвигъ храбрости.

Королева велѣла Бьянчифьоре пріодѣться; она дѣлаетъ это неохотно, ибо ея Флоріо нѣтъ. Когда сенешаль пришелъ къ королевѣ, сидѣвшей въ обществѣ, и попросилъ у нея позволенія, чтобы Бьянчифьоре явилась въ качествѣ носительницы павлина, та, зная, въ чемъ дѣло, не отвѣчаетъ тотчасъ-же, пока жестокое намѣреніе не побѣдило въ ней чувства жалости.— Бьянчифьоре вступила въ залу, сіяя красотой, которая все освѣтила, зардѣвшись тѣмъ цвѣтомъ, который, по удаленіи зари, великое свѣтило разливаетъ по небу. Она предлагаетъ королю «священную птицу Юноны»; король веселъ, ибо его планъ видимо удается, и онъ клянется Юпитеромъ и богами и своими предкомъ Атлантомъ, что прежде, чѣмъ завершится годъ, онъ выдастъ Бьянчифьоре за именитѣйшаго изъ своихъ бароновъ. Онъ не зналъ, что̀ готовитъ ему судьба, а Бьянчифьоре считаетъ его слова предзнаменованіемъ себѣ: она помышляетъ о Флоріо. За королемъ клянутся и

другіе; одинъ изъ нихъ, Масселино, сынъ короля Гранады, обѣщаетъ поднести Бьянчифьоре, на ея брачный пиръ, десять пальмовыхъ отраслей, покрытыхъ листьями и финиками, отъ тѣхъ пальмъ, что водятся въ его странѣ, и у каждаго корешка которыхъ находится по золотому. Обойдя всѣхъ, Бьянчифьоре поставила павлина передъ королемъ; его молодой родственникъ, Сальпадино, разнимаетъ его, бросилъ на землю какую-то оконечность, которую подхватила любимая собака короля; лишь только она съѣла ее, какъ распухла и околѣла. Въ залѣ поднялся ропотъ; король спрашиваетъ: Что это такое? Повторили опытъ на другой собакѣ; когда и съ той случилось то-же, король велитъ схватить Бьянчифьоре, сенешаля и Сальпадино и посадить порознь. Какъ дозволилъ ты это, Юпитеръ? Но вѣдь ты попустилъ и пиръ Тантала, и Терей сталъ по твоей волѣ гробницей своего единственнаго сына! Можетъ быть, ты испытываешь бѣдствіями сердца людей, дабы они познали цѣну счастья и ты могъ тѣмъ болѣе вознаградить ихъ впослѣдствіи. — Сальпадино и сенешаль допрошены и вскорѣ освобождены; вина пала на недопрошенную Бьянчифьоре. Король, желая соблюсти видимость правосудія, собираетъ совѣтъ: онъ обвиняетъ Бьянчифьоре, Массамутино предлагаетъ казнить ее сожженіемъ; Аскальоне и герцогъ Монторіо, пріѣхавшіе на праздникъ, и другіе хотѣли бы сказать слово въ ея защиту, но молчатъ, видя, куда клонится желаніе короля. Онъ хотѣлъ бы немедленно привести въ исполненіе приговоръ, но судьи отвѣтили, что, по обычаю, въ столь торжественный день смертнаго приговора они не произносятъ, почему онъ и отложенъ до слѣдующаго утра. — Аскальоне и герцогъ уѣхали, не простившись; королева прикрываетъ слезами свое предательство; ей въ самомъ дѣлѣ жалко Бьянчифьоре, но она утѣшаетъ себя мыслью, что съ ея смертью пройдетъ и любовь Флоріо.

Между тѣмъ, оставшись одинъ, Флоріо предается грустнымъ мыслямъ: бывало въ этотъ день они вмѣстѣ съ Бьянчифьоре служили за царскимъ столомъ; о еслибъ изъ всѣхъ дней, сколько ихъ есть въ году, выдался одинъ — но съ нею! Теперь ея чело

расточаетъ новый свѣтъ многимъ, того недостойнымъ, а ему не дано ее видѣть. Онъ упрекаетъ себя въ трусости, хочетъ поглядѣть на нее во что бы то ни стало, вступить въ борьбу съ отцемъ, увезти ее. Среди этихъ мыслей онъ засыпаетъ, и ему видится сонъ, напоминающій таковой-же, уже разсказанный нами въ связи съ автобіографіей Боккаччьо [1]). Флоріо видится, какъ разбушевался народъ Эола, взметая песокъ; громъ и молнія повсюду; звѣзды, казалось, презрѣли законы и помѣнялись мѣстами; боги плачутъ, посѣщая одинъ другого; стигійскій мракъ заволокъ солнце, луна утратила свои лучи, гробницы Марморины наполнились человѣческой кровью, и жители стонутъ надъ ними; дикіе звѣри боязливо попрятались въ пещерахъ, птицы падаютъ мертвыя. Святая богиня Венера предстала ему въ темномъ рубищѣ и въ слезахъ и на его вопросъ, почему плачутъ люди и боги, несетъ его въ Марморину, гдѣ онъ видитъ все, что было съ Бьянчифьоре.—Флоріо готовъ умереть съ нею, проситъ сказать, что онъ можетъ сдѣлать для ея спасенія. Венера говоритъ, что все это устроили боги; если они плачутъ, то потому, что опечалены были сѣтованіями природы, явившейся къ ихъ божественнымъ сѣдалищамъ въ слезахъ, что страдаетъ такое прелестное созданіе. Пусть съ наступленіемъ ночи Флоріо вооружится и тайкомъ направится къ мѣсту, куда поведутъ на казнь Бьянчифьоре; луна будетъ свѣтить ему, окажутъ помощь боги и Марсъ и она и этотъ мечъ, скованный Вулканомъ и подаренный ей ея милымъ Марсомъ: противъ него не устоитъ никакое оружіе. Не объявляя себя, онъ вызоветъ на бой всякаго, кто будетъ стоять за виновность Бьянчифьоре; побѣда за нимъ, онъ вернетъ дѣвушку отцу, а самъ вернется въ Монторіо, гдѣ возжетъ огни на алтаряхъ Марса и ея, а она, явившись ему во очію, увѣнчанная миртомъ и лавромъ, увѣнчаетъ его какъ побѣдителя.

Флоріо проснулся въ слезахъ; въ правый рукѣ у него мечъ; тусклый цвѣтъ перстня потвердилъ ему правдивость видѣнія.

1) Сл. выше стр. 159—60.

Онъ предается страшному горю, но принимаетъ веселый видъ, когда къ нему пришелъ герцогъ и разсказалъ о празднествахъ Марморины, ни словомъ не упомянувъ объ эпизодѣ съ Бьянчифьоре. Флоріо догадывается, что̀ онъ скрываетъ; вечеромъ шутитъ и смѣется въ его обществѣ, а самъ разсчиталъ напередъ всѣ часы ночи, и когда всѣ улеглись, стучится къ Аскальоне и проситъ у него оружіе и коня: онъ все узналъ изъ откровеній Венеры, вотъ и ея мечъ. Аскальоне пытается удержать его: Ты слишкомъ молодъ для битвы, пусть Бьянчифьоре понесетъ заслуженное наказаніе; не стоитъ сражаться изъ-за худородной женщины. Флоріо отвѣчаетъ гнѣвно: Не ты-ли самъ говорилъ мнѣ не разъ, что Бьянчифьоре изъ хорошаго римскаго рода? Она благородна уже потому, что полна добродѣтелей. Гнѣва отца я не боюсь: я бы даже желалъ сразиться съ нимъ, преступнымъ, и послать его на берега Ахеронта, онъ заслужилъ того своей жестокостью. Я молодъ, но молоды были и Ахиллъ и Евріалъ, и было-бы неразумно отвернуться отъ Фортуны, милостиво обращающей на меня лице свое. — Дивится Аскальоне мужественнымъ рѣчамъ юноши и увѣряетъ, что говорилъ такъ лишь для того, чтобъ испытать его; онъ самъ будетъ ему помощникомъ, готовъ сражаться за него, неопытнаго, и никогда не оставитъ. Но Флоріо хочетъ самъ быть защитникомъ той, кого любитъ; Аскальоне снаряжаетъ его, даетъ совѣты, какъ держаться въ единоборствѣ, цитуя въ примѣръ грековъ и троянцевъ, Аннибала и Протезилая, и Флоріо быстро входитъ въ роль: пока вооружается Аскальоне, онъ бѣгаетъ и прыгаетъ и на кого-то нападаетъ, поднимая и опуская копье. — Они отправляются въ путь при свѣтѣ луны; Флоріо молится богамъ, Марсу, «вождю небесныхъ силъ», Венерѣ и Астреѣ, праведный мечъ которой его отецъ готовится обагрить невинной кровью.

Бьянчифьоре въ мрачной тюрьмѣ, не знаетъ, чѣмъ она провинилась, пугается всякаго шороха; ея воображеніе полно страшныхъ образовъ, она плачется на судьбу, на боговъ, на Флоріо, который, очевидно, забылъ ее: онъ навѣрно увлекся одной изъ

тѣхъ красавицъ Монторіо, которыя поютъ и веселятся, разутыя, у прозрачныхъ источниковъ, либо на лугахъ, увѣнчанныя зеленью [1]). Если онъ не забылъ ее, почему не явится на помощь? Послать-бы сказать ему, — но друзья удалились вмѣстѣ со счастьемъ. — Она взываетъ къ Венерѣ, и богиня предстала ей въ сіяніи, на нее наброшено лишь пурпурное покрывало, она увѣнчана лаврами, въ рукахъ вѣтвь Паллады. Бьянчифьоре бросается на колѣни, а богиня говоритъ ей, что вся вина ея въ томъ, что она и Флоріо — ея служители; но спасеніе близко.

При дворѣ всѣ говорятъ объ осужденіи Бьянчифьоре, подозрѣвая коварство короля и сенешаля, но никто не рѣшился выступить въ ея защиту. Король и королева, внутренне довольные, съ виду печальны; въ ночь передъ казнью Феличе не спится, проклятыя мысли не даютъ ему покоя, и онъ пускается въ реторику: солнце пошло очевидно на обратный путь, что такъ долго не настаетъ день; это Бьянчифьоре своими молитвами задержала ночь, но на алтарѣ бога, котораго она молитъ, никогда не принесутъ ради нея жертвы. Явись же, о Аполлонъ, въ объятія твоей Авроры: ты видѣлъ преступленія Атрея и Тіэста, Ликаона и Прокны и т. д., и тебя нечего бояться, если я предамъ огню невинную дѣвушку; она не первая, не будетъ и послѣдней. — Судьи, созванные на другой день, боятся произнести неправедный приговоръ и желаютъ выслушать обвиняемую, но король говоритъ, что этого не нужно, потому что преступленіе очевидно, и велитъ осудить Бьянчифьоре на свой страхъ. Когда ее вывели, и она услышала смертный приговоръ, пустилась въ слезы и растерзала бы себя, не будь у нея связаны руки; это удержало ее, и она сѣтуетъ молча: видно она наказана за то, что была невольной причиной смерти отца и матери; за то, что относилась къ королю съ любовью и преданностью; за свою красоту, которую она исказила-бы, слѣдуя примѣру римскаго юноши Спурины, еслибы

1) Сл. выше стр. 201, прим. 1.

знала, чему она будетъ причиной. Она взываетъ къ богамъ и молитъ Венеру.

Когда ее ведутъ на казнь, и она увидѣла короля и королеву, смотрѣвшихъ на нее изъ окна дворца, ея горе усилилось, она пытается говорить: боги да простятъ имъ ея смерть! Но сенешаль подгоняетъ палкой ея стражей, она плачетъ и идетъ, потупивъ глаза, сѣтуя на Флоріо. У королевы явилось раскаяніе: она охотно все-бы измѣнила, если бы то согласно было съ достоинствомъ короля. Всѣ въ Марморинѣ жалѣютъ Бьянчифьоре, желаютъ ей скорой помощи, и помощь явилась: Бьянчифьоре видитъ издали двухъ всадниковъ, ей кажется, что одинъ изъ нихъ — Флоріо, и она начинаетъ бодриться.

Прибывъ къ мѣсту до разсвѣта, Флоріо и Аскальоне спѣшились, привязали лошадей и легли отдохнуть. Что ты дѣлаешь, Флоріо? Не поступаешь ли ты противъ законовъ любви? Развѣ не знаешь ты, чтó такое сонъ? Что если ты заспишься, и она погибнетъ? — А Флоріо снится, будто онъ уже освободилъ ее, и она сама разсказываетъ ему о томъ въ прелестномъ саду, гдѣ оба они сидятъ, забавляются и поютъ, и цѣлуютъ другъ друга. Такъ было съ Флоріо, который и во снѣ старался не заснуть, когда на громадномъ конѣ явился чудесно вооруженный всадникъ, высокій ростомъ, свирѣпый видомъ, красный, съ большой бородой, окруженный такимъ свѣтомъ, что, казалось, онъ былъ въ огнѣ. Это Марсъ, посланный Венерой; онъ будитъ Флоріо, вручаетъ ему лукъ и стрѣлу, никогда не минующую цѣли; пусть не отдаетъ ее никому, иначе съ нимъ можетъ приключиться то-же, что съ Прокрисъ. А теперь позови товарища и поѣдемъ. — Флоріо будитъ Аскальоне, и они вмѣстѣ ѣдутъ за Марсомъ: Аскальоне видитъ не его, а лишь красное сіяніе. Теперь я вѣрю, что къ тебѣ благоволятъ боги, говоритъ онъ Флоріо, узнавъ, въ чемъ дѣло. Всѣ, собравшіеся на мѣстѣ казни, дивятся этому сіянію, чуя что-то недоброе, сенешаль усматриваетъ въ немъ знаменіе, что боги готовятъ помощь Бьянчифьоре, но храбрится съ виду, какъ Кассій въ Македоніи передъ призракомъ Цесаря.

Подскакавъ къ пріѣзжимъ рыцарямъ, онъ приказываетъ имъ попятиться, но Марсъ говоритъ Флоріо, чтобы онъ не трогался съ мѣста. Между нимъ и сенешалемъ происходитъ перебранка, Флоріо прослезился подъ забраломъ при видѣ Бьянчифьоре, велитъ служителямъ развязать ее, проситъ ее разсказать, что съ ней было; онъ — другъ ея милаго и готовъ биться за нее съ сенешалемъ или съ кѣмъ другимъ. Въ толпѣ одобряютъ незнаемаго рыцаря; одинъ изъ судей распорядился повременить казнью, посылаетъ извѣстить короля. Сенешаль бранится, обвиняя Флоріо во лжи; его приказъ служителямъ тотчасъ-же бросить Бьянчифьоре въ огонь, остановленъ Флоріо; разгнѣванный Массамутино наѣзжаетъ на него, грозитъ ему такой-же карой, но Флоріо сбилъ его съ сѣдла ударомъ кулака и готовится ввергнуть въ костеръ. Когда сенешаля освободили, онъ спѣшитъ съ докладомъ къ королю: проситъ у него новаго коня и вооруженія, пусть дозволитъ ему вступить въ бой съ незнакомымъ витяземъ; онъ надѣется на побѣду. Король клянетъ боговъ, помѣшавшихъ его намѣренію, хочетъ отложить бой до завтра, ибо сенешаль усталъ; но это невозможно: тотъ рыцарь не отпуститъ дѣвушки, да и въ народѣ всѣ выражаютъ къ ней сочувствіе; Массамутино отправится на поединокъ и распорядится, чтобы Бьянчифьоре сожгли, пока онъ будетъ биться.

Между тѣмъ Флоріо утѣшаетъ недоумѣвающую дѣвушку. Что съ Флоріо? спрашиваетъ она—а онъ говоритъ ей, что еще вчера видѣлъ его, что онъ по прежнему ей вѣренъ, и самъ бы явился сюда, если бы не удержали его просьбы друга: вѣдь онъ умеръ бы, увидѣвъ тебя въ такомъ положеніи.—Когда явился на поле Массамутино, Бьянчифьоре ощутила страхъ Икара, когда онъ почувствовалъ, что воскъ его крыльевъ топится. Флоріо поручаетъ ее охранѣ товарищей, Марсъ дохнулъ на него, отправляя въ бой, и когда служители сенешаля готовились схватить Бьянчифьоре, скрываетъ ее въ своемъ сіяніи. Сенешаль сбитъ съ коня, чувствуетъ, что ему приходится бороться не съ здѣшней силой; онъ срубилъ голову коню Флоріо, поранилъ его мечемъ, бѣжитъ, но стрѣла настигаетъ его и поражаетъ смертельно. Флоріо схватилъ его

за бороду, доволочилъ до Бьянчифьоре, обагряя поле его кровью, заставилъ признаться въ преступленіи: оказывается, что онъ мстилъ дѣвушкѣ за отверженную любовь; онъ ничего не проговорился о королѣ, ибо надѣялся, что ему сохранятъ жизнь, но по требованію Марса и народа Флоріо бросаетъ его въ костеръ.

Король притворно радуется, что Бьянчифьоре оказалась невинной, и усматриваетъ особое покровительство боговъ въ томъ, что они наказали преступника. Когда Флоріо ведетъ Бьянчифьоре во дворецъ, она поражена этимъ: вѣдь тамъ ожидаютъ ее еще большія опасности; почему не поѣдетъ онъ съ нею въ Монторіо?— Такова воля боговъ, чтобы ты отдана была королю, дабы онъ позналъ свой проступокъ; а Флоріо вскорѣ прибудетъ къ тебѣ.— Явившись во дворецъ, незнакомый рыцарь поручаетъ освобожденную красавицу, отъ имени Флоріо, королю, прося его не измышлять болѣе предлоговъ, которые и неправедное наказаніе могутъ представить заслуженнымъ; вѣдь истина въ концѣ все-же объявится и ты будешь обезславленъ. — Король привѣтствуетъ Бьянчифьоре любовно, говоритъ, что виновенъ въ приговорѣ лишь на столько, на сколько правосудіе помѣшало ему быть сострадательнымъ. Флоріо отказывается сказать, кто онъ, смотритъ сквозь слезы на Бьянчифьоре, велитъ ей мужаться ради любви къ Флоріо и уѣзжаетъ. Марсъ разстается съ нимъ на томъ мѣстѣ, гдѣ впервые объявился, и всѣ падаютъ ницъ передъ исчезающимъ богомъ. Въ Монторіо они приносятъ жертвы въ храмѣ Марса и Венеры; побѣдный вѣнецъ, который богиня возлагаетъ на Флоріо, онъ кладетъ на ея алтарь. — Въ Марморинѣ, гдѣ королева въ самомъ дѣлѣ обрадована спасеніемъ Бьянчифьоре, онѣ вмѣстѣ посѣщаютъ всѣ храмы; забыта, по ошибкѣ, одна лишь Діана; ея гнѣвъ обновляетъ въ послѣдующемъ развитіи романа элементъ верховнаго вмѣшательства, какимъ представлялась въ началѣ исконная вражда Плутона.

Флоріо вернулся къ себѣ веселый: казалось, судьба улыбнулась ему, и, въ надеждѣ на лучшее, онъ не избѣгаетъ развлеченій. Но Фортуна поспѣшила обратить на него свое мрачное лицо.

Однажды, когда онъ гулялъ въ саду, видъ бѣлаго цвѣтка, выросшаго среди густыхъ терній, вызвалъ въ немъ воспоминаніе о милой: цвѣтку не разростись среди терній, Бьянчифьоре не избѣгнуть опасностей. Онъ боится коварства отца, снова упрекаетъ себя въ малодушіи, что оставилъ боязливую овечку среди кровожадныхъ волковъ; ревнуетъ отъ избытка любви; увы, какъ печальна жизнь влюбленнаго, живущаго въ такихъ опасеніяхъ [1]).— Какъ-то разъ, послѣ безсонной ночи, онъ не вышелъ изъ комнаты, и герцогъ пришелъ посѣтить его; увидѣвъ его блѣднымъ и измѣнившимся, онъ проситъ его, во имя дружбы, повѣдать ему свое горе. Флоріо говоритъ ему, какъ съ отроческихъ лѣтъ онъ увлекся Бьянчифьоре, и это увлеченіе перешло въ любовь, которую поддерживалъ ясный лучъ, проникавшій изъ ея очей въ его очи. Теперь онъ удаленъ отъ нея, боится за ея жизнь, ему кажется, что его сердце залито моремъ ея слезъ.—И онъ падаетъ на постель, его лицо стало цвѣта земли или пепла.—Самъ герцогъ не удержался отъ плача, но утѣшаетъ Флоріо: столь благородное чувство, какъ любовь, не должно порождать такое угнетенное состояніе духа; Флоріо слѣдовало-бы веселиться: вѣдь онъ не только любитъ, но и любимъ; тутъ нѣтъ мѣста ревности; къ тому-же за нимъ помощь боговъ и чудеснаго кольца; боги пекутся объ его счастьи, и, можетъ быть, не безъ причины держатъ его въ разлукѣ съ его милой. Утѣшенія перемежаются реторическими общими мѣстами (будто отецъ потому преслѣдуетъ Бьянчифьоре, что Флоріо ведетъ изъ-за нея печальную жизнь) и афоризмами: что сладкій плодъ любви нельзя вкусить безъ нѣкоторой горечи и желаемое тѣмъ милѣе, чѣмъ дольше его добивались. Еслибъ я былъ на твоемъ мѣстѣ, продолжаетъ герцогъ, я, напротивъ, сталъ бы веселиться, чтобы увѣрить отца, что охладѣлъ къ Бьянчифьоре. — Флоріо согласенъ послѣдовать дружескому совѣту, но его веселье внѣшнее; когда онъ одинъ, его мысли по прежнему отданы Бьянчифьоре; какъ у Троила [2]), у него

1) Сл. Filostrato VII, 18.
2) Filostrato IV, 144—5, V, 4—5.

являются приливы рѣшимости: похитить свою милую; если это будетъ непріятно отцу, то такъ и быть: это лучше, чѣмъ мнѣ самому умереть съ тоски; у отца горе пройдетъ, либо оно убьетъ его; зачѣмъ только не убило оно его ранѣе! Я такъ и сдѣлаю; конецъ всему дѣлу вѣнецъ (cosa fatta capo ha); вѣдь въ случаѣ неудачи отецъ развѣ изгонитъ меня; міръ великъ, а Кадмъ, Дарданъ и Сикулъ прославились на чужбинѣ. Я такъ сдѣлаю.— И затѣмъ онъ снова принимается плакать, по цѣлымъ днямъ не вставая съ постели. Герцогъ и Аскальоне не рѣшаются оповѣстить отца и вмѣстѣ боятся не оповѣстить его; однажды, когда они бесѣдовали о Флоріо, Аскальоне подалъ мысль отвлечь Флоріо отъ его любви, соблазнивъ его тѣми наслажденіями, которыхъ онъ не испыталъ съ Бьянчифьоре и до которыхъ падки молодые люди. Герцогъ сомнѣвается въ успѣхѣ: что пользы въ томъ, что, отвязавъ его отъ одного мѣста, мы привяжемъ его къ другому? Новыя раны излѣчиваются скорѣе, чѣмъ застарѣлыя, отвѣчаетъ Аскальоне, и герцогъ соглашается.—Намѣтивъ двухъ дѣвушекъ, отличавшихся красотою и бойкимъ словомъ и влюбленныхъ въ Флоріо, онъ пригласилъ ихъ къ себѣ, какъ бы на праздникъ, говоритъ, что, желая женить Флоріо, онъ остановилъ свой выборъ на нихъ, и если одной изъ нихъ удастся отвлечь его отъ поглощающей его мысли, она станетъ его женой. Дѣвушки, Эдея и Кальмена, выражаютъ сомнѣніе: онѣ не ровни Флоріо, не богаты, боятся глумленія и стыда, но герцогъ завѣряетъ ихъ, что онъ не покушается на ихъ честь и сдержитъ свое слово. Пусть принарядятся и пойдутъ въ садъ, а подъ вечеръ, когда Флоріо явится туда, попытаются увлечь его. Онѣ нарядились, прозрачныя ткани едва прикрываютъ ихъ члены; усѣвшись у источника, они бесѣдуютъ о Флоріо и поютъ. Флоріо вышелъ въ садъ, погруженный въ печальныя думы, и направился къ своему бѣлому цвѣтку среди терній, когда услышалъ любовную пѣсню. Что это? спрашиваетъ онъ себя и растерянно останавливается, завидѣвъ красавицъ. Боги да исполнятъ всякое ваше желаніе! отвѣчаетъ онъ на ихъ привѣтъ. — Боги уже исполнили его, коли ты изъявишь на то свое

согласіе! — Почему-же перестали вы пѣть? — Намъ нѣтъ большаго удовольствія, какъ бесѣдовать съ тобой, говорятъ онѣ; онѣ затѣмъ и отстали отъ своего общества, чтобы увидѣть его. Флоріо хорошо съ ними, онъ любуется ими, заводитъ бесѣду о любви; одна склонила голову къ нему на грудь, другая обвила его шею рукою; ему позволяютъ и большія откровенности глаза и осязанія, такъ что онъ самъ дивится. Бьянчифьоре забыта, и они дошли бы до бóльшаго, еслибъ «вѣрный Амуръ» не помогъ его сердцу своей стрѣлою. Отчего ты такъ блѣденъ? спрашиваетъ Флоріо Кальмена, и онъ тотчасъ-же опомнился: Что это я дѣлаю? Потупивъ глаза въ землю, онъ начинаетъ упрекать себя, что могъ такъ забыть Бьянчифьоре, сторонится отъ дѣвушекъ, ушелъ-бы тотчасъ, еслибы не боялся учинить имъ стыдъ. Онѣ упрашиваютъ его, ласкаютъ, увѣряютъ въ своей любви; но онѣ не любятъ его, никогда не любили вообще, ибо любовь стыдлива въ первыхъ своихъ проявленіяхъ: даже Пазифая начала съ того, что приласкала быка, подманивъ его нѣжной травкой [1]). Дѣвушки плачутъ, упрекаютъ его въ жестокости, просятъ хотя-бы поцѣлуя; но именно его уста ему всего дороже; не будь онъ отданъ другой, онъ непремѣнно избралъ-бы одну изъ нихъ. — Онъ проситъ оставить его, и онѣ удаляются, чувствуя, что пристыжены подѣломъ.

Когда герцогъ и Аскальоне, узнавъ, какъ было дѣло, явились къ Флоріо, онъ сидитъ, опустивъ на руку бѣлокурую голову, и не замѣчаетъ ихъ. Гдѣ ты теперь, влюбленный юноша? спрашиваютъ они его, дернувъ за руку; онъ смотритъ на нихъ, не отвѣчая, точно ошеломленный, молитъ оставить его съ самимъ собою. Ты съ ума сошелъ! говорятъ ему его пріятели, а онъ разсказываетъ имъ, что за жизнь онъ влачитъ по милости любви; особенно одолѣваетъ его ревность: дѣвушки непостоянны; вѣдь и боги, не только что онѣ, склоняются къ мольбамъ; къ

1) Сл. Filocolo, II, стр. 78, съ тѣмъ-же объясненіемъ, и Amorosa Visione XXII, 10 слѣд. = Ovid. Art. Am. I, 245 слѣд.

тому-же говорятъ, что женщины по природѣ избираютъ худшее. Все это мучитъ меня; если вамъ дорога моя жизнь, не отнимайте у меня возможности — предаваться моимъ мыслямъ. — Но для этого надо жить, воспрянь-же духомъ и развеселись, чтобы тебѣ можно было — мечтать, говорятъ ему его совѣтчики, и Флоріо обѣщаетъ послѣдовать ихъ совѣту. Показались уже звѣзды, когда они покинули садъ.

Слѣдующій затѣмъ эпизодъ о Филено [1])—первый пространный эпизодъ, введенный Боккаччьо въ составъ романа; до сихъ поръ измѣненія противу подлинника касались частностей, стиля и эпическихъ мотивовъ. Разсказъ о Филено какъ бы отвѣчаетъ подозрѣніямъ Флоріо: что женщины всегда избираютъ худшее. Филено явился ко двору Феличе, вскорѣ послѣ суда надъ Бьянчифьоре, и влюбился въ нее, не зная ея отношеній къ Флоріо. Король и королева поощряютъ эту любовь, Бьянчифьоре отвѣчаетъ Филено и глядитъ на него лишь въ ихъ присутствіи, въ угоду имъ, вздыхая, что̀ Филено принимаетъ на свой счетъ; въ присутствіи королевы и съ ея поощренія онъ выпрашиваетъ у Бьянчифьоре ея вуаль, который возлагаетъ на себя, какъ значекъ, на турнирѣ («празднествѣ Марса»), изъ котораго выходитъ побѣдителемъ. Онъ увѣренъ, что дѣвушка къ нему расположена и, явившись въ Монторіо, разсказываетъ въ обществѣ герцога о турнирѣ и своей любви, причемъ неосторожно назвалъ Бьянчифьоре. Слышалъ это Флоріо, измѣнился въ лицѣ и тихо вышелъ; снова вернувшись, онъ дружелюбно подошелъ къ Филено, взялъ подъ руку и повелъ въ свою комнату, чтобы точнѣе разузнать отъ него, чего въ сущности не хотѣлъ бы знать. Мнѣ сдается, ты влюбленъ, спрашиваетъ онъ его послѣ многаго другого. Тотъ отвѣтилъ утвердительно. — А любитъ ли тебя та, которую ты любишь?—Да, говоритъ Филено, и по просьбѣ Флоріо, указываетъ на признаки: робкіе взгляды и горячіе вздохи, подарки, радость, которую красавица обнаруживаетъ при всякой

1) Сл. выше стр. 158—9.

его удачѣ. Онъ показываетъ Флоріо вуаль. Да, это признакъ вѣрный, замѣчаетъ Флоріо; но этого ему еще не достаточно: онъ допытывается имени — и узнаетъ его. Да, тебя дѣйствительно любятъ, говоритъ онъ, не измѣнившись въ лицѣ, но мой совѣтъ — любить разсудительно, не давая Амуру такъ овладѣть собою, чтобы не быть въ силахъ отдѣлаться отъ него, какъ то сталось со мною. Я любилъ и люблю дѣвушку, она подарила мнѣ это кольцо—и отдалась другому, а я не могу отстать отъ любви. Ты счастливѣе всѣхъ другихъ, отвѣчаетъ онъ на завѣреніе Филено, что его милая постоянна.

За обѣдомъ Флоріо ничего не ѣстъ; удалившись къ себѣ, бросается на постель и плачетъ, упрекая Бьянчифьоре. Онъ былъ такъ постояненъ въ любви; ужь не потому-ли она отдалилась отъ него, что боялась неравенства положеній? Но вѣдь сама она происходитъ отъ римскихъ императоровъ. Далѣе этотъ аргументъ замѣненъ другимъ: Парисъ забылъ Энону для Елены, потому что всякій предпочтетъ грубой крестьянкѣ царицу, происшедшую отъ безсмертныхъ боговъ—но вѣдь Бьянчифьоре покинула его для простого рыцаря. Счастливъ тотъ, кто не испыталъ счастья, ибо лишь его утрата причиняетъ горе. Флоріо дивится, что его перстень не измѣнился, какъ измѣнилось сердце его милой; вынувъ ножъ, подаренный ему Бьянчифьоре, онъ помышляетъ о самоубійствѣ, когда Венера насылаетъ на него сонъ. Начало его вспомнилось Боккаччьо при аллегорическомъ изображеніи Амура въ Любовномъ Видѣніи[1]): на лугу вѣнчанный повелитель, въ рукахъ у него лукъ и двѣ стрѣлы, золотая и свинцовая; онъ сидитъ на двухъ орлахъ, ноги покоятся на двухъ львахъ, за спиной громадныя золотыя крылья. По правую сторону его стоитъ на колѣняхъ прелестная женщина и какъ-бы молится: это Бьянчифьоре; по лѣвую бурное море, корабль безъ вѣтрилъ, а на немъ Флоріо, обнаженный, съ завязанными глазами, тогда какъ страшный черный призракъ, выйдя изъ моря, схватился

1) Amorosa Visione, c. XV.

за корму и грозится потопить судно. Флоріо взмолился къ Амуру, и ему чудится, что повязка съ него спала, чудесная красавица, покрытая лишь прозрачнымъ вуалемъ, явилась ему, велитъ отогнать тотъ мрачный духъ, подаетъ ему мечъ и вѣтвь оливы: Я твоя Бьянчифьоре, на которую ты такъ жалуешься, не зная истины, говоритъ она — и Флоріо кажется, что онъ легко бѣжитъ по волнамъ и поражаетъ огненнымъ мечемъ чудовище. Море успокоилось, обрадованный Флоріо принимается за исправленіе снастей; тутъ онъ очнулся, возлѣ него вѣтка оливы и обнаженный ножъ, которымъ онъ хотѣлъ заколоться. Онъ оставилъ мысль о смерти и обождетъ, что скажетъ Бьянчифьоре на его письмо, гдѣ онъ говоритъ ей о своей любви, отъ которой не отвратили его ни соблазны, ни приставанье родителей—женить его на другой; а она оказалась непостоянной! Онъ упоминаетъ имя Филено и снова ставитъ вопросъ: не потому ли отвергла она его, что онъ не ровня ей, ведущей свой родъ отъ римскихъ властителей? Но вѣдь Филено простой рыцарь? А кто будетъ любить тебя такъ, какъ я? спрашиваетъ онъ; если онъ увѣрится въ своихъ подозрѣніяхъ, ему жить не долго; онъ велитъ написать на своей гробницѣ: здѣсь покоится Флоріо, погибшій отъ любви къ Бьянчифьоре, и на томъ свѣтѣ вѣчно будетъ преслѣдовать ея душу. Пусть проститъ его, если въ письмѣ онъ сказалъ ей непріятное: онъ писалъ, побуждаемый любовью; онъ ждетъ ея письма, а до тѣхъ ея ножъ не выйдетъ у него изъ рукъ.

Когда служитель Флоріо явился къ Бьянчифьоре, она разспросила его о его господинѣ, и узнаетъ, что онъ вздыхаетъ по ней; взявъ письмо, она возложила его себѣ на голову и тысячу разъ поцѣловала. Прочтя первую его часть, она не можетъ удержаться отъ слезъ; то ей кажется, что она не поняла его, то вѣрится, что Флоріо пишетъ серьозно. Онъ, видно, глумится надо мной, говоря о моей знатности; вѣдь я рабыня его и его отца, осмѣлившаяся полюбить его за его красоту и доблесть. Или онъ испытываетъ меня, либо, обвиняя меня, отводитъ глаза, дабы я не имѣла повода обвинить его — въ любви къ другой. Все это она выражаетъ въ

письмѣ къ нему, объясняетъ свои отношенія къ Филено, проситъ не грустить болѣе и надѣяться, избѣгая ненужнаго бездѣлья и не уклоняясь отъ дозволенныхъ удовольствій; и пусть не пишетъ ей подобныхъ писемъ, не тревожитъ ея душу, готовую къ смерти, ибо если у Флоріо ножъ, у ней на готовѣ петля.

Флоріо читаетъ, лежа на постелѣ, письмо Бьянчифьоре; разныя мысли ходятъ у него въ головѣ, пока онъ не остановился на одной, тревожной. Боккаччьо вспомнилось здѣсь описаніе обители Зависти въ Метаморфозахъ Овидія [1]), но онъ не подражаетъ ему, какъ Guillaume de Lorris [2]), а пользуется его чертами, чтобы изобразить мрачное жилище Ревности — и не теряетъ въ сравненіи съ древнимъ поэтомъ: его Ревность реальнѣе, въ ней жизнь осилила аллегорію.

Мы уже знаемъ, что Діана гнѣвается на Бьянчифьоре за то, что она забыла ея въ своихъ жертвахъ. И вотъ, готовясь отмстить ей, она спѣшитъ къ обиталищу холодной Ревности: она живетъ на высочайшихъ скалахъ Аппеннинъ, въ темной пещерѣ, окруженной снѣгомъ, кругомъ никакихъ растеній, кромѣ терній и крапивы, ни одной весенней птицы, только кукушка да сова. Лишь только богиня постучалась въ дверь, какъ послышался изнутри собачій лай, старуха глянула въ скважину и спросила грубымъ голосомъ: Кто тамъ? Узнавъ богиню, она, тихо ступая, не безъ труда открыла роковыя двери, скрипъ которыхъ слышенъ былъ у подножья горы; заперевъ ихъ съ такимъ-же скрипомъ, она провожаетъ гостью, оберегая ея бѣлое одѣяніе отъ голодныхъ псовъ, у которыхъ можно было пересчитать всѣ кости, гонитъ ихъ хриплымъ голосомъ и палкой, на которую опиралась. Внутри все заткано паутиной, слышна буря, будто сталкиваются и рушатся горы; стѣны одѣты влажнымъ, точно плачущимъ мохомъ; тамъ царитъ вѣчная зима, только въ углу немного золы и двѣ полутлѣющія головни, около которыхъ грѣлась тощая кошка. Ревность — худая, вялая, блѣдная старуха,

1) II, 760 слѣд.

2) Roman de la Rose v. 235—90.

съ косыми глазами, красными отъ постоянныхъ слезъ; кутаясь въ черныя одежды, она сидитъ и дрожитъ у огня, порой хватаясь за мечь, чтобы попугать имъ кого-то; ея сердце такъ бьется, что его колыханіе можно замѣтить подъ платьемъ; она не знаетъ сна и покоится на порогѣ, между двухъ псовъ.

Къ ней-то Діана обращается съ просьбой: отправиться къ Флоріо, поселить въ немъ недовѣріе къ его милой, внушить, что онъ обманутъ. Принявъ новый образъ, старуха спѣшитъ къ юношѣ, который все еще размышляетъ о письмѣ; онъ вѣритъ, что Бьянчифьоре его любитъ. Лишь только Ревность коснулась его груди, его мысли измѣнились: Бьянчифьоре написала ему такъ не отъ любви, а отъ страха; огонь питаетъ тихій вѣтерокъ, любовь — нѣжные взгляды, а меня нѣтъ съ нею! Она любитъ Филено, и я отомщу ему. — Онъ начинаетъ припоминать все, бывшее между нимъ и Бьянчифьоре съ пріѣзда Филено, все толкуетъ въ дурную сторону, а тотчасъ-же ищетъ оправданій; передумываетъ средства, которыя пускаютъ въ ходъ для достиженія извѣстной цѣли, и увѣренъ, что Филено испыталъ ихъ, что онъ готовъ увезти Бьянчифьоре, съ ея согласія, посватался за нее. Нѣтъ, этого не можетъ быть, я заблуждаюсь, вѣдь обо всемъ этомъ я что-либо да услышалъ бы! Бьянчифьоре невинна, но какъ знать, что будетъ? — И онъ рѣшается вернуться въ Марморину: либо онъ убьетъ Филено, либо заставитъ его удалиться.

О любовь, прелестнѣйшая страсть для тѣхъ, кто счастливъ твоими благами, полная страха и тревогъ, кто-бы могъ подумать, что твой сладкій корень производитъ столь горькій плодъ, какъ ревность! Рожденная отъ одного съ тобою начала, она враждебна тебѣ, и несчастнѣйшимъ изъ несчастныхъ можно почесть того, кто спознался съ нею.

Діана знаетъ о рѣшеніи Флоріо и, желая спасти Филено, спѣшитъ къ обители Сна, которую Боккаччьо изобразилъ, снова подражая Овидію[1]). По просьбѣ богини властитель Сна шлетъ къ Филено

1) Metam. XI, 592 слѣд.; сл. De Gen Deor. I, 31 и описаніе обители Сна у Стація, Theb. X, 85 слѣд.

нѣсколькихъ изъ своихъ сыновей — и вотъ Филено представляется въ сновидѣніи, будто его пріятель предупреждаетъ его: Флоріо разгнѣванъ на тебя за Бьянчифьоре, хочетъ убить тебя, сейчасъ явится; бѣги! Ему кажется, что Флоріо уже здѣсь, а самъ онъ смертельно раненъ. — Когда на слѣдующій день Филено разсказалъ свой сонъ пріятелю, тотъ пораженъ: боги явно покровительствуютъ тебѣ, говоритъ онъ, я самъ слышалъ въ Монторіо, что Флоріо жаждетъ твоей смерти. Пріятель также совѣтуетъ бѣгство, и Филено рѣшается на это, чтобы въ изгнаніи жить надеждой; его другъ пусть остается и дастъ ему знать, когда ему можно будетъ вернуться.

Путешествіе Филено нѣсколько странное, запутанное; онъ посѣщаетъ послѣдовательно Падую, Венецію, Равенну, Мантую, Флоренцію, Кьузи, Римъ, Гаэту, Поццуоли, Байи и Неаполь; Самній (куда уѣзжала, какъ мы помнимъ, Марія-Фьямметта) [1]), Капую, Сульмону, Перуджію и наконецъ — Чертальдо. Обозначеніе городовъ частью описательное: Падуя — городъ Антенора; примѣшиваются классическія и средневѣковыя городскія легенды; у Филено такая-же жилка антикварія, какую увидимъ и у Флоріо: Римъ приводитъ его въ восхищеніе. Чертальдо также названъ иносказательно: дубовый лѣсъ, cerreto, на верху горы; здѣсь останавливается и остается сѣтовать Филено — и введенъ уже разобранный нами [2]) автобіографическій эпизодъ: о печальномъ страннике изъ Неаполя, Боккаччьо, подслушавшемъ жалобы Филено и утѣшающемъ его разсказомъ о своей несчастной любви. Эпизодъ этотъ могъ быть написанъ лишь послѣ разрыва съ Фьямметтой, но, какъ сказано выше [3]), это не даетъ права заключить, что и все слѣдующее написано позже: разсказъ о Филено совершенно мыслимъ безъ нѣсколько внѣшняго появленія странника, и легко представить себѣ, что эта подробность была внесена позднѣе въ готовое положеніе.

1) Сл. выше, стр. 126.

2) Сл. выше стр. 158—9.

3) Сл. выше стр. 190.

Услышавъ о бѣгствѣ Филено, Флоріо ободрился, но Діана недовольна; она готовитъ новыя препятствія, и представъ на охотѣ королю, говоритъ ему: Ты предаешься удовольствіемъ, а твой сынъ гибнетъ отъ любви къ живущей у тебя дѣвушкѣ; если ты не примешь мѣръ, она похититъ его у тебя. Съ этими словами она исчезла, а Феличе, пораженный видѣніемъ, совѣтуется съ женой: Что ему дѣлать? Эта негодница опоила его какимъ-нибудь зельемъ. Онъ готовъ убить ее, а жена снова указываетъ ему на болѣе безобидное средство: въ ихъ портъ пришло судно, Бьянчифьоре можно продать купцамъ, увѣрить Флоріо, что она умерла, а для вида устроить ей великолѣпный памятникъ. Посланцы короля разузнали, что прибыли изъ Александріи купцы, Менонъ и Антоній, родомъ изъ Неаполя (изъ крайнихъ предѣловъ авзонійской излучины, по сосѣдству съ Помпеей), ихъ занесла сюда непогода, и они готовятся отплыть, нагрузивъ корабль. Тогда король велитъ предложить имъ, не купятъ-ли они у него, за большую цѣну, красавицу дѣвушку; она провинилась передъ нимъ, онъ пощадилъ ея жизнь ради ея красоты, но не желаетъ оставить ее безъ наказанія. — Купцы явились съ большой казной, и Бьянчифьоре выходитъ къ нимъ; королева обманула ее, велѣвъ принарядиться, будто бы для пріѣзда Флоріо. Когда она показалась, покой точно солнцемъ освѣтило; купцы просятъ короля взять себѣ изъ ихъ казны, сколько ему надобно, да сверхъ того дарятъ прекрасный золотой кубокъ, на которомъ искуснѣйшимъ образомъ изображено было эмалью паденіе Трои. Король говоритъ втихомолку купцамъ, чтобы они отплыли немедленно, а Бьянчифьоре объявляетъ, что исполнилъ свое обѣщаніе — выдать ее замужъ: ее повезутъ къ Сардану, властителю древняго Карѳагена, его другу и родственнику. Какъ услышала это Бьянчифьоре, измѣнилась въ лицѣ: она поклялась Діанѣ въ вѣчномъ дѣвствѣ, говоритъ она, богиня разгнѣвается на меня! — Не станетъ гнѣваться, отвѣчаетъ король; да тебѣ надо было сказать мнѣ о томъ прежде. — Глориція будетъ сопровождать ее въ качествѣ служанки. — Бьянчифьоре замѣтила и тайные переговоры

короля, и одежду купцовъ, и предложенную ими казну, и единственную, отпущенную съ нею служанку; такъ по невѣсту не посылаютъ, ее — продали; и она принимается плакать. Король ушелъ, чтобы не смягчиться, купцы взяли Бьянчифьоре изъ объятій полумертвой королевы и отнесли на корабль. Теперь предательство короля стало ей яснымъ и она отдается сѣтованіямъ, клянетъ жизнь; я люблю и буду любить Флоріо, говоритъ она и—повторяетъ, что говорила и прежде: Ничто такъ не печалитъ меня, какъ потерянное время, когда мы могли пользоваться желаннымъ наслажденіемъ и не воспользовались, и даромъ потратили время, полагая, что оно не можетъ не настать; теперь я знаю, что у кого есть досугъ, а онъ дожидаетъ его, навѣрно его пропуститъ [1]). Она плачется на несчастную долю: это у нея въ роду. Ея глаза закатились, руки сжались судорожно, поблѣднѣвъ, она упала навзничь въ объятія Глориціи. Купцы ухаживаютъ за ней, какъ за сестрой, утѣшаютъ ее; она молится Венерѣ и Діанѣ, пока не забылась сномъ.

Діана удовлетворена, смѣнивъ гнѣвъ на милость; она сжалилась надъ дѣвушкой; вмѣстѣ съ Венерой она явилась ей во снѣ, вѣщая, что никто не осмѣлится лишить ее того, что она намѣрена соблюсти.

По пути они останавливаются въ Сициліи, тамъ, гдѣ умеръ Анхизъ; нѣкая Сизифа, у которой они пристали, пытается утѣшить Бьянчифьоре: пусть постарается вообразить себѣ, будто она никогда не видала Флоріо; кто тебѣ понравится, тотъ пусть и будетъ тебѣ Флоріо. — Плохо ты знаешь законы любви, возражаетъ ей Бьянчифьоре: кто любитъ, никогда не забываетъ.

Послѣ остановки въ Родосѣ у Беллизана, они прибыли въ Александрію, гдѣ александріецъ Дарій принялъ ихъ съ великимъ почетомъ. Черезъ нѣсколько дней явился туда эмиръ (ammiraglio) могущественнаго вавилонскаго царя, отъ имени котораго онъ управлялъ тою страною. Провѣдавъ о Бьянчифьоре, онъ купилъ ее, чтобы подарить своему властителю: тотъ сдѣлаетъ ее старшей

1) Сл. Filocolo I, стр. 316 (chi tempo ha e quello attende, quello si perde) = Filocolo, II, стр. 110; сл. выше стр. 199 (= Filocolo, I, стр. 103).

среди своихъ женъ и украситъ ея чело вѣнцомъ Семирамиды. Пока она помѣщена въ башнѣ вмѣстѣ съ Глорицiей и другими дѣвушками.

По отъѣздѣ Бьянчифьоре король распорядился соорудить памятникъ, будто бы надъ нею, а подъ нимъ похоронена была въ ея одеждахъ другая дѣвушка. Устроено это было такъ ловко, что всѣ въ городѣ повѣрили смерти Бьянчифьоре, а Флорiо послали сказать, что она больна и онъ поспѣшилъ-бы проститься съ нею. Страшно опечаленный, онъ спѣшитъ въ Марморину къ ночи; коварная мать вышла ему на встрѣчу и на его вопросъ, что̀ съ Бьянчифьоре, молча обняла его, заплакала и ведетъ къ отцу. Онъ въ траурной одеждѣ, знаменiи печали, говоритъ сыну, что Бьянчифьоре удостоилась царствiя небеснаго, что Юпитеръ и другiе небожители взяли ее къ себѣ, можетъ быть, завидуя тому благу, которое мы ощущали, любя ее, потому что она того стоила и ты ее любилъ. Онъ сулитъ сыну другую супругу, говоритъ, что покойница просила ихъ утѣшить его, не велѣла плакать, ибо слезы умалятъ ея блаженство. — Ты убилъ ее, преступный! кричитъ Флорiо, разодралъ на себѣ одежды и падаетъ замертво, скосивъ глаза и сжавъ кулаки. Онъ проситъ мать повести его къ гробницѣ Бьянчифьоре, и та напрасно молитъ его отложить это посѣщенiе, говоритъ ему о красавицѣ, дочери короля Гранады. Ты обманула меня, восклицаетъ сынъ, безуменъ тотъ, кто избираетъ врачемъ себѣ врага, поразившаго его на смерть! И онъ бросается на гробницу; въ городѣ поднялось общее сѣтованiе, всѣ облеклись въ трауръ, плачъ былъ такой, что не услышанъ былъ-бы шумъ битвы боговъ съ гигантами. — У Флорiо выхватили ножъ, которымъ онъ готовился убить себя, и встревоженная мать говоритъ ему: Твоя Бьянчифьоре еще жива! Сынъ не хочетъ вѣрить, его такъ часто обманывали. Тогда, вернувшись во дворецъ, мать открываетъ ему, что̀ они устроили съ Бьянчифьоре. Флорiо приходитъ въ ярость: Безжалостная! говоритъ онъ, другiя матери даютъ свободу рабынямъ, любимымъ ихъ сыновьями, ты продала въ

рабство свободную женщину, потому что я люблю ее. Въ тебя вселился духъ Прокны и Медеи; но я еще надѣюсь дождаться радостнаго дня, когда вы оба, жестокій старикъ и ты, въ приливѣ собственнаго гнѣва, обремените собою печальныя балки вашего дворца, какъ Арахна. Вы продали Бьянчифьоре; будь она здѣсь, клянусь богами, я изгналъ бы васъ, какъ Юпитеръ изгналъ изъ храма Сатурна, и заставилъ бы испытать горемычное плутаніе по свѣту, на которое я осужденъ. Будь у меня, какъ у васъ, сердце изъ камня и не бойся я укоровъ совѣсти, я не оставилъ бы васъ въ живыхъ!

Напрасны извиненія матери, которой стало ясно, что̀ она напророчила сама себѣ, когда о родившейся Бьянчифьоре сказала, что она будетъ товаркой и родней ея сыну. Король также припоминаетъ все бывшее со смерти Лелія и убѣждается, что волѣ боговъ не слѣдуетъ перечить. Между тѣмъ Флоріо велитъ позвать Аскальоне и Пармедьона, Менедона и Массалина, и сообщаетъ имъ о своемъ рѣшеніи, въ которомъ никто не разубѣдитъ его: онъ отправится на поиски Бьянчифьоре; гдѣ она, онъ не знаетъ, но ея красота ее объявитъ. Онъ проситъ ихъ сопутствовать ему, старика Аскальоне быть ихъ руководителемъ, и тотъ готовъ спуститься съ Флоріо хотя бы въ мрачное царство Плутона. Когда всѣ согласились, онъ объявляетъ обо всемъ отцу: дозволитъ ли онъ, или нѣтъ, онъ все-таки поѣдетъ. Тотъ уже рѣшилъ предоставить его—его судьбѣ; пусть беретъ казну, которую дали ему за Бьянчифьоре, сколько хочетъ отъ его сокровищъ, и прежде всего направитъ путь въ Александрію, куда поѣхали купцы. — Мать проситъ Флоріо погодить отъѣздомъ до болѣе благопріятнаго времени, но онъ удивленъ ея просьбой: вы такъ глубоко оскорбили меня, что я никогда не прощу вамъ. Она даритъ ему при разставаньи перстень, когда-то принадлежавшій Ярбѣ, королю гетулійцевъ: кто его носитъ, всѣмъ будетъ милъ, не погибнетъ ни въ водѣ, ни въ огнѣ. — Къ обществу Флоріо присоединяется и герцогъ Ферамонте, а Флоріо, не желая быть узнаннымъ, что̀ помѣшало бы ему въ его поискахъ, велитъ называть себя Фило-

коло, отъ греческаго philos—любящій и colos: трудъ, трудность; никто болѣе не понесъ *трудовъ* изъ-за *любви*, оттуда принятое имъ имя, странная этимологія котораго всецѣло падаетъ на Боккаччьо.—Принеся жертвы богамъ, они велѣли корабельщикамъ отвести судно въ гавань Алфеи (Пизы), куда направились верхомъ, ибо рѣка была бурная.

Съ четвертой книги романа начинаются странствованія Флоріо-Филоколо. По волѣ судебъ его путь идетъ не прямо, а излучинами: въ Мантую, черезъ Секкію, долину Арно («брата царственнаго Тибра»), къ уединенной долинѣ, съ дубовымъ лѣсомъ на горѣ, куда удалился Филено и пристаютъ наши путники, испуганные разливомъ горныхъ водъ. Флоріо входитъ въ запущенный храмъ и на алтарѣ, который очищаетъ отъ травы и терній, приноситъ жертву «незнаемымъ богамъ». И далѣе говорится о «незнаемомъ богѣ», который оказывается, однако, Юпитеромъ. Тихій шорохъ слышится въ храмѣ, точно отъ камешковъ, влекомыхъ потокомъ, и голосъ вѣщаетъ, что Флоріо прибудетъ въ Алфею, оттуда, не безъ препятствій, къ Огненному острову (Сицилія) и далѣе туда, гдѣ обрѣтается его милая. «Почти это мѣсто, ибо отсюда выйдетъ тотъ, кто въ достойныхъ памяти стихахъ объявитъ невѣдающимъ твои приключенія, и имя его будетъ полно благодати». Разумѣется имя Іоанна, т. е. Боккаччьо, который выйдетъ изъ Чертальдо; и на этотъ разъ, какъ въ началѣ романа, говорится о — стихахъ [1]).

Флоріо хочетъ зачерпнуть воды изъ прекраснаго источника, на поверхности котораго видны были двѣ, бившія изъ глубины струйки; нѣсколько разъ повелъ онъ въ водѣ чашей, когда воды вздулись, и изъ нихъ послышался голосъ Филено, съ мольбой, не безпокоить его. На вопросъ Флоріо, онъ разсказываетъ исторію своей несчастной любви: онъ тяготился жизнью, и боги услышали его, превративъ въ источникъ. Превращеніе разсказано очень удачно, въ стилѣ Овидія; тѣ струйки исходятъ изъ глазъ Филено, зеленая пелена на водѣ — вуаль

1) Сл. выше стр. 190.

Бьянчифьоре. По просьбѣ Филено повѣдать ему, кто онъ, Флоріо называетъ себя Филоколо и разсказываетъ о горѣ, постигшемъ Флоріо; правда, онъ злоумышлялъ противъ тебя, но теперь боги воздали ему, хотя твое бѣгство было ему непріятно. Это были слова утѣшенія, вовсе не выражавшія дѣйствительныхъ чувствъ Флоріо въ пору бѣгства его соперника.

Флоріо бесѣдуетъ съ своими спутниками о видѣнномъ имъ дивѣ; вотъ до чего доводитъ любовь, и счастливъ тотъ, кто, обходясь безъ нея, живетъ добродѣтельно! Онъ хотѣлъ бы еще болѣе почтить боговъ, обновивъ ихъ храмъ, но Аскальоне убѣждаетъ его оставить это до возвращенія; вѣдь боги не ради нашихъ приношеній творятъ намъ благое, имъ только пріятно выраженіе нашей благодарности.

По мановенію «незнаемаго бога» воды спали, путники, добравшись до Алфеи, сѣли на корабль; но враждебная судьба не покидаетъ Флоріо: на пути разыгралась страшная буря. Флоріо сѣтуетъ на Фортуну и боговъ, плачутъ его спутники, одинъ Аскальоне, какъ человѣкъ бывалый, утѣшаетъ ихъ; на другой день вѣтеръ занесъ ихъ корабль въ гавань древней Партенопе (Неаполь). Здѣсь они пристали у одного пріятеля Аскальоне и принуждены пять мѣсяцевъ ждать наступленія благопріятной погоды. Эта проволочка печалитъ Флоріо; онъ ходитъ на берегъ, смотритъ въ ту сторону, гдѣ живетъ его милая; если бы Нептунъ былъ такъ-же свирѣпъ къ тѣмъ людямъ, что̀ подошли къ его твердынѣ съ греческимъ огнемъ (греки подъ Трою), онѣ стояли бы тамъ и понынѣ.

Настала весна, солнце вступило въ созвѣздіе Близнецовъ (май), когда Флоріо проснулся однажды подъ впечатлѣніемъ страннаго сна. Аскальоне успокоиваетъ его, приглашаетъ развлечься; они идутъ гулять и привлечены въ общество Фьямметты, вершающей въ саду вопросы любви. Какъ содержаніе сна, такъ и весь эпизодъ любовныхъ вопросовъ принадлежатъ автобіографіи Боккаччьо и съ этой точки зрѣнія разобраны были выше [1]).

1) Сл. стр. 159 слѣд.

Можетъ быть, еще и другими подробностями этого эпизода слѣдуетъ воспользоваться для біографическихъ цѣлей. Боккаччьо увидѣлъ Фьямметту въ апрѣлѣ 1338 года; вскорѣ послѣ того она попросила его пересказать для нея приключенія Флоріо и Бьянчифьоре, и онъ принялся за дѣло; любовныя бесѣды романа, въ которыхъ Галеоне-Боккаччьо еще является въ нѣмомъ, ожидательномъ созерцаніи своей милой, отнесены, повидимому, къ тому-же времени: къ маю («когда Титанъ находился въ объятіяхъ Кастора и Поллукса») [1]). Непосредственно затѣмъ Флоріо отправляется въ путь; въ маѣ, очевидно, слѣдующаго года (судя по тому, что снова упоминаются мартъ и апрѣль), онъ проникаетъ въ башню къ Бьянчифьоре [2]), десять мѣсяцевъ спустя, въ мартѣ, когда Фебъ только что вступилъ въ созвѣздіе Овна, онъ помышляетъ о возвращеніи, и вѣроятно въ томъ же мѣсяцѣ, либо въ апрѣлѣ мы встрѣчаемъ его снова въ Неаполѣ, на этотъ разъ съ освобожденной имъ Бьянчифьоре [3]). Если взять за точку отправленія апрѣль 1338 года, это было-бы въ мартѣ или апрѣлѣ 1340; именно въ апрѣлѣ этого года Боккаччьо могъ покинуть Неаполь [4]); между апрѣлемъ 1338-го и мартомъ-апрѣлемъ 1340-го года прошла любовь Боккаччьо и совершился его разрывъ съ Фьямметтой, о которой Галеоне уже разсказываетъ вернувшемуся Флоріо. Мы увидимъ далѣе, что онъ сопутствуетъ Флоріо на его пути домой и остается тамъ, гдѣ впослѣдствіи возникъ — Чертальдо. Онъ и безыменный странникъ въ эпизодѣ о Филено [5]) — двойники Боккаччьо.

Разумѣется, наша хронологія приблизительная, основанная на предположеніи, что въ разсказѣ Боккаччьо автобіографическіе мотивы смѣшаны съ унаслѣдованными изъ его источника. Мѣсяцъ май, когда родились герои его романа, для нихъ роковой, оттого

1) Filocolo II, стр. 22.
2) Ib., стр. 149, 169.
3) Ib., стр. 231 слѣд.
4) Сл. выше стр. 156.
5) Сл. выше стр. 158—9, 175.

и посѣщеніе спящей Бьянчифьоре ея милымъ также пріурочено къ маю. Боккаччьо могъ воспроизвести въ этой подробности эпизодъ своей любви, не внося своей личной хронологіи: его ночное свиданіе съ Фьямметтой было въ октябрѣ [1]) или сентябрѣ [2]). Тѣмъ не менѣе въ его числовыхъ указаніяхъ есть прочные пункты, если любовныя бесѣды Филоколо отнести вмѣстѣ съ нами къ маю 1338-го года.

Но вернемся къ роману. Любовныя бесѣды кончились, Фьямметта говоритъ, что рѣшала вопросы, какъ умѣла, рѣшенія болѣе мудрыя пусть дадутъ аѳинскіе философы. Уже солнце склонялось къ западу, когда, снявъ съ себя лавровый вѣнокъ, она положила его на мѣсто, гдѣ сидѣла, со словами: Я оставляю здѣсь вѣнецъ—мой и вашъ почетъ—пока мы снова не явимся сюда для бесѣды.—Затѣмъ всѣ присоединились къ остальному обществу и веселились, пока не наступила ночь и всѣ пошли въ городъ. Прощаясь съ Фьямметтой, Флоріо завѣряетъ ее, что будь онъ свободенъ, онъ отдался бы ей, но и теперь воспламененъ ея доблестями, на сколько его бѣдное сердце доступно другому чувству. Ночью любовные вопросы и красота Фьямметты не даютъ ему покоя — и тревожатъ мысли о Бьянчифьоре. Проходитъ еще нѣсколько дней ожиданія, которые Флоріо коротаетъ, посѣщая окрестности древняго Неаполя. Однажды, сидя въ саду, онъ замечтался: его грёзы напоминаютъ вѣщій сонъ послѣ бесѣды съ Филено [3]), съ такими же, какъ и тамъ мотивами Любовнаго Видѣнія и дантовской символики. На тихомъ морѣ ладья, въ ней съ одной стороны четыре женщины, которыхъ Флоріо какъ будто уже видѣлъ; къ сторонѣ кормы три, еще болѣе красивыя, но совсѣмъ ему не знакомыя; мачта высится до неба, не трогаясь, какъ ни колеблется судно. Его зовутъ, и онъ входитъ и садится съ первой группой; видитъ, какая-то женщина, злобнаго вида, съ завязанными глазами, уцѣпилась сна-

1) Сл. выше стр. 151.
2) Amorosa Visione, XLIV, 21; XLVI, 6.
3) Сл. выше стр. 216—217.

ружи за ладью и, кажется, готова потопить ее. Онъ страшится, но ему говорятъ: не бойся. Тогда онъ начинаетъ разглядывать своихъ сосѣдокъ: одна въ одеждѣ какъ-бы чистѣйшаго золота, на головѣ черный вуаль, въ правой рукѣ зеркало, въ которое она смотрится, въ лѣвой книга; другая въ одеждѣ огненнаго цвѣта, подъ бѣлымъ покрываломъ, въ одной рукѣ у нея острый мечъ, другой она опирается на сломанное копье. Платье третьей блеститъ какъ алмазъ, лѣвой ногой она вращаетъ громадный шаръ, на которомъ изображены земля и море и царства и климаты; на все она смотритъ одинаково равнодушно; въ ея десницѣ царскій скипетръ. Наконецъ, четвертая облечена въ цвѣтъ фіалки, на ней простой вуаль, правая рука на груди, указательный палецъ лѣвой приставленъ ко рту; казалось, всѣ остальныя руководились ея желаніемъ. Флоріо любо быть съ ними; вдругъ на кормѣ показался роскошно одѣтый юноша, у него на рукахъ красавица, обнаженная и сильно горевавшая. Флоріо чудится, что это Бьянчифьоре, что юноша зоветъ его: Видишь-ли какую тревогу ты ей причиняешь? Онъ едва въ состояніи удержаться, чтобы не броситься къ ней; зачѣмъ позвали вы меня? спрашиваетъ онъ своихъ собесѣдницъ, а онѣ что-то говорятъ ему, но онъ ничего не понимаетъ, такъ его мысль занята Бьянчифьоре. И вотъ онъ съ нею, она радостно привѣтствуетъ его, но тутъ поднялась страшная буря, изъ устъ того чудовища, что̀ держалось за бортъ судна, раздался громовой голосъ, и вѣтеръ, поднявшись, снесъ въ какое-то мрачное мѣсто и Флоріо и Бьянчифьоре и юношу. Они предаются плачу, когда внезапно снова очутились на ладьѣ, море успокоилось, лице страшнаго призрака предстало не гнѣвнымъ, а веселымъ. Съ его согласія Флоріо снова садится къ тѣмъ четыремъ женщинамъ, а какой-то величавый, вѣнчанный старецъ объясняетъ ему, кто три незнакомыя ему дѣвы, и мнится Флоріо, что онъ сгораетъ желаніемъ познать ихъ всецѣло. Тогда въ чудесномъ сіяніи сходитъ съ неба лучезарная жена, въ рукахъ у нея золотой сосудъ съ чудесной влагой, которой она омыла Флоріо. Его зрѣніе изощрилось, онъ сталъ

лучше разумѣть, какъ мірское, такъ и небесное, любитъ то и другое по достоинству; дивуется тому и видитъ себя и Бьянчифьоре въ обществѣ трехъ дѣвъ: одна изъ нихъ казалась огненной, другая зеленѣе изумруда, третья превосходитъ бѣлизною снѣгъ. Ведомая ими, его ладья паритъ въ высоту, тогда какъ другія четыре женщины, оставшіяся на морѣ, поднимаютъ ее снизу. Онъ очутился въ области боговъ, познаётъ движенія и вліянія небесныхъ свѣтилъ и неизреченную славу, исходящую отъ лица Юпитера.

Аскальоне и Парменьоне едва могли расшевелить Флоріо, чтобы вывести его изъ области мечтаній. Пора въ путь! корабельщики зовутъ насъ, съ тѣхъ поръ, какъ мы здѣсь, еще не было столь благопріятной погоды!

Видѣніе Флоріо приготовляетъ насъ къ тѣмъ аллегорическимъ поэмамъ, въ которыхъ наиболѣе ясно сказалось у Боккаччьо внѣшнее усвоеніе дантовскаго стиля. Амето написанъ въ 1340—1 годахъ, когда Филоколо, можетъ быть, еще не былъ оконченъ [1]); Любовное Видѣніе вышло въ 1342-мъ вмѣстѣ съ Филоколо, вѣроятно, позже его. Именно отношенія аллегорической сцены въ послѣднемъ романѣ къ соотвѣтствующему эпизоду Любовнаго Видѣнія позволяютъ предположить такую послѣдовательность. Начнемъ съ мотивовъ, навѣянныхъ Данте. Въ 29-й пѣснѣ Чистилища ему видится чудесная процессія: грифъ везетъ торжественную колесницу, у праваго колеса движутся въ пляскѣ три женщины: одна такая красная, что ее едва можно было бы разглядѣть и въ огнѣ, у другой тѣло и кости точно изъ изумруда, третья бѣла, какъ снѣгъ. Это три богословскія добродѣтели: Любовь, Надежда и Вѣра. У лѣваго колеса четыре женскихъ фигуры, одѣтыя въ пурпуръ; это основныя житейскія добродѣтели: впереди Благоразуміе, съ тремя глазами на челѣ, за нею Правосудіе, Умѣренность и Крѣпость. Слѣдуетъ въ 30-й пѣснѣ явленіе небесной Беатриче въ облакѣ цвѣтовъ; въ 31-й Матильда

1) Сл. выше стр. 191.

омываетъ Данте въ водахъ Леты и ведетъ къ сонму четырехъ дѣвъ; мы здѣсь нимфы, говорятъ онѣ, въ небѣ мы звѣзды; прежде, чѣмъ Беатриче объявилась въ мірѣ, мы были предуставлены ей прислужницами; мы поведемъ тебя къ ней, а тѣ три, болѣе насъ проникающія въ глубь, изощрятъ твои глаза, дабы ты могъ лицезрѣть ее.—Отмѣтимъ одинъ еще дантовскій мотивъ изъ Vita Nuova: образъ Амура, держащаго на рукахъ спящую Беатриче; онъ будитъ ее и питаетъ сердцемъ поэта; ея радость обращается въ горе: откинувшись на руки Амура, она горько плачетъ, и оба уносятся въ небо.

Вотъ какими матерьялами воспользовался Боккаччьо для фантасмагоріи Флоріо. Его герою издавна знакомы четыре женщины, что̀ сидѣли у носа ладьи: очевидно, житейскія добродѣтели, только что Боккаччьо обставилъ ихъ болѣе вычурными атрибутами, чѣмъ Данте. Флоріо любитъ, но Фортуна (грозящая потопить судно) гнѣвается на него: когда онъ бросается къ призраку Бьянчифьоре, падаетъ въ пучину — и затѣмъ онъ снова на кораблѣ, вмѣстѣ съ милой, въ обществѣ тѣхъ женъ, ибо Фортуна ему улыбнулась. До сихъ поръ все въ видѣніи логично и прозрачно: Флоріо соединится съ Бьянчифьоре. Что слѣдуетъ далѣе, представляется какъ-бы аллегорическимъ привѣскомъ: и проповѣдь старца, вѣщающаго о трехъ божественныхъ добродѣтеляхъ — ибо это онѣ, съ тѣми же символическими признаками, что̀ и у Данте; и явленіе небесной жены, и вознесеніе на небо. Передъ нами одна изъ попытокъ Боккаччьо увѣнчать небеснымъ ореоломъ житейскую любовь; въ Амето онъ вернется къ тому-же вопросу, семь добродѣтелей предстанутъ намъ нимфами; въ Любовномъ Видѣніи матеріалы фантасмагоріи тѣ-же, но авторъ владѣетъ ими свободнѣе. Я имѣю въ виду описаніе фонтана съ четырьмя аллегорическими фигурами, поддерживающими его чашу, и тремя другими, стоящими посреди ея на колоннѣ. Вы ожидаете обычныхъ группъ — житейскихъ и богословскихъ добродѣтелей, но развѣ первыхъ можно усмотрѣть въ сидящихъ женахъ, окруженныхъ своеобразной символикой;

что до трехъ, стоящихъ на колоннѣ, онѣ объявятся послѣ, какъ три вида любви. Боккаччьо избралъ земную — и не позналъ небеснаго просвѣтленія, которое сулилъ Флоріо.

Флоріо съ товарищами отправляются въ дальнѣйшій путь; пристали къ Сициліи, и здѣсь судьба направляетъ Флоріо въ сосѣдство съ Сизифой, у которой останавливалась и Бьянчифьоре. Однажды, выглянувъ изъ окна, она увидѣла его грустнаго, сидѣвшаго напротивъ ея дома на камнѣ изъ древняго мрамора. Онъ поразилъ ее своимъ сходствомъ съ Бьянчифьоре; не по ней-ли онъ грустить? И, сойдя внизъ, она спрашиваетъ его: Скажи мнѣ, почему ты такъ печаленъ, что всѣхъ, кто не поглядитъ на тебя, разбираетъ жалость? Флоріо закупленъ ея красотой и состраданіемъ, какъ Данте при видѣ donna gentile (Vita Nuova), и разсказываетъ ей о себѣ и Бьянчифьоре; вотъ уже болѣе семи мѣсяцевъ, какъ онъ ее ищетъ; себя онъ зоветъ Филоколо, Бьянчифьоре — своей сестрой. Сизифа говоритъ, что мѣсяцевъ шесть тому назадъ два ея родственника провезли здѣсь Бьянчифьоре; она сильно плакалась о своемъ миломъ Флоріо. — Я хорошо его знаю, замѣчаетъ Филоколо: онъ любилъ ее съ дѣтства и долженъ былъ жениться на ней, но судьба помѣшала. Тогда Сизифа объясняетъ ему, что купцы повезли ее въ Родосъ, затѣмъ въ Александрію; пусть обратится къ нимъ отъ ея имени, это можетъ быть ему полезнымъ.

Путь къ Родосу описанъ подробно, съ указаніемъ мѣстностей, мимо которыхъ слѣдовали путники. Въ Родосѣ они останавливаются у Беллизана, пріютившаго у себя передъ тѣмъ и Бьянчифьоре. Онъ старый знакомый Аскальоне, съ которымъ вмѣстѣ служилъ въ Римѣ, и многимъ обязанъ отцу Бьянчифьоре. Онъ прослезился, когда ему разсказали объ ея судьбѣ; еслибъ онъ призналъ ее, отдалъ бы все, что у него есть, чтобы выкупить ее у купцовъ; теперь, несмотря на свои годы, онъ предлагаетъ путникамъ сопровождать ихъ въ Александрію. Здѣсь они пристаютъ у большаго пріятеля Беллизана, Дарія, которому и открываются по прошествіи нѣсколькихъ дней, прося совѣта. — Велика твоя

сила въ людяхъ, о свѣтило, украшающее третье небо! восклицаетъ Дарій; до чего довело ты Медею и Дидону, Деяниру и другихъ! Всему этому поневолѣ повѣришь на примѣрѣ Филоколо. — И онъ разсказываетъ, что ему — и намъ извѣстно о судьбѣ Бьянчифьоре: ее купилъ эмиръ; каждые десять лѣтъ онъ обязанъ представлять властителю Вавилона, въ видѣ дани, кромѣ большой казны, сто дѣвушекъ красавицъ. Бьянчифьоре попала въ это число; теперь она живетъ въ башнѣ, чудеса которой напоминаютъ диковинки дворца баснословнаго пресвитера Іоанна, идеализовавшія византійскую придворную дѣйствительность, и западныхъ повѣстей, повторявшихъ подробности греческихъ. Въ башнѣ сто прекрасныхъ покоевъ; двадцать четыре порфировыхъ столба поддерживаютъ одну изъ залъ, иные изъ нихъ такъ прозрачны, что сквозь нихъ все видно; на стѣнахъ изображенія древнихъ дѣяній боговъ и предковъ эмира; и столы и утварь — все изъ золота. А изъ числа ста покоевъ нѣтъ краше того, что̀ отведенъ Бьянчифьоре: нѣтъ человѣка, какъ бы ни былъ онъ печаленъ, который не повеселѣлъ-бы, полюбовавшись на потолокъ, хитро украшенный сапфирами, изумрудами и другими драгоцѣнными камнями. Противъ входной двери на колоннѣ, сіяющей точно пламя, статуя обнаженнаго Амура, съ большими золотыми крыльями, лукомъ и стрѣлами; онъ какъ-бы готовится метнуть стрѣлу; его глаза не завязаны, въ каждомъ изъ нихъ по карбункулу; они разливаютъ въ комнатѣ точно солнечный цвѣтъ. По угламъ четыре золотыхъ дерева, съ плодами изъ изумрудовъ, жемчуга и другихъ драгоцѣнныхъ камней; стоитъ ударить тростью по стволу, какъ раздастся сладкогласное пѣніе всевозможныхъ птицъ. Здѣсь покоится Бьянчифьоре на ложѣ изъ слоновой кости, поддерживаемомъ четырьмя золотыми львами. — А на верху башни разведенъ прелестный садъ, съ прозрачнымъ источникомъ и диковиннымъ деревомъ, никогда не теряющимъ ни листьевъ, ни плодовъ; говорятъ, оно посажено было здѣсь Діаной и Церерой. Когда эмиръ желаетъ испытать дѣвственность какой-нибудь изъ живущихъ у него красавицъ, ведетъ ее на

зарѣ подъ то дерево; если она соблюла цѣломудріе, на нее упадетъ цвѣтокъ, вода объявится еще болѣе чистой и прозрачной; иначе она замутится, и цвѣтокъ не спадетъ. Изъ башни ни одна дѣвушка не можетъ выйти, ихъ сторожитъ евнухъ-арабъ, по имени Садокъ, съ нимъ служилые люди, никого не пускающіе на пространный лугъ передъ башней.

Дарій кончилъ свой разсказъ среди общаго молчанія. Передъ Флоріо три пути, говоритъ онъ: либо вымолить Бьянчифьоре у эмира, либо похитить ее силой, либо хитрымъ образомъ войти въ дружбу со сторожемъ башни, что̀ всего лучше: онъ надмененъ и жаденъ, любитъ болѣе всего на свѣтѣ играть — и выигрывать въ шахматы; пусть Флоріо подладится къ нему, затѣетъ съ нимъ игру, закупитъ его подарками; когда онъ сдружится съ нимъ, видно будетъ, что̀ далѣе предпринять, лишь бы все это осталось между нами тайной. Когда кончились совѣщанія, Филоколо начинаетъ раздумывать о слышанномъ; онъ и радъ, и страшится, припоминая прошлыя опасности и представляя себѣ будущія. Въ немъ начинается борьба между благоразуміемъ и любовью; последняя одерживаетъ верхъ, но благоразуміе выступаетъ слишкомъ откровенно и назойливо въ спорѣ съ чувствомъ и душевныя колебанія выражаются въ реторическихъ формахъ, не отвѣчающихъ настроенію психическаго момента. О безумецъ, до чего довела тебя любовь—къ женщинѣ! говоритъ себѣ Флоріо; развѣ мыслимо любить другого болѣе себя? Всякая благоразумная любовь начинается съ себялюбія. — Но оно есть у меня, отвѣчаетъ другой Флоріо. — Нѣтъ, иначе ты не подвергалъ бы такимъ опасностямъ свою жизнь. — Я не погибну, отвѣчаетъ голосъ. — Но кто-же увѣрилъ тебя въ этомъ? — Бесѣда продолжается далѣе, Флоріо двоится между да и нѣтъ: полюбить другую — но это немыслимо; а что если Бьянчифьоре бросила его для другого? Возможно-ли представить себѣ, чтобы купцы не взяли съ нея поцѣлуя — и бо̀льшаго, чтобъ у эмира не было особыхъ причинъ, почему онъ такъ дорожитъ ею? — Изъ этой внутренней распри Флоріо выходитъ побѣдителемъ: у него явилась рѣшимость; онъ

молитъ боговъ о помощи, поднялъ лицо, и ему кажется, онъ видитъ Бьянчифьоре на рукахъ у Венеры: она смотритъ печально, будто слышала рѣчи Флоріо, и его самого разбираетъ и жалость и стыдъ.

Долгое время ему не удается приступить къ дѣлу; онъ ходитъ поглядѣть на тюрьму Бьянчифьоре, смотритъ на нее издали съ вышки Даріева дома. Такъ прошло время до той поры, когда Фебъ вступилъ въ созвѣздіе Овна (мартъ) и любовныя чувства Флоріо разгорѣлись, какъ разгорѣлась любовью вся природа. Однажды, въ апрѣлѣ, Флоріо выѣхалъ по обычаю къ башнѣ; женская фигура показалась въ окнѣ; ему кажется, что это Бьянчифьоре, и онъ отпустилъ узду и своему желанію и коню, который принесъ его къ самой башнѣ; онъ обнимаетъ и цѣлуетъ ея стѣны, ибо онѣ сторожатъ его милую. Когда Садокъ выбѣжалъ къ нему съ палицей въ рукахъ, Флоріо страшится его угрозъ, но память о Бьянчифьоре его поддержала: онъ извиняется, говоритъ, что выѣхалъ на охоту, его соколъ улетѣлъ на башню, а тугоуздый конь примчалъ его къ ней, и онъ не могъ воздержаться, чтобы не полюбоваться ея художественной постройкой. Онъ называетъ себя бѣднымъ юношей изъ-за моря, но Садокъ считаетъ его человѣкомъ родовитымъ; онъ смягчился; твое сходство съ одной живущей здѣсь дѣвушкой, Бьянчифьоре, спасло тебѣ жизнь, говоритъ онъ Флоріо и ведетъ его къ себѣ. Пока они бесѣдуютъ, Флоріо замѣчаетъ въ углу, на стѣнѣ, роскошную шахматную доску — и предлагаетъ хозяину поиграть. Ходы разсказаны подробно; Флоріо все время поддается, а Садокъ не сдѣлаетъ ни одного удачнаго хода, чтобы не промолвить: А лучше было-бы тебѣ бросить сокола, чѣмъ являться за нимъ сюда!—Началась третья игра, и Садоку не везетъ: онъ кипятится, краснѣетъ, наконецъ, отчаявшись въ выигрышѣ, путаетъ шахматы и бросаетъ доску наземь. — И мудрые люди сердятся за этой игрой, говоритъ Филоколо, но напрасно ты ее спуталъ: если ты припомнишь ее, еще бы два хода, я получилъ бы шахъ и матъ. Ты самъ это видѣлъ и поступилъ такъ лишь изъ любез-

ности ко мнѣ; эти золотые — твои. — Садокъ притворился, что все это такъ; никто еще, кромѣ Флоріо, не обыгрывалъ его и никогда еще не видалъ онъ столь любезнаго юноши — и онъ упрашиваетъ его именемъ той, которую онъ любитъ, прійти къ нему пообѣдать на слѣдующій день. Флоріо не можетъ не согласиться, такимъ именемъ его закляли.

Вернувшись домой, онъ обо всемъ разсказываетъ своимъ пріятелямъ и долго обдумываетъ ночью, какъ ему объясниться съ Садокомъ. На другой день онъ идетъ къ нему; когда они сидятъ за столомъ, является, по уговору съ Флоріо, Парменьонъ и приноситъ Садоку, отъ его имени, тотъ самый кубокъ, который былъ данъ купцами за Бьянчифьоре, полный золотыхъ: это благодарность Флоріо за то, что тотъ пощадилъ его жизнь. Садокъ смотритъ жаднымъ окомъ на кубокъ, пораженъ великодушіемъ Флоріо; онъ и все, что у него, къ его услугамъ; отведя его одного въ сторону, онъ завѣряетъ его въ своей преданности, въ желаніи услужить ему; пристаетъ къ нему, когда тотъ намекнулъ, что въ его власти оказать ему услугу. Нѣсколько разъ пытается заговорить Флоріо, наконецъ рѣшается, припомнивъ стихи Овидія, что Фортуна помогаетъ смѣлымъ: онъ разсказываетъ Садоку о себѣ и о Бьянчифьоре; пусть устроитъ ему свиданіе съ ней, либо убьетъ его, если это невозможно.—Довелъ онъ меня своей хитростью до того, на что я никогда не считалъ бы себя способнымъ, думаетъ про себя Садокъ; помогу я ему; ничего хорошаго не сдѣлалъ я во всю мою жизнь, теперь отважу ее ради столь благороднаго юноши. При видѣ его слезъ онъ самъ плачетъ: Ты разрушилъ мои планы, говоритъ онъ ему, твое великодушіе и жалобы смягчили мою суровость. Есть одинъ путь къ твоей цѣли, но опасный: черезъ нѣсколько дней настанетъ праздникъ «рыцарей», по обычаю, корзины, полныя розъ и другихъ цвѣтовъ будутъ поставлены внизу башни; явится эмиръ и возьметъ себѣ цвѣтовъ изъ каждой корзины, послѣ чего ихъ поднимутъ на верхъ, для каждой дѣвушки по его назначенію; первую и самую красивую получитъ Бьянчифьоре. Садокъ предлагаетъ

Флоріо спрятаться въ ней подъ цвѣтами, а изъ башни онъ выведетъ его позже, подъ видомъ своего служителя.

Филоколо согласенъ, такъ страстно его желаніе, что опасность ему ни по чемъ, и онъ удаляется до дня, назначеннаго ему Садокомъ.

Два лирическихъ обращенія прерываютъ разсказъ: къ любостяжанію — и Амуру; первое — по адресу Садока: онъ только что смягчился до слезъ, до человѣческаго чувства, а теперь оказывается, что любостяжаніе довело его до — сводничества.

Насталъ урочный день, Флоріо, притаившись въ корзинѣ, трепещетъ, какъ журавль въ когтяхъ сокола, какъ голубь подъ хищнымъ ястребомъ; эмиръ такъ глубоко запустилъ руку въ цвѣты, что схватилъ его за волосы, но Венера притаила его невидимой рукою. Вызвали Глорицію, прислужницу Бьянчифьоре, корзина поднята подъ ея окно; Флоріо ослышался, вообразилъ, что его приметъ Бьянчифьоре, и открылъ лицо; испуганная Глориція испустила пронзительный крикъ, но признавъ Флоріо, снова прикрыла его. Дѣвушкамъ, сбѣжавшимся на крикъ, она говоритъ, что испугана была птичкой, выпорхнувшей изъ корзины, и одна, съ помощью невидимой богини, переноситъ ее въ покой Бьянчифьоре. Пошли распросы, пока Глориція не убѣдилась окончательно, что передъ нею Флоріо. Онъ хотѣлъ-бы тотчасъ-же свидѣться съ своей милой, но это немыслимо: она выдала-бы себя; пока Флоріо долженъ ограничиться тѣмъ, что изъ сосѣдней комнаты можетъ наблюдать, что̀ будетъ происходить въ этой, куда къ Бьянчифьоре придутъ ея товарки, а когда наступитъ ночь, Глориція спрячетъ его у ложа Бьянчифьоре, за опущеннымъ пологомъ; пусть дождется, пока она заснетъ.

Оставивъ Флоріо, Глориція идетъ къ Бьянчифьоре. Она лежитъ на постели ничкомъ, предаваясь грустнымъ мыслямъ: вѣдь это день рожденія ея и Флоріо! Живъ-ли онъ, не забылъ-ли меня? Глориція утѣшаетъ ее; ей былъ сонъ, будто Флоріо явился сюда, въ одеждѣ цвѣта алой розы, и говоритъ, показывая на

спавшую Бьянчифьоре: Не могу я жить безъ моего сердца, оно у ней.—Эти рѣчи ободрили дѣвушку, которая бросается на шею Глориціи; вскорѣ явились и ея товарки; Флоріо все видитъ изъ сосѣдней комнаты, его прежняя страсть разгорѣлась. Знаешь-ли ты, Бьянчифьоре, что я здѣсь? Отчего-же не спѣшишь ты въ мои объятія? Какого-бы страху набрались мой неправедный отецъ, моя жестокая мать, еслибъ знали, въ какой опасности я обрѣтаюсь изъ-за тебя!

Когда дѣвушки удалились, Бьянчифьоре и Глориція долго еще бесѣдуютъ о Флоріо, а Бьянчифьоре осыпаетъ поцѣлуями подаренный имъ кушакъ. Желала-ли бы ты, чтобы Флоріо былъ съ тобою? спрашиваетъ ее Глориція. Бьянчифьоре испустила глубокій вздохъ; будь я свободна, говоритъ она, я не побоялась-бы пойти искать его по всему свѣту; не знаю, сдѣлалъ-ли бы онъ то-же для меня; разумѣется, я не хотѣла-бы, чтобъ онъ подвергся опасности, но если бы онъ былъ теперь со мною, смерть была-бы мнѣ ни по чемъ. Знаешь-ли, что съ тѣхъ поръ, какъ ты разсказала мнѣ о своемъ снѣ, сердце у меня забилось, лишь только я вошла въ эту комнату, и все мнѣ кажется, что Флоріо—здѣсь. Я увѣрена, что онъ меня ищетъ.

Сонъ Глорицiи не даетъ ей покоя и позже, когда она легла спать. Она плачетъ и причитываетъ: О если-бы боги дозволили мнѣ и тебѣ, чего не досталось намъ до сихъ поръ! О еслибъ ты былъ теперь въ моихъ объятіяхъ! Развѣ хорошо робкой дѣвушкѣ спать одной на столь просторномъ ложѣ? Я вся горю; помоги мнѣ, о Венера, дай мнѣ увидѣть его хотя бы въ сновидѣніи! Вотъ, я засыпаю и жажду обнять мое желанное благо.

Филоколо все это слышитъ, и ему не разъ приходитъ мысль объявить себя. Когда она заснула, онъ ложится къ ней; въ комнатѣ свѣтло отъ карбункуловъ, какъ днемъ, но Бьянчифьоре не просыпается, ей снится, что она съ Флоріо. Онъ любуется ея прелестями, боится разбудить ее и тихо зоветъ. Когда она наконецъ очнулась съ словами: Кто отнялъ тебя у меня, душа моя! она готова закричать, увидѣвъ себя въ объятьяхъ Флоріо,

но, признавъ его, приходитъ въ неописанную радость. Теперь не время разсказывать, какъ я попалъ сюда, говоритъ Флоріо, забудемъ прошлыя опасности. Бьянчифьоре озабочена предстоящей; спрашиваетъ Флоріо, при немъ-ли ея перстень; узнавъ, что онъ съ нимъ, она увѣрилась, что правдиво было обѣщаніе короля Феличе—выдать ее по прошествіи года за именитѣйшаго барона его царства. Тотъ перстень будетъ имъ вѣнчальнымъ; оба идутъ къ статуѣ Амура и молятся, колѣнопреклонясь: пусть будетъ онъ имъ Гименеемъ, ихъ Юноной. Глаза Амура засіяли, его лицо прояснилось, когда въ его присутствіи Флоріо обручился съ Бьянчифьоре, и она поцѣловала его, какъ супруга. Она зоветъ Глорицію; та пришла, точно ничего не знала; какъ намъ отпраздновать такую свадьбу безъ музыки? говоритъ она; здѣсь нѣтъ ни гидравлическихъ органовъ, ни киѳаристовъ; она стучитъ тростью по механическимъ деревьямъ, и раздалась сладкая мелодія. Когда совершился бракъ, въ покоѣ засіяли свѣточи, зажженныя не человѣческой рукой, явились Гименей и Венера и Діана, они радуются союзу, увѣнчавшему столь долгое цѣломудріе. — Бьянчифьоре разсказываетъ Флоріо, чѣмъ была для нея статуя Амура: она любила представлять себѣ, будто это — Флоріо, называла ее этимъ именемъ, вѣнчала, цѣловала ее, повѣряла свои желанія.

Мы уже знаемъ, что вся сцена ночнаго посѣщенія Флоріо спящей Бьянчифьоре — отрывокъ изъ любовной автобіографіи Боккачьо; обрученіе передъ статуей Амура напоминаетъ третью новеллу 2-го дня и 8-ю десятаго; слѣдующее за тѣмъ неожиданное появленіе эмира и обреченіе на костеръ—разсказъ о Джьянни изъ Прочиды [1]).

Прошла еще такая же ночь, когда Фортуна еще разъ обратилась противъ влюбленныхъ, учинивъ имъ бо̀льшій страхъ, чѣмъ когда либо. На третье утро послѣ того, какъ Флоріо проникъ въ башню, явился туда, влекомый неяснымъ желаніемъ,

1) Декамеронъ V, 6.

печальный эмиръ; мы въ первый разъ узнаемъ по этому поводу, что онъ, готовившій Бьянчифьоре въ подарокъ султану, самъ страстно влюбленъ въ нее. Заставъ ее въ объятіяхъ Флоріо, онъ приходитъ въ страшный гнѣвъ, готовъ поразить ихъ, но Венера невидимо принимаетъ на себя его удары, и онъ самъ отложилъ свое намѣреніе убить двухъ спящихъ. По его приказанію они, обнаженные и связанные, спущены съ башни тѣмъ самымъ путемъ, какимъ подняты были цвѣты. Въ башнѣ поднялось движеніе: дѣвушки оплакиваютъ Бьянчифьоре, и поглядѣвъ на красоту Флоріо, извиняютъ ея вину; на поляну сбѣжалось множество народа посмотрѣть на двухъ молодыхъ людей, которыхъ эмиръ велитъ продержать нѣкоторое время подвѣшенными, а затѣмъ спустить; они осуждены на костеръ. Флоріо сдерживаетъ слезы, Бьянчифьоре плачетъ, какъ чреватой влагой воздухъ обильно орошаетъ землю, когда Фебъ обрѣтается въ созвѣздіи Льва; каждый изъ нихъ винитъ самого себя, снимая отвѣтственность съ другого; Флоріо клянетъ отца и мать, Бьянчифьоре свою роковую красоту, оказывающуюся для нея гибельной[1]): Флоріо невиненъ, онъ поступилъ, какъ велѣлъ ему Амуръ, а я, преступная, не соблюла моего долга эмиру, которому подчинила меня судьба, и родители Флоріо, виня меня въ его смерти, будутъ преслѣдовать меня и въ царствѣ мрачныхъ тѣней.

Два ливійца, черные и свирѣпые, Иркускомосъ и Флаганей, зажгли недалеко отъ башни два костра; Флоріо проситъ, чтобъ ихъ обоихъ возвели на одинъ, и имъ умереть бы вмѣстѣ. Иркускомосъ притворился, что не слышалъ этой просьбы, жалость ему незнакома; Флаганей соглашается коварно. Сѣтованія Бьянчифьоре о Флоріо на кострѣ и у него вызываютъ слезы; она не хочетъ взять у Флоріо перстень, оберегающій отъ пламени; они обнимаются, и перстень спасаетъ ихъ обоихъ, приходятъ на помощь и боги: Венера отводитъ отъ нихъ дымъ на тѣхъ, что̀ стояли кругомъ, и объявившись влюбленнымъ, говоритъ, что это послѣдняя ихъ не-

1) Сл. то-же о красотѣ Алатіэль, Декамеронъ II, 7.

взгода, близокъ конецъ страданій, въ знакъ чего она оставляетъ въ ихъ рукахъ вѣтку оливы. Напрасно исполнители казни гонятъ своихъ служителей къ огню и въ дымъ, велятъ поразить Флоріо и Бьянчифьоре стрѣлами; ихъ не видно, и стрѣлы до нихъ не доходятъ.

Между тѣмъ Аскальоне, обезпокоенному отсутствіемъ Флоріо, снится, будто среди терній и крапивы онъ видитъ изрѣзанныхъ, обнаженныхъ Флоріо и Бьянчифьоре; они молятъ о помощи; видитъ ихъ затѣмъ на кострѣ. Проснувшись, онъ совѣтуется съ друзьями, хочетъ отправиться къ Садоку — узнать, что сталось съ Филоколо, когда и до нихъ дошла вѣсть, что Бьянчифьоре и какой-то юноша обречены на сожженіе. Они еще не успѣли согласиться, что̀ предпринять, когда среди нихъ явился молодой, высокій ростомъ и страшный видомъ всадникъ. Что-же вы медлите? спрашиваетъ онъ ихъ; слѣдуйте за мною, надо поскорѣе освободить Филоколо. Никто не призналъ въ юношѣ Марса, но лишь только услышали имя Флоріо, всѣ какъ безъ памяти кинулись къ оружію; такъ бѣшено мечутся быки, почуявъ ударъ тяжелой палицы.

Подъ башней происходитъ схватка; сравненія слѣдуютъ одно за другимъ: Иркускомусъ точно вепрь среди охотничьихъ псовъ, Аскальоне, ошеломленный, поднимается свирѣпо, какъ левъ, увидѣвшій собственную кровь; при видѣ Марса всѣ враги бѣгутъ, какъ передъ силой южнаго вѣтра несется легкій песокъ.

Вся долина опустѣла; Филоколо слышитъ, что шумъ стихъ, и окликаетъ подъѣхавшихъ къ костру товарищей. Бьянчифьоре узнала Аскальоне по голосу, она болѣе жаждетъ его лицезрѣнія, чѣмъ костеръ—ихъ смерти. Она и Флоріо еще окутаны дымомъ.

Когда Иркускомусъ, у котораго отрублена рука, явился къ эмиру съ разсказомъ о необычайныхъ происшествіяхъ подъ башней, тотъ пришелъ въ ярость: велитъ вооруженнымъ людямъ слѣдовать за нимъ на поляну, но у входа въ нее ихъ кони помчались обратно, у всадниковъ волосы стали дыбомъ, какъ то бываетъ съ богачомъ купцомъ, когда въ лѣсу онъ завидитъ разбой-

никовъ. Эмиръ догадывается, въ чемъ дѣло: Неладно я сдѣлалъ, говоритъ онъ себѣ, осудивъ безъ допроса молодыхъ людей. Лишь когда онъ вступилъ въ поляну безоружный, въ бѣлой одеждѣ, съ вѣткой оливы въ рукахъ, прося мира, доступъ оказался свободнымъ. Будь спокоенъ, отвѣчаетъ ему Аскальоне, вели освободить связанныхъ тобою, верни ихъ отъ безславія къ славѣ и соблюди миръ, коли не желаешь навлечь гнѣвъ боговъ и нашъ. Эмиръ посылаетъ безоружныхъ людей разсѣять дымъ, но Венера уже позаботилась объ этомъ, и молодые люди предстали передъ всѣми, свѣжіе, какъ роза, сорванная утромъ по росѣ. Ихъ облекаютъ въ драгоцѣнныя одежды, и всѣ вмѣстѣ ѣдутъ въ городъ; на вопросъ эмира, Флоріо считаетъ возможнымъ открыться: ставъ «паломникомъ любви» [1]), онъ измѣнилъ свое имя въ Филоколо; онъ разсказываетъ, кто онъ и какъ, наученный волшебнымъ хитростямъ своей матерью, которой боги открыли, чему научили Медею, онъ прилетѣлъ въ башню Бьянчифьоре и соединился съ нею въ томъ образѣ, въ какомъ Юпитеръ сочетался съ Ледой. — Такой выдумкой Флоріо, очевидно, выгораживалъ Садока. — Эмиръ приходитъ въ восторгъ: онъ дядя Флоріо по матери; отчего не открылся онъ ему ранѣе! Садокъ и Глориція, схваченные, освобождены; на другой день приносятъ жертвы богамъ и, по соглашенію съ Флоріо, эмиръ устраиваетъ брачное торжество, чтобы увѣнчать имъ тайный союзъ. На пиру многіе изъ спутниковъ Флоріо, когда-то поклявшіеся надъ павлиномъ за столомъ короля Феличе, исполняютъ свое обѣщаніе, и въ числѣ другихъ является и подарокъ Садока: кубокъ, отданный за Бьянчифьоре.

Между тѣмъ, какъ все это происходило, родители Флоріо жили въ слезахъ и печали; съ ними вмѣстѣ печалится и ихъ народъ. Былъ мѣсяцъ мартъ, десятый съ той поры, какъ Флоріо добылъ свою Бьянчифьоре, когда онъ вспомнилъ объ оставленныхъ отцѣ и матери. Онъ снаряжается въ обратный путь; когда

1) Сл. Filocolo II, стр. 262: о Боккаччьо, любовникѣ Alleiram.

онъ отправлялся на поиски за своей милой, его паруса и одежда были темнаго, фіолетоваго цвѣта, теперь то и другое бѣлое: мотивъ изъ разсказовъ о Тезеѣ и Тристанѣ. По пути они останавливаются въ Родосѣ у Беллизана и въ Сициліи у Сизифы; изъ Неаполя Флоріо отправляетъ часть своихъ людей въ Марморину съ вѣстью о своемъ возращеніи, а самъ остается, чтобы прислушаться къ автобіографическимъ откровеніямъ Идалага и превращенныхъ нимфъ и утѣшить Галеоне-Боккаччьо, огорченнаго своимъ разрывомъ съ Фьямметтой [1]). Филоколо обѣщаетъ Галеоне быть кормчимъ его ладьи, привести къ тихой гавани, и Галеоне отдается ему, провожаетъ его на дальнѣйшемъ пути и остается правителемъ ново-основаннаго города, въ которомъ легко признать Чертальдо. Во всемъ этомъ нѣтъ ничего біографическаго, кромѣ развѣ той черты, что возвращеніе Галеоне въ Тоскану отвѣтило отъѣзду Боккаччьо изъ Неаполя; вмѣстѣ съ тѣмъ мы покидаемъ и почву той романтической канвы, которой Боккаччьо слѣдовалъ до сихъ поръ, украшая ее эпизодами антикварнаго и личнаго характера. Весь конецъ V-й книги представляетъ реторическую разработку двухъ-трехъ мотивовъ основнаго разсказа, полную длиннотъ и причудливыхъ маршрутовъ и случайно связанныхъ эпизодовъ. Боккаччьо хотѣлось досказать безъ остатка исторію всѣхъ лицъ, выведенныхъ имъ въ романѣ, и онъ затормозилъ его движеніе утомительной обстоятельностью.

Филоколо начинаетъ тосковать по роднымъ и отправляется въ путь черезъ Каписъ (Капую), Теано, Сульмону [2]); ночь застаетъ ихъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ когда-то сѣтовалъ Филено, обращенный въ источникъ, а теперь совершается его обратная метаморфоза. Скажи мнѣ правду, о чемъ я тебя спрошу, говоритъ Флоріо Бьянчифьоре: любила-ли ты когда-либо Филено? Вспоминаешь-ли о немъ? Бьянчифьоре зардѣлась, но мракъ ночи

1) Сл. выше стр. 53—4, 75, 109, 162—164, 227.
2) Сл. выше стр. 17.

покрылъ ея румянецъ: Флоріо знаетъ всю правду; если ей жалко Филено, то не по любви, а потому, что онъ пострадалъ безвинно. Флоріо обѣщаетъ вернуть ему человѣческій образъ, о томъ-же молитъ его и Менедонъ; голосъ изъ источника говоритъ, что боги навѣрно совершили бы это чудо, если бы Флоріо вернулъ свое расположеніе Филено. И чѣмъ я въ сущности провинился, спрашиваетъ онъ, играя софизмомъ: вѣдь я любилъ не дѣвушку, къ которой Флоріо былъ бы расположенъ враждебно, а ту, которую онъ любилъ болѣе всего на свѣтѣ. — Флоріо согласенъ вернуть ему свою дружбу и поручаетъ Бьянчифьоре повѣдать о томъ источнику; лишь только ея образъ въ немъ отразился, какъ его обычное волненіе прекратилось и въ нѣжномъ колыханіи воды послышался голосъ, благодарившій боговъ, что та, кто была причиной его незаслуженнаго страданія, явилась вѣстницей и его спасенія. И воды стали сгущаться и въ нихъ обрисовался человѣческій образъ: передъ всѣми предсталъ Филено; красота Бьянчифьоре показалась ему обольстительнѣй прежняго, и онъ рѣшился любить ее по прежнему, тайно, ибо безъ этого чувства его жизнь не имѣетъ цѣны.

Къ этому эпизоду, доводящему до конца исторію Филено, примыкаетъ другой, посторонній: разсказъ объ основаніи Чертальдо. Путники слышатъ крики и видятъ странное зрѣлище, изображенное съ нѣсколько комическимъ шаржемъ: на берегахъ небольшой рѣчки сошлись съ той и другой стороны нестройныя толпы; вмѣсто палатокъ у нихъ вѣтви дерева, дающія имъ тѣнь; они вооружены палками, щитами изъ древесной коры, пращами и луками, стрѣлы которыхъ заострены при помощи ножа, небольшими мечами, которые гнулись при ударѣ, и копьями изъ тростника; у нихъ нѣтъ ни шлемовъ, ни коней, знамя у одной толпы бѣлое съ краснымъ, у другой того-же цвѣта въ обратномъ порядкѣ; красный цвѣтъ добытъ, очевидно, изъ овечьей крови. Это два народца, Калоны и Чиреты, одни выходцы изъ Фьезоле вмѣстѣ съ Катилиной, другіе пришли сюда позже, когда Аттила раззорилъ Флоренцію. Между старыми и новыми поселенцами происходитъ

постоянная распря изъ-за земель, и ежегодно они сходятся здѣсь для боя: кто кого вытѣснитъ. Флоріо видитъ ихъ схватку среди рѣки, достигавшей имъ до пояса, потѣшается ихъ неумѣлостью— и вмѣстѣ съ тѣмъ его разобрала жалость: онъ хочетъ помирить ихъ и соединить, построить имъ городъ, дать мудраго правителя. Съ этой цѣлью онъ держитъ рѣчь ихъ представителямъ, обѣщая имъ плоды міра и культуры; тѣ не знаютъ, что отвѣтить, пожимаютъ плечами, но закуплены обѣщаніями, готовы сдѣлать все, что онъ прикажетъ. Миръ заключенъ въ храмѣ клятвенно; Галеоне указываетъ на дубовый лѣсъ, cerreto, гдѣ быть новому городу, Чертальдо, и вѣковые деревья падаютъ подъ ударами топора; Флоріо первый приложилъ руки, помолившись богамъ, обитавшимъ въ лѣсу, простить его святотатство: онъ уготовитъ имъ лучшее обиталище.

Эта культурная картинка прерывается неожиданно: мы на географической широтѣ Чертальдо, на пути къ Веронѣ, а Глориціи вдругъ вспомнился Римъ, и она уговариваетъ Бьянчифьоре посѣтить его: тамъ ея родина, памятники римской старины. Бьянчифьоре согласна, если на то согласенъ ея Флоріо; но она не хочетъ отвлекать его отъ желанія увидаться съ родителями; поѣздку въ Римъ можно отложить. Ночью ей предстала въ видѣніи величавая жена, аллегорія Рима: въ одной рукѣ у ней вѣтка оливы, въ другой золотая держава, два грифа, казалось, уносятъ ее къ звѣздамъ, подъ ногами глобусъ съ изображеніемъ всѣхъ странъ свѣта. По сторонамъ Рима двѣ аллегорическія фигуры, очевидно, папа и императоръ: одинъ—старикъ, съ ключами въ рукахъ, возсѣдающій на агнцѣ, другой юноша, сидящій на львѣ, съ орломъ на одной рукѣ, мечомъ въ другой, которымъ онъ чертитъ что-то на глобусѣ, что̀ подъ ногами у аллегорической жены; сіяніе отъ его вѣнца, отражается и на ней и на старцѣ, а жена говоритъ: Я твой Римъ, приди къ твоему благу и къ благу мужа.

Когда Бьянчифьоре разсказала объ этомъ Флоріо, онъ рѣшается ѣхать: обвелъ плугомъ, запряженнымъ быками, город-

скую черту, а построеніе города и культуру ея жителей предоставляетъ Галеоне. Мы знаемъ, что Галеоне или Калеоне прозвище, которое усвоилъ себѣ Боккаччьо; не по связи-ли съ Калонами, древними аборигенами Чертальдо? Ты любишь жестокосердую красавицу и не любимъ, говоритъ ему Флоріо; заботы отвлекутъ тебя отъ любовныхъ мыслей, и именно такія, какія тебѣ предстоятъ: если бы я далъ тебѣ управлять народомъ болѣе благоустроеннымъ и мирнымъ, тебя это не тревожило бы, и ты остался бы при своихъ думахъ; на разныя болѣзни у медика разные пластыри. — И Галеоне остается устраивать городъ: выводитъ стѣны и башни и дома, даетъ законы и покрой одежды, обращаетъ однихъ къ изученію свободныхъ искусствъ, другихъ къ ремесламъ. Городъ выросъ на мѣстѣ пустыря; не оттуда-ли аллегорическое названіе, которое дается въ этомъ эпизодѣ Чертальдо: Calocipe, въ возможномъ греческомъ толкованіи: прекрасный вертоградъ? Городъ вскорѣ разросся, но впослѣдствіи роковымъ образомъ подпалъ власти другого правителя.

Между тѣмъ Флоріо съ товарищами остановились въ Римѣ въ гостинницѣ, у древняго Неронова дворца, а затѣмъ въ домѣ Менилія Африкана, признавшаго Аскальоне и упросившаго ихъ переѣхать къ нему. Менилій оказывается братомъ Лелія, отца Бьянчифьоре; пристыженный его радушнымъ пріемомъ, Аскальоне упрекаетъ себя, что не обнаружилъ достаточнаго мужества, когда дѣло шло о погребеніи его друга Лелія, и мало приходилъ на помощь Юліи и Бьянчифьоре. Онъ наказываетъ Глориціи не говорить Бьянчифьоре, кто ея хозяева, и открывъ это Флоріо, совѣтуетъ ему уѣхать отъ возможной бѣды, если узнаютъ, кто они. Флоріо въ восторгѣ, узнавъ, какого высокаго рода его жена, гнѣвно напоминаетъ Аскальоне, что̀ онъ когда-то говорилъ о Бьянчифьоре, и не хочетъ удалиться, не помирившись съ ея родственниками. Аскальоне совѣтуетъ обождать и скрываться, пока онъ не найдетъ случая, все уладить. Кромѣ Менилія у Бьянчифьоре оказывается еще другой дядя, Квинтилій, и тетка Клелія.

Однажды, осматривая достопримѣчательности Рима, Флоріо и Менедонъ зашли въ храмъ, украшенный именемъ того, кто первый проповѣдывалъ въ пустынѣ покаяніе, возвѣщая близость царства небеснаго. Это соборъ св. Іоанна въ Латеранѣ. Здѣсь они поражены изображеніемъ распятаго Спасителя, не зная, что это такое. Былъ тамъ священникъ, старикъ Иларій, изъ хорошаго аѳинскаго рода, пришедшій въ Римъ вмѣстѣ съ патриціемъ римскимъ Беллизаномъ, сыномъ императора Юстиньяна, недавно обращеннаго въ лоно католичества папой Агапетомъ. Къ нему-то и обратился за объясненіемъ Филоколо; тотъ пораженъ, узнавъ, что они язычники, недоумѣваетъ, какъ они здѣсь, велитъ имъ выйти, чтобы не осквернять храма.—Но чѣмъ же мы виноваты, что не вѣдаемъ твоего закона? спрашиваетъ Филоколо; если бы я внялъ ему, можетъ быть, оставилъ бы свой. Тогда Иларій излагаетъ имъ въ длинномъ поученіи суть библейско-христіанской исторіи въ связи съ исторіей другихъ царствъ, располагая то и другое по шести вѣкамъ, до сошествія св. Духа и проповѣди христіанства. Интересно, что ни въ этомъ поученіи, ни въ символѣ вѣры, который Иларій преподаетъ имъ нѣсколько дней спустя, рядомъ съ другими именами Библіи и Евангеліи нѣтъ имени І. Христа: говорится лишь о Сынѣ Божіемъ, тогда какъ Плутонъ и Юпитеръ выражаютъ понятія Бога и дьявола. — Филоколо и Менедонъ уже обращены и готовы креститься, только хотятъ переговорить съ своими товарищами, которые тотчасъ-же склоняются на краснорѣчивыя убѣжденія Филоколо, равно какъ Аскальоне и Бьянчифьоре; первый давно хотѣлъ обратиться въ христіанство и не дѣлалъ того лишь по вялости духа, а Бьянчифьоре наставила на путь истины ея святая тетка Клелія. — Прежде чѣмъ креститься, Филоколо бесѣдуетъ съ Иларіемъ наединѣ, разсказываетъ о себѣ и Бьянчифьоре, отъ которой у него шестилѣтній сынъ Лелій, и проситъ уладить его миръ съ родственниками жены. Дивится его разсказу Иларій и обнадеживаетъ его: онъ пріятель Квинтилія, подѣйствуетъ на патриція Беллизана и папу Вигилія. — Позвавъ къ себѣ Квинтилія и Менилія, Иларій гово-

ритъ имъ, что̀ слышалъ, будто-бы, отъ какого-то испанца, о судьбѣ ихъ племянницы, и что ея мужъ очень ихъ любитъ и желалъ-бы явиться къ нимъ, еслибъ былъ увѣренъ, что они не захотятъ отмстить на немъ смерть брата. Онъ представляетъ выгоды мира, не перечащія ихъ чести, и они по нѣкоторомъ колебаніи соглашаются, въ чемъ и клянутся Иларію. А онъ велитъ Филоколо и его спутникамъ выбраться куда нибудь по близости отъ Рима, чтобы имъ можно было явиться — будто изъ Испаніи. Они уѣзжаютъ въ Альбу. Въ назначенный день двѣ торжественныхъ процессіи двинулись на встрѣчу другъ другу, одна изъ Альбы, другая изъ Рима; Менилій и Квинтилій удивлены, узнавъ въ пріѣзжихъ своихъ гостей, которыхъ у воротъ города встрѣчаетъ папа Вигилій; его коня ведутъ Тиберій и Беллизанъ, сынъ императора; та-же идеальная связь имперіи и папства, что̀ и въ видѣніи Бьянчифьоре. Поѣздъ направляется въ храмъ св. Іоанна, гдѣ совершается крещеніе Филоколо и его спутниковъ, и Флоріо снова принимаетъ свое имя.

Глориція также разыскала своихъ родныхъ, которые не признаютъ ее, и вынуждена почти насильно навязаться имъ: Что это ты говоришь! кричитъ она на брата; не завираюсь я; знаю я, слава Богу, что изъ числа женщинъ я принадлежу къ скромнѣйшимъ! — Призналъ ее полузрячій старикъ отецъ; Боккаччьо нашелъ возможнымъ пристроить ее замужъ за ея бывшаго жениха, успѣвшаго жениться на другой и овдовѣть. — Аскальоне умираетъ и горячо оплаканъ Флоріо, которому папа показываетъ христіанскія святыни и мощи Рима и котораго напутствуетъ, отправивъ съ нимъ и Иларія, для проповѣди христіанства. Флоріо посылаетъ сказать отцу, что явится къ нему лишь подъ условіемъ, если и онъ приметъ его вѣру. Старый король, который все еще не знаетъ высокаго происхожденія Бьянчифьоре и продолжаетъ злоумышлять противъ нея, приходитъ въ обычную ярость, клянетъ сына, забывшаго благодѣтельныхъ боговъ; я молилъ объ его рожденіи, а мнѣ слѣдовало бы прибавить частицу in къ моему имени: Felice (счастливый): съ тѣхъ поръ, какъ онъ ро-

дился, я несчастенъ (Infelice). Онъ мой худшій врагъ, пусть никогда не является мнѣ на глаза.—Послы Флоріо уже хотятъ идти съ этою отповѣдью, но королева упрашиваетъ ихъ не передавать ея сыну: пусть явится, отецъ смягчится, лишь только его увидитъ. И самъ король проситъ ихъ о томъ-же: онъ готовъ все сдѣлать, ночью ему былъ голосъ того, «кто все можетъ», онъ грозилъ ему страшными карами. — Флоріо въѣзжаетъ въ Марморину въ бѣлой одеждѣ, не въ фіолетовой, въ которой удалился въ знакъ печали; отецъ обрадованъ царственнымъ происхожденіемъ снохи; всѣ принимаютъ христіанство; Сарра и Массалинъ являются исполнить то, что посулили Бьянчифьоре, когда клялись надъ павлиномъ. Флоріо счастливъ, одаряетъ и отпускаетъ на покой своихъ спутниковъ и проводитъ зиму, разсказывая своимъ о своихъ приключеніяхъ, рисуя тростью планъ башни Садока и т. д. Весной у него явилось желаніе посѣтить святыню св. Якова, куда не удалось доѣхать Лелію и Юліи; съ ними ѣдутъ старый король и королева, остающіеся въ Кордовѣ, тогда какъ остальные отправляются далѣе. На пути въ долинѣ бѣлѣются кости, какой-то конюшій говоритъ Флоріо, что здѣсь палъ Лелій со своими; путники остановились, разбили шатры, начинаютъ собирать кости, но какъ отобрать останки римлянъ отъ звѣриныхъ? Ночью Бьянчифьоре видитъ во снѣ отца и мать: Лелій указываетъ ей, гдѣ онъ погребенъ, а кости римлянъ они узнаютъ по красному сіянію, которое отличитъ ихъ отъ другихъ [1]). Отбери наши кости, вѣщаетъ Лелій, и схорони въ Римѣ вмѣстѣ съ моимъ тѣломъ и тѣломъ Юліи, которое вы возьмете въ Марморинѣ. — Такъ Флоріо и сдѣлалъ. — Въ Римѣ до него дошла вѣсть, что отецъ его при смерти; оставивъ Бьянчифьоре, онъ спѣшитъ въ Кордову, гдѣ на смертномъ ложѣ отецъ долго и пространно наставляетъ его въ обязанностяхъ правителя, по категоріямъ грѣ-

1) Это напоминаетъ разсказъ Kaiserchronik и житія св. Трофима о чудѣ, бывшемъ Карлу Великому подъ Арлемъ; сл. еще D'Ancona, Il Tesoro di Brunetto Latini versificato, стр. 132.

ховъ, которыхъ надо остерегаться (гордость, гнѣвъ, зависть, любостяжаніе, нерадѣніе, чревоугодіе, сладострастіе), и желательныхъ добродѣтелей (благоразуміе, правосудіе, крѣпость духа, умѣренность, милосердіе). Пусть молится по душѣ его, столь его любившей, что изъ-за него она нерѣдко бывала внѣ себя.

Романъ кончается воцареніемъ и вѣнчаніемъ Флоріо и Бьянчифьоре, при которомъ присутствуютъ Галеоне и Филено и другіе участники разсказа. Всѣ разъѣзжаются, а Иларій, вернувшись въ Римъ, пишетъ по гречески о приключеніяхъ молодого короля, счастливо зажившаго съ своей супругой.

Въ заключеніи авторъ обращается къ своей книжкѣ (piccolo mio libretto), которая была ему утѣхой въ теченіи многихъ лѣтъ: ты кончена, и тебѣ будетъ лучшей наградой, если прекрасная и доблестная дама, чье имя начертано на твоемъ челѣ, возьметъ тебя въ свои нѣжныя ручки съ привѣтомъ: добро пожаловать! можетъ быть, поцалуетъ тебя или только посмотритъ на тебя. И всякій разъ, когда она, чей образъ я постоянно храню въ моемъ влюбленномъ сердцѣ, станетъ читать твои «стихи» (versi), она будетъ поминать автора. Оставайся-же при ней, ибо *я остаться не смѣю;* не ищи бо̀льшей славы: тебя написалъ скромный (umile) юноша и тебѣ достоитъ развлечь красавицу, разжалобить и *побудить ее довольствоваться однимъ — милымъ*. Оставь сильнымъ умамъ величественные стихи Виргилія, военнымъ людямъ Лукана и Стація, Овидія тѣмъ, кто любитъ счастливо (con molta efficacia). Не желай быть тамъ, гдѣ поются мѣрные стихи флорентинца Данте; слѣдуй за нимъ почтительно, какъ малый слуга, предоставь выси великимъ умамъ, тебѣ надо летать ниже; твое дѣло доставить удовольствіе твоей дамѣ, отъ нея зависитъ — возвысить тебя или унизить; если случайно ты выйдешь изъ ея рукъ и тебя увидятъ другіе, перенеси терпѣливо замѣчанія мудрыхъ, старайся понравиться благожелательнымъ, не внимай болтовнѣ дураковъ, избѣгай уколовъ зависти, но давай ей и отпоръ. Ты сильна силой твоей дамы, тѣмъ, кто сталъ-бы противорѣчить твоему разсказу, представь прав-

дивое свидѣтельство Иларія и всенародно защити твою итальянскую рѣчь — полученнымъ тобою приказаніемъ. Живи и не забывай твоего творца, жизнь котораго Амуръ хранитъ въ рукахъ твоей дамы.

Куда дѣлась увѣренность, съ которой Боккаччьо говорилъ о «достойныхъ памяти» стихахъ Филоколо? [1]). Теперь ему вспомнилось, быть можетъ, скромное обращеніе Стація къ своей Ѳиваидѣ [2]): Живи, молю тебя, не дерзай помѣряться съ Енеидой, а слѣдуй за нею издали, поклоняясь ея слѣдамъ; если зависть омрачитъ тебя, она падетъ, и по моей смерти тебѣ еще воздадутъ достойныя хвалы [3]).—Боккаччьо присоединилъ къ имени Виргилія имя флорентинца Данте.

Послѣднее слово романа, какъ и первыя страницы, обращены къ Фьямметтѣ: она охладѣла къ Боккаччьо, но онъ все еще на что-то надѣется, какъ Идалагъ, и любитъ ее и молитъ ограничиться любовью *одного*.

Нашъ подробный анализъ Филоколо, старавшійся передать порой литературные пріемы Боккаччьо, но не гнушавшійся длиннотъ, далеко не отвѣчаетъ его поэтическому достоинству. Мы не говоримъ о поэзіи древней легенды, а о томъ, чѣмъ она стала у Боккаччьо, загроможденная автобіографическими эпизодами, рѣчами и видѣніями и миѳологическою ученостью. Что поражаетъ прежде всего — это странная неряшливость композиціи въ тѣхъ частяхъ, которыя принадлежатъ самому Боккаччьо: вспомнимъ маршрутъ скитающагося Филено, странный для автора географическаго сочиненія De Montibus и т. д., съумѣвшаго точно описать путь Филоколо изъ Сициліи въ Родосъ; вспомнимъ возвращеніе Флоріо изъ Чертальдо въ Римъ, когда путь его лежалъ

1) Сл. выше стр. 225.

2) Theb. XII, 816 слѣд.:

Vive precor; nec tu divinam Aeneida tempta,
Sed longe sequere et vestigia semper adora.
Mox, tibi si quis adhuc praetendit nubila livor,
Occidet, et meriti post me referentur honores.

на Марморину-Верону: въ Чертальдо надо было пріурочить эпизодъ о превращеніи Филено въ человѣка и разсказъ о построеніи города. Боккаччьо писалъ свою книгу нѣсколько лѣтъ: она была ему утѣхой, по скольку вызывала воспоминанія о Фьямметтѣ и—автобіографическіе эпизоды, но къ сюжету онъ охладѣлъ, и цѣльность исчезла. Изъ короткой пѣсни о любви двухъ молодыхъ людей подъ его руками выростала книга, въ четыре или пять разъ превышавшая размѣры любой изъ поэмъ, воспѣвавшихъ до него похожденія Флоріо и Бьянчифьоре; въ какомъ-бы видѣ ни затѣянъ былъ впервые пересказъ, вызванный просьбой Фьямметты, то, что вышло, очевидно не лежало въ его первоначальномъ планѣ: сюжетъ средневѣковаго романа проникнутъ матеріалами автобіографіи и обработанъ по пріемамъ и средствами классической эпопеи. Все это производитъ впечатлѣніе чего-то нагроможденнаго, не спѣвшагося, не пришедшаго въ единство; мы въ рабочей Боккаччьо: ему дали сюжетъ, и начинающій гуманистъ хочетъ показать себя, ищетъ новой формы и не находитъ ее. Въ этой затѣѣ, въ самой незаконченности романа лежитъ нашъ — историческій къ нему интересъ; второй данъ въ личномъ моментѣ, развивающемся параллельно съ главнымъ дѣйствіемъ, иногда неловко сплетающемся съ нимъ (напр. въ разсказѣ о Галеоне). На почвѣ пережитого Боккаччьо чувствовалъ себя менѣе классикомъ и болѣе поэтомъ: всѣ относящіеся сюда эпизоды принадлежатъ къ лучшимъ, есть хорошія мѣста въ вставной повѣсти о Филено, тонкія психологическія положенія въ разработкѣ сцены, когда Флоріо подвергнутъ искушеніямъ новой любви, когда бѣлый цвѣтокъ среди терній вдругъ напоминаетъ Флоріо его милую, или случайный вопросъ Кальмены: почему онъ такъ блѣденъ? заставляетъ опомниться его, уже готоваго отдаться новому увлеченію. Если сюжеты, прекрасно задуманные психологически, нерѣдко являются разведенными безбрежной реторикой, это въ стилѣ Боккаччьо, и не только начинающаго.

Боккаччьо ссылается на повѣсть о Флоріо, написанную по гре-

чески Иларіемъ; но этотъ Иларій такое же апокрифическое лицо, какъ Иларій подложнаго письма, которое Боккаччьо занесъ въ одну изъ своихъ рабочихъ, черновыхъ тетрадей (zibaldone). Мы уже знаемъ [1]), что источникомъ Филоколо была полународная балладная пѣсня, итальянская передѣлка какого-нибудь франко-итальянскаго оригинала, познакомившаго сѣверно-итальянскую публику съ содержаніемъ французскихъ поэмъ. Уже въ этомъ оригиналѣ захожій сюжетъ былъ пріуроченъ къ Италіи и говорилось о Веронѣ-Марморинѣ; въ дошедшей до насъ народной балладной пѣснѣ разсказывается о возвращеніи Флоріо въ Тоскану: это и дало поводъ Боккаччьо къ личнымъ воспоминаніямъ и эпизодамъ въ Чертальдо. Такъ создалась причудливая географія Филоколо, которой авторъ, очевидно, не смущался, какъ не смущался и историческими несообразностями, которыхъ самъ былъ виною. Арабскій король Феличе царитъ отъ Севильи и Кордовы до Вероны; его народъ — язычники, но ихъ боги римскіе, классическіе, тогда какъ въ Александріи и Вавилонѣ властвуютъ эмиръ и султанъ, а Римъ представляется Боккаччьо, вспомнившаго здѣсь Данте [2]), подвластнымъ императору Юстиньяну и папѣ Вигилію. На этой фантастической сценѣ разыгрывается сюжетъ рыцарскаго романа, который Боккаччьо развиваетъ, вводя новыя лица, мотивы и подробности; мы не говоримъ здѣсь о новыхъ, совершенно постороннихъ дѣйствію эпизодахъ. Среднимъ вѣкамъ принадлежитъ здѣсь не многое: на похвальбу за столомъ короля Феличе [3]) указано было выше; когда посланный Венерой Амуръ впервые вселилъ въ Флоріо и Бьянчифьоре неизвѣстное имъ дотолѣ желаніе, и они смущены и удивлены невѣдомымъ чувствомъ — это напоминаетъ извѣстную сцену, когда подъ вліяніемъ любовнаго напитка Тристанъ и

1) Сл. выше стр. 115 и введеніе Crescini къ Il cantare di Fiore e Biancifiore (Scelta di curiosità letterarie, Disp. 233).

2) Parad. VI, 13—18 слѣд.

3) Сл. выше стр. 204 слѣд.

Изольда внезапно возгораются другъ къ другу страстью. Имя Садока также принадлежитъ французскимъ романамъ. — Сравнительно съ средневѣковою, классическая древность дала Боккаччьо наибольшія средства развитія, тогда какъ въ прежнихъ обработкахъ романа указанія на нее не выходятъ за общій средневѣковой уровень, въ родѣ «книги Овидія», по которой Флоріо и Бьянчифьоре учатся любить. Если вообще Боккаччьо повысилъ (какъ и въ Филострато) культурную среду своего оригинала, и даже лица, у которыхъ пристаетъ Флоріо во время своихъ странствованій, обратились изъ гостинниковъ въ почтенныхъ и именитыхъ людей, то именно внесенію классической окраски надо приписать сознательно поднятый тонъ всего разсказа. Положенія и лица по возможности ороманизованы: рядомъ съ Садокомъ, Менаабомъ и немногими другими, преобладаютъ римскія имена; дѣйствующія лица цитуютъ безпрерывно примѣры классической мудрости и доблести, хорошо свѣдущи въ миѳологіи и исторіи; иныя сцены, вычитанныя изъ римскихъ поэтовъ, безъ труда укладывались въ эту псевдоклассическую травестію: намъ уже извѣстны источники двухъ эпизодовъ въ Филоколо — объ обителяхъ Ревности и Сна; но подобныхъ навѣянныхъ мотивовъ представляется нѣсколько. Разсказъ о мнимомъ взятіи Марморины [1]) является подражаніемъ Виргилію въ эпизодѣ о разрушеніи Трои и др. [2]); въ сценахъ битвы Лелія и Феличе встрѣчается рядъ виргиліевскихъ воспоминаній. Юлія, отыскивающая на полѣ тѣло мужа [3]), напоминаетъ Аргію Стація [4]), ищущую тѣло Полиника; Венера, посылающая Амура возжечь любовь въ молодыхъ людяхъ [5]) — сходную сцену Енеиды [6]); Бьянчифьоре [7]) сѣтуетъ, какъ

1) Fil. I, 20 слѣд.
2) Aen., II.
3) Fil. I, 54.
4) Thebaid. XII, 280 слѣд.; сл. ib. 105 слѣд. и III, 133 слѣд.
5) Fil. I, 77—81.
6) I, 657 слѣд.
7) I, 105 слѣд.

Дидона [1]); какъ у Виргилія Венера является сыну, чтобы вручить ему оружіе, скованное Вулканомъ [2]), такъ у Боккаччьо [3]) она отдаетъ его Флоріо; такими-же классическими параллелями [4]) навѣяна сцена, когда Флоріо и Аскальоне посвящаютъ свое оружіе Марсу въ его храмѣ [5]). Красный, окруженный огненнымъ заревомъ Марсъ — обобщеніе древняго образа [6]).

Вспомнимъ, что арабы короля Феличе — язычники классическаго типа, что они стараются быть римлянами въ обрядахъ, жертвоприношеніяхъ, вѣрѣ въ omen, что̀ не мѣшаетъ имъ ходить съ неклассическими распущенными знаменами [7]). Ихъ Олимпъ — римскій; разумѣется, это «ложные боги» [8]), но они дали своеобразное, не всегда выдержанное освѣщеніе христіанству Филоколо. Лишь въ проповѣди Иларія оно выступаетъ сколько-нибудь откровенно, въ другихъ случаяхъ является языческая травестія: Юпитеръ и Плутонъ фигурируютъ въ значеніи Бога и дьявола, Юнона—церковь, у нея намѣстникъ—папа; ап. Яковъ—на̀большій изъ божьихъ рыцарей [9]), его святой [10]), дорогой братъ Юпитера [11]), блаженный небожитель, богъ [12]). Въ своей XI-й эклогѣ (Pantheon) Боккаччьо пошелъ еще далѣе по пути такой алле-

1) IV, 304 слѣд. Слезы — вешнія воды, Filocolo II, 191; сл. Statii Thebaid. IX, 193—5.

2) Aen. VIII, 608 слѣд.

3) Fil. I, 151.

4) Aen. VII, 183, XI, 5—11; Thebaid. II, 704 слѣд.

5) Fil. I, 207—8.

6) Aen. XII, 332: Sanguineus Mavors; Statii Theb. III, 225—6: clipeique cruenta—Lux.—Бьянчифьоре представляетъ себѣ, что статуя Амура — ея Филоколо; она поступала какъ египетскій Ксирофанъ (qual Sirofane egizio fece del perduto figlioolo, Fil. II, 184). Сл. у Овидія (Heroid. XIII, 151 слѣд.) Лаодамію и ласки, которыя она расточаетъ восковому изображенію своего мужа Протезилая.

7) Fil. I, 27.

8) l. c. I, 12.

9) l. c. I, 11.

10) l. c. 16.

11) l. c. 43.

12) Beato Iddio, l. c. 50.

горіи: Іисусъ Христосъ у него Алкидъ (сходившій въ адъ), Главкъ — апостолъ Петръ; въ пѣснопѣніи Главка, обнимающемъ библейско-христіанскую исторію, Ной названъ Девкаліономъ, Лотъ, отягченный виномъ (Броміемъ), — Кинирой; Христосъ, поучающій въ храмѣ — юный Ликургъ, иначе Кодръ [1]). — Это тотъ-же пріемъ, что у Петрарки, у котораго Юпитеръ обѣщаетъ вочеловѣчиться (Africa), Христосъ — Аполлонъ, Богородица — Палесъ и Кибела [2]). Припомнимъ дантовскаго sommo Giove и языческихъ боговъ, очутившихся демонами Ада; только у Боккаччьо и Петрарки этихъ отождествленій больше: имена классическихъ боговъ, проэктируясь массой на христіанствѣ, объединяютъ древнее и новое въ какомъ-то единствѣ, удаляя сознаніе разрыва; анагогическое толкованіе миѳа [3]) сплотитъ ихъ еще тѣснѣе: легенда о Персеѣ, поразившемъ Горгону и вознесшемся на небо, изобразитъ вознесеніе Спасителя, поправшаго дьявола. Библейское прообразованіе дало форму новому, классическому.

Мы выразились о Филоколо, что это романъ въ формахъ эпопеи, только написанный прозой. Ни въ чемъ этотъ замыселъ не выразился такъ ясно, какъ въ размѣрахъ, которыя Боккаччьо даетъ вмѣшательству боговъ. Размышленія о Фортунѣ, встрѣчающіяся на всемъ протяженіи романа, не указываютъ необходимо на гуманистическіе источники; введеніе боговъ, какъ силъ, руководящихъ человѣческими дѣйствіями, прямо относитъ насъ къ типамъ Виргилія и Гомера. Боккаччьо хорошо помнитъ «гнѣвъ богини», и не разъ пользуется имъ, забывая разницу между интересомъ, который должны были возбуждать, и въ богахъ и въ людяхъ, событія троянской войны—и участь двухъ юныхъ любовниковъ. Мы поймемъ отчасти замыселъ введенія, гдѣ Юнона, явившись къ своему намѣстнику и Алекто [4]), обру-

1) Сл. Амето, стр. 154.
2) Эклоги I и II.
3) De Geneal. Deor. I, 3.
4) Сл. Aen. I, 50 слѣд.; VII, 323 слѣд.

шиваетъ свой гнѣвъ на неблагодарныхъ троянцевъ (Гогенштауфены), но когда все дѣйствіе романа обусловлено распрей Юпитера и Плутона, и, далѣе, противоположностью Венеры и Марса—и оскорбленной Діаны, это производитъ впечатлѣніе картины, исчезающей въ своей рамѣ. Все это водительство боговъ принадлежитъ вымыслу Боккачьо: старыя поэмы о Флоріо его не знаютъ, и можно ожидать, что такое перенесеніе ввысь, на Венеру и Діану, мотивовъ дѣйствія невыгодно отразится на психологіи дѣйствующихъ лицъ. Но уже въ оригиналѣ Боккачьо они, въ сущности, не дѣятельны, отданы одному роковому чувству, предоставлены судьбѣ, случаю, помощи волшебнаго перстня; вмѣсто энергіи у нихъ героизмъ выносливости. Боккачьо оставалось лишь развить этотъ типъ; въ немъ онъ выразилъ свое пониманіе любви, съ ея плотскою страстностью, которую возбуждаетъ весенняя пора [1]), и неловкими порывами къ небесному идеалу; одна сторона чувства всегда осталась ему закрытой: юная, наивная стадія любви, неясной въ своихъ вожделѣніяхъ, полной восторговъ и безплотной поэзіи. Такъ поняли начинающуюся любовь Флоріо и Бьянчифьоре авторы французской и нѣмецкой поэмъ; герои Боккачьо почти дѣти, за тѣмъ юноши, но періодъ безсознательности быстро минуетъ для нихъ съ посѣщеніемъ посланнаго Венерой Амура, и они становятся не по лѣтамъ, какъ-то старчески сознательны: Бьянчифьоре серьезно говоритъ, что она и Флоріо пропустили случай насладиться конечными восторгами любви [2]), страстно призываетъ къ себѣ милаго въ ночь передъ посѣщеніемъ въ башнѣ [3]); чувство уходитъ въ реторику и софизмъ; Флоріо силлогизируетъ между да и нѣтъ, прежде чѣмъ рѣшиться проникнуть къ милой [4]); самъ едва не поддавшись обольщеніямъ другихъ красавицъ, онъ страстно ревнуетъ къ Бьянчифьоре (напомнимъ лишь эпизодъ о Филено), а

1) Сл. Fil. I, 122, II, 149.
2) I, 103, 316.
3) II, 176—177.
4) II, 145 слѣд.

она ревнуетъ его къ полунагимъ красавицамъ Монторіо, грозится откусить носъ у своей соперницы [1]), и сама богиня Рима, представшая ей въ видѣніи, возбуждаетъ въ ней ревнивое чувство [2]). Ко всему этому не идетъ ни аллегорическое видѣніе Флоріо передъ отъѣздомъ изъ Неаполя, кончающееся въ небѣ [3]), ни его желаніе уразумѣть мірское и небесное и научиться любить то и другое по достоинству: неосуществимое желаніе, издавна тревожившее Боккаччьо [4]); ни рѣшимость Филено — любить безнадежно, ибо это облагораживаетъ его [5]).

Вокругъ двухъ главныхъ героевъ Боккаччьо сгруппировалъ другіе эпизоды любви: Филено и эмиръ пылаютъ къ Бьянчифьоре, даже вражда сенешаля, ничѣмъ не мотивированная въ другихъ версіяхъ романа, объясняется отвергнутой привязанностью; наконецъ, вся автобіографическая часть романа, проникающая частями въ его главное дѣйствіе, полна мотивовъ счастливаго и отвергнутаго чувства. Особливо бесѣды въ саду въ обществѣ Фьямметты окружены атмосферой Сна въ Лѣтнюю ночь, и въ воздухѣ летаютъ, точно ивановскіе свѣтляки, дантовскіе духи любви.

Выше мы указали [6]) въ этой сценѣ вліяніе дантовскаго стиля; въ автобіографическомъ разсказѣ о первой встрѣчѣ съ Фьямметтой, оно несомнѣнно присутствуетъ [7]); въ общемъ, вліяніе сказалось подражаніямъ нѣкоторымъ мотивамъ Vita Nuova и Божественной Комедіи, идеей Рима, объединяющаго папство и имперію, и общимъ порывомъ къ идеалистической аллегоризаціи. Боккаччьо слѣдуетъ издалека за «Флорентинцемъ Данте», какъ его смиренный служитель, но его заимствованія изъ Данте носятъ характеръ центона, часто безвкусназо. О Флоріо, трепе-

1) I, 113.
2) II, 297—8.
3) II, 121 слѣд.
4) Сл. выше стр. 229—230 и 109 (письмо отъ 28 іюля 1338 года).
5) Fil. II, 284.
6) Сл. выше стр. 168.
7) Fil. I, 5—6.

щущемъ въ корзинѣ, употреблено выраженіе Данте объ Енеѣ, сходящемъ въ преисподнюю: онъ чуть не сошелъ къ незнающимъ смерти вѣкамъ [1]); въ ночной сценѣ въ башнѣ глаза Амура блестятъ, давая понять, что онъ внялъ мольбамъ [2]); у Данте этотъ образъ примѣненъ къ Богородицѣ, внимающей св. Бернарду. Другіе дантовскіе мотивы касаются казовыхъ выраженій [3]). Въ это время уже писался Ameto: попытка реалиста подняться къ небу на крыльяхъ аллегоріи и терцины.

Когда весь интересъ отданъ былъ Флоріо и Бьянчифьоре и вопросамъ любви, немудрено, что другіе второстепенные характеры романа не обратили на себя одинаковаго вниманія автора. Въ нихъ много недодѣланнаго, односторонняго; въ Садокѣ не помирены противоположности наивной алчности и просыпающагося въ немъ человѣчнаго чувства; Глориція и Аскальоне — типы няньки-наперсницы и дядьки-педагога древней комедіи; Аскальоне добрый и услужливый старикъ, податливый на ту и другую сторону, онъ и христіанства долго не принималъ по вялости или нерѣшительности. Король и королева любятъ своего сына и ненавидятъ Бьянчифьоре, потому что она ему не ровня; королева — охотница до ковъ, хотя готова расплакаться, когда онѣ приводятся въ исполненіе; король, въ постоянномъ пароксизмѣ самодовольства или гигантскаго гнѣва, клянетъ сына и Бьянчифьоре и внезапно успокоивается, узнавъ, что она все-таки именитаго рода. Сынъ отвѣчаетъ ему такими-же страстными упреками, которые нерѣдко прерываются заявленіемъ, что Флоріо захотѣлось повидать своихъ стариковъ. Во всемъ много шаржа, свойственнаго психологіи Боккаччьо: его герои любятъ и ненавидятъ неистово, быстро переходя отъ одного аффекта къ другому; психическія движенія выражены образно, иногда дословно,

1) Fil. II, 166.
2) Ib. 182.
3) I, 22: Cosa fatta capo ha; II, 74—5: Amore moi non perdonò a niun amato; I, 338 = Vita Nuova § 23 ed. D'Ancona: обращеніе къ смерти.

когда напр. Флоріо и Бьянчифьоре падаютъ замертво, закативъ глаза и судорожно сжавъ пальцы [1]); ихъ любовь заразительна, какъ обаяніе Фьямметты на общество, бесѣдовавшее въ саду, какъ печаль Феличе, которую раздѣляетъ весь народъ; когда разнесся слухъ о смерти Бьянчифьоре, въ городѣ поднялся такой вопль, что не слышно было-бы шума борьбы боговъ съ гигантами. Мы въ мірѣ повышенныхъ ощущеній и впечатлѣній, преобладаетъ превосходная степень и постоянный, выдѣляющій слово эпитетъ; въ Декамеронѣ я ощущаю это, какъ манеру, въ Филоколо это идетъ къ общему котурну: тонкія кушанья [2]), сухія поля [3]), цѣломудренныя объятія [4]), благопріятные вѣтры и летящій корабль [5]), короткая лѣстница и сухіе пески [6]) и т. д. То-же въ Ameto: слезливая зима [7]), обоняющій [8]), не тупой носъ [9]), зубы серебряной бѣлизны, не широкая талія [10]) и др. Все это принадлежность эпическаго стиля, какъ представлялъ его себѣ Боккаччьо; той-же цѣли отвѣчаетъ накопленіе сравненій [11]), описаній [12]), обращеній и молитвъ, рѣчей и назиданій, пророческихъ видѣній и явленій боговъ. Дѣйствіе романа сплошь да рядомъ тормозится этими общими мѣстами и присущей Боккаччьо страстью къ обстоятельственности: какъ о своихъ герояхъ онъ хочетъ разсказать все, что о нихъ знаетъ, исчерпывая до мелочей всякое положеніе, такъ онъ увлекается темой бесѣды, поученія и, забывая лицо, впадаетъ въ

1) Сл. выше стр. 222—223 и Filocolo, I, 318 (con stravolti occhi e colle pugna chiuse) и 334 (con le pugna serrate e con gli occhi torti).

2) Dilicati cibi I, 15.

3) Secchi campi I, 49.

4) Casti abbracciamenti I, 65.

5) Graziosi venti — volante nave II, 233.

6) II, 234.

7) Ameto, стр. 21.

8) l. c. стр. 31.

9) l. c. стр. 32.

10) l. c. стр. 33.

11) Fil. I, стр. 29—31: камень, песъ, рѣка, лань и друг.

12) Послѣ битвы звѣри сбѣгаются на падаль, l. c., I, 64 и др.

стиль проповѣди на данную тему, полную реторическихъ длиннотъ, съ краткими афоризмами вмѣсто точекъ. Снаряжаетъ-ли Аскальоне Флоріо на бранный подвигъ, его рѣчь обращается въ поученіе, какъ держаться на поединкѣ [1]); предсмертное наставленіе Феличе—цѣлый трактатъ о достоинствахъ правителя; не забытъ и афоризмъ, когда-то высказанный королемъ сенешалю: что обязанность властителя, если онъ и огорченъ, являть подданнымъ привѣтливое чело [2]). Рядомъ съ этой противоположностью характеровъ и абстрактной морали—другая: характера и положенія. Юлія не забываетъ своей благовоспитанности даже въ моментъ, когда огорчена смертью мужа и Аскальоне хочетъ вести ее къ королю.

Всѣ эти недочеты останутся въ извѣстной мѣрѣ и за авторомъ Фьяметты и Декамерона: и шаржъ, и до мелочи выписанныя подробности, противорѣчія характеровъ и положеній, характеровъ и общихъ мѣстъ учительнаго содержанія. Въ Декамеронѣ многое сгладится: широкое наблюденіе жизни дастъ перевѣсъ реализму надъ реторикой, поставитъ Боккаччьо на почву жанра, новеллы, пристальнаго, любовнаго наблюденія ограниченнаго въ самомъ себѣ житейскаго факта. Къ поэмѣ съ широкимъ планомъ Боккаччьо былъ неспособенъ: его Филостратъ—новелла въ стихахъ, вся новеллистическая часть Филоколо, такъ или иначе связанная съ автобіографіей поэта, рѣзко отличается отъ другой, романической, съ ея внѣшней, причудливой спайкой средневѣковаго и интимнаго. И это противорѣчіе Боккаччьо побѣдитъ впослѣдствіи въ поэтическомъ синкретизмѣ своего Ninfale Fiesolano. И Ninfale и Декамеронъ одинаково вышли изъ безформенныхъ массъ Филоколо. Къ его безформенности прибавимъ и его недодѣланность; неряшливость стиля тамъ и здѣсь, повтореніе одного и того-же слова встрѣчаются и въ Декамеронѣ, которому авторъ не успѣлъ дать окончательной отдѣлки; въ Филоколо къ этому

1) I, 161 слѣд.
2) I, 63; II, 370.

присоединяются очевидныя противорѣчія: на гробницѣ Юліи начертаны слова, что она Цезарева рода, король не могъ не знать этого, какъ зналъ Аскальоне, а между тѣмъ весь романъ держится на противодѣйствіи родителей неровному браку сына. Боккаччьо видимо охладѣлъ къ своему роману, куда въ теченіе долгихъ лѣтъ вносилъ свои воспоминанія.

III.

Затѣя эпоса въ прозѣ не удалась, но Филоколо былъ школой для группы поэтическихъ произведеній, раздѣльнѣе и полнѣе разработавшихъ его формальные элементы: дантовскій аллегоризмъ и эпическій матерьялъ древности. Первый сталъ на очередь ранѣе второго, Амето (1340—1) [1]) и Любовное Видѣніе (1342) и по времени примыкаютъ къ Филоколо (—1342); и понятно почему: для объективности Тезеиды и особливо Ninfale Fiesolano Боккаччьо еще слишкомъ безпокоенъ, слишкомъ занятъ собою, своими отношеніями къ Фьяметтѣ, создавшими лучшіе эпизоды его Филоколо. Онъ переживалъ свои воспоминанія, обвиняя и оправдывая себя, надѣясь и страдая. Особенно тревожитъ его одинъ вопросъ, когда-то поставленный въ обществѣ Фьяметты: о земной, низменной любви, какъ облагораживающей, поднимающей человѣка силѣ. Боккаччьо стоялъ тогда на точкѣ зрѣнія трубадуровъ, искалъ оправданія своей реальной страсти въ общемъ мѣстѣ средневѣковой лирики; Фьяметта являлась болѣе разсудительной, рѣзко подѣляя области плоти и духа. Послѣднее слово осталось за нею [2]); это былъ укоръ и разочарованіе, удалявшіе миражъ поэзіи и возможность идеализаціи. Боккаччьо не можетъ успокоиться на этомъ, для него это вопросъ самоопредѣленія, и онъ отвѣтилъ на него — своимъ Амето.

Амето, ἄδμητος—это человѣкъ неразвитый, непосредственно-

1) Сл. указаніе Боккаччьо: что двѣ пятыхъ части 14-аго вѣка уже compiute.
2) Сл. выше стр. 167 слѣд.

простодушный, какъ сынъ пустынника въ введеніи къ 4-му дню Декамерона, Чимоне въ 1-й новеллѣ V-го дня; наивный, какъ Дафнисъ у Лонга, грубый и неотесанный, какъ Полифемъ въ идеализаціи Ѳеокрита и Овидія [1]). Суровый циклопъ, надменно кощунствующій надъ олимпійцами, полюбилъ Галатею и ощутилъ впервые, что такое любовь. Объятый страстнымъ желаніемъ, онъ пламенѣетъ, забывъ свои стада и берлоги; начинаетъ заботиться о своей наружности, хочетъ понравиться, расчесываетъ граблями свои всклокоченныя волосы, серпомъ обрѣзалъ бороду и смотрится въ воду, охорашивая свое свирѣпое лицо [2]).

Его одинокая, призывная пѣсня къ Галатеѣ — откровеніе свѣжаго, только что проснувшагося чувства. Ты — красавица, поетъ онъ, ты цвѣтешь краше луга, ты выше ольхи, свѣтлѣе кристалла, шаловливѣе молодого козленка, ... стройнѣе высокаго платана, прозрачнѣе льда, слаще спѣлаго винограда [3]).

Онъ манитъ ее къ себѣ; тебѣ будетъ хорошо: есть у меня для тебя яблоки, тяжело нависшія на сучьяхъ, есть на длинныхъ лозьяхъ гроздья винограда, золотыя и пурпурныя: тѣ и другія я берегу про тебя и т. д. [4]).

Для нея припасены у него подарки: лани, зайцы и козлы, пара голубей изъ гнѣзда, добытаго на вершинѣ дерева; нашелъ я на высокихъ горахъ двухъ мохнатыхъ медвѣжатъ, они будутъ

1) Metam. XIII.

2) 762 Quid sit amor, sentit, validaque cupidine captus,
Uritur, oblitus pecorum antrorumque suorum.
Jamque tibi formae, jamque est tibi cure placendi,
Jam rigidos pectis rastris, Polypheme, capillos,
Jam libet hirsutam tibi falce recidere barbam,
Et spectare feros in aqua et componere vultus.

3) 790 Floridior pratis, longa procerior alno,
Splendidior vitro, tenero lascivior haedo....
794 Nobilor forma ac platano conspectior alta,
Lucidior glacie, matura dulcior uva.

4) 812 sunt poma gravantia ramos,
Sunt auro similes longis in vitibus uvae,
Sunt et purpureae: tibi et has servamus et illas.

играть съ тобой; они такъ похожи другъ на друга, что ты ихъ не различишь. Нашелъ и сказалъ себѣ: припасу я ихъ для моей владычицы! [1]).

Амето — это овидіевскій Полифемъ, спустившійся къ роли пастуха виргиліевой эклоги: онъ живетъ въ природѣ, недоступенъ высшимъ порывамъ, пока его не цивилизовала и не просвѣтила любовь; показатель цѣлаго ряда другихъ юношей, также испытавшихъ благое вліяніе любви; въ извѣстной мѣрѣ — самого Боккаччьо. Являясь типомъ, отчасти навѣяннымъ литературнымъ преданіемъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ принадлежитъ флорентійской дѣйствительности: его мать была изъ семьи Нерли, жившихъ по ту сторону Арно [2]); нимфа Лія, которой онъ обязанъ своимъ превращеніемъ, аллегорія Вѣры, родилась во Флоренціи [3]); иносказательное описаніе Боккаччьо позволило приблизительно отождествить ее съ дѣйствительнымъ лицомъ, какъ и большую часть другихъ нимфъ, являющихся въ разсказѣ. Боккаччьо любитъ поэтическіе перечни красавицъ: уже въ поэмѣ его юношеской поры неаполитанскія красавицы изображены въ аллегорической охотѣ, съ ихъ именами и фамиліями [4]), въ Capitolo [5]), написанномъ, вѣроятно, въ началѣ 40-хъ годовъ, передъ поэтомъ, погруженнымъ въ сладостныя мечты любви, Амуръ выводитъ въ пляскѣ двѣнадцать прелестныхъ женщинъ, флорентинокъ, въ среду которыхъ вмѣшалась и Фьямметта: это она «угодила тебѣ стрѣлою въ сердце, оттого и теперь еще ты страдаешь», говоритъ ему Амуръ; «она такъ красива, что тому не повѣритъ никто,

1) 832 dammae leporesque caperque,
Parve columbarum, demptusve cacumine nidus:
Inveni geminos, qui tecum ludere possint,
Inter se similes, vix ut dignoscere possis,
Villosae catulos in summis montibus ursae:
Inveni et dixi: «dominae servabimus istas».

2) Ameto, стр. 181—2.

3) l. c., стр. 181.

4) La Caccia di Diana, сл. выше стр. 121—122.

5) Ed. Moutier v. XVI, p. 116 слѣд.; сл. D'Ancona Vita Nuova 2-e ed. p. 46.

кто не поглядитъ на нее твоими глазами, ибо никому не всмотрѣться столь глубоко». Подобный-же перечень встрѣтится намъ и въ Любовномъ Видѣніи; Фьямметта, какъ всюду, съ своимъ nom de guerre. Въ Амето личныя указанія не столь прозрачны: поэтъ ограничивается иносказаніемъ, описаніемъ герба и семейнаго прозвища, мѣста рожденія и т. д.; имена нимфъ вымышленныя, отчасти аллегорическія: Мопса, Емилія, Адіона, Акримонія, Агапе, Фьямметта, Лія. Всѣ онѣ влюблены и разсказываютъ о своихъ привязанностяхъ, по виду отнюдь не идеальныхъ, нерѣдко въ откровенномъ тонѣ Декамерона. Молодые люди, взысканные, иногда насильно, этой любовью, дѣлаются отъ нея лучше и выше, потому что всѣ эти любовныя похожденія надо понимать аллегорически: передъ нами уже не женщины изъ семьи Торнаквинчи или Борончелли, а три житейскихъ и четыре богословскихъ добродѣтели: Мопса — мудрость или благоразуміе, Емилія — справедливость, Адіона — умѣренность, Акримонія — нравственная крѣпость, Агапе — любовь, Фьямметта — надежда, Лія — вѣра [1]). Каждая изъ нихъ отдана культу своей богини, но всѣ онѣ взысканы Венерой — и полюбили: добродѣтель, изощренная любовью, поднимаетъ любимаго человѣка къ откровенію небесной любви, Венеры, объявляющейся въ таинственныхъ чертахъ триипостаснаго Бога.

Такова общая идея Амето, аллегоріи въ формахъ пасторали. Боккаччьо подслушалъ эту форму у Виргилія и его подражателей, но воспользовался ею самостоятельно и сталъ родоначальникомъ пасторальнаго романа въ новой Европѣ. Нѣсколько мотивовъ, напоминающихъ романъ Лонга, навѣяны сходствомъ положеній и не вызываютъ вопроса о какихъ-бы то ни было неизвѣстныхъ намъ источникахъ, тѣмъ менѣе разсказъ Низами о персидскомъ царевичѣ Бехрамѣ и его семи женахъ, одѣтыхъ каждая въ особый цвѣтъ въ соотвѣтствіи съ одной изъ семи планетъ [2]).

1) Сл. пѣснь Амето, стр. 194—6.

2) Сл. Italo Pizzi, L'Ameto persiano, Giorn stor. della lett. ital., fasc. 49, стр. 81 слѣд. и его книгу: Le somiglianze e le relazioni tra la poesia persiana e la nostra

Авторъ начинаетъ съ небольшаго введенія (Prologo): разныя случайности и превратности судьбы вызываютъ въ сердцахъ смертныхъ множество желаній; вотъ почему одни любитъ слушать про битвы, побѣды и замиренія, другія про любовныя приключенія, утѣшаясь разсказомъ о чужомъ горѣ, возбуждаясь къ великому, или къ новой любви — чтеніемъ про старую. Что до автора, онъ станетъ говорить объ Амурѣ, надѣясь, что его не осудятъ тѣ, кто съ должнымъ вниманіемъ отнесется къ прославленію любви, какъ высшей нормѣ и руководительницѣ человѣческой жизни, прославленію, повторяющему восторги Троила [1]) и разсужденія Галеоне [2]). Поэтъ будетъ пѣть про побѣды своего вождя, а слѣдовать за нимъ побуждаетъ его женщина, подобной которой по красотѣ не создали своими священными дланями ни природа, ни искусство; станетъ пѣть въ стилѣ, отвѣчающемъ его низменной долѣ, не боясь укоровъ, не какъ поэтъ, а какъ влюбленный. — Въ стихотворной пьесѣ, кончающей введеніе и написанной терцинами, какъ всѣ стихотворныя партіи Амето, авторъ обращается къ Китереѣ и Амуру, прося его «утолить *новое пламя*», которое онъ зажегъ въ его сердцѣ. А ты прелестное созданіе, donna gentile, которой душа моя подвластна, даже и въ мукахъ чувствуя себя счастливой, помолись о томъ, чтобы твой служитель могъ достойно воспѣть твою красоту. Я ничего не стою, безъ тебя — еще менѣе; да снизойдетъ на меня твоя помощь, и я покажу, что Юпитеръ поскупился для другихъ на прелести, которыми сіяешь ты и твои подруги, что̀ бесѣдовали съ тобой, подъ тѣнью цвѣтущаго лавра, въ ту сладостную пору, когда поютъ птицы. И вотъ я принимаюсь слагать разсказъ о милыхъ рѣчахъ и веселыхъ забавахъ и чудесномъ спасеніи, совершенномъ вами въ области любви, и ожидаю, что твое наитіе

del Medio Evo (Torino, 1892). Противъ сближеній автора сл. V. Crescini, Qualche appunto sopra l'Ameto del Boccaccio, Padova 1893 (оттискъ изъ Atti e Memorie Падуанской академіи, vol. IX, disp. 1, любезно доставленный мнѣ авторомъ).

1) Filostrato, III, 74; сл. выше стр. 137—8.

2) Filocolo, въ 7-мъ вопросѣ любовной бесѣды; сл. выше стр. 169—170.

доставитъ хвалу моимъ словамъ, а твоя доблесть вознесется до звѣздъ.

Какое это новое пламя и какая donna gentile возносится до звѣздъ, этотъ вопросъ можетъ быть выясненъ лишь въ концѣ слѣдующаго разбора.

Мѣсто дѣйствія Амето въ Италіи, и именно въ Этруріи, посрединѣ которой поднимается гора, въ древности называвшаяся Коритомъ (нынѣ Фьезоле). На ея склонахъ ростетъ густой боръ, который часто посѣщаетъ бродячій охотникъ Амето, чествуя жертвами фавновъ и дріадъ, точно родичей, а они въ отплату за то посылали ему въ охотѣ удачу. Однажды, нагруженный добычей, онъ остановился отдохнуть въ долинѣ, тамъ, гдѣ замираютъ въ Арно воды Муньоне; разлегся на травѣ, распахнулся, грубой рукою отеръ потъ съ лица, освѣжилъ ротъ, пожевавъ зеленыхъ листьевъ; отдохнувъ, сталъ баловаться со своими псами: кого схватитъ за морду, кого за хвостъ или за ноги, а тѣ бросаются на него, играя, вырвутъ клочекъ его небогатой одежды, а онъ сердится. Вдругъ до него донесся съ рѣки прелестный голосъ и звуки неслыханной пѣсни. Это боги спустились на землю, думаетъ онъ; я что-то замѣтилъ сегодня, да не повѣрилъ себѣ: въ лѣсу звѣрей было какъ-будто больше, солнце свѣтило ярче, гуще трава и цвѣты. Онъ хочетъ пойти поглядѣть на нихъ, принести имъ въ даръ свою добычу. Укротивъ собакъ ласкою и гнѣвнымъ взоромъ и палкой, онъ начинаетъ прислушиваться, склонивъ голову на лѣвое плечо, затѣмъ, привязавъ псовъ къ дубу, взялъ въ руки суковатую палку и идетъ по направленію голоса. На берегу рѣчки, въ тѣни кустарниковъ, онъ видитъ молодыхъ женщинъ — нимфъ; онѣ отдыхаютъ; иныя, въ любимой у Боккаччьо позѣ, бродятъ, разувшись, въ водѣ, другія, засучивъ рукава, чистятъ луки и стрѣлы, третьи прислушиваются къ пѣснѣ, которую пѣла одна изъ нихъ. Считая ихъ богинями, Амето попятился и сталъ на колѣни, не зная, что и подумать; когда собаки нимфъ набросились на него, онъ отбивается, полумертвый отъ страха: ему припомнилась судьба Актеона. Нимфы уняли собакъ, радушно

успокоили Амето, и пѣвица, Лія, снова принялась за пѣсню. Она поетъ про своего отца Кефисса, мать Лиріопу и брата Нарцисса, обращеннаго въ цвѣтокъ; онъ погибъ отъ своего жестокосердія, ибо не внималъ ни чьей любви; мнѣ же она мила, я хочу быть любимой, продолжаетъ Лія: кто пожелаетъ открыть очи сердца на мою красоту и удержать ее въ нихъ, тому я дамъ вкусить наслажденія, которое для любящихъ выше знойнаго, сильнаго желанія, и никогда не будетъ знать печали, кто разумно увлечется моей красою, какъ увлеклись тѣ, которыхъ послѣ долгихъ усилій я возвела на вершину высшаго блага. Мнѣ имя — Лія отъ моего художества, я горю въ томъ пламени, которымъ горитъ гора Цитеры. — Лія, понята, вѣроятно, въ связи съ греч. λεῖα (добыча, особенно охотничья), какъ охотница: Лія-вѣра улавливаетъ души.

Пока пѣлась пѣсня, Амето робкими шагами подошелъ ближе и, уставивъ руки и бороду на посохъ, стоялъ, какъ вкопанный, заглядѣвшись на пѣвицу; когда пѣсня кончилась, онъ очнулся отъ самозабвенія, какъ человѣкъ, внезапно разбуженный и не признающій, гдѣ онъ [1]). При видѣ его, подруги Ліи едва удержались отъ смѣха, уже показавшагося въ ихъ глазахъ; Амето едва устоялъ, не говоря ни слова, опустился на траву и весь погрузился въ созерцаніе Ліи, рѣзвившейся на лугу съ товарками. Все въ ней ему нравится; блаженъ тотъ, кому достанется ея любовь, говоритъ онъ себѣ и то считаетъ себя ея достойнымъ, то, принявшись разбирать свой грубый образъ, уличаетъ себя въ смѣлости — и снова возвращается къ первой мысли. Среди такой внутренней борьбы онъ возгорается къ той, которую до тѣхъ поръ никогда не видѣлъ, и чѣмъ яснѣе у него представленіе, что его желаніе не будетъ удовлетворено, тѣмъ сильнѣе онъ его ощущаетъ. Новичекъ и неопытный въ этомъ дѣлѣ, онъ не понимаетъ, откуда взялась у него эта страсть и что ее возбудило, и, созерцая нимфу, открываетъ незнаемые пути любви и уже начи-

1) Стр. 14; сл. Dante Purg. XI, v. 34—6.

наетъ догадываться по глазамъ красавицы, что его желаніе встрѣчено сочувствіемъ; онъ хочетъ удовлетворить его, но еще болѣе разжигаетъ, пристальнѣе взглядываясь въ тѣ глаза. Такъ, самъ не зная, что творитъ, онъ впиваетъ въ себя незнакомое ему пламя, и какъ огонь, внезапно охвативъ маслянистые предметы, то отхлынетъ отъ нихъ, то снова ихъ охватитъ, такъ приливала и отливала волнами страсть Амето [1]). Онъ передумываетъ пѣсню Ліи, ему понятны всѣ ея слова—но что такое Амуръ? Это единственный изъ боговъ, о которомъ онъ не имѣетъ понятія, а она поетъ о немъ, слѣдуетъ за нимъ; пусть онъ откроется ему, дабы онъ могъ угодить той, чьи очи заставили его забыть лѣсныя сѣни, охоту, его лукъ и псовъ. Она одна нравится мнѣ; не это-ли Амуръ? Если такъ, она дороже мнѣ всего; если нѣтъ—она все-же мнѣ мила.–Тутъ онъ спохватился: вспомнилъ о жестокой власти, которую проявляютъ красавицы, о своей свободѣ. Что-же онъ намѣревается сдѣлать съ собой? Боги да удалятъ отъ него обуявшую его страсть; она ему не къ лицу, онъ слишкомъ неотесанъ, нѣтъ у него красоты Зевса и Адониса, сокровищъ Мидаса, киѳары Орфея. — Брошу я все это, говоритъ онъ себѣ, но поглядѣлъ на Лію, и снова ему захотѣлось понравиться ей: онъ оправилъ волосы, набѣжавшіе на лицо, пригладилъ бороду, привелъ въ порядокъ дырявое платье; упрекаетъ себя въ малодушіи: почему-же ему не попытаться? Если самъ я не приглянусь, угожу дѣломъ: она охотница, я буду ей спутникомъ, стану носить ея оружіе, указывать логовища звѣрей, срывать вѣтки съ густыхъ дубовъ—на вѣнки. У него не разъ является желаніе объясниться, попытать новаго брода, но до того не допустило его свойство новаго властелина, которому онъ отдался; онъ отступилъ назадъ, и лишь загорѣлое лицо не дало разглядѣть на немъ краски стыда. Онъ спѣшитъ къ мѣсту, гдѣ оставилъ свою добычу, и подбодрившись, скрывая внутреннюю робость, приноситъ ее въ даръ Ліи, бормоча несвязныя рѣчи. Его приняли

1) Сл. выше стр. 184, прим. 2.

въ общество нимфъ, и ни шутки, ни намеки, которыхъ онъ, быть можетъ, и не понималъ, не заставили его отстать отъ нихъ до самой ночи.

Съ тѣхъ поръ всѣ мысли Амето отданы его нимфѣ; онъ клянетъ долгія ночи, лишь только забрежжетъ свѣтъ, спѣшитъ въ лѣсъ, поджидаетъ нимфъ, охотится съ ними и отдыхаетъ на берегу рѣки. Но настала «плакучая» зима, и его веселье кончилось; описаніе зимы и занятій, которыми влюбленный коротаетъ время, исправляя сѣти и охотничій снарядъ [1]), напоминаетъ эпизодъ въ романѣ Лонга, гдѣ Дафнисъ также томится, не видя Хлои. Но вотъ солнце вступило въ созвѣздіе Овна (мартъ), и снова Аметъ охотится въ лѣсахъ вмѣстѣ съ Ліей и ея подругами. Однажды, долго побродивъ и разыскавъ ее, онъ разлегся на травѣ и принялся пѣть. Его пѣсни напоминаютъ мотивы Овидіева Полифема, стиль тосканскаго stornello, и милый шаржъ ея народныхъ образовъ и сравненій идетъ къ типу наивнаго Амето: Фебъ поднялся на средину неба, всѣ ищутъ тѣни, одна лишь ты скитаешься въ солнечныхъ лучахъ. Приди-же! «Ты свѣтлѣе стекла, слаще спѣлаго винограда; я молюсь на тебя въ моемъ сердцѣ, въ которомъ постоянно тебя ощущаю. Какъ пальма поднимается въ высоту, такъ и ты; ты граціознѣе молодаго ягненка на пастбищѣ, милѣе и отраднѣе, чѣмъ студеная вода для усталаго тѣла, чѣмъ огонь для похолодѣвшихъ членовъ. Часто сравнивалъ я твои кудрявыя волосы съ сухой, золотистой соломой Цереры; если-бы не боязнь надоѣсть тебѣ, я бы вымолилъ у Юпитера, какъ высшей милости, позволенія—вѣчно глядѣть на тебя. Приди, я принесъ для тебя веселые подарки: набралъ цвѣтовъ, красивыхъ и пахучихъ, приберегъ, по моему обыкновенію, вишень — но ты медлишь, и они чай согрѣлись. Есть у меня для тебя шелковичныя ягоды, бѣлыя и красныя, какъ огонь, миндаль и сливы и земляника, славныя груши и фиги. Нашелъ я гнѣздо горлицы, такихъ красивыхъ птенчиковъ не отыскать, ты по цѣлымъ часамъ будешь заниматься ими; да еще поймалъ я двухъ зайчиковъ отъ

1) Стр. 21—3.

раненой матки, такихъ граціозныхъ, что ихъ жаль было убивать. И много еще другого принесъ я для тебя, моя красавица».

Но красавица не явилась, и Амето ушелъ, проклиная свою собственную нерасторопность.

Настали дни, посвященные издревле чествованію Венеры; народъ стекается въ храмы, особливо въ одинъ, возвышавшійся на мраморныхъ колоннахъ между Арно и Муньоне. Сюда явились нимфы, фавны и дріады, сатиры и наяды; принарядился Амето, пришла и Лія. Когда отошла служба въ храмѣ, всѣ разбрелись по тѣнистымъ мѣстамъ, кто игралъ на свирѣли, кто на киѳарѣ, иные вообразили себя такими-же судьями въ боѣ животныхъ, какъ Александръ—Парисъ; другіе занялись рукодѣльемъ. Амето не отстаетъ отъ Ліи, которая усѣлась со своими на лугу, защищенномъ отъ солнца, и тихо повела рѣчь о вышнихъ богахъ и людскихъ недостаткахъ. Не успѣла она начать, какъ явились двѣ нимфы-красавицы, которыя и подсѣли къ остальному обществу. Амето внимательно разглядываетъ ихъ, а Боккаччьо вторитъ ему точнымъ описаніемъ-портретомъ; и такъ всегда, когда явятся новыя гостьи. Съ стилемъ этихъ портретовъ мы уже знакомы по изображенію Фьямметты [1]): художникъ идетъ сверху внизъ, отъ прически до крохотныхъ ножекъ, останавливаясь на всякой подробности костюма — и того, что онъ пластически скрываетъ. Считанныя вмѣстѣ, подъ рядъ, эти описанія производятъ впечатлѣніе скуки; ихъ надо перенести на бумагу, карандашемъ, чтобы понять, сколько въ нихъ разнообразія, и признать въ Боккаччьо сильное чувство контура и складки [2]) и свѣта. Бѣлое, шитое золотомъ платье нимфы мелькаетъ промежъ деревьевъ, указывая ея путь [3]); поклонникъ гладко-прилаженныхъ прической [4]), Боккаччьо помнитъ Овидія [5]) и умѣетъ найти пре-

1) Сл. выше стр. 112—113.
2) Сл. Ameto, стр. 53—4.
3) Сл. ib. стр. 49.
4) Сл, выше, стр. 113.
5) Сл. Art. Am. II, 137 слѣд.

лесть въ волосахъ, распущенныхъ въ живописномъ безпорядкѣ: волосы — краса женщины [1]), и его художественному реализму не претитъ образъ нимфы, отирающей прекрасною ручкою и тончайшимъ платкомъ «блестящія искорки» пота, исполосившія ея лицо [2]).

Лія кончила между тѣмъ свою рѣчь, и нимфы спѣшатъ на звуки свирѣли: то пастухъ Теогапенъ слагаетъ пѣснь въ похвалу богини, которой только что принесли жертвы. Содержаніе его пѣсни какъ-бы раскрываетъ внутренній смыслъ всего, что далѣе развивается въ пасторали: это гимнъ возвышенной любви, изощряющей человѣка ко всему лучшему, дѣлающей его добродѣтельнымъ; на кого падетъ ея лучъ, тотъ пренебрегаетъ мірскимъ, бѣжитъ Вакха и Цереры и неумѣренныхъ вожделѣній плоти, его конечное стремленіе — воззойти къ вѣчному царству любви, красоты котораго вѣщаютъ Бога.

Двѣ новыхъ красавицы подошли къ Ліи; нимфы благодарятъ пѣвца: его пѣсня была имъ мила, какъ усталому сонъ на зеленомъ лугу, жаждущему студеный ключъ [3]), а Теогапенъ проситъ нимфъ, въ награду за пѣсню, быть судьями въ поэтическомъ спорѣ двухъ пастуховъ: Ахатена изъ Академіи и Альцеста изъ Аркадіи; побѣдителю достанется вѣнокъ, Теогапенъ подыгрываетъ имъ на свирѣли. Альцестъ поетъ про горы, на которыя съ зарей онъ выгоняетъ свое маленькое стадо; оно питается тощей травой, ростущей на скалахъ, пьетъ ключевую воду и бываетъ здорово, а пастухъ печется о немъ, сторожитъ ночью и бережетъ отъ вѣтра. — Ахатенъ издѣвается надъ нимъ: ему такъ нечего водить свое стадо въ горы, на роскошныхъ полянахъ вдоволь травы и пойла; ему нѣтъ дѣла до того, каково то и другое, лишь бы стадо множилось, а оно множится, есть, что и волку унесть; нѣтъ нужды сторожить овецъ или сѣтовать, что онѣ не

1) Сл. Ameto, стр. 38, 54, 121.

2) l. c. стр. 37.

3) l. c. стр. 42 сл. Virgl. Ecl. V, 45—7.

слушаются: лишь бы набить глотку и кошель. — На эту тему развивается преніе, кончающееся побѣдой Альцеста и заявленіемъ, что его противникъ не пастырь, а скорѣе врагъ своему стаду.—Пренія имѣютъ, очевидно, иносказательный смыслъ: дѣло идетъ о паствѣ душъ и о пастыряхъ, о нихъ радѣющихъ или нерадивыхъ. Это — частная аллегорія, входящая въ планъ общей: Лія также упасетъ Амета на стезяхъ спасающей любви.

Еще двѣ нимфы увеличили общество Ліи; онѣ усѣлись, вмѣстѣ съ ними Амето; долго онъ глядитъ на нихъ и затѣмъ заводитъ пѣсню: благодаритъ боговъ, что сподобили его такого блага, Амура, вырвавшаго его изъ грубой, безсознательной жизни — взорами Ліи. Подъ ея руководствомъ онъ будетъ вѣчно служить ему, броситъ охоту и звѣрей, станетъ слѣдовать за красавицами. Онъ клянетъ утраченное время, и какъ Данте въ одномъ юношескомъ сонетѣ, выражаетъ желаніе, чтобы боги навѣки оставили ихъ вмѣстѣ въ томъ положеніи, какъ теперь, юными и веселыми, безупречными, всегда пылающими огнемъ Амура.

Нимфы отдыхаютъ: та бродитъ босая въ холодныхъ струяхъ, другая, распахнувшись, машетъ на себя покрываломъ, призывая Зефира, третьей не видно въ травѣ, гдѣ она разлеглась, положивъ бѣлокурую головку на свернутый плащъ. Всѣ прислушиваются къ пѣснѣ Амето, котораго боги, должно быть, не одарили слухомъ, и хихикаютъ и шутятъ надъ нимъ. Когда онъ умолкъ, Лія повела такую рѣчь: еще солнце въ полудни, намъ нечего уходить отсюда пока оно не склонится къ западу, и нѣтъ другого развлеченія, кромѣ бесѣдъ. Ввиду нынѣшняго празднества будемъ говорить о нашихъ привязанностяхъ; такъ мы проведемъ день въ занятіи, не во снѣ и тунеядствѣ, какъ то дѣлаютъ другіе, жалкіе.—Всѣ согласились, и такъ какъ каждая изъ нихъ была почитательницей какой-нибудь богини, порѣшили, чтобы каждый разсказъ кончался хвалебнымъ ей гимномъ. Амето будетъ распорядителемъ [1]), онъ предлагаетъ начать Мопсѣ.

1) Antiste, стр. 59.

Слѣдующая часть пасторали напоминаетъ не столько извѣстныя намъ бесѣды въ саду, изображенныя въ Филоколо, сколько болѣе выработанный планъ Декамерона; Боккаччьо подходилъ къ нему постепенно. Одна нимфа за другой выступаетъ съ своей повѣстью по назначенію Амето, съ такими же пріемами, какіе характерны для зачала новеллъ Декамерона: разскащица начинаетъ нѣсколькими общими мѣстами, она смущена, готова повиноваться, говоритъ, что ей лучше было бы не сказывать послѣ новеллъ ея подругъ. Гимны, вѣнчающіе каждый разсказъ, обратились въ Декамеронѣ въ канцону, завершающую день.

Мопса начинаетъ съ нѣсколькихъ біографическихъ данныхъ о себѣ, выраженныхъ иносказательно; ясно одно, что имя ея мужа было Неронъ — а въ числѣ красавицъ, воспѣтыхъ Боккаччьо въ его Capitolo [1]), является и monna Lottiera di Neron Gigi. Съ юности отецъ посвятилъ ее служенію Палладѣ, она выросла среди музъ и отвѣдала касталійскаго источника; Палладѣ она осталась вѣрна и впослѣдствіи, когда ее выдали за нелюбимаго, некрасиваго мужа. Однажды, гуляя въ раздумьи по морскому берегу, она увидѣла въ ладьѣ прелестнаго юношу Афрона; любитель моря, не умѣя управиться, онъ и въ даль боялся пуститься и не хотѣлъ пристать къ берегу, а держась вдоль его, былъ игрушкою волнъ. Его красота обуяла Мопсу и, движимая Венерой, она принялась его звать, проситъ выйти на берегъ, не играть жизнью. Тотъ не слушаетъ ее, а она истощилась въ уговорахъ: пусть явится, она обласкаетъ его, какъ Геро Леандра; она — служительница Паллады, нимфа Парнасса, Аполлонъ открылъ ей свою мудрость, ее она повѣдаетъ ему, посвятитъ его въ тайны всего сущаго. Когда и это не помогло, она отбросивъ стыдъ, обнажила передъ нимъ свои роскошныя формы—и слышитъ голосъ Афрона: Твоя красота побѣдила меня. Онъ присталъ къ берегу и, удостоенный объятій красавицы, забылъ свою грубость, смягчился нравомъ, и нѣтъ никого, кто бы въ наше время былъ среди насъ

1) Сл. выше стр. 264—5.

славнѣе его въ искусствахъ Паллады, говоритъ Мопса, заключая свой разсказъ торжественнымъ гимномъ богинѣ, съ стилистическими воспоминаніями изъ Данте[1]).

Вспомнимъ, что Мопса — аллегорія мудрости; изощренная любовью, она просвѣщаетъ Афрона, т. е. неразумнаго. Амето такъ увлеченъ ею, что отдался бы ея служенію, если бы ему можно было отстать отъ Ліи; онъ пораженъ былъ ею одной, теперь пылаетъ къ обѣимъ.

Второй разскащицей назначена Емилія. Ея новелла интересна возбуждаемыми ею біографическими вопросами. Она любитъ Ибриду, а мы знаемъ[2]), что въ Ибридѣ Боккаччьо изобразилъ самого себя. Мы не смущаемся тѣмъ обстоятельствомъ, что въ Амето Боккаччьо является еще разъ подъ именемъ Галеоне; и въ Филоколо онъ двоится: то Идалагъ, то Галеоне. Но при Галеоне стоитъ его Фьямметта; кто такая Емилія — при Ибридѣ-Боккаччьо?

Ея отецъ родился на берегахъ Арно, мать родомъ изъ Фьезоле; отъ юности она посвятила себя Діанѣ, которой продолжаетъ служить и позже, выйдя замужъ за человѣка, избраннаго ея матерью. У нея родился сынъ, но ея бракъ неудачливъ, ибо на нее негодуетъ за культъ Діаны устроительница браковъ, Юнона. Однажды въ храмѣ Венера предстала ей и поразила ее своимъ пламенемъ; позже ей представляется видѣніе: на огненной колесницѣ, влекомой драконами, несется сіяющая, вооруженная жена, на шлемѣ гребень; она правитъ щитомъ, рядомъ съ ней пламенный, какъ она, духъ. Они мчатся стрѣлою, пытаясь проникнуть въ небо; горделивой самонадѣянностью звучатъ ихъ пѣсни: мы низвергнемъ боговъ-правителей, наша доблесть превыше звѣздъ; нѣтъ благородства тамъ, гдѣ богатство можетъ восполнить его недостатокъ; наша сильная, прекрасная молодость даетъ намъ увѣренность и крѣпость духа; до неба недалеко, и

1) Сл. Pallade nata dal superno Giove и т. д. и Par. I, 1—5.
2) Сл. выше стр. 13.

если намъ откажутъ въ доступѣ, мы сожжемъ его, какъ сжегъ Фаэтонтъ.—Емилія вдумывается въ содержаніе пѣсни, опустила глаза и видитъ: на лугу, точно Елена надъ тѣломъ Париса, сидитъ Венера надъ юношей, казавшемся бездыханнымъ, и держитъ за поводъ его коня; въ рукѣ щитъ и копье. Емилія подходитъ къ ней, молитъ повѣдать причину ея грусти и то, что случилось. Этого юношу, съ дѣтства оставленнаго мнѣ его матерью, я воспитала въ услуженіе себѣ, отвѣчаетъ богиня, поставила его себѣ рыцаремъ, и мои долгія заботы обѣщали увѣнчаться успѣхомъ, когда, подъ наитіемъ какой-то богини, онъ отсталъ отъ меня, и его духъ блуждаетъ въ пространствѣ, въ обществѣ моей обидчицы, какъ ты сама это видѣла. — Богинѣ нельзя перечить рѣшенію сверстницы, но Емилія предлагаетъ свои слабыя услуги: подошла къ юношѣ, разоружила его, отогрѣла руками, и покинувшіе его жизненные духи вернулись къ нему постепенно, въ членахъ показались слабыя движенія, точно на поверхности воды, тронутой вѣтеркомъ. Онъ очнулся, еще не владѣетъ голосомъ и знаками проситъ прощенія у богини. Та прощаетъ ему, велитъ не проступаться болѣе и налагаетъ эпитимью: онъ обязанъ слѣдовать за Емиліей, чествуя ее, какъ спасительницу своей жизни.

Богиня исчезла, а Ибрида разсказываетъ Емиліи о себѣ и о своемъ происхожденіи: предки его матери — троянцы, переселившіеся на берега Сены. Родилась она, когда протекли двѣнадцать вѣковъ и девять частей тринадцатаго [1]), «какъ теперь изъ пяти частей четырнадцатаго прошли двѣ» — что̀ опредѣляетъ 1340—1-мъ годомъ время написанія Амето. Мать Ибриды, вышедшая за военнаго человѣка (armigero di Marte), рано овдовѣла и, повѣривъ увѣщаніямъ пріѣзжаго молодца, отдалась ему; его имя, «какъ не заслуживающее извѣстности, я умалчиваю», говоритъ разскащикъ. Мы знаемъ, какими чертами характеризуетъ Боккаччьо своего отца, когда поминаетъ о его вѣроломномъ поступкѣ съ его матерью [2]). Плодомъ этой связи былъ — Ибрида;

1) Т. е. въ 1390 г.

2) Сл. выше стр. 12.

оставленная своимъ соблазнителемъ, бѣдная женщина умерла, самъ онъ женился, но боги, попустившіе вѣроломство «столь низкаго» человѣка, «обманщика», уготовили ему наказаніе, лишивъ его большей части средствъ, принесенныхъ женою, посѣтивъ смертью ее самое, ея собственныхъ (отъ перваго брака?) и общихъ дѣтей [1]).

Главными подробностями этого разсказа, поддержанными сходнымъ разсказомъ Идалага, мы уже воспользовались, говоря о дѣтствѣ Боккаччьо; слѣдующіе вызываютъ вопросъ — относительно ихъ біографической стоимости. Ибрида продолжаетъ разсказывать о себѣ: онъ выросталъ подъ охраной Венеры; отдавшись позднѣе упражненіямъ Паллады, сталъ испытывать свои силы, и такъ благосклонна была къ нему судьба, что многіе считали и считаютъ его хорошимъ бойцомъ. Но прекрасный цвѣтокъ далъ неожиданно печальный плодъ: возгордившись первыми успѣхами, Ибрида возмнилъ себя Геркулесомъ и противъ воли боговъ сталъ возноситься духомъ къ тайнамъ неба. Это — онъ былъ въ колесницѣ, явившейся Емиліи; богиня рядомъ съ нимъ, несомнѣнно, Паллада. Но небеса не раскрылись передъ нимъ, силъ у него не хватило, и ему угрожала неминуемая смерть, когда Емилія воззвала его къ жизни и обязала служить ей: пусть скажетъ, что̀ ему дѣлать. Емилія ободряетъ его трудиться и искать плодовъ на поприщѣ, на которомъ уже объявились столь прекрасные цвѣты, а она обѣщаетъ наградить его дарами, которыми располагаетъ Венера. — Разсказъ завершается хвалебною пѣснею Діанѣ.

Еслибъ совопросницей Ибриды явилась Фьямметта, мы не усомнились бы привлечь къ біографіи Боккаччьо все сказанное о похожденіяхъ Ибриды на стезяхъ Паллады. Боккаччьо съ молоду былъ подвластенъ Венерѣ, какъ Ибрида; какъ онъ, увлекался наукой: его астрономическія штудіи съ Андалоне ди Негро легко было-бы сопоставить съ аллегорическимъ полетомъ на колесницѣ

1) Ameto, стр. 77—81.

Минервы къ вратамъ неба. Фьямметта поощряла его поэтическіе опыты, какъ Емилія стремленіе Ибриды; крайнее увлеченіе наукой, которое упорядочила любовь, была бы новой чертой въ характеристикѣ поэта въ бурную пору его молодости. Въ Емиліи подозрѣвали Емильяну деи Торнаквинчи, упоминаемую въ извѣстномъ Capitolo Боккаччьо; можетъ быть, это лишь на половину дѣйствительное лицо, на половину поэтическое prête-nom, къ которому Боккаччьо пристроилъ часть своей біографіи. Героиня Тезеиды также названа Емиліей и также служительница Діаны, и Боккаччьо предоставляетъ Фьямметтѣ разгадать въ отношеніяхъ Емиліи къ одному изъ дѣйствующихъ лицъ поэмы — ихъ собственныя, извѣстныя имъ однимъ.

Какъ Емилія — аллегорія справедливости, такъ Адіона — умѣренности. Въ отличіе отъ другихъ разскащицъ она счастлива въ супружествѣ: ея мужъ поклонникъ Вертумна, какъ она Помоны, которой Боккаччьо придаетъ особое культурно-нравственное значеніе. Она ведетъ Адіону въ свой садъ, описанный еще болѣе геометрически-точно, чѣмъ въ введеніи къ 3-му дню Декамерона, съ множествомъ роскошныхъ растеній, стволами Филемона и Бавкиды, деревомъ, въ которое обращенъ былъ мальчикъ Кипарисъ — и прозаическими лукомъ и рѣпой. Наставивъ Адіону въ своемъ искусствѣ, она говоритъ ей о себѣ, что стара, какъ міръ, но что первое людское поколѣніе не находило въ ней нужды: при Сатурнѣ земля была обильнѣе всякими благами, чѣмъ жителями, люди питались желудями, питьемъ служила вода[1]), высокія деревья подавали имъ сѣнь и, какъ у животныхъ, плотскія вожделѣнія ограничены были цѣлью продолженія рода. Съ воцареніемъ Юпитера все измѣнилось: явились Церера и Вакхъ, съ ними снѣди и напитки, возбуждающія похоть; ленъ подалъ нити для охотничьихъ сѣтей, горы и глина — матерьялъ, устранившій древесныя сѣни; Минерва научила людей пряжѣ, у Амура, до тѣхъ поръ покоившагося на лонѣ матери, отросли

1) Слѣдуетъ перечисленіе историческихъ рѣкъ, Ameto, стр. 93—4.

крылья, и онъ сталъ летать по свѣту, меча свои стрѣлы. Явился Сарданапалъ и научилъ людей роскошнымъ постройкамъ [1]); гордыня гигантовъ и преступленія Девкаліона вызвали потопы и измѣненія, зло запало въ людскія души, — и я стала нужна развращенному поколѣнію и занялась своимъ садомъ.—Болѣе, чѣмъ изъ этого пессимистическаго обзора мірового развитія [2]), выясняется роль Помоны изъ гимна, которымъ заключается разсказъ: она обуздываетъ Вакха, умѣряетъ Цереру, обязываетъ Венеру предѣлами супружескаго долга; она — богиня простого, воздержнаго сельскаго быта, имя ея поклонницы Адіоны — отрицательное отъ Діоны, матери Венеры; юноша, котораго она перевоспитываетъ, названъ, наоборотъ, Діонеемъ, т. е. невоздержнымъ, какъ называетъ себя порою Боккаччьо. Венера предстала ей однажды, дохнула, и она загорѣлась, какъ на полянахъ горы Гаргано вспыхиваетъ подожженная крестьянами солома. Въ саду она встрѣчаетъ однажды красиваго юношу: онъ покоится въ тѣни, одѣтъ богато и пестро, точно женщина, не можетъ стряхнуть съ себя сна отъ излишне-принятой пищи, его движенія развязны, языкъ претыкается. Ее влечетъ къ нему, хотя сама она осуждаетъ себя за выборъ; онъ не обращаетъ на нее вниманія. Встрѣтивъ его въ храмѣ, она допрашиваетъ его, кто онъ; онъ удивляется, что она его не знаетъ, онъ всѣмъ извѣстенъ, звать его Діонео, онъ — сынъ Цереры и Вакха, и у него одно горе, что онъ не безсмертенъ, какъ боги. Адіона обѣщаетъ ему безсмертіе, пусть только повинуется ея велѣніямъ. И она начинаетъ воспитывать его: заставляетъ одѣваться просто, какъ растенія довольствуются одной одеждой, и какъ онѣ въ мѣру ищутъ влаги, такъ и она научила его умѣренности. Онъ бросилъ сонъ, сталъ бдительнымъ и воздержнымъ — и она счастлива.

Мѣсто дѣйствія новеллы на Кипрѣ, гдѣ пріурочена и извѣстная новелла о Чимоне [3]); онъ такъ же красивъ и такъ же всѣмъ

1) Сл. Div. Comm. Par. XV, 107.
2) Сл. Ovid. Metam. I.
3) Dec. V, 1.

извѣстенъ, какъ Діонео, и такъ же воспитанъ любовью, какъ Боккачьо-Діонео Фьямметтой, когда, покинувъ мелкія привязанности, онъ живетъ ею одной.

Амето между тѣмъ любуется красавицами нимфами, не зная, которой отдать предпочтеніе. Онъ еще человѣкъ плоти, и его воображеніе разыгрывается въ этомъ направленіи: онъ мысленно осязаетъ, ощущаетъ ихъ прелестныя формы, его желаніе не знаетъ мѣры; онъ готовъ открыться одной изъ красавицъ, а самъ содрагается отъ этой мысли, улыбается и краснѣетъ и не слышитъ разсказа Адіоны: пришлось обратить его вниманіе на то, что разсказъ конченъ.

Слѣдующій принадлежитъ Акримоніи. Она аллегорія нравственной крѣпости—и вмѣстѣ дѣйствительное лицо, до сихъ поръ не отождествленное, не смотря на массу аллюзій. Она родомъ изъ Сициліи, въ юности отдавалась не только пряжѣ, но и другимъ занятіямъ; опасности, грозившія любимому ею отцу отъ неблагодарной черни, побудили ее обратиться съ мольбами къ Беллонѣ, и когда богиня оказалась къ ней благосклонной, она стала ея служительницей. Шестнадцати лѣтъ ее выдали замужъ за сициліанца, хилаго юношу, вовсе не соотвѣтствовавшаго ей. Съ нимъ она переѣхала въ Римъ, и Боккачьо, по обыкновенію, подробно описываетъ ихъ маршрутъ. Здѣсь ея необычайная красота обращаетъ всеобщее вниманіе: ее зовутъ не иначе, какъ прекрасная лигурійка (la formosa Ligura), пріѣзжіе именитые люди заглядываются на нее, ухаживаютъ за нею, а она остается холодна, какъ мраморъ. Ея подруги упрекаютъ ее: пусть не раздражаетъ Венеры, которой не противостояли ни боги, ни герои; юность не возвращается, какъ рѣки не текутъ вспять, все въ мірѣ идетъ къ худшему; что станешь ты дѣлать, когда состаришься? старость или смерть — грустные предѣлы юности, и ты еще пожалѣешь, что не любила. Это общія мѣста сонетовъ Боккачьо [1]), увѣщаній

1) №№ XXXVII и LXXXII.

Пандара[1]) и старухи въ одной новеллѣ Декамерона[2]).—Но Акримонія погрѣшила не въ мѣру своей холодностью, отказавъ людямъ, которымъ нѣтъ отказа: въ Римѣ, къ престолу великаго понтифекса боговъ (= папѣ), пріѣзжаютъ со всѣхъ концовъ свѣта именитые люди, и у всѣхъ ты на примѣтѣ; за тобой ухаживаетъ сынъ Зевса, нынѣ правящій богатой рудниками Богеміи, вѣнчанный; онъ былъ бы достоинъ любой богини, говорятъ ей подруги; если онъ старъ[3]), то вѣдь и правитель цисальпинской Галліи[4]) любовался тобою и, если бы ты согласилась, выразилъ-бы тебѣ свои желанія. Онъ былъ для тебя слишкомъ знатенъ, но тебѣ былъ бы парой тотъ, кто правитъ въ Кимвріи богатыми народами Минервы: онъ всегда превозносилъ тебя, испытывалъ твои взгляды. Даже священнослужители, стерегущіе на Капитоліи алтари великаго Юпитера — и тѣ не отводятъ глазъ отъ твоей красоты; избери-же кого-нибудь, избѣгая справедливаго гнѣва Амура.—И Венера уже приготовила ей месть: Акримонія вернулась въ Сицилію, вошла однажды въ храмъ и, съ притворнымъ равнодушіемъ оглядывая всѣхъ, видитъ, что нѣтъ ея красивѣе. Всѣ смотрятъ на нее съ изумленіемъ, особливо одинъ юноша, красивый, но грубый и распущенный, по имени Апатенъ, близкій родственникъ Мопсы[5]). Онъ всюду за нею слѣдуетъ, по ночамъ поетъ ей серенады; она нечувстви-

1) Сл. выше стр. 133.

2) Декамеронъ V, 10.

3) Разумѣется, очевидно, король Іоаннъ, итальянскія отношенія котораго относятся къ 1330—1333 годамъ.

4) Che i togati Gallici regge. Въ Amorosa Visione XLII, 7 говорится объ одной красавицѣ, къ которой пылалъ (unica intendanza) «миланецъ». Историческія аллюзіи всей строфы указываютъ на битву при Альтопашьо (1325 г.), въ которой Каструччьо Кастракани и Аццо Висконти («миланецъ», правитель цисальпійскихъ галловъ?) сражались противъ войскъ Раймонда Кардона. — Столь же загадочна, какъ прекрасная лигурійка, la bella Lombarda въ Capitolo, 16 и Amorosa Visione, XL, 22; ея имя Giovanna; Catenacci (L'Amorosa Visione di G. Boccaccio, стр. 41, прим. 48) указываетъ на анаграмму Annavoi (= Iovanna) въ эпизодѣ о превращеніи нимфъ въ Филоколо (сл. выше стр. 53—4, 163—4); если ужъ оставаться на почвѣ предположеній, то можно бы припомнить и Джьованну VI-й канцоны (сл. выше стр. 125).

5) Ameto, стр. 112.

тельна, какъ всегда — пока однажды въ томъ же храмѣ, когда Апатенъ страстно молился Венерѣ о помощи, разгнѣванная богиня не предстала бывшей тамъ же Акримоніи и не пригрозила ей, если она не откроется любви и не призритъ на юношу, готоваго выйти изъ состоянія грубости, И онъ дѣйствительно воспитывается подъ вліяніемъ любви, Акримонія увлеклась имъ, а онъ, дотолѣ презрѣнный ею, имѣлъ бы право въ свою очередь презирать ее, еслибы захотѣлъ.

Пока Акримонія разсказывала и пѣла гимнъ Беллонѣ, Амето впалъ въ прежнія мысли, но его желанія приняли другой, болѣе идеальный оборотъ: онъ счастливъ уже тѣмъ, что видитъ, и мысленно благодаритъ любимую Лію, прислушивается къ разсказу нимфы и молитъ Феба замедлить свой бѣгъ, чтобы продлились бесѣды.

Красавица Агапе разгорѣлась, ея волосы распустились отъ жары, она разсказываетъ, смѣясь, громкимъ голосомъ, и ея разсказъ напоминаетъ у Боккаччьо беззастѣнчивую характеристику его отца и нѣкоторыя откровенныя страницы Декамерона, гдѣ старый, противный супругъ Агапе обратится въ плачевно-комическій типъ мессера Риччьярдо ди Кинзика [1]). О своемъ отцѣ и матери Агапе желала бы скорѣе умолчать; не будь она ихъ дочь, она сочла бы одного не заслуживающимъ памяти, другую достойной безславія. Они не заставили себя любить, ибо одинъ терзалъ народъ острыми когтями, другая, льстя языкомъ, высасывала изъ него кровь. Меня знаютъ по нимъ, точнѣе я себя не называю, продолжаетъ Агапе, очевидно, дѣйствительное лицо; дальнѣйшее упоминаніе Ахайи указываетъ, быть можетъ, на греко-итальянскія отношенія XIV-го вѣка: напомнимъ такія именно отношенія семьи Аччьяйоли [2]). Предки отца Агапе были родомъ изъ Ахайи, крестьяне, прошедшіе въ купцы; но было бы лучше, еслибъ они не бросили мотыки: молва объ ихъ роскоши,

1) Декам. II, 10.

2) Сл. выше стр. 55.

которая падетъ столь же быстро, какъ возросла, наполнила весь свѣтъ; плебеи, прошедшіе въ знать, они не знаютъ мѣры, и возгордившись своими богатствами, безпокойной мыслью стремятся къ небу, но уже близится возмездіе по дѣламъ, пока еще скрытое отъ ихъ глазъ, имѣющихъ вскорѣ смежиться на вѣки. Но къ чему пророчу я свою собственную невзгоду? прерываетъ себя разскащица. Изъ таковыхъ-то былъ ея отецъ; родители ея матери, богатые, но не знатные, занимались ростовщичествомъ и, обвѣшанные золотомъ, носили въ красномъ полѣ серебряный серпъ луны [1]). Отецъ, не обращая вниманія на презрѣнное ремесло, позарился на богатство невѣсты и женился; отъ этого брака и родилась Агапе. Ея образованіе было запущено, выдали ее замужъ за богатаго старика, видѣвшаго, быть можетъ, болѣе столѣтій, чѣмъ молодѣющій съ вѣками олень: на головѣ остатки сѣдыхъ волосъ, щеки и лобъ въ морщинахъ, длинная борода колется, какъ иглы ежа, красные, слезящіеся глаза выглядываютъ изъ подъ нависшихъ сѣдыхъ бровей, блѣдныя губы, отвисшія, какъ ослиныя уши, не скрываютъ желтыхъ, порченныхъ зубовъ, въ которыхъ много недочета; на тощей, дрожащей шеѣ кожа обвисла и болтается съ каждымъ поворотомъ головы, руки хилыя, грудь высохла. Все другое въ томъ же родѣ; позже Боккаччьо превзойдетъ это описаніе въ портретѣ вдовы Корбаччьо. Такой-то мнѣ достался мужъ, жалуется нимфамъ Агапе. Въ описаніи супружескихъ ночей есть много непереводимаго: и безсиліе грязнаго старика, страдающаго безсонницей и не дающаго спать женѣ, и его хвастливые разсказы о его прежнихъ любовныхъ похожденіяхъ, и мораль и застращиваніе, когда онъ порицаетъ шашни боговъ и говоритъ о невзгодахъ, постигшихъ тѣхъ, кто преступилъ законъ. Вотъ онъ готовъ заснуть, а онъ начинаетъ съизнова: Счастлива ты, и благосклонны были къ тебѣ боги, что ты досталась мнѣ, а не какому-нибудь молодому! Ты у меня хозяйка, все мое блаженство въ твоихъ объятіяхъ, а у юношей

1) l. c. стр. 122.

тысяча привязанностей, кто имъ ближе и доступнѣе, ту они меньше любятъ [1]), и они безумно стремятся къ чужому ложу; а Боже упаси, чтобы я когда-либо промѣнялъ тебя на другую!

Такъ проходили докучливыя ночи. Агапе рѣшается обратиться къ служенію Венеры: до тѣхъ поръ она не знала никакого божества [2]). Молится въ храмѣ и — перенесена на колесницѣ, запряженной голубями, на огненную вершину горы Цитеры, гдѣ Венера является ей въ миртовомъ лѣсу, краше той, какую изобразилъ Пракситель: она обнажена, лишь тончайшій пурпурный вуаль спускается двумя складками на лѣвое плечо, золотистые волосы лежатъ по плечамъ. Она показываетъ Агапе Амура, кующаго свои стрѣлы и закаляющаго ихъ въ серебристомъ источникѣ, описаніе котораго повторяетъ Овидія [3]). Внезапно онъ улетѣлъ; Венера увлекаетъ Агапе въ волны, цѣлуетъ ее, говоритъ, отвѣчая на ея вопросъ, что послала сына за юношей, котораго ей назначила. Онъ уже здѣсь, Агапе видитъ его среди кустовъ, онъ приближается къ нимъ, робкій и блѣдный; она застыдилась, онъ, увидѣвъ ее, измѣнился въ лицѣ и остановился. Когда богиня и Агапе одѣлись, Венера представляетъ ей Апироса: Онъ застѣнчивъ, питай тщательно пламя, которое я въ немъ зажгла, изгнавъ холодность, уподобляющую его Аглавру. Такъ она сказала, а я очнулась, полная страха, въ храмѣ передъ алтаремъ; оглянулась, чтобы посмотрѣть на Апироса, и увидѣла блѣднаго юношу, устремившаго на меня свои глаза; онъ, какъ и я, пораженъ былъ стрѣлою — и я засмѣялась.

Хвалебная пѣсня Агапе посвящена Венерѣ, чудесный свѣтъ ея горы простирается въ небо, другая часть спускается къ землѣ, все украшая на свѣтѣ, воспламеняя холодные умы къ познанію Бога, возбуждая стремленіе къ небу, сѣя братскую любовь.

1) Сл. выше стр. 134, прим. 3 и стр. 198, прим. 1.

2) Ameto, стр. 123.

3) Metam. III, v. 407—412; сл. Ameto, стр. 129—130.

Разсказъ Агапе страстно возбудилъ Амето; что бы онъ далъ, чтобы быть на мѣстѣ Апироса? Но онъ худороденъ, не богатъ, на что ему его красота? Онъ то разражается жалобами на судьбу и бѣдность, какъ Боккаччьо, то воображаетъ себя на мѣстѣ Апироса и, обращаясь къ Фьямметтѣ съ просьбой продолжать разсказы, молитъ боговъ, чтобъ ея рѣчи пришлись ему болѣе по сердцу, чѣмъ рѣчи умолкнувшей нимфы.

Фьямметта одѣта въ зеленый цвѣтъ, это ея символическій признакъ у Боккаччьо. Она говоритъ съ достоинствомъ: много у ней на памяти привязанностей, она разскажетъ о самой сильной. Разсказъ ведется издалека, съ изгнанія Сатурна, о томъ, какъ основана была древняя Партенопе — Неаполь [1]), какъ одинъ изъ предковъ ея (мнимаго) отца подчинилъ себѣ древній градъ Ювенала [2]), откуда, съ теченіемъ времени, другіе переселились въ Неаполь, гдѣ они и до сихъ поръ занимаютъ высокое положеніе при дворѣ правителя, по праву прозваннаго Мидасомъ [3]). Здѣсь ея отецъ женился на молодой француженкѣ знатнаго рода; Фьямметта не называетъ ее, а обозначаетъ аллегорически: богиня ста рѣкъ [4]).—Что слѣдуетъ далѣе въ ея повѣсти, уже послужило намъ для біографіи Боккаччьо [5]): встрѣча Роберта на балу съ матерью Фьямметты и связь съ нею; воспитаніе дѣвочки въ монастырѣ, въ услуженіи Весты; ея замужство; разсказъ, какъ Фьямметта предстала Боккаччьо въ видѣніи, въ вѣщемъ снѣ, въ церкви; отъѣздъ мужа въ Капую и ночное посѣщеніе Галеоне-Боккаччьо.—Такъ я стала его, онъ моимъ, и такъ будетъ всегда, заключаетъ Фьямметта; она любитъ одѣваться въ зеленый цвѣтъ, потому что Галеоне позналъ ее незрѣлой, не готовой для любви, прежде чѣмъ она къ нему воспылала. Ея гимнъ поетъ про небесный вѣнецъ Аріадны, который

1) Ameto, стр. 137 слѣд.

2) Аквино, сл. l. c. стр. 142.

3) Робертъ † 1343, сл. выше стр. 31.

4) Dea credo di cento fiumi.

5) Сл. выше стр. 44, 110—112, 151—2.

сулила ей Венера, если она станетъ блюсти ея огонь. Боккаччьо, очевидно, соединяетъ съ миѳомъ о золотомъ вѣнцѣ, даромъ Венеры Аріаднѣ, перенесенномъ Вакхомъ на небо въ число свѣтилъ [1])—понятіе высокаго, самоотверженнаго подвига: къ нему стремились Персей и Тезей, Брутъ и Кимонъ, Фабрицій и Цицеронъ; Дидона и Библида не наложили бы на себя рукъ, еслибъ духъ побѣдилъ въ нихъ тѣло. Я сама, заключаетъ Фьямметта, перенесла изъ-за любви всѣ печали, какія испытываетъ человѣкъ, желающій сберечь ее, выжидая, подчиняя свою волю страданіямъ —и я надѣюсь выйти съ побѣдой и насладиться ею, увѣнчанная вѣчной славой.

Такъ впервые мимолетно намѣчается новый образъ страдающей Фьямметты, приготовляющій насъ къ аллегорическимъ откровеніямъ Любовнаго Видѣнія и объективности повѣсти, которымъ кончается любовный романъ Боккаччьо: Фьямметтѣ.

Разлегшись на травѣ, опустивъ голову на лѣвую руку [2]), Амето внимательно слѣдитъ за Фьямметтой глазами и ухомъ. Ему любы разсказы о древней Партенопе, онъ слышалъ, что тамъ въ обиліи водятся молодыя, игривыя козочки, быстрыя лани и оленьи самки, пріученныя къ охотѣ: очевидно, аллюзія на аллегорическую охоту Идалага [3]). Онъ дивится смѣлости Галеоне и вмѣстѣ поощряетъ ее: изъ-за такой женщины счастье и умереть.

Послѣдній разсказъ оставался за Ліей. Когда Амето поднялъ на нее глаза, онъ внезапно пораженъ ея чудесной красотою и упрекаетъ себя въ желаніи, которое не разъ выражалъ про себя: быть на мѣстѣ Ибриды, Діонео, Калеоне. Онъ счастливъ однимъ сознаніемъ, что любитъ и любимъ.

Лія флорентинка; пользуясь тѣмъ, что солнце еще высоко и времени много, она разсказываетъ легенду объ основаніи Флоренціи. Боккаччьо любитъ возвращаться къ этой легендѣ, попу-

1) Сл. Gen. Deor. XI, 29; иначе Ovid. Fast. 3, 503; Metam. 8, 177 слѣд.

2) И Филоколо сидитъ, опустивъ голову на *львую* руку. Отмѣтимъ эту графическую подробность, опущенную въ нашемъ пересказѣ, выше стр. 214.

3) Сл. выше стр. 109.

лярной въ хроникахъ XIII—XIV вѣковъ, начиная съ Libro fiesalano; онъ коснулся ея въ Филоколо [1]) въ эпизодѣ о построеніи Чертальдо, а теперь разцвѣчиваетъ классическими именами и мотивами: на сценѣ Италъ, сынъ Корита (Фьезоле) и Ахименидъ, внукъ Лайя, мальчикомъ спасенный отъ разгрома Ѳивъ Тезеемъ; онъ основатель новыхъ Ѳивъ, имя Флюренціи дано Марсомъ въ честь Венеры; боги участвуютъ и препираются въ наименованіи города, какъ въ миѳѣ объ основаніи Аѳинъ. Далѣе разсказъ впадаетъ въ колею хроникъ, съ «жестокимъ Вандаломъ» [2]), вмѣсто обычнаго Аттилы или Тотилы, и Карломъ великимъ, третьимъ обновителемъ города. — Въ немъ родились предки Лія и она сама; съ юности преданная Цибелѣ, она воспылала пламенемъ Венеры; рано потерявъ перваго мужа, она вышла за втораго и счастлива въ бракѣ, а теперь, какъ видите, я увлекла собою Амето [3]) и сама, имъ увлеченная, излѣчила его моимъ свѣтомъ отъ духовной слѣпоты, расположила къ откровенію высокаго и неоцѣнимаго. Ея гимнъ Цибелѣ, начинающійся парафразой дантовскаго стиха [4]), вводитъ въ фантасмагорію отвлеченныхъ добродѣтелей и классическихъ богинь — элементъ христіанства. Естественный разумъ не пойметъ тайнъ, раскрытыхъ мнѣ Цибелой, если не будетъ вѣры, простодушной, не ищущей причинъ, говоритъ Лія, и ея пѣсня не что иное, какъ парафраза символа вѣры [5]), гдѣ имена Іордана и Моисея чередуются съ Плутономъ, Церера и Вакхъ символы евхаристіи, а въ концѣ выражена надежда, что душа Ліи, чистая, свободная отъ всякія скверны, увидитъ въ небѣ — свою Цибелу.

День склонялся къ вечеру, когда Лія умолкла; Амето видитъ въ небѣ битву семи бѣлыхъ лебедей и семи аистовъ, кончаю-

1) Сл. выше стр. 245.

2) Ameto, стр. 180.

3) Presi Ameto del mio piacere, стр. 181.

4) Стр. 182: O voi che avete chiari gl'intelletti; сл. стр. 68: Rendendo quinci gl'intelletti sani.

5) Сл. такую-же парафразу въ Филоколо, выше стр. 247.

щуюся побѣдою первыхъ — и не понимаетъ смысла видѣннаго имъ (очевидно, борьба добродѣтелей съ пороками), когда пораженъ явленіемъ съ неба огненнаго столба. Изъ него слышится голосъ: Я небесный свѣтъ, единый и троичный, начало и конецъ всего; кто послѣдуетъ за мною, никогда не будетъ блуждать въ юдоли мрака и печали. — Это не та Венера, которую зовутъ богиней невѣжды, живущіе своими безпорядочными вожделѣніями, а та, отъ которой нисходитъ къ смертнымъ настоящая, праведная любовь. — Лица нимфъ просвѣтились, особливо Ліи и Агапе; ободренный этимъ, Амето пытается вглядѣться въ огненный столбъ, но въ состояніи схватить лишь очертанія какого то тѣла, искрившагося, какъ желѣзо, вынутое изъ кузни. Снова слышится голосъ, побуждающій нимфъ просвѣтить затемненныя очи Амето, дабы онъ могъ пересказать людямъ, что дозволено лицезрѣть смертному. Нимфы совершаютъ надъ нимъ символическіе обряды: Лія сняла съ него грубыя одежды и, погрузивъ въ источникъ, сдала Фьямметтѣ, Мопса отерла его глаза, Емилія направила ихъ, Акримонія изощрила, Адіона одѣла его въ драгоцѣнное платье, Агапе вдохнула въ него невѣдомое пламя; устремивъ взоры на неизреченную красоту, онъ изумляется не менѣе, чѣмъ изумились Ахейцы, узрѣвъ Язона пастухомъ [1]), и уже различаетъ въ огненной колоннѣ прекрасный человѣческій обликъ, то въ одномъ, то въ нѣсколькихъ видахъ. Онъ молится триединому божеству, единственному свѣту неба и земли, что взыскалъ его такимъ благомъ: семь огней (добродѣтелей) обвили его душу, какъ плющъ обвиваетъ вязъ, сосутъ ее, но ему не больно, и онъ не старается отъ нихъ избавиться; да будетъ такъ всегда, дабы душа его безпрепятственно могла вернуться, откуда пришла, когда Атропосъ отрѣшитъ ее отъ тѣла. — Надѣйся и твори доброе, и твое желаніе исполнится, вѣщаетъ, исчезая, богиня, а нимфы поощряютъ Амето своимъ пѣснопѣніемъ: онѣ, рожденныя въ первые дни творенія на лонѣ неизреченной любви, являютъ ея свѣтъ

1) Стр. 189; сл. Parad. II, v. 16—18.

въ мірѣ, въ небѣ-же горятъ звѣздами [1]) — какъ нимфы дантовскаго Чистилища [2]), уже навѣявшаго одно изъ сновидѣній Флоріо [3]).

Теперь только Амето приходитъ къ сознанію того, чѣмъ онъ былъ и чѣмъ онъ сталъ. Ему понятнѣе пѣсни нимфъ, и онъ начинаетъ разумѣть, что̀ означалъ и гимнъ Ліи, и преніе пастуховъ; нимфы, дотолѣ нравившіяся его тѣлеснымъ очамъ, прельщаютъ теперь его духовныя очи; онъ стыдится своихъ прежнихъ вожделѣній, понимаетъ, что̀ такое любовь нимфъ, и счастливъ сознаніемъ, что въ состояніи любить многихъ. Изъ грубаго животнаго онъ сталъ человѣкомъ, и заключительная пѣснь пасторали — благодарственный гимнъ Амето къ триединому Божеству [4]), воззвавшему его къ новой жизни воздѣйствіемъ нимфъ-добродѣтелей. Повѣсть о бывшемъ съ нимъ онъ завѣщаетъ тѣмъ, кто-бы пожелалъ увлечься ими, подобно ему: пусть хранятъ его стихи отъ завистливой или небрежной руки, дабы ихъ не растеряли, не употребили бы на обертку и на другія низменныя подѣлки; пусть лучше станутъ они жертвою пламени [5]).

Стемнѣло; замолкли птицы на вѣткахъ, трели цикадъ смѣнились трещаньемъ кузнечиковъ въ разсѣлинахъ высохшей земли, на западѣ въ теплыхъ лучахъ заходившаго солнца показалась вечерняя звѣзда. Всѣ расходятся, и Амето бредетъ домой, полный веселья и любви.

Такова попытка Боккаччьо обосновать теорію платонизма на фактахъ житейской любви; попытка, въ литературномъ отношеніи, оригинальная, по смѣшенію пасторали съ аллегоріей, новеллы съ отвлеченіемъ, прозы съ дантовской терциной, рѣдко выходящей за предѣлы посредственнаго подражанія. Не смотря на эту гибридную форму, которую Боккаччьо оставитъ для реа-

1) Стр. 191: Così nel ciel ciascuna appare stella.

2) Purg. XXXI, 106: Noi sem qui ninfe e nel ciel semo stelle.

3) Сл. выше стр. 230—1.

4) O Diva luce in tre persone, стр. 194.

5) Стр. 195—6.

лизма своего Ninfale Fiesolano, Амето достигаетъ поэтическаго впечатлѣнія: надо прочесть его цѣликомъ, тогда забудутся его длинноты, слащавый реторизмъ и будничная откровенность — и въ памяти отложится идиллія, полная неясныхъ мелодій, цвѣтовъ и картинокъ природы, сказка о любви, воспитавшейся отъ наивности къ человѣчности въ границахъ благоухающаго весенняго дня подъ пологомъ лѣсовъ. Боккаччьо могъ обманывать себя на счетъ осуществимости этой сказки, но, очевидно, мы имѣемъ дѣло не съ одной лишь реторической игрой въ аллегорію, могущей раскрыть все во всемъ, а съ чѣмъ-то болѣе серьезнымъ, что̀ въ извѣстную пору волновало автора: отъ бесѣдъ въ Филоколо до Любовнаго Видѣнія одинъ и тотъ же вопросъ повторяется неизмѣнно, отражаясь своими мотивами и въ новеллѣ о Чимоне. Но въ Декамеронѣ Боккаччьо стоялъ на высотѣ своего объективнаго творчества, борьба для него прошла, вмѣстѣ съ тѣмъ отпали шлаки идеализма и аллегоризма, въ которыхъ онъ искалъ успокоить мятежное чувство, и выяснилось пластически одно положеніе, что любовь и красота поднимаютъ нравственный тонъ человѣка. Не къ такому скромному рѣшенію приготовлялъ, казалось, Амето: здѣсь вопросъ поставленъ шире, смѣлѣе и вмѣстѣ жизненнѣе; всякая кроха земной любви упала съ неба, пламя Цитеры поднимается до него и въ тоже время окутываетъ землю, міръ—гигантская лѣствица звуковъ и красокъ, снующихъ одну и туже мелодію, одинъ и тотъ же образъ, внизу они гуще и матерьяльнѣе, на верху ихъ очертанія теряются въ лонѣ божества. У Петрарки [1]) эта міровая обязательность любви представляется абстрактнѣе, у Боккачьо поражаетъ излишняя откровенность въ разсказахъ объ увлеченіи Мопсы, о супружескихъ невзгодахъ Агапе, которыя и не идутъ къ дѣлу; но Адіона счастлива въ супружествѣ, Лія во второмъ бракѣ, и обѣ горятъ Амуромъ и силою чувства поднимаютъ до своего уровня матеріалиста Діонея и непочатую натуру Амето, раскрывая передъ ними въ пер-

1) Fam. III, 11: до 1340 г.; сл. Ep. metr. II, 9.

спективѣ образъ небесной Венеры и—триединаго Бога. Образы сливаются, Боккаччьо стоитъ еще на синкретизмѣ Филоколо, но тамъ онъ не служилъ, какъ здѣсь, цѣлямъ философскаго обобщенія, и въ письмѣ къ Бартоло дель Буоно авторъ спѣшитъ подчинить свои взгляды суду «нашей матери и наставницы, святѣйшей римской церкви».

Страстный идеализмъ Амето отражаетъ психологическій моментъ, въ которомъ онъ былъ писанъ; заключительныя терцины пасторали, стоящія внѣ ея дѣйствія, и письмо къ Бартоло дель Буоно [1]) проливаютъ на него свѣтъ. Авторъ говоритъ, что, скрытый въ густой листвѣ, онъ невидимо присутствовалъ при любовной бесѣдѣ. Онъ переживаетъ положеніе своего героя, подсказываетъ ему свои желанія, когда, еще не просвѣщенный, Амето пожираетъ глазами красавицъ-нимфъ. Его взгляды должны были смущать ихъ, и авторъ готовъ показаться, чтобы помѣшать ему, но рѣшимость его оставляла, когда самъ онъ принимался созерцать нимфъ и слушалъ ихъ сладостное пѣніе. *Новое пламя обновило въ немъ старое*, заглохшее, сердце больнѣе ощутило свои раны при видѣ чужаго счастья, и *чистое* наслажденіе, которое онъ испыталъ вначалѣ, замутилось желаніемъ того, что невозможно, неосуществимо. — Полный грустныхъ мыслей, жажды смерти, онъ возвращается подъ постылый отеческій кровъ.

Прими эту розу, выросшую среди терній моего бѣдственнаго существованія, о мой единственный другъ, настоящій образецъ дружбы, пишетъ Боккаччьо къ Бартоло дель Буоно въ заключеніи Амето: я былъ въ крайней печали, когда этотъ цвѣтокъ насильно выростила изъ грубыхъ терній флорентинская красавица, доставивъ мнѣ удовольствіе — изобразить ее. Да приметъ мой ѳиміамъ богиня, помогавшая мнѣ въ этомъ трудѣ, вѣнокъ— красавица, давшая къ нему поводъ. А ты прими мою книгу, какъ свою, береги на лонѣ, какъ любовно питалъ пославшаго ее, утѣшь ласковыми словами сирую, подобно мнѣ разлученную съ своей

1) Сл. выше стр. 176.

властительницей, пока, соединившись съ нею, она не ощутитъ полноты радости.

Это послѣсловіе уясняетъ положеніе, намѣченное въ послѣднихъ терцинахъ автора. Новое пламя—не новая страсть, а обновившаяся примѣромъ другой, счастливой и идеальной, проявившей свое чистое вѣяніе на Ибридѣ, на Амето. Въ какой изъ нимфъ скрывается флорентинская красавица — мы, вѣроятно, никогда не узнаемъ: можетъ быть, въ Ліи, героинѣ пасторали, или въ Емиліи, къ которой Боккаччьо пріурочилъ часть своей біографіи. Въ томъ и другомъ случаѣ чистое наслажденіе, имъ испытанное, заставило его съ новой страстью обратиться къ памяти о своей donna gentile, идеализуя, подъ стать другимъ, ея отношенія къ Калеоне. Почему-же Калеоне несчастенъ, къ чему привело воспитаніе любовью, обѣщавшее такъ много и такъ на-долго? Въ комъ вина? Смыслъ Любовнаго Видѣнія, на нашъ взглядъ, лежитъ въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ: мы раскрываемъ еще одну любопытную страницу въ любовныхъ переживаніяхъ Боккаччьо.

IV.

Поэма затѣяна вскорѣ послѣ Амето [1]); если допустить догадку [2]), что въ 1342 году Боккаччьо снова на короткое время былъ въ Неаполѣ, то Любовное Видѣніо написано послѣ поѣздки: такъ много въ немъ неаполитанскихъ воспоминаній. Одинъ сонетъ [3]) говоритъ о возвращеніи поэта откуда-то по горамъ, лѣсамъ и долинамъ и бурному морю; его окрыляетъ надежда увидѣть свою милую, ласковую, сострадательную (pietosa) — а она почему-то на него негодуетъ, и онъ клянетъ и горы и море, что

1) На котораго ссылается въ XLI, 12. Изъ новѣйшихъ работъ о Любовномъ Видѣніи укажемъ на: Vincenzo Catenacci, L'Amorosa Visione di G. Boccaccio. Monteleone, 1892. Дантовскія заимствованія у Боккаччьо отмѣчены здѣсь особенно полно.

2) Сл. выше стр. 178.

3) Сон. LIX.

они позволили ему вернуться. Въ результатѣ явится попытка идеально пережить свою любовь. Любовное Видѣніе — это рефлексія въ терцинахъ и аллегорическомъ стилѣ, съ мотивами овидіевскихъ Метаморфозъ и Героидъ, подъ еще бо́льшимъ вліяніемъ дантовской манеры, чѣмъ Амето. Три посвятительныхъ сонета [1]), обращенныхъ къ Фьямметтѣ [2]), составлены такъ, что каждый стихъ начинается съ начальной буквы всѣхъ, послѣдовательно, терцинъ, наполняющихъ пятьдесятъ пѣсенъ поэмы [3]). Авторъ, называющій себя полнымъ именемъ [4]), искалъ утѣшенія, вспоминая образъ своей милой: это миритъ его съ самимъ собою; съ этой цѣлью онъ снова принялся за свои риѳмы и посылаетъ ихъ Фьямметтѣ въ знакъ любви: пусть оцѣнитъ ихъ по достоинству; можетъ быть, со временемъ, она и сжалится надъ нимъ.

Затѣмъ мы вступаемъ въ область видѣній, которыя покажутся Фьямметтѣ чудесными, какъ и новый (nuovo stile), т. е. аллегорическій стиль изложенія. Поэту снится, что онъ бѣжитъ въ непонятномъ страхѣ по морскому берегу, когда ему предстала величавая жена; послѣдуй за мною, говоритъ она ему, коли хочешь достигнуть неизреченнаго блага и удовлетворить всякое твое желаніе; оставь всѣ эти утѣхи [5]), пойдемъ къ тому замку на горѣ; много чудеснаго ты еще увидишь, прежде чѣмъ достигнешь вершины, гдѣ разцвѣтетъ твоя душа. Только надо идти тихо, замѣчаетъ она поэту, рьяно отозвавшемуся на ея зовъ: надо умѣрить желаніе [6]), кто спѣшитъ, нерѣдко возвращается вспять въ горѣ.—Такъ вѣщаетъ ему жена—аллегорія Разума.

Они у подножія замка; древняя стѣна преградила имъ путь;

1) Третій: sonetto doppio codato.

2) Madama Maria, cara Fiamma.

3) Каждая пѣсня содержитъ 27 терцинъ и заключительный стихъ, лишь въ послѣдней пѣснѣ терцинъ 28, замѣчаетъ Catenacci (l. c. стр. 8). На самомъ дѣлѣ за исключеніемъ 26-й (30 терцинъ), 44-й (28 терцинъ) и 50-й (31 терцина) пѣсенъ, всѣ остальныя содержатъ по 29 терцинъ.

4) Giovanni di Boccaccio da Certaldo.

5) Gran diletti, I, 17.

6) Ib.: con voler temperato, 28.

справа тѣсный проходъ, съ крутымъ подъемомъ; начертанныя слова говорятъ, что это путь жизни; это то, къ чему ты стремишься, объясняетъ поэту его спутница; слѣва просторныя ворота, за ними свѣтъ и гулъ веселья; надпись обѣщаетъ всякому вступившему богатство и санъ, славу и любовь. Аллегорическая жена хочетъ увлечь поэта направо, но онъ желалъ бы взглянуть сначала на блага, обѣщанныя лѣвой стороной: вѣдь нѣтъ грѣха въ познаніи мірского, тѣмъ отраднѣе будетъ впослѣдствіи искать небреннаго. Двое юношей выступили изъ воротъ, одинъ въ бѣлой, другой въ красной одеждѣ; это—безпокойныя, мірскія желанія; они начинаютъ уговаривать странника послѣдовать за ними: здѣсь не будетъ тебѣ недостатка въ утѣхахъ и удовольствіи, а подъ конецъ жизни ты еще поспѣешь и на горній путь. Между ними и женой завязывается борьба, каждый тянетъ поэта въ свою сторону, но онъ отдается тѣмъ тревожнымъ желаніямъ [1]), отъ которыхъ хотѣла его спасти его руководительница. Но она не оставитъ его и теперь, на пути темныхъ дѣяній.

Всѣ вмѣстѣ входятъ въ пространный голубой покой; онъ сіяетъ золотомъ, на стѣнѣ фреска: такую не написать никому, развѣ Джьотто, отъ котораго природа не скрыла ничего изъ тайнъ своего творчества [2]). Посреди изображена аллегорическая фигура Мудрости, кругомъ нея семь женъ — семь свободныхъ искусствъ, по правую руку, на зеленомъ полѣ — философы и ученые, по лѣвую поэты и историки; слѣдуетъ перечисленіе именъ, преимущественно классическихъ, въ случайномъ порядкѣ; краткія характеристики вызваны требованіемъ наполнить стихъ и отвѣтить риѳмѣ. Мудрость вѣнчаетъ лавромъ великаго поэта, и всѣ чествуютъ его: это Данте Алигьери, «властитель всякаго знанія» [3]). Боккаччьо выражаетъ по этому поводу негодованіе на Флорентинцевъ, не признавшихъ славы Флоренціи; блаженны тѣ, кто

1) Molesti disii III, 27.

2) IV, 6.

3) VI, 3; сл. выше стр. 188—9.

зналъ тебя, восклицаетъ онъ; онъ не можетъ на него наглядѣться, но его спутница увлекаетъ его далѣе — къ ряду аллегорическихъ процессій-картинъ, скорѣе напоминающихъ такія же изображенія средневѣковыхъ поэмъ, чѣмъ видѣнія въ Trionfi Петрарки. Первымъ является кортежъ мірской Славы: она въ вѣнцѣ и царскомъ облаченіи, влекома на колесницѣ; за ней тянутся длинной вереницей герои и героини античнаго міра, Библіи, древней и новой исторіи и рыцарскаго романа. Характеристики становятся подробнѣе, то или другое имя отмѣчено изреченіемъ лица, намекомъ на разсказъ о немъ; всюду своеобразная травестія антика, характерная для средневѣковыхъ графическихъ представленій языческихъ божествъ и для ранняго ренессанса, когда Орфея писали въ штанахъ въ обтяжку, въ туникѣ, съ широкими, трубой, рукавами, а Елена носила корсетъ и прическу въ видѣ башни. Такъ изображенъ у Боккаччьо Цесарь: съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ, чернымъ имперскимъ орломъ въ щитѣ и значкомъ на копьѣ. Никто мнѣ такъ не понравился, какъ онъ, говоритъ поэтъ [1]). Далѣе являются Артуръ и рыцари круглаго стола, съ Джиневрой и бѣлокурой Изоттой: она идетъ, взявъ за руку Тристана, и часто бросаетъ на него взгляды; она побѣждена любовью, точно говоритъ всѣмъ своимъ существомъ, объятая робостью: Ты единственное мое желаніе [2]). Карлъ Великій, нѣкогда столь славный, ѣдетъ на сѣромъ конѣ, еще увѣнчанный своими побѣдами въ Святой землѣ [3]); за нимъ паладины, далѣе Готфридъ и Робертъ Гвискаръ, Фридрихъ II и Барбаросса, на сильномъ бѣломъ скакунѣ, отважный и статный и надменный [4]); Карлъ I Анжу̀, съ мужественнымъ носомъ, завоеватель Апуліи: онъ гнѣвно прокладываетъ себѣ путь мечемъ; въ концѣ, печальные, Манфредъ и Конрадинъ.

За тріумфомъ Славы — торжество Богатства: жены, возсѣ-

1) X, 9 слѣд.
2) XI, 16.
3) XI, 21.
4) XI, 28—9.

дающей на золотомъ престолѣ; все на ней золотое; рядомъ гора изъ золота, серебра и драгоцѣнныхъ камней, толпа людей суетится вокругъ съ молотами, мотыками и корзинами, стараясь отбить кусокъ побольше; они ссорятся, толкаютъ и грабятъ другъ друга. Въ число историческихъ стяжателей попалъ Аттила [1]) и Неронъ [2]); много «новыхъ фарисеевъ» [3]), духовныхъ лицъ, между которыми Боккаччьо призналъ знакомыхъ [4]): они хлопочутъ вокругъ сокровища, а сами говорятъ, что имущество имъ въ тягость, и въ томъ же убѣждаютъ другихъ [5]). Много золота откололъ себѣ и припряталъ внукъ того носатаго короля [6]), иному едва удается отколупнуть малую долю ногтями: Боккаччьо узнаетъ въ немъ своего отца [7]).

Обратившись въ другую сторону, онъ видитъ на свѣжемъ лугу, среди цвѣтовъ и невиданныхъ деревьевъ, чудеснаго властелина: онъ сидитъ на двухъ орлахъ, ноги опираются на двухъ покоющихся львахъ, на золотистыхъ волосахъ вѣнокъ, золотыя крылья за плечами, въ одной рукѣ золотая и свинцовыя стрѣлы, въ другой лукъ. Это—такой же фантастическій образъ Амура, какъ въ Филоколо [8]) и въ описаніи у Франческо да Барберино [9]), которое Боккаччьо зналъ [10]); въ немъ не осталось ничего античнаго, кромѣ имени. Рядомъ съ нимъ прелестная женщина, скромная, милостивая; ея глаза сіяютъ, какъ два огонька [11]); лишь лавровый вѣнокъ отличаетъ ее отъ Амура [12]); она представляется Боккаччьо ангеломъ, Венерой; при ея видѣ его сердце робко дрогнуло, ея

1) XIII, 5.
2) Ib. 10.
3) XIV, 1.
4) Ib. 6.
5) Ib. 2; сл. Дек. III, 7, I, стр. 234 перевода.
6) Робертъ, сл. ib. 9 и выше стр. 31.
7) Ib. 15; сл. выше стр. 13.
8) Сл. выше стр. 216.
9) Въ его канцонѣ: Tractatus amoris et operum ejus.
10) Сл. Canzone I, v. 64—5 и Gen. Deor. l. IX, c. 4.
11) XV, 21.
12) Ib. 17.

мысль всегда будетъ и была отдана ей. Ему кажется, она говоритъ: Я сошла съ неба, чтобы явить вамъ въ моемъ лицѣ высшую красоту; Состраданіе моя сестра, я источникъ Милости; нѣтъ женщины, болѣе меня любящей, и нѣтъ во мнѣ мѣста негодованію. Я избранный сосудъ Амура, мнѣ не тягостны его страданія, и слѣпы тѣ, которые надѣются достичь своихъ желаній безъ труда и вздоховъ [1]). Она говорила и другое, но поэтъ не помнитъ всего: такъ онъ на нее засмотрѣлся. Имени ея онъ не услышалъ, но онъ предупреждаетъ, что увидитъ ее впослѣдствіи, въ другомъ мѣстѣ; пусть догадаются тогда желающіе узнать [2]).

Это — Фьямметта, женская ипостась Амура; Боккаччьо еще не знаетъ ея имени, какъ не зналъ и тогда, когда она предстала ему въ вѣщихъ видѣніяхъ у гробницы Виргилія, при въѣздѣ въ Неаполь, во снѣ. Въ новой обстановкѣ мы опять на почвѣ старыхъ автобіографическихъ воспоминаній, которыя Боккаччьо не устаетъ лелѣять.

Власть Амура иллюстрирована цѣлымъ рядомъ изображеній, на которыя заглядывается Боккаччьо. Здѣсь онъ могъ проявить ту начитанность въ классическихъ миѳахъ, которою надѣлилъ его впервые Паоло изъ Перуджіи; онъ разсказываетъ ихъ подробно, умиляясь и размышляя. Передъ нами проходятъ любовныя шашни Юпитера, Марса, Вакха и другихъ боговъ; басня объ Алкменѣ разсказана по передѣлкѣ плавтовскаго Амфитріона, принадлежащей Виталію изъ Блуа [3]); миѳъ о Марсѣ и Венерѣ, которыхъ засталъ Вулканъ, вызываетъ тѣ-же практическіе совѣты [4]), какъ и въ новеллѣ о королѣ Агилульфѣ [5]); разсказывается плачевная повѣсть о Пирамѣ и Тисбе [6]), любовныя приключенія Язона [7]); поэтъ умиляется пѣснѣ Орфея въ похвалу

1) XVI, 1—7.
2) l. c. 14—16.
3) XVIII, 24 слѣд.
4) XIX, 11—13.
5) Дек. III, 2, = I, стр. 197 русск. пер.
6) XX, 15 слѣд.
7) XXI.

облагораживающей силы Амура [1]), говоритъ, по поводу, о подвигахъ Иракла [2]), о судѣ Париса [3]), пересказываетъ по Виргилію блаженство и сѣтованія Дидоны [4]). Любовники рыцарскаго романа (Флоріо, Ланцелотъ, Тристанъ) упомянуты вскользь — и Боккаччьо снова устремляетъ взоры на сидѣвшую рядомъ съ Амуромъ красавицу: Да восхваленъ будетъ создавшій тебя! Если бы когда нибудь онъ снова замыслилъ сотворить нѣчто столь-же прекрасное, я увѣренъ, возвеселились бы небо и адъ, святые спустились-бы къ такому сіянію, а тѣ, что въ преисподней, устремились-бы къ нему. Счастливъ тотъ, чьи желанія направлены къ такому блаженству, если онъ не поспѣшитъ искать удовлетворенія—въ низменномъ актѣ! [5]).—Это такая же обстракція отъ всякой чувственности, какъ у Данте [6]), гдѣ источникомъ любви являются глаза Беатриче, ея цѣлью—ея уста, посылающія привѣтъ.

Какое было счастье лицезрѣть все то, что ты такъ хулила! говоритъ поэтъ, обращаясь къ своей руководительницѣ, а она продолжаетъ убѣждать его, что все это обманъ, и онъ заблуждается, истинное благо можно обрѣсти лишь на тѣсномъ пути; я покажу тебѣ, въ какую печаль и плачъ обратились слава и веселыя пѣсни людей, возлагавшихъ свою надежду на Фортуну. И она ведетъ его въ слѣдующій покой, гдѣ изображена Фортуна, съ завязанными глазами, то веселая, то печальная; она вращаетъ колесо, люди взбираются на его верхъ и падаютъ, а она не внемлетъ ни чьимъ просьбамъ, точно глухая. Она и мнѣ враждебна съ колыбели, говоритъ поэтъ; а ты еще обуреваемъ желаніемъ мірскихъ благъ? смѣется его руководительница; вѣдь счастливѣе всего тѣ, къ которымъ она неблагосклонна. Люди

1) XXIII, 10.
2) XXVI, 14 слѣд.
3) XXVII, 1 слѣд.
4) XXVIII.
5) XXIX, 23.
6) Vita Nuova, XIX.

взываютъ къ ней, прося кто богатства, кто славы, кто именитаго рода, не зная, сколько сопряжено съ ними горя и безпокойства [1]); что до благородства, то податель его не доля, а доблесть [2]). Передъ поэтомъ возстаютъ въ картинѣ образы людей, возвеличенныхъ и сброшенныхъ Фортуной, Александръ Великій и Сципіонъ, Діонисій Сиракузскій и Цесарь [3]): сюжетъ, издавна занимавшій автора — до мрачнаго пессимизма его книги о Роковой участи именитыхъ людей.

Поэтъ видимо убѣдился, теперь онъ горитъ желаніемъ пойти туда, куда обѣщаетъ повести его чудесная жена. Они идутъ; по дорогѣ въ дверь налѣво виденъ цвѣтущій садъ, изъ котораго несутся веселыя пѣсни. Войдемъ туда и отдохнемъ, говоритъ поэтъ; юноши побуждаютъ его; онъ колеблется, потому что руководительница его отговариваетъ: вижу я, что ты во всемъ хочешь слѣдовать твоему влеченію; пойдемъ, но ты еще можешь раскаяться и когда захочешь вернуться со мною, я оставлю тебя одного въ страданіяхъ.

Слѣдущія пѣсни [4]) вводятъ насъ снова въ область лично-пережитаго; та-же знакомая повѣсть любви, только въ другой обстановкѣ и съ новымъ освѣщеніемъ.

Путникамъ представляется на зеленомъ лугу большой фонтанъ, украшенный изваяніями; четыре женскихъ, очевидно аллегорическихъ фигуръ [5]) поддерживаютъ чашу изъ краснаго мрамора, изъ нея поднимается круглая, точно алмазная колонна, увѣнчанная золотой капителью, на которой стоитъ группа изъ трехъ женщинъ, обращенныхъ другъ къ другу спиною: одна изъ нихъ бѣлая, другая красная, третья черная. Онѣ-то и источаютъ воду; та, что исходитъ отъ бѣлой фигуры, выйдя черезъ львиную

1) XXXII; сл. Дек. II, 7 начало.

2) XXXIII; сл. Filostrato VII, 99; Filocolo, сл. выше стр. 207; Дек. IV, 1, 8; Corbaccio, стр. 199 слѣд.

3) XXXIV—XXXVII, 7.

4) XXXIX слѣд.

5) Четыре житейскихъ добродѣтели; сл. выше стр. 231—2.

пасть, струится медленно въ берегахъ, не знающихъ осени и отцвѣта, вѣчно приносящихъ цвѣты и плоды. Влага отъ красной статуи истекаетъ изъ головы быка, и отъ нея все зеленѣетъ и живетъ, но не постоянно, а временами, тогда какъ пустыня стелется вокругъ темной струи, бьющей черезъ волчью пасть отъ черной женщины [1]). Такъ иносказательно изображаются три рода любви, о которыхъ разсуждала Фьямметта въ обществѣ Галеоне: небесной, житейской и продажной. Она отдавала предпочтеніе первой, и какъ Галеоне стоялъ тогда за вторую, такъ и теперь Боккаччьо: его руководительница хочетъ идти по пути, отъ котораго всего ближе къ тропѣ, ведущей къ миру, а онъ направляется по теченію воды, истекающей изъ головы быка [2]). Не заботься о моемъ благѣ болѣе, чѣмъ я того желаю; будетъ время, и я съумѣю обратиться къ твоей помощи [3]), говоритъ онъ спутницѣ и, влекомый юношами, покидаетъ ее, къ добру или къ злу, самъ того не зная.

Припомнимъ знакомыя намъ біографическія факты: Боккаччьо вступаетъ въ Неаполь подъ впечатлѣніемъ чудеснаго видѣнія Фьямметты; вращается въ обществѣ неаполитанскихъ дамъ, въ сферѣ житейской любви, увлеченъ Пампинеей, Абротоніей, и забываетъ ихъ, когда Фьямметта предстала ему во-очію. Такъ и въ Любовномъ Видѣніи: въ началѣ вѣщее видѣніе Фьямметты, возсѣдающей съ Амуромъ, затѣмъ странствованіе по берегамъ

1) Сходенъ аллегоризмъ въ легендѣ (De poenis mulierum non amantium), разсказанной Андреемъ Капелланомъ (De Amore, ed. Trojel, l. I, c. VI, p. 99 слѣд.): изъ-подъ чудеснаго дерева, подъ которымъ возсѣдаетъ царица любви, бьетъ источникъ, и воды его неравномѣрно распредѣляются въ трехъ концентрическихъ кругахъ. Внутренній зовется amoenitas; второй humiditas: rivuli quidem, qui propriis contenti alveis irrigabant amoenitatem, in hac parte secunda suas nimio vires ostendebant et totam humiditatem, ita scilicet, quod herba mixta simul apparebat cum aqua, sicut tempore veris solet in pratis pluvialibus apparere diebus. Это пребываніе женщинъ, грѣшившихъ immoderata sui largitione et hominum indiscreta susceptione. Внѣшній кругъ—это siccitas: здѣсь томятся недоступныя любви.

2) XXXIX.

3) XL, 3.

потока, истекавшаго изъ головы быка — и группы неаполитанскихъ — и тосканскихъ красавицъ по пути. Онѣ поютъ, пляшутъ, рвутъ цвѣты; Боккаччьо называетъ ихъ такъ прозрачно, намекая на имена, гербы и семейныя отношенія, что многія изъ указанныхъ имъ личностей могли быть отождествлены; иныя изъ нихъ встрѣчались и въ Діаниной Охотѣ и въ Capitolo. Здѣсь и Агнеса Перигорская [1]), и дочь короля Роберта, Джьованна [2]), Андрея Аччьяйоли, сестра великаго сенешаля [3]), и Дельфина Баросса [4]), и Элеонора Джьянфильяцци [5]). Поэтъ любуется ими, загораясь новою страстью [6]), но сдерживаетъ желаніе [7]). Въ одномъ кружкѣ сидѣли дамы, бесѣдуя о любви. Онѣ отличаются степенностью нравовъ, разумомъ и добродѣтелью и красотою; но всѣ ихъ преимущества поблѣднѣли передъ одною, которая овладѣетъ сердцемъ поэта: въ бесѣдѣ съ Элеонорой Кьярамонте [8]) онъ увидѣлъ Фьямметту [9]): она изъ рода Ѳомы Аквината, ей имя Марія; на ней вѣнокъ изъ лавровъ, она рветъ цвѣты, чтобы еще болѣе украсить себя, сочувственно прислушиваясь къ печальной повѣсти своей собесѣдницы. — Боккаччьо проходитъ мимо — къ описанію другихъ красавицъ, какъ вдругъ его поразило что-то невѣдомое; онъ оглядывается въ трепетѣ и видитъ одиноко сидящую красавицу: онъ припоминаетъ, что видѣлъ ее уже ранѣе, въ обществѣ дамъ, еще раньше — въ окруженіи Амура [10]). У него является страстное желаніе войти въ сферу того сіянія, которое исходитъ отъ ея глазъ, и онъ вступаетъ въ него и самъ издѣвается надъ такой смѣлостью [11]). Ему кажется, что такъ прошли 24 дня [12]),

1) XLI, 4 слѣд. Сл. выше стр. 53—4.
2) XLII, 5—6.
3) XLII, 12 слѣд.
4) Ib. 17 слѣд.
5) XLIV, 3 слѣд.
6) XL, 26.
7) XLI, 26—27.
8) XLIII, 8 слѣд. Или Camiola Turenga? Сл. Catenacci, l. c., стр. 27—8.
9) Ib. 13 слѣд.
10) XLIV, 15.
11) Ib. 20.
12) Ib. 21.

когда ему послышался голосъ, сладостный и страшный: Не издѣвайся надъ моей властью, не пугайся моего величія, оно смирится передъ тобой, коли ты того пожелаешь; почти мою красу и забудь о всякой другой, если ты не хочешь испытать моего гнѣва [1]). Она обвила его сердце своими волосами [2]), а онъ будто отвѣчаетъ ей: Я въ твоей власти и теперь и всегда, ибо того желаю.—Онъ чувствуетъ, что новая страсть увлекаетъ его болѣе, чѣмъ прилично, чѣмъ слѣдуетъ [3]); а она явилась къ нему, вскрыла его сердце, начертала въ немъ золотомъ свое имя, а на палецъ надѣла перстень, отъ котораго шла цѣпочка къ ея сердцу. Съ тѣхъ поръ онъ весь во власти ея глазъ, заколдованъ въ кругу ихъ блеска, и не будь его желанія чрезмѣрны [4]), онъ могъ бы похвалиться благосклонностью Амура: когда онъ желалъ увидѣть свою милую, Амуръ являлъ ея красоту, но это лишь болѣе разжигало его страсть. И она не противилась бы ей, еслибъ не сознаніе опасности, она допускала его скорбѣть, поддерживая его своимъ состраданіемъ, управляя желаніями. А онъ все стремится къ конечной цѣли, знаетъ, что исполненіе надеждъ далеко, но начинаетъ замѣчать, что и она готова сжалиться, склониться и, дѣйствуя осторожно, положить конецъ его мукамъ [5]). Онъ умоляетъ ее о томъ—въ предѣлахъ чести, подобающей ея нравамъ [6]).

И вотъ цѣль достигнута; хронологическая помѣтка Боккачьо убѣждаетъ насъ, на сколько въ основѣ его иносказаній лежатъ дѣйствительные факты: въ апрѣлѣ 1338 года онъ увидѣлъ Фьямметту въ церкви Санъ-Лоренцо, Амето относитъ извѣстное намъ ночное посѣщеніе къ октябрю, вѣроятно, того-же года [7]); двадцать четыре дня оставался Боккачьо въ нерѣшитель-

1) XLIV, 25—6.
2) Сл. сон. XXXVIII.
3) XLV, 2.
4) Ib. 16.
5) Ib. 25.
6) XLVI, 5.
7) Сл. выше стр. 151; сл. стр. 228.

ности, говорится въ нашемъ Видѣніи [1]), 135 дней находился онъ подъ ея сладостнымъ игомъ [2]), когда ему досталось въ удѣлъ блаженство, котораго онъ чаялъ. Считая отъ 11-го апрѣля, это было бы въ сентябрѣ; отличіе, объяснимое, быть можетъ, не колебаніемъ воспоминаній, а требованіями стиха и иносказательной тайны.

Боккаччьо не вѣритъ своему счастью, оно кажется ему сномъ, а Фьямметта спрашиваетъ его тихо и нѣжно: Скажи мнѣ, душа моя, какъ ты сюда явился?—Амуръ отверзъ мнѣ глаза на твою красоту, отвѣчаетъ онъ и разсказываетъ о своихъ руководителяхъ-юношахъ и женѣ, долго его сопровождавшей. Фьямметта задумалась: Ступай и отыщи ее, говоритъ она, и слѣдуй ей во всемъ, потому что она наставляетъ на правый путь всякаго заблудшаго; только въ одномъ не будь ей послушенъ, еслибъ она пожелала заставить тебя забыть меня. Повинуйся ей, содержи меня въ твоемъ сердцѣ, и благо тебѣ будетъ; теперь я желала дать тебѣ лишь залогъ того, что прекратитъ твою печаль [3]).

Поэтъ медленно возвращается вспять: онъ счастливъ, но не утоленъ, его любовь разгорѣлась, кто ее потушитъ? Его руководительница встрѣчаетъ его съ распростертыми объятіями, онъ говоритъ ей, кѣмъ посланъ: пойдемъ къ ней, побудемъ вмѣстѣ, а тамъ отправимся втроемъ, куда ты пожелаешь.—Твоя просьба неразумна, отвѣчаетъ она; я хорошо знаю, зачѣмъ я тебѣ нужна и въ чемъ твое желаніе, но твоя милая болѣе согласна со мною, чѣмъ ты [4]). Пойди сначала за мною, послѣ вернемся и къ ней.—Но поэтъ не согласенъ, и его руководительница склоняется на его просьбы, если онъ поклянется не дѣлать ничего противъ ея воли.—Только не вели—не любить ее, отвѣчаетъ онъ; ты могла бы гнѣваться по праву, еслибъ я любилъ ее лишь страстнымъ вожделѣніемъ, но я люблю ее, какъ ближняго, служу ей и чест-

1) XLIV, 21.
2) XLVI, 6.
3) LXVI, 24 слѣд.
4) LXVII, 17.

вую ея благость [1]). — Посмотрю я, правду ли говорятъ твои слова, отвѣчаетъ аллегорическая жена. И они идутъ; увидѣвъ Фьямметту, она говоритъ Боккаччьо: Теперь мнѣ легче будетъ оказать тебѣ милость, а прежде было трудно; вѣдь она — милая мнѣ, дорогая сестра, и мы давно были бы у нея, еслибъ ты ее назвалъ; она ничего не дѣлаетъ и не говоритъ безъ моего совѣта. Потому обуздай свое желаніе и отдайся тому истинному блаженству, на которое я не разъ тебѣ указывала; слѣдуй ей во всемъ, ибо она расположена къ тебѣ такъ же, какъ и я.—Дщерь добродѣтели, обращается она къ красавицѣ, соединяя ея руку съ рукой Боккаччьо: вотъ онъ оставилъ всѣ увлеченія, чтобы слѣдовать за тобою; въ этомъ его спасеніе; его юность не знала узды, но я нашла ее, направивъ его къ той высотѣ, откуда спустилась ты, чтобы объявить міру свою красу. Подними же его своею честною рѣчью, чтобы и ему быть въ почетѣ, къ твоему и его удовольствію; тебѣ я его дарую: пусть онъ вѣчно будетъ твоимъ, не осмѣливаясь преступить твои велѣнія.—Жена совѣтуетъ имъ отдохнуть въ цвѣтущей мѣстности, чтобы набраться силъ для общаго восхожденія. Они гуляютъ, весело смѣясь, бесѣдуя о любви, срывая цвѣты; ихъ спутница отстала, и они рѣшаются обождать ее въ глухой, лѣсной чащѣ [2]). Они одни, Фьямметта полудремлетъ на травѣ. Чего я жду, почему не воспользуюсь случаемъ совершить то, чего жажду, чего желаетъ и она? Ему снится, что она противится, колеблется, готова склониться — и моментъ восторга отлетаетъ вмѣстѣ съ сновидѣніемъ [3]).

Любовное видѣніе еще не кончилось, но кончились признанія: послѣдняя [4]) пѣсня досказываетъ лишь надежды опечаленнаго поэта, когда вдали отъ Фьямметты онъ передумывалъ: кто виноватъ, онъ или она? И ему казалось, что не все кончено, потому что аллегорическая жена снова предстала ему и говоритъ: Все,

1) Ib. 23—24.
2) XLVIII.
3) XLIX.
4) L.

что тебѣ видѣлось, еще будетъ твоимъ, если ты меня не покинулъ. Идти къ ней теперь же, какъ ты того желаешь, нельзя, не обдумавъ серьезно, ибо ты можешь раскаяться; послѣдуй за мною, и я доставлю тебѣ миръ и утѣшеніе красоты, которую твоя душа постоянно являетъ твоему сердцу [1]). — И онъ готовъ, если это угодно той, кому онъ принадлежитъ всецѣло, вступаетъ на тѣсный путь [3]) и надѣется, что Фьямметта еще сжалится надъ нимъ и утолитъ скрытое въ его груди пламя, въ которомъ онъ горитъ съ каждымъ днемъ болѣе [3]).

Любовное Видѣніе дополняетъ признанія Филоколо, отрицая ихъ. Въ Филоколо Идалагъ-Галеоне несчастный любовникъ, покинутый своей милой; онъ страдалецъ, она безжалостная кокетка. Амето выдвинулъ новыя точки зрѣнія, приготовляя Любовное Видѣніе: когда оно писалось, моментъ горячихъ нареканій уже прошелъ, чувство еще волнуется, но уже доступно анализу, и Боккаччьо ставитъ себѣ вопросъ: не онъ-ли самъ виноватъ въ недожитомъ счастьѣ? И по мѣрѣ того, какъ передъ нимъ развертывались воспоминанія, онѣ получали для него новый смыслъ: быть можетъ, онъ былъ недостоинъ любви, къ которой поднимала его Фьямметта, какъ Адіона Діонея, былъ слишкомъ несдержанъ, и она отвернулась отъ него, какъ Лаура отъ Петрарки: и та вела своего поэта къ благу, наставляя его, въ своей высокой женственности, какъ позорны нецѣломудріе и посягательство на чистоту другого, но, увидя, что порвавъ всѣ цѣпи, онъ стремится къ гибели, предпочла устраниться [4]). Разница въ томъ, что у Петрарки въ его любовь къ Лаурѣ рано вторгалась рефлексія, сознаніе грѣха [5]); у Боккаччьо по отношенію къ Фьямметтѣ этого сознанія нѣтъ: въ минуты раздумья она представлялась ему отвлеченной отъ момента его собственной неудовлетворенной страст-

1) l. c. 9.
2) Ib. 17.
3) Ib. 27—31.
4) Secretum, dial. III, стр. 355, 357 (1342 г.).
5) Сл. Fam., IV, 1 (1336 г.)

ности, одухотворяясь и сіяя въ смиренномъ сознаніи тѣхъ благъ красоты и любви, которыя она расточала. Въ такомъ освѣщеніи воспоминаній это былъ образъ, готовый для идеализаціи въ дантовскомъ стилѣ,—но уже при первой встрѣчѣ въ Санъ-Лоренцо и въ садовой сценѣ Филоколо чувствуется вліяніе Vita Nuova и вокругъ Фьямметты играютъ воздушно-отвлеченные «духи любви», столь любимые флорентійской школой «новаго» направленія [1]).

Во всемъ этомъ многое слѣдуетъ вмѣнить поэтической модѣ, идеализаціи дали, но вызвавшій то и другое психологическій мотивъ самообличенія былъ несомнѣнно серьезенъ, когда на первой-же страницѣ Декамерона Боккаччьо могъ написать о себѣ слѣдующія, иначе загадочныя слова: «любовь заставила меня претерпѣвать многое, не отъ жестокости любимой женщины, а *отъ излишней горячности духа, воспитанной неупорядоченнымъ желаніемъ*» [2]).

Эта неумолимая горячность духа, едва коснувшаяся наслажденія, очищенная сознаніемъ вины и робкимъ ожиданіемъ и сдѣлала его пѣвцомъ Фьямметты; она подняла его надъ реализмомъ Діонео, надъ ревнивою страстью Троила и безсильной попыткой Амето помирить антично-плотскую любовь съ порывами неземной и мистической—на высоту того художественно-самоотреченнаго чувства, на которой виновнымъ оказался Памфило-Боккаччьо, человѣчески ревнуетъ и страдаетъ Фьямметта. Такъ произошелъ романъ, носящій ея имя — и мы предвкушаемъ психологически-разнообразную объективность Декамерона. — Ни Данте, ни Петрарка не были къ ней способны, никто изъ нихъ не пережилъ такъ широко и откровенно всей скалы любовныхъ ощущеній. Правда, среди нихъ мотивы плотскаго, пластичнаго подчеркнуты рѣзко, выходъ изъ нихъ совершается не безъ борьбы, но она человѣчна; идеализація Фьямметты никогда не заставляетъ насъ забывать, среди дантовскихъ формулъ, что она—женщина; есть

1) Сл. выше стр. 258.
2) Введеніе, стр. 1 русск. пер.; сл. Corbaccio, стр. 123: disordinato appetito.

у Боккаччьо и паденія, которыя и ощущаются, какъ таковыя: съ вдовой Корбаччьо, съ безыменной матерью его дѣтей. Это была такая-же дань чувственности, какъ и у Петрарки; семья отдана дѣлу и долгу, строгой поэзіи обряда и мирнымъ радостямъ очага; чувство воспитывали Беатриче, Лаура, Фьямметта, мистически-разсудочное, художественно-виртуозное, сентиментально-страстное. Декамеронъ знаетъ его во всѣхъ оттѣнкахъ, и лишь беззастѣнчивая чувственность нѣкоторыхъ его новеллъ заставляютъ насъ забывать его значеніе въ литературной эволюціи чувства любви.

IV.

ВЫХОДЪ КЪ СВОБОДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ (ТЕЗЕИДА И НИМФЫ ФЬЕЗОЛЕ).

I.

Въ сравненіи съ Амето и Любовнымъ Видѣніемъ, Тезеида и Ninfale Fiesolano отличаются бо̀льшимъ спокойствіемъ: автобіографическій моментъ не такъ тревоженъ, болѣзненная идеализація не ищетъ болѣе дантовской терцины, она принесена въ жертву октавѣ Филострато, и прирожденная Lust zum Fabuliren идетъ на встрѣчу античнымъ мотивамъ. И Амето и Любовное Видѣніе полны классическихъ воспоминаній, но тамъ онѣ служебны, теперь они даютъ дѣйствіе и мѣтятъ на колоритъ. Боккаччьо какъ бы находитъ въ нихъ освобожденіе отъ страстности; Амето онъ писалъ какъ влюбленный, не какъ поэтъ [1]), теперь отношенія измѣнились: Ninfale Fiesolano такая-же пастораль, какъ Амето, но она сбросила ковы аллегоріи; Тезеида новая попытка въ области классическаго эпоса, послѣ неудачи Филоколо. При отсутствіи другихъ хронологическихъ данныхъ, художественный и психологическій критерій является рѣшающимъ: Тезеида и Ninfale Fiesolano написаны позже аллегорическихъ поэмъ, во Флоренціи, вѣроятно, въ половинѣ 40-хъ годовъ.

Тезеида — первая въ новыхъ литературахъ поэма, написанная по типу классическихъ. Боккаччьо сознавалъ это новшество и ставилъ его въ заслугу себѣ: съ тѣхъ поръ, какъ «обнаженныя» (т. е. народныя) музы объявились среди смертныхъ, говоритъ онъ въ послѣдней пѣснѣ [2]), очевидно повторяя дѣленіе Данте [3]), были

1) Сл. выше стр. 266.

2) XII, 84—86.

3) De Vulg. Eloquentia, II, c. 2.

люди, писавшіе въ прекрасномъ стилѣ о вещахъ серьезныхъ [1]), другіе пѣли про любовь, ты-же, о моя книга, впервые воспѣла о трудныхъ дѣлахъ Марса, о которыхъ никто еще не читалъ на народномъ итальянскомъ языкѣ [2]). А такъ какъ ты впервые пускаешься по волнамъ, по которымъ до тебя никто еще не плавалъ, быть можетъ, и тебѣ, хотя и низменной, достанется, въ числѣ другихъ, нѣкій почетъ; а ты, явясь въ ихъ среду, почти, какъ старшихъ, своихъ предшественниковъ, научая тѣхъ, кого опередила [3]). Авторъ ждетъ себѣ награды и лавроваго вѣнка [4]), очевидно, не за вымыселъ поэмы, о которомъ не упоминаетъ ни одинъ латинскій писатель [5]), а за починъ эпическаго пѣснопѣнія въ классическомъ стилѣ.

Что до замысла и эпическихъ пріемовъ, Тезеида стоитъ на точкѣ зрѣнія Филоколо. Боккаччьо наивно заявляетъ, что будетъ пѣть о дѣлахъ Марса, тогда какъ въ основѣ лежитъ новелла о двухъ друзьяхъ, влюбленныхъ въ одну и ту-же женщину, и все дѣло вертится на конфликтѣ между чувствомъ дружбы и любовью. Къ подобному сюжету Боккаччьо вернется въ одной изъ новеллъ Декамерона [6]); пока онъ поставилъ его въ центрѣ эпическаго дѣйствія, матеріалы котораго заимствованы изъ Ѳиваиды Стація и какой-нибудь версіи Roman de Thèbes, отдѣльныя подробности изъ Виргилія и Овидія—и Roman de la Rose [7]), тогда какъ стиль по прежнему полонъ дантовскихъ воспоминаній. Внѣшній колоритъ классическихъ источниковъ перенесенъ и на новеллу,

1) Con bello stile in onesto parlare.

2) Volgar lazio; сл. De vulg. eloquentia: Arma vero nullum Italum adhuc invenio poetasse.

3) Materia dando a cui dietro hai lasciato; сл. Theb. XII, 810, гдѣ Стацій упоминаетъ Виргилія.

4) Сл. въ концѣ поэмы сонетъ къ музамъ.

5) I, 2.

6) X, 8. Въ основѣ новеллы лежитъ какая-нибудь версія романа объ Athis и Prophilias. Сл. Crescini, Contributo, стр. 237, прим. *.

7) Объ источникахъ Тезеиды, особенно о заимствованіяхъ у Стація, сл. Crescini, l. c. стр. 220 слѣд. Наши случайныя указанія имѣютъ ввиду его обстоятельный разборъ.

составляющую главное содержаніе поэмы: имена ея героевъ, Арчиты и Палемона, по всей вѣроятности также подслушаны у Стація, гдѣ Палемонъ — имя витязя [1]), Athys — женихъ Исмены, преобразившійся у Боккаччьо въ Арчиту, можетъ быть, подъ вліяніемъ Гораціева Archytas. Чтобы поднять новеллу на высоту эпическаго дѣйствія Боккаччьо прибѣгаетъ къ тѣмъ-же средствамъ, какъ и въ Филоколо: его влюбленные герои, потомки Кадма, готовы объяснить свои несчастія гнѣвомъ Юноны, тяготѣющемъ надъ ихъ родомъ, героиня свои сердечныя неудачи — карой Діаны за то, что она рѣшилась отречься отъ дѣвственности амазонки. Болѣе того: всѣ герои греческой древности выступаютъ на сцену и бьются на турнирѣ, чтобы рѣшить вопросъ, кому изъ двухъ соперниковъ будетъ принадлежать прекрасная Емилія, и когда одинъ изъ нихъ, Арчита, скончался, о немъ говорится, что ни одинъ доблестный мужъ въ Греціи не былъ оплаканъ такъ, какъ онъ [2]). Такой сюжетъ дѣйствительно не могъ воспѣть ни одинъ «латинскій авторъ». Какъ въ Филоколо, такъ и въ Тезеидѣ, классическіе и средневѣковые моменты сплелись въ какое-то фантастическое представленіе жизни, напоминающее не столько средневѣковые романы о Троѣ и Александрѣ Великомъ, сколько старо-итальянскихъ мастеровъ: въ пестрой смѣси предпочтеніе явно отдано классическому моменту, но самая смѣсь ровнѣе, устроеннѣе, чѣмъ въ Филоколо, и мы склонны признать за ней нѣкоторую призрачную жизненность. Описаніе классическихъ обрядовъ, требъ и игръ чередуется съ представленіемъ христіанскаго ада [3]) и средневѣковой дуэлью; греческихъ героевъ посвящаютъ въ рыцари, гремятъ трубы, накры и барабаны [4]), турниръ происходитъ въ амфитеатрѣ, вооруженіе смѣшанное изъ стараго и новаго, менестрели и буффоны потѣшаютъ гостей и

1) Thebaid. VIII, 135.
2) XII, 14.
3) Eterna fornace X, 106.
4) II, 54.

награждены подарками [1]); самъ Тезей носитъ хорошо знакомый Боккаччьо, и не только по Roman de Thèbes, титулъ герцога Аѳинскаго — и влюбленъ. Боги вмѣшиваются въ людскія дѣла, но не такъ назойливо и часто, какъ въ Филоколо, и, по самому свойству сюжета, нѣтъ классической травестіи христіанства; лишь порой въ размышленіяхъ о будущей жизни слышны неясные христіанскіе мотивы.

Написать поэму въ двѣнадцать пѣсенъ на сюжетъ новеллы о конфликтѣ любви и дружбы Боккаччьо удалось лишь при помощи общихъ мѣстъ эпики: описаній, портретовъ, рѣчей и сравненій [2]); двѣ первыя пѣсни еще стоятъ внѣ дѣйствія поэмы, являясь какъ-бы историческимъ введеніемъ. При царѣ аѳинскомъ Егеѣ жилъ въ Скиѳіи жестокій народъ амазонокъ, съ царицей Ипполитой. Подобно внучкамъ (nipoti) Бела онѣ перебили у себя всѣхъ мужчинъ и умерщвляли всѣхъ, кого заносило къ нимъ случайно. Тезей, до котораго дошли на то жалобы, рѣшается положить конецъ неуправству. Въ то время кровавый Марсъ возвращался изъ лѣса, куда водилъ, въ недобрый часъ, сонмы свирѣпаго ѳиванскаго царя; Тезей чувствуетъ его горячее присутствіе, когда онъ направлялся на колесницѣ въ свои палаты на Рифейскихъ горахъ, всюду воспламеняя небо и напередъ зная, что должно случиться.—Огненный, красный Марсъ типиченъ для Боккаччьо [3]).—Собравъ своихъ бароновъ, Тезей объявляетъ имъ

1) VII, 99; XII, 80.

2) I, 38: кабанъ (сл. VII, 119 слѣд.; Inf. XIII, v. 112 и Stat. Theb. XI, 530 слѣд.); 42: левъ при видѣ добычи; 67: моряки, бросающіеся вплавь съ гибнущаго корабля; 74: волкъ, кидающійся на овецъ; III, 27: вѣтры, вырывающіеся изъ пещеръ Эола; 33: укушеніе змѣей; V, 99: поблекшая роза, обновляющая на зарѣ или подъ вѣяніемъ зефира (сл. IX, 28; Inf. II, 127 слѣд.; Filostrato II, 80); VII, 106—7: страхъ охотника въ ожиданіи льва; 115; левъ среди безрогаго стада; 129: человѣкъ, внезапно пробужденный шумомъ; 844: облако, надвинувшееся на солнце; VIII, 8: лучъ, отраженный отъ воды или стекла; 26: львица въ поискахъ за своими львятами; 49: левъ, не насытившійся добычей; 63: борьба между змѣемъ и орломъ, защищающимъ своихъ птенцовъ, сл. 121; XI, 44: срѣзанныя розы.

3) Сл. Filocolo, выше, стр. 255; Fiammetta, стр. 23.

походъ; Ипполита прознала о немъ, ободряетъ своихъ въ пространной рѣчи: пусть покажутъ свою мужественность, онѣ, объявившія войну Амуру [1]. Пока она снаряжается къ защитѣ, греческій флотъ минуетъ Макронъ, Андросъ, Тенедосъ, Византію и вошелъ въ море Танаиса [2]. Мирныя предложенія Тезея отвергнуты амазонками, которыя стараются помѣшать высадкѣ враговъ, при чемъ пущенъ въ дѣло и (греческій) огонь [3]; крикъ стоялъ такой, что подобнаго не слыхалъ ни Нептунъ, ни Главкъ [4]. Тезей внѣ себя отъ гнѣва: коритъ Марса и Минерву, имъ не дождаться отъ него жертвъ, бранитъ своихъ за трусость, что побѣжали передъ женщинами [5]; пусть вернутся вспять и выберутъ себѣ новаго вождя. Велѣвъ притянуть свое судно, онъ одинъ спрыгнулъ въ воду и добрался до берега, за нимъ пошли и другіе; началась битва, часть грековъ сражается на коняхъ, сбросившихъ своихъ наѣздницъ; Амазонки принуждены отступить въ крѣпость, которую греки осаждаютъ. Нѣсколько мѣсяцевъ стоятъ они подъ нею, среди постоянныхъ вылазокъ и битвъ, когда однажды, объѣзжая стѣны, Тезей надумался, что крѣпость можно взять, подкопавъ ея стѣны. Какъ услышала о томъ Ипполита, велѣла заложить внутри города другой, болѣе узкій кругъ стѣнъ, а сама пишетъ къ Тезею письмо, которое онъ велитъ прочесть въ присутствіи своихъ бароновъ. Она укоряетъ его за неожиданное, невызванное нападеніе; я не Медея, не готовилась отравить тебя, напротивъ, я всегда была поклонницей твоей доблести, желала видѣть тебя. Ты разубѣдилъ меня, и я не столько печалюсь за мою жизнь, сколько за твое достоинство. Вздумавъ воевать съ женщинами, ты поступилъ не по рыцарски, говоритъ она, какъ амазонки въ посланіи къ Александру Македонскому; не

1) I, 24.

2) Tanas, I, 41.

3) I, 52.

4) I, 55.

5) I, 61: Ah vituperio della gente achiva. Сл. Inferno XXXIII, 79: Ahi Pisa, vituperio delle genti.

рыцарское также дѣло воевать подъ землею. Ради твоей чести оставь насъ въ покоѣ, не то я заставлю тебя уйти отсюда насильно и съ урономъ [1]).—Выслушавъ содержаніе письма, Тезей улыбнулся: Счастливъ-же я, что уберегъ свою жизнь благодаря этой женщинѣ, поучающей меня, какъ мнѣ соблюсти въ людяхъ мою честь!—Въ отвѣтномъ посланіи онъ говоритъ, что обязанъ мстить за зло, учиненное его людямъ, и совѣтуетъ покориться; посланницамъ Ипполиты онъ показываетъ свои силы, подкопанныя стѣны; ему было бы жаль, еслибъ ему пришлось свирѣпствовать противъ враговъ. — Собравъ своихъ, Ипполита сообщаетъ имъ рѣшеніе Тезея; праведно гнѣвается на насъ Венера, съ нею и Марсъ; по моему мнѣнію, лучше всего подчиниться мужу, столь храброму и славному, милостивому и ласковому со всѣми, кто смирится передъ нимъ; отъ этого наша честь не пострадаетъ: всѣ-же считаютъ насъ женщинами, а онъ — герцогъ Аѳинъ. — Въ толпѣ послышались противорѣчивые голоса, но никто не рѣшается выступить открыто, а Ипполита снова шлетъ къ Тезею своихъ посланницъ: пусть не являются назадъ безъ мира. Условія таковы, что Тезей женится на Ипполитѣ и станетъ править ея царствомъ по ея законамъ. Греки вошли въ городъ мирно, никому не нанеся ущерба; красавица Ипполита выѣхала на встрѣчу Тезею, съ нею ея младшая сестра Емилія; Амуръ былъ тутъ какъ тутъ и многихъ ранилъ въ сердце; самъ Тезей смотритъ на Ипполиту и говоритъ: она прелестнѣе Елены, которую я когда-то похитилъ; и его поразила стрѣла Амура, и ему пріятны невзгоды, понесенные изъ-за красавицы. Амазонки преобразились: сломали заржавленное оружіе, стали по прежнему красивыми, милыми, свѣжими и привлекательными; злосчастные клики смѣнились шумными рѣчами и пѣснями, бранная поступь мелкими шажками. Вернулся и стыдъ, который онѣ отложили въ ту ночь, когда перебили своихъ мужей; онѣ принарядились, и вновь былъ открытъ забытый храмъ Венеры, гдѣ брачуется съ Ипполитой

1) I, 99—107.

Тезей. Тогда же совершились и другіе браки амазонокъ съ греческими витязями, а Емилію Тезей прочитъ за своего пріятеля Ахата.

До сихъ поръ Боккаччьо стоитъ на почвѣ своихъ классическихъ чтеній и воспоминаній: Стацій и Roman de Thèbes и легенда о женщинахъ Лемноса, разсказы объ амазонкахъ, объ ихъ войнѣ съ Тезеемъ и его любви къ Антіопѣ — вотъ его источники; въ одномъ изъ нихъ, очевидно, позднемъ, онъ нашелъ и анахронизмъ: старый Егей еще живъ, тогда какъ древній миѳъ изображалъ его уже умершимъ.

Два года наслаждается Тезей съ своей Ипполитой, забывъ обо всемъ остальномъ. Однажды весною, когда небо украшаетъ долины и горы травою и цвѣтами, птицы поютъ на вѣткахъ про любовь, а дѣвушки сильнѣе ощущаютъ пламя Венеры, Тезей былъ въ саду, предаваясь любовнымъ мечтамъ, когда ему показалось, что ему предсталъ его другъ Перитой и гнѣвно говоритъ ему: Что же ты тунеядствуешь въ Скиѳіи, забывъ ради любви свою славу? Вернись въ Грецію, или ты сталъ малодушенъ, и твое мужество утратилось на лонѣ Ипполиты?—Перитой изчезъ, но Тезей познаетъ въ этомъ знаменіи голосъ какого-нибудь божества, пекущагося объ его чести. Онъ рѣшается ѣхать и вмѣстѣ съ Ипполитой и Емиліей направляется въ Аѳины.

Съ десятой строфы второй пѣсни главнымъ источникомъ Боккаччьо служили Ѳиваида Стація, не только для эпической рамки, которой онъ обвелъ свою новеллу, но и для нѣкоторыхъ бытовыхъ подробностей послѣдней, особливо въ XI-й книгѣ.

Напомнивъ въ короткихъ чертахъ [1]) объ ужасахъ Ѳиванской легенды, Боккаччьо переходитъ къ тому ея моменту, когда Креонтъ запретилъ арголійскимъ женамъ предавать погребенію тѣла родныхъ, падшихъ подъ Ѳивами. Жены отправляются въ Аѳины молить Тезея о справедливости и защитѣ; ихъ принимаютъ радушно, приглашаютъ въ дома, но онѣ ищутъ убѣжища въ храмѣ

1) II, 11.

Милосердія (Clemenza). — Въ это время и вернулся Тезей; описанъ его торжественный въѣздъ въ городъ, вмѣстѣ съ Ипполитой и Емиліей, на колесницѣ, въ царской мантіи и съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ. Онъ приноситъ жертву въ храмѣ Паллады; когда онъ проѣзжалъ мимо храма Милосердія, толпа женщинъ бросилась къ нему неистово, съ крикомъ и плачемъ. Онъ поражёнъ; онѣ гнушаются моей славой, которая радуетъ другихъ, думается ему. Кто вы и почему такъ плачете? Выслушавъ разсказъ одной изъ нихъ, онъ рѣшается тотчасъ-же исполнить ихъ желаніе, и не отдохнувъ, отправиться въ новый походъ. Ипполита останется пока съ Егеемъ; она-бы и сама отправилась, еслибъ Тезею пріятно было снова увидѣть ее съ оружіемъ въ рукахъ. Войско бодро откликнулось на его призывъ; не повидавъ ни отца, ни пріятелей, онъ покинулъ Аѳины и черезъ нѣсколько дней сталъ станомъ подъ Ѳивами, на поляхъ, надъ которыми еще носился смрадъ отъ покинутыхъ безъ погребенія труповъ. Вызовъ Тезея принятъ Креонтомъ, битва рѣшается ихъ единоборствомъ: Тезей сбрасываетъ замертво противника; пришелъ твой послѣдній день, говоритъ онъ ему, теперь ты понесешь должное наказаніе: твое оружіе я посвящу Марсу, тѣло отдамъ женамъ, которыхъ ты опечалилъ. Креонтъ отвѣчаетъ надменно, не измѣнившись въ лицѣ [1]): Кончай скорѣе, лишь бы мнѣ умереть, прежде чѣмъ побѣда будетъ на твоей сторонѣ; пока я доволенъ, ибо могу разсказать подземнымъ богамъ, что преимущество было за моими. Онъ умолкъ, Тезей сталъ разоруживать его, уже похолодѣвшаго, потому что душа покинула тѣло. Побѣда остается за Тезеемъ, побѣжденные бѣгутъ въ горы и лѣса, за ними горожане; Тезей позволяетъ своему войску разграбить городъ, щадя святыни, велитъ совершить похоронный обрядъ надъ тѣломъ Креонта, дабы онъ могъ принести адскимъ тѣнямъ лучшее о немъ свидѣтельство, чѣмъ именитые мужи, которыхъ тотъ лишилъ погребенія. Грече-

1) II: 63: nè sembianza mutò l'ardita fronte. Сл. Inf. X, 74—75 о Фаринатѣ: non mutò aspetto.

скимъ женамъ предоставлено совершить тризны надъ ихъ родными, предоставленъ и самый городъ; предавъ его сожженію, они уносятъ съ собою прахъ своихъ ближнихъ.

Здѣсь и привязывается новелла, которую Боккаччьо поставилъ въ центрѣ своей поэмы. Откуда онъ ее заимствовалъ — остается неизвѣстнымъ; имена не говорятъ сами по себѣ за классическій источникъ, всего менѣе за греческій: типъ именъ латинскій, навѣянный чтеніями Боккаччьо. На полѣ битвы нашли двухъ раненыхъ юношей, ихъ видъ и блестящее вооруженіе даетъ поводъ предположить, что они царственнаго рода; ихъ не обезоруживаютъ, а бережно несутъ къ Тезею; это Арчита и Палемонъ, внуки Кадма, пріятели. Тезей велитъ уврачевать ихъ раны и беретъ съ собою; при его побѣдномъ вступленіи въ Аѳины, они идутъ передъ его колесницей; въ храмѣ Марса онъ повѣсилъ оружіе Креонта и свой лавровый вѣнокъ; прибывъ во дворецъ, разсказываетъ Ипполитѣ о своихъ подвигахъ и невзгодахъ, а она пристально смотритъ на него своими плутовскими глазками, и ему кажется, что онъ въ раю. Арчита и Палемона онъ хотѣлъ было предать смерти, чая отъ нихъ опасности, но затѣмъ осудилъ на вѣчное заключеніе въ одномъ покоѣ своего дворца.

Умалился гнѣвъ Юноны съ паденіемъ Ѳивъ, Марсъ ушелъ въ свою холодную обитель, и я стану въ болѣе пространной рѣчи пѣть про Амура; да будетъ онъ мнѣ помощенъ! Такъ начинаетъ Боккаччьо свою третью пѣсню. Прошелъ почти годъ съ тѣхъ поръ, какъ двое юныхъ ѳиванцевъ томились въ заключеніи, когда Венера явилась имъ причиною новыхъ вздоховъ. Была весна [1]), и все въ природѣ дышало любовью [2]), когда однажды утромъ красавица Емилія вышла, по обыкновенію въ садъ, въ юбкѣ и босая; распѣвая любовныя пѣсни, она срывала бѣлой ручкой молодыя розы съ шиповъ, и усѣвшись на травѣ, плела вѣнокъ

1) Фебъ былъ въ созвѣздіи того мирнаго животнаго, который увлекъ Европу, III, 5.

2) l. c. 6—7.

для бѣлокурой головки. Услышавъ ея голосъ, Арчита открылъ окно и просунулъ голову за рѣшетку; было темновато, ибо солнце еще не высоко стояло надъ горизонтомъ, но онъ разглядѣлъ красавицу. Подойди сюда, шепчетъ онъ Палемону: навѣрно сюда спустилась Венера; слышишь, какъ она поетъ? Палемонъ также смотритъ: это Цитерея, говоритъ онъ, я не видѣлъ ничего красивѣе. — Замѣчаешь-ли и ты то-же, что и я, въ ея прелестныхъ глазкахъ? спрашиваетъ Арчита. — Что такое? — Я вижу того, кто поразилъ красотой Дафны Аполлона; у него въ рукахъ двѣ золоченыхъ стрѣлы, вотъ онъ положилъ одну на тетиву и смотритъ на одного меня; можетъ быть, онъ не доволенъ, что я гляжу на красавицу.—Вижу и я, но должно быть, онъ уже метнулъ стрѣлу, у него въ рукахъ всего одна. — Онъ такъ ранилъ меня, что боль уже подступаетъ къ сердцу, если эта богиня не поможетъ мнѣ.—Увы! вскрикнулъ ошеломленный Палемонъ, другая стрѣла угодила въ меня. — При этомъ увы! дѣвушка повернулась къ окошку, закраснѣлась, увидѣвъ незнакомыя лица, потомъ, ободрившись, поднялась и пошла съ собранными цвѣтами. Это увы! заставило ее задуматься; она еще не созрѣла для любви, но понимала, къ чему любовь стремится [1]), поняла, что сама она понравилась; это радуетъ ее, и она стала прихорашиваться всякій разъ, когда выходила въ садъ.

Оба юноши [2]) повѣряютъ другъ другу свои чувства. Не знаю, чѣмъ угодилъ въ мое сердце суровый стрѣлокъ! говоритъ Арчита; образъ красавицы не выходитъ у него изъ ума, для него было бы высшимъ блаженствомъ понравиться ей, какъ она нравится ему.—И во мнѣ происходитъ то-же, отвѣчаетъ Палемонъ; ничего подобнаго я не ощущалъ; ужь не попали-ли мы подъ власть Амура, болѣе удручающаго меня, чѣмъ тюрьма Тезея?— Такъ бесѣдуютъ между собою новые влюбленные, не зная, кто такая Емилія, богиня или смертная; ихъ вздохи, что̀ вѣтры, вы-

1) Affetta, III, 19.

2) Пока не рыцари, а конюшіе, III, 20.

рывающіеся изъ пещеръ Эола. — А Емилія продолжаетъ показываться въ саду, поглядывая украдкой на окошко, откуда ей послышалось увы! Палемона; не то, чтобы побуждалъ ее къ тому Амуръ, а чтобы увѣриться, смотрятъ-ли на нее. Когда она видѣла, что на нее глядятъ, она, будто ничего не замѣчая, принималась пѣть и частила ножками, пробираясь среди кустовъ, облеченная скромной женственной граціей. Ей хотѣлось понравиться, но ее увлекала къ тому не любовь, а врожденная женщинамъ тщеславное желаніе показать свою красоту: если у нихъ и нѣтъ другихъ достоинствъ, онѣ довольны, если ихъ красоту похвалятъ; такъ, желая приглянуться, онѣ овладѣваютъ другими, сами оставаясь свободными [1]).

Каждое утро оба влюбленныхъ стоятъ у окошка, надѣясь утолить лицезрѣніемъ жажду любви, но еще болѣе растравляя рану. Отъ долгихъ бдѣній и отсутствія аппетита оба они измѣнились, но обманываютъ себя, говоря, что это отъ тюрьмы; уже отъ вздоховъ дѣло дошло до слезъ, Ѳивы забыты, и узниковъ пугаетъ мысль, что освободившись изъ заключенія, они не увидятъ болѣе свою милую. Они слагаютъ любовныя пѣсни въ честь Емиліи и узнаютъ отъ одного служителя, кто она.

Такъ прошло лѣто; съ наступленіемъ осени Емилія перестала являться въ садъ, и страданія влюбленныхъ усилились. Въ эту пору пріѣхалъ къ Тезею его другъ Перитой; по его просьбѣ ему показали ѳиванскихъ плѣнниковъ; ихъ портреты не характерны [2]). Перитой тотчасъ-же призналъ Арчиту, своего пріятеля, и проситъ Тезея дать ему свободу; тотъ согласенъ, но съ условіемъ, чтобы онъ никогда не являлся въ его царство, подъ страхомъ смерти. Арчита благодаритъ его: онъ весь въ его власти, готовъ положить за него жизнь; къ такому страстному желанію влечетъ обуявшая меня любовь—къ тебѣ и твоимъ.—Тезею не вдомёкъ, чѣмъ подсказаны эти рѣчи, и онъ принимаетъ ихъ дословно, тогда

1) III, 28—30.
2) III, 49—50.

какъ Арчита печалится объ отъѣздѣ, а Палемонъ, котораго снова отвели въ тюрьму, начинаетъ завидовать свободѣ товарища, которая дастъ ему и болѣе свободы — для любви [1]).

Перитой снаряжаетъ Арчиту, торопитъ отъѣздомъ, но въ Арчитѣ происходитъ борьба: Ты знаешь, какое тягостное скитаніе по свѣту предстоитъ мнѣ, говоритъ онъ; мы всѣмъ ненавистны, боги враждебны намъ, я хотѣлъ бы остаться здѣсь, чьимъ-нибудь служителемъ. Все это подсказывалъ Амуръ, но Перитой не догадывался; Арчита предпочелъ-бы тюрьму свободѣ, но нѣкоторыя соображенія останавливаютъ его, какъ парализовали рѣшенія Троила [2]): вѣдь его произвольное пребываніе въ тюрьмѣ объяснятъ не любовью, а малодушіемъ, тогда какъ свобода дастъ ему возможность вернуться, хотя-бы и тайкомъ, пробраться къ Емиліи, еслибъ ее выдали замужъ въ чужую землю, и если не добиться ея любви, то хотя-бы поглядѣть на нее. Прощаясь съ Палемономъ, онъ проситъ его мысленно напоминать о немъ его милой, когда онъ увидитъ ее; Палемонъ плачетъ: Я остаюсь одинокій, печальный, ты многое увидишь, и это развлечетъ тебя, я-же хотя и буду иногда утѣшаться, видя Емилію, стану пылать еще болѣе въ ея отсутствіи. Оба товарища падаютъ въ изнеможеніи, такъ что ихъ конюшимъ пришлось ихъ ободрить и поддержать. Уѣзжая, Арчита молитъ объ одномъ, чтобы ему еще разъ увидѣть Емилію, и его молитва дошла до небесъ: Емилія показалась на балконѣ съ своей служанкой и съ сожалѣніемъ глядитъ на удаляющагося въ изгнаніе. Арчита принимаетъ это за хорошее предзнаменованіе и еще часто озирается въ сторону Емиліи, останавливая коня, какъ-бы за тѣмъ, чтобы поправиться.

Арчита выѣхалъ изъ Аѳинъ въ осеннюю непогоду, какъ Флоріо и, какъ онъ, перемѣнилъ свое имя, дабы его не узнали: онъ назовется Пентеемъ. Всѣ его мысли отданы Емиліи: О еслибы мнѣ пожить въ Аѳинахъ на свободѣ, чтобы возбудить въ тебѣ страсть, которой я сгораю! Я легче перенесъ бы мою раз-

1) III, 60.

2) Сл. выше стр. 139—141.

луку; но ты не можешь сочувствовать моему горю, а мнѣ и то было бы утѣшеніемъ, еслибы по моей смерти ты сказала: да, онъ беззавѣтно любилъ меня! А вы, мрачныя области Дита, велите успокоиться всѣмъ, кто въ васъ томится, ибо, хотя я и живу, у меня мукъ больше, чѣмъ у любого изъ живущихъ или мертвыхъ.

Такъ среди нареканій Амуру и Фортунѣ онъ добрался до Ѳивъ. Видъ разрушеннаго города приводитъ ему на память плачевную судьбу Кадмова рода и гнѣвъ Юноны, продолжающей тяготѣть и на его потомкахъ: на немъ и Палемонѣ.

Проведя короткое время въ Коринѳѣ и около года въ Микенахъ на службѣ у Менелая, онъ переѣхалъ въ Эгину, гдѣ пристроился у Тезея; его никто не узнаѐтъ, такъ измѣнило его горе, и кто-бы ни пріѣзжалъ изъ Аѳинъ, онъ у всѣхъ проситъ вѣстей, незамѣтно вставляя вопросъ объ Емиліи.—Мотивъ, напоминающій новеллу о Тедальдо [1]), какъ слѣдующее за тѣмъ служеніе Арчиты у Тезея сходное положеніе въ Декамеронѣ [2]).

Однажды, когда, по обыкновенію, Арчита гулялъ по берегу, и ему пріятенъ былъ самый вѣтеръ, вѣявшій со стороны Аѳинъ, ибо онъ коснулся Емиліи, въ гавань вошла лодка. Изъ разспросовъ Арчита узнаетъ, что нареченный женихъ Емиліи, Ахатъ, умеръ три дня тому назадъ, и вотъ въ немъ внезапно возгорѣлась и старая любовь и желаніе вернуться; онъ такъ измѣнился, что ему нетрудно будетъ поступить, неузнаннымъ, въ услуженіе Тезея; а коли его узнаютъ, то вѣдь лучше умереть, чѣмъ вести такую жизнь. Нѣсколько дней живетъ онъ въ Аѳинахъ, скрываясь, и никто не призналъ его; молится въ храмѣ Аполлона, дабы онъ помогъ ему устроиться при Тезеѣ: у него не осталось ничего, онъ обѣднѣлъ, и онъ молитъ бога принять отъ него невиданную жертву: его слезы, вздохи и страданія и желаніе любви; ими онъ богатъ. По нѣкоторомъ времени онъ поступилъ на службу

1) Декамеронъ III, 7.
2) l. c. VII, 7.

къ Тезею, увидѣлъ Емилію и ожилъ. Она тотчасъ же признала его, улыбнулась, но никому о томъ ни сказала и самому Арчитѣ не подала вида. «Удивительное дѣло — любовь! Рѣдко бываетъ, чтобы любимая женщина, хотя бы она и не открыла своего сердца любящему, не содержала его въ своихъ мысляхъ; если она видимо и гнѣвается, тѣмъ не менѣе ухаживаніе ей пріятно, и если она не любитъ другого, ей придется, мало ли, много ли, полюбить ухаживающаго» [1]). Это—развитіе дантовскаго афоризма, что любовь не можетъ не вызвать любви [2]), и вмѣстѣ характеристика Емиліи: она полюбитъ потому, что любима.

Вскорѣ Арчита-Пентей такъ пришелся по сердцу Тезею, что сталъ ближнимъ къ нему человѣкомъ; свою страсть онъ скрываетъ и ведетъ себя осторожно, изрѣдка поглядывая на Емилію, которая представляется, что не вѣдаетъ любви, тогда какъ на самомъ дѣлѣ она уже понимала въ ней нѣчто, ибо такія пришли лѣта. Арчита веселъ, распѣваетъ, рядится, показываетъ свое искусство въ воинскихъ упражненіяхъ; но Емилія вѣдь не знаетъ, для кого онъ все это дѣлаетъ, а ему не кому въ томъ открыться. И вотъ по ночамъ онъ уходитъ въ одну рощу и здѣсь бесѣдуетъ самъ съ собою. Амуръ обидѣлъ его, ибо онъ любитъ, но не любимъ; пусть поможетъ ему, это въ его власти, а онъ вѣчно будетъ славословить его въ своихъ пѣснопѣніяхъ. Среди такихъ жалобъ онъ засыпалъ, и обновлялъ ихъ на зарѣ, передъ тѣмъ, какъ вернуться домой. Однажды утромъ онъ плакался на Фортуну, припоминая свои приключенія до той поры, когда, подъ именемъ Пентея, онъ ради Емиліи вернулся въ Аѳины. Слышитъ эти сѣтованія Памфило, слуга Палемона, и спѣшитъ доложить о томъ своему господину.

Между тѣмъ Палемонъ отдавался въ тюрьмѣ печальнымъ мыслямъ: то ему казалось, что Емилія достанется Арчитѣ, и его обуревала ревность, то являлась твердая увѣренность, что она

1) IV, 55.

2) Amor a nessun amato amor perdona.

будетъ принадлежать ему, лишь бы ему выйти изъ тюрьмы. Выслушавъ разсказъ Памфило, онъ дивится любви и вмѣстѣ неразумію Арчиты, не велитъ Памфило сказывать о томъ, что знаетъ; если самъ онъ и ревнуетъ къ Арчитѣ, безъ его вины, то не желаетъ ему вреда; если боги благосклоннѣе къ нему, пусть будетъ ему удача, а мнѣ уронъ. Но затѣмъ мысли увлекаютъ его въ другую сторону: ему хотѣлось бы вырваться изъ тюрьмы, сосчитаться съ Арчитой съ оружіемъ въ рукахъ, ибо любовь и власть не знаютъ раздѣла. Онъ проситъ Памфило помочь ему, и тотъ придумываетъ разныя средства: полетъ вродѣ того, которымъ освободился изъ заключенія Дедалъ съ Икаромъ; насильный увозъ, подкупъ стражей — все это оказывается невозможнымъ. Остановились на слѣдующемъ: какъ разъ въ ту пору прибылъ извѣстный врачъ Алиметъ; Памфило приведетъ его къ Палемону, который представится больнымъ и выйдетъ изъ тюрьмы въ одеждѣ врача, тогда какъ Алиметъ одѣнется въ платье Памфило. Бѣгство удается, ибо Памфило подпоилъ стражей. Отдохнувъ въ гостинницѣ [1]) и вооружившись, Палемонъ отправляется на поиски Арчиты, моля дщерь Латоны помочь ему, направивъ его стопы, какъ направила путь Леандру. Арчиту онъ находитъ спящимъ подъ сосной; онъ не узналъ бы его, еслибъ Фебея не освѣтила его лица своими лучами. Онъ не хочетъ будить его, а сталъ рядомъ и говоритъ про себя: О милый другъ, если бы ты теперь проснулся, между нами все-бы скоро кончилось! — Уже близится день и запѣли птички, когда Арчита пробудился; чего ты ищешь здѣсь, да еще вооруженный? спрашиваетъ онъ Палемона. — Тебя, товарищъ; тебя одного желалъ я встрѣтить, почему и бѣжалъ изъ тюрьмы. — И онъ радушно поздоровался съ нимъ, оба были рады другъ другу и разсказали свои похожденія. Послушай дорогой другъ, началъ Палемонъ, пылая любовью: я такъ люблю Емилію, что не нахожу покоя ни днемъ, ни ночью; ты также любишь ее, но она можетъ принадлежать лишь одному; умоляю

1) Ostiere, V, 27.

тебя, согласись, чтобы она была моею. — Арчита побагровѣлъ отъ гнѣва: Ты знаешь, Палемонъ, какимъ опасностямъ подвергъ я свою жизнь лишь затѣмъ, чтобы имѣть возможность служить Емиліи. То, чего ты просишь для себя, то уступи твоему родичу Арчитѣ.—Не того ожидалъ я отъ твоей дружбы; если ты отказываешь мнѣ въ дарѣ, клянусь Юпитеромъ и Венерой, мы рѣшимъ это дѣло оружіемъ, прежде чѣмъ разойдемся.—Къ чему хочешь ты подвергать себя и меня опасности, можетъ быть, смерти? Есть другое, лучшее рѣшеніе: пусть каждый изъ насъ постарается пріобрѣсть любовь Емиліи, и кому предоставитъ ее Фортуна, того она и будетъ. Если о насъ узнаютъ, намъ не видать ее, ибо насъ предадутъ смерти; потому будемъ оба любить тайно, пока не рѣшитъ иначе Юпитеръ. Положеніе дѣлъ можетъ измѣниться, я могу уѣхать, моя любовь охладѣть, ты — попасть, какъ я, въ милость Тезея.—Палемонъ ничего не хочетъ слышать, а Арчита продолжаетъ уговаривать его: если ты убьешь меня, тебѣ будетъ не легче, придется вернуться въ тюрьму, либо бѣжать; а еслибъ ты и полюбился Тезею, неужели ты убѣжденъ, что онъ отдастъ за тебя Емилію? У него болѣе высокіе виды; я у него служу, а едва осмѣливаюсь поглядѣть на нее, а ты хочешь попросить ее за себя! Съ другой стороны, еслибъ я поклялся тебѣ не любить ее, неужели ты думаешь, что я въ состояніи сдѣлать это при всемъ стараніи? Что-же хочешь ты предпринять? Станемъ-ли мы биться, чтобы подѣлить мечемъ то, что намъ не принадлежитъ? Брось свой неразумный замыселъ, бѣги, пока не насталъ день, да и я не увѣренъ въ прощеніи, если меня узнаютъ. — О моемъ спасеніи прошу не заботиться, отвѣчаетъ Палемонъ; обо всемъ, что ты мнѣ говорилъ, я и самъ передумалъ. Потому, либо дай слово не любить Емиліи, либо готовься къ бою. — Арчита вздохнулъ, снова вспомнился ему гнѣвъ Юноны, гнетущій родъ Кадма до его послѣднихъ потомковъ; готовясь къ бою, онъ призываетъ боговъ въ свидѣтели, что не онъ его вызвалъ: его желаніе было-бы и любить Емилію, и быть въ ладахъ съ пріятелемъ. Палемонъ ничего не отвѣтилъ, заслонился щитомъ, и поединокъ

начался. Палемонъ ошеломленъ ударомъ Арчиты и падаетъ съ коня замертво; Арчита ухаживаетъ за нимъ, укладываетъ на травѣ, орошаетъ лицо водою, плачетъ; въ это время очнулся Палемонъ: Ты меня сбилъ, но не побѣдилъ, говоритъ онъ, не думай, чтобы твои слезы меня разжалобили, тебѣ еще придется биться со мною изъ за Емиліи. Схватка продолжается, когда въ рощѣ, гдѣ она происходила, показался съ охотничьей свитой Тезей; Емилія ѣхала верхомъ на бѣломъ конѣ, съ соколомъ на рукѣ, съ боку рогъ, за плечами лукъ и золотой колчанъ съ стрѣлами, на бѣлокурой головкѣ вѣнокъ изъ свѣжей зелени. Увидѣвъ двухъ бойцовъ, она остановилась, изумленная, а тѣ узнали ее и еще страстнѣе набросились другъ на друга. Она подзываетъ къ себѣ своихъ, Тезея; кто вы такіе и изъ-за чего бьетесь? спрашиваетъ онъ борящихся. Они говорятъ, что рыцари, бьются изъ-за любви, и открываютъ, кто они. Тезей сначала разгнѣвался, но за тѣмъ благодаритъ обоихъ за то, что они не скрыли своихъ именъ, спрашиваетъ, какимъ образомъ Амуръ поразилъ ихъ одной и той-же напастью, когда одинъ изъ нихъ изъ Эгины, другой плѣненъ подъ Ѳивами. Большимъ мужествомъ наградилъ васъ Амуръ, что вы не убоялись смерти, говоритъ онъ, выслушавъ ихъ разсказъ: оба вы заслужили ее, но я самъ бывалъ влюбленъ и безумствовалъ, и какъ мнѣ прощали, такъ прощаю и я вамъ—но подъ условіемъ. Женихъ Емиліи умеръ, она свободна; пусть каждый изъ васъ изберетъ по сту товарищей, и черезъ годъ общій бой рѣшитъ, кому изъ васъ она будетъ принадлежать. — Арчита и Палемонъ смиренно благодарятъ, они счастливы, оправились, какъ поблекшая роза на зарѣ или отъ мягкаго вѣтерка. Видишь-ли, что изъ-за тебя, красавицы, творитъ Амуръ? говоритъ Тезей, обращаясь къ Емиліи; быть тебѣ замужемъ за однимъ изъ этихъ двухъ доблестныхъ. Она ничего не отвѣчала, но зардѣлась; въ городъ Арчита и Палемонъ въѣзжаютъ по сторонамъ ея; Тезей вернулъ имъ все ихъ достояніе, отнятое у нихъ, когда они стали его плѣнниками.

Дѣйствіе дошло до своего перелома: одна битва, и мы ожи-

даемъ развязки, между тѣмъ поэма тянется еще на цѣлыхъ семь пѣсенъ. Шестая и седьмая полны эпическихъ chevilles: общихъ мѣстъ объ измѣнчивости Фортуны [1]), о веселой, роскошной жизни, которую ведутъ старые пріятели, обновившіе дружбу; они оповѣщаютъ своихъ знакомыхъ, прося ихъ явиться на состязаніе, и тѣ приходятъ въ почти полномъ составѣ греческаго героическаго миѳа: Ликургъ и Пелей, Низъ и Агамемнонъ, Касторъ и Поллуксъ, Ипподамъ и Несторъ и друг.; описывается ихъ внѣшній видъ, вооруженіе, девизы на щитахъ; Агамемнонъ является на колесницѣ, запряженной быками, съ всклокоченными волосами, въ ржавомъ вооруженіи, съ медвѣжьей шкурой на плечахъ [2]): Боккаччьо пустилъ здѣсь въ ходъ и свою классическую эрудицію и фантазію, въ которой много средневѣковаго; не явились Нарциссъ, ибо успѣлъ обратиться въ цвѣтокъ, Леандръ, погибшій на пути къ Геро, и Эризихтонъ, обезсилѣвшій съ голоду, съ тѣхъ поръ, какъ велѣлъ срубить священное дерево Цереры [3]). Всѣ они приняты съ почестями и не дивятся Арчитѣ и Палемону, что они подвергли себя опасностямъ изъ-за такой красавицы: владѣть ею большее благо, чѣмъ быть властителемъ Ѳивъ, и счастливы всѣ, призванные проявить свою доблесть въ

1) VI, 1—5.

2) VI, 21—2.

3) VI, 61—63. Сл. подобные перечни героевъ и народовъ въ Ѳиваидѣ, кн. VII и XII. Слѣдующая строфа Тезеиды (VI, 61) парафразируетъ три стиха Стація (VII, 340—3):

Avreble quivi Cefiso mandato
Narciso, se non fosse ch'egli in fiore
Già ne' campi tespiani mutato
Era, per troppo a sè avere amore:
Spesso dal padre fu'l lito bagnato,
Siccom 'io credo, per troppo dolore
D'aver perduto in la sua fanciulezza
Il caro figlio per troppa bellezza.

—

Tu quoque praeclarum forma, Cephise, dedisses
Narcissum, sed Thespiacis iam pallet in agris
Trux puer; orbata florem, pater, adluis unda.

такомъ дѣлѣ. — Собравъ пріѣзжихъ витязей въ театрѣ, Тезей держитъ имъ рѣчь: онъ не ожидалъ, что столько доблестныхъ героевъ соберется для рѣшенія такого маловажнаго вопроса; дѣло идетъ не о царствѣ или наслѣдствѣ либо отместкѣ, а о любви, и бой долженъ быть любовный, не ненавистный, ибо онъ не желаетъ напраснаго пролитія крови: теперь не тѣ времена, и не тѣ страсти. Пусть каждый изъ влюбленныхъ выберетъ себѣ соратниковъ, чтобы съ каждой стороны ихъ было по сту; бой долженъ происходить на мечахъ и палицахъ, не на болѣе опасныхъ копьяхъ.—Именно число *сто* дало поводъ предположить, что Боккаччьо въ изображеніи своего боя могъ руководиться слухами о несостоявшемся турнирѣ между Карломъ I Анжуйскимъ и Петромъ Аррагонскимъ, гдѣ съ каждой стороны должно было выступить такое же число бойцевъ [1]).—Въ народѣ послышались хвалебные крики, Арчита и Палемонъ выбираютъ себѣ сторонниковъ, и Тезей ведетъ ихъ по городу; каждый изъ нихъ зналъ, съ кѣмъ будетъ имѣть дѣло, но не было между ними вражды, и всѣ старались угодить другъ другу.

Въ ночь передъ боемъ Арчита молится о побѣдѣ въ храмѣ Марса, и его молитва проникаетъ въ палаты бога и страшится ихъ вида, какъ страшится Меркурій у Стація, которому Боккаччьо здѣсь подражаетъ. Палаты стоятъ на ѳракійскихъ равнинахъ, въ лѣсу, окруженныя бурей, дождемъ и снѣгомъ, стальныя, съ алмазными воротами. Все расписано внутри изображеніями дѣлъ, любыхъ Марсу, и полно аллегорическихъ существъ: здѣсь и бѣшеный Натискъ, и слѣпой Грѣхъ, и Стонъ, и багровые Гнѣвы, и блѣдный Страхъ [2]). Молитва Арчиты услы-

1) C. John Schmidt, La Théseide de Boccace et la Théseide grecque y J. Psichari, Études de philologie néogrecque, стр. 306 слѣд.

2) Theb. VII, 47 слѣд.:

primis salit Impetus amens
E foribus caecumque Nefas Iraeque rubentes
Exanguesque Metus, occultisque ensibus astant
Insidiae geminumque tenens Discordia ferrum.

шана, онъ видитъ тому знаменіе: жертвенные огни загорѣлись ярче, дымъ ѳиміама потянулся къ изображенію бога, и его оружіе тихо зазвенѣло [1]).

Палемонъ между тѣмъ приноситъ жертву въ храмѣ Венеры, но онъ проситъ не о побѣдѣ, а объ обладаніи Емиліей. И его молитва проникаетъ въ обитель богини на верху Цитеры и созерцаетъ ея красоты [2]). И здѣсь то-же царство аллегорій, но сцена въ прелестномъ саду, среди ручьевъ и щебетанія птичекъ, гдѣ Амуръ куетъ свои стрѣлы, съ нимъ Сладострастіе и Досугъ, далѣе: Служеніе дамѣ (Cortesie)—и тѣ художества (Arti), которыя невольно сводятъ съ ума; Красота, созерцающая свои обнаженныя прелести, и Юность, безумная Смѣлость и Лесть. Юноши и дѣвушки пляшутъ вокругъ храма, у входа котораго сидитъ Миръ и блѣдное Терпѣніе и ложныя Обѣщанія, гдѣ царитъ Ревность и Пріапъ и повѣшены надломленные луки бывшихъ служительницъ Діаны. Въ потаенномъ покоѣ, охраняемомъ Богатствомъ, покоится на ложѣ полуобнаженная богиня Любви, около нея сидятъ Вакхъ и Церера, а сама она держитъ въ рукахъ яблоко, которое когда-то перебила у сестеръ въ Идейской равнинѣ.

Всю ночь пробылъ Палемонъ въ храмѣ, какъ то было, вѣроятно, въ обычаѣ, когда конюшаго предстояло посвятить въ рыцари [3]). Его молитва услышана, но между Марсомъ и Венерой

Innumeris strepet aula Minis, tristissima Virtus
Stat medio, laetusque Furor vultuque cruento
Mors armata sedet.

Teseide VII, 33: Lì gl'Impeti dementi parve a lei veder.... Ed il cieco Peccare, ed ogni Omei.... Videvi l'Ire rosse come fuoco E la paura pallida in quel loco; 34: E con gli occulti ferri i Tradimenti Vide, e le Insidie con giusta apparenza; Lì Discordia sedeva e sanguinenti Ferri avie in mano.... E'n mezzo il loco la Virtù tristissima; 35: Videvi ancora l'allegro Furore, E oltre a ciò con volto sanguinoso La morte armata vide e lo Stupore.

1) Сл. VII, 24: оружіе Марса, pe' qua' rase D'ardir le fronti furo agli orgogliosi Fi' della Terra. Сл. Inf. VIII, 118: le ciglia avea rase D'ogni baldanza.

2) VII, 50 слѣд. и описаніе въ Ameto, стр. 127 слѣд.

3) VII, 68.

поднялась въ небѣ распря, которую они хитро порѣшили между собой, такъ чтобъ удовлетворить того и другого молящаго [1]).

Емилія также приноситъ жертвы въ храмѣ Діаны [2]): если уже ей суждено покинуть сонмъ богини, пусть утолитъ пылъ любящихъ ее юношей, помиритъ ихъ, поможетъ имъ въ бою, и если быть тому, что положили боги, пусть достанется ей тотъ, къ которому она ближе желаніемъ и кто сильнѣе ее любитъ [3]). Она возжигаетъ одинъ огонь для Арчиты, другой для Палемона, и ждетъ знаменія; голосъ Діаны велитъ ей глядѣть, что будетъ: одно пламя потухло и вновь разгорѣлось, другое потускнѣло, его языки заблестѣли цвѣтомъ сѣры, заметались и погасшія головни, стеная, испуская будто слезы. Емилія не поняла этого знаменія и уходитъ домой, полная страховъ.

На другое утро Арчита и Палемонъ, каждый съ своими соратниками, идутъ во дворецъ Тезея; въ храмѣ Марса онъ опоясываетъ ихъ мечемъ, посвящая въ рыцари [4]), и всѣ отправляются въ амфитеатръ, лежавшій за городомъ [5]): Боккаччьо припомнилось это описаніе, когда въ концѣ VI-го дня Декамерона онъ изобразилъ Долину Дамъ амфитеатромъ. Арчита и Палемонъ подошли къ нему почти одновременно, съ разныхъ сторонъ; они еще не видятъ другъ друга, но звуки трубъ и крики толпы отрезвили въ нихъ страстное желаніе боя, какъ страшится въ засадѣ охотникъ, заслышавъ, что левъ поднялся. Оба противника выѣзжаютъ на арену съ своими товарищами и декурьонами [6]); Арчита поднялъ глаза на Емилію, явившуюся съ Тезеемъ поглядѣть на битву: О красавица, достойная скорѣе Зевса, чѣмъ смертнаго, не гнушайся моей любовью, не поскупись для меня своими молитвами; я не смѣю молить тебя о томъ, но ты, разумная, поймешь мои мол-

1) Сл. Thebaid. III, 260 слѣд.: распря и уговоръ между Венерой и Марсомъ.
2) VII, 70 слѣд.
3) VII, 85.
4) VII, 103.
5) VII, 108 слѣд.
6) VII, 114.

чаливыя просьбы: вѣдь исполненіе гласной просьбы кажется скорѣе отплатой, чѣмъ даромъ [1]).—Палемонъ не такъ словоохотливъ: онъ молчитъ; то не дѣвушка, а богиня, думаетъ онъ, глядя на Емилію. Звукъ трубы ошеломилъ ихъ, и они пришли въ себя, какъ тревожно просыпается человѣкъ, разбуженный внезапнымъ шумомъ. Тезей дѣлаетъ распоряженія: чтобы побѣжденные въ бою не брались болѣе за оружіе, вышедшіе изъ амфитеатра въ него не возвращались. Арчита держитъ рѣчь къ своимъ: онъ надѣется на помощь Марса, зачинщикъ не онъ: я хотѣлъ любить Емилію сообща съ Палемономъ, мирно, онъ не желалъ того [2]); помните, что боги положили честью увѣнчать на этомъ полѣ дѣла доблести; здѣсь покажутъ себя тѣ, кто былъ когда-либо влюбленъ.

Палемонъ также говоритъ своимъ, и по третьему звуку трубы начинается битва, наполняющая всю восьмую пѣсню. Начало отличается шаржемъ и накопленіемъ сравненій: не даромъ поэтъ еще разъ призвалъ на помощь свою музу—не классическую, ибо то, что происходитъ на сценѣ, напоминаетъ, подъ античными именами, средневѣковые турниры и военныя игры въ честь дамъ, въ служеніи любви. Битва распадается на рядъ поединковъ и схватокъ, въ описаніе которыхъ Боккаччьо вноситъ извѣстное разнообразіе: Ида вскочилъ сзади на сѣдло Арчиты, обхватилъ его руками и самъ хочетъ пришпорить его коня, чтобы увлечь его въ свою сторону, но Арчита изловчился повернуть свою лошадь, тѣло Иды, продолжавшаго держаться за него, служитъ ему защитой отъ вражескихъ ударовъ; такъ онъ увлекъ его къ своимъ; Ида хочетъ спрыгнуть и бѣжать, но зацѣпился шпорой и растянулся на землѣ [3]). Другая свалка происходитъ вокругъ знамени [4]). Арчита усталъ, вышелъ изъ боя, отеръ потъ и кровь, но увидѣвъ веселые глазки Емиліи, снова воспрянулъ, какъ Антей, коснувшись земли: витязи валятся подъ его ударами, Филонъ, племян-

1) VII, 127.
2) VII, 136.
3) VIII, 58 слѣд.
4) VIII, 66 слѣд.

никъ Палемона, умирая, шлетъ ему пожеланіе: пусть Емилія угоститъ его такимъ-же поцѣлуемъ, какимъ угостилъ онъ его [1]). Палемонъ также совершаетъ чудеса храбрости; отъ множества крови пыль и паръ осѣлись на аренѣ. Тезей любуется боемъ, покраснѣлъ отъ волненія, едва удерживается отъ участія въ немъ, и въ Ипполитѣ проснулся ея мужественный духъ; лишь Емилія смотритъ на все изумленно и растерянно, принимая каждаго сраженнаго за Арчиту или Палемона, коря Амура и судьбу за свою роковую красоту [2]). Къ чему такое кровопролитіе изъ-за нея одной? Ей припоминаются примѣры античныхъ богинь и красавицъ, добытыхъ съ меньшими усиліями. Хорошо, еслибъ одинъ изъ соперниковъ нравился ей болѣе другого, но оба они такъ благородны и прекрасны, что я не знаю, кого-бы я предпочла. Вотъ въ какое затрудненіе поставилъ меня Амуръ: я боюсь за того и за другого, не знаю, кому я желала-бы помочь, надъ кѣмъ разжалобиться, кого болѣе жалѣть; смотрю на того и другого и одинаково вздыхаю. Отчего не предоставилъ имъ Тезей рѣшить промежъ собою дѣло поединкомъ въ лѣсу? Она принадлежала бы одному, не испытавъ изъ-за нихъ ни гнѣва, ни печали. Вотъ что ты сдѣлалъ со мною Амуръ; я болѣе не въ силахъ, влюблена — безъ любви. Ты пожираешь, тяготишь меня, поразилъ меня невѣданной стрѣлою; хотя-бы мнѣ быть увѣренной, что одинъ изъ нихъ останется въ живыхъ и будетъ мнѣ супругомъ!

Между тѣмъ ряды сражающихся порѣдѣли и бой притихъ, когда Марсъ, смотрѣвшій на него сверху вмѣстѣ съ Венерой, спустился, полный гнѣва, и представъ Арчитѣ въ образѣ Тезея, началъ корить его: Что ты тутъ дѣлаешь, негодный витязь? Развѣ не видишь ты, какъ сражается Палемонъ, глумясь, что подъ именемъ Пентея ты хотѣлъ овладѣть Емиліей, ибо не надѣялся добыть ее оружіемъ? — Эти слова, тайная, огневая бли-

1) VIII, 83; сл. Theb. II, 641: hos tibi complexus, haec dent, ait, oscula nati.
2) VIII, 95 слѣд.

зость бога снова возбудили Арчиту: онъ бросается въ схватку, Палемонъ выѣзжаетъ къ нему на встрѣчу; конь Кромиса, человѣкоядецъ, схватилъ Палемона за руку и стащилъ съ сѣдла. Едва освободили его отъ коня, а Арчита спѣшитъ обезоружить его, чтобы посвятить его оружіе Марсу, если побѣда останется за нимъ.

Опечалился Палемонъ, опечалилась и Емилія, зная, какія между ними положены были условія, но увѣрившись, что она будетъ принадлежать Арчитѣ, тотчасъ-же обратила къ нему свои мысли и любовь. Такъ быстро измѣнилось ея настроеніе; потому да остережется всякій, чтобъ не упасть, замѣчаетъ, не безъ ироніи, поэтъ; развѣ ему желательно узнать, кто его другъ, кто недругъ. Тотъ, кого прежде любили подъ сомнѣніемъ, теперь покинутъ откровенно; прежде Арчита и Палемонъ казались равными, теперь всѣ похвалы отданы красотѣ и храбрости Арчиты. Емилія убѣждена, что боги предоставили ей лучшаго, начинаетъ втайнѣ любить его, бой кажется ей слишкомъ долгимъ и опаснымъ для Арчиты; новое, небывалое чувство проснулось въ ея сердцѣ, образъ Арчиты не покидаетъ ее, и она его не сторонится [1]).

Не много бойцовъ осталось на мѣстѣ, они сдаются Арчитѣ, который гордо объѣзжаетъ поле битвы. Но уже судьба повернулась въ другую сторону, какъ часто бываетъ, что чѣмъ выше вознесется человѣкъ, тѣмъ ближе къ своему паденію. Твое дѣло сдѣлано, говоритъ Венера Марсу, и принимается за свое: спустилась въ мрачныя обители Дита и вызвала оттуда Еринню [2]); ея страшный видъ [3]) наводитъ трепетъ на всѣхъ, собравшихся въ амфитеатрѣ, измученный конь Арчиты упалъ навзничь и смялъ подъ собою сѣдока [4]); когда его освободили, онъ еще бросился было

1) VIII, 124 слѣд.

2) Сл. Thebaid. I, 88 слѣд. (Эдипъ вызываетъ Тизифону; сл. XI, 57 слѣд.); Aen. VII, 323 слѣд.

3) IX, 5.

4) Сл. Thebaid. VI, 469 слѣд.: Аполлонъ пугаетъ коней: Anguicomam monstri

бѣжать, такъ страшитъ его Ериннія. Емилія поблѣднѣла, точно трупъ, который несутъ на костеръ; она любитъ Арчиту и боится за него; какъ кратко было мое счастье! говоритъ она; что-то подсказываетъ ей, что ея любовь будетъ такъ же полна тревогъ, какъ и всякая другая, и она поняла теперь, что пророчила ей Діана. Арчиту разоружили, всѣ ухаживаютъ за нимъ; старикъ Эгей положилъ его голову на колѣни, подоспѣла и Емилія; раненый слышитъ все, но не въ состояніи отвѣтить: молящіе глаза переходятъ безсмысленно отъ одного къ другому; Емилія печалится и слезы борются въ ней со стыдливостью. Опечаленъ и Палемонъ и за свою неудачу, и за Арчиту: онъ же ему родичь. Первымъ вопросомъ Арчиты, когда къ нему вернулась рѣчь, было: за кѣмъ осталась побѣда? Онъ счастливъ, проситъ Тезея позвать Емилію: ему хочется услышать ея рѣчь, умереть на ея рукахъ, ибо онъ увѣренъ, что ему не жить. Тезей и Емилія утѣшаютъ его; увидѣвъ ее, онъ ожилъ, какъ цвѣтокъ на утреннемъ солнцѣ, и въ состояніи участвовать въ побѣдномъ шествіи, которое устраиваетъ ему Тезей: его посадили на колесницу, какой не было ни въ тріумфѣ Сципіона, ни у Фаэтонта, увѣнчали лавромъ; побѣжденные шествуютъ впереди, безоружные, но не въ цѣпяхъ; идутъ не по принужденію: Палемонъ просилъ ихъ доставить это утѣшеніе Арчитѣ; несутъ оружіе Палемона; рядомъ съ Арчитой сидитъ, зардѣвшись и опустивъ глаза, Емилія; всѣ смотрятъ на нее, показываютъ другъ другу на бойцевъ, которые идутъ, потупивъ голову, одни гнѣвные, другіе смущенные. Обойдя городъ, шествіе достигло дворца; Арчиту уложили; Тезей держитъ рѣчь къ побѣжденнымъ: Мы во власти судьбы, говоритъ онъ, и не за вами стало, если не на вашей сторонѣ побѣда; вы исполнили свое дѣло и свободны; станемъ же веселиться. А Палемонъ идетъ къ Емиліи: Я вашъ плѣнникъ, какимъ былъ всегда съ тѣхъ поръ, какъ увидѣлъ васъ; дѣлайте со мной, что хотите,

effigiem, saevissima visu Ora movet sive ille Erebo, seu finxit in actu Temporis, innumera certe formidine cultum Tollit in astra nefas.

осудите на смерть, она мнѣ краше жизни. Емилія смущена, едва сдерживаетъ слезы: Еслибъ боги послали меня въ свѣтъ твоей единственной надеждой, мнѣ было бы грѣшно не полюбить тебя, и я любила, пока было возможно; но боги назначили меня другому, и я не могу болѣе утѣшить тебя, да и тебѣ желать того не слѣдуетъ. Много красавицъ въ городахъ Греціи, съ ними ты будешь счастливѣе. Пожалѣй себя, а я не буду къ тебѣ жестокой. — И она даруетъ ему свободу, кольцо на память: глядя на него, пусть вспоминаетъ о ней и — потщится преданно полюбить другую; ожерелье [1]), похожее на то, по которому узнали объ убѣжищѣ Амфіарая [2]), и мечъ, лукъ и колчанъ и чудеснаго коня: ему слѣдуетъ служить Марсу, не Амуру. — Палемонъ благодаритъ за дары, но да упасетъ его Богъ отъ любви къ другой: пока онъ живъ, онъ никогда другой не полюбитъ. — Всѣмъ понравились рѣчи Емиліи и смѣлый отвѣтъ Палемона, особенно Арчитѣ. Онъ торопитъ бракъ съ Емиліей, и они обручены, свадьба отложена до его выздоровленія.

Дабы ничто не помѣшало празднику, тѣла павшихъ преданы сожженію ночью, раненымъ доставленъ уходъ, одному Арчитѣ неможется; врачъ Исхіонъ, вызванный изъ Епидавра, говоритъ, что ему не миновать смерти; ему хуже съ каждымъ днемъ; позвавъ Тезея, онъ молитъ исполнить его просьбы, ибо самъ онъ пойдетъ лицезрѣть мученія несчастныхъ, молящихъ о помилованіи [3]). Онъ проситъ отдать все его достояніе Палемону, говоритъ о своей любви къ Емиліи, ради которой онъ сталъ служителемъ Тезея, какъ Фебъ у Адмета; эта любовь подняла его, облагородила [4]); если онъ умретъ, пусть Емилія станетъ супругой Палемона, котораго онъ такъ любитъ: глядя на него, она будетъ поминать Арчиту. — Когда по его просьбѣ позвали Палемона, онъ смотритъ на него долго и пристально, точно никогда его не ви-

1) Collana, въ изд. Moutier IX, 71: cintura.
2) Сл. dirum monile Argiи у Stat. Theb. II, 266.
3) X, 19.
4) X, 23.

дѣлъ. Небо рѣшило, что мнѣ не быть здѣсь долѣе, говоритъ онъ ему; мы одни остались изъ Кадмова рода, и мнѣ хотѣлось повидать тебя еще разъ и услышать твой голосъ, дорогой другъ и товарищъ. Онъ проситъ его закрыть ему глаза и похоронить; проситъ Тезея отдать ему въ жены Емилію: не отказывайся отъ нея; если она была жалостлива ко мнѣ и меня любитъ, это ея долгъ, я съ своей стороны не взялъ отъ нея ничего, кромѣ какого-нибудь поцѣлуя; если, быть можетъ, она прольетъ надо мной слезы, утѣшь ее, и моя душа пойдетъ въ среду сѣтующаго сонма смѣлѣе, не столь печальная [1]). — Палемонъ утѣшаетъ друга, оба примолкли и плачутъ, когда вошли Ипполита и Емилія; Арчита долго созерцаетъ красавицу и затѣмъ принимается горевать въ дантовскомъ стилѣ [2]): Плачетъ Амуръ въ печальномъ сердцѣ, откуда смерть хочетъ изгнать его насильно. Ему нельзя оставаться, и выйти онъ не можетъ, и я слышу, какъ онъ тоскуетъ во мнѣ и стонетъ, такъ что мнѣ самому становится жаль себя. Духи зрѣнія являютъ мнѣ ангельскій образъ, который далъ Амуру власть надъ моимъ сердцемъ, и спрашиваютъ: Неужели быть такому горю, что тебѣ и намъ придется покинуть столь благородное созданіе? А онъ отвѣчаетъ имъ, обнимая, и говоритъ: Смерть меня гонитъ. — Обѣ дамы проливаютъ слезы; какъ мнѣ быть безъ тебя? спрашиваетъ Емилія, ты мое благо, моя радость! — Арчита говоритъ ей о Палемонѣ: будь его женой, если не можешь быть моею; такъ рѣшила судьба; отъ тебя-же, дорогая супруга, я жду послѣднихъ поцѣлуевъ. — Я одна причина твоей смерти, отвѣчаетъ въ слезахъ Емилія; гнѣвъ Венеры лежитъ на нашемъ родѣ: скончался Ахатъ, удалишься и ты. Отчего не умерла я въ тотъ день, когда родилась! Если бы я уразумѣла знаменіе Діаны, умолила-бы тебя оставить бой. Увы! Тѣ цвѣты, которыя я рвала, пѣсни, которыя распѣвала — все это внушила Ериннія, я чувствовала это тогда-же, ибо иногда дрожала въ непонятномъ

1) X, 47.
2) X, 54 слѣд.

страхѣ, не зная причины, не воображая, что станется. Ты велишь мнѣ избрать Палемона, и твои слова для меня священны; я знаю, онъ меня любитъ, но я принесу ему нечестіе, такова моя недоля; Тезею слѣдовало бы отдать меня за какого-нибудь изъ своихъ враговъ.—Если она переживетъ Арчиту, останется въ услуженіи Діаны; ея поцѣлуи умирающему будутъ ея послѣдними. Какъ бѣшеная, она бросается цѣловать Арчиту и падаетъ въ обморокъ; такихъ-ли поцѣлуевъ ждала я отъ Арчиты, любившаго меня болѣе себя? говоритъ она, очнувшись. Онъ обнялъ ее; теперь ему легче будетъ умереть. — Лица обоихъ увлажились слезами, какъ чело Менала, когда солнце въ знакѣ Овна растопитъ его снѣговую одежду.

Фебъ закрылся тучами, чтобы не видать смерти Арчиты; въ разсказѣ о ней есть черты Ѳиваиды Стація [1]), гдѣ раненый смертельно Атисъ также умираетъ въ присутствіи невѣсты Исмены. Совершивъ жертву Меркурію, Арчита предается послѣднимъ сѣтованіямъ. Онъ молитъ Бога перенести его къ блаженнымъ душамъ Елизія, ибо его дѣла не заслужили той атмосферы смерти [2]), гдѣ томятся, покаранные Юноной, его предки; единственное зло, имъ совершенное, это то, что онъ поднялъ оружіе противъ Палемона, за это онъ и наказанъ. Онъ не достоинъ неба и не молитъ о немъ; онъ доволенъ будетъ Елизіемъ [3]); но какъ ему быть, когда онъ не увидитъ болѣе Емиліи? Напрасно станетъ онъ молить о второй смерти [4]), но и въ вѣчномъ огнѣ [5]) Емилія будетъ для него — его миромъ [6]).—Еще разъ онъ уставилъ на нее свои глаза, повелъ имъ вокругъ и увидѣлъ, что всѣ плачутъ. Смерть приближалась, охватывая его постепенно; уже глаза не видятъ ничего, онъ что-то еще шепчетъ, и шепотъ

1) VIII, 637—51.
2) X, 94: aura morta; сл. Dante Purg. I, 17.
3) X, 98.
4) Seconda morte X, 104; сл. Inf. I, 115, Par. XX, 112
5) Eterna fornace X, 106.
6) Donna della mia pace.

слагается въ слова: Прощай Емилія! Его душа поднялась къ восьмому небу, любуясь блуждающими звѣздами, слушая сладостныя мелодіи; она смотритъ сверху на крохотный земной шаръ, вокругъ котораго стлались море, воздухъ и огонь; все это ничто передъ небомъ, и ему кажутся смѣшными и сѣтованія, и увлеченіе мірскими заботами [1]).

Одиннадцатая книга посвящена описанію торжественнаго погребенія Арчиты и тризны въ честь его; здѣсь главнымъ источникомъ Боккаччьо была VI-ая книга Ѳиваиды. Костеръ устроенъ въ рощѣ, куда онъ уходилъ мечтать; для этого срубленъ вѣковой лѣсъ, откуда съ плачемъ удалились нимфы и фавны и Панъ, властитель тѣней. Тѣло несутъ на плечахъ именитѣйшіе греческіе витязи, Емилія причитаетъ, бросаетъ на костеръ кольца, подаренныя ей Арчитой, Палемонъ — остриженные волосы и бороду. Вокругъ громаднаго костра, на которомъ горѣли, испуская трескъ, сложенныя на немъ драгоцѣнности, оружіе и сосуды, вино и медъ и молоко, объѣзжаютъ всадники: три раза въ лѣвую сторону, одинъ разъ въ правую, послѣ чего они побросали въ огонь свое платье, какое было поверхъ оружія, и попоны съ коней. На другой день устраиваются въ честь умершаго военныя игры, а Палемонъ воздвигаетъ храмъ, посвященный Юнонѣ и расписанный изображеніями изъ жизни Арчиты; только его паденіе съ коня забылъ написать художникъ. Здѣсь положенъ прахъ Арчиты, совершаются по немъ тріэтеріи, и надпись гласитъ: Пусть каждый, любящій безъ мѣры, поучится на мнѣ; я умеръ изъ-за любви; берегись Амура!

Когда прошло нѣсколько дней по горестномъ событіи, Тезей позвалъ къ себѣ Палемона и ведетъ съ нимъ бесѣду, полную общихъ мѣстъ, на тему, что смерти не избѣжать, надо подчиниться обстоятельствамъ [2]) и неразумно предаваться безмѣрной

1) XI, 1—3; сл. Parad. XXII, 127 слѣд.
2) XII, 11: fare della necessitate virtù.

печали. Онъ говоритъ еще о послѣдней волѣ Арчиты, а что ее слѣдуетъ исполнить, то сказалъ ихъ первый законодатель, Фороней [1]). Палемонъ молчитъ: ему пріятно предложеніе, но онъ боится стыда, хочетъ побороть желаніе разсудкомъ; боги тому свидѣтелемъ, что онъ никого такъ горячо не любилъ, какъ Арчиту; если онъ вызвалъ его на бой, то лишь вслѣдствіе того безумія, которое у нихъ въ роду, обуяло ихъ предковъ; бракъ съ Емиліей былъ бы отрицаніемъ этой любви; если, умирая, Арчита хотѣлъ сдѣлать угодное ему, то вѣдь нѣтъ закона, который бы обязывалъ его повиноваться желанію друга.—Онъ стоитъ, потупивъ полные слезъ глаза, а Тезей ободряетъ его: никто его не осудитъ, развѣ мы не видимъ, что невѣста одного брата выходитъ за другого? И Палемонъ склоняется, воззвавъ о прощеніи къ Юпитеру, Діанѣ и Венерѣ и къ милостивой тѣни Арчиты. Колебанія Емиліи также побѣждены: она ссылается на гнѣвъ Діаны, которой хочетъ обречь себя; не такова твоя красота, чтобы служить ей, говоритъ ей Тезей; еслибъ она гнѣвалась на тебя, пострадала бы ты, а не другіе.

И вотъ печаль смѣнилась весельемъ, всѣ принарядились, вмѣстѣ съ другими и Емилія, хотя пока — по принужденію. Арчиту забыли—и, готовясь къ описанію брачнаго торжества, поэтъ даетъ намъ [2]) портретъ Емиліи; она одѣта въ зеленый цвѣтъ [3]), кажется всѣмъ Венерой, Менелаю прекраснѣе его Елены. Въ храмѣ Венеры обручился съ ней Палемонъ и, по обычаю, поцѣловалъ ее. Свадьба отпразднована музыкой и пляской и военными играми; на другой день молодой посылаетъ богатые дары въ храмъ богини, и греческіе цари пристаютъ къ нему съ шутливыми разспросами, хорошо-ли провелъ онъ ночь.

Разъѣздомъ гостей кончается поэма, за которую авторъ ждетъ себѣ вѣнца [4]). Слѣдуютъ два сонета: одинъ поэта къ му-

1) XII, 18.
2) XII, 53 слѣд.
3) XII, 65.
4) XII, 84 слѣд.

замъ; онъ подобралъ нѣсколько крохъ, упавшихъ съ ихъ трапезы и, какъ съумѣлъ, связалъ ихъ; пусть понесутъ его трудъ дамѣ, въ которой пребываетъ все его блаженство, хотя, быть можетъ, она о томъ и не думаетъ, съ нею вмѣстѣ пусть дадутъ онѣ названіе поэмѣ и пустятъ въ ходъ [1]), если она обратитъ на нее вниманіе.—Музы отвѣчаютъ сонетомъ: онѣ исполнили порученіе своего дорогого питомца; а твоя дама, болѣе—твоя, чѣмъ Емилія была для Арчиты и Палемона [2]), прочтя объ ихъ любви и поразмысливъ, сказала про себя: Какова была въ нихъ сила Амура! И сама возгорѣвшись любовнымъ пламенемъ, она попросила насъ, чтобы прекрасно написанный разсказъ о подвигахъ и красотѣ не оставался безизвѣстнымъ, и назвала его, по дѣламъ Тезея и устроенному имъ браку, Тезеидой, а мы распространимъ повсюду его громкую славу [3]).

Изъ посвятительнаго письма къ поэмѣ мы узнаемъ, что эта дама была Фьямметта. Къ немногимъ извлеченіямъ изъ письма, сообщеннымъ выше [4]), мы присоединимъ нѣсколько новыхъ. Хотя воспоминанія о бывшемъ счастьѣ и печалитъ меня въ томъ удрученномъ состояніи, въ какомъ я теперь обрѣтаюсь [5]), тѣмъ не менѣе мнѣ пріятно припоминать, о жестокая красавица, твой прелестный образъ, подчинившій меня, еще юнаго годами и разумомъ, и противъ моего намѣренія [6]), тебѣ и Амуру. Когда я созерцаю этотъ образъ духовными очами, я какъ бы забываю свои невзгоды, какая-то тайная сладость разливается по сердцу, и я говорю себѣ смиренно: это она, Фьямметта, чьи глаза впервые зажгли мои, удовлетворивъ своимъ мановеніемъ большей части моихъ страстныхъ желаній! Это утѣшаетъ меня, ибо я мысленно переношусь къ той порѣ, когда я былъ въ самомъ дѣлѣ

1) Il nome date e'l canto—E'l corso.
2) La più tua donna, ch'essa di coloro.
3) Fama immensa.
4) Сл. выше стр. 156—7.
5) Сл. Inf. V, 121: Nessun maggior dolore.
6) Più possente che'l mio proponimento.

счастливъ; воображеніе подсказываетъ мнѣ послѣднія цѣли блаженства, и не будь заботъ, которыми окружила меня моя несчастная судьба, я бы, кажется, умеръ. Такъ я постоянно переношусь ко времени, продолжительному, но представляющемуся мнѣ едва бывшимъ; въ какое это приводитъ меня состояніе, про то знаетъ Амуръ, не покидающій меня, хотя ты несправедливо смѣнила привѣтъ на негодованіе. Но ни невзгоды, ни твой гнѣвный видъ не въ состояніи потушить во мнѣ пламени, которое поддерживается вѣчно юной [1]) надеждой. Я по прежнему твой, этого ты у меня не отнимешь; знаю, что смиренное служеніе побѣждаетъ всякую строптивость и бываетъ вознаграждено; не знаю, оправдается-ли это надо мною, но я всегда буду твоимъ покорнымъ служителемъ. — Такъ говоритъ поэтъ и хочетъ доказать это дѣломъ: въ счастливые, но короткіе дни, которые онъ вспоминаетъ, Фьямметта любила слышать или читать разсказы, особливо любовные, ибо и она пылала тогда, какъ пылаетъ онъ; можетъ быть, она дѣлала то, съ цѣлью, дабы досугъ не увлекъ ее къ болѣе докучнымъ мыслямъ [2]). Когда-то она превозносила его стихи [3]), теперь, оторвавшись отъ другихъ заботъ, онъ пишетъ для нея поэму, въ которой пересказалъ, по итальянски и въ стихахъ, древнюю исторію, о которой мало кто слышалъ. Пересказалъ для нея, потому что подъ именемъ одного изъ влюбленныхъ и Емиліи говорится о многомъ, что было между Фьямметтой и имъ; она разгадаетъ, что̀ именно, отдѣливъ лишнее, и узнаетъ, какова была его жизнь съ тѣхъ поръ, какъ она его отвергла. Еще по другому признаку она догадается, что поэма написана для нея: онъ не стѣснялся выборомъ разсказовъ, стилемъ, аллюзіями [4]); обыкновенныя женщины не понимаютъ этого и не любятъ; но она стоитъ выше толпы. — Пересказавъ вкратцѣ содержаніе поэмы, авторъ проситъ Фьямметту вникнуть въ нее, преложить гнѣвъ на милость,

1) Verdissima.
2) Nocevoli.
3) Con sommo titolo.
4) Chiuso parlare.

и если тому не бывать, пусть по крайней мѣрѣ удержитъ у себя его книгу: это будетъ ему утѣшеніемъ; самъ онъ не осмѣливается явиться, пусть хоть какая-нибудь его вещь будетъ въ ея нѣжныхъ ручкахъ. Онъ попросилъ бы и бо́льшаго, но боясь отказа въ меньшемъ, умолкаетъ, умоляя Амура возжечь въ Фьямметтѣ угасшее пламя и вернуть ее ему, у котораго отняла ее какая-то злая доля.

Мы снова на почвѣ автобіографическихъ воспоминаній: Боккаччьо былъ счастливъ и отринутъ, не смѣетъ явиться на глаза къ милой и—надѣется. Старые-ли это мотивы или испытанные вновь, страстные — или пережитые въ болѣе спокойномъ обобщеніи художника? О силѣ воображенія говорилось въ любовныхъ бесѣдахъ Фьямметты [1]), Боккаччьо она увлекаетъ такъ страстно, что онъ боится умереть. Подъ именемъ одного изъ влюбленныхъ героевъ поэмы скрывается онъ самъ; судя по исходу его надо искать въ Арчитѣ. На немъ и на Палемонѣ лежитъ одинаково сантиментальный колоритъ, но онъ свойственъ всей поэмѣ; Тезей— pius Aeneas, онъ также pio, благодушный властитель [2]), щадящій кровь своихъ людей (теперь не то время), вспоминающій, что и онъ когда-то любилъ; amat ut Theseus, говорится въ Poetria nova Гальфрида de Vinesauf [3]); образъ былъ не новъ. Не смотря на единство окраски между Палемономъ и Арчитой есть разница, намѣченная Боккаччьо: Арчита болѣе рефлексивенъ, онъ любитъ—и колеблется между вопросами любви и дружбы, сторонится отъ крайнихъ рѣшеній, желалъ бы любить сообща и произноситъ длинныя рѣчи; въ вопросѣ любви обращается къ помощи Марса. Палемонъ меньше разсуждаетъ, ровнѣе страстенъ, онъ и не желаетъ побѣды, лишь-бы Емилія ему досталась, и его мольбы обращены къ Венерѣ. Арчита напоминаетъ рефлексію Троила; на сколько здѣсь автобіографическихъ чертъ — мы не

1) Filocolo, вопросъ XI, сл. выше стр. 166.
2) Thebaid. XII, 544—5 о Тезеѣ: benigno ore; 795: magnanimus.
3) Leyser, Historia poetar. et poemat. medii aevi, стр. 963.

знаемъ. Въ изображеніи Емиліи есть много общаго съ знакомымъ намъ портретомъ Фьямметты; она даже одѣта въ зеленый цвѣтъ, какъ Фьямметта и — Dame Oyseuse въ Roman de la Rose [1]); дѣйствительность теряется въ типѣ и подражаніи. Емилія любитъ, потому что любима; это дѣвственная Гризеида. — Отмѣтимъ и еще одинъ, можетъ быть, біографическій намекъ: въ концѣ VII дня Декамерона Фьямметта и Діонео-Боккаччьо поютъ объ Арчитѣ и Паламонѣ.

II.

Какъ эпическая поэма о «дѣлахъ Марса, Тезеида не достигла своей цѣли, но она представляетъ значительный прогрессъ на пути, начертанномъ въ Филоколо: въ поэтическомъ сплоченіи античнаго и средневѣковаго въ образахъ и декораціи, въ поднятомъ тонѣ жизни. Удалите «дѣла Марса», задачи эпоса, къ которымъ Боккаччьо былъ неспособенъ, и мы придемъ къ замыслу прелестной идилліи, античной и вмѣстѣ съ тѣмъ отдающей реализмомъ итальянской деревни. Нигдѣ, быть можетъ, Боккаччьо не былъ такимъ поэтомъ, какъ въ своемъ Ninfale Fiesolano, нигдѣ поэзія дѣйствительности не сливалась у него такъ тѣсно съ поэзіей классическихъ мотивовъ. Въ числѣ юношескихъ сонетовъ Боккаччьо есть одинъ, гдѣ на Фьямметту, рѣзвившуюся, на берегу, заглядѣлись — морскіе боги: «Уже въ созвѣздіи Рака рдѣло солнце; седьмой былъ часъ; дулъ мягкій вѣтерокъ, чудесная стояла погода, море было тихо — когда на берегу, куда еще не заглянуло солнце, я узрѣлъ ту, что̀ возлюбило небо. Она рѣзвилась съ другими дамами, золотистый вуаль такъ облегалъ ея головку, что ни одинъ волосокъ не выходилъ изъ чудесной связи. Нептунъ и Главкъ и Форкъ, великая Ѳемида любовались на нее изъ волнъ, такъ радостно, словно говорили: Юпитеръ, иного счастья намъ не надо! Я же любовно устремилъ на нее глаза, стоя на

1) Сл. выше стр. 112.

скалѣ, и такъ ошеломлены были мои чувства, что, казалось, я и скала были—одно и тоже» [1]).—Таково впечатлѣніе Ninfale.

Сюжетъ напоминаетъ мотивы Овидіевыхъ Метаморфозъ, уже навѣявшихъ автору нѣсколько эпизодовъ его Филоколо; у Партенія [2]) и Павзанія [3]) есть разсказъ о Дафнѣ, поклонницѣ Діаны, которой Левкиппъ пытался овладѣть, переодѣвшись дѣвушкой; есть и мотивъ купанья, хотя съ иной развязкою, чѣмъ у Боккаччьо [4]). Но именно для оцѣнки Ninfale вопросъ о сюжетѣ и его источникахъ является не существеннымъ: нимфу, нарушившую свой обѣтъ, юношу, посягнувшаго на дѣвственность нимфы, наказанныхъ превращеніемъ въ источникъ или рѣчку Боккаччьо не разъ встрѣчалъ въ своихъ классическихъ чтеніяхъ, легенда, въ родѣ Партеніевой, могла дойти до него въ разсказѣ, либо въ какой-нибудь средне-латинской обработкѣ; эти легенды онъ и затѣялъ перенести въ окрестности Фьезоле и Флоренціи, въ сосѣдство съ небольшимъ дворомъ, который былъ у него въ округѣ (popolo) Majano: потоки Аффрико и Мензола, текущіе съ холма Фьезоле, Муньоне, смѣшивающій свои волны съ водами Арно—все это метаморфозы влюбленныхъ. Это было давно, когда люди еще не знали употребленія хлѣба и вина, нимфы не вступали съ смертными въ брачные союзы, люди молились ложнымъ богамъ, полагая, что и въ небѣ они такъ же милостивы и прекрасны, какъ казались здѣсь [5]); боги общились съ людьми запросто, наставляя, помогая и карая. Къ этому міру боговъ Боккаччьо относится съ такой-же свободой поэтической ироніи, какъ Аріосто къ идеаламъ рыцарства. «Царствовала въ то время богиня, которая звалась Діаной» [6]); многія женщины служили ей, особливо тѣ, которыя желали соблюсти дѣвственность и избѣжать сладострастія; а

1) Сон. XXXI.
2) De amatoriis affectibus XV.
3) VIII, 20.
4) Geneal. Deorum. IV, 67; III, 21.
5) I, 6.
6) I, 7.

иныхъ дѣвушекъ ей посвящали отцы и матери въ исполненіе
обѣта, или въ благодарность за оказанныя щедроты; посвящен-
ныя облекались въ особыя одежды, какъ монахини [1]). Богиня
принимала ихъ съ распростертыми объятіями; звали ихъ тогда
нимфами. Когда она являлась посѣтить тѣхъ, что̀ жили на хол-
махъ Фьезоле, собирала ихъ у источника, подъ сѣнью зеленыхъ
вѣтвей, а зимой у комелька [2]), поучала блюсти цѣломудріе, порой
разсказывала о своихъ охотахъ, и удаляясь, передавала свою
власть намѣстницѣ. Точно аббатисса въ эпархіальныхъ разъѣз-
дахъ; у ней нѣтъ даже божественной прозорливости: о проступкѣ
Мензолы она догадывается по крику ребенка, и уже наказавъ
бѣдную нимфу, ощущаетъ къ ней жалость, когда ей разсказали,
что она уступила насилію. Это, разумѣется, лишь отчасти оправ-
дываетъ Мензолу, потому что впослѣдствіи она дѣйствительно
полюбила своего соблазнителя, но Діана не пользуется этимъ
мотивомъ обвиненія, потому что, въ сущности, для дѣйствія она
не нужна, какъ не нужна и Венера: всесильная богиня любви,
она обѣщаетъ Аффрико свою помощь и совѣтуетъ ему прибѣг-
нуть—къ пріему новеллы: переодѣванію. Отмѣтимъ кстати пред-
ставленіе Венеры, навѣянное христіанской иконографіей: Амуръ
у ней на рукахъ [3]). Боги и нимфы положительно опростились,
но они даютъ золотой, античный фонъ дали, въ которой разыгры-
вается трагическая идиллія любви. Это не идиллія Амето, искус-
ственно поставленная въ лунномъ освѣщеніи аллегоріи, а обык-
новенная исторія деревенской любви, не идеальной, но юношески-
здоровой, внезапно овладѣвшей всѣмъ существомъ въ майское
утро, когда цвѣтутъ луга и поютъ соловьи [4]), и также быстро
прерванной разлукой и смертью. Боккаччьо знаетъ эту поэзію
смерти, посѣщающей молодые всходы любви; на нихъ остается
вѣчняя печать ликующей весны, которую сожгло бы лѣто, унесла

1) VI, 10.
2) I, 14.
3) I, 43; III, 49.
4) I, 18.

бы житейская осень; это тема Ромео и Джульетты; такова любовь Анджелы и Габріотто, Симоны и Пасквино въ Декамеронѣ [1]), Мензолы и Аффрико въ Ninfale Fiesolano. Всего три встрѣчи; Аффрико пораженъ съ перваго раза, съ начала и до конца онъ остается подъ обаяніемъ одной и той-же страсти; Мензола сначала бѣжитъ отъ него, но когда, метнувъ въ него копьемъ, она, внезапно почувствовавъ жалость, обернулась съ крикомъ: Поберегись! [2]), она уже отчасти сдалась. Аффрико овладѣваетъ ею насильно, но уже послѣ перваго и единственнаго страстнаго объясненія она любитъ его; правда, Амуръ поразилъ ее въ сердце [3]), но это вмѣшательство посторонней силы не мѣшаетъ естественному росту чувства. Оно ростетъ въ отдаленіи отъ Аффрико: нѣсколько разъ Мензола порывается къ нему на встрѣчу, но ее удерживаетъ боязнь Діаны. Эту любовь она переноситъ на своего ребенка; нигдѣ впослѣдствіи Боккаччьо не изображалъ наивное зарожденіе материнской любви, и мы не встрѣтимъ у него болѣе благодушныхъ, поэтическихъ стариковъ, чѣмъ отецъ и мать Аффрико, дрожащихъ надъ сыномъ, понимающихъ, что онъ что-то скрываетъ отъ нихъ, и позволяющихъ себя обманывать. Боккаччьо былъ чутокъ и къ такимъ оттѣнкамъ чувства, которыя не нашли отзвука въ новеллахъ Декамерона.

Все это разсказано въ октавахъ, небрежныхъ, какъ проза, съ простодушными обращеніями къ читателямъ [4]), возвращеніями назадъ [5]) и кое-гдѣ съ наивными оборотами народной пѣсни и ея лирическими повтореніями [6]).

Въ майское утро Діана собрала своихъ нимфъ у источника, что теперь зовется fonte Aqueli, у подошвы горы Чечеро [7]);

1) IV, 6, 7.
2) II, 39.
3) V, 95.
4) I, 40.
5) I, 30.
6) I, 2, II, 32, 70, VII, 48.
7) I, 19.

одна изъ нимфъ затрубила въ рогъ, призывая ко вниманію, и Діана держитъ рѣчь: она увѣщаетъ ихъ строго блюсти ея завѣты и на время своего отсутствія назначаетъ на́большей нимфу Альфинею. — Всего этого былъ случайнымъ свидѣтелемъ юноша Аффрико, жившій недалеко оттуда съ отцемъ и матерью; притаившись въ чащѣ, онъ наблюдаетъ за нимфами; красота одной поразила его въ сердце: какъ бы счастливъ онъ былъ, еслибъ она досталась ему въ жены! Еслибъ не боязнь Діаны, онъ взялъ бы ее силой. Между тѣмъ солнце пошло на закатъ и нимфы стали съ пѣснями взбираться на холмъ; Пойдемъ, Мензола! кликнула одна изъ нихъ; такъ онъ узналъ имя своей милой. Какъ разыскать ее, какъ дать ей знать, что онъ, котораго она не видѣла, по ней страдаетъ? Онъ садится на мѣстѣ, гдѣ, видѣлъ, сидѣла Мензола, уткнулся лицомъ въ траву, цѣлуетъ ее. Вѣдь она ненавидитъ мущинъ и убѣжала бы, еслибъ я показался, думаетъ онъ, и вмѣстѣ чувствуетъ, что таить свою любовь ему было-бы еще тяжеле. Солнце зашло, вызвѣздило небо, и онъ идетъ домой, желая, чтобъ уже настало утро. Его домъ лежалъ въ долинѣ, можетъ быть въ четверти мили отъ источника, или и менѣе; не думайте, только, чтобы въ то время были дома и дворцы, какіе теперь: люди довольствовались хатой изъ дерева и камня, сложеннаго безъ извести, а иные мазанкой изъ земли и тростника. Не перекинувшись словомъ съ отцомъ и матерью, Аффрико бросился на постель и проводитъ безсонную ночь.

Прошло около мѣсяца, а Аффрико еще не удалось увидѣть Мензолы, когда однажды ночью ему предстала въ сновидѣніи лучезарная жена съ мальчикомъ на рукахъ. Это Венера, она упрекаетъ Аффрико въ малодушіи, косности: прибодрись, отправься на поиски и ты найдешь Мензолу; Діана далеко, ея нечего бояться. — Она обѣщаетъ ему свою помощь: по ея приказанію мальчикъ Амуръ натянулъ свой лукъ съ такою силой, что сошлись оба его конца, и когда Аффрико проснулся, невольно хватился за мѣсто, гдѣ, казалось, была рана. Сцена у источника живо представилась ему во всей ея прелести, обновились жела-

нія и, ободренный словами богини, онъ выходитъ изъ дому съ разсвѣтомъ: посидѣлъ и повздыхалъ у источника, затѣмъ пустился въ горы, насторожнвъ уши и держа на-готовѣ ноги, чтобы тотчасъ-же броситься въ догонку; зашелеститъ-ли листокъ, ему кажется, что это Мензола. Проплутавъ даромъ, онъ рѣшился пойти въ другую сторону: спустился въ долину и не прошелъ полу-мили, какъ на одной лужайкѣ, притаившейся среди двухъ горъ, услышалъ пѣніе. Дай-то Богъ, чтобы это была она! восклицаетъ онъ, сталъ на колѣни и крестомъ сложилъ руки на груди, въ мольбѣ къ Юпитеру[1]); затѣмъ пошелъ по направленію къ пѣснѣ, молча, дѣлая длинные, рѣдкіе и легкіе шаги, точно человѣкъ, готовящійся словить кузнечика[2]). Видитъ трехъ нимфъ, онѣ поютъ, а имъ подпѣваютъ птички; двѣ изъ нихъ сидѣли у ручья и мыли ноги, третья, стоя, срывала вѣтки и плела вѣнокъ, который возложила на свои бѣлокурые, вьющіеся волосы, а два другихъ надѣла на распущенные нечесанные локоны подругъ. Между ними нѣтъ Мензолы; Аффрико клянетъ свою долю; что ему дѣлать? Онъ рѣшается подойти къ нимфамъ: Не пугайтесь, не бѣгите, дорогія сестрицы! говоритъ онъ тихимъ, молящимъ голосомъ, вотъ ужъ мѣсяцъ, какъ я ищу одну изъ вашего сонма; скажите мнѣ, гдѣ Мензола? Какъ услышали онѣ его, пустились бѣжать съ криками, точно овцы отъ волка или куры, на которыхъ напала лиса, побросавъ оружіе и подобравъ полы, что обнаружило ихъ прелестныя икры. Аффрико за ними: Подождите, послушайте, кричитъ онъ, гонясь за ними, но ихъ и слѣдъ простылъ. Не успѣлъ онъ оглянуться, какъ наступилъ вечеръ; уже луна выглянула на лазурномъ небѣ, когда онъ вернулся домой, гдѣ отецъ началъ безпокоиться, не съѣли-ли его дикіе звѣри, не повстрѣчался-ли онъ съ Діаной, враждебной его роду. Гдѣ былъ ты, дорогой мой, свѣжій ты мой цвѣтокъ? голубитъ его мать, мы по тебѣ намаялись.—Ты такъ день денской ничего и не ѣлъ?

1) I, 56.
2) I, 57.

спрашиваетъ его отецъ. Аффрико задумался, что ему отвѣчать, но Амуръ, изощряющій умы дѣйствительно влюбленныхъ, подсказалъ ему басни; онъ отвѣчаетъ аллегоріей, но прозрачной аллегоріей народной пѣсни, съ образами лани-дѣвушки [1]) и преслѣдующаго ее влюбленнаго-охотника. Охотникъ — Аффрико; нѣсколько дней тому назадъ онъ будто-бы видѣлъ въ горахъ лань, да такую красивую, что навѣрно Господь сотворилъ ее собственными руками: походка легкая, какъ у журавля, цвѣтомъ она бѣлѣе снѣга. Она такъ ему приглянулась, что онъ погнался за нею, но не догналъ; и вотъ въ это утро онъ снова рѣшился попытать счастья, долго бродилъ, когда замѣтилъ и услышалъ шелестъ свѣжей дубовой листвы: то паслись на лугу три лани; ему захотѣлось поймать одну изъ нихъ, и онъ осторожно направился къ нимъ, съ пучкомъ травы въ рукахъ, въ видѣ приманки; но лишь только онѣ завидѣли его, пустились бѣжать; время и ушло въ погонѣ за ними.

Джираффоне (такъ звали отца), человѣкъ бывалый, отлично понимаетъ, что такое тѣ прелестныя лани, но, не желая смутить сына, представляется, что повѣрилъ ему; между тѣмъ надо-же предупредить его, отвлечь отъ возможной опасности. Берегись ты этихъ ланей, говоритъ онъ ему, повѣрь мнѣ, онѣ принадлежатъ Діанѣ, и коли она замѣтитъ, что ты ихъ выслѣживаешь, поразитъ тебя стрѣлою, обратитъ въ рѣку, птицу или дерево. Со многими она такъ учинила, извела двухъ твоихъ братьевъ, моего отца Муньоне. И онъ разсказываетъ сыну, что сталось съ его отцемъ, и что—приключится съ самимъ Аффрико; его дѣда звали Муньоне; однажды, преслѣдуя одну нимфу, онъ настигъ ее на берегу рѣки и овладѣлъ ею, изнеможенною; увидѣла это Діана и поразила обоихъ одною стрѣлою; тѣло Муньоне покоится въ рѣкѣ, на которую перешло его имя, нимфа обратилась въ источникъ у берега.

Такъ разсказывалъ, со слезами на глазахъ, старикъ Джи-

1) Сл. Декамеронъ IV, 6.

раффоне, а сынъ слушалъ внимательно, но хотя его и пробиралъ страхъ, онъ остался при своей думѣ. Не бойся, говоритъ онъ отцу, я за ними гоняться не стану, а теперь пойдемъ отдохнуть, я сегодня усталъ, ходя по горамъ.

Только что разсвѣло, какъ онъ снова пошелъ въ горы, и такъ устроилъ Амуръ, что Мензола показалась ему на разстояніи выстрѣла изъ лука. Она увидѣла его раньше и бросилась бѣжать; это навѣрно Мензола, говоритъ онъ себѣ, гонится за нею, называетъ по имени, молитъ: Подожди меня, не вражда, а любовь заставляютъ меня искать тебя, я не соколъ, что гонится за куропаткою, не жадный волкъ, бросающійся на бѣдную овечку; ты моя надежда, моя желанная; что непріятно тебѣ, было бы непріятно и мнѣ. Клянусь богами, я возьму тебя въ жены, стану любить тебя; не желай моей смерти. «Если ты убѣжишь, ты жесточе медвѣдицы, ходящей съ медвѣжатами, горче желчи, тверже мрамора; коли дождешься меня—ты слаще меда или винограда, источающаго сладкое вино, прекраснѣе и ярче солнца, нѣжная, бѣлая, милая какъ ангелъ» [1]). Но Мензола бѣжитъ, и любовь Аффрико находитъ мотивы самоотверженія: онъ молитъ боговъ уравнять путь подъ ея прелестными ножками, обративъ въ мураву и луга—горы, деревья и тернія; я же останусь одинъ съ своей недолей и умру.

Между тѣмъ Мензола мчалась, заткнувъ полы за поясъ и показывая поверхъ обуви колѣна и икры, въ которыя можно было бы влюбиться. Отбѣжавъ нѣсколько, она обернулась съ свирѣпымъ видомъ, боязнь придала ей храбрости, и она такъ метнула копьемъ въ Аффрико, что положила бы его на мѣстѣ, еслибъ не промахнулась: копье попало въ дубъ и прошло его насквозь. Метнула и тотчасъ-же спохватилась, лишь только ея взглядъ упалъ на красиваго юношу: Поберегись, кричитъ она ему, поберегись, теперь я уже не въ силахъ помочь тебѣ! И она рада, что все такъ случилось, ибо Амуръ смягчилъ ее сердце.—

1) II, 32.

Когда Аффрико увидѣлъ, что Мензола бросила въ него копьемъ, нѣсколько смутился, но ея крикъ и жалостливые глаза, которыя она на него устремила, вновь возбудили его желаніе; такъ разгорается отъ вѣтра искорка, притаившаяся въ потухшей головнѣ. И онъ снова пускается преслѣдовать удалявшуюся нимфу: вотъ она на горѣ, спустилась по ту сторону, онъ не видитъ ее болѣе, и бѣгаетъ туда и сюда, какъ охотникъ, у котораго снялась птица, и онъ ищетъ ее, поднявъ голову, растерянно и суетливо. Мензолы не найти въ лѣсу; пойти ему домой или искать? Солнце уже склонялось, Аффрико приходятъ на мысль разсказы отца, Амуръ подсказываетъ съ другой стороны: Какое мнѣ дѣло до Діаны, лишь-бы разъ добиться своего! Такъ колебался Аффрико пока не рѣшилъ вернуться, чтобъ не опечалить отца; идетъ и все оглядывается: не видать-ли Мензолы. Придя домой онъ бросается на постель ничкомъ; его вздохи привлекаютъ мать. Что съ тобою сынокъ? говоритъ она, обнимая его; что у тебя болитъ, дай я полечу. Подними-же голову, дорогой мой, скажи нѣсколько словъ: вѣдь я твоя мать, вскормила тебя молокомъ, девять мѣсяцевъ носила. — Непріятно было Аффрико, что мать замѣтила его печаль; сегодня утромъ, возвращаясь, я упалъ и весь разбился, еще и теперь осталась боль въ боку, говоритъ онъ; если ты меня любишь, оставь теперь меня, говорить мнѣ—ядъ.—Мать выходитъ изъ комнаты, а Аффрико сѣтуетъ на свободѣ, взывая къ неподатливой красавицѣ, Венерѣ и смерти; онъ плачетъ — и вдругъ ему вспоминаются слова Мензолы, когда она предупредила его объ опасности, выраженіе ея глазъ — и къ его скорби примѣшивается надежда.

Между тѣмъ искусная мать, Алимена, набрала травъ, чтобы приготовить для сына ванну противъ той боли. Пришелъ-ли Аффрико? спрашиваетъ, вернувшись домой, Джираффоне. Мать разсказываетъ, что знаетъ: Оставь его въ покоѣ, пусть отдохнетъ, а тамъ мы сдѣлаемъ ему хорошую ванну, она прогонитъ всякую немочь; теперь ему и говорить больно. — Но отецъ не вытерпѣлъ, пробрался въ комнату сына, прикрылъ его, спав-

шаго.—Онъ спитъ, говоритъ онъ, вернувшись, женѣ, жаль было будить его. —Разумѣется, отвѣчаетъ Алимена, не тревожь его болѣе.

Аффрико проснулся для новаго горева̀нья, но не желая, чтобы отецъ это замѣтилъ, оправился, отеръ слѣды слезъ и вышелъ къ отцу и матери. Какъ тебѣ можется? спрашиваетъ она его; Теперь какъ-будто ничего, отвѣчаетъ онъ, боль прошла сномъ. Тѣмъ не менѣе ему пришлось взять ванну. Не умѣешь ты лѣчить, о Джираффоне, отъ ванны не пройдетъ сердечная рана!

Такъ миновалъ второй, третій и четвертый день, Аффрико отбился отъ дѣла, исхудалъ, старается быть одинъ, чтобъ свободнѣе предаваться печали. Скажи, что съ тобою? пытаютъ его отецъ и мать, мы сдѣлаемъ все, что можно, лишь бы тебѣ было легче. Аффрико отговаривается, что у него болитъ голова или что-то другое, и всякій разъ его лѣчатъ не отъ того недуга, отъ котораго бы слѣдовало.

Однажды онъ прибрелъ съ своимъ стадомъ къ прелестному источнику, сѣлъ и призадумался, опустивъ голову на руку, опирая локоть на колѣно. Вода отразила его блѣдное, измѣнившееся лицо, и его разобрала жалость къ самому себѣ. Кругомъ его рѣзвится стадо, поютъ птицы; счастливы звѣри, имъ нѣтъ запрета любить, а я печалюсь день и ночь! Онъ плачетъ, ведя бесѣду съ своимъ собственнымъ отраженіемъ въ водѣ. Но вѣдь Венера подала ему надежду; ужъ не забыла ли она о немъ? Онъ хочетъ напомнить ей о себѣ: развелъ костеръ, закололъ овцу, кровью которой оросилъ огонь; затѣмъ, раздѣливъ ее на двѣ части, возложилъ на костеръ, одну часть во имя Мензолы, другую въ свое. Онъ молитъ богиню смягчить Мензолу, настолько по крайней мѣрѣ, чтобы его смерть, которой онъ чаетъ, не была ей въ радость, какъ ненавистна его жизнь. —Передъ нимъ совершается чудо: части овцы поднялись и срослись, овца постояла нѣкоторое время, и громко проблеявъ, снова упала въ огонь. Это видѣніе, напоминающее причудливую аллегорію Діаниной

Охоты[1]), ободрило Аффрико; повидимому, онъ не понялъ его вѣщаго смысла: онъ соединится съ Мензолой, какъ части жертвеннаго звѣря, но соединится — для смерти.

Довольный, онъ ведетъ домой свое стадо, поужиналъ со своими, ночью долго провозился въ постели, а подъ утро ему привидѣлась Венера, съ сыномъ на рукахъ: она поможетъ ему, если онъ послѣдуетъ ея совѣту, пусть только нарядится нимфой и вмѣшается въ толпу другихъ. Коли встрѣтишь Мензолу, вступи съ нею въ бесѣду о вещахъ святыхъ и божественныхъ, и когда улучишь время, не зѣвай, ибо если она вырвется изъ рукъ, никакія улещанія потомъ не помогутъ; не бойся насилія, ибо Амуръ такъ овладѣетъ ею, что она не вырвется изъ его когтей.

Аффрико готовъ исполнить совѣтъ богини, надежда разожгла его желаніе. Онъ вспомнилъ, что у матери есть хорошее платье, которое она рѣдко надѣвала; выждавъ, когда никого не было дома, онъ досталъ платье и спряталъ его въ дальнемъ мѣстѣ, куда явился на другое утро. Должно быть, Венера помогла его переодѣванью: его не признать было за мужчину, съ колчаномъ на боку и лукомъ въ рукахъ онъ совсѣмъ походилъ на нимфу, и въ его блѣдности, нажитой горемъ, было что-то женственное.— Онъ идетъ въ горы, слышитъ крики: нѣсколько нимфъ кричатъ ему издали: Стой, подожди звѣря! То несся кабанъ, нѣсколько стрѣлъ торчали у него въ спинѣ; стрѣла Аффрико уложила его. Мензола хвалитъ ударъ, такого она еще не видала, а Аффрико счастливъ отъ ея близости, ея похвалы ему пріятны; онъ рѣшился-бы и на большее, еслибъ не боялся вооруженныхъ нимфъ. Всѣ разсуждаютъ, какой кто далъ выстрѣлъ: Вотъ былъ бы подарокъ Діанѣ, еслибъ она была здѣсь! восклицаетъ Мензола. Затѣмъ принялись стрѣлять въ цѣль, и стрѣлы Мензолы и Аффрико оказываются ближе всѣхъ къ цѣли. Уже новая нимфа начинаетъ нравиться Мензолѣ, что скажетъ одна, то поддержитъ

1) Сл. выше стр. 122.

другая; онѣ сидятъ рядомъ за охотничьимъ обѣдомъ: столомъ служитъ скала подъ лавровымъ деревомъ, кабанье мясо жарено безъ приправъ, хлѣбъ изъ каштановъ, другого еще не знали, вмѣсто вина вода, сваренная съ медомъ и какими-то травами. Послѣ обѣда нимфы расходятся съ пѣснями, Аффрико идетъ въ обществѣ Мензолы и трехъ нимфъ. Его сердце бьется; открыться или нѣтъ! думаетъ онъ про себя; вотъ если бы тѣ нимфы ушли, и мнѣ бы остаться одному! Если погодить, то такой случай можетъ и не представиться. — Онъ хочетъ дѣйствовать, и воздерживается, а пламя любви разгорается пуще, пока онъ колеблется между да и нѣтъ [1]).

Онѣ подходятъ къ долинѣ, что лежала промежъ двухъ горъ, слышатъ журчаніе воды. Двѣ нимфы купаются въ озеркѣ; не раздѣться-ли и намъ? спрашиваютъ спутницы Аффрико; хочешь съ нами купаться? говоритъ Мензола. Онъ разсчиталъ, какъ ему поступить, и входитъ въ воду, раздѣвшись послѣднимъ. Какъ волкъ бросается на стадо овецъ и схватываетъ одну, тогда какъ другія бѣгутъ, пугливо блея, такъ побѣжали при видѣ мужчины нимфы, кое-какъ прикрываясь платьемъ, забывъ объ оружіи, тогда какъ Аффрико крѣпко обхватилъ Мензолу, цѣлуетъ ее; она плачетъ, отбивается, но напрасно. Когда она поняла, что съ нею сталось, она приходитъ въ отчаяніе; Аффрико печалятъ ея слезы и вмѣстѣ разжигаютъ его страсть; онъ вырываетъ у нея изъ рукъ копье, которымъ она хотѣла заколоться, держитъ ее въ объятіяхъ, когда она упала безъ чувствъ, готовъ убить себя, полагая, что она скончалась. Но она вздохнула, и Аффрико принимается утѣшать ее: Не плачь, душа моя, ты въ объятіяхъ человѣка, который любитъ тебя болѣе всего на свѣтѣ; если я употребилъ противъ тебя насиліе, тому виновникъ Амуръ, жалуйся на него — и онъ разсказываетъ, какъ онъ увлекся ею съ перваго раза, какъ она бросила въ него копьемъ и закричала: Берегись! — Мензола слушаетъ эту повѣсть любви и сама под-

1) IV, 25.

дается ей. Она помнитъ эпизодъ съ копьемъ: Если ты тотъ самый, то я вѣдь тебя не знаю; съ тѣхъ поръ, какъ меня посвятили Діанѣ, я не видала мужчины, теперь же Діана изгонитъ меня изъ своего сонма, поразитъ меня, или я сама себя убью, избѣгая стыда. Я защищалась, тому свидѣтели деревья и звѣри; я умру, ты удовлетворенъ, и обо мнѣ не вспомнишь. — Аффрико продолжаетъ утѣшать ее, цѣлуетъ, отираетъ рукой слезы: Ты создана въ раю, говоритъ онъ, приглаживая ея волосы: такихъ красивыхъ онъ не видалъ. «Да будетъ благословенъ годъ и мѣсяцъ и день и часъ и мгновеніе и время года, когда создано было это прелестное личико и всѣ другіе члены, полные такого совершенства, что, обыскавъ весь свѣтъ и въ небѣ, среди богинь, не найти ни одной, которая сравнялась бы съ тобою»[1]). — Сдѣланнаго не вернешь[2]), заключаетъ Аффрико, будь же умна, поцѣлуй меня крѣпко, какъ цѣлую я. — Амуръ уже опуталъ сердце Мензолы, печаль понемногу отлегла, а любовь, которую Мензола питала къ Аффрико-нимфѣ, разгорѣлась сильнѣе отъ его рѣчей. Она обняла его лѣвой рукой, но еще не рѣшается поцѣловать: Бѣдная я, что будетъ со мною, если прознаетъ Діана! Мнѣ нельзя будетъ болѣе показаться среди нимфъ. Я знаю, что еслибъ я убила себя, моего грѣха отъ того бы не убыло; увѣрена, что сдѣланнаго тобою не могло не быть; не будь я въ этомъ убѣждена, я сама наложила бы на себя руки. Твои рѣчи отвлекли меня отъ моего жестокаго рѣшенія; но остаться съ тобой, какъ ты говоришь, я никогда не соглашусь: тебя узнаютъ тѣ нимфы, которыя тебя видѣли, либо догадаются о томъ, о чемъ еще не знаютъ. Потому уйди, прошу тебя, оставь меня съ моимъ горемъ, я какъ нибудь помирюсь съ нимъ.

Аффрико понялъ, что любовь уже посѣтила ея сердце, и она только стыдится, и онъ говоритъ про себя: Прежде, чѣмъ я уйду отсюда, ты еще запоешь у меня другую пѣсню! Да развѣ я могу

1) V, 9: сл. Filostrato, III, 83.
2) V, 11.

уйти? спрашиваетъ онъ; безъ тебя мнѣ жизнь не въ жизнь; еслибъ я и могъ уйти, какъ быть мнѣ спокойнымъ, когда ты въ такомъ горѣ? — Онъ предлагаетъ ей отправиться съ нимъ: его мать будетъ ей матерью; но на это Мензола рѣшительно не согласна: это значило бы обнаружить грѣхъ, коснѣть во злѣ. Пусть Аффрико пойдетъ, ради него ей мила теперь жизнь, она будетъ любить его и часто сюда являться: здѣсь онъ можетъ увидѣть ее, побесѣдовать съ нею—по чести. Она сдержитъ слово, ибо, говоритъ она, ты меня на половину связалъ и, мнѣ кажется, я тебя полюбила.

Аффрико пользуется этимъ объясненіемъ, чтобы попросить бо̀льшаго. Мензола борется: Времени немного, насъ могутъ застать, да и Діана накажетъ меня, если узнаетъ, что на то было мое согласіе. — Никогда не узнаетъ о томъ Діана, видитъ насъ только Богъ [1]), убѣждаетъ Аффрико.—Нѣтъ такой башни, которая не пала бы отъ ударовъ, а Мензола была не стальная [2]). Не знаю, что за судьба моя или такая у меня доля, что я не въ состояніи не исполнить твоего желанія, говоритъ она; я сдаюсь, у меня нѣтъ силъ противъ Амура.

День близился къ концу, и Аффрико надо итти; онъ клянетъ темную ночь, которая ихъ разлучаетъ; Мензола стоитъ, смущенная, проситъ его удалиться — хотя это и противъ ея желанія; всякій шелестъ листа заставляетъ ее страшиться нимфъ. Она проситъ Аффрико сказать ей свое имя; прощаніе длится долго [3]), такъ овладѣла ими любовь, что они едва не надрываются. Условившись о встрѣчѣ, они расходятся въ разныя стороны, долго еще оглядываясь и дѣлая другъ другу знаки.

Аффрико спѣшитъ къ мѣсту, гдѣ спряталъ свое платье, переодѣлся и идетъ домой, гдѣ отецъ и мать уже тревожились о немъ. Много понадобилось ему выдумокъ, чтобы не обнаружить

1) V, 36.
2) V, 39, 40; сл. Декамеронъ, VIII, 4.
3) V, 44, 45.

возбужденнаго состоянія духа. Мысли о завтрашнемъ днѣ не даютъ ему уснуть.

А Мензола, возвращаясь къ себѣ, предается раздумью, мысль о проступкѣ, совершенномъ ею, не покидаетъ ее и, прійдя къ себѣ въ пещеру, она начинаетъ горевать. Какъ предстать ей передъ лице Діаны, что подумали бы подруги, еслибъ знали? Ей вспоминается судьба нимфы Каллисто, Муньоне и Чалы [1]), чудится, что сама она уже обращена въ рѣку, звѣря или дерево. Что сказали-бы отецъ и мать, братья и сестры, обязавшіе ее строго блюсти обѣты, которые возложили на нее вмѣстѣ съ священнымъ облаченіемъ [2])? Они навѣрно убили бы ее, грѣховодницу.— Лишь подъ утро она заснула въ слезахъ.—Аффрико былъ уже на условленномъ мѣстѣ, поджидая ее, плететъ вѣнки, одинъ себѣ, другой для ея бѣлокурой головки, и часто поглядываетъ на рощу, не идетъ ли Мензола. Прошелъ уже третій часъ, солнце палитъ, и Аффрико дивится, почему это нѣтъ его милой, и какъ человѣкъ, желающій, чтобы что-нибудь совершилось, придумываетъ разныя объясненія. — Такъ Троилъ напрасно поджидалъ Гризеиду. — Насталъ и вечеръ, Аффрико рѣшается пойти домой: быть можетъ, Мензола повстрѣчалась на пути съ подругами, онѣ ее и задержали. Онъ вернется завтра.

Между тѣмъ Мензола проснулась около девятаго часа, разбитая, измученная; разныя мысли бродятъ у нея въ головѣ, пугая; она не забыла своего обѣщанія Аффрико, но рѣшилась не ходить къ нему: она любитъ его, держитъ въ сердцѣ, но страхъ передъ Діаной превозмогъ. Такъ прошелъ и второй день и третій, и цѣлый мѣсяцъ; Аффрико все ходитъ на свиданіе въ урочное мѣсто, бродитъ по горамъ, не встрѣтитъ-ли Мензолы, но Фортуна, всегда непостоянная, уже взглянула на него завистливымъ окомъ. Онъ совсѣмъ опустился, обезсилѣлъ отъ горя, почти не говоритъ. Однажды, когда онъ пасъ свое стадо, ему захотѣ-

1) VI, 8.
2) VI, 10.

лось взглянуть на мѣсто, гдѣ Мензола отдалась ему, куда обѣщала вернуться. Онъ осматривается кругомъ: здѣсь они взяли другъ друга за руки, она поклялась придти; здѣсь они разстались; но ея клятвы были лживы, онъ не ожидалъ такого предательства и не въ силахъ пережить своей тоски: склонившись надъ рѣчкой, онъ бросается на копье. Прощайте, отецъ и мать, говоритъ онъ, умирая, оставайтесь съ Богомъ, я иду въ мучительный адъ [1]), ты-же, рѣка, станешь носить мое имя и, окрашенная моею кровью, будешь свидѣтельствовать всякому, до чего довела меня любовь.

Та рѣчка раздѣлялась нѣсколько пониже, какъ и теперь, на два рукава, изъ которыхъ одинъ, что̀ поменьше, протекалъ мимо дома Аффрико. Его отецъ былъ на берегу, багровый цвѣтъ воды подсказалъ его сердцу, что случилось. Онъ идетъ искать сына, не найдя его при стадѣ, поднимается вверхъ по берегу, откуда начиналась багровая струя. Какъ увидѣлъ тѣло Аффрико, едва устоялъ на ногахъ. Какой злодѣй убилъ тебя! плачется онъ; что скажетъ твоя бѣдная мать, что станемъ мы дѣлать безъ тебя, осиротѣлые! Видно погубила тебя безжалостная Діана! Что довело тебя до смерти? спрашиваетъ онъ, признавъ копье сына. Вытащивъ тѣло изъ воды, онъ взвалилъ его на плечи и понесъ домой; здѣсь все разсказалъ женѣ, показалъ и копье, которое онъ извлекъ изъ раны. Какъ плакала и стонала мать, припавъ къ лицу сына, нечего и спрашивать; по тогдашнему обычаю, тѣло его предали сожженію, среди сѣтованій и воплей, а пепелъ похоронили на берегу рѣки. Съ тѣхъ поръ она назвалась и еще зовется Аффрико.

Но вернемся къ Мензолѣ. Ея печаль нѣсколько улеглась, и она стала выносить ее терпѣливѣе, стала показываться среди нимфъ, и тѣ повѣрили ея разсказу, что она, какъ и другія, ушла отъ преслѣдованія Аффрико. Она поминаетъ его и частенько вздыхаетъ о немъ втихомолку; охотясь съ подругами, ищетъ глазами мѣсто,

1) VI, 33.

гдѣ Аффрико былъ съ нею счастливъ. «Что ты дѣлаешь, не знаю, но навѣрно страдаешь по мнѣ; въ этомъ не моя вина, страхъ отнялъ у меня всякую смѣлость». И она охотно доставила бы ему удовольствіе, еслибъ не Діана и ея нимфы.

Такъ она жила, пораженная и любовью и боязнью, когда случилось, чего, въ своей наивности, она не вѣдала. Она пополнѣла въ бокахъ, ей неможется; она дивится, не находя тому причины; не беременна-ли она? Жила въ той мѣстности, въ дикой пещерѣ, мудрая нимфа Синедеккія; ей было лѣтъ сто или болѣе, она вѣдала многое и была искусна во врачебномъ дѣлѣ. Къ ней-то за совѣтомъ пошла Мензола. Покачавъ головою, старуха сказала съ гнѣвнымъ видомъ: Нечего скрываться, дочь моя, ты согрѣшила съ мужчиной. Мензола покраснѣла отъ стыда, хотѣла было представиться непонимающей, но видитъ, что отъ всевѣдущей старухи ничего не утаишь, и она потупилась, молчитъ и плачетъ. Старуха видитъ ея смущеніе и чистоту, и ей кажется, что дѣвушка согрѣшила не по своей волѣ. Она ощутила къ ней жалость; Неладно ты сдѣлала, говоритъ она ей, но не надо такъ отчаяваться; подумаемъ о средствахъ; скажи, какъ все было?—Мензола молчитъ, прильнула къ груди Синедеккіи и тихо плачетъ. Когда наконецъ она во всемъ призналась, старуха, пожуривъ ее и наставивъ впредь быть осторожнѣе, говоритъ, что̀ ей слѣдуетъ дѣлать: пусть не выходитъ изъ своей пещеры, развѣ къ ней за совѣтомъ, и платье носитъ пошире, безъ пояса, чтобы о грѣхѣ не довѣдались; когда настанутъ роды, пусть призоветъ Луцину, и она окажетъ ей помощь; а о ребенкѣ позаботится она, Синедеккія. — И вотъ Мензола начинаетъ слѣдовать ея совѣтамъ; дитя еще не успѣло родиться, а уже явилось новою связью между ней и Аффрико: она чаще вспоминаетъ о немъ, сильнѣе его любитъ, раскаивается, что избѣгала его. Нѣсколько разъ ходила она туда, гдѣ въ первый разъ съ нимъ спозналась, надѣясь его встрѣтить и пойти съ нимъ въ его домъ. Одна идти она не рѣшалась: бывало подойдетъ и назадъ. Не знала она, что изъ-за нея онъ погубилъ себя.

Такъ благосклонна была къ ней судьба, что ни одна нимфа ни о чемъ не догадалась, хотя всѣ и недоумѣвали, отчего она такъ похудѣла и не ходитъ на охоту. Когда снова явилась въ Фьезоле Діана, Мензола, по совѣту старой нимфы, не показывается ей; между тѣмъ наступило время родовъ: Луцина пришла къ ней на помощь, подняла съ земли новорожденнаго и подала матери. Та счастлива, не можетъ налюбоваться мальчикомъ, тотчасъ же одѣла его, приложила къ груди, ласкаетъ, гладитъ по головкѣ; онъ такой красивый, кудрявый, глазами весь въ отца. Она не въ силахъ разстаться съ нимъ, отдать Синедеккіи; на этомъ избыткѣ материнской любви, пересилившей опасеніе, построена развязка.

Діана, очень любившая Мензолу, спрашиваетъ о ней у ея подругъ; однѣ говорятъ, что давно ее не видѣли, другія, что ей нездоровится. Тогда богиня сама отправляется къ ней, сопутствуемая тремя нимфами; Мензолы въ то время не было въ пещерѣ, она пошла къ рѣкѣ, гдѣ ея мальчикъ игралъ на солнцѣ. Ея еще не видать, но она уже увидѣла богиню, слышитъ, что ее зовутъ. Быстро спрятавъ ребенка въ кусты терновника [1]), она молча пустилась бѣжать промежъ дубовъ по направленію къ рѣкѣ. Видитъ это Діана, слышитъ громкій крикъ ребенка; Не бѣги, коли я не захочу, тебѣ не перейти рѣки, не избѣжать моихъ стрѣлъ, грозитъ она Мензолѣ, но та не слушается, уже вступила въ рѣку, когда Діана произнесла какія-то слова, и бѣдная нимфа слабѣетъ, разлилась волною; съ тѣхъ поръ та рѣка зовется Мензолой; «я разсказалъ вамъ, откуда она взялась» [2]).

Нимфы плачутъ отъ жалости, но Діана говоритъ, что Мензола того заслужила, и ведетъ ихъ посмотрѣть на мальчика. Онѣ ласкаютъ его, хотѣли бы пріютить у себя въ горахъ, но богиня велитъ отнести ее къ Синедеккіи, которой разсказываетъ, какъ Мензола забросила ребенка въ кусты съ цѣлью скрыть свой

1) Pruni, VII, 10.
2) VII, 13.

грѣхъ, и какъ она ее наказала. Старуха расплакалась: Никто, кромѣ меня, не зналъ объ ея проступкѣ, говоритъ она, не будь меня, она наложила бы на себя руки; къ тому же она была обманута. Какъ услышала это богиня, разжалобилась, но, въ примѣръ другимъ, сохраняетъ видимую суровость, а Сенедеккія проситъ у нея позволенія взять мальчика и отнести въ дальнія долины, гдѣ его воспитаютъ люди. Она слышала отъ Мензолы имя Аффрико; онъ, должно быть, живетъ гдѣ-нибудь по близости; и вотъ она идетъ въ долину, гдѣ дымилась хата, встрѣчаетъ Алимену: Я къ тебѣ по важному дѣлу; послушай-ка, въ какой печали родился этотъ ребенокъ. — Пока она разсказываетъ о любви Аффрико и Мензолы и ихъ судьбѣ, Алимена взглянула на ребенка: Боже мой, да вѣдь онъ совсѣмъ въ моего Аффрико! Она беретъ на руки внука, цѣлуетъ его, прослезилась отъ радости; тяжко мнѣ будетъ, дорогой ты мой, повести съ тобою рѣчь о томъ, какъ умеръ твой отецъ, приговариваетъ она, и сама разсказываетъ о томъ старухѣ. Обѣ горюютъ; тутъ подошелъ Джираффоне; узнавъ, въ чемъ дѣло, расплакался отъ радости и горя, ласкаетъ ребенка, и тотъ улыбается ему, побуждаемый природой. Назвали его Прунео, потому что найденъ онъ былъ въ терновникѣ [1]), и выросъ онъ красивымъ молодцомъ, точно написали его кистью, ловкимъ и храбрымъ, всѣмъ въ отца.

Какъ разъ въ то время пришелъ въ Европу Атлантъ съ множествомъ народа [2]); построилъ Фьезоле, нимфы, не успѣвшія удалиться, должны были повыходить за смертныхъ. Джираффоне сталъ нáбольшимъ совѣтникомъ Атланта, Прунео его сенешалемъ; Атлантъ женилъ его на Тироніи, дочери одного важнаго барона, и далъ ему въ собственность уголъ между рѣками Мензолой и Муньоне; построившись повыше церкви, что̀ теперь въ

1) Pruni, VII, 33.

2) Gen. Deor. IV, 31 различаетъ трехъ Атлантовъ, изъ нихъ одинъ Athlas italus, qui ut vulgo fertur (?), antiquissimus apud Fessulas imperavit, cujus quoniam parentes non comperi, non apposui. Сл. Com. sopra la Comm. I, стр. 342.

Маяно, Прунео могъ обозрѣвать оттуда свои владѣнія, которыя вывелъ изъ состоянія дикости. Потомки десяти его сыновей становятся гражданами Фьезоле, пока разгромъ города римлянами не заставилъ ихъ переселиться въ новую римскую колонію, Флоренцію. Здѣсь они освоились, перероднились, и когда Тотила разрушилъ Флоренцію и пустилъ кличъ, чтобы всѣ шли жить въ обновленный имъ Фьезоле, потомки Аффрико предпочли выселиться въ свои волости. Они-то впослѣдствіи и обратились къ Карлу Великому и папѣ, умоляя ихъ вспомнить про забытое римское поселеніе. Императоръ вновь отстраиваетъ Флоренцію, и родъ Аффрико снова переселяется туда; и въ другихъ мѣстностяхъ отъ нихъ пошли именитые люди.

Боккаччьо уже не разъ обращался къ легендарной исторіи Флоренціи и ея окрестностей [1]), которой завершаетъ свой разсказъ о судьбахъ Аффрико и Мензолы. Его могла интересовать и фабула, и характерная для него культурно-историческая точка зрѣнія: онъ любитъ представлять себѣ развитіе общественности изъ формъ дикаго быта, какъ развитіе человѣчности подъ вліяніемъ любви. У трубадуровъ и старыхъ итальянскихъ лириковъ, какъ теперь еще въ народныхъ повѣрьяхъ, «дикій человѣкъ» — символъ наивной простоты, соединенной съ непочатой мудростью; и у Боккаччьо мы встрѣтили и еще встрѣтимъ эту точку зрѣнія, восхваленіе золотаго вѣка [2]) и сельской простоты [3]), соединенное съ пессимистической оцѣнкой позднѣйшей культуры, но Филоколо еще смѣется надъ безпомощностью автохтоновъ Чертальдо, онъ такой-же цивилизаторъ, какъ Прунео. — Все это не объясняетъ появленіе разсказа о немъ въ концѣ нашей поэмы: по отношенію къ содержанію цѣлаго это такой-же лишній привѣсокъ, какъ пятая книга Филоколо. Недочетъ-ли это композиціи, или авторъ желалъ разрѣшить веселой нотой свой поэтическій раз-

1) Filocolo, Ameto; сл. выше стр. 244—5, 286—7.
2) Сл. разсказъ Адіоны въ Амето, выше стр. 278—9.
3) Fiammetta, стр. 115 слѣд.

сказъ о любви и скорби? Такое именно непосредственно-свѣжее поэтическое впечатлѣніе производитъ его коротенькая поэма, не смотря на двѣ-три подробности наивно-реалистическаго характера (первое свиданіе съ Мензолой), которыя современный романистъ предпочелъ бы умолчать, либо, смотря по школѣ, представить въ полусвѣтѣ неясныхъ формъ и страстныхъ намековъ. Есть-ли въ этой грустной исторіи что-нибудь автобіографическое, хотя бы скрытое подъ пологомъ причудливыхъ стиховъ? [1]). Мы невольно ищемъ этихъ отзвуковъ, ищемъ Фьямметты; такъ пріучили насъ полуоткровенія Филоколо, Амето и Любовнаго Видѣнія и посвященіе Тезеиды. Отвѣтъ на это даютъ первыя и послѣднія октавы Ninfale. Поэта побуждаетъ говорить любовь, давно обитающая въ его сердцѣ, любовь къ красавицѣ, по которой онъ тоскуетъ день и ночь. Амуръ ведетъ моимъ перомъ, ему принадлежитъ честь этого произведенія, ему, посланному моей дамой, въ сравненіи съ которой блѣднѣютъ достоинства всѣхъ другихъ; одного ей недостаетъ: немного жалости. Авторъ ставитъ себя подъ защиту всѣхъ любящихъ противъ зависти и злословія и людей, не понимающихъ любви, а дамы пусть умолятъ его горделивую красавицу не быть столь жестокой къ своему служителю [2]).— Тоже повторяется съ измѣненіями, въ заключительныхъ строфахъ поэмы [3]): Амуръ, которому подчинила его дама, повелѣлъ поэту сложить этотъ разсказъ, и онъ исполнилъ это, на сколько позволилъ талантъ, изощрившійся въ услуженіи ему. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ хочетъ пожаловаться Амуру [4]), и эта жалоба обращается [5]) въ просьбу, чтобы его книга не попала въ руки невѣждъ и негодныхъ людей, не знающихъ, что такое Амуръ, и готовыхъ порицать всякое писаніе о немъ [6]). Пусть читаютъ его лишь тѣ,

1) Sotto il velame dei versi strani.

2) I, 1—4.

3) VII, 65—73.

4) VII, 66.

5) VII, 70.

6) Ogni tuo bel trattato.

душевно-благовоспитанные [1]), въ сердцахъ которыхъ онъ царитъ.—И Амуръ отвѣчаетъ поэту, какъ нимфы въ заключительныхъ сонетахъ Тезеиды: Добро пожаловать, покорный мой слуга, я принимаю *мою* книжку, ибо знаю, что она такова, какъ я желалъ; она будетъ храниться у меня вмѣстѣ съ другими повѣстями о моихъ великихъ дѣяніяхъ, и я уберегу ее отъ людей, никогда не послужившихъ мнѣ, не потому, чтобъ я боялся ихъ нареканій, а дабы мое имя не упоминалось въ ихъ средѣ.

Боккаччьо говоритъ о людяхъ, не понимающихъ любви и, вмѣстѣ, о завистникахъ и ненавистникахъ [2]). О нихъ идетъ рѣчь въ концѣ Филоколо, еще рѣзче въ послѣдней молитвѣ Амето. Это, быть можетъ, проявленіе того литературнаго самосознанія, воспріимчиваго и обидчиваго, которое и позже заставляло Боккаччьо, и не его лишь одного, говорить объ окружающей ихъ отовсюду invidia; или это отвѣтъ ригористамъ, отметникамъ Амура, порицавшимъ Боккаччьо за его Декамеронъ и получившимъ извѣстную отповѣдь въ введеніи къ четвертому дню? Амуръ царитъ въ Ninfale, это — его книга; красавица, овладѣвшая поэтомъ во имя его, несомнѣнно, Фьямметта, но какъ блѣдно она выступаетъ, какъ мало страстности въ упоминаніи ея! Торжествуетъ чувство любви, но любовь къ Фьямметтѣ перестала быть стономъ сердца и уже становится поэтическимъ мотивомъ, готовымъ для объективнаго анализа романа, которому она дала свое имя. Самъ Боккаччьо говоритъ намъ о своемъ выходѣ изъ періода страстности, когда любовь оставила въ его сердцѣ лишь то наслажденіе, какое она обычно доставляетъ людямъ, не слишкомъ далеко пускающимся въ ея мрачныя волны [3]).

1) Animi gentili, VII, 71.
2) Invidiosi.
3) Декамеронъ, Введеніе, пер. I, стр. 2.

V.

НА ВЫСОТѢ.

(ФЬЯММЕТТА И ДЕКАМЕРОНЪ).

I.

Какъ мы видѣли, сороковые годы были особенно производительны для поэтической дѣятельности Боккачьо: въ ихъ началѣ закончень былъ Филоколо, созданы Амето и Любовное Видѣніе, нѣсколько позднѣе Тезеида и Ninfale; извѣстное изображеніе чумы, открывающее Декамеронъ, указываетъ, что по крайней мѣрѣ эта часть написана была въ 1348 году или вскорѣ послѣ него; послѣдняя лирическая пьеса Декамеронъ, жалоба ревнующей Фьямметты, предполагаетъ положеніе, разработанное въ романѣ, носящемъ ея имя. «Фьямметта» и Декамеронъ, въ которыхъ Боккачьо стоитъ на высотѣ своего психологическаге и художественнаго реализма, вяжутся между собой внутренно, вызывая рядъ хронологическихъ вопросовъ, до сихъ поръ мало выясненныхъ. Дѣло касается внѣшней біографіи Боккачьо и его неаполитанскихъ отношеній по возвращеніи во Флоренцію въ 1340 году. Его поѣздка въ Неаполь въ 1342 году остается предположеніемъ [1]), какъ и его пребываніе тамъ въ 1345—6 и 1348-мъ годахъ; все это сомнительно или неясно, и мы не знаемъ подробностей. Видѣлся-ли онъ съ Фьямметтой? Ни Тезеида, ни Ninfale не даютъ никакихъ указаній; біографическая нить личнаго романа теряется, и мы ловимъ ее на почвѣ писемъ и политической эклоги.

Въ 1343 году умеръ король Робертъ, оплаканный Петраркой и Боккачьо — и безыменнымъ провансальскимъ поэтомъ, кото-

1) Сл. выше стр. 178, 292.

рый прославляетъ его не только за мудрость и знаніе [1]), но и за щедрость — а въ этомъ поэтъ, очевидно, зналъ толкъ: глаголъ «платить» не сходитъ у него съ языка. Многіе достойные люди были на жалованьи у короля [2]), говоритъ онъ, теперь имъ придется вернуться во свояси; онъ помогалъ совѣтомъ всякому, кто являлся въ Неаполь безпомощнымъ [3]).

Тогда начались неурядицы, которыя предвидѣлъ Петрарка и самъ Робертъ; «на смертномъ одрѣ его лебединая пѣсня была по истинѣ философская, царственная, пророческая; онъ такъ ясно представилъ слушателямъ ужасныя бѣды, предстоявшія его царству, какъ будто для него было настоящимъ, что для другихъ было будущимъ» [4]); Angelo De Tummolillis da Sant Elia разсказываетъ въ своей лѣтописи [5]), что когда король лежалъ на смертномъ одрѣ и при немъ говорили о Джьованнѣ, онъ провѣщился: Она выйдетъ за другого, горе царству! Nubetur *alio*: въ alio соединены иниціалы ея четырехъ мужей! [6]).

Робертъ назначилъ своей наслѣдницей Джьованну, а до ея совершеннолѣтія подчинилъ ее совѣту подъ предсѣдательствомъ вдовствующей королевы Санціи. Но Санція не въ силахъ была справиться съ начинавшейся придворной смутой и ушла въ монастырь; власть очутилась въ рукахъ юной, царственной красавицы, обаятельной и страстной, отдававшейся вліянію женщинъ, которыя руководили ею, потворствуя ея слабостямъ. Объ ея любовныхъ шашняхъ говорили подъ рукою многое, особенно объ ея отношеніяхъ къ дядѣ, Людовику Тарентскому, воспитаннику Аччьяйоли, сыну знакомой намъ Катерины de Courtenay [7]),

1) Cap e razis en sciensa fondat.

2) Prenian gage.

3) Bartsch, Denkmäler der prov. Literatur, стр. 50—57.

4) Petrarca, Sen. II, 1.

5) Конца XIV, нач. XV вѣка: Notabilia Temporum, ed. Costantino Corsivieri, c. III.

6) Andreas, Ludovicus, Jacobus, Otto.

7) Сл. выше стр. 54.

которая не прочь была воспользоваться этой связью въ цѣляхъ политической интриги. Другой совѣтчицей королевы была Филиппа изъ Катаніи, когда-то прачка, взятая ко двору въ качествѣ няньки; впослѣдствіи ей было поручено воспитаніе Джьованны; благодаря ея вліянію, ея мужъ, бывшій рабъ изъ мавровъ [1]), и сыновья получили значительныя должности при дворѣ.

Мужа своего Джьованна не любила; это былъ добрый, тяжеловѣсный мадьяръ, падкій до кулинарныхъ удовольствій, тяготившійся ролью мужа не у дѣлъ; еще при жизни Роберта неаполитанскіе магнаты приняли присягу на вѣрность одной Джьованнѣ. Это положеніе его раздражало; съ помощью брата, Людовика Венгерскаго, онъ добился у папы Климента признанія и за нимъ королевскаго достоинства; это шло наперекоръ завѣщанію Роберта, да и Джьованна хотѣла царствовать одна; ея пренебрежительное отношеніе къ мужу сообщалось лицамъ, ее окружавшимъ, ему не отдавали должнаго почета, королева и ея дворяне позволяли себѣ издѣваться надъ нимъ: позовутъ его, бывало, будто по дѣлу, а потомъ и скажутъ, что не надо, и посмѣются. Это выводило его изъ себя, онъ разражался угрозами; отъ него ожидали въ будущемъ строгихъ мѣръ, и придворная знать не прочь была сбыть его съ рукъ. Между тѣмъ какъ Катерина de Courtenay мечтала о престолѣ для своего сына, другой дядя королевы, женатый на ея сестрѣ, Карлъ Дураццкій, разсчитывалъ на права своей жены. Знать интриговала, венгерская партія кичливо поднимала голову, при дворѣ безстыдно распоряжался монахъ Робертъ, мерзкое «треногое животное» Петрарки. Въ воздухѣ пахло грозой, интересы любви и политики вели къ одной цѣли: уже посланные съ папской буллой для короля Андрея пристали въ Гаэтѣ, когда въ ночь на 18 сентября 1345 года въ Аверзѣ его вызвали подъ ложными предлогами изъ спальни жены, задушили въ сосѣдней комнатѣ, а тѣло выбросили въ садъ. Королева могла слышать шумъ борьбы, но не

1) Эѳіопъ у Боккаччьо, De Casibus.

вышла изъ своего покоя; заговорщики бѣжали, и только какая-то венгерка подняла крикъ [1]).

На сколько Джьованна виновна въ смерти своего мужа, попустила-ли она ее или вызвала, это едва-ли когда-либо разъяснится вполнѣ. Первое слѣдствіе произведено было подъ давленіемъ народа, взволнованнаго преступленіемъ, и по требованію папы, приславшаго инквизиторовъ съ тайнымъ наказомъ: если бы оказались виновными королева и принцы, не разглашать того, а ограничиться донесеніемъ папской куріи. Въ убійствѣ подозрѣвали принцевъ [2]); можетъ быть, еще въ 1347 году написана была баллата, оплакивавшая гибель юнаго короля: его кровь взываетъ къ мести, какъ кровь Авеля [3]). Казнены были второстепенныя лица, въ томъ числѣ Филиппа, но народное сознаніе обвиняло Джьованну; прорицанія какого-то мага, грозившія королевѣ карой неба, составлены, вѣроятно, уже по смерти королевы; разсказъ въ хроникѣ De Tummolillis [4]) также клонится къ ея обвиненію: будто бы веревка, на которой Андрея повѣсили на оконницѣ Аверзскаго замка, сплетена была съ вѣдома королевы одной изъ ея прислужницъ; король еще спросилъ ее, что это она дѣлаетъ, а она отвѣчала ему: Много есть бѣдъ, о которыхъ не знаютъ, а кто знаетъ, не говоритъ! Король разсмѣялся, не понявъ значенія словъ. — Всѣ эти подозрѣнія отложились въ современной народной легендѣ о Джьованнѣ: въ Неаполѣ ея имя привязалось къ палаццо донны Анны, къ замкамъ въ Кастель Капуано и Ночерѣ; вездѣ она является съ типомъ Тамары, ненасытной въ своемъ сладострастьи, окруженной тайной; она привлекала въ свой дворецъ красивыхъ юношей, и насладившись,

1) Сл. Matteo Villani l. I, c. 9; Boccaccio De Cas. IX, 26; 2-я эклога Петрарки и комментаріи Бенвенуто изъ Имолы и Донато дельи Альбанцани. Сл. Hortis Studi, стр. 10.

2) Nepotibus regis Roberti въ старой редакціи комментарія Pietro Alighieri къ Божественной комедіи. Сл. Rocca, Di alcuni com. della Div. Comm. стр. 403, прим. 1.

3) Medin, Ballata in morte di Andrea d'Ungheria, Propugnatore, N. S. I, II.

4) l. c.

отсылала, но всѣ они неизбѣжно проваливались въ западню и погибали въ морѣ. Ты точно королева Джьованна, говорится до сихъ поръ о невоздержной въ своихъ вожделѣніяхъ женщинѣ [1]). Такъ сложилось легенда; Боккаччьо стоялъ при ея зарожденіи, и его первые отзывы о Джьованнѣ навѣяны голосомъ народа.

Года два спустя по смерти Андрея, Людовикъ Тарентскій женился на его вдовѣ; Аччьяйоли, очевидно дорожившій этимъ политическимъ бракомъ, принудилъ его къ тому почти насильно, не дожидаясь папскаго разрѣшенія: въ одинъ прекрасный день, онъ привелъ жениха къ покоямъ королевы и втолкнулъ его туда; такъ они стали мужемъ и женой [2]). Между тѣмъ въ королевствѣ царила анархія: сторонники Джьованны боролись съ сторонниками Карла Дурацкаго; явились и другія партіи. Этимъ объясняется невѣроятный успѣхъ венгерскаго короля Людовика, явившагося отмстить за смерть брата: 3 ноября 1347 года онъ выступилъ изъ Пешта и 24 января 1348 года совершилъ торжественный въѣздъ въ Неаполь. Карлъ Дурацкій былъ казненъ, нѣкоторые анжуйскіе принцы и малолѣтній сынъ Джьованны, родившійся по смерти отца, были отосланы въ Венгрію; Джьованна и ея мужъ успѣли бѣжать незадолго передъ тѣмъ: послѣдній въ Тоскану вмѣстѣ съ Аччьяйоли, первая въ Провансъ. Моровая язва 1348 года побудила венгерскаго короля уже въ маѣ удалиться изъ Неаполя, куда Джьованна съ мужемъ вернулись въ августѣ того-же года: продажа Авиньона папамъ доставила ей средства для дальнѣйшей борьбы, обновившейся съ воз-

1) Сл. Gaetano Amalfi, La Regina Giovanna nella tradizione, Giambattista Basile, VII, № 11. Въ иномъ, благопріятномъ освѣщеніи является Джьованна въ легендахъ Прованса: крестьяне долго не вѣрили тамъ, что она умерла, и не хотѣли признавать ея наслѣдника. «En 1820 on voyait à la pointe d'un clocher de Sisteron un étincellement de feux: c'était un bloc cristal de roche. Le peuple l'appelait le diamant de la reine Jeanne. Les paysans pour signifier que quelq'un a de l'argent. disent: Il sait où Jeanne dort. Et en parlant d'un beau diseur: Il parle comme la belle Jeanne». Jules Lemaître въ Journ. des Débats 1890, 11 Авг., прив. въ Archivio per lo studio d. trad. popolari, v. X, стр. 275.

2) 20 Августа 1347 года.

вращеніемъ венгерскаго короля въ 1350 году; ея бракъ признанъ былъ законнымъ, назначенные папой кардиналы, по новомъ разслѣдованіи дѣла, нашли ее невинной въ убійствѣ мужа. Въ январѣ 1352 года Людовикъ венгерскій согласился на миръ, тѣмъ болѣе, что и сынъ Андрея, изъ-за правъ котораго предпринятъ былъ походъ, скончался въ 1348 году. 28 мая 1352 года Джьованна съ мужемъ были вѣнчаны на царство; въ ожиданіи именно этого событія и написано было [1]) увѣщательное посланіе Петрарки, гдѣ Аччьяйоли преподавались совѣты, какъ сдѣлать изъ его воспитанника достойнаго правителя [2]).

Ни для кого не было тайной, что и вѣнчаніе Людовика было дѣломъ великаго сенешаля: ни королева, жившая не въ ладахъ съ своимъ мужемъ, ни анжуйская знать не желала того, говоритъ Барбато въ своемъ комментаріи къ посланію Петрарки, живо характеризуя Людовика: ни въ первое, ни во второе вторженіе венгровъ, ни во все время между тѣмъ и другимъ, онъ не обнаружилъ ни храбрости, ни доблести; его защитой было отчаяніе и упадокъ духа; титулъ славнѣйшаго, который даетъ ему Петрарка, Барбато равнодушно-наивно понимаетъ, какъ метонимію, относя его не къ королю, а къ королевству. Понятно, почему онъ желалъ, чтобъ его комментарій попалъ лишь въ извѣстныя руки [3]). Тайное мнѣніе Петрарки сводилось, быть можетъ, къ подобной-же оцѣнкѣ нравственной личности Людовика; иначе онъ не подчеркнулъ-бы особо — идею воспитанія; когда Людовикъ умеръ, Петрарка писалъ Аччьяйоли: тебѣ удалось облегчить ему путь къ престолу, а не украсить его духъ царственными добродѣтелями; напрасно мы оба трудились для этой цѣли, я перомъ, ты словомъ [4]).

За всѣми этими событіями Петрарка [5]) и Боккаччьо слѣдили

1) 20 Февраля 1352 года.
2) Fam. XII, 3. Сл. выше, стр. 102.
3) Сл. выше стр. 102—3.
4) Fam. XXII, 18.
5) Fam. V, 3; VI, 5; VII, 1; Sen. X, 2; сл. Ecloga II.

съ живѣйшимъ интересомъ, послѣдній—съ колебаніями симпатій, невольно поднимающими вопросъ о вмѣняемости. Прежде всего—гдѣ былъ онъ въ пору трагедіи въ Аверзѣ? Разсказывая [1]) о казни Филиппы Катанской, онъ говоритъ, какими нежданными путями она и мужъ прошли въ люди: это я слышалъ отъ стариковъ, а вотъ это я самъ *чуть* не видѣлъ [2])—и онъ продолжаетъ сообщать объ ихъ дальнѣйшемъ возвышеніи, а затѣмъ уже о казни Филиппы въ 1346 году. Принадлежитъ-ли это событіе къ числу тѣхъ, которыхъ онъ былъ свидѣтелемъ, остается неяснымъ. Изъ одного письма къ нему Петрарки [3]) видно, что въ 1346 году онъ жилъ въ Равеннѣ, при дворѣ Остаджіо да Полента, одного изъ культурныхъ итальянскихъ тирановъ XIV-го вѣка; по его просьбѣ онъ перевелъ на итальянскій языкъ четвертую декаду Тита Ливія [4]); въ Равеннѣ, какъ оказывается, у него были родственники [5]) и жили старые пріятели и поклонники Данте въ его изгнаніи, Пьеро Джьярдино, Дино Перини, Менгино Меццани, сообщавшіе ему свѣдѣнія о великомъ поэтѣ; не даромъ въ письмѣ отъ 1365 года Петрарка, обращаясь къ Боккаччьо, говоритъ: «твои Равенцы» [6]).

Остаджіо умеръ 14 ноября 1346 года; вѣроятно, въ томъ-же или въ 1347 году Боккаччьо переѣхалъ въ Форлѝ къ Франческо дельи Орделаффи, другому такому-же тирану, любителю охоты и поэзіи, «дружественному хозяину піэридъ», поклоннику Петрарки; его секретаремъ былъ Чекко деи Росси да Милето, недурной поэтъ, переписывавшійся съ Петраркой и Боккаччьо [7]), Ланчилотто Ангвиссола и Антоніо изъ Феррары [8]); въ стихотворномъ

1) De Casibus, l. IX, c. 25—6.

2) Sed quae *fere* viderim ipse, jam venient.

3) Fam. XXIII, 19.

4) Hortis Studi, стр. 7—8, прим. 4 и 307 слѣд.; его-же Cenni di G. Boccaccio intorno a Tito Livio, стр. 24.

5) Ricci, L'ultimo rifugio di Dante Alighieri, стр. 212—213.

6) Sen. V, 1.

7) Сонетъ № XCIX.

8) Zenone da Pistoia, ed. Zambrini, Bologna, Romagnoli, 1874, стр. XXI, прим.; сл. Giorn. Stor. della lett. ital. fasc. 58—59, стр. 178—181.

посланіи пасторальнаго стиля Боккаччьо побуждалъ его къ пѣснямъ: Пока волею судебъ Италія терзаема войною, поищемъ же утѣшенія въ поэзіи; начни-ка ты, мой Мерисъ (Чекко), я отзовусь: камены вѣдь любятъ взаимность [1]); будемъ пѣть о любви, о моей Галатеѣ, которая даритъ меня вздохами, не погашая любви [2]), а Мопсу (Петраркѣ) предоставимъ подвиги боговъ и героевъ.— Мерисъ отвѣчастъ своему Меналку (Боккаччьо): Поэзія теперь не къ лицу, поля выжжены, міръ объятъ пожаромъ; станемъ-ли пѣть, намъ не будутъ внимать, и стихи наши разнесетъ вѣтеръ.

Гдѣ былъ въ то время Чекко, изъ его отвѣтнаго посланія не видно; если ты желаешь отвѣтить мнѣ, пишетъ ему Боккаччьо, то знай, что я пребываю подъ сѣнью, уготованною мнѣ Фавномъ [3]). Такъ называетъ Боккаччьо Франческо дельи Орделаффи въ эклогѣ, съ содержаніемъ которой мы познакомимся далѣе.

Боккаччьо находился въ Форлѝ, когда Людовикъ венгерскій прибылъ туда на пути въ Неаполь; 16 декабря 1347 года онъ вышелъ изъ Форлѝ, Орделаффи долженъ былъ послѣдовать за нимъ съ вспомогательнымъ войскомъ, при немъ и Боккаччьо. Мы узнаемъ это изъ письма Боккаччьо къ грамматику Заноби да Страда во Флоренціи, письма, относящагося, вѣроятно, къ началу 1348 года, ибо въ февралѣ Орделаффи былъ уже въ Апуліи [4]). — Письмо начинается реторическимъ прославленіемъ дружбы, съ цитатами изъ древности; Заноби что-то сдѣлалъ для Боккаччьо, не щадя усилій: о томъ сказывалъ посланецъ Заноби, говорятъ его письма и результаты хлопотъ, и Боккаччьо эмфатически подчеркиваетъ, что съ Заноби его связываетъ не только единство родины, но и дружба; лишь за это одно онъ и благодаритъ свою Фортуну, не благодаритъ Заноби, потому что другъ — второй я, а себя не благодарятъ. — Далѣе идутъ лите-

1) Amant alterna Camenae = Virg. Ecl. III, 59.

2) Fiammetta? сл. выше стр. 119 и Virg. l. c. 66—6: Malo me Gaiatea petit, lasciva puella,—Et fugit ad salices et se cupit ante videri.

3) Hortis, Studi стр. 351—3.

4) Corazzini, 447—9.

ратурныя дѣла: переписчику Діонисія (вѣроятно Ареопагита?), кажется, заплачено, или бо̀льшею частью, пишетъ Боккаччьо; такъ сообщилъ мнѣ нашъ Анджело; остальное будетъ додано; книгу передайте Анджело, который въ свое время перешлетъ ее мнѣ. — Боккаччьо восторженно благодаритъ за доставленіе ему той рѣчи Заноби, которую мы характеризовали въ другомъ мѣстѣ [1]): онъ не только читалъ ее и перечитывалъ, но и списалъ для себя, а оригиналъ обѣщаетъ доставить съ вѣрнымъ человѣкомъ.Варрона я еще не получалъ, получилъ бы вскорѣ, если бы не предстояло отправиться къ королю Венгріи въ крайнія предѣлы Абруццъ и Кампаніи; мой славный господинъ и дружественный хозяинъ піэридъ (Орделаффи) снаряжается туда-же, чтобы поддержать праведно поднятое оружіе [2]), и я поѣду съ нимъ, по его приказанію, не какъ воинъ, а такъ сказать, въ качествѣ судьи того, что имѣетъ произойти; съ помощью Божіей мы вскорѣ вернемся съ побѣдой.—А что ты пишешь о дружбѣ ко мнѣ мессера Коппо, моего доблестнаго отца, для меня не новость; но чѣмъ воздамъ я ему? Ничего моя судьба-мачеха не оставила мнѣ, кромѣ меня самого; я весь принадлежу ему. — Письмо кончается извиненіемъ, если оно отвлекло Заноби отъ его «геликонскихъ размышленій», и просьбой доставить все то, что произвела муза Заноби съ тѣхъ поръ, какъ Боккаччьо выѣхалъ изъ Флоренціи.

Посланіе поражаетъ обычной у Боккаччьо реторичностью, не дѣланною, притворно скрывающею другія отношенія, а откровенно-наивною: въ 1348 году онъ могъ находиться въ дѣйствительно хорошихъ отношеніяхъ съ Заноби, но примѣры античной дружбы и идеализація поэтическаго акта заставили его, всегда сенситивнаго, поднять тонъ, и Заноби является у него чѣмъ-то необыкновеннымъ; тѣмъ рѣзче было паденіе съ пьедестала, когда пріятель не отвѣтилъ ожиданіямъ. Другихъ своихъ флорентинскихъ друзей, Анджело (можетъ быть, Торини?) и Коппо ди Боргезе

1) Сл. выше стр. 42.

2) Ut sua imitetur arma justissima.

Доменики, Боккаччьо поминаетъ и въ другомъ письмѣ къ Занobi отъ 1353 года, и позже не разъ; къ Коппо, блюстителю старыхъ нравовъ, онъ питаетъ особое уваженіе и не знаетъ, чѣмъ ему воздать за его дружбу: вѣдь у него ничего нѣтъ, кромѣ самого себя; онъ обиженъ судьбой — а мы знаемъ, что онъ живетъ въ довольствѣ, otia, уготованномъ ему Орделаффи, и забываетъ итальянскія смуты — въ пѣсняхъ о любви. Это приготовляетъ насъ къ оцѣнкѣ подобныхъ-же сѣтованій Боккаччьо на фортуну и бѣдность; въ нихъ много нервнаго шаржа.

Что особенно интересно для насъ—это отношеніе къ неаполитанскимъ событіямъ, проглядывающее въ письмѣ. Оружіе, поднятое венгерскимъ королемъ, «праведное»; Боккаччьо готовъ послѣдовать за Орделаффи и ожидаетъ побѣды; въ канцонѣ [1]), написанной вскорѣ послѣ убійства Андрея, говорится о бѣдствіяхъ, причиняемыхъ любовью: изъ-за нея Медея покинула отца, задушенъ былъ, можно сказать вчера, юноша Андрей.

Третья эклога (Faunus), написанная, быть можетъ, въ Форлѝ, когда Людовикъ венгерскій уже шелъ на Неаполь, примыкаетъ по содержанію къ разобранной выше поэтической бесѣдѣ Чекко и Боккаччьо, поясняя ее. Самъ Боккаччьо раскрылъ въ ней одно лишь имя: Faunus—это Франческо Орделаффи, объявить другія было неудобно [2]). Thestylis находится въ какихъ-то близкихъ отношеніяхъ къ Франческо: мать его, либо просто аллегорія Форлѝ [3])? Памфило — житель Форлѝ [4]), Палемонъ — Боккаччьо, Мерисъ — Чекко.

Что за крики оглашаютъ лѣсъ? спрашиваетъ Палемонъ. Время было прелестное, пастухи предавались сну или играмъ, пока ихъ козы покоились подъ тѣнью высокихъ дубовъ, я же плелъ вѣнокъ изъ аканѳа, приберегая его до той поры, когда моя свирѣль споетъ нѣчто достойное вѣнчаннаго Мопса (Петрарки),

1) № 1.
2) Minime videretur opportunum.
3) Какъ, быть можетъ, и во 2-й эклогѣ.
4) Сл. Pamphile, tu *patrio* recubans hic lentus in antro.

какъ раздались отчаянные крики Тестилисъ: Что за безуміе овладѣло тобою, о Фавнъ, что ты охотишься въ горахъ за медвѣдями? У тебя нѣтъ заботы ни о себѣ, ни о твоемъ маломъ стадѣ, ни о матери. Развѣ не знаешь ты, что ихъ окружаютъ злоба волковъ-Аллоброговъ? Я женщина, у меня псовъ (molossis) не много, и мнѣ не отбиться отъ опасностей. — Фавнъ вѣчно ихъ ищетъ, замѣчаетъ Памфило, а Мерисъ говоритъ: Будто тебѣ неизвѣстны частыя ссоры Фавна и Тестилисъ? Отъ ихъ криковъ обездолѣлъ лѣсъ, облетѣла листва, а ты еще спрашиваешь: поетъ-ли Филомела, пасется-ли мирно козелъ!—Палемонъ проситъ Мериса подсѣсть къ нимъ, они будутъ пѣть втроемъ.— Мнѣ пѣть въ этихъ лѣсахъ! Да вѣдь они стали, къ нашему позору, жилищемъ цикадъ, коршуновъ и вороновъ.—Такъ будемъ пѣть для себя, для Мопса, говоритъ Палемонъ, и Мерисъ соглашается: музы ему выше всего. Онъ поетъ о благословенномъ царствованіи Аргуса (король Робертъ) въ авзонійскихъ поляхъ; все было тамъ полно довольства и веселья, пока онъ былъ въ живыхъ, все опечалилось послѣ его смерти, и юный Алексисъ (Андрей), которому онъ поручилъ свои лѣса и стада, недостаточно осторожный [1]), палъ жертвой беременной волчицы [2]). Такъ говорятъ, говорятъ также, что въ тѣхъ лѣсахъ водятся львы и дикіе звѣри, причинившіе смерть суровому [3]) Адонису. И вотъ отъ утеса [4]) у Истра услышалъ о томъ братъ Алексиса, Титиръ (Людовикъ Венгерскій) и, собравъ безчисленные сонмы пастуховъ и псовъ, отправился, чтобы словить и волчицу и львовъ [5]) и наказать по заслугамъ [6]). Ты развѣ не помнишь, какъ онъ проходилъ здѣсь, по этимъ лѣсамъ, полный ярости? Многіе изъ нашихъ слѣдуютъ за нимъ, между ними и Фавнъ; о немъ-то печалится, его-то напрасно

1) Cautus modicum.
2) Gravidam lupam.
3) Severus.
4) De rupe cava.
5) Flavosque leones.
6) Ut poenas tribuat meritis.

зоветъ Тестилисъ. — Пойду и я, говоритъ Палемонъ и проситъ Памфило поберечь его стадо.

Смыслъ эклоги ясенъ, равно какъ и точка зрѣнія Боккаччьо на неаполитанскія событія. *Говорятъ*, Андрей погибъ, происками Джьованны, тогда дѣйствительно беременной [1]) сыномъ (Карломъ Мартелломъ); львы — анжуйскіе принцы, можетъ быть, Аччьяйоли, въ гербѣ котораго былъ левъ: онъ могъ быть заинтересованъ въ судьбѣ своего воспитанника, Людовика Тарентскаго, связь котораго съ Джьованной была извѣстна; второй мужъ его сестры, Андреи, которой Боккаччьо посвятилъ свою книгу о знаменитыхъ женщинахъ, былъ въ числѣ убійцъ короля. Оружіе Людовика Венгерскаго — праведное, Боккаччьо-Палемонъ намѣренъ отправиться къ нему вмѣстѣ съ Орделаффи.

Послѣдовалъ-ли онъ за нимъ въ Неаполь — мы не знаемъ; судя по письму къ Заноби, онъ могъ быть тамъ весною 1348 года и видѣть ужасы чумы, побудившей Людовика Венгерскаго выступить изъ Неаполя въ маѣ того-же года; чумы во Флоренціи Боккаччьо не видѣлъ [2]). Есть одно его письмо изъ Неаполя, которое относятъ къ 1349 году; собственно два письма къ юному Франческо di messer Alessandro dei Bardi [3]), флорентинскому купцу въ Гаэтѣ: одно итальянское, въ обычномъ періодическомъ стилѣ Боккаччьо, съ цитатами изъ древности, на тему, что всякому дѣловому, занятому человѣку необходимо развлеченіе; въ изданіи Дони (Prose) оно помѣчено 15 мая 1349 года; въ рукописяхъ никакой отмѣтки нѣтъ; другое на неаполитанскомъ діалектѣ, назначенное развеселить молодаго деи Барди крупною солью неаполитанскаго фарса [4]). «И такъ, извѣщаю тебя, дорогой братецъ, что въ первый день декабря мѣсяца Макинта родила хорошенькаго мальчика, да сохранитъ его Господь! Бабка и кумъ говорятъ, что онъ весь въ отца. Далъ бы Богъ такого же сынка

1) Gravida lupa.

2) Сл. Com. sopra la Comm. II, стр. 19.

3) Въ одной рукописи — Giovanni. Сл. Hortis Studi, стр. 311, прим. 1.

4) Corazzini, стр. 21—4.

нашей королевѣ!». Въ этомъ стилѣ продолжается далѣе: Макинта, только что родившая, съѣдаетъ цѣлаго поросенка, и хоть бы кусочекъ намъ дала, да поразитъ ее паршъ! Описываются въ комическомъ видѣ крестины мальчка, котораго наэвали по имени святаго Антонія, покровителя свиней; имена присутствующихъ народныя — изъ лучшихъ домовъ Неаполя. Живетъ здѣсь, какъ тебѣ извѣстно, продолжаетъ авторъ письма, аббатъ Янетто Боккаччьо, и днемъ и ночью то и дѣлаетъ, что пишетъ; толковалъ я ему о томъ много разъ, чуть не поругался, а онъ смѣется, говоритъ: Убирайся, пошелъ играть со школьниками, а я это дѣлаю, потому что хочу научиться. Судья Барили увѣряетъ меня, что у него знаній больше, чѣмъ у дьявола или у соррентинскаго мага Скаччьянесполе. Не знаю, откуда онъ это знаетъ, но клянусь мадонной Пьедигротты, мнѣ жаль его. Меня спросятъ: Тебя то что за дѣло? Скажу тебѣ, я люблю его, какъ отца, и не желалъ бы, чтобы вышло что-либо непріятное ему да и мнѣ. Напиши-ка ты ему о томъ.—Письмо подписано: въ день св. Аньелло [1]) твой *Jannetto di Parisse* dalla Ruoccia; это былъ бы единственный случай, что Боккаччьо назвалъ себя, въ шуточномъ письмѣ, родомъ изъ Парижа, намекая на свое происхожденіе. Содержаніе письма чисто личное, кружковое: аббатъ Боккаччьо, судья Баррили, молодой Барди, изъ торговаго дома, въ которомъ когда-то служилъ Боккаччьо — всѣ они могли интересоваться Макинтой. Историческихъ указаній никакихъ, кромѣ желанія, чтобы *наша* королева обзавелась сыномъ. Наша королева—то-есть Джьованна? Именно въ 1348 году она съ мужемъ вернулась въ Неаполь, чтобы продолжать борьбу съ венгерской партіей, а между тѣмъ въ письмѣ нѣтъ никакихъ намековъ на эту борьбу, въ которой Боккаччьо только что подалъ голосъ за другую сторону. Къ этому присоединяются и иныя затрудненія: итальянское письмо, тѣсно связанное съ неаполитанскимъ, помѣчено 15 мая, тогда какъ второе писано въ день св. Антонія, т. е. 15 декабря, на что указываетъ и свѣ-

1) Св. Антонія.

*

дѣніе, что Макинта родила 1 числа того-же мѣсяца. Придется оба письма отнести къ 15 декабря, но это не рѣшаетъ дѣла. Желаніе, чтобы у королевы явилось потомство, можетъ относиться ко времени до смерти Андрея, къ началу 1345 года или ранѣе, до трагедіи въ Аверзѣ, когда Джьованна осталась беременной на четвертомъ мѣсяцѣ, либо ко времени не только ея брака съ Людовикомъ Тарентскимъ, но и ея признанія королевой. Самый стиль письма, потѣшный и безпечный, говоритъ скорѣе за первое; въ такомъ случаѣ Боккаччьо могъ въ самомъ дѣлѣ сказать о себѣ, что *чуть* не видѣлъ казни Филиппы катанской, и уѣхать въ Равенну подъ впечатлѣніемъ первыхъ слуховъ о виновности королевы, которыя раздѣлялъ и Петрарка и комментаторы его эклогъ.

Въ іюлѣ 1348 года отецъ Боккаччьо написалъ свою духовную; вскорѣ послѣ того онъ, вѣроятно, и умеръ, потому что въ одномъ актѣ отъ 26 января 1350 года нашъ Боккаччьо является въ качествѣ опекуна своего своднаго брата Якова (отъ второй жены отца)[1]). Повидимому, этотъ братъ не игралъ въ жизни поэта особой роли и духовной близости у нихъ не было. Когда въ 1361 году Боккаччьо думалъ совсѣмъ перебраться въ Неаполь, онъ взялъ съ собою и брата; но года два спустя онъ же писалъ Пино деи Росси, что блаженствуетъ въ уединеніи Чертальдо — независимо отъ того, есть-ли у него братъ, по милости Божіей, или нѣтъ[2]).—Боккаччьо вступилъ въ часть отцовскаго наслѣдства[3]); онъ былъ теперь самостоятеленъ, но не обезпеченъ; ему недоставало otium Петрарки и приходилось самому списывать себѣ библіотеку. Въ его жалобахъ на бѣдность много реторичнаго, преувеличеннаго воображеніемъ, но воображеніемъ человѣка, мечтавшаго жить исключительно для поэзіи, для самоусовершенствованія. Его мечты, повидимому, устремлены на

1) Manni, Istoria del Decamerone, parte I, 21.
2) Corazzini, l. c. стр. 96—7.
3) Crescini, Contributo, стр. 257—8.

Неаполь; судя по одному документу 1351 года, который мы приведемъ далѣе, онъ въ близкихъ отношеніяхъ къ Аччьяйоли. Куда-же дѣлись нареканія III-й эклоги и ея иносказательные «львы», если они дѣйствительно имѣютъ въ виду великаго сенешаля?—Дѣло въ томъ, что отношенія Боккаччьо къ неаполитанскимъ событіямъ измѣнились, и IV-я, V-я и VI-я эклоги стоятъ въ прямомъ противорѣчіи съ III-й. Онъ самъ объяснилъ содержаніе первыхъ въ письмѣ къ монаху Мартину изъ Синьи.

Четвертая эклога (Dorus) описываетъ бѣгство Людовика Тарентскаго—Dorus (будто-бы отъ греческаго слова doris, означающаго горесть) [1]) и Аччьяйоли, его преданнѣйшаго друга, почему онъ и назвалъ Pithyas [2]). Мы уже знаемъ, что въ январѣ 1348 года, до прихода венгерскаго короля, они удалились въ Тоскану; здѣсь Вольтерра дала имъ убѣжище, но флорентійцы не пустили ихъ въ свои стѣны, и пока Людовикъ проживалъ въ Val di Peso на виллѣ Аччьяйоли, приставили къ нему досмотрщиковъ. На этихъ данныхъ построена эклога: Монтанъ [3]) спрашиваетъ Дора, почему онъ такъ тревожно блуждаетъ, не зная отдыха. — Не мѣшай мнѣ бѣжать, отвѣчаетъ тотъ, я всего страшусь [4]).–Когда Монтанъ предлагаетъ ему вступить подъ его кровъ, онъ говоритъ, что ничего не желаетъ, кромѣ вѣрнаго убѣжища, и ободренный Питіей-Аччьяйоли, принимаетъ гостепріимство. Завязывается разговоръ: Доръ плачется, полонъ страховъ; я надѣялся успокоиться тамъ, гдѣ тихій Арно течетъ у Флоренціи, говоритъ онъ пріятелю: часто слыхалъ я отъ тебя, пока фортуна мнѣ еще улыбалась, о древней вѣрности флорентійцевъ. Питія разубѣждаетъ его, и Доръ принимается разсказывать о своихъ бѣдствіяхъ, начиная со смерти Аргуса (Роберта): мало пролили надъ нимъ слезъ, но вѣрно сказали тогда вѣщатели: тѣ слезы выпа-

1) Сл. ту-же этомологію въ Gen. Deor. IV 45, VII, 8 и выше стр. 24.

2) A nomine Pithyae amici Damonis.

3) Какой-нибудь житель Вольтерры.

4) Припомнимъ трусливаго, отчаявающагося Людовика въ характеристикѣ Барбато, выше стр. 374.

дутъ на долю бѣдному Алексису (Андрею), онъ палъ жертвой смерти, ибо былъ слишкомъ суровъ къ своей паствѣ и неуживчивъ въ лѣсахъ [1]). Стараніями Питіи я сочетался съ красавицей Ликорисъ (Джьованной), вмѣстѣ съ внуками [2]) Аргуса правилъ его стадами [3]), но пока насъ, юношей, терзала Еринпія, явился съ береговъ Истра Полифемъ (Людовикъ Венгерскій), рожденный отъ нашей крови, но вскормленный, полагаю, звѣринымъ молокомъ; движимый праведнымъ гнѣвомъ [4]), онъ, точно горный потокъ, все разрушалъ на пути. Не довольный наказаніемъ виновныхъ, онъ обагрилъ звѣзды кровью невиннаго Пафа (Карлъ Дураццкій), обременилъ узами дѣтей прелестныхъ нимфъ [5]), все предалъ варварскому опустошенію.—Доръ кончаетъ разсказомъ о своемъ бѣгствѣ съ Питіей, единственнымъ другомъ, не оставившимъ его въ его горѣ.—Его много впереди, говоритъ Монтанъ, ложная надежда часто будетъ соблазнять тебя, но ты все побѣдишь выдержкой.

Настроеніе этой эклоги не оставляетъ никакихъ сомнѣній: гнѣвъ венгерскаго короля по прежнему «праведный», и также оплакивается участь бѣднаго Андрея, но онъ палъ жертвою своей суровости, о виновности «красавицы Ликорисъ» ни слова, Аччьяйоли — образецъ друга; если на кого падаетъ нареканіе, то на венгерскаго короля, увлеченнаго праведнымъ гнѣвомъ къ казни невинныхъ.

Пятая эклога [6]) досказываетъ предыдущую, обѣ по настроенію и восторженнымъ похваламъ Роберту напоминаютъ вторую эклогу Петрарки (Argus). Бесѣдуютъ Калліопъ и Памфило [7]): первый описываетъ старыя блаженныя времена Неаполя, когда правилъ Тиръ (Робертъ), въ пѣсняхъ изрекая лѣсамъ спасительные законы;

1) Gregibus nimium durus, silvisque molestus.

2) Nepotes.

3) Septas.

4) Justa rabie succensus et ira.

5) Королевскихъ дѣтей, отправленныхъ въ плѣнъ въ Венгрію.

6) Silva cadens.

7) Что означаетъ по гречески: totus Amor.

все разрушилъ Полифемъ (Людовикъ венгерскій), пастухи покинули лѣса, Альцестъ и Ликорисъ (Людовикъ тарентскій и Джьованна) бѣжали [1]). Почему же не попытался ты утѣшить несчастныхъ ласковыми рѣчами? спрашиваетъ Памфило.—Я боялся, какъ бы не настигъ меня свирѣпый Полифемъ, потому и поспѣшилъ въ твои поляны.

Въ шестой эклогѣ Аминта спрашиваетъ Мелибея, почему онъ такъ грустенъ; тотъ указываетъ на плачевное состояніе страны, когда-то счастливой подъ скипетромъ Аргуса (Роберта); что сталось съ Алцестомъ?—Не плачь, отвѣчаетъ, ликуя, Аминта: свирѣпый Полифемъ удалился, къ намъ вернулся Алцестъ (Людовикъ Тарентскій).—Мелибей сначала не вѣритъ, но потомъ приходитъ въ восторгъ: Принесемъ жертвы, станемъ водить хороводы вокругъ храмовъ, станемъ пѣть въ запуски; лучше насъ никто не поетъ на сицилійскихъ поляхъ, развѣ Іола (Петрарка), тотъ выше всѣхъ, какъ кипарисъ выше кустарника.—Начинай-же ты первый, говоритъ Аминта, ты сильнѣе меня въ пѣсняхъ [2]), начни съ похвалы Филлидѣ, или лучше Алцесту; нѣтъ болѣе достойнаго его; или же воспой подвиги Питіи (Аччьяйоли), онъ по праву заслужилъ пѣснопѣнія Стильбона.—Филлида пусть забавляется на лугу, отвѣчаетъ Мелибей, а Питія повременитъ: если ты вѣришь предзнаменованіямъ, ему предстоитъ великое будущее; станемъ пѣть объ Алцестѣ.—Начинаетъ Мелибей, продолжаетъ Аминта: Вернулся къ намъ Алцестъ, вернулся, онъ водворилъ изгнанную Астрею, предоставилъ музамъ должныя почести, будетъ свѣточемъ, украшеніемъ лѣсовъ, пастырей, дѣвушекъ, и по смерти не узритъ порога Дита, а станетъ новымъ дельфійцемъ среди небожителей. Тосканецъ Азила извлечетъ звуки изъ тростника, Дамонъ и Питія станутъ подпѣвать; будущія поколѣнія едва повѣрятъ его славѣ, но его подвиги будутъ начертаны на корѣ деревьевъ. Вернулся къ намъ Алцестъ, вернулся!

1) Turpique fuga nemus omne relictum est.

2) Carmine maior.

Не всѣ аллюзіи этой эклоги понятны; кто такая Филлида? Можетъ быть типическое лицо, вообще, красавица? Пусть Филлида забавляется на лугу, т. е. Мелибей не хочетъ пѣть о любви. Тосканецъ Азила непонятенъ; если въ XIII-й эклогѣ Азила означаетъ отца Боккаччьо, то здѣсь, быть можетъ, подъ этимъ именемъ скрылся самъ поэтъ; не онъ ли воспоетъ хвалы Алцесту? Furibundus Asylas IV-й эклоги стоитъ совсѣмъ особо: какъ то либо изъ неаполитанскихъ магнатовъ. Несомнѣнно, что Питія — Аччьяйоли, Алцестъ—Людовикъ Тарентскій: на немъ сосредоточены вычурныя похвалы, отъ него ожидаютъ покровительства музамъ; одно его имя и истолковалъ Боккаччьо въ письмѣ къ Мартину изъ Синьи: alce значитъ virtus, aestus — fervor, оттуда Алцестъ, ибо «подъ конецъ своей жизни» Людовикъ «воспріялъ нравы благого, доблестнаго короля».

Къ какому времени относится этотъ панегерикъ Людовику? Венгерскій король — Полифемъ удалился изъ Неаполя 24 мая 1348 года; 31 августа снова вступили на итальянскій берегъ Джьованна и Людовикъ тарентскій—Алцестъ. Ихъ торжественная встрѣча, описанная Виллани [1]), напоминаетъ ликованія Аминты и Мелибея. Но до водворенія Астреи было еще далеко: въ 1350 году снова явился Полифемъ и борьба продолжалась до 1352 года. Если бы подъ Стильбономъ можно было разумѣть Заноби да Страда, пристроившагося къ Аччьяйоли въ маѣ 1352 года — на что нѣтъ данныхъ, то время написанія VI-й эклоги было бы опредѣлено. Объясненіе Боккаччьо, что въ послѣдніе годы жизни Людовикъ († 1362) сталъ проявлять качества хорошаго правителя, принадлежитъ, очевидно, позднѣйшему времени и не доказательно для хронологіи самой эклоги. Замѣчательно въ ней отсутствіе упоминанія Джьованны, восхваленіе отдано Людовику, затѣмъ, косвенно, Аччьяйоли, проведшему его на престолъ. Можетъ быть, Боккаччьо въ самомъ дѣлѣ возлагалъ надежды на короля; мы увидимъ далѣе, что какъ разъ въ 1352 году онъ раз-

1) Matteo Villani, l. I, c. XX.

считывалъ устроиться въ Неаполѣ при помощи Аччьяйоли; VI-я эклога какъ бы приготовляетъ къ этому, выражаетъ надежды, но она-же поднимаетъ вопросъ о нравственномъ характерѣ Боккаччьо. Какъ помирить его третью эклогу съ четвертой, пятой и шестой? Если онъ стоялъ за дѣло венгерскаго короля, какъ правое, его панегерикъ анжуйцамъ былъ-бы внушенъ разсчетомъ и лестью, одѣтой въ цвѣты реторики. Реторику я не исключаю: разгромъ королевства, романтическое бѣгство и торжественное водвореніе Астреи — все это являлось благодарной поэтической темой, какъ и картины довольства и счастья въ старыя времена Роберта. А Боккаччьо любилъ Неаполь, привязался къ анжуйской династіи; первыя слухи объ убійствѣ Андрея освѣтили для него односторонне и трагично положеніе дѣла — и онъ увлекся образомъ чреватой волчицы и освободительнымъ подвигомъ венгерскаго короля. Но его походъ повелъ къ разгрому и неурядицамъ, вопросъ о виновности Джьованны оказался темнымъ, невыясненнымъ, ходили подозрѣнія, но явилось и торжественное оправданіе[1]); Барбато толкуетъ именно въ этомъ смыслѣ «упрямую ложь и лживое упрямство» въ посланіи Петрарки, имѣя въ виду обвиненіе, взведенное на Джьованну, но разбитое молотомъ истины. Такимъ путемъ и Боккачьо могъ незамѣтно перейти къ другой оцѣнкѣ событій и прежнимъ анжуйскимъ симпатіямъ. Онъ могъ впослѣдствіи, и рѣзко, разойтись съ Аччьяйоли, въ заключительной главѣ De casibus говорить о Людовикѣ, какъ о ненавистномъ всѣмъ своимъ приближеннымъ, но его позднѣйшія сужденія о Джьованнѣ отличаются большею мягкостью и переходятъ въ похвалу. Въ книгѣ о Роковой участи великихъ мужей онъ говоритъ объ ея отношеніяхъ къ Филиппѣ Катанской и ея семьѣ, которую она возымѣла не по заслугамъ, удаляя всѣхъ другихъ изъ своего совѣта. Пустили даже слухъ о связи королевы съ сыномъ Филиппы, Робертомъ, прибавляетъ онъ, замѣчая, что всѣмъ этимъ подозрѣніямъ не слѣдуетъ давать вѣры: извѣстно, какая молва идетъ даже о честнѣй-

1) Сл. папскую буллу 1351 г. и Matteo Villani II, 24.

шихъ женщинахъ, если онѣ хотя немного общаются съ мужчинами; о виновности Джьованны въ убійствѣ мужа нѣтъ болѣе рѣчи: говорится о распряхъ, которыя успѣли посѣять между супругами еще при жизни Роберта, когда присяга принесена была на одно лишь имя Джьованны; Людовикъ Венгерскій, недовольный унизительнымъ положеніемъ, какое создали брату его жена и ея сообщники, добивался у папы его вѣнчанія; уже дѣло было рѣшено, и посланные пристали къ Гаэтѣ, когда составился заговоръ вельможъ, боявшихся королевскаго возмездія.

Особенно въ трактатѣ объ «Именитыхъ женщинахъ», конченномъ по смерти Людовика Тарентскаго (1362), Боккачьо является панегеристомъ Джьованны: онъ посвятилъ-бы ей и свою книгу, еслибъ не опасался, что ея царственное имя затмитъ его скромный трудъ. Послѣдняя глава наполнена похвалами ей: нѣтъ женщины выше ея по роду, могуществу и нравамъ; не смотря на свой полъ, она мудро правитъ громадными областями, очищая города, горы и лѣса отъ злыхъ людей, преслѣдуя ихъ, осаждая въ ихъ твердыняхъ и достигая цѣли, о которой не помышляли и которой не могли достичь предыдущіе правители. Теперь не только бѣднякъ, но и богатый человѣкъ можетъ идти, куда ему угодно, днемъ и ночью, распѣвая пѣсни; она исправила распущенные нравы принцевъ и бароновъ, и настолько смирила ихъ, что они, прежде ни во что не ставившіе короля, боятся ея гнѣвнаго взгляда. Разумная и стойкая, она испытала превратности судьбы [1]): распри братьевъ короля, войны, бѣгство и изгнаніе—*за чужое преступленіе* [2]), суровые нравы мужей (стало быть и Людовика Тарентскаго), интриги знати, *незаслуженное безславіе* [3]) и угрозы папъ. Все это она перенесла мужественно, на-диво —для женщины. При всемъ томъ она отличается красотой, веселымъ нравомъ, привѣтливой рѣчью [4]); царственное величіе ужи-

1) Fortunae saevienti insultus.

2) Alieno crimine.

3) Sinistram nec meritam famam.

4) Eloquium mite et cunctis grata facundia.

вается въ ней съ простотой, снисходительностью и добротой, такъ что она кажется скорѣе сверстницей (sociam), чѣмъ властительницей своихъ подданныхъ. Она — единственное украшеніе Италіи, подобнаго которому не являлось еще ни въ одномъ народѣ.

Таково послѣднее представленіе Боккаччьо о Джьованнѣ. Въ немъ многое, можетъ быть, преувеличено, но едва-ли весь образъ подсказанъ лестью, желаніемъ обратить на себя вниманіе королевы, быть прочтеннымъ ею, какъ даетъ понять Донато дельи Альбанцани въ добавленіи къ біографіи Джьованны, допуская, впрочемъ, что Боккаччьо могъ по обыкновенію увлечься къ одностороннимъ похваламъ страстью къ стилю и морализаціи по поводу [1]). Въ 1362 году Боккаччьо дѣйствительно сдѣлалъ еще одну, столь-же неудачную, какъ и прежнія, попытку устроиться въ Неаполѣ при Аччьяоли; не разсчитывалъ-ли онъ и на Джьованну? Мы видѣли что онъ готовился посвятить ей свою книгу объ именитыхъ женщинахъ, но, испугавшись ея величія, посвятилъ Андрею Аччьяйоли. Можетъ быть, мотивъ, измѣнившій его намѣренія, и не настоящій; послѣдній фактическій намекъ въ панегерикѣ Джьованны — смерть ея мужа Людовика — относитъ насъ именно къ 1362 году, году неудачной попытки. О прежнихъ отношеніяхъ Боккаччьо къ Джьованнѣ, пока она не отложилась для него въ образъ мудрой и твердой, неповинно обезславленной правительницы, мы ничего не знаемъ; когда въ 1372 году, отрекаясь отъ своего Декамерона, онъ извинялъ себя тѣмъ, что писалъ его еще молодымъ человѣкомъ и по приказанію *властъ имущаго* [2])—въ этомъ лицѣ нельзя предполагать, вмѣстѣ съ другими, Джьованну: въ 1340 году, когда Боккаччьо покинулъ Неаполь, ей было 14 лѣтъ; его пребываніе въ Неаполѣ въ 1342 и 1345–6 годахъ могло быть лишь кратковременно. Очень вѣроятно, что подъ «власть имущимъ», нȧбольшимъ, слѣдуетъ разумѣть Фьямметту; Боккаччьо никогда не забывалъ разницу положенія. Она внушила

1) Hortis Studi, стр. 114.
2) Majori coactus imperio.

ему Филоколо, побудила и къ разсказамъ; они могли писаться исподоволь; позже, въ 1348 году, или вскорѣ послѣ него, написано было, гдѣ-то, введеніе къ Декамерону, и первыя три книги пошли въ обращеніе, вызывая смѣхъ и критику и нападки, на которыя Боккачьо пришлось отвѣчать въ введеніи къ 4-му дню.

Это введеніе какъ-бы дѣлитъ Декаменронъ на двѣ неравныя части, изъ которыхъ первая [1]) представляется болѣе свободной по композиціи, вторая [2]) обнаруживаетъ нѣкоторую сознательность плана. Разскащики и разскащицы тѣ-же; имена нѣкоторыхъ намъ знакомы: Фьямметта, Пампинея, которую мы знаемъ изъ біографическихъ воспоминаній Амето, Емилія изъ того же Амето и Тезеиды. Разскащиковъ три: имя Діонео встрѣчается въ Амето [3]) съ тѣмъ-же самымъ значеніемъ человѣка несдержанно-плотскаго, какое давалъ ему Боккачьо въ письмѣ 1338 года, примѣняя его къ себѣ въ порывѣ самообличенія [4]); въ Декамеронѣ этотъ типъ значительно смягченъ: это веселый болтунъ, у котораго всегда на готовѣ гривуазныя новеллы, отъ которыхъ всѣ покатываются со смѣху, общій баловень, которому въ концѣ 1-го дня предоставлена льгота разсказывать послѣднимъ и о чемъ угодно, и онъ пользуется этимъ съ лихвою, чтобы въ концѣ 10-го дня поразить насъ слезной новеллой о Гризеидѣ.—Филострато, второй разскащикъ, также Боккачьо, но въ другомъ своемъ проявленіи: это Боккачьо-Троилъ извѣстной намъ поэмы, влюбленный и вздыхающій, болѣе всего—ревнивый. Наконецъ Памфило. Ничто не обязываетъ насъ къ предположенію, что въ первую часть Декамерона это имя попало изъ готоваго уже романа о Фьямметтѣ; кличка могла быть старая, отвѣчавшая счастливому періоду любви [5]), къ тому-же и новеллы, которыя Памфило и Филострато

1) I—III дни.
2) IV—X дни.
3) Сл. выше стр. 279.
4) Сл. выше стр. 19, 106.
5) Сл. выше стр. 117 слѣд.

разсказываютъ въ первые три дня, ничуть не отвѣчаютъ ихъ типамъ, какъ они задуманы въ Фьямметтѣ и Филострато: Памфило принадлежитъ серьезная по настроенію повѣсть о Чаппелетто [1]) и фривольныя новеллы о дочери султана дель-Гарбо [2]) и простотѣ донъ-Феличе [3]); того-же характера два разсказа Филострато [4]), третій сводится къ остроумной находчивости «потѣшнаго» человѣка [5]); въ концѣ третьяго дня его шутки отличаются вольностью, но когда его назначили королемъ, его настроеніе внезапно мѣняется: онъ самъ несчастенъ въ своей привязаности и потому сюжетомъ новеллъ слѣдующаго дня будетъ случай любви, кончившейся плачевно.

Перейдемъ ко второй части Декамерона. Открывается она подъ предсѣдательствомъ Филострато, его повѣсть одна изъ самыхъ трагическихъ [6]); когда Фьямметта разсказала новеллу о Гвискардѣ и Гисмондѣ [7]), онъ говоритъ, что отдалъ бы жизнь за половину испытаннаго ими блаженства, ибо самъ испытываетъ ежедневно тысячи смертей. Онъ недоволенъ разсказомъ Пампинеи [8]), потому что въ ней было надъ чѣмъ посмѣяться, такъ что Лауретта говоритъ ему: Вы ужъ очень жестоки къ любящимъ, если только и желаете ихъ злополучнаго конца! [9]). А Діонео доволенъ, что плачевные сюжеты исчерпаны, и забавляетъ всѣхъ разсказомъ о любовной шашнѣ, кончившейся неудачно, но разрѣшившейся смѣхомъ [10]). Въ заключеніе дня Филострато вѣнчаетъ королевой слѣдующаго — Фьямметту, ибо говоритъ онъ, она лучше, чѣмъ всякая другая, съумѣетъ утѣшить ихъ выбо-

1) Декамеронъ, I, 1.
2) Дек. II, 7.
3) Дек. III, 4.
4) II, 2; III, 1.
5) I, 7.
6) IV, 9.
7) IV, 1.
8) IV, 2.
9) IV, 3.
10) IV, 10.

ромъ сюжета для новеллъ. Фьямметта сіяетъ красотою: Боккаччьо съ умысломъ помѣстилъ здѣсь ея портретъ; она знаетъ, каково можетъ быть содержаніе пѣсенъ Филострато, и велитъ ему спѣть, чтобы его очередь не пришлась на другой день и грустное настроеніе не возобновилось. Филострато, дѣйствительно, поетъ о безнадежной, обманутой любви; всѣ поняли его настроеніе, поняли бы и болѣе, еслибъ сумракъ ночи не скрылъ румянца, вспыхнувшаго на лицѣ одной изъ дамъ.

Какъ видно, это психологическое состояніе Троила-Филострато и Гризеиды, перенесенное на планъ 4-го дня: Филострато-Боккаччьо страдаетъ, утѣшить его можетъ одна лишь Фьямметта: 5-й день проходитъ подъ ея предсѣдательствомъ въ бесѣдахъ о тѣхъ, чья любовь, послѣ разныхъ препятствій, была увѣнчана удачей.

Первый кому она назначаетъ разсказывать — Памфило: его новелла о Чимоне [1])—повѣсть любви, воспитывающей къ человѣчности. Въ концѣ того-же дня Діонео усиленно паясничаетъ, предлагая запѣвы пѣсенъ, одну фривольнѣе другой. Королева смѣется и сердится: Оставь эти пѣсни, говоритъ она, спой намъ хорошую, коли нѣтъ, ты можешь испытать на себѣ, какъ я умѣю гнѣваться [2]). И балагуръ Діонео становится вдругъ вздыхающимъ поэтомъ:

Амуръ! то чудное сіянье,
Что льется изъ ея божественныхъ очей,
Меня содѣлало рабомъ тебѣ и ей,

Онъ одного лишь боится:

извѣстно-ль, какъ велика
Страсть чудная, мнѣ въ грудь вселенная тобой,
И сила вѣрности—извѣстна-ль той всецѣло,
Которая моимъ такъ духомъ завладѣла,
Что я ни въ комъ иномъ не буду средь людей—
И не хочу—искать покой души моей.

1) V, 1.

2) I, стр. 416 русск. перевода.

Пусть Амуръ испроситъ у нея благоволенья и самого его ведетъ туда скорѣй [1]).

Опять передъ нами мотивъ, который мы можемъ провѣрить данными біографіи: Боккаччьо-Діонео — молодой повѣса, беззаботный поклонникъ Діонеи; Фьямметта любитъ его въ этомъ видѣ, снисходитъ и журитъ и вмѣстѣ поднимаетъ своею любовью, когда, бросивъ всѣ другія увлеченія, онъ отдался ей одной и сталъ ея поэтомъ.

Въ концѣ Декамерона снова обнаруживаются очертанія рамки, которыя мы намѣтили съ четвертаго дня. Пѣснь Памфило въ заключеніи 8-го дня полна счастьемъ тайнаго обладанія.

Амуръ, такія наслажденья,
Веселья, радости ты доставляешь мнѣ,
Что я блаженствую, горя въ твоемъ огнѣ.

Такого счастія онъ не ожидалъ,

Такъ высокò, такъ видно помѣстилась
Моя любовь . . .
Кто-бъ думалъ, что туда дойдутъ мои объятья,
Гдѣ ихъ раскрыть мнѣ было суждено?

Таковы были отношенія Памфило-Боккаччьо къ высокопоставленной Фьямметтѣ. На десятый день руководство бесѣдой предоставлено ему: онъ началъ циклъ Декамерона разсказомъ о Чаппеллетто, онъ-же является послѣднимъ предсѣдателемъ веселаго кружка, и отъ него ожидаютъ, что онъ исправитъ промахи своихъ предшественниковъ [2]). Сюжетъ разсказовъ — о великодушіи, обнаруженномъ въ дѣлахъ любви либо другихъ; заключается онъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и кругъ Декамерона, пѣніемъ Фьямметты. Ея настроеніе ясно съ первыхъ словъ:

Когда-бъ любовь могла существовать одна,
Безъ ревности,—я женщины-бъ не знала
Счастливѣе меня, кто-бъ ни была она.

1) l. c. стр. 417.

2) Сл. конецъ IX дня.

Ея милый прекрасенъ, но другія женщины также смѣтливы, какъ и она, и могутъ отнять его у нея. Эта мысль ее мучитъ.

Когда-бъ властитель мой внушилъ мнѣ столько-жъ вѣры
Умѣніемъ любить, какъ доблестью душевной,
Я ревности не знала-бъ никакой;
Но всѣ мужчины—лицемѣры,
Мѣнять предметъ любви готовы ежедневно.
Вотъ это-то и губитъ мой покой.

Она ревнуетъ ко всѣмъ женщинамъ и всѣхъ предупреждаетъ—ничего не предпринимать къ ея ущербу, иначе онѣ вѣчно будутъ проклинать свое безуміе. «Вы сдѣлали-бы большое удовольствіе, смѣется Діонео, назвавъ всѣмъ своего милаго, для того, чтобы вслѣдствіе невѣдѣнія, у васъ не отняли бы владѣнія».

Заключительныя пѣсни 4-го и 10-го дней противопоставлены какъ-бы съ умысломъ: тамъ сѣтуетъ Филострато, здѣсь ревнуетъ Фьямметта. Ревнующая, оставленная Памфиломъ Фьямметта—таковъ мотивъ романа, обозначеннаго ея именемъ; если мы не ошиблись, признавъ нѣкоторую сознательность въ планѣ второй части Декамерона, то романъ могъ быть написанъ до ея появленія и когда три первыхъ дня уже находились въ рукахъ читающихъ. Ближайшее хронологическое опредѣленіе едва-ли удастся; одинъ эпизодъ [1]) давалъ видимый поводъ предположить, что Фьямметта написана до смерти короля Роберта (въ Генварѣ 1343 г.), но противъ этого говоритъ многое: и совершенство психологическаго анализа, побуждающее подвинуть Фьямметту ближе къ Декамерону, и невѣроятность, чтобы въ теченіе 1340—3 гг. Боккаччьо могъ присоединить ко многому, имъ написанному, еще и цѣлый романъ. Съ другой стороны указаніе на короля Роберта вызвано дѣйствительнымъ фактомъ, который и легъ въ основу разсказа: отъѣздомъ Боккаччьо-Памфило изъ Неаполя именно при Робертѣ; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы самый романъ не могъ быть

1) Fiammetta, стр. 45.

написанъ позднѣе, ретроспективно; иначе мы имѣли бы такое-же основанiе заключить, что шестой день Декамерона, несомнѣнно написанный позже 1348 года, оконченъ былъ именно въ этомъ году, потому что о чумѣ говорится, какъ о продолжающей свирѣпствовать [1]). Но для этого надо забыть, что по идеѣ Боккаччьо новеллы Декамерона разсказываются въ теченiи десяти дней (съ перерывами) и что упоминанiе чумы принадлежитъ декорацiи.

II.

Фьямметту, либо «Элегiю мадонны Фьямметты» называли не разъ первымъ психологическимъ романомъ въ новыхъ литературахъ, и это одно опредѣляетъ его историческое значенiе; на его мѣсто въ сердечныхъ переживанiяхъ и художественномъ развитiи Боккаччьо указано было не разъ. Его форма — исповѣдь, признанiе; дѣйствiя почти нѣтъ, за вычетомъ нѣсколькихъ бiографическихъ и бытовыхъ эпизодовъ, содержанiемъ которыхъ мы уже воспользовались; все сводится къ анализу чувствъ любящей женщины, оставленной своимъ милымъ. Боккаччьо заставилъ Фьямметту пережить всю ту бурю ревности, негодованiй и надеждъ, которую испыталъ самъ въ лицѣ Троила, Галеоне, Филоколо. Такое переживанiе въ умѣ предполагаетъ извѣстное отрѣшенiе отъ страстности, наступленiе художественнаго покоя; лишь при такихъ условiяхъ возможенъ такой анализъ болевыхъ ощущенiй, доходящiй до мелочей, чуткiй къ каждому движенiю, заботливо отмѣчающiй всякую черту. Передъ нами уже великiй художникъ Декамерона: тѣ изъ его типовъ, которые Боккаччьо способенъ былъ пережить, какъ пережилъ любовь и ревность, предполагаютъ такое-же богатство непоказнаго анализа. Въ Фьямметтѣ онъ весь наружи, со всѣми его тонкостями и недочетами, которые мы отмѣтили въ Филоколо: общими разсужденiями, логически вытекающими изъ даннаго душевнаго настроенiя,

1) Сл. VI, 3.

но часто психологически немыслимыми въ заинтересованномъ лицѣ. Фьямметта очень тонко наблюдаетъ, но иногда утомительно разсудочно-болтлива; Боккаччьо нерѣдко забываетъ ее ради любви къ прелести слова, къ баюканью періодической рѣчи, къ классическимъ цитатамъ. Для него онѣ не внѣшнее реторическое украшеніе, а нѣчто столь родственное, что нѣтъ мысли и положенія, которое естественно не освятилось-бы воспоминаніями Греціи и Рима, какъ болѣе духовные процессы любви столь-же естественно искали выраженія въ формулахъ дантовскаго стиля. Сама любовь, плотская въ основѣ, никогда не переходитъ въ откровенности Декамерона и даже Амето: передъ нами признанія женщины.

Состраданіе облегчаетъ сѣтующимъ печаль: съ этой цѣлью Фьямметта и обращается съ своею исповѣдью къ женщинамъ; мужчины поглумятся надъ нею, всѣ они похожи на того, чью суровость [1]) она испытала. Она станетъ писать не о греческихъ басняхъ, украшенныхъ вымыслами, не о троянскихъ ратяхъ, обильныхъ кровью, а о любовныхъ, возбуждаемыхъ многими желаніями. И женщины прольютъ слезы надъ ея разсказомъ, потому что судьба измѣнчива, и съ ними можетъ случиться то-же, что и съ ней. Но если есть въ небѣ божество, ощущающее къ ней жалость, пусть поможетъ ея памяти и укрѣпитъ дрожащую руку, готовую начертать печальную повѣсть [2]).

Разсказъ начинается издалека. Фьямметта родилась весною, когда земля является во всей своей красѣ, отъ именитыхъ и богатыхъ родителей; отчего ея жизнь не протекла такъ же быстро, какъ существованіе тѣхъ, что̀ вышли изъ зубовъ, посѣянныхъ Кадмомъ? Почтенная наставница воспитала ее, какъ прилично дѣвушкѣ хорошаго рода; съ годами разцвѣтала ея красота, причина ея бѣдствій, похвалы пріучили ее гордиться ею, лелѣять ее, и она стала сознавать, что нравится. Многіе ухаживали за ней,

1) Acerbità.
2) Prologo.

сватались, но отстали, когда она вышла замужъ за человѣка, во всѣхъ отношвніяхъ къ ней подходившаго [1]).

Она была счастлива, довольна, какъ подобаетъ [2]), своимъ мужемъ, была его единственнымъ блаженствомъ, не было ея желанія, котораго онъ не поспѣшилъ бы исполнить; и она отвѣчала его любви Какъ бы счастлива была она, еслибъ продолжалась эта любовь! Но судьба, завидуя благамъ, ею самой ниспосланнымъ, уже правила ее на путь бѣдствій, а она не поняла предупрежденій, которое судили ей боги. Ей снилось, что въ прекрасный, ясный день она гуляетъ по лугу, сплетая вѣнки изъ цвѣтовъ и распѣвая; прилегла на травѣ, когда змѣя укусила ее въ лѣвую грудь; ей больно, а она прячетъ змѣю на груди, точно желая уластить ее, пригрѣвъ; но та, напившись ея крови, юркнула въ траву и исчезла въ ней, какъ бѣлый камешекъ понемногу теряется въ глубокой водѣ. Небо смерклось среди молній и грома; казалось, отъ змѣинаго яда распухло все ея тѣло, и она катается по травѣ, ожидая смерти, когда сонъ былъ нарушенъ. Солнечный лучъ проникъ черезъ скважину въ спальню Фьямметты, и она смѣется надъ вѣщимъ сновидѣніемъ [3]).

Настал день, торжественный для всего міра (Воскресеніе Христово), Фьямметта принарядилась, чтобъ идти въ церковь, любуется собой, какъ павлинъ своими перьями, зацѣпила вѣнкомъ за пологъ постели, и одинъ цвѣтокъ упалъ наземь. Она беззаботно подняла его, не внимая новому знаменію неба; не будь ея умъ помраченъ, ей не выходить бы въ тотъ день изъ дома; но боги лишаютъ разсудка тѣхъ, на кого гнѣваются, и предупреждая ихъ, въ одно и то-же время исполняютъ свой долгъ и удовлетворяютъ гнѣву.

Лишь только она вступила въ церковь, какъ всѣ оглянулись на нее, мужчины и женщины, точно вошла Венера или Минерва.

1) A me per ogni cosa dicevole, стр. 4.
2) Debitamente, l. c.
3) Сл. вѣщіе сны въ Дек. IV, 6; IX, 7.

Фьямметта внутренне радуется, молодые люди окружили ее, превозносятъ ея красоту; она смотритъ всторону, точно занятая другимъ, но насторожила уши, ей нравятся похвалы, и она благодаритъ ласковымъ взглядомъ [1]). Такъ она опутывала другихъ, какъ сама опутана была плачевно. Скромно поднявъ глаза на толпу юношей, она увидѣла прямо противъ себя молодого человѣка, и побуждаемая какимъ-то рокомъ, начинаетъ его разсматривать, чего съ нею прежде не бывало. Онъ стоялъ, прислонившись къ мраморной колоннѣ, красивый, изящный въ движеніяхъ; курчавый пушекъ на щекахъ говорилъ о его молодости. Стоя за другими, онъ смотритъ на нее умоляющими глазами, а она еще въ силахъ отвести отъ него свои, но уже любуется внутренно оставшимся у нея образомъ, иногда взглянетъ изподлобья, смотритъ-ли онъ на нее, то, уставившись на него, читаетъ въ его глазахъ: Ты мое блаженство! Она вздыхаетъ; А ты—мое! подсказываетъ ей сердце. Еслибъ боги не отняли у нея разумѣнія, она и теперь была бы свободна, но она дала волю своимъ глазамъ, и какъ огонь перекидывается съ одной стороны на другую, такъ тонкій лучъ свѣта проникъ изъ его глазъ въ ея собственные и невѣдомыми путями спустился въ сердце; оно боязливо всполохнулось и, призвавъ къ себѣ всѣ другія жизненныя силы, оставило ее блѣдной и холодной [2]); не прошло много времени, какъ оно разгорѣлось, вернулись силы, повсюду разнося теплоту, ей самой жарко, она вспыхнула, вздохнула, не знаетъ, отчего все это съ ней сталось; съ тѣхъ поръ у ней нѣтъ другого желанія, какъ понравиться — ему.

А юноша, очевидно, опытный въ дѣлахъ любви [3]), продолжалъ смотрѣть на нее, съ еще большей мольбой въ глазахъ. Сколько обмана было въ этой мольбѣ! Его-ли то было искусство, либо такъ устроила судьба, только Фьямметта почувствовала себя охваченной любовью. Вотъ тотъ, кого я избрала моимъ

1) Сл. въ Амето повѣсть Акримоніи, выше стр. 280 слѣд.
2) Сл. сходный образъ въ Филоколо, выше стр. 201.
3) Esperto in più battaglie amorose, стр. 13.

первымъ и послѣднимъ, единственнымъ властелиномъ, говоритъ она, тотъ, кого я полюбила и теперь еще люблю. Ея лирическій паѳосъ, выражается рядомъ повтореній: вотъ тотъ, увы мнѣ! [1]). Подавленная новымъ чувствомъ она сидитъ среди другихъ дамъ, забывшись, едва прислушиваясь къ божественной службѣ; уже ей надоѣдаютъ молодые люди, которыеластятъ ея милаго, а его она начинаетъ корить, чтó онъ держится поодаль, вмѣняя ему въ равнодушіе, что было только осторожностью. Кончилась служба, она поднялась вмѣстѣ съ другими и читаетъ въ его глазахъ, что хотѣла показать и показала своими собственными: что ей не охота уйти. И она удаляется, вздыхая и не узнавъ, кто онъ.

Никогда-бы она не повѣрила, что можно такъ увлечься съ перваго раза человѣкомъ, котораго дотолѣ никогда не видѣла! Говорятъ, любовь зачинается и крѣпнетъ исподоволь, ею она овладѣла сразу и владѣетъ съ той-же силой; къ себѣ она вернулась не свободной, а рабой. Оставшись одна, она отдается различнымъ желаніямъ и мыслямъ, и всѣ онѣ сводятся къ образу дорогого юноши. Ея забота теперь—не подавить любовь, а скрыть ее въ груди; какъ это трудно, знаютъ лишь тѣ, кто это испыталъ. Любовь преобразила ея жизнь: ея единственная утѣха — мечтать о миломъ, имя котораго она осторожно узнала; часто она пытается не думать о немъ, чтобы какъ нибудь не выдать себя, но ея намѣренія напрасны. Въ былое время она посѣщала храмы и празднества и морской берегъ и сады съ единственной цѣлью увидѣть подругъ; теперь у нея явились другія цѣли. Исчезла самоувѣренность красоты, она чаще совѣтуется съ своимъ зеркаломъ и рядится — для него; почетъ, которымъ она пользовалась по своей родовитости, ей пріятенъ, потому что можетъ возвысить ее въ его глазахъ. Изчезла прирожденное женщинамъ любостяжаніе [2]), прибыло смѣлости, глаза научились искусно играть.

1) Стр. 11; сл. 13: Кто скажетъ? стр. 157—8: Сегодня и т. д.
2) Стр. 21—3.

Съ своей стороны молодой человѣкъ оказался смышленнымъ, какъ-то показалъ опытъ: являясь туда, гдѣ была Фьямметта, онъ бросалъ на нее осторожные взгляды, точно сговорился съ нею — скрывать свое пламя. Еслибъ она сказала, что это не умножало ея любовь, она сказала бы неправду; за то какое было горе, когда свиданіе прекращалось! Тогда она бывала сама не своя, всѣ дивились на нее, и ей приходилось измышлять объясненія. Она отбилась отъ сна и пищи, часто выходитъ изъ себя. Ея старая, умная нянька догадалась, что съ ней такое; нѣсколько разъ останавливала она ее и однажды, когда Фьямметта, убитая, лежала на постели, спросила ее: Что съ тобою, дочка?—Слѣдующій разговоръ старухи съ Фьямметтой воспроизводитъ, иногда буквально, сцену Федры съ своей нянькой въ Ипполитѣ Сенеки. Фьямметта прикинулась, будто она въ забытьи и не слышала вопроса, а вмѣстѣ съ тѣмъ выгадала время, чтобы обдумать отвѣтъ. Ничего, отвѣчаетъ она, я только задумчивѣе обыкновеннаго. — Не обманывай меня, старуху, отъ меня нечего скрывать, я все поняла. — Если знаешь, то къ чему и спрашивать? говоритъ Фьямметта, въ одно и то-же время и жалуясь и надѣясь и гнѣваясь. Но старуха давно пріучилась скрывать, что слѣдуетъ, на этотъ счетъ Фьямметта можетъ быть спокойна, но ей пора опомниться, изгнать изъ непорочнаго сердца грѣшныя мысли, надо потушить въ груди грѣшное пламя, подавить нечистыя надежды [1]); кто въ самомъ началѣ противостоялъ любви, выходитъ побѣдителемъ [2]), кто отдастся ей, подпадаетъ ея игу.— Увы, отвѣчаетъ Фьямметта, какъ легко все это на словахъ и какъ трудно на дѣлѣ! — Хоть и трудно, но возможно, и сдѣлать это слѣдуетъ; вспомни о своемъ родѣ, имени, мужѣ, который такъ тебя любитъ; уже въ одномъ желаніи излѣчиться есть доля здоровья!—И я знаю, что все это правда, милая няня, но какое-то

1) Senecae, Hyppol., v. 131—133 Nefanda casto pectore exturba ocius!— Extingue flammas, neve te dirae spei praebe obsequentem.

2) l. c. v. 133—4 Quisquis in primo ostitit, Pepulitque amorem, tutus ac victor fuit.

бѣшенство влечетъ меня къ худшему, такъ овладѣлъ моимъ разумомъ Амуръ, а ты знаешь, что противится ему не безопасно [1]). — Такъ сказавъ, она въ изнеможеніи опустила руки, тогда какъ няня держитъ ей суровую проповѣдь, напоминающую своимъ содержаніемъ рѣчи Фьямметты въ Филоколо о тщетѣ земной любви [2]): Вы молодыя женщины, воспламеняясь страстью, называете богомъ Амура, когда настоящее имя ему было бы Бѣшенство [3]), и почитая его сыномъ Венеры, почерпающимъ свои силы въ третьемъ небѣ, свое неразуміе оправдываете необходимостью. Но это не богъ, а помѣшательство людей, изобилующихъ мирскими благами. Священная Венера обитаетъ среди бѣдняковъ, ограниченная лишь тѣмъ, что необходимо для продолженія рода [4]); Амуръ, какъ чума, гнѣздится въ дворцахъ [5]), гнушаясь естественныхъ яствъ и простой одежды [6]). Ты заражена его ядомъ.— Замолчишь-ли ты, старуха! Не говори противъ Амура, ты порочишь его теперь, потому что имъ отвержена, и не мнѣ давать ему новое имя, когда его звали такъ другія, болѣе меня мудрыя и могущественныя. Я ему подвластна, противостоять не въ силахъ: либо смерть, либо обладаніе юношей. Если ты не хочешь помочь мнѣ, не растравляй по крайней мѣрѣ раны.

Старуха вышла, что-то ворча; оставшись одна, Фьямметта задумалась; въ словахъ старухи много было правды, Фьямметта начинаетъ колебаться, ужъ хочетъ позвать няню, когда внезапно ей предстала въ сіяніи прелестная жена. Это Венера, въ типическомъ, уже знакомомъ намъ [7]) изображеніи

1) l. c., v. 178 слѣд.

2) Сл. выше стр. 169.

3) Hyppol. v. 196—8: Deum esse Amorem turpis et vitio favens—Finxit libido; quoque liberior foret, Titulum furori numinis falsi addidit.

4) l. c. стр. v. 212—3: Cur sancta parvis habitat in tectis Venus, Mediumque sanos affectus vulgus tenet.

5) l. c. v. 211: delicatas eligens postis domos.

6) l. c. v. 208—9: non placent suetae dapes, Non tecta sani moris aus vilis cibus.

7) Сл. Filocolo, выше стр. 208 и разсказъ Агапе въ Ameto, выше стр. 284.

Боккаччьо: она обнажена, легкій пурпурный покровъ на столько скрываетъ нѣкоторыя части ея тѣла, на сколько прозрачное стекло какой-нибудь предметъ; на головѣ вѣнокъ изъ миртъ. Ей пріятно, что Фьямметта любуется ею, и она сама обнажаетъ передъ ней свои прелести. О вѣтреная красавица, говоритъ она ей, что это ты задумала сдѣлать, слѣдуя совѣтамъ твоей старой няньки? Развѣ не знаешь, что послѣдовать имъ труднѣе, чѣмъ за Амуромъ, котораго ты желаешь избѣжать? Ты неразумна, лишь недавно стала нашей, еще не знаешь, каковы наши утѣхи—и богиня развиваетъ знакомую намъ теорію всесильнаго Амура, властвующаго на землѣ и на небѣ; даже мачехъ онъ дѣлаетъ милостивыми къ пасынкамъ, что не малое диво [1]); одна Діана избѣжала его, или скорѣе, укрылась отъ него; передъ нимъ падаютъ гнѣвъ и ненависть. Не бойся подчиниться ему, подчинялись и болѣе сильные, чѣмъ ты. Ты скажешь: я замужемъ, связана священными законами и словомъ; но Амуръ отмѣняетъ другіе законы и постановляетъ свои. Примѣрами полна древность, весь свѣтъ, полонъ твой городъ: погляди на твоихъ подругъ и знай, что содѣланное многими не можетъ быть названо непристойнымъ.

Да будетъ твоя воля! говоритъ, опускаясь на колѣни Фьямметта, о вѣчная, божественная краса, единственная властительница души моей! Прости мнѣ мое сопротивленіе и располагай мною, какъ знаешь. Богиня подошла къ ней, въ страстномъ движеніи поцѣловала ее въ лобъ, дохнула на нее, и ея желанія разгорѣлись; распахнула пурпурное покрывало, и показавъ ей на груди образъ ея милаго, говоритъ: Погляди, красавица, это не Лисса, не Гета и не Биррія; онъ достоинъ богини, любитъ тебя и будетъ любить вѣчно; потому, отдайся ему въ любви. Такъ сказавъ, она изчезла. Но то была не Венера, а Тизифона, отложившая свои страшныя кудри, плачется Фьямметта, а я, бѣдная, повѣривъ ей, презрѣла вѣрность и стыдъ и цѣломудріе, единственное сокровище женщины!

1) Стр. 25; сл. стр. 120.

Посѣщеніе богини настроило ее страстно, оставивъ въ ней лишь одно сознаніе: что открытая любовь никогда не приходитъ къ благополучному концу. И у нея достало мужества скрыть ее, есть на то силы и теперь, говоритъ она въ своихъ признаніяхъ, «потому что хотя я и пишу о томъ, что дѣйствительно было, я все такъ устроила, что кромѣ того, кто про то знаетъ, какъ знаю я, и всему былъ причиной, никто другой, какъ бы онъ не былъ проницателенъ, не догадается, кто—я. А его я умоляю, если эта книжка случайно попадетъ ему въ руки, утаить ради любви, которую онъ питалъ ко мнѣ, то, что не было бы ему ни въ пользу и ни къ чести, если онъ бы то открылъ. Онъ отнялъ у меня, безъ всякаго повода съ моей стороны, самого себя, пусть не лишаетъ чести, хотя бы и незаслуженной, которую, даже при желаніи, онъ не можетъ мнѣ вернуть» [1]).

И вотъ Фьямметта пытается осторожно возбудить въ юношѣ ту-же страсть, которую она къ нему питала, и это ей удается. Онъ такъ же остороженъ, какъ она: входитъ въ ея общество, дружится съ мужемъ, что даетъ ему возможность говорить съ нею при всѣхъ. Иногда, бесѣдуя съ другимъ, онъ имѣетъ ввиду ее, разсчитывая, что она пойметъ его; объясняется съ нею знаками, либо разсказываетъ подъ вымышленными именами Памфило и Фьямметты про себя и свою милую, будто дѣло шло о какихъ то грекахъ [2]), и Фьямметта боится, какъ бы онъ не выдалъ себя [3]). Они пользуются услугами преданной горничной, которой довѣрили свою тайну, прибѣгаютъ къ невѣроятнымъ ухищреніямъ, и хотя я знаю, говоритъ Фьямметта, что онѣ были мнѣ во вредъ, тѣмъ не менѣе не раскаиваюсь, что познала ихъ.

Готовясь разсказать о конечныхъ цѣляхъ своей любви, она

1) Стр. 28—9.

2) Сл. выше стр. 117 и Ov. Her. 16, о Парисѣ: v. 255—6: Et modo cantabam veteres resupinus amores, Et modo per nutum signa tegenda dabam; v. 241—4: Ah quoties juvenum narravi potus amores, Ad vultus referens singula verba tuos? Indiciumque mei ficto sub nomine feci! Ille ego, si nescis, verus amator eram.

3) Ov. Her. 17, v. 83—4, объ Еленѣ: Et saepe extimui, ne vir meus illa videret, Non satis occultis erubuique notis. Сл. ib. v. 151—3.

проситъ у читательницъ состраданія и снисхожденія: ихъ собственныя чувства да извинятъ ея разсказъ. А ты, честная стыдливость, поздно мною познанная, удались, не пугай робкихъ женщинъ, пусть онѣ прочтутъ о томъ, къ чему, любя, устремляются сами.

День шелъ за днемъ въ надеждахъ, страстныхъ намекахъ и стыдливыхъ отнѣкиваніяхъ, прикрывавшихъ желаніе, и Памфило достигъ блаженства[1]). Еслибъ только это было причиной моей любви къ нему, признаюсь, я безмѣрно страдала бы отъ одного лишь воспоминанія; но Богъ мнѣ свидѣтель, что то малѣйшая причина, хотя не скрою, что тогда это доставляло мнѣ удовольствіе, какъ доставило бы и теперь. Но найдется-ли столь неразумная, которая не предпочла бы близость любимаго предмета отдаленію отъ него?[2]).

Теперь то время прошло, какъ быстро проносится вѣтеръ. Многое она пересказала бы о быломъ счастьѣ, о поцѣлуяхъ и долгихъ бесѣдахъ ночью, если бы не стыдъ; она и сама знаетъ, что было-бы пристойнѣе умолчать многое изъ того, что она написала, нѣсколько разъ бросала она перо, но ей надо было повиноваться Амуру. Его она прославляла тогда, забыты были совѣты старой няньки, и она порицала въ другихъ лишь то, что ей самой было всего милѣе. Весь свѣтъ былъ ей ни во что, казалось, головой она доросла до неба, а враждебная Фортуна уже готовила ей всю горечь своего яда. Ее самое разбираетъ жалость къ себѣ, когда она принимается за повѣсть своихъ страданій, за свою элегію; вторая глава разсказываетъ о ея разлукѣ съ Памфило.

Была холодная, дождливая пора, когда однажды Фьямметта забылась на ложѣ рядомъ съ Памфило, и до нея дошли его сдержанныя жалобы. Она хочетъ спросить его, что съ нимъ, но продолжаетъ прислушиваться: онъ рыдалъ. Тысячу мыслей промелькнуло въ ея головѣ, но всѣ изчезли въ одной: не влюбленъ-ли онъ? Она не рѣшается спросить его, дабы онъ не смутился своего плача, отвела отъ него глаза, чтобы ея слезы, упавъ на

1) Сл. выше стр. 151 слѣд.

2) Стр. 32.

него, не дали ему понять, что она видѣла его плачущимъ. Но желаніе взяло верхъ: она боязливо вскрикнула, будто только что проснулась отъ страшнаго сна, обвила его рукою. Чего ты испугалась? спрашиваетъ онъ ее съ видимо веселымъ видомъ. — Мнѣ казалось, я утратила тебя. — Одна смерть въ силахъ это сдѣлать, отвѣчаетъ онъ, глубоко вздохнувъ. — Почему же ты плакалъ. — Памфило пускается въ слезы, рыданія мѣшаютъ ему говорить; не безъ горестной причины, отвѣчаетъ онъ, мнѣ надо раздвоиться, удовлетворить въ одно и то же время любви и долгу, и я не знаю, что дѣлать. — Фьямметта еще не понимаетъ всего, но уже плачетъ неутѣшно, какъ никогда, — а Памфило говоритъ ей, что его вызываетъ отецъ, одинокій старикъ, у котораго не осталось, кромѣ него, ни одного сына; нѣсколько разъ отговаривался Памфило, но отецъ заклинаетъ его пріѣхать, проситъ о томъ чрезъ друзей и родныхъ![1]), и Памфило хочетъ исполнить сыновній долгъ — такъ сильны естественныя связи; но онъ скоро вернется, потому что не можетъ жить безъ Фьямметты.

Какъ велико было ея горе при этихъ словахъ, пойметъ лишь тотъ, кто страстно любилъ. Нѣкоторое время она не въ состояніи произнести слова, глаза уставились неподвижно, но хлынули слезы, и она обращается къ «властелину своей жизни», страстно уговаривая его — и излишне разсуждая. Ты колеблешься между любовью и жалостью и рискуешь будущимъ, говоритъ она; если ты любишь меня, какъ утверждалъ не разъ, твой выборъ уже сдѣланъ. Развѣ ты не понимаешь, что твой отъѣздъ убьетъ меня? Ты скажешь, что, тая любовь, я мужественно переносила и другія печали, и ты правъ; но тогда надежда, воспитанная моимъ желаніемъ, облегчала мнѣ то, что при чужомъ желаніи мнѣ трудно перенести; къ тому-же я еще мало тебя знала, теперь ты сталъ мнѣ дороже. — Кому не извѣстно, продолжаетъ она въ тонѣ любовныхъ преній Филоколо, что грустнѣе утратить то, что имѣешь, чѣмъ то, на что разсчитываешь; а твоя жалость

1) Сл. выше стр. 155—6.

къ отцу будетъ причиной моей смерти. Кто любитъ тебя такъ, какъ я? Почему не пожалѣешь ты скорѣе меня, чѣмъ отца? Онъ старъ, много лѣтъ жилъ безъ тебя, пусть и живетъ, либо умретъ, потому что онъ жилъ болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, и съ твоей стороны было-бы бо̀льшимъ состраданіемъ—дать ему умереть, чѣмъ своимъ присутствіемъ продлить его бѣдственную жизнь. А я еще молода, не жила безъ тебя и хочу долго прожить съ тобою въ радости. Наконецъ, пожалѣй хоть себя: что ты станешь дѣлать безъ меня? твоя жизнь будетъ хуже смерти, а ты знаешь, что кто себя не любитъ, у того ничего нѣтъ. Я не сомнѣваюсь, что еслибъ позволено было открыть твоему отцу наши отношенія, онъ сказалъ бы тебѣ, побуждаемый разумомъ или сожалѣніемъ: Оставайся! Представь себѣ, что онъ такъ сказалъ — и брось эту поѣздку. Ты любишь этотъ городъ, веселый, богатый, мирно покоящійся подъ властью одного короля, а въ твоемъ городѣ господствуютъ, какъ ты самъ говорилъ, распри и пороки и пышныя слова вмѣсто дѣла [1]).

Такъ она говорила, среди слезъ и поцѣлуевъ, и Памфило согласенъ съ ея доводами, а между тѣмъ его призываетъ долгъ; еслибъ позволено было противопоставить одну жалость другой, открывъ причину, которая заставляетъ его отказаться отъ поѣздки—его-бы извинили; но это невозможно. Черезъ три-четыре мѣсяца, даже раньше, она увидитъ его снова, а теперь пусть отпуститъ его, если, какъ и прежде, ей дорога его честь и польза. Но Фьямметта продолжаетъ его упрашивать: она постоянно будетъ бояться за него; признается, застыдившись, въ своихъ опасеніяхъ, что онъ забудетъ ее для другой; пусть повременитъ: теперь время года неблагопріятное, это говоритъ за нее [2]), она успѣетъ освоиться съ мыслью о разлукѣ. — Памфило устраняетъ одинъ за другимъ ея доводы: никогда онъ не полюбитъ

1) Сл. выше стр. 182.

2) Сл. Ov. Her., VII, 41: Елена: Quo fugis? Obstat hiems, hiemis mihi gratia prosit.

никого, кромѣ Фьямметты; отдалить отъѣздъ значило бы умножить ихъ печаль, онъ вернется раньше, чѣмъ истечетъ срокъ, котораго она проситъ, чтобы пріучиться страдать. — Она ожидала другого отвѣта, молча опустила къ нему на грудь отяжелѣвшую голову. Дѣлай, какъ знаешь! говоритъ она ему, когда же ты вернешься?

Черезъ нѣсколько дней пришлось разстаться; послѣдняя ночь прошла въ слезахъ, бесѣдахъ и поцѣлуяхъ. Кто отнимаетъ тебя у меня! говоритъ Фьямметта, когда обниму я тебя снова? Вѣщее сердце подсказываетъ мнѣ: Никогда! Она проситъ Памфило скрѣпить свои слова клятвой, и онъ клянется богами, что не пройдетъ четырехъ мѣсяцевъ, какъ онъ будетъ здѣсь; взявъ Фьямметту за правую руку, онъ ведетъ ее къ изображеніямъ боговъ и призына себя ихъ гнѣвъ, постигшій Эризіону, Актеона, Семелу, если онъ не сдержитъ своего слова. Прощай! говоритъ онъ надорваннымъ голосомъ, крѣпко обнимая ее; она отвѣчаетъ ему съ трудомъ, провожаетъ до порога, но здѣсь голосъ у нея отнялся, и она упала на руки служанки, какъ падаетъ въ открытомъ полѣ и блекнетъ роза подъ лучами солнца. Когда служанка привела ее въ чувство, она бросается къ ней, принимая ее за Памфило, какъ мечется яростный быкъ, ощутивъ смертельный ударъ [1]). Но Памфило нѣтъ, она въ своей комнатѣ; что было съ нею? и такъ онъ ушелъ? что дѣлалъ онъ, что говорилъ? Все это она узнаетъ отъ служанки: когда она упала въ обморокъ, Памфило отнесъ ее сюда и долго плакалъ, умоляя боговъ обратить свой гнѣвъ на него, а не на неповинную Фьямметту. Ему хочется, чтобъ она очнулась, увидала его на разставаньи; когда она не приходила въ себя, онъ уложилъ ее въ постель, и все ходилъ отъ постели къ двери и назадъ; то взглянетъ на окно, гдѣ брежжило враждебное ему утро, то вдругъ обернется и окликнетъ Фьямметту. На прощаньи онъ обнялъ ее, моля небо послать ей утѣшеніе, сохранить до его возврата, и такъ рыдалъ, что служанка боялась,

1) Стр. 50, 159 и выше стр. 138 (Filostrato).

какъ бы не услышали домашніе и сосѣди. Но уже разсвѣтало, сказавъ: прости! точно влекомый какой-то силой, онъ вышелъ изъ комнаты, запнувшись о порогъ, все время озираясь на ходу, не очнулась-ли Фьямметта и не смотритъ-ли на него.

И вотъ она осталась одна и тоскуетъ. Все ей напоминаетъ Памфило: здѣсь онъ сидѣлъ, здѣсь обѣщалъ онъ мнѣ вернуться, здѣсь я его поцѣловала; порой ей казалось, что вотъ вотъ онъ войдетъ, и она оборачивалась къ двери и печалилась, обманутая сознательнымъ воображеніемъ. Она гонитъ отъ себя эти мысли, хочетъ заняться дѣломъ, но у ней ничего не идетъ на ладъ; сердце билось, ей приходитъ на память многое, что она хотѣла было сказать ему, и то, что сказала и что онъ отвѣтилъ. Прошло нѣсколько дней, и у нея явились новыя, неотвязныя думы: она не видѣла его при прощаньи, не могла отвѣтить на его поцѣлуй; онъ приметъ это за дурное предзнаменованіе [1]); но нѣтъ: я вѣдь не простилась съ нимъ, стало быть отпустила его не на долгую отлучку. Тутъ ей приходитъ на память разсказъ служанки, что, удаляясь, Памфило запнулся о порогъ: по такому знаменію Лаудамія узнала, что Протезилай не вернется [2]). Однѣ мысли тѣснили другія: она прочла въ стихахъ Овидія [3]), что трудъ и усталость изгоняютъ у юношей любовныя мечты—а путешествіе Памфило трудное, онъ можетъ забыть ее; еще хуже—заболѣть.

Наконецъ пришло отъ него письмо; онъ пріѣхалъ, обѣщаетъ вернуться. Теперь старикъ-отецъ, не видавшій его цѣлые годы, принимаетъ его съ радостью; пожалуй, онъ и не вспомнитъ обо мнѣ и клянетъ то время, которое потратилъ на меня, ничего иного не умѣвшую, какъ—любить его. Но этого быть не можетъ! утѣшала она себя, а между тѣмъ сердце содрогалось въ какомъ-то предчувствіи. Тамъ много красавицъ, никто не умѣетъ такъ обольстить, какъ онѣ; если онъ не увлечется желаніемъ, его мо-

1) Стр. 53; сл. стр. 13 и Ov. Her., III, 14: Бризеида.

2) Сл. Ov. Her., XIII, v. 85 слѣд.

3) Стр. 54.

гутъ увлечь силой; вѣдь и со мной было то-же, а новый предметъ всегда нравится больше стараго [1]). Но она бѣжитъ отъ этой мысли: въ сердцѣ Памфило нѣтъ мѣста для другой любви; вѣдь пытались-же проникнуть въ него другія, достойныя его, и не только при помощи взглядовъ, и все было напрасно. А его слово, его благоразуміе? Неразуменъ тотъ, кто покидаетъ обладаемое для того, чего у него еще нѣтъ; а я вѣдь была бы красавицей и среди красавицъ его города. Кого онъ найдетъ, кто-бы любилъ его такъ, какъ я? Къ тому же онъ опытенъ (esperto) и знаетъ, какъ трудно внушить любовь женщинамъ, всегда показывающимъ отвращеніе къ тому, чего желаютъ [2]).

Ея занятія шли въ уровень съ мечтами. Рѣдко проходило утро, чтобы, взобравшись на вышку дома, она не наблюдала за теченіемъ солнца; какъ моряки высматриваютъ близость земли, такъ она считала, сколько убыло дня. Древніе отмѣчали бѣлыми и черными камешками счастливые и несчастные дни; и у ней былъ счетъ по камешкамъ: одни откладывались для прожитыхъ дней, другіе обозначали, сколько ихъ еще осталось до возвращенія Памфило. Она отлично помнила, сколько ихъ тамъ и здѣсь, и тѣмъ не менѣе пересчитывала, какъ бы надѣясь, что однихъ прибавилось, другихъ убыло. — Она любила оставаться одна въ комнатѣ; достанетъ изъ сундука его вещи, любуется ими, цѣлуетъ, спрашиваетъ: Когда-то пожалуетъ сюда вашъ хозяинъ? Перечитываетъ его письма и утѣшается, точно говоритъ съ нимъ, либо позоветъ служанку и заведетъ съ ней бесѣду: скоро-ли, по ея мнѣнію, вернется Памфило, и какъ онъ ей нравится, и не слышала-ли она о немъ вѣстей; та отвѣчала иногда дѣло, порою, что попало, лишь бы угодить госпожѣ, и та находила въ томъ утѣшеніе. Она любила ходить въ церковь, либо сидѣть съ подругами у воротъ: въ бесѣдѣ забывались грустныя мысли, приходили молодые люди, которыхъ она видала въ обществѣ Памфило; она не-

1) Сл. стр. 56 и выше стр. 134 прим. 3 и стр. 198 прим. 1.

2) Сл. выше стр. 135.

вольно ищетъ его глазами и не находитъ; тѣмъ не менѣе тѣ юноши ей милы, ей кажется, что они также грустны и осиротѣли, какъ она. Нѣсколько разъ порывалась она спросить о немъ и бывала счастлива, когда ей доводилось уловить изъ ихъ разговора, что онъ скоро вернется.

Наступала ночь; съ молодости она боялась ее, пока Амуръ не вселилъ въ нее отвагу. Съ той-же вышки дома она смотритъ на луну, на которую, быть можетъ, устремлены теперь и глаза Памфило, и ей кажется, что ея серпъ не ростетъ, и слѣдуя суевѣрію древнихъ, она старается шумомъ и звономъ ускорить ея ростъ. Или луна слишкомъ долго оставалась полной; ей, разумѣется, милѣе пребывать съ матерью, чѣмъ возвращаться въ мрачную обитель супруга, и Фьямметта извиняетъ ее, но все-же молитъ, переходитъ къ угрозамъ, и ей представляется порой, что устрашенная Фебея, ускоряетъ свой ходъ. Кто-бы повѣрилъ, что Амуръ научилъ меня астрологіи? спрашиваетъ Фьямметта. Въ облачныя ночи она собирала вокругъ себя своихъ служанокъ и разсказывала и заставляла разсказывать разныя исторіи, и чѣмъ далѣе онѣ были отъ дѣйствительности, какъ большею частью у людей такого рода, тѣмъ болѣе прогоняли печаль и развлекали до смѣха. Не то она принималась искать въ разныхъ книгахъ повѣсти о чужихъ несчастіяхъ, и сравнивая ихъ со своими, утѣшалась, чувствуя, что она не одна.

«Не знаю, что мнѣ было пріятнѣе: то-ли, что такимъ образомъ проходило время, или сознаніе, что оно прошло среди другихъ занятій». Ночью, въ постелѣ, въ головѣ роились мысли, но она старалась прогнать ихъ; то представляла себѣ, что Памфило былъ именно здѣсь, на этомъ ложѣ [1]), звала его, просила вернуться поскорѣе; либо воображала, что онъ пріѣхалъ, и она разспрашиваетъ его и отвѣчаетъ за него. Такъ ей удавалось иногда заснуть, и во снѣ она видѣла себя и Памфило: они въ прелестномъ саду, держатъ другъ друга за руку, далекіе отъ всякихъ

1) Сл. Ov. Her., X, 51 слѣд.: объ Аріаднѣ.

опасеній; она проситъ его разсказать, что съ нимъ было, и прерываетъ его разсказъ поцѣлуями: Неужели ты въ самомъ дѣлѣ вернулся? Неужели ты со мною?—Или они вмѣстѣ на морскомъ берегу, на веселомъ праздникѣ, и она говоритъ себѣ: Да, это не сонъ!—Но сонъ проходилъ, и хотя она просыпалась печальной, весь день бывала хорошо настроена, поджидая такой-же ночи. Но бывали и страшныя сновидѣнія: Памфило являлся ей въ рубищѣ, блѣдный и испуганный, точно за нимъ погоня, и просилъ помощи; либо ей говорили объ его смерти, и она видѣла его мертвымъ. Тогда она благодарила Бога, что то было лишь сновидѣніе, и хотя не вѣрила снамъ, не бывала покойна, пока искуснымъ образомъ не добудетъ вѣстей о миломъ.

Съ приближеніемъ срока она рѣшилась вести болѣе веселую жизнь, чтобы поправиться, поднять красоту, поблекшую отъ горя; снова ее видятъ на празднествахъ, и какъ рыцарь оправляетъ свое оружіе передъ битвой, такъ она обновила свои наряды. И мысли ея измѣнились, забыты предчувствія, ревность; оставалась недѣля до срока, а она разсчитываетъ: Чай, Памфило сбирается теперь, можетъ быть, уже въ пути; какъ то я его встрѣчу? Я такъ его разцѣлую, что не дамъ сказать ни слова, готова обнять его при всѣхъ. — Кто бы ни вошелъ, чей бы ни послышался голосъ, все ей кажется, что придутъ сказать о Памфило; разъ сто выглянетъ она въ окно и припомнивъ, что Памфило долженъ былъ что-то привезти ея мужу, даже рѣшается спросить, когда его ждутъ.

Но срокъ миновалъ, вмѣстѣ съ нимъ и веселыя мысли, и въ ея головѣ возникли другія. Фьямметта старается объяснить себѣ мѣшканье Памфило: у него могли явиться непредвидѣнныя дѣла, задержала жалость къ отцу. А что если онъ уѣхалъ, и съ нимъ по дорогѣ случилось несчастье: его корабль разбило, занесло на необитаемую скалу, либо онъ попался къ разбойникамъ, заболѣлъ? Ей страшно при одной мысли о томъ, точно опасность у ней на глазахъ, она молитъ объ ея отвращеніи, обливаясь холоднымъ потомъ. Пусть лучше остается тамъ, лишь-бы ничего

такого не случилось! Но этого не было, объ этомъ узнали бы здѣсь: я вѣдь провѣдываю о немъ. Онъ либо скоро явится, либо напишетъ. — Такъ возвращались къ ней надежды, когда она вспоминала любовь Памфило, его слезы и клятвы: все это не можетъ быть обманомъ. Но сомнѣнія шагъ за шагомъ вкрадывались въ ея душу, обновляя въ памяти дурныя предзнаменованія и иныя печали. Особенно мучила ее ревность: Памфило забылъ ее для другой. Онъ вѣдь столько времени тебя не видѣлъ, говоритъ она себѣ, а въ мірѣ ничто не вѣчно; новое всегда нравится болѣе стараго, человѣкъ болѣе вожделѣетъ къ тому, чего у него нѣтъ, чѣмъ къ обладаемому, и даже любимое отъ долгаго употребленія надоѣдаетъ [1]). Почемъ ты знаешь, что его любовь не была показной, слезы не притворныя? Вѣдь слезамъ и клятвамъ и обманамъ молодые люди научаются прежде, чѣмъ начинаютъ любить. На что ты надѣешься? Брось эту любовь. — Эти мысли приводили ее въ ярость, но она разрѣшалась слезами, и Фьямметта снова начинала манить къ себѣ, пустыми доводами, отлетѣвшую надежду.

До сихъ поръ она много плакала, но это было ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что съ ней сталось, когда до нея дошла вѣсть, будто Памфило женился. По разнообразію психологическаго анализа, пятая глава принадлежитъ къ числу лучшихъ; тема ревности разработана вдвойнѣ и параллельно: Фьямметта ревнуетъ не только къ женѣ Памфило, но и къ той, которая смутилась, услышавъ о его бракѣ.

Болѣе мѣсяца прошло съ тѣхъ поръ, какъ Памфило долженъ былъ пріѣхать, когда Фьямметта зашла однажды въ женскій монастырь, чтобы попросить помолиться о себѣ. Пока она бесѣдовала съ монахинями, среди которыхъ были и ея родственницы и старыя знакомыя, явился купецъ и разложилъ передъ ними свои драгоцѣнности, какъ Улиссъ и Діомедъ передъ Деидаміей и ея сестрами. По его выговору Фьямметта догадалась, что онъ

1) Сл. выше стр. 409 прим. 1.

родомъ оттуда-же, откуда и Памфило, что̀ онъ и подтвердилъ на вопросъ одной изъ присутствовавшихъ, молодой и красивой женщины, хорошаго рода. Начали съ нимъ торговаться, иное купили; затѣмъ пошли разговоры и шутки; та красавица и спрашиваетъ его: не знакомъ-ли онъ съ Памфило? Фьямметта, обрадовавшись, насторожила уши.—Какъ не знать? прошло порядкомъ времени, какъ отецъ вызвалъ его къ себѣ. —Давно ли ты его видѣлъ?— Не прошло и двухъ недѣль.—Какъ же онъ поживаетъ?—Очень хорошо.—И купецъ разсказываетъ, что въ день своего отъѣзда онъ былъ свидѣтелемъ, съ какимъ торжествомъ ввели въ домъ Памфило молодую красавицу, говорятъ, его невѣсту. Фьямметта страшно поражена этой вѣстью и вмѣстѣ съ тѣмъ не спускаетъ глазъ съ собесѣдницы: Зачѣмъ спросила она о Памфило?—точно никакая-другая женщина не могла и знать его помимо нея! И ей кажется, что при вѣсти о бракѣ Памфило та вспыхнула, опустила глаза, слова замерли у ней на устахъ, и она сдерживаетъ слезы. Можетъ-быть, у нея такія же законныя причины горевать, какъ у меня самой, говоритъ себѣ Фьямметта, и къ ея прежнимъ страданіямъ присоединились новыя.

Первымъ ея желаніемъ было наброситься на ту женщину, но, сохранивъ видимое спокойствіе, она продолжаетъ слушать, тогда какъ ей хочется плакать. И ея собесѣдница также старается подавить свое смущеніе, продолжаетъ разспрашивать; затѣмъ отпустивъ купца, начинаетъ болтать, обманчивымъ смѣхомъ прикрывая печаль. Когда кончилась бесѣда, которой Фьямметта не видитъ конца, она идетъ домой въ отчаяніи, то вспыхнетъ, то поблѣднѣетъ и какъ ливійскій левъ, настигнутый въ западнѣ охотниками, то едва ступаетъ, то мчится скорѣе, чѣмъ пристало женщинѣ. Ея горе не знаетъ границъ: она призываетъ месть боговъ, ея страстные упреки Памфило, полные апострофъ и повтореній, принимаютъ иногда характеръ діалектическаго спора, точно Памфило на лицо, и въ страстности уже явились проблески сознательности. Ты скажешь, что твои слезы и клятвы были правдивы — положимъ; но зачѣмъ-же ты ихъ нарушилъ? Ты скажешь, что тому

виной другая красавица—но развѣ мнѣ оттого легче? Разумѣется, нѣтъ. Развѣ не зналъ ты, какъ горячо я любила тебя? Конечно зналъ [1]). Далѣе Фьямметта впадаетъ въ тонъ Овидіевой Героиды и плачется, какъ Филлида объ удалявшемся Демофонтѣ; Боккаччьо вспомнилъ кстати ея рѣчи и часто сохраняетъ ихъ, вплетая автобіографическіе мотивы, уже знакомые намъ, но здѣсь являющіеся въ иномъ освѣщеніи: Фьямметта не могла сказать о себѣ, что она отдалась, она почти — уступила. Ты не подумалъ, какъ мало тебѣ славы оттого, что ты обманулъ довѣрившуюся тебѣ женщину; моя красота заслуживала большей правдивости, чѣмъ твоей, а я не менѣе довѣрилась тебѣ, чѣмъ призваннымъ тобою богамъ, которыхъ умоляю: пусть будетъ лучшею частью твоей славы, что ты обманулъ женщину, любившую тебя болѣе самой себя [2]). Скажи мнѣ, Памфило, сдѣлала-ли я что-либо такое, чѣмъ заслужила быть преданною тобою съ такимъ коварствомъ? Никакого проступка я не совершила, кромѣ того развѣ, что неразумно увлеклась тобой и больше, чѣмъ слѣдовало, довѣрилась тебѣ и полюбила тебя; но за этотъ проступокъ я не заслужила отъ тебя такого наказанія [3]). Одно злодѣяніе я знаю за собою, совершивъ которое навлекла на себя гнѣвъ боговъ: это то, что я приняла тебя, преступнаго и безжалостнаго юношу, на свое ложе, допустила твоимъ чресламъ коснуться моихъ [4]), хотя въ этомъ, то знаютъ боги, виновна не я, а ты, ибо смѣлый, привычный къ подобнымъ обманамъ, ты засталъ меня въ молчаніи ночи, схватилъ въ объятія и почти насильно

1) Стр. 78.

2) Ov. Her. V, 61 слѣд.: Speravi melius, quia me meruisse putavi. Quaecunque ex merito spes venit, aeque venit. Fallere credentem non est operosa puellam Gloria: simplicitas digna favore fuit. Sum decepta tuis, et amans et femina, versis. Dei faciant, laudis summa sit ista tuae.

3) V, 27—30: Dic mihi, quid feci, nisi non sapienter amavi? Crimine te potui demeruisse meo. Unum in me scelus est, quod te, scelerate, recepi, Sed scelus hoc meriti pondus et instar habet.

4) V, 57—8: Turpiter hospitium lecto cumulasse jugali Poenitet et latui conseruisse latus.

овладѣлъ моей стыдливостью, прежде чѣмъ я очнулась отъ сна. Что мнѣ было дѣлать? Кричать, снискавъ себѣ безславіе и смерть тебѣ, котораго я любила болѣе себя? Я противилась, на сколько могла, но ты былъ сильнѣе меня. Увы! отчего день, предшествовавшій той ночи, не былъ послѣднимъ, чтобъ умереть мнѣ честной! [1]). Теперь ты, чай, разсказываешь своей молодой женѣ о своихъ старыхъ привязанностяхъ, станешь хулить мою красоту и нравы [2]); лучше разскажи о своихъ коварствахъ, о томъ, какъ за мной ухаживали другіе, украшая цвѣтами мои двери, пока я была предметомъ ихъ распрей, возбуждала къ доблести — и не сдалась. Пусть она узнаетъ о всемъ этомъ, сторонится твоего коварства и будетъ тебѣ тѣмъ, чѣмъ Клитемнестра Агамемнону, по крайней мѣрѣ, чѣмъ сама Фьямметта стала по отношенію къ мужу, не заслужившему такого оскорбленія. Пусть дойдешь ты до того, что заставишь меня пролить о тебѣ слезы, которыя я проливаю о себѣ.

Тутъ ей приходило на память смущеніе той красавицы. Памфило, стало быть, уже здѣсь измѣнилъ ей? Кто знаетъ, ея соперница узнала объ ея связи, и ея молитвы, болѣе дохожія къ богамъ, навлекли на нее такое горе. Кто-бы она ни была, пусть проститъ ей, ибо она согрѣшила по невѣдѣнію. А ты, Памфило, ты также клялся ей, также проливалъ слезы? Ты впрочемъ, можешь быть спокоенъ; что отдано многимъ, не принадлежитъ никому. Возможно-ли, чтобы человѣкъ, полонившій столько сердецъ, ни разу не попался въ свою очередь? Но вѣдь попалась-же я; теперь овладѣли имъ, я въ этомъ убѣждена. Если ты не хочешь вернуться ко мнѣ, вернись по крайней мѣрѣ къ той, которая такъ плохо скрыла свою любовь, къ тѣмъ, которымъ клялся ранѣе меня.—Но пусть лучше не возвращается; теперь тебѣ тяжело, тогда будетъ еще тяжелѣе, говоритъ себѣ

1) V, 59—60: Quae fuit ante illam, mallem suprema fuisset Nox mihi, dum potui Phyllis honesta mori!

2) Ov. Her. I, 77—79: Пенелопа Улиссу: Forsitan et narres, quam sit tibi rustica conjunx, Quae tantum lanas non sinat esse rudes.

Фьямметта: пока ты неувѣрена, любитъ-ли онъ тебя, или нѣтъ, тогда ты увѣришься, что его увлекла другая. Будь довольна тѣмъ, что ты не одна въ такомъ горѣ; несчастные находятъ утѣшеніе въ товарищахъ по бѣдствію.

Въ такихъ думахъ проходили цѣлые дни, а затѣмъ возвращались и надежда и любовь, которую враждебныя ей мысли питаютъ такъ же, какъ вѣтры пламя. Фьямметта начинаетъ даже стыдиться своего гнѣва, точно Памфило слышалъ ея рѣчи, и она утѣшаетъ себя положеніемъ, которое когдо то обсуждали именитыя дамы капеллана Андрея: что бракъ не предполагаетъ любви. Можетъ быть то, о чемъ разсказалъ купецъ, и не такъ; а еслибъ и было, то что-же тутъ новаго? Памфило могъ жениться въ угоду отцу; не всѣ-же мужья любятъ своихъ женъ, какъ другихъ женщинъ; если то и бываетъ въ началѣ, впослѣдствіи онѣ надоѣдаютъ отъ излишней доступности [1]); можетъ быть, уже и теперь она пріѣлась ему, и онъ любитъ тебя по прежнему. А что та красавица смутилась, то и тому удивляться нечего: будто ты не знаешь, что и тебя многіе любятъ втунѣ.—И ея нареканія смѣнялись молитвами. Но веселье не приходило. Въ первыхъ порывахъ гнѣва она побросала камешки, служившіе ей для счета дней, сожгла письма Памфило; она болѣе не наблюдаетъ неба, нѣтъ прежней охоты къ разсказамъ; она никуда не показывается, въ безсонныя ночи молится Венерѣ. Гдѣ ты теперь Памфило? Что дѣлаешь? Можетъ быть, сладко спишь и не вспомнишь обо мнѣ? Отчего не порвешь удерживающія тебя узы? Ничто не удержало бы меня, еслибъ я только могла. Отецъ довольно на тебя наглядѣлся; я вѣдь частенько молю — о его смерти; это онъ тебя не пускаетъ. Никто не доставитъ тебѣ такого наслажденія, какое доставляла я, припомни только; вотъ почему я не вѣрю, что ты женился, а если и такъ, ты все-же вернешься. Приди-же, тебя зоветъ сердце. Ужь не знаю, какъ я умѣрю свою радость, чтобъ не показать ее на людяхъ! приди посмотрѣть, съумѣешь-ли ты

1) Сл. выше стр. 412 прим. 1.

такъ же изловчиться въ счастливыхъ обстоятельствахъ, какъ мы изворачивались въ неблагопріятныхъ. Приди только, а тамъ пусть обо всемъ узнаютъ, я на все найду средства. — Снова она бѣгаетъ къ окну, смотритъ на дверь, и напрасное ожиданіе скашиваетъ ее, какъ волна покрываетъ разбитое бурей судно. Она силится заснуть, закрываетъ глаза и манитъ къ себѣ сонъ, пусть спустится на ея блѣдныя очи этотъ тихій образъ суровой смерти, смѣшивающій ложное съ правдой, пріучающій боязливое человѣчество къ идеѣ безконечнаго покоя; пусть овладѣетъ ею и удалитъ нездоровыя волненія, безцѣльно тревожащія ея душу. И сонъ являлся, нехотя и медленно, но не являлся покой.

Гореванье и слезы Фьямметты, ея блѣдность и худоба обратили вниманіе ея мужа. Она ссылается на желудокъ и даетъ себя врачевать; но единственное средство противъ ея болѣзни было далеко. Тогда мужъ совѣтуетъ ей поѣздку въ Байи, гдѣ она развлечется и поправится отъ желудка и отъ обуявшей ее меланхоліи. Фьямметта ѣдетъ, хотя и послѣ нѣкоторыхъ колебаній: неравно явится Памфило.

Намъ извѣстна характеристика байской жизни и байскихъ удовольствій [1]); здѣсь они являются въ особомъ освѣщеніи элегическихъ воспоминаній о невозвратномъ счастьѣ. Мужъ повезъ Фьямметту, чтобъ изцѣлить ее отъ «любовной горячки», а въ Байяхъ все напоминаетъ ей Памфило: здѣсь она была съ нимъ, тамъ онъ сказалъ мнѣ то-то, и мы то-то дѣлали. На охотѣ у ней валятся изъ рукъ лукъ и стрѣлы; нехотя принимаетъ она участіе въ танцахъ, затѣмъ, удалившись въ сторону, предается своимъ мыслямъ. Звуки музыки будятъ въ ней любовныя чувства [2]), и она старается запомнить тѣ пѣсни, въ которыхъ говорилось о такихъ же страданіяхъ, какъ ея собственныя, чтобы, распѣвая ихъ, ей можно было сѣтовать о себѣ при всѣхъ. Среди юношей, толпившихся около дамъ, она не видитъ болѣе Памфило; онъ

1) Сл. выше стр. 60—2.

2) Дантовскій spiritello d'amore, стр. 95.

былъ-бы лучше другихъ; ея глазъ перебѣгаетъ отъ одного къ другому: этотъ любитъ, тотъ отвергаетъ любовь, эти счастливы. Да будетъ продолжительно ваше счастье, чтобы мнѣ одной остаться съ моей бѣдой и перейти въ потомство съ вѣчной славой Дидоны. И у ней являлось что-то въ родѣ улыбки, когда она видѣла кого нибудь, печально удалявшагося съ праздника, гдѣ онъ не увидѣлъ своей милой. У ней были товарищи.

Ея недугъ не проходилъ, врачи и мужъ отчаявались въ ея выздоровленіи, и она переѣзжала въ городъ. Но и здѣсь все то-же; нехотя показывается она въ люди, начнетъ одѣваться, задумается надъ своей былой красотой, выронитъ изъ рукъ гребень и сидитъ, пока не напомнитъ ей служанка. На брачномъ торжествѣ [1]) ей вспоминается счастливое время, когда такое-же торжество совершалось для нея, невинной, свободной и веселой; затѣмъ вспоминается Памфило; она слышитъ, какъ молодые люди шепчутся, или и воображаетъ себѣ ихъ разговоръ: Посмотри-ка, что сталось съ этой красавицей? Что съ ней? Одни говорятъ, что она перенесла болѣзнь, другіе, что влюблена; не можетъ быть, говорятъ третьи, не такая она женщина, чтобы отдаться любви. Увы, какъ далеки были они отъ истины, считая меня не влюбленной потому только, что я не выносила моего чувства на показъ, какъ другія! вздыхаетъ Фьямметта, и ей больно слышать, что поблекла ея красота. Часто случалось, что заходила въ кружкѣ дамъ бесѣда о сердечныхъ невзгодахъ, и она убѣждалась, что никто такъ не несчастенъ, какъ она. Другія шли къ танцамъ, она оставалась и презрительнымъ взглядомъ слѣдила за движеніями танцующихъ; и вмѣстѣ съ тѣмъ ей завидно: будь здѣсь Памфило, она сдѣлала бы то-же самое. Тогда она удалялась куда нибудь въ сторону и принималась сѣтовать на Фортуну: не знала она, неопытная, что Фортуна такъ властна въ дѣлахъ любви; она отдалась ей, а судьба не переставала ей досаждать: въ началѣ она ухищрялась тѣмъ или другимъ способомъ смущать души влюбленныхъ, за-

1) Сл. выше стр. 59.

ставлять ихъ глазами выдавать тайную страсть, переносила отъ одного къ другому недобрыя рѣчи. Все это они побѣдили, потому что хотя Фортуна—богиня, силы души ей не подвластны. Тогда она прибѣгла къ другимъ мѣрамъ, разлучивъ ее съ Памфило. Но вѣдь онъ любитъ меня, а тебѣ что за дѣло до любви? Почему не обратишь ты своего гнѣва на мои дома и поля и достояніе? Ты, видно, никогда не любила. Но я все прощу тебѣ, отдай лишь мнѣ моего Панфило, и я поставлю въ храмѣ свое изображеніе съ стихотворной надписью: Это Фьямметта, возведенная Фортуной отъ крайняго бѣдствія на верхъ счастья.

Образъ Памфило преслѣдуетъ ее повсюду: и въ прогулкахъ по морю, и въ веселыхъ пирахъ на берегу [1]), гдѣ звуки каждаго инструмента заставляютъ ее спрашивать, кто это играетъ, хотя ея Памфило игралъ лишь на одномъ. Она безучастно смотритъ на блестящія военныя игры [2]); когда-то и Памфило бывалъ на этомъ празднествѣ: юный годами, не мудростью, онъ сидѣлъ съ стариками, какъ мальчикъ Даніилъ съ священниками въ домѣ Сусанны, и также судилъ, приравнивая наѣздниковъ къ тому или другому герою древности, не голословно, а съ убѣдительными доказательствами [3]). Его нѣтъ, и, вернувшись домой, Фьямметта клянетъ ложный блескъ свѣтскихъ удовольствій, противополагая имъ простоту сельскаго быта и невинность золотаго вѣка. Это та-же точка зрѣнія, что и въ разсказѣ Адіоны [4]), вызванная элегическимъ настроеніемъ разсказщицы. «Блаженъ тотъ, кто пребываетъ невинно въ сельскомъ уединеніи подъ покровомъ неба! Почему судьба не уготовила и ей такой-же участи? Къ чему ей роскошные дворцы, пышныя ложа и множество челяди? Какъ хорошо было бы жить тамъ, свободной и покойной, гулять по берегу быстрой рѣки и подъ ея ропотъ безмятежно покоиться на травѣ, утоляя голодъ плодами лѣса, жажду водой изъ при-

1) Сл. выше стр. 61.
2) Сл. выше стр. 60.
3) Сл. выше стр. 114.
4) Въ Ameto, сл. выше стр. 278—9, 363.

горшни! А мы изобрѣли множество яствъ, не столько поддерживающихъ тѣло, сколько портящихъ его соки, и въ оправѣ золота и рѣзныхъ камней уготовивъ себѣ мудреные напитки, пьемъ студеный ядъ, и, во всякомъ случаѣ, любовь. Тѣ люди не знаютъ Венеры и ея двуликаго сына, а коли знаютъ, то она является имъ грубой и необольстительной. Какъ плохо цѣнимъ мы эту жизнь! Такъ жили въ золотомъ вѣкѣ, пока Юпитеръ не изгналъ еще Сатурна, царили святые законы, люди не знали ни царской власти, ни неустойчивыхъ мнѣній черни, ни зависти, ни колебаній Фортуны; не знали иныхъ орудій брани, кромѣ вѣтвей и камней; Амура еще не было на свѣтѣ и существовало лишь естественное вожделѣніе. А за тѣмъ явились любостяжаніе и гнѣвъ и сладострастіе, и нарушены были святые законы природы; явилась жажда власти, и законъ стало давать насиліе. Уже Семирамида сдѣлала Венеру распущенной, Сарданапалъ сдѣлалъ ее изящной, Церера и Вакхъ приняли другой обликъ и Марсъ изобрѣлъ новыя орудія смерти. Грѣхъ и преступленіе вошли въ міръ, разрушивъ родственныя связи, гибли города и царства—и вождь и начинатель всему злу былъ Амуръ.

Таково было настроеніе Фьямметты. Въ люди она почти не показывается, и когда ввиду какого нибудь церковнаго праздника служанка приготовитъ ей одѣться, она бросается на нее съ бранью, точно дикій звѣрь на собакъ. Когда случалось ей выходить, она, просто одѣтая, садилась гдѣ-нибудь въ невидномъ мѣстѣ. Что съ нею? слышались голоса; другіе говорили: Не пристало тебѣ такъ одѣваться, ты еще молода, будетъ время, когда нельзя будетъ и рядиться. А она отвѣчала смиренно: Мы ходимъ въ храмъ не для людей, а для Бога, въ чемъ-бы не былъ одѣтъ человѣкъ, лишь душа была бы украшена добродѣтелью; я горюю о своей прошлой суетности, потому и желаю показаться вамъ, на сколько могу, презрѣнной. Эта лицемѣрная выходка вызываетъ у ней слезы: Не вмѣняй мнѣ въ грѣхъ лживыя рѣчи, Господи, вѣдающій наши сердца, скорѣе вмѣни мнѣ въ заслугу, что я подаю хорошій примѣръ, скрывая дурное. Мнѣ больно лгать, представляться святою,

взысканная тобою. О неразумные люди, на васъ лицемѣрная внѣшность дѣйствуетъ болѣе, чѣмъ праведность духа, если скрыты дѣла. Я—святая! да еслибъ я могла, я разубѣдила бы въ томъ всѣхъ и каждаго; только этого нельзя сдѣлать.—Что сталось съ твоей красотой? Куда дѣвались краски, отчего ты такъ блѣдна? спрашиваетъ Фьямметту одна дама.—Человѣческая красота—бренный цвѣтокъ; кто далъ мнѣ ее, ее и отнялъ и можетъ вернуть. Такъ отвѣчаетъ Фьямметта, а сама закутавшись, горько плачетъ, проклиная свою роковую красоту: въ ней главная причина всѣхъ ея бѣдъ, и она развиваетъ эту тему, къ которой любятъ возвращаться героини Боккаччьо и онъ самъ вернется въ другомъ, болѣе легкомысленномъ освѣщеніи [1]). Не будь она красива, она осталась бы непорочной; счастливы тѣ, которыя, избѣгая соблазна, исказили себя, какъ достойный вѣчной славы Спурина!

Перестань же, Фьямметта! говорятъ ей знакомыя, что это ты все плачешь? Развѣ не надѣешься на Божіе милосердіе? Подбодрись, утри слезы и внемли священникамъ, приносящимъ жертву великому Юпитеру [2]).—Она оправилась, но уже не обводитъ вокругъ глазами, ибо знаетъ, что не встрѣтитъ Памфило, и начинаетъ страстно молиться: она проситъ властителя вышняго неба вернуть ей Памфило. Онъ, кому все извѣстно, знаетъ, что она не въ силахъ отдѣлаться отъ этой мысли; пусть-же допуститъ меньшее зло вмѣсто большаго, лучше ей обладать своимъ милымъ, и можетъ быть, исправиться, чѣмъ загубить, вмѣстѣ съ тѣломъ, и душу. И воскуривъ ѳиміамъ на алтаряхъ, она возвращается въ свою печальную обитель.

До сихъ поръ Фьямметту смущала вѣсть о бракѣ Памфило, но она старалась успокоить себя, отдѣляя ее отъ любви. Что сталось съ ней послѣ, о томъ она боится разсказать: ей стыдно своего гнѣва, а онъ навѣрно обновится при воспоминаніи.

Прошелъ годъ съ отъѣзда Памфило, и Фьямметта уже пріу-

1) Декамеронъ, VII, 2.

2) Fiammetta, стр. 126.

*

чилась переносить свое горе, когда вернулся ея слуга. Онъ былъ на родинѣ Памфило, былъ имъ обласканъ. Фьямметта чуть не бросилась ему на шею. Что дѣлаетъ Памфило, намѣренъ-ли вернуться? — Да я счелъ бы его дуракомъ, какъ прежде считалъ умнымъ: такая красавица его полюбила! Да и онъ, кажется, любитъ ее. — У Фьямметты упало сердце, но она крѣпится и шутитъ, какъ Флоріо въ бесѣдѣ съ Филено [1]): Разумѣется, такъ ему и слѣдуетъ поступить; но кто—его жена?—Какая тамъ жена! Говорили, что онъ женился, но то женился его отецъ. — Какъ услышала это Фьямметта, ея бѣдное сердце затрепетало, какъ трепещутъ крылья Прокны надъ бѣлѣющими берегами, содрогнулись жизненные духи, какъ дрожитъ зыбь на морѣ или гибкій тростникъ отъ легкаго вѣтерка. Удалившись въ свою комнату, она плачетъ, едва удерживаясь отъ стоновъ; бросается на постель и теряетъ сознаніе; когда ее привели въ чувство, она сѣтуетъ, что ее вернули къ жизни, и объясняетъ, какъ можетъ, свое недомоганіе; теперь ей лучше. Оставшись одна съ нянькой и служанкой, которыя были посвящены въ ея печаль, она свободно выражаетъ свое горе. Памфило предалъ ее; ей больно было слышать, что онъ соединился съ другой «по закону Юноны», т. е. въ бракѣ, но она помирилась съ этимъ, ибо связи, соединявшія его съ нею, были выше брачныхъ. Теперь другое дѣло, она обманута. И зачѣмъ было столько ухищреній, почему не разстался онъ съ нею безъ лживыхъ слезъ? Теперь она была бы свободна въ смерти или забвеніи. Ты никогда не любилъ, ибо былъ бы еще моимъ. А развѣ я не нравилась тебѣ, не отвѣчала твоимъ желаніямъ, мое благородство не приличествовало твоему— и не было больше?

Такъ говоря, она мечется на постелѣ; ночью не спитъ, ея слезы будятъ мужа. Что съ тобою? допрашиваетъ онъ ее ласково; ты о чемъ то горюешь, и я страдаю; откройся мнѣ, я сдѣлаю все, что въ моихъ силахъ; ты мое единственное утѣшеніе и

1) Сл. выше стр. 215—16.

благо! Фямметта, уже пріобыкшая къ обману, говоритъ, что ей постоянно видится ея братъ, предательски убитый; блѣдный и окровавленный онъ показываетъ ей свои раны и проситъ отмстить за него. Эта выдумка позволила ей горевать открыто и при людяхъ — будто о братѣ. Мужъ вѣритъ ей, пытается утѣшить; когда онъ заснулъ, его внимательность и довѣрчивая доброта даютъ новую пищу ея горю: она призываетъ на себя кару боговъ, гнѣвъ мужа, пусть накажетъ ее, проступившуюся передъ законной любовью для прелюбодѣйной. Она могла и должна была воздержаться отъ нея, но не поняла знаменій, и боги, прогнѣвавшись на нее, подавъ знаменіе, отняли разумѣніе, какъ Аполлонъ у любимой имъ Кассандры.

Ночь прошла безъ сна; утромъ, лишь только мужъ вышелъ изъ опочивальни, явилась нянька; она все предугадала; обнявъ Фьямметту, она отираетъ дрожащей рукой слезы, а сама говоритъ: Жаль мнѣ тебя, жаль было-бы и больше, еслибъ я тебя обо всемъ не предупредила; но ты не послушалась меня. Всегда есть время вернуться на добрый путь; съ Памфило ты утѣшалась и повѣрь, еслибъ онъ вернулся, было-бы все то-же. Судьба къ тебѣ благоволитъ, ибо твое имя не запятнано; представь себѣ, что Памфило ты никогда не видала, и что твой мужъ — Памфило; для воображенія нѣтъ ничего невозможнаго.—Такъ утѣшала Сизифа Бьянчифьоре: кто ей понравится, тотъ пусть и будетъ ея Флоріо [1]).

Фьямметта слушаетъ, бывало, такія рѣчи серьезно и сосредоточенно, ибо отвѣчать на нихъ было нечего, и вдругъ зарвется въ страшномъ гнѣвѣ, непристойномъ женщинѣ: посылаетъ на соперницу всѣхъ Фурій и гарпій и хаосъ; боги да разлучатъ ихъ любовь. Презрѣнная! она должна была знать, поглядѣвъ на Памфило, что у него не можетъ не быть милой; какъ же посягнула она на чужое достояніе? Я вѣчно буду питать надежду на ея смерть, и пусть смерть эта будетъ ужасна; не перестану клясть ее,

1) Сл. выше стр. 222.

и моя вражда уляжется развѣ тогда, когда небесная Медвѣдица погрязнетъ въ океанѣ, умолкнутъ псы Сциллы, Іонійское море принесетъ жатву. И по смерти я не устану тебя преслѣдовать; если ты переживешь меня, наведу на тебя бѣшенство, по ночамъ стану пугать моимъ страшнымъ образомъ. — Но что говорю я, несчастная! Я угрожаю ей, она наноситъ мнѣ вредъ. О еслибъ была у меня хитрость Дедала, колесница Медеи, я отыскала бы васъ въ вашемъ убѣжищѣ, осыпала бы упреками, дала-бы волю своему гнѣву: я вырвала-бы у тебя волосы, исцарапала-бы лицо, всю-бы искусала! — Она говоритъ это, сжавъ зубы и кулаки, точно ея жертва на лицо и не избѣжитъ мести. Когда нянька проситъ ее уняться, пощадить свою честь, какъ-бы не услышалъ мужъ, она отвѣчаетъ, что Памфило уже отмстилъ за него съ лихвою, а смерти она не страшится; муки Тиція, Тантала, Иксіона, Данаидъ не сравняются съ ея собственными, смерть будетъ ей освобожденіемъ. — Что ты, дочь моя? Вѣдь и я, старуха, знала, что такое любовь, а на мелкихъ людяхъ его ядъ сказывается тѣмъ сильнѣе, чѣмъ менѣе у нихъ возможности удовлетворить ее. Послушай-ка меня: Ты любишь Памфило и, по законамъ любви, онъ долженъ былъ бы любить тебя и поступаетъ дурно, коли того не дѣлаетъ, но принудить его къ тому нельзя: всякому вольно располагать своей свободой. Велики, безъ сомнѣнія, силы Амура, но и тебя онъ увлекъ не по принужденію, ты сама ему отдалась. Поэтому нечего винить его, нечего, быть можетъ, винить и ту, которой ты такъ угрожаешь: она могла быть увлечена, могла и увлечь Памфило, какъ то сдѣлала ты. Кто мѣшаетъ тебѣ испытать это на другомъ? Надъ клятвами и обѣщаніями влюбленныхъ смѣется самъ Юпитеръ [1]), когда ихъ нарушаютъ; сдержать слово нарушившему его почитается нынѣ неразуміемъ, мудростью отплатить обманомъ за обманъ. Ты не первая, и не послѣдняя: вспомни Деяниру, покинутую Иракломъ для Иолы, Филлиду, Пенелопу; нельзя назвать невыносимыми

1) Ov. Art. Am. I, 633; сл. III, 457 слѣд.

тѣ страданія, гдѣ у человѣка есть товарищи[1]). Брось эти мысли и подумай, что сказалъ-бы мужъ; если ты не боишься смерти, подумай о вѣчномъ стыдѣ, который легъ бы на твоемъ имени. На свѣтѣ все измѣнчиво, все путаетъ Клото, не дозволяя судьбѣ быть постоянной; нами правитъ Фатумъ, что уготовано въ небѣ, не легко измѣнить, и первый день твоей жизни опредѣлилъ и послѣдній. Потому лучше не печалиться, а ждать, надѣясь на боговъ и живя добродѣтельно: бываетъ такъ, что счастье, кажется, далеко, а оно невзначай уже подошло къ человѣку, и блекнутъ зеленыя вѣтви, окруженные уходомъ, тогда какъ другія, пораженныя молніей, одѣваются листомъ.

Такъ не разъ утѣшала старуха Фьямметту, но она почти не слушала ее, и мысль о смерти глубоко у ней запала. Она рѣшилась умереть, но какъ? Ей вспоминается Дидона и Библида, самосожженіе Сагунтинцевъ и кончина Сократа. Она выбираетъ роды смерти: ножъ запятналъ бы ея честное имя, ядовитаго зелья долго искать—пожалуй, пройдетъ и охота; она выбросится съ высоты дома, какъ Пердика; скажутъ, что упала она нечаянно. При этой мысли она содрагалась, холодъ проходилъ по всѣмъ составамъ: Неужели хочешь ты перестать быть? Почему не постараешься жить? Когда нибудь Памфило да вернется, любовно или враждебно—все равно: ты все-же будешь любить его. Онъ не изъ дуба и не изъ камня, не вскормленъ молокомъ тигра; если онъ не смягчится, будетъ еще время умереть, и ты умрешь въ надеждѣ, что какъ бы онъ ни былъ жестокъ, онъ прольетъ по тебѣ слезы.—Такъ говорила себѣ Фьямметта, но Мегера вновь овладѣвала ею, побуждая дѣйствовать. Она рѣшилась, и отсылаетъ отъ себя няньку, подъ предлогомъ, что хочетъ заснуть; но та не уходитъ, чуя что-то недоброе. Фьямметта представилась спящей. Насталъ твой послѣдній день, думаетъ она про себя, сегодня кончатся твои страданія, сегодня Памфило освободится отъ даннаго слова, сегодня ты узнаешь, для кого онъ тебя поки-

1) Стр. 151.

нулъ! [1]). Она молитъ боговъ, чтобъ ея смерть не покрыла ее безславіемъ; если она грѣшитъ, ея наказаніе—въ невозможности объяснить причину самоубійства. Да поддержатъ боги ея мужа: еслибъ она съумѣла сохранить его любовь, она молила бы ихъ теперь продлить ея жизнь. Тутъ ея глазамъ предсталъ страшный ликъ Тизифоны, пугая ее еще бо́льшими бѣдствіями въ будущемъ, побуждая къ рѣшимости, ибо что испытывается однажды, не можетъ быть труднымъ. А нянька все не уходитъ; Фьямметта боится ожиданія, случайной помѣхи; прощается съ своимъ ложемъ, съ покоемъ; страхъ борется въ ней съ рѣшимостью гнѣва, нѣсколько разъ она падаетъ въ обморокъ, блѣдная, какъ смерть, мечется, словно быкъ, почувствовавшій смертельный ударъ [2]), и наконецъ бѣжитъ на вышку дома за призракомъ Тизифоны, произнося несвязныя слова, прощаясь съ домомъ и дорогимъ мужемъ. Она бѣшено мчится, но нянька замѣтила ее, бросила прялку и бросилась за нею, зоветъ на помощь служанокъ. У Фьямметты точно выросли крылья, но ея платье зацѣпилось на бѣгу, она пытается освободить его, но еще болѣе запутываетъ. Когда ее схватили и привели въ ея комнату, она осыпаетъ бранью няньку, бьетъ служанокъ, готова растерзать самое себя. Старуха старается ее успокоить: Кто, подобно тебѣ, покончилъ разсчеты съ судьбою [3]) и презрѣлъ блага жизни, тому нечего искать смерти: это малодушіе, да и неразумно: своею смертью ты утратишь, не вернешь Памфило.

Между тѣмъ на крики сбѣжались слуги и мужъ и родные; Фьямметта отдѣлывается какой-то небылицей; однѣ смотрятъ на нее, какъ на бѣшеную, другіе соболѣзнуютъ. За нею наблюдаютъ, и время взяло свое: она стала спокойнѣе, любовь вступила въ фазу меланхоліи. Она совѣщается съ нянькой, какъ ей вызвать Памфило: пишетъ ему жалобныя письма, но онѣ остаются безъ

1) Стр. 157—8.

2) Стр. 159; сл. выше стр. 407.

3) I suoi fati abbatteo, стр. 163.

отвѣта; хочетъ послать къ нему кого-нибудь, хотя-бы няньку, но это неудобно; пойти самой въ одеждѣ паломника, но это опасно для ея чести. Наконецъ она придумала одно средство, къ которому обратится, если только доживетъ: говоритъ мужу, что обѣщала совершить хожденіе къ святымъ мѣстамъ — путь долженъ былъ идти черезъ страну Памфило; и мужъ готовъ устроить это, надо только выждать благопріятное время года. Пока она коротаетъ дни, совѣтуясь съ тѣми, кто видѣлъ чудеса Гекаты: одни обѣщаютъ ей перенести ее къ Памфило, другіе отвлечь его отъ всякой другой любви, третьи освободить ее отъ ея собственной. Всѣ, оказалось, болѣе сулили, чѣмъ дѣлали; оставалось ждать.

До сихъ поръ горе Фьямметты шло, возрастая: отъ слуховъ о бракѣ Памфило къ вѣсти, что онъ полюбилъ другую. Фьямметта только что успокоилась идеей поѣздки, какъ судьба поманила ее исполненіемъ ея завѣтнаго желанія, чтобы тотчасъ-же его разрушить. Чѣмъ ближе казалось счастье, тѣмъ полнѣе отчаяніе. Боккаччьо сознательно провелъ эту постепенность; всякая другая показалась-бы избитой: поставленная лицомъ къ лицу съ Памфило, Фьямметта не могла бы ни почувствовать, ни сдѣлать ничего болѣе того, что обѣщала, потому что ея воображеніе ярче дѣйствительности. И насъ эта дѣйствительность не интересуетъ: Фьямметта также бы страдала, еслибъ Памфило измѣнилъ однимъ отсутствіемъ. Все дѣло въ психическомъ процессѣ, гдѣ ревность создаетъ подозрѣнія, и подозрѣнія оборачиваются фактами, надъ которыми неустанно работаетъ логика страсти.

Еще разъ наступила весна. Боккаччьо любитъ ея параллелизмъ съ разцвѣтающей или обновляющейся любовью; это общее мѣсто средневѣковой лирики, выраженное въ классическихъ символахъ. Уже Телецъ, когда то похитившій Европу, обнималъ своими лучами Феба (Апрѣль), дни, заступая часть ночи, удлиннились и цвѣтоносный зефиръ, успокоивъ своимъ мягкимъ, мирнымъ дуновеніемъ стремительныя волненія Борея, очистилъ холодный воздухъ отъ мглы, согналъ съ горнихъ вершинъ бѣлые

снѣга, осушилъ луга, увлаженные дождями, и все вновь украсилъ листвой и цвѣтами. На каждой полянѣ явился свой Нарциссъ; мать Вакха уже обнаруживала признаки своей беременности и болѣе обычнаго облегала своего спутника, ильму; повеселѣли, сбросивъ зимній покровъ, Дріопа и жалостныя сестры Фаэтонта, всюду слышался радостный птичій кликъ и властелинъ Амуръ обновилъ въ молодыхъ сердцахъ желаніе. Весь городъ въ праздникѣ; театры, полные пѣсенъ и музыки, манятъ къ себѣ влюбленныхъ, молодые люди красуются на турнирахъ, гарцуютъ на своихъ коняхъ, тогда какъ красавицы смотрятъ, каждая на своего милаго, изъ оконъ и дверей, поощряя ихъ словомъ и взглядомъ и подаркомъ. А Фьямметта одна, неутѣшная; чужое счастье ей завидно, ей по сердцу разсказы о чужомъ горѣ. Тутъ и подшутила надъ нею судьба, обративъ къ ней веселый ликъ, дабы, довѣрившись ему, она низверглась, какъ бѣдный Икаръ; ложная радость готовила ей бо̀льшую печаль, какъ африканскіе бараны разбѣгаются, чтобы боднуть сильнѣе.

Уже болѣе четырехъ разъ миновалъ срокъ, назначенный Памфило, когда однажды нянька Фьямметты вошла къ ней, болѣе поспѣшно, чѣмъ то дозволялъ ея возрастъ, морщинистое лицо въ поту, сама она веселая; она сѣла и принимается говорить, но рѣчь у нея обрывается, такъ она запыхалась. Что съ тобой, какія у тебя вѣсти? спрашиваетъ Фьямметта, веселыя или нѣтъ, не мучь меня.—Радуйся, милая моя дочка, говоритъ, придя въ себя, старуха, твой милый возвращается. — Внезапная радость блеснула въ глазахъ Фьямметты, но долгій навыкъ горя осилилъ ее, она не вѣритъ и съ слезами проситъ няньку не издѣваться надъ нею. — Шутить въ мои годы мнѣ не пристало, твоя нянька не обманываетъ тебя!—Какъ-же узнала ты о томъ? обрадуй меня поскорѣе! спрашиваетъ Фьямметта, подойдя къ старухѣ. Та разсказываетъ, что утромъ она была на морскомъ берегу, когда какой-то молодой человѣкъ, прыгая изъ лодки, неловко задѣлъ ее, стоявшую къ нему спиною. Она пожурила его, а затѣмъ, заключивъ по его одеждѣ, что онъ съ родины Памфило, вступила

съ нимъ въ разговоръ. Онъ оказался изъ Тосканы, и именно изъ Флоренціи, знаетъ Памфило, который сбирался съ нимъ ѣхать, только его что-то задержало, но черезъ нѣсколько дней онъ будетъ здѣсь. Въ это время сошли на берегъ товарищи моряка, онъ ушелъ съ ними, а она побѣжала обо всемъ разсказать Фьямметтѣ. — Та бросилась къ старухѣ, цѣлуетъ ее въ голову, заставляетъ поклясться, что все это правда, и хотя «да» и «нѣтъ» борятся въ ея сердцѣ [1]), благодаритъ боговъ, повеселѣла, какъ соколъ, съ котораго сняли клобучекъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуетъ, что ее обуяла какая то вялость: кто изстрадался, не вѣритъ счастью, ему все кажется, что это—сонъ. Что мѣшаетъ твоему веселью? спрашиваетъ она себя, и сама отвѣчаетъ: не знаю что, но что-то мѣшаетъ. И у нея невольно навертываются слезы; она точно предчувствуетъ бѣду; такъ море волнуется порой безъ вѣтра, вѣщая великую бурю. И вмѣстѣ съ тѣмъ ей не хочется въ это вѣрить, она гонитъ отъ себя предчувствія и сомнѣнія, начинаетъ заботиться о своей красотѣ, о нарядахъ; всѣ дивятся ея перемѣнѣ; вмѣстѣ съ ней все въ домѣ повеселѣло. Снова она принялась считать медленно потянувшіеся дни, коря себя за то, что заподозрила своего милаго, вѣрила слухамъ. Сколько было ненужнаго горя, пролито даромъ слезъ! Но вѣдь влюбленные легковѣрны, а любовь всегда опаслива. Памфило не узнаетъ объ этомъ, а если и узнаетъ, скажетъ: Какъ горячо она меня любила! Я почти увѣрена, что онъ и отъѣздъ свой замедлилъ, чтобъ испытать меня; моя твердость и гореванье только усилятъ его любовь. Когда же я его увижу! восклицаетъ Фьямметта, и моменты страстнаго ожиданія выражаются въ знакомыхъ намъ образахъ: Боккаччьо повторяется. Какъ ей удержаться, чтобы не разцѣловать его при всѣхъ, не вернуть ему поцѣлуи, которыми онъ осыпалъ мое помертвѣвшее лицо? [2]). Я тогда не простилась съ нимъ и извлекла дурное предзнаменованіе

1) Benchè'l sì e'l no.... nel capo mi vacillasse; сл. Inf. VIII, 111.
2) Сл. стр. 176 и 53; (сл. выше стр. 408).

изъ того, что, наоборотъ, было добрымъ знаменіемъ.—Не проходитъ дня, чтобы она не посылала старуху провѣдать о Памфило, постоянно подбѣгаетъ то къ двери, то къ окну, глядитъ на дорогу, и когда ее отзовутъ по дѣлу, боится, какъ бы не пропустить Памфило. Когда насталъ день ожидаемаго пріѣзда, она разодѣлась, какъ Алкмена при вѣсти о возвращеніи Амфитріона, и лишь мысль, что самъ Памфило поспѣшитъ къ ней, удержала ее отъ намѣренія пойти встрѣтить его на берегу. Но его нѣтъ; она начинаетъ дивиться, насильно подавила сомнѣнія, посылаетъ няньку справиться; какъ долго ходитъ старуха! Вотъ она вернулась, идетъ не спѣша, и лицо у ней печально. Не умеръ-ли Памфило, не заболѣлъ ли? Въ одинъ мигъ на ея лицѣ смѣнились тысячи красокъ. Какія у тебя вѣсти? Говори скорѣе, живъ-ли онъ? спрашиваетъ она, подбѣгая къ медленно тащившейся старухѣ. Та не прибавила шагу, и не говоря ни слова, сѣла и смотритъ на нее; Фьямметта дрожитъ, какъ листъ, едва удерживая слезы, готова растерзать на себѣ одежды, если нянька не провѣщится: отчего у ней такое печальное лицо? Пусть ничего не скрываетъ; живъ-ли онъ?—Живъ.—Въ чемъ-же дѣло? Не боленъ-ли онъ, почему онъ медлитъ?—Не знаю, что его задерживаетъ, болѣзнь или что другое.—Ты, стало быть, не видѣла его, или онъ не пріѣхалъ.—Видѣть-то я его видѣла, да это не тотъ, кого мы ожидали!—Какъ-же ты узнала о томъ, вѣдь ты не видала прежде Памфило? — Старуха разсказываетъ, какъ было дѣло: тотъ молодой человѣкъ, который оповѣстилъ ее объ его пріѣздѣ, подвелъ ее къ кому-то, она стала разспрашивать его объ его здоровьѣ и отцѣ и почему онъ такъ замедлилъ пріѣздомъ. Тотъ отвѣчалъ, что отца своего не зналъ, ибо родился по его смерти, а здѣсь никогда не былъ и не намѣренъ долго заживаться; зовется онъ—Памфило. Насъ обмануло сходство имени! заключаетъ старуха, и Фьямметта падаетъ на лѣстницѣ замертво, только у ней и силъ осталось, чтобы сказать: Увы! Когда ее привели въ чувство, она еще разъ допрашиваетъ старуху: Памфило осторожнъ, онъ могъ не высказаться нянькѣ, съ которой

никогда не говорилъ; можетъ быть, это и онъ. Но нянька описываетъ ей наружность, лицо, одежду прiѣзжаго, сомнѣнiе не возможно. Фьямметтѣ остается по прежнему горевать, и лишь надежда на будущее путешествiе удерживаетъ ее отъ мысли о смерти.

Мотивомъ надежды, неясной и болѣзненной, страстно живучей, кончается седьмая книга романа; это то-же настроенiе, что у Идалага-Галеоне, оставленнаго Фьямметтой. Седьмой книгой кончается и самый романъ; восьмая портитъ его цѣльность: это риторическое упражненiе на тему, уже намѣченную выше, но теперь освѣщенную на ново, съ свойственнымъ Боккаччьо шаржемъ. Психологическое развитiе отъ этого не выигрываетъ, авторъ увлекся разработкой незначительнаго стилистическаго момента—до ошибки въ композицiи; восьмая книга также перерастаетъ планъ цѣлаго, какъ послѣдняя часть Филоколо.

Фьямметта живетъ надеждой на путешествiе; пока она находитъ утѣшенiе въ томъ, что сравниваетъ свое горе съ тѣмъ, которое встарь испытали другiя. Она не первая, сказала ей нянька; ея страданiя превышаютъ муки Тантала, Иксiона и т. д., говорила она раньше [1]), теперь она гордится этимъ ореоломъ страданiй; до такихъ крайностей аффекта доводила самаго Боккаччьо его нервность и неудержная фантазiя, когда онъ говорилъ о себѣ, какъ объ избранникѣ недоли [2]). И вотъ Фьямметта воображаетъ себѣ [3]) героевъ и героинь несчастья; передъ ней проходятъ несчастные въ любви, затѣмъ вообще сраженные судьбою [4]): Iо и Библида, Пирамъ и Тисбэ, Дидона и Геро, Тристанъ и Изотта [5]), Федра, Iокаста, Корнелiя и Клеопатра, Улиссъ и Изифила и другiе. Всѣ они были счастливы и всѣ кончили пла-

1) Стр. 146—7.

2) Nimico della fortuna.

3) Figura, стр. 182.

4) Стр. 187 слѣд..

5) Если позволено вѣрить французскимъ романамъ, которые Фьямметта читала стр. 186.

чевно; это такой-же смотръ бѣднымъ жертвамъ Фортуны, какъ позднѣе въ латинскихъ трактатахъ Боккаччьо: О роковой участи именитыхъ людей и о знаменитыхъ женщинахъ. Кое-гдѣ въ размышленіяхъ Фьямметты пробивается и педантическое ушко: о Библидѣ разсказывалось раньше [1]), что она повѣсилась [2]), теперь Фьямметта спохватывается: иные говорятъ такъ, другіе, что она обратилась въ источникъ! [3]). Все это освѣщается, согласно съ общей идеей, въ примѣненіи къ Фьямметтѣ и преимуществу ея горя: другіе были счастливѣе въ несчастіи. Тисбэ лишила себя жизни на тѣлѣ любимаго Пирама; о блаженныя души, если и на томъ свѣтѣ любятъ, какъ въ этомъ [4]), блаженны Тристанъ и Изотта, если они умерли съ этой увѣренностью [5]). Іокаста вынесла безконечное горе, но она возбудила гнѣвъ боговъ, я-же его не возбуждала, говоритъ Фьямметта и защищается отъ возможныхъ обвиненій, что она нарушила священные законы, осквернивъ брачное ложе: не могла она противустоять тому, чему покоряются боги; она и не одна, весь свѣтъ ей въ товарищахъ, и законы извиняютъ и щадятъ общій грѣхъ [6]). Къ тому-же ея проступокъ былъ скрытъ отъ всѣхъ; кто-бы ни увлекъ ее, Амуръ или Памфило, почему боги не обратили своей кары на увлекшаго?—Несчастіе Улисса вызываютъ ее на размышленія, напоминающія нѣсколько строкъ изъ Введенія въ Декамеронъ: онъ — мужчина, привычный къ трудамъ и опасностямъ, она — слабая женщина, привыкшая тѣшиться съ игривымъ Амуромъ, невыносливая къ малѣйшимъ страданіямъ; онъ среди опасностей чаялъ себѣ славы и чести, она отъ своихъ ожидала позора и безславія [7]).—Горевала Изифила, покинутая Улиссомъ для Ме-

1) Стр. 154.
2) Сл. Амето, въ разсказѣ Фьямметты, стр. 150.
3) Стр. 183.
4) Стр. 184.
5) Стр. 186.
6) Moltitudine, стр. 189.
7) Стр. 196.

деи, но она утѣшилась, когда Медея была оставлена въ свою очередь. Я не говорю, чтобы и мои бѣдствія прекратились, если бы подобное случилось съ моей соперницей (развѣ я заняла-бы ея мѣсто), но онѣ уменьшились-бы несомнѣнно.

И такъ за мной преимущество страданій, кончаетъ свой обзоръ Фьямметта, заключая откровеннымъ софизмомъ: если она никого не убѣдила, пусть убѣдятся хоть тѣмъ, что, почитая чужое горе меньшимъ своего собственнаго, она оказывается завистливой, а кто завидуетъ, всегда несчастнѣе того, на кого обращена зависть! — Теперь она несчастнѣе, чѣмъ была до надежды, поманившей ее возвратомъ Памфило; возвратная лихорадка поражаетъ сильнѣе, — и Фьямметта рѣшается умолкнуть, щадя своихъ читательницъ: она не желаетъ удручать ихъ болѣе разсказомъ о своихъ бѣдахъ, разсказомъ, который лишь на столько даетъ понятіе объ испытываемомъ ею, на сколько изображеніе огня о настоящемъ. Да пошлетъ Господь, вашими молитвами, влагу, которая утолила бы меня смертью, либо радостнымъ возвращеніемъ Памфило.

Малая моя книжица, извлеченная какъ-бы изъ гробницы своей госпожи, облитая ея слезами, ступай къ любящимъ женщинамъ, онѣ охотно примутъ тебя, если не измѣнились еще законы любви! — Такъ напутствуетъ Фьямметта свои признанія [1]), парафразируя начало Овидіевыхъ Тристій: Не стыдись показаться въ столь печальной одеждѣ, лишенной всякихъ прикрасъ: ты въ меня; другія пусть являются въ разноцвѣтной оберткѣ, гладко обрѣзанныя, съ прелестными миніатюрами на лощеной бумагѣ и пышнымъ титуломъ. Это книги для счастливыхъ; тебѣ присталъ твой скорбный видъ, ты возбудишь жалость, будешь примѣромъ для другихъ [2]). Куда мнѣ послать тебя — не знаю;

1) Гл. IX.

2) Parve, nec invideo, sine me, liber, ibis in Urbem.... Vade, sed incultus, qualem decet exules esse: Infelix habitum temporis huius habe. Nec te purpureo velent vaccinia fuco: Non est conveniens luctibus ille color; Nec titulus minio, nec cedro charta notetur, Candida nec nigia corona fronte geras, Felices ornent

иди, куда поведетъ судьба, предоставь себя ея волѣ, какъ судно безъ вѣтрилъ подъ безвѣзднымъ небомъ. Если ты попадешь въ руки какой-нибудь счастливой своей любовью, и она поглумится надъ тобою, вынеси смиренно ея шутки и напомни объ измѣнчивости судьбы; кто поплачетъ надъ тобой, прими ея слезы на свои страницы, рядомъ съ моими, и попроси помолиться за меня Амуру, а я и теперь молюсь за нее, чтобы она никогда не познала горя, подобнаго моему. Не попадайся никогда на глаза моей соперницѣ, дабы она не порадовалась моему несчастію; если попадешься, то предстань ей такъ, чтобы возбудить въ ней не смѣхъ, а слезы. Бѣги общества мужчинъ, неблагодарнаго отродья, ругающагося надъ простодушными женщинами. Если увидишь того, кто былъ причиной всѣхъ моихъ золъ, закричи ему издали: Бѣги отсюда, не оскверняй меня твоими руками, если ты не созналъ своей вины и не желаешь вернуться къ той, которая готова простить тебѣ. Можетъ быть, иная дама подивится на твои грубо сложенныя рѣчи; ей скажи, что украшенная рѣчь требуетъ яснаго расположенія духа и спокойствія; пусть лучше подивится, что ты вообще могла быть написана, когда мою душу терзали въ разныя стороны любовь и ревность. Зависти не бойся, пусть тебя поносятъ, ниже тебѣ некуда пасть; если случилось-бы что худшее, я перенесу и это: я состарѣлась въ бѣдствіяхъ. И такъ живи, ибо никто не въ силахъ лишить тебя этого, и будь для счастливыхъ и несчастныхъ вѣчнымъ свидѣтельствомъ моихъ страданій.

III.

Таково содержаніе «элегіи мадонны Фьямметты»; въ литературной автобіографіи Боккаччьо она заканчиваетъ повѣсть его

haec instrumenta libellos. Fortunae memorem te decet esse meae. Nec fragili gemmae poliantur pumice frontes, Hirsutus sparsis ut videare comis. Nec liturarum pudeat qui viderit illas, De lacrimis factas sentiet esse meis. Trist. I, 1 слѣд.

любви, въ европейской поэзіи она была откровеніемъ, къ которому привязывается развитіе психологическаго романа. До тѣхъ поръ литература эпоса разрабатывала канву внѣшнихъ происшествій съ типическими характеристиками героевъ; мотивы личной жизни находили себѣ выраженіе въ лирикѣ, но отлагались здѣсь въ формахъ, ограниченныхъ условіями рыцарскихъ отношеній; человѣкъ не исчерпывался до дна, чувство анализовалось подъ извѣстными, немногими углами зрѣнія, подъ призмой условнаго платонизма; оттуда бѣдность психологическихъ положеній, поражающихъ насъ своею односторонностью, потому, быть можетъ, что онѣ намъ ничего не подсказываютъ, какъ подсказывали современникамъ; онѣ для насъ не суггестивны. Психологія рыцарскаго романа отличается такой-же ограниченностью личныхъ мотивовъ, подлежащихъ идеализаціи; оттого она и могла удовлетвориться незначительнымъ количествомъ сюжетовъ, но именно эти сюжеты вели къ болѣе человѣчному изображенію любви, оправданной всевластнымъ чувствомъ и роковой силой красоты. Овидій научилъ любить изящную плоть и въ ней указалъ цѣли наслажденія; не ту разнузданную плоть, которая вызывала безпринципный смѣхъ фабліо̀. Чтобы объединитъ всѣ эти элементы наблюденія и условности, надлежало явиться не только сильному таланту, но и мощному сознанію индивидуальности, для которой цѣнна всякая душевная мелочь, всякая складка сердца; въ моменты художественнаго переживанія все это станетъ для нея объектомъ идеализаціи, — и Данте напишетъ свой біографическій романъ: Vita Nuova. Онъ идетъ въ сравненіе съ любовными романами Боккаччьо, особенно съ Фьямметтой: типы двухъ почти смежныхъ эпохъ и показатели совершившейся индивидуальной и еще болѣе литературной эволюціи. Данте и Беатриче въ Vita Nuova просвѣтлены уже въ пору весенней встрѣчи на берегахъ Муньоне, просятся въ обстановку стараго католическаго храма, среди мелодій и вечернихъ лучей, льющихся изъ разноцвѣтныхъ оконъ; Фьямметту и Памфило не оторвать отъ пейзажа Байскаго берега и пряной атмосферы неаполитан-

скаго салона. Тамъ юношеская любовь, взлелѣянная цѣломудреннымъ воспоминаніемъ до значенія міроваго факта, здѣсь повѣсть знойной страсти, захватывающей духъ, но въ сущности очень обыденной, съ ея реальными восторгами и паденіями—и просьбой простаго людскаго счастья. Vita Nuova — отрывокъ жизни, еще разъ страстно пережитой поэтомъ, голова котораго полна была таинственныхъ соотвѣтствій и созвучій чиселъ и звуковъ, небеснаго и земнаго; Фьямметта — литературное переживаніе психологическаго момента, который пересталъ тревожить чувство, но продолжаетъ занимать воображеніе.

Въ этомъ литературномъ отношеніи къ фактамъ собственной душевной жизни во всей откровенности ихъ развитія и состоитъ новшество Боккаччьо. Петрарка никогда не выходилъ изъ художественнаго самоанализа: въ теченіи двадцати одного года онъ виртуозно-монотонно развивалъ нѣсколько мотивовъ въ сонетахъ къ живой Лаурѣ, и также виртуозно-монотонно въ теченіи десяти лѣтъ вѣнчалъ ее по смерти. Нѣтъ движенія, нѣтъ развитія обыкновенной земной страсти во всѣхъ ея оттѣнкахъ, отъ первыхъ знойныхъ порывовъ и тихой истомы до объективно-художественной идеализаціи. Все это мы находимъ у Боккаччьо; онъ не только самъ глубоко заинтересованъ пережитымъ, но хочетъ заинтересовать имъ и другихъ. Это былъ шагъ впередъ на пути личнаго самосознанія, и читатели, очевидно, шли на встрѣчу поэту, если онъ рѣшился откровенно разсказать имъ исторію своихъ любовныхъ тревогъ, послѣдовательно изображая ихъ въ цѣломъ или въ біографическихъ эпизодахъ. Именно эта послѣдовательность устраняетъ мысль, что тотъ или другой мотивъ, случайно вырванный изъ связи жизни, могъ давать ему поводъ къ творчеству и что цѣпь литературныхъ фактовъ не воспроизводитъ въ общемъ связи дѣйствительности. Разумѣется, эта дѣйствительность не фотографическая, а та, какою представлялъ ее себѣ Боккаччьо, когда на нее налегла волшебная пелена времени, очертанія прошлаго еще не измѣнились, но кое-что предстало въ усиленномъ освѣщеніи аффекта, другое забыто въ тѣни, иное, забытое,

внезапно возникало какъ эстетическій мотивъ—и досказывались недосказанныя слова любви [1]). Такъ Петрарка продолжалъ писать въ похвалу живой Лаурѣ и послѣ ея смерти и въ сознательномъ распорядкѣ свои Canzoniere слѣдовалъ болѣе эстетическо-психологической, чѣмъ хронологической правдѣ. Но между той и другой, между Wahrheit und Dichtung, въ сущности нѣтъ границъ: лишь на минуту мы бываемъ въ сферѣ фотографическихъ впечатлѣній дѣйствительности, чтобы тотчасъ-же вступить въ область украшающаго или разцвѣчивающаго воспоминанія. Это основа фантазіи, а Боккаччьо былъ поэтъ, и мы никогда не различимъ въ образѣ Фьямметты, чѣмъ она была ему на самомъ дѣлѣ и чѣмъ онъ самъ надѣлилъ ее въ поэзіи, что въ этой поэзіи пережитаго и что безсознательно вылилось въ формы ходячей эстетической идеализаціи.

Что особенно выдѣляетъ Фьяммету изъ другихъ автобіографическихъ памятей Боккаччьо — это перенесеніе ихъ внѣ себя, на другое лицо, дизинтеграція своего собственнаго я. Все, что поэтъ перечувствовалъ въ своей любви, тревогу ожиданій, ненужные страхи, опасенія и надежды, привязывающіяся къ какой нибудь суевѣрной примѣтѣ, слухи, кажущіеся дѣйствительностью, дѣйствительность, разрушаемая софизмами сердца, муки ревности и отчаянія — все это онъ воплотилъ въ Фьямметтѣ; біографія и «признанія» уступили мѣсто психологическому этюду.

На этотъ разъ его вдохновилъ не Данте, а классики: образъ Дидоны, покинутой Енеемъ, героини Овидія, оплакивающія своихъ милыхъ. Овидій, болѣе, чѣмъ кто другой, опредѣлилъ міросозерцаніе того цикла любовныхъ, автобіографическихъ признаній, которыя завершаются «Фьямметтой»; Петрарка зачитывается имъ въ юности [2]), вторя его мотивамъ въ строфахъ Canzoniere для молодого Боккаччьо онъ по преимуществу поэтъ, художникъ любви [3]), любовная философія Овидія пришлась по его страстной,

1) Stecchetti: Le parole d'amor che nonn ti dissi.

2) Secretum, III, 361.

3) Amorosa Visione, V, 9.

нѣсколько чувственной натурѣ, его чувство такое же знойное, колоритное, лишь порой смягченное лунными бликами дантовскаго идеализма. И вотъ его Флоріо и Бьянчифьоре научаются любить, читая Ars Amatoria [1]), Филоколо полонъ овидіевскихъ воспоминаній [2]), не только въ эпизодахъ метаморфозъ, аллегорическихъ сновидѣній и чаръ; Ninfale Fiesolano — не подражаніе Овидію, но въ немъ чувствуется таже игривость и та-же изящная меланхолія; Амето — сантиментальный Полифемъ. Героидами, которыя Боккаччьо цитуетъ не разъ [3]), онъ продолжалъ интересоваться еще на старости лѣтъ: онъ живетъ въ Чертальдо, больной и угрюмый, отказавшись отъ Ars Amatoria, грѣшнаго Овидія [4]) и грѣховъ Декамерона, а Carlo di Figiovanni ходитъ къ нему съ своимъ переводомъ Героидъ, и старикъ помогаетъ ему въ работѣ надъ текстомъ, нашедшемъ въ томъ-же вѣкѣ и другихъ переводчиковъ въ лицѣ Domenico da Montichiello и Filippo Ceffi. Овидій уже представлялся ему въ то время поэтомъ соблазна, какъ и Петраркѣ [5]), но онъ останется для того и другого учителемъ вкуса; любовь забыта, осталась поэзія образовъ и изящныхъ сентенцій.

Въ пору Фьямметты Овидій еще вдохновлялъ Боккаччьо всецѣло; можетъ быть, Героиды навѣяли и ея планъ; Боккаччьо пользуется ихъ матерьяломъ, афоризмами, выраженіями, усваиваетъ, какъ въ Амето, цѣлыя группы стиховъ. Они не даромъ являются на его зовъ: они принадлежатъ ему по праву, потому что все это онъ самъ пережилъ, и заставляя переживать другое лицо, беретъ готовые образы; не будь они готовы, онъ набрелъ бы на нихъ самъ. Это не свидѣтельство заимствованій, не подъискиваніе центона, а результатъ начитанности, встрѣчности настроенія и темперамента. Приходилось отбиваться отъ воспоминаній: Пе-

1) Filocolo, I, 76.

2) Ib. I, 291; II, 24, 49, 159.

3) Geneal. Deorum., l. XI, c. 24; Com. lez. XIX, v. I, ed. Milanesi, стр. 472.

4) Com. I, стр. 408.

5) Sen. II, 1: lascivissimus poetarum; сл. De Vit. Sol. II, стр. 279.

трарка, реторизмъ котораго воспитанъ на классикахъ, итальянская лирика полна мотивовъ Овидія, Горація, Проперція и Виргилія, сознается Боккаччьо, что въ его шестую эклогу закралось окончаніе одного виргиліевскаго стиха 1), а въ V-й указываетъ на невольныя заимствованія изъ Виргилія и Овидія 2). У него страхъ передъ такимъ плагіатомъ, подражаніе должно стремиться не къ сходству портрета съ оригиналомъ, а къ родственному, подсказывающему въ сынѣ черты отца. Боккаччьо относится свободнѣе къ такимъ повтореніямъ, не поднимая во мнѣ вопроса центона. Поэзія вагантовъ и средневѣковыхъ школьныхъ піитовъ также полна образовъ и выраженій, вычитанныхъ въ классикахъ, а между тѣмъ отъ нея отдаетъ средними вѣками, это—булыжная кладка, въ которую вставили античные мраморы. У Боккаччьо этихъ противорѣчій меньше, чувствуются какъ-бы контуры цѣльнаго, своеобразнаго зданія, потому что онъ глубже проникся Овидіемъ, онъ ему сроднѣе; оттого и въ подражаніи онъ оригиналенъ, свободно развиваетъ данныя положнія, анализуетъ ихъ раздѣльно, переходитъ къ творчеству. Филлида плачется на Демофонта, медлящаго возвратомъ 3); клянетъ Тезея, который не отпускаетъ его, какъ Памфило задержали слезы и мольбы отца. Затѣмъ у нея является страхъ: не погибъ ли корабль ея милаго 4), «преданная любовь вообразила все, что можетъ быть помѣхой спѣшащимъ; я была изобрѣтательна въ измышленіи причинъ» 5), говоритъ Филлида, а Фьямметта развиваетъ эти опасенія: гибель корабля, голодная смерть на утесистомъ островѣ, дикіе звѣри, бурныя рѣки, разбойники и болѣзнь. Точно также разработано внезапное подозрѣніе Филлиды, что она покинута для другой 6). Анализъ идетъ въ част-

1) Aen. VI, 607; сл. Fam. XXIII, 19: atque intonat ore.
2) Fam. XXII, 2.
3) Her. II.
4) Ib. vv. 15—16.
5) Vv. 21—22.
6) Vv. 103—104.

ности, раскрывая мелкіе психическіе моменты, но нерѣдко забывая ихъ для — стилистическихъ. Боккаччьо стилистъ: гуманисты открыли чарующую красоту слова и въ ней самой нашли ея цѣль; искусство слова цѣнится само по себѣ, независимо отъ содержанія: это напоминаетъ отзывъ Овидія о Каллимахѣ: Quamvis ingenio non valet, arte valet. Значеніе, какое получила реторика въ средневѣковой итальянской школѣ, продолжаетъ то-же преданіе, въ которое откровенно вступаютъ гуманисты. Коррективомъ къ такому увлеченію фразой, звучнымъ общимъ мѣстомъ, могъ явиться изощренный вкусъ писателя, но врачеваніе исходило изъ того-же источника, что и недугъ — а недугъ остался, какъ печать эпохи; Боккаччьо кромѣ того слишкомъ долго былъ въ овидіевской школѣ. Оттого и въ его Фьямметтѣ и въ другихъ прозаическихъ сочиненіяхъ внутреннее развитіе часто принесено въ жертву внѣшнему, но стоитъ лишь вчитаться въ Фьямметту, чтобы все ненужное затушевалось, и изобиліе лирическихъ изліяній, и восьмая книга съ ея героями несчастья, и отложилось въ памяти одно лишь здоровое и цѣльное, признаніе Фьямметты съ ея быстро миновавшимъ счастьемъ и долгимъ сѣтованіемъ, развивающимся въ художественной постепенности роста и паденія. На этотъ художественный пріемъ, не подсказанный Героидами, мы обратили вниманіе выше; соотвѣтствующіе психическіе моменты были подмѣчены въ жизни или въ самомъ дѣлѣ пережиты, но заслуга Боккаччьо въ томъ, что онъ первый сдѣлалъ ихъ предметомъ поэтической идеализаціи.

И современники Боккаччьо вчитывались въ Фьямметту, но выносили изъ нея не столько уроки психологіи, сколько обаяніе реторичности и закупающей слухъ фразы. Таково ея отраженіе у новеллистовъ, слѣдующихъ за Боккаччьо, у Леонъ Баттиста Альберти въ его Деифирѣ и даже въ лучшей изъ повѣстей психологическаго типа, въ повѣсти Енея Сильвія Пикколомини о Лукреціи и Евріалѣ. Живая струя надолго теряется въ пескахъ, чтобы пробиться въ другомъ мѣстѣ: въ Принцессѣ Клевской M-me De La Fayette.

VI.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ И ЭТИЧЕСКІЯ ЗАДАЧИ ДЕКАМЕРОНА.

I.

Когда художникъ «Фьямметты» возмется за разсказы, которыми потѣшалъ встарь неаполитанскіе кружки, онъ отнесется къ нимъ съ пріемами изощреннаго психологическаго анализа, съ знакомымъ намъ вкусомъ къ витіеватости и тѣмъ тонкимъ чутьемъ къ разнообразію жизненныхъ типовъ, которое до сихъ поръ заслонялось отъ насъ исключительностью его литературныхъ сюжетовъ. Въ ихъ центрѣ стояла Фьямметта, разработывались лишь двѣ темы, упоенія и отчаянія, но уже въ характерѣ Гризеиды, съ ея сдержанной страстностью и наивнымъ лукавствомъ отказовъ и обѣщаній, многое подмѣчено объективно, внѣ сферы личныхъ воспоминаній, а своеобразный типъ Пандара можетъ потягаться съ лучшими въ Декамеронѣ. И тотъ и другой располагаютъ васъ къ смѣху, котораго не слышно было въ слѣдующихъ произведеніяхъ Боккаччьо, написанныхъ въ маніи удрученности и дантовскихъ увлеченій; когда онъ освободится отъ нихъ, смѣхъ раздается снова, здоровый смѣхъ, забирающій всего человѣка, не завзятый ни предубѣжденіемъ, ни злобой; сатира типовъ и общественныхъ порядковъ получалась, какъ выводъ, не навязанный авторомъ; это не точка отправленія Декамерона, какъ не было ея и въ цѣляхъ старофранцузскихъ фабліо: ихъ назначеніе—развлечь и потѣшить:

Nes a ceux qui sont plein d'ire
Si lor fait il grand alegance

Et oublier duel et pesance
Et mauvaistié et pensement [1]).

Боккаччьо также желаетъ доставить своимъ слушательницамъ утѣшеніе и удовольствіе, но вмѣстѣ и совѣтъ, чего слѣдуетъ избѣгать и къ чему стремиться [2]). Странно сказать, но именно эта учительная сторона дѣла и явилась роковой для его репутаціи.

Всѣ эти качества психолога-наблюдателя, веселаго разсказщика и сознательнаго стилиста сказались въ ста новеллахъ Декамерона далеко не равномѣрно: это точно салонъ художника, гдѣ прелестные жанры чередуются съ набросками и этюды съ натуры стоятъ рядомъ съ торжественными академическими полотнами, оконченными до зализанности. Рамка разсказовъ уже знакома намъ изъ Филоколо и Амето: общество мужчинъ и дамъ, сошедшееся для веселыхъ, но и серьозныхъ бесѣдъ въ роскошныхъ неаполитанскихъ садахъ, либо въ тосканской кампаньѣ; только въ Декамеронѣ оно помѣщено вблизи зараженнаго чумой города, гдѣ люди умираютъ сотнями, гдѣ страхъ и отчаяніе и судорожная любовь къ жизни разнуздали среди здоровыхъ всѣ силы эгоизма: больные и умирающіе заброшены, живые бѣгутъ отъ заразы, неминуемость смерти порождаетъ панику; сколько здоровыхъ людей еще «утромъ обѣдали съ родными, товарищами и друзьями, а на слѣдующій вечеръ ужинали со своими предками на томъ свѣтѣ!» [3]). Мессеръ Чино и его жена заболѣли въ своемъ подгородномъ помѣстьѣ, разсказываетъ Донато Веллути; рѣшили отправиться въ городъ, ее несли на носилкахъ, онъ поѣхалъ верхомъ; здѣсь братья жены побудили его написать духовную. Я былъ у нихъ, когда они уѣхали, пошелъ въ Borgo San Sepolcro посѣтить могилу Бернардо Марсили, скончавшагося въ должности пріора въ зданіи думы. Возвращаюсь, когда у входа въ переулокъ со

1) Montaiglon et Raynaud, Recueil général et complet des fabliaux des XIII et XIV siècles VI, 68.

2) Декамеронъ, Введеніе, перев. I, стр. 2, 3.

3) Декамеронъ, Вступленіе, пер. I, стр. 12.

мной повстрѣчалось двое. Мадонна Лиза умерла, говоритъ одинъ; Чино скончался въ Olmo da San Gaggio, возвращаясь верхомъ, говоритъ другой. Я велѣлъ ихъ похоронить [1]).

Съ паникой явились суевѣрные «страхи и фантазіи» [2]); Боккачьо не было во Флоренціи въ 1348 году, но ему разсказывали, что многіе изъ пораженныхъ язвой, кончаясь, называли по имени одного или нѣсколькихъ пріятелей: Приди такой-то и такой-то!—и тѣ умирали въ томъ самомъ порядкѣ, въ какомъ были названы [3]).— Здоровые, которымъ не удалось бѣжать, предаются разгулу, хотятъ забыться, вырвать у жизни все, что она еще можетъ дать; иные запираются отъ всѣхъ и живутъ кружками, употребляя съ большой умѣренностью изысканнѣйшую пищу и лучшія вина, избѣгая всякаго излишества, проводя время среди музыки и удовольствій; были и такіе, которые считали за лучшее вести умѣренную жизнь и не запираться, а гулять, держа въ рукахъ, кто цвѣты, кто пахучія травы, кто какое другое душистое вещество, которое часто обоняли, полагая полезнымъ освѣжать мозгъ такими ароматами [4]). Эти профилактическія мѣры указываютъ на безсиліе медицины; недаромъ встрѣчались врачи, которые, разувѣрившись въ своемъ искусствѣ, возвращали по смерти больного полученныя ими деньги [5]). Два анонимныхъ итальянскихъ сонета ограничиваются практическими указаніями: избѣгать излишествъ, не ѣсть, когда нѣтъ охоты, хорошо прожевывать пищу и лишь хорошо свареную, пить часто, но понемногу, не спать въ полдень, сторониться толпы, беречься меланхоліи, душевнаго разстройства и усталости [6]). Совѣты противъ чумы, рекомендованныя, по пред-

1) I. Del Lungo, La donna fiorentina nei primi secoli del comune, изъ Rassegna Nazionale v. XXV, fasc. 16, Maggio, 1887, стр. 36—7.

2) Декамеронъ, Вступленіе, пер. I, стр. 6.

3) Com. sopra la Comm. II, 19.

4) Декамеронъ, Вступленіе, перев. стр. 7—8.

5) Matteo Villani, l. I, c. 2.

6) La pestilenza del 1348. Rime antiche. Firenze 1884 (ed. Morpurgo). Сл. гигіеническіе совѣты противъ чумы Giovanni Morelli у Perrens, Hist. de Florence, IV, стр. 520—1.

ложенію Филиппа Валуа, парижскимъ медицинскимъ факультетомъ, отличаются тѣмъ-же предохранительнымъ характеромъ: чистый воздухъ, удаленіе отъ болотъ, низкихъ мѣстъ и кладбищъ, окуриваніе, опрыскиваніе жилья водой и уксусомъ; изысканная, сочная пища: молодые кролики, каплуны, куропатки, фазаны, кушанья, приправленныя ароматическими пряностями, нѣжная, удобоваримая рыба и плоды съ пріятной кислотой. Надо остерегаться крѣпкихъ винъ, полезны частыя кровопусканія, банки, слабительныя; необходимо избѣгать сильныхъ ощущеній радости, печали, надежды, любви; если при всемъ этомъ принимать драгоцѣнную микстуру, составленную изъ самыхъ тонкихъ и рѣдкихъ снадобій, то можно ручаться за здоровье богатыхъ людей; что до бѣдныхъ, то имъ рекомендуется молиться Богу, да спасетъ онъ ихъ отъ смерти и напасти, какъ и у Боккаччьо деревенскіе жители оказываются обездоленнѣе горожанъ.

Среди общаго смятенія раздавались голоса, взывавшіе къ покаянію, какъ Петрарка [1]), къ спокойствію и самообладанію, какъ Пуччи въ своемъ Sermintese [2]). Отъ смерти не уйти, устройте душу, говорилъ онъ, возвратите неправедно отнятое, примиритесь другъ съ другомъ — вотъ лучшее средство, чтобы престалъ Божій гнѣвъ; искуственныя снадобья безполезны. Что же дѣлаютъ флорентійцы? Въ былое время больного посѣщали любовно, и многимъ было оттого лучше, теперь братъ оставляетъ брата, отецъ сына изъ боязни заразы, и многіе умираютъ отъ недостатка совѣта и помощи; вѣдь не слѣдовало бы покидать даже сарацинъ, евреевъ, отверженныхъ. Вы, медики, священники, монахи, навѣщайте сострадательно тѣхъ, кто о томъ васъ проситъ; взирайте на свою душу, не на барышъ; вы-же, родные, сосѣди, товарищи, не бойтесь ободрить сѣтующаго, можетъ быть, и спасете его или утѣшите при смерти; а онъ, чай, отчая-

1) Petr. Epist. poet. I, 14 и Canz. Io vo pensando.

2) La pestilenza del 1348, l. c.

вается, не получая утѣшенія. А выходитъ такъ, что сосѣдъ говоритъ: онъ не навѣстилъ меня, когда мнѣ было тяжело, не пойду и я; такъ и покидаютъ друга. Глупо бояться заразы, ибо по Божію изволенію она явится, еслибы больной и не дохнулъ на тебя.—И серминтеза кончается увѣщаніемъ: позаботиться во время о духовной, вѣдь смерть посѣтила и Цезаря и другихъ великихъ людей; не забыть о бѣдныхъ, напутствовать къ могилѣ усопшихъ и покаяться.

Разскащики и разскащицы Декамерона слѣдуютъ примѣру многихъ, выселяясь изъ пораженнаго чумою города, и Боккаччьо начинаетъ свою книгу классическимъ по своей картинности и размѣренной торжественности описаніемъ Черной смерти. Было выражено мнѣніе, что онъ вдохновился въ этомъ случаѣ аналогическимъ описаніемъ другого мора у Лукреція [1]), который, подобно Даніэлю Дефоэ, не видѣлъ его лично, а пересказалъ видѣнное Ѳукидидомъ. Ни Боккаччьо, ни Петрарка не знали Лукреція, но имъ извѣстно было его описаніе чумы изъ выписокъ у Макробія [2]). Можетъ быть, и слѣдуетъ допустить для Боккаччьо вліяніе извѣстнаго литературнаго образца, но вліяніе свободное, не стѣснявшее его наблюдательности, точность которой въ описаніи признаковъ болѣзни и ея вліянія на нравственную растерянность общества подтверждается современными ему памятниками, лѣтописями двухъ Виллани, Буччьо да Раналло, «сѣтованіемъ» Антоніо Пуччи и др. О томъ, что страхъ болѣзни, сообщавшейся отъ одного прикосновенія, заставлялъ забывать самыя естественныя чувства и семейныя узы, что родители бѣгали отъ зараженныхъ дѣтей и наоборотъ, о томъ разсказываетъ Маттео Виллани [3]); онъ-же говоритъ и о безнравственности, какъ слѣдствіи прекратившагося мора, тогда какъ память о Божьей карѣ должна была бы развить въ людяхъ добродѣтель и милосердіе. Вышло наоборотъ: людей осталось мало въ живыхъ, они разбогатѣли наслѣдствами

1) De Natura Deorum, l. VI.
2) De Nolhac, Pétrarque et l'humanisme, стр. 134.
3) l. I, cc. 2—5.

и, забывъ все прошлое, точно его и не было, предались самой развратной и безпорядочной жизни, тунеядству и чревоугодію, пирамъ, тавернѣ и игрѣ. Сладострастіе не знало узды, явились невиданные, странные костюмы, нечестные обычаи, даже утварь преобразили на новый ладъ. Простой народъ, вслѣдствіе общаго изобилія, не хотѣлъ отдаваться обычнымъ занятіямъ, притязалъ лишь на изысканную пищу; браки устраивались по желанію, служанки и женщины изъ черни рядились въ роскошныя и дорогія платья именитыхъ дамъ, унесенныхъ смертью. Такъ почти весь нашъ городъ (Флоренція) неудержно увлекся къ безнравственной жизни; въ другихъ городахъ и областяхъ міра было и того хуже.

Разсказъ Буччьо да Раналло о чумѣ въ Аквилѣ дополняетъ новыми чертами флорентійскіе. Когда смертность объявилась, всѣ пустились писать духовныя, у нотаріусовъ и судей отъ народа не было отбоя, и они безстыдно поднимали цѣну; наемные свидѣтели спрашивали, не входя, готово-ли завѣщаніе; когда имъ говорили, что еще нѣтъ, они поспѣшно удалялись, если да, то подписывали его, боясь заглянуть въ двери. Случалось, что завѣщанія, составленныя дня три тому назадъ, оказывались уже недѣйствительными, общее ожиданіе смерти не побуждало родственниковъ вліять на волю завѣщателя, отчего впослѣдствіи пошли жалобы и дрязги. Все, что имѣло какое-либо отношеніе къ недугу, быстро возросло въ цѣнѣ: лѣкарства, куры — пища больныхъ; сидѣлки требовали три золотыхъ за сутки; воскъ на столько вздорожалъ, что пришлось запретить провожать покойниковъ изъ бѣдныхъ съ восковыми свѣчами, какъ вообще сокращена была похоронная обрядность: по умершимъ перестали звонить, чтобы не нагонять страха, способствовавшаго заболѣванію; въ былое время на похороны приглашали жителей мѣстности, покойника несли въ церковь, совершали торжественное служеніе; теперь обо всемъ этомъ забыли. — Боккаччьо отмѣтилъ эту подробность.—Когда миновала чума, унесшая, какъ говорятъ, двѣ трети населенія, началась пора расточительности. Богатства, нако-

пленныя случайно, не цѣнились, продавали за треть стоимости; много пришлось тогда на долю церквей и монастырей. Чувственность, долго сдержанная страхомъ, не знала теперь удержа: женились повально, старые и молодые, монахи и инокини, въ любое время, не дожидаясь положеннаго для благословенія брачующихся воскресенья; девяностолѣтній старикъ бралъ за себя дѣвочку. Жилось на пропалую, о цѣнѣ не спрашивали, рынокъ былъ переполненъ всякой живностью, поднялся спросъ на предметы роскоши, какъ прежде на лѣкарства. Народу поубавилось, за то возрасло любостяжаніе: стали жениться на деньгахъ, насильно увозя богатыхъ невѣстъ [1]).

Таковы впечатлѣнія мѣстныхъ лѣтописцевъ; Боккаччьо стоило только раскрыть глаза, чтобы увидѣть то-же самое, и бо̀льшее, потому что его психологическій тактъ былъ шире. Виллани и Буччьо противополагаютъ страхъ смерти и обуявшее всѣхъ отчаяніе жизнерадостной чувственности, разыгравшейся по прекращеніи чумы; у Боккаччьо они являются выраженіемъ одного и того же психологическаго момента, что̀ совершено въ природѣ вещей. Напомнимъ лишь разсказъ отца Пафнутія о Черной смерти на Руси: одни предавались покаянію, уходили въ монастыри, другіе забывались въ неистовомъ пьянствѣ, ибо меду покинуто было много, ризы и всякое богатство лежало безъ призрѣнія. Случалось, что одинъ изъ пьющихъ умиралъ, его запихивали подъ лавку, и продолжали пить.—Близость смерти поднимаетъ въ здоровомъ организмѣ силу жизненности, героизмъ воли или животный инстиктъ, смотря по настроенію. Чѣмъ мрачнѣе выступаютъ образы разрушенія, тѣмъ ярче освѣщаются крайности: веселая, иногда гривуазная новелла ближе къ жизни, чѣмъ степенная, учительная повѣсть. Такъ извиняетъ Боккаччьо содержаніе своихъ разсказовъ: они вызваны временемъ, впослѣдствіи и слушатели и разскащики устыдились бы ихъ, «ибо границы дозволен-

1) Boetio di Rainaldo di Poppleto Aquilano, Delle cose dell' Aquila, у Muratori, Antiquitates Italicae, t VI, строфа 769 и слѣд., стр. 640 и слѣд.

ныхъ удовольствій нынѣ болѣе стѣснены, чѣмъ въ ту пору, когда въ силу указанныхъ причинъ онѣ были свободнѣйшими» [1]). Діонео хочетъ забыться: онъ оставилъ свои мысли за воротами города и приглашаетъ своихъ путниковъ веселиться, хохотать и пѣть вмѣстѣ съ нимъ, либо дать ему вернуться къ его мыслямъ, въ постигнутый бѣдствіями городъ [2]). Когда въ концѣ VI-го дня [3]) въ обществѣ послышались голоса противъ предложеннаго имъ, нѣсколько свободнаго сюжета бесѣдъ, онъ горячится: «время у насъ такое, говоритъ онъ, что если только мужчины и женщины будутъ сторониться отъ безчестныхъ дѣяній, всякія бесѣды имъ дозволены. Развѣ вы не знаете, что по злополучію этого времени судьи покинули свои суды, законы, какъ божескіе, такъ и человѣческіе, безмолвствуютъ, и каждому предоставленъ широкій произволъ въ цѣляхъ сохраненія жизни? Поэтому, если въ бесѣдахъ ваша честность очутится въ нѣсколько болѣе свободныхъ границахъ, то не затѣмъ, чтобы воспослѣдовало отъ того что-либо непристойное въ поступкахъ, а дабы доставить удовольствіе вамъ и другимъ». И онъ самъ потѣшаетъ всѣхъ, хохочетъ и юродствуетъ, пусть полюбятъ его, каковъ онъ есть [4]), заводитъ пѣсни, которыя нельзя допѣть, и вершаетъ комическій, въ своей откровенности, споръ между Личиской и Пандаромъ, ибо онъ — ему по нраву [5]). Его просьба — предоставить ему быть послѣднимъ въ числѣ разскащиковъ каждаго дня, тотчасъ-же уважена, потому что онъ добивается того «единственно съ цѣлью развеселить общество, еслибъ оно устало отъ разсужденій, какой нибудь смѣхотворной новеллой» [6]). Его звонкій смѣхъ, вѣнчающій день, это — страстный Memento vitae, перчатка, брошенная Memento

1) Декамеронъ, Вступленіе, стр. 12—13 перев.

2) l. c. I, стр. 18 Сл. ib. стр. 44 (вступленіе въ Дек. I, 4) и 408 (вступленіе въ Дек. V, 10).

3) II, стр. 37 перев.

4) Дек. IX, 10 въ началѣ.

5) Дек. VI день, вступленіе.

6) Дек. I день въ концѣ = I, стр. 69 перевода.

mori. Только въ десятомъ днѣ Діонео измѣняетъ себѣ: впрочемъ и весь день посвященъ серьезнымъ подвигамъ великодушія и самоотверженности, нѣтъ ни одной новеллы нескромнаго содержанія, и самъ Діонео выводитъ нередъ нами образъ страдалицы Гризельды. Это не въ его вкусахъ, они принесены въ жертву художественному плану Декамерона: какъ онъ начался среди ужасовъ чумы, такъ пестрая волна его разсказовъ, съ ихъ горемъ и радостями и жизненною борьбой и непорѣшеными вопросами доли вбѣгаетъ въ мирную пристань, и комедія жизни разрѣшается торжественно-смиряющейся мелодіей долга. Но Діонео и тутъ вѣренъ себѣ, испытанія Гризельды вызываютъ у него нелестное пожеланіе ея мужу: онъ стоитъ того, чтобы напасть на такую женщину, которая, будучи выгнана имъ изъ дома въ одной сорочкѣ, проучила бы его, заработавъ себѣ на хорошее платье!

При оцѣнкѣ Декамерона нельзя не подчеркнуть особо художественной стороны его плана. Боккаччьо схватилъ живую, психологически-вѣрную черту явленій чумы, страсть жизни у порога смерти. Его Декамеронъ—это «пиръ во время чумы», точно иллюстрація къ извѣстной фрескѣ пизанскаго Camposanto: путники верхомъ, отворачиваются отъ труповъ, разлагающихся въ гробахъ, тогда какъ на заднемъ планѣ пеизажа, подъ сѣнью деревьевъ, общество молодыхъ людей и дамъ пируетъ беззаботно, осѣненное незримымъ крыломъ ангела смерти. Намъ слышится веселый говоръ Діонео; «тамъ слышно пѣніе птичекъ, виднѣются зеленѣющіе холмы и долины, поля, на которыхъ жатва волнуется, что̀ море, тысячи породъ деревьевъ и небо болѣе открытое, которое хотя и гнѣвается на насъ, тѣмъ не менѣе не скрываетъ отъ насъ своей вѣчной красы; все это гораздо болѣе прекрасно на видъ, чѣмъ пустыя стѣны нашего города» [1]).—Этотъ психическій моментъ, подсказанной жизнью массы, Боккаччьо развилъ сознательно, какъ художественную противоположность: онъ знаетъ, что его читательницы найдутъ тягостнымъ и грустнымъ его вступленіе къ Дека-

1) Дек. Вступленіе = перев. I, стр. 15.

мерону, «ибо такимъ именно является, начертанное въ челѣ его печальное воспоминаніе о прошлой чумной смертности, скорбной для всѣхъ, кто ее видѣлъ или иначе позналъ. Я не хочу этимъ отвратить васъ отъ дальнѣйшаго чтенія, какъ будто и далѣе вамъ предстоитъ идти среди стенаній и слезъ: ужасное начало будетъ вамъ тѣмъ-же, чѣмъ для путниковъ неприступная, крутая гора, за которой лежитъ прекрасная, чудная поляна, тѣмъ болѣе нравящаяся имъ, чѣмъ болѣе было труда при восхожденіи и спускѣ. Какъ за крайнею радостью слѣдуетъ печаль, такъ бѣдствія кончаются съ наступленіемъ веселья: за краткой грустью (говорю: краткой, ибо она содержится въ немногихъ словахъ) послѣдуютъ вскорѣ утѣха и удовольствіе, которыя я вамъ напередъ обѣщалъ и которыхъ, послѣ такого начала, никто бы и не ожидалъ, еслибъ его не предупредили. Сказать правду: еслибы я могъ достойнымъ образомъ повести васъ къ желаемой мною цѣли инымъ путемъ, а не столь крутой тропою, я охотно такъ бы и сдѣлалъ; но такъ какъ нельзя было, не касаясь того воспоминанія, объяснить причину, почему именно приключились событія, о которыхъ вы прочтете далѣе, я принимаюсь писать, какъ бы побуждаемый необходимостью» [1]).

Разумѣется необходимость, навѣянная художественными требованіями, ибо въ волѣ Боккаччьо было указать и другую причину, по которой приключились тѣ событія, то есть, собралось для бесѣдъ общество Декамерона. Если даже допустить, что Боккаччьо могъ имѣть въ виду кружокъ людей, дѣйствительно бѣжавшихъ отъ чумы и коротавшихъ время въ какой нибудь виллѣ въ окрестностяхъ Флоренціи, то и въ такомъ случаѣ художественный замыселъ автора остается въ силѣ: онъ не удалилъ факта, а подчеркнулъ его, не заботясь о нравственной сторонѣ дѣла и, очевидно, не предвидя упрековъ, которые и явились. Противоположность смерти и разгула могла быть подсказана жизнью, говорили иные, но во власти художника было помирить

1) Дек. Вступленіе = перев. I, стр. 5—6.

ихъ вопіющія протирѣчія проявленіемъ гуманности, поднимающей человѣка надъ животнымъ оберегомъ своего я. Другими словаки отъ разскащиковъ Боккаччьо ожидали самоотреченія, которое обратило бы Декameronъ въ синодикъ. Но Боккаччьо и не думаетъ изображать героевъ альтруизма: его разскащики и разскащицы одни изъ многихъ, они не бросились бы въ объятія прокаженнаго, какъ св. Францискъ; они эгоистично-гуманны, полны симпатій ко всему хорошему, любятъ жизнь; по своему, они даже героичны; ихъ настроеніе — жизнерадостное ожиданіе смерти: Пампинея увлекаетъ всѣхъ предложеніемъ удалиться изъ города, чтобы на сторонѣ поискать развлеченій, пока выяснится, какой оборотъ приметъ чума — «если только смерть не настигнетъ насъ ранѣе», прибавляетъ она спокойно [1]). Кто повстрѣчался бы съ ними, когда они гуляютъ, увѣнчанные дубовыми листьями, съ цвѣтами и пахучими травами въ рукахъ, сказалъ бы, «что смерть ихъ не побѣдитъ, либо сразитъ ихъ веселыми» [2]).

И вотъ, сговорившись между собой при случайной встрѣчѣ въ Санта Марія Новелла, разскащики Декамерона отправляются въ путь. Ихъ десятеро; въ теченіи десяти дней, съ перерывами, они потѣшаются бесѣдой, причемъ каждый разсказываетъ по новеллѣ: оттуда греческое, неправильное въ фонетическомъ смыслѣ, названіе Декameronъ (мы ожидали бы: Дехимеронъ), съ значеніемъ Десятидневника.

Самая затѣя бесѣдъ взята изъ жизни: разсказы были обычной принадлежностью итальянскихъ посидѣлокъ. Соберутся вечеромъ, писалъ въ XVI вѣкѣ Андрей Кальмо, играютъ въ разныя игры, а затѣмъ разсказываютъ, кто народныя сказки, кто помышленнѣе, книжныя исторіи: объ Отинелло и Джуліи, о Гвискардѣ и Гисмондѣ, о преніи Поста съ Масляницей и т. д. [3]).

Оставалось создать общество Декамерона. Въ обществѣ семь

1) Дек. Вступленіе = перев. I, стр. 16.
2) Дек. введеніе къ IX дню = перев. II, стр. 191—2.
3) Andrea Calmo, Lettere, ed. Rossi, стр. 346—7.

дамъ, отъ 18-лѣтняго до 28-лѣтняго возраста, и трое мужчинъ, изъ которыхъ самому юному не меньше 25-и лѣтъ. Имена первыхъ — вымышленныя: Боккаччьо не хочетъ называть ихъ настоящими, потому что характеръ нѣкоторыхъ разсказовъ, объясняемый обстоятельствами, могъ бы дать поводъ къ нареканію [1]). Очень вѣроятно, что какія-нибудь флорентійскія красавицы дали ему черты для изображенія нѣкоторыхъ собесѣдницъ; такъ въ Ameto и Amorosa Visione флорентійскія дамы являлись подъ покровомъ аллюзій и аллегорій. Пріемъ не новый, и мы не прочь повѣрить Боккаччьо, когда дѣло идетъ о Филоменѣ и Лауреттѣ, Неифилѣ и Елизѣ; но Фьямметта и Пампинея принадлежатъ неаполитанскимъ воспоминаніямъ, Емилія фантасмагоріи Амето, Тезеидѣ и, можетъ быть, также сердечной біографіи поэта — а между тѣмъ оказывается, что всѣ участницы бесѣдъ связаны другъ съ другомъ дружбой и сосѣдствомъ, либо родствомъ [2]). Боккаччьо, очевидно, отводитъ намъ глаза, какъ и увѣреніямъ, что назоветъ своихъ разскащицъ «именами, отвѣчающими всецѣло или отчасти ихъ качествамъ» [3]). Что бы означала Лауретта? Пампинея, можетъ быть, ни что иное, какъ параллель къ Памфило: южно-итальянское Pampino. Относительно мужчинъ нѣтъ замѣчанія, что и здѣсь мы имѣемъ дѣло съ кличками: имена Памфило, Филострато, Діонео слишкомъ хорошо намъ извѣстны, это прозвища самого Боккаччьо, показатели его разновременныхъ настроеній. Это ихъ отличіе удержано и въ Декамеронѣ, по крайней мѣрѣ во второй его части [4]), и мы не можемъ дать особаго, реальнаго значенія тому заявленію, что нѣкоторые изъ юношей оказываются въ родствѣ съ тою или другою изъ разскащицъ, либо пылаютъ къ одной изъ нихъ [5]).

Всѣ эти соображенія указываютъ на границы, въ кото-

1) Дек. Вступленіе = перев. I, стр. 12—13.

2) l. c. стр. 12.

3) l. c. стр. 13.

4) Сл. выше стр. 391 слѣд.

5) Дек. Вступленіе, = перев. I, стр. 17.

рыхъ должна держаться всякая попытка раздѣльно характеризовать собесѣдниковъ Декамерона: біографическій элементъ смѣшанъ въ нихъ съ типическимъ, первый либо разбитъ, какъ въ трехъ разсказщикахъ, или неуслѣдимъ, какъ въ Пампинеѣ, второй производитъ впечатлѣніе хорошенькихъ силуетовъ, сѣрыхъ по сѣрому фону. Если вспомнить пестрое общество, собравшееся въ гостинницѣ the Tabard въ прологѣ къ Кэнтерберійскимъ разсказамъ Чосера, контрастъ получится полный: тамъ все ярко, краски рѣжутъ глаза, нѣтъ разсказщика, который не былъ бы оригиналомъ, всѣ лица выступаютъ съ рельефомъ каррикатуры. Они представители разныхъ сословій и соціальныхъ положеній, случайно встрѣтившіеся на большой дорогѣ; собесѣдники Боккаччьо принадлежатъ одному и тому же обществу, равны по образовательному цензу, атмосфера салона провожаетъ ихъ и въ деревню. Они—культурные люди, и природой любуются, какъ горожане; Нери дельи Уберти ищетъ уединенія на своей виллѣ въ Кастелламаре, но это уединеніе культурное: король Карлъ явившись къ нему отдохнуть, ужинаетъ у него по просту, но роскошно, любуется дочерями хозяина, когда, полуобнаженныя, они ловятъ рыбу—и восхищенъ уединеннымъ мѣстомъ[1]). Прогулка въ долину Дамъ въ концѣ VI-го дня Декамерона показываетъ, что и настроеніе его разсказщиковъ тогоже рода; и въ поэзіи у нихъ изощренные вкусы: они любятъ романтическія темы [2]), предоставляя народную пѣсню Діонео и народнымъ героинямъ новеллъ [3]). Характеризовать отдѣльныя особи изъ такой равной по развитію среды нельзя было рѣзкими чертами Чосера; къ собесѣдникамъ Боккаччьо надо приглядѣться, иначе получится тусклое, сбивчивое впечатлѣніе. Выборъ но-

1) Дек. X, 6.

2) Дек. III въ концѣ = пер. I, стр. 268; VII, въ концѣ = пер. II, стр. 102.

3) IV, 5 = пер. I, стр. 314; VIII, стр. 2 = пер. II, стр. 109. Нѣкоторыя изъ народныхъ пѣсенокъ, упоминаемыхъ Боккаччьо, напечатаны у Carducci, Cantilene e ballate, №№ XXXVIII и XXXIX (стр. 342—4) и въ Canzonette antiche ed. Alvisi (Firenze 1884). p. 16—34.

веллъ, которыя разсказываетъ то или другое лицо, почти не служитъ къ ихъ характеристикѣ: всѣ разсказываютъ разное, одинъ лишь Діонео послѣдовательнѣе другихъ; то-же можно замѣтить о лирическихъ пьесахъ, которыя поются однимъ изъ участниковъ бесѣдъ въ заключеніи каждаго дня; и вмѣстѣ съ тѣмъ повсюду разсѣяны тонкія черты, слагающіеся, если и не всегда, въ опредѣленные психическіе образы[1]).

Съ разскащиками и ихъ автобіографическимъ содержаніемъ мы знакомы. Они помогли намъ разобраться въ хронологіи Декамерона[2]); намъ остается досказать о нихъ нѣсколько словъ, чтобы дать имъ мѣсто въ ряду другихъ портретовъ.

Ярче всѣхъ вышелъ Діонео: онъ естественнѣе другихъ, въ немъ больше природы и темперамента. Его жизнерадостность и видимо легкое отношеніе къ жизни не исключаетъ серьезности; онъ простъ и безъ претензій, ломаетъ изъ себя простака сознательно и не безъ ироніи; онъ любитъ гривуазный анекдотъ, отъ котораго краснѣютъ дамы, надъ которымъ хохочутъ, понявъ его болѣе, чѣмъ, будто бы, желалъ того разскащикъ[3]); играетъ на лютнѣ, знаетъ много пѣсенъ, фривольныхъ[4]) и трогательныхъ[5]) и способенъ влюбиться и страдать[6]). Въ немъ есть черты Пандара, чувственно-веселаго Боккаччьо первой неаполитанской поры, которымъ могла увлечься Фьямметта, котораго Адіона хотѣла преобразить въ умѣреннаго и порядочнаго человѣка. Мы знаемъ, какъ онъ впослѣдствіи преобразился: Филострато-Троилъ юношескаго ро-

1) Попытку характеризовать собесѣдниковъ Декамерона сдѣлалъ Albertazzi, i novellatori e le novellatrici del Decamerone. Статья эта, любезно доставленная мнѣ авторомъ, напечатана была въ Rassegna Emiliana v. II, fasc. III и недавно въ небольшомъ сборникѣ этюдовъ Albertazzi, Parvenze e Sembianze (Bologna 1892).

2) Сл. выше стр. 390 слѣд.

3) Дек. IX, 10 = пер. II, стр. 239.

4) Дек. V въ концѣ = пер. I, стр. 416.

5) Дек. III и VII въ концѣ.

6) Сл. его пѣсню въ концѣ V дня.

мана, ревнующій и тоскующій, очутился собесѣдникомъ Декамерона, гдѣ въ концѣ третьей книги онъ нѣсколько позируетъ въ роли безнадежно влюбленнаго, сурово настроеннаго къ однимъ лишь печальнымъ впечатлѣніямъ, меланхолическаго Джека. Памфило — послѣдняя фармація Боккаччьо: онъ и старше и разсудочнѣе своихъ сверстниковъ, полонъ изящной важности и учительности, и хотя сбивается нерѣдко на нескромный разсказъ, любитъ спокойно и нѣсколько отвлеченно. Ему принадлежитъ новелла о Чимоне и воспитательной силѣ любви, «которую многіе осуждали и поносятъ крайне несправедливо, сами не зная, что говорятъ» [1]). Если Боккаччьо-Діонео затѣялъ потѣшныя бесѣды Декамерона, то Боккаччьо-Памфило наложилъ на него ту печать серьезности и вдумчивости, которую слишкомъ часто забываютъ при его оцѣнкѣ.

Фьямметта Декамерона получаетъ значеніе лишь на почвѣ біографіи поэта, въ отношеніи къ его представителямъ: Діонео, Филострато, Памфило. Перваго она видимо балуетъ, снисходитъ къ его повѣсничанью и поетъ съ нимъ о мессерѣ Гвильельмо и о дамѣ дель Верджьỳ [2]), пѣсню о трагической любви, навѣянную хорошенькой французской поэмой о Chatelaine de Vergi; либо объ Арчитѣ и Палемонѣ [3]). Печальный Филострато вызываетъ ее первую на грустную новеллу о Гисмондѣ; онъ-же вѣнчаетъ ее на царство, ибо она вознаградитъ общество за горестныя впечатлѣнія возбужденныхъ имъ расказовъ — и она велитъ разсказывать о любви, полной препятствій, но увѣнчанной счастьемъ, и первому на очереди бесѣдъ быть—Памфило. Всѣ эти сочетанія показались бы намъ случайными, если бы біографія и сочиненія Боккачьо не вносили въ нихъ живой смыслъ. Въ той и въ другихъ находетъ себѣ объясненія и нѣкоторыя другія подробности: какъ въ Филоколо Фьямметта рѣшала, что изъ двухъ женщинъ,

1) Дек. V, 1 = пер. I, стр. 349.
2) Дек. III въ концѣ = пер. I, стр. 268.
3) Дек. VII, въ концѣ = пер. I, 102.

одинаково нравящихся, мужчинѣ слѣдуетъ предпочесть ту, которая выше его по роду и состоянію [1]), такъ и въ Декамеронѣ большимъ благоразуміемъ является въ мужчинѣ «всегда искать любви женщины болѣе родовитой, чѣмъ онъ» [2]). Разсказывая потѣшную новеллу о Каландрино, Фьямметта откровенно входитъ въ интересы общества, собравшагося съ тѣмъ, чтобъ веселиться [3]), и вмѣстѣ съ тѣмъ она любитъ пораздуматься и поразобраться въ вопросахъ, но въ мѣру; «прекрасныя дамы, говоритъ она, приступая къ одному разсказу [4]), я всегда была того мнѣнія, что въ такихъ обществахъ, какъ наше, слѣдуетъ разсказывать пространно [5]), дабы излишняя краткость не подавала другимъ повода къ спорамъ о значеніи разсказаннаго. Это дѣло болѣе приличное въ школахъ, среди учащихся, чѣмъ между нами, которыхъ едва хватаетъ на прялку и веретено». Мы встрѣтили ту-же точку зрѣнія въ Филоколо, гдѣ Фьямметта обѣщаетъ вершать любовные вопросы легко, не углубляясь въ ихъ суть и прося избѣгать тонкостей, потому что, утруждая умъ, онѣ не приносятъ удовольствія [6]).

Другія собесѣдницы Фьямметты характеризованы двумя-тремя случайными чертами, но болѣе обще; правда, біографія поэта не подсказываетъ здѣсь ничего реальнаго, что-бы наполнило кровью ихъ блѣдные образы. Пампинея старше всѣхъ и всѣхъ разсудительнѣе; ей принадлежитъ замыселъ удалиться изъ чумнаго города, пріобщивъ себѣ въ спутники Діонео, Филострато и Памфило, и проводить время не въ игрѣ и другихъ забавахъ, а въ бесѣдахъ, въ которыхъ ее, очевидно, привлекаетъ элементъ учительности и размышленія: она охотно впадаетъ въ общія мѣста, часто увлекается въ сторону, наставляетъ.—

1) Сл. выше стр. 167.
2) Дек. I, 5 = пер. I, стр. 48.
3) Дек. IX, 5 = пер. II, 210.
4) Дек. X, 6 = пер. II, 270.
5) Женщинамъ это нравится, сл. De Clar. Mulier. введеніе.
6) Сл. выше стр. 161.

Филомена красивая, разумная дѣвушка: она первая догадывается, что имъ безъ сопутствія мужчинъ не обойтись, и когда Неифила выражаетъ опасеніе, какъ бы о томъ не заговорили криво, смѣло отвѣчаетъ: Лишь бы жить честно и не было у меня угрызеній совѣсти, а тамъ пусть говорятъ противное, Господь и правда возьмутъ за меня оружіе [1]). Тѣмъ не менѣе она смущена, когда ее выбрали королевой, но тотчасъ же входитъ въ роль, припомнивъ разсказъ Пампинеи о добродѣтельныхъ простухахъ, не умѣющихъ связать слова [2]): она не хочетъ показаться простушкой и станетъ вести дѣло, слѣдуя не только своему мнѣнію, но и мнѣнію всего общества [3]).—Въ сравненіи съ ними Неифила—дѣвочка, робкая и вмѣстѣ бойкая на словахъ, можетъ быть, потому, что не знаетъ всей ихъ силы и бодрится. Узнавъ, кто изъ мужчинъ будетъ имъ сопутствовать, она зардѣлась: она боится нареканій, потому что въ числѣ тѣхъ юношей есть влюбленные въ одну изъ нихъ [4]). Избранная королевой, она стоитъ, покраснѣвъ, окруженная хвалебнымъ ропотомъ, ея лицо, что свѣжая роза въ апрѣлѣ или маѣ, на разсвѣтѣ дня, прелестные, нѣсколько опущенные глазки, блестятъ, какъ утренняя звѣзда [5]). И вмѣстѣ съ тѣмъ вольная выходка Филострато по поводу новеллы объ Алибекъ вызываетъ у нея отповѣдь не по лѣтамъ, показывающую, что она съумѣла разобраться и въ нескромныхъ похожденіяхъ Мазетто [6]).—Имя Емиліи возвращаетъ насъ къ біографическимъ воспоминаніямъ Тезеиды и Амето, можетъ быть, съ воспоминаніями прежняго типа. Емилія Тезеиды создана для любви, ей нравится быть любимой, характерна для нея именно

1) Дек. вступленіе = пер. I, стр. 17; сл. De Clar. Mulier. c. 75: satis nobis multum est, imò permaximum, si Deo teste bene vivimus, et idcirco, si minus bene de nobis sentiunt homines, bene fecerimus, non curemus.

2) Дек. I, 10; сл. выше стр. 70.

3) Дек. I, въ концѣ = пер. I, стр. 68.

4) Дек. вступленіе = пер. I, 17.

5) Дек. II, въ концѣ = пер. I, 179.

6) Дек. III, въ концѣ = пер. I, 267.

эта потребность сердца, не случайный выборъ любимаго человѣка. Въ сущности это настроеніе Емиліи Декамерона; пока она очарована лишь своей красотой:

Я отъ красы моей въ такомъ очарованьѣ,
Что мнѣ другой любви не нужно никогда,
И врядъ-ли явится найти ее желанье.

Но это лишь самообольщеніе, она чаетъ чего-то другого, потому что, продолжаетъ она, чѣмъ болѣе я покою взгляды на благѣ моей красоты, тѣмъ болѣе,

Я отдаюсь ему душою всей моей,
Вкушая ужъ теперь высокія услады,
Что̀ мнѣ сулитъ оно,—и въ будущемъ отрады
Еще я бо́льшей жду [1]).

Вотъ почему, быть можетъ, она иногда задумывается, уносясь въ мысляхъ куда-то: Филострато кончилъ новеллу, всѣ смѣются, велятъ продолжать Емиліи, и она начинаетъ, глубоко переводя духъ, точно недавно проснулась: продолжительное раздумье усиленно и долго держало ее вдали отсюда; она не была здѣсь духомъ [2]). Но затѣмъ она разсказываетъ смѣло и охотно [3]), ободряя другихъ своимъ примѣромъ [4]): Боккаччьо дважды подчеркнулъ эту черту, психическій противовѣсъ сосредоточенности.

Елиза нѣсколько насмѣшливая, рѣзкая, не по злорадству, а по старой привычкѣ [5]), и довольно неопредѣленная Лауретта завершаютъ собою кружокъ Декамерона; граціозныя фигурки, слегка брошенныя на фонъ игриваго, но культурнаго тосканскаго пейзажа; кто захочетъ тѣней и красокъ и яркихъ пятенъ найдетъ ихъ тамъ, гдѣ они у мѣста—въ разсказахъ Декамерона.

1) Дек. I, въ концѣ = пер. I, стр. 69—70.
2) Дек. VI, 8 = пер. II, стр. 23.
3) Дек. I, 6; X, 5 (вступленія въ новеллы).
4) VII, 1 въ началѣ.
5) III, 5 (вступленіе).

II.

Кто хоть немного начитанъ въ средневѣковой повѣствовательной и вообще сказочной литературѣ, тотъ встрѣтитъ въ нихъ множество знакомыхъ мотивовъ, черты международнаго бродячаго преданія и — группу мѣстныхъ или историческихъ повѣстей, лишенныхъ традиціоннаго значенія, разсказовъ объ остроумныхъ выходкахъ и шуткахъ, однимъ словомъ «новостей дня»; это и могло быть основнымъ значеніемъ провансальскихъ novas, итальянской новеллы. Въ неаполитанскихъ разсказахъ Фьямметты о приключеніяхъ Андреуччьо [1]) и хитрости, которой Ричьярдо добился обладанія любимой женщиной [2]), въ новеллѣ Діонео о салернскомъ врачѣ Маццео делла Монтанья [3]) нѣтъ ничего, что-бы говорило за вымыселъ, хотя иныя подробности и могли быть навѣяны мотивами сходныхъ повѣстей. На уголовный фактъ, легшій въ основу первой новеллы, уже было указано [4]); мѣстные анекдоты и преданія дали матерьялъ для разсказовъ о королѣ Карлѣ и нѣсколько загадочномъ Нери дельи Уберти [5]), о королѣ Петрѣ и влюбленной Лизѣ, для которой Мико изъ Сіэны сложилъ канцону: Боккаччьо приводитъ ее, она встрѣтилась въ одной рукописи отдѣльно и въ болѣе архаистической формѣ [6]); о Фридрихѣ сицилійскомъ [7]), о красавцѣ Джербино [8]) и извѣстномъ разбойникѣ Гино ди Такко [9]); содержаніе одной новеллы [10]) взято изъ старой лѣтописи Фаенцы. Особенно разно-

1) Дек. II, 5.
2) III, 6.
3) IV, 10: Matthaeus Montanus, сл. выше стр. 34.
4) Сл. выше стр. 50.
5) X, 6.
6) X, 7; сл. Carducci, Cantilene № VI.
7) V, 6.
8) IV, 4.
9) X, 2.
10) V, 5.

образенъ областной элементъ въ томъ, что пріурочено къ Флоренціи и Тосканѣ. Передъ нами цѣлый рядъ именъ, еще теперь услѣдимыхъ по памятникамъ и близкимъ по времени упоминаніямъ: Чаппеллетто [1]) и флорентійскій инквизиторъ [2]), Гвильельмо Борсьере [3]) и буффоны Стекки и Мартеллино [4]), Риччьярдо Манарди и Лиціо да Вальбона [5]), Джери Спини [6]) и его жена Оретта [7]), дѣйствующія лица новеллы VI, 3, Форезе да Рабатта и Джьотто [8]), Гвидо Кавальканти [9]), поэтъ Чекко Анджьольери и его товарищъ Чекко ди Фортарриго [10]), Чакко и Филиппо Ардженти [11]).— Рядомъ съ этими болѣе или менѣе извѣстными именами другія, можетъ быть, не выходившія въ черту казовой исторіи: святоша Пуччьо въ Прато [12]) и простофиля Джьянни Лоттеринги [13]), влюбленный священникъ изъ Варлунго [14]) и судья въ Пизѣ, великій учетчикъ праздничныхъ дней на супружескомъ ложѣ [15])— и сентиментальная парочка Симоны и Пасквино [16]), Джироламо и Сальвестра [17]) — Сильвія Альфреда де Мюссэ. — Въ сущности разсказы о нихъ не менѣе историчны, чѣмъ являющіеся подъ прикрытіемъ извѣстныхъ фамилій, ибо историческія фамиліи не всегда страхуютъ достовѣрность разсказа, порой онѣ просто показатели времени, не смущаются въ обстановкѣ невѣроятной

1) I, 1.
2) I, 6: fra Pietro dell' Aquila.
3) I, 8; сл. Inf. XVI, 70 слѣд. и Com. Div. Comm. II, 445 слѣд.
4) II, 1; сл. Sacchetti, Nov. 144.
5) V, 4, сл. Purg. XIV, 97 и комментаріи.
6) VI, 2.
7) VI, 1.
8) VI, 5.
9) VI, 9.
10) IX, 4.
11) IX, 8; сл. Comm. sorpa la D. C. II, 449.
12) III, 4.
13) VII, 1; къ сюжету сл. Rua къ Straparola V, 4, въ Giorn. Stor. d. lett. it. fasc. 46—7, стр. 246—7.
14) VIII, 2.
15) II, 10.
16) IV, 7.
17) IV, 8.

легенды, когда напр. о флорентинцѣ Алессандро ди мессеръ Тебальдо деи Ламберти или дельи Аголанти разказывается, что онъ сталъ королемъ Шотландіи [1]). Иной разъ извѣстное имя могло подсказаться Боккаччьо просто потому, что подходило по смыслу и звуку, какъ напр. [2]) имя нотаріуса Buonaccori di Geri da Ginestreto [3]), или въ новеллѣ о братѣ Чиполла [4]) имя его потѣшно-веселаго спутника Гуччьо: въ 1324—5 г. упоминается, въ должности больничника при госпиталѣ св. Филиппа во Флоренціи, братъ Guccius Aghinetti, vocatus frater Porcellana. Боккаччьо втайнѣ намекнулъ на это прозвище, назвавъ своего монаха Guccio Porco и заставивъ брата Чиполлу искать привиллегій del Porcellana, Поросяти.

Весь шестой день посвященъ острымъ словамъ и находчивымъ отвѣтамъ, и герои дня, по преимуществу, флорентійцы, между ними Джьотто [5]) и Гвидо Кавальканти [6]); Петрарка, называющій вмѣсто послѣдняго какого-то Дино изъ Флоренціи, отвелъ въ своихъ De rebus memorabilibus [7]) мѣсто остротамъ и мѣткимъ изреченіямъ, этимъ признакамъ культурнаго, бойкаго на слово итальянца. Разумѣется, многія изъ этихъ летучихъ словъ далеко не новы, вродѣ предложенія рыцаря мадоннѣ Ореттѣ--повезти ее на конѣ (она шла пѣшкомъ), т. е. скоротать ей путь разсказомъ [8]); или того напр., что у журавля всего одна нога [9]), или разсказанной въ другомъ мѣстѣ [10]) ловкой увертки маркизы Монферратской: что всѣ женщины такъ же сходны между собой, какъ кушанья, съ виду разныя, но оказавшіяся

1) II, 3.

2) VIII, 2.

3) † до 1354 года.

4) VI, 10.

5) VI, 5.

6) VI, 9.

7) II, 3.

8) VI, 1; сл. новеллу Серкамби № 4 и R. Koehler въ Giorn. Stor. d. lett. ital. fasc. 40—1, стр. 94 слѣд.

9) VI, 4.

10) I, 5.

изготовленными изъ однѣхъ куръ. Въ русскихъ легендахъ о Февроніи и Ольгѣ это выражено поэтичнѣе: Февронія велитъ человѣку, посмотрѣвшему на нее съ грѣховною мыслью, почерпнуть воды съ той и другой стороны лодки и отвѣдать; она оказалась одинаковаго вкуса: такъ одинаково и естество женское.

Среди историческихъ, унаслѣдованныхъ остротъ иныя отличаются колоритомъ среды, ароматомъ почвы; такова отповѣдь Гвильельмо Борсьере[1]), маэстро Альберто изъ Болоньи[2]) и Гвидо Кавальканти, который привелъ въ смущеніе веселую компанію, приставшую къ нему у гробницъ Санъ-Джьованни, сказавъ, что у себя дома они вольны говорить, что имъ угодно[3]). Вы чувствуете себя въ средѣ, гдѣ умственное развитіе дало лишекъ производства и, вмѣстѣ, сознаніе силы, которая требуетъ упражненія, исхода, и находитъ выраженіе въ культѣ блестящей шутки, виртуознаго слова, забавной продѣлки; въ нихъ мѣрка превосходство надъ тѣмъ, что отстало; есть что-то лихорадочное, юное, безцѣльное въ этой потребности расправить мускулы, расходиться. Поминаются старые потѣшные люди, тонкіе, благовоспитанные, какъ Примасъ, Бергамино[4]), флорентинецъ Гвильельмо Борсьере[5]), какъ тѣ cavalieri di corte, иначе гистріоны[6]), которыхъ обязанностью было честнымъ образомъ[7]) развеселять усталыхъ отъ дѣла синьоровъ-правителей, не тѣ грубоватые и неразборчивые, которые побираются у жалкихъ и безнравственныхъ вельможъ, кормясь своимъ злословьемъ[8]), какъ флорентійцы Чакко и Бьонделло[9]); у нихъ шутка обратилась въ

1) I, 8.

2) I, 10; вѣроятно, Альберто Zancari, докторъ философіи и медицины, профессоръ болонскаго университета.

3) VI, 9.

4) I, 7.

5) I, 8.

6) Позднѣе: araldi della signoria.

7) Honesta jucunditate.

8) I, 8.

9) IX, 8.

ремесло, какъ у Дольчибене, Гоннеллы и боккаччьевскаго буффона Риби [1]); въ обществѣ она воздѣлывается свободно, какъ естественный избытокъ умственнаго и тѣлеснаго здоровья. Былъ въ нашемъ городѣ юноша, «по имени Микеле Скальца, самый пріятный и потѣшный человѣкъ въ свѣтѣ, у котораго на готовѣ были самые невѣроятные разсказы, почему молодымъ флорентинцамъ было очень пріятно залучить его къ себѣ, когда они собирались обществомъ» [2]); былъ «о ту пору во Флоренціи молодой человѣкъ, удивительный забавникъ во всемъ, за что-бы ни принялся, находчивый и пріятный, по имени Мазо дель Саджіо» [3]): дѣйствительное лицо, по профессіи маклеръ, лавка котораго была обычнымъ притономъ веселыхъ художниковъ, какъ въ лицѣ другого, столь-же историческаго лица, ростовщика и откупщика Чаппеллетто (Чеппарелло) изъ Прато, Боккачьо [4]) казнилъ тѣхъ итальянцевъ или, какъ ихъ называли, ломбардцевъ, которые по всей Европѣ занимались лихвой, навлекая на себя общую ненависть.

Главными носителями шутки, часто непереводимой въ своемъ мѣстномъ колоритѣ [5]), и шумнаго, нѣсколько животнаго веселья, являются художники. Изобиліе юмора признакъ талантливости: новеллы Саккетти, потѣшный разсказъ о дровяникѣ Грассо, приписываемый Манетти [6]), біографіи Вазари полны художническихъ анекдотовъ; Джьотто пишетъ мистическихъ мадоннъ и отпускаетъ не совсѣмъ благочестивую остроту на счетъ изображенія св. Іосифа [7]); король Робертъ, потѣшавшійся продѣлками шута Гоннеллы [8]), любилъ бесѣдовать съ Джьотто за его

1) VIII, 5; сл. Sacchetti, Nov. 49 и 50.

2) VI, 6.

3) VIII, 3; сл. VI, 10, VIII, 5 и Sacchetti, Nov. 93.

4) I, 1.

5) Сл. напр. элементъ остротъ въ VIII, 2, 9.

6) 1423 † 97.

7) Sacchetti, Nov. 75; сл. другіе анекдоты о немъ ib. 63 и 44 = Benv. da Imola, Comm. ed. Lacaita III, стр. 313.

8) Sacchetti, Nov. 212.

работой, ибо у него всегда бывало припасено какое-нибудь словцо или остроумный отвѣтъ. У Боккаччьо потѣшниками являются живописцы Буффальмакко [1]), Бруно и Нелло ди Дино. О школьничествахъ Буффальмакко разсказываетъ Саккетти [2]), позднѣе Вазари, между прочимъ, что однажды онъ написалъ по заказу мадонну съ Спасителемъ на рукахъ, и когда заказчикъ не захотѣлъ платить, принудилъ его къ тому тѣмъ, что замѣнилъ Спасителя — медвѣжонкомъ. Въ Декамеронѣ похожденія его и его товарищей слагаются въ цѣлый циклъ [3]), предметомъ остротъ и издѣвокъ два оригинала: художникъ Каландрино [4]), недалекій, живущій въ страхѣ своей жены [5]), способный повѣрить всякой небылицѣ — и болонскій докторъ Симоне, такой-же, какъ и онъ простакъ, только ученый. Что у нихъ общее—это легко воспламеняющееся самомнѣніе; потѣшники любуются ими, бережно подходятъ къ объекту анализа, поставятъ вопросъ, поддакнутъ, гдѣ надо, и тайные помыслы Каландрино и Симоне разцвѣтаютъ передъ ними во всей ихъ откровенности: Каландрино считаетъ себя неотразимымъ для женщинъ, Симоне млѣетъ въ сознаніи своей учености, обаянія и привлекательности. Въ старые годы авторы фабліò и еще во второй половинѣ XIV-го вѣка итальянецъ Матазоне [6]) потѣшались надъ безправнымъ вилланомъ, грубымъ и придурковатымъ, грязнымъ и себѣ на умѣ; такова точка зрѣнія на обездоленные классы общества и въ итальянскихъ Sacre Rappresentazioni [7]); у Боккаччьо еще остались слѣды этого пониманія въ типахъ Ферондо [8]), Бентивенья дель Маццо [9]), Пьетро ди Тресанти [10]), въ простакахъ-крестьянахъ, разѣваю-

1) † 1340 или около 1351.

2) Nov. 161, 169, 191, 192.

3) VIII, 3, 6, 9; IX, 3, 5.

4) Такъ звали живописца Nozzo di Perino † до 1318 г.

5) Монны Тессы † до 1296 г.

6) Изъ Калиньяно, около Павіи.

7) D'Ancona, Origini del Teatro italiano, 2-е изд., I, 609—10.

8) III, 8.

9) VIII, 2.

10) IX, 10.

щихъ рты, слушая о чудесныхъ хожденіяхъ брата Чиполлы [1]); но въ общемъ требованія поднялись: смѣхъ и сатиру вызываетъ уже не безправная простота, а безправное самомнѣніе. Культурнаго флорентійца коробитъ самозваный судья-баранъ, котораго привезъ съ собою по дешевой цѣнѣ подеста̀, и они въ общемъ присутствіи стаскиваютъ съ него штаны [2]); въ докторѣ Симоне они, не школьные, но развитые люди, потѣшаются надъ патентованнымъ въ Болоньѣ ученымъ худоуміемъ. Потѣшаются жестоко, какъ герои фабліо̀: умственное развитіе не обуздало животныхъ инстиктовъ, а сдѣлало ихъ только цѣннѣе, смѣхъ дешевъ, вызывается балаганной выходкой, какъ напр. часто въ новеллахъ Саккетти; сознаніе превосходства не знаетъ мѣры, шутка получаетъ нерѣдко характеръ истязанія, безцѣльнаго злорадства: это Ренаръ, издѣвающійся надъ глупымъ волкомъ. Бѣдный маэстро Симоне угодилъ въ помойную яму [3]), продѣлка мадонны Беатриче [4]) кажется «крайне злохитростной» даже собесѣдницамъ Декамерона [5]), издѣвки Лидіи надъ мужемъ [6]), извиняемыя страстью, столь-же жестоки. Правда, содержаніе двухъ послѣднихъ новеллъ принадлежитъ международной бродячей сказкѣ, но ихъ настроеніе то-же, что и въ шуткахъ мѣстнаго происхожденія. Еще хуже, когда проказа задумана съ цѣлью отместки: удары сыпятся на бѣдняка Бьонделло [7]), а злостный школяръ Риньери тѣшится местью, заманивъ обманувшую его красавицу на башню, гдѣ она деньденьской стоитъ голая, на солнцѣ, искусанная мухами и слѣпнями, а онъ методически отчитываетъ ее въ стилѣ нареканій на злыхъ женъ [8]). Если въ новеллѣ о Риньери отразилось дѣйстви-

1) VI, 10.

2) VIII, 5.

3) VIII, 9.

4) VII, 7: разновидность схемы, представляемой, между прочимъ, фабліо̀ o La bourgeoise d'Orléans (Montaiglon et Raynaud, Recueil général et complet des fabliaux, I, 17.

5) VII, 8 въ началѣ.

6) VII, 9. Сл. фабліо̀: Le prestre qui abevete (Montaiglon et Raynaud, III, 61).

7) IX, 8.

8) VIII, 7.

тельное озлобленіе автора противъ вдовы, которую онъ казнилъ въ своемъ Корбаччьо, то передъ нами интересный обращикъ разсказа, въ которомъ біографическіе, мѣстные элементы выразились въ мотивахъ пришлой повѣсти: именно такая повѣсть извѣстна; какимъ-бы путемъ ни зашла она въ Италію и до Боккаччьо, она встрѣтила здѣсь сходный уровень общественнаго чувства и личнаго настроенія, и въ томъ и другомъ отношеніи даетъ матерьялъ для анализа, независимо отъ своей захожей схемы.

Рядомъ съ расходившейся животной личностью Симоне—тонкій культъ сердца у «благовоспитаннаго» мессера Федериго Альбериги, жертвующаго на угощеніе своей непреклонной дамы единственнымъ сокровищемъ, любимымъ соколомъ [1]). Въ этомъ сюжетѣ, который не разъ пересказывали по Боккаччьо и въ которомъ Гете хотѣлъ выразить свои отношенія къ Лили и Карлоттѣ фонъ Штейнъ, едва-ли есть что-либо буддійское, много средневѣковаго-рыцарскаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣчто болѣе изящное и культурное. Тѣ-же люди, которые способны были къ плотскому смѣху и мальчишески-звѣрской шалости, понимали и поэзію самоотреченія; тамъ и здѣсь самосознаніе личности находило цѣли наслажденія. Федериго Альбериги былъ флорентинецъ, анекдотъ о немъ идетъ отъ почтеннаго Коппо ди Боргезе Доменики, одного изъ немногихъ, къ сожалѣнію, исторически-засвидѣтельствованныхъ лицъ, которые были живыми источниками Боккаччьо. Въ Неаполѣ старики Маринъ Булгаро и Константинъ Рокка разсказывали ему о Филиппѣ Катанской [2]); отъ перваго идетъ, быть можетъ, драматическая повѣсть объ Іоаннѣ изъ Прочиды [3]), но всего милѣе былъ Боккаччьо старикъ Коппо, человѣкъ древняго дантовскаго пошиба, знатокъ флорентійской старины, живой носитель городскихъ памятей, любившій «разсказывать своимъ сосѣдямъ и другимъ о прошлыхъ дѣлахъ; а дѣлалъ онъ это лучше

1) V, 9.
2) De Casibus, IX, 26.
3) Дек. V, 6.

и связнѣе и съ большой памятью и краснорѣчіемъ, чѣмъ то удавалось кому другому» [1]), говоритъ Боккаччьо, записавшій съ его словъ новеллу объ Альбериги и анекдотъ о Гвальдрадѣ [2]). Онъ дорожилъ дружбой къ нему человѣка, котораго зоветъ въ своей записной книжкѣ ревностнѣйшимъ гражданиномъ и блюстителемъ нравовъ [3]). Разсказанная имъ легенда о Гвальдрадѣ его характеризуетъ, еще болѣе новелла Саккетти [4]): будто-бы Коппо читалъ однажды Тита Ливія и дочитался до того мѣста, какъ римскія женщины бросились на Капитолій, требуя отмѣны закона, ограничивавшаго ихъ моды. Коппо, хотя человѣкъ и мудрый, но вспыльчивый и со странностями, вышелъ изъ себя, точно все это случилось у него на глазахъ; бьетъ книгой по столу, плещетъ руками: Какъ-то потерпите это вы, римляне, вы, которые не выносили ни царей, ни императоровъ? Въ это время пришли за разсчетомъ работавшіе въ его домѣ каменьщики. Убирайтесь вы съ Богомъ во имя дьявола! кричитъ онъ, лучше бы мнѣ не родиться, чѣмъ знать, что эти безстыжія распутницы, негодницы побѣжали на Капитолій отстаивать свои наряды! Что будетъ съ римлянами, когда вотъ я, Коппо, не могу съ этимъ примириться! — Рабочіе дались диву: Что это съ нимъ сталось? Слышатъ они что-то про Капитолій и забавно коверкаютъ это названіе, чтобы выжать изъ него какой-нибудь смыслъ. Ужь не пошалила-ли его жена? Онъ что-то все говоритъ о распутницахъ. — На другой день пылъ у Коппо прошелъ, и онъ разсчитался, какъ слѣдуетъ.

Интересно въ этомъ анекдотѣ тѣсное сплетеніе классическихъ воспоминаній съ злобой дня: оно возможно было лишь въ Италіи.

III.

Мы старались обособить въ Декамеронѣ новеллы мѣстнаго,

1) Дек. V, 9 = пер. I, 401.
2) Com. sopra la Comm. II, 434 слѣд.
3) Amantissimus reipublicae et morum pater. Сл. выше стр. 378.
4) Nov. 66.

итальянскаго происхожденія, тѣ, достовѣрность которыхъ авторъ счелъ нужнымъ защитить отъ нападокъ лицъ, тщившихся доказать, что все, имъ разсказанное, было не такъ, какъ сообщилъ онъ. Ихъ онъ и вызываетъ представить «подлинные разсказы»; «еслибъ они разногласили съ тѣмъ, что я пишу, я призналъ-бы ихъ упрекъ справедливымъ и постарался бы исправиться; но пока ничто не предъявляется, кромѣ словъ, я оставлю ихъ при ихъ мнѣніи и буду слѣдовать своему» [1]). Ту-же заботу о достовѣрности обнаруживаетъ и Фьямметта; приступая къ новеллѣ о Каландрино [2]) она спѣшитъ оговориться: «еслибъ я захотѣла и прежде и теперь отдалиться отъ дѣйствительнаго факта, я съумѣла бы и смогла сочинить и разсказать (его) подъ другими именами».

Всё это можетъ относиться лишь къ новелламъ-анекдотамъ, новелламъ-былямъ, которыя разсказывались о дѣйствительномъ лицѣ, хотя бы самые элементы разсказа и принадлежали къ числу бродячихъ. Съ такими чертами международной сказки намъ уже приходилось считаться, но ей же принадлежатъ и схемы особой группы повѣстей Декамерона; параллели къ нимъ не трудно указать, не смотря на итальянское пріуроченіе многихъ изъ нихъ: изъ ста новеллъ [3]) 87 [4]) помѣщены въ Италіи, въ итальянскія историческія отношенія. Это первая степень народнаго усвоенія, и виновникомъ его не всегда былъ Боккаччьо. Такимъ образомъ притча о женщинахъ-гусыняхъ, восходящая, въ своемъ первоисточникѣ, къ повѣсти о Варлаамѣ и Іосафатѣ, разсказана у него о сынѣ флорентинца Филиппо Бальдуччи, удалившагося для созерцательной жизни на гору Азинайо [5]); сюжетъ, знакомый по Цимбелину Шекспира, разработанный въ старофранцузскомъ романѣ de la Violette, существующій и въ дру-

1) Дек. IV день, Вступленіе = пер. I, 277.

2) IX, 5.

3) Или ста одной, считая разсказъ, введенный въ предисловіе къ 4-му дню.

4) Или 88.

5) IV день, Вступленіе.

гихъ литературныхъ и сказочныхъ отраженіяхъ — очутился пріуроченнымъ къ Генуѣ [1]); повѣсть о Торелло — сплетеніе старыхъ легендъ о Саладинѣ [2]) съ схемой о нежданномъ возвращеніи мужа, приводитъ насъ въ Павію [3]); разсказъ о настоятелѣ въ Фьезоле напоминаетъ фабліо о священникѣ и Alison [4]), другой, съ мѣстомъ дѣйствія въ Тосканѣ [5]),—фабліо о мельникѣ и двухъ клеркахъ [6]), тогда какъ новелла о Ламбертуччьо [7]) принадлежитъ международной сказочной схемѣ, извѣстной во французской [8]) передѣлкѣ и итальянскомъ пересказѣ одного анонимнаго сіенца XIII-го вѣка, пріурочившаго его содержаніе къ Феррарѣ. Мы переведемъ послѣднюю повѣсть дословно, чтобы дать понятіе о стилѣ итальянкой до-боккаччьевской новеллы [9]).

«Былъ въ Феррарѣ благородный рыцарь, и была у него очень красивая и родовитая жена, въ которую влюбился нѣкій именитый юноша того города. Не находя никакого предлога поговорить съ дамой, онъ залучилъ къ себѣ одного умнаго человѣка, краснобая, пообѣщавъ ему много денегъ, если онъ съумѣетъ устроить это дѣло. Предлогъ онъ показалъ такой, что его коню не было мѣста въ конюшнѣ, ибо онъ велѣлъ ее перестроить; онъ и попросилъ рыцаря поставить коня въ свою. Тотъ краснобай былъ конюшимъ; такъ какъ онъ былъ изъ другихъ мѣстъ, и его здѣсь не знали, онъ прикинулся большимъ простакомъ. Когда онъ хорошо освоился въ домѣ у рыцаря, и его считали столь простымъ, что

1) II, 9.

2) Лишь во время печатанія этой главы получилъ я, благодаря любезности автора, Gaston Paris, его статью: La légende de Saladin (по поводу: A. Fioravanti, Il Saladino nelle leggende francesi e italiane del medio evo). Цитую ее далѣе по страницамъ оттиска (изъ Journal des Savants, Mai—Août, 1893).

3) Дек. X, 9.

4) VIII, 4; сл. Montaiglon et Raynaud II, 31.

5) IX, 6.

6) Montaiglon et Raynaud, I, 22, V, 119.

7) VII, 6.

8) Lai de l'épervier (сл. Gaston Paris въ Romania VII, 1).

9) Tre novellino antiche, Saggio di un testo inedito del secolo XIII citato dalla Crusca. Firenze 1887, ed. L. Gentile e Straccali.

онъ получилъ возможность всюду ходить и бывать съ дамой безъ всякаго подозрѣнія, онъ, улучивъ время, сталъ говорить съ ней серьозно, устроивая дѣло; и такъ много наговорилъ онъ ей въ разное время, что уладилъ все то, для чего тамъ и проживалъ. Долгое время общаясь съ юношей, дама влюбилась одинаково и въ слугу за его красныя рѣчи, такъ что однажды, будучи съ нимъ въ своей комнатѣ, открыла ему свое желаніе, и они наслаждались другъ съ другомъ, когда молодой человѣкъ, провѣдавъ, что рыцарь уѣхалъ въ городъ, самъ отправился къ дамѣ и постучался въ дверь. Услышавъ его, дама спрятала слугу за занавѣсъ, а сама осталась съ молодымъ человѣкомъ. Пока они пребывали такимъ образомъ, внезапно вернулся и рыцарь, подошелъ къ комнатѣ и постучался въ дверь. Дама мигомъ сказала молодому человѣку: Обнажи свой ножъ, отвори комнату будто насильно, и ни съ кѣмъ не говоря ни слова, обнаружь гнѣвъ и говори, угрожая: Пусть меня убьютъ, если я не убью тебя! — Какъ она сказала, такъ молодой человѣкъ и сдѣлалъ: вышелъ изъ комнаты, рыцарь перепугался, а онъ, все время угрожая, удалился по своимъ дѣламъ, ничего не отвѣтивъ на вопросы рыцаря. Когда тотъ вступилъ въ горницу, жена кликнула слугу, бывшаго за занавѣсамъ, и говоритъ рыцарю, что тотъ молодой человѣкъ, найдя свою лошадь стреноженной, хотѣлъ было за это убить слугу, а онъ спрятался въ ея комнатѣ, и она съ трудомъ его защитила. Такъ то она выручила себя по отношенію къ молодому человѣку и слугѣ, и не направила молодаго человѣка за занавѣсъ, ибо не желала, чтобы онъ засталъ тамъ слугу, такъ что молодой человѣкъ ничего не узналъ о слугѣ, а слуга выгородилъ молодаго человѣка».

Новелла Боккаччьо перенесло все это дѣйствіе во Флоренцію, обставила его именами и лишь несущественно измѣнила отношенія дѣйствующихъ лицъ: Леонетто, отвѣчающій краснобаю-конюшему стараго разсказа, любитъ самостоятельно и не играетъ роли посредника; рыцарь названъ Ламбертуччьо, онъ человѣкъ вліятельный, и Изабелла отдается ему противъ воли, когда

онъ пригрозилъ ей, что иначе учинитъ ей позоръ. Такимъ образомъ, казалось-бы, удалена непривлекательная подробность, что красавица одновременно дозволяетъ двоимъ любить себя, а вмѣстѣ съ тѣмъ, въ концѣ новеллы именно эта черта подчеркнута еще рѣзче: когда Леонетто спасся, какъ конюшій старой повѣсти, онъ, «слѣдуя наставленію дамы», въ тотъ-же вечеръ тайно переговорилъ со своимъ соперникомъ и такъ съ нимъ уладился, «что хотя впослѣдствіи много о томъ говорили, рыцарь никогда не догадался о шуткѣ, которую сыграла съ нимъ жена».

Принадлежатъ-ли эти измѣненія Боккаччьо, или онъ уже нашелъ ихъ въ своемъ источникѣ, какой-нибудь повѣсти, сходной съ новеллой безыменнаго сіэнца? Вотъ вопросъ, который по неволѣ обобщается, потому что и художественно значеніе Боккаччьо и его нравственная отвѣтственность могутъ быть вполнѣ оцѣнены лишь при условіи точнаго сравненія того, что имъ сдѣлано, съ тѣмъ, что онъ засталъ и чѣмъ воспользовался. Вопросъ объ источникахъ Декамерона представляется настоятельнымъ, не празднымъ любопытствомъ ученаго, ибо дѣло не въ повтореніи готовыхъ повѣствовательныхъ схемъ, а въ ихъ комбинаціяхъ, если онѣ отвѣчаютъ эстетическимъ цѣлямъ, въ новомъ освѣщеніи, въ матеріалахъ анализа, въ томъ починѣ, который заставляетъ насъ говорить о Боккаччьо, какъ объ одномъ изъ родоначальниковъ художественнаго реализма.

Мы уже знаемъ, что въ неаполитанскихъ кружкахъ, гдѣ влюбленный Боккаччьо разсказывалъ своей милой о Памфило и Фьямметтѣ, повѣсти были любимымъ развлеченіемъ салона и посидѣлокъ. Фьямметта читаетъ французскіе романы, проситъ Боккаччьо пересказать для нея Floire et Blanceflor; иная изъ новеллъ Декамерона, напр. повѣсть о страданіяхъ мадонны Беритолы [1]), кажется разработкой романическаго мотива о разлученіяхъ и спознаніяхъ, разсчитанная на мирныя слезы; таковъ и разсказъ о графѣ Анверскомъ [2]), навѣянный, быть можетъ,

1) II, 6.
2) II, 8.

романомъ Арно̀ Видаля изъ Castelnaudary о Guilhem de la Barra. Въ обществѣ Фьямметты, гдѣ такъ много было французскаго и провансальскаго, цѣлямъ смѣха могли отвѣчать фабліо̀ [1]) и провансальскія novas: новелла Дек. VII, 7 напоминаетъ мотивы первыхъ и, вмѣстѣ, Castia-gilos Раймона Видаля изъ Besaudun; плачевный разсказъ о мессерѣ Гвильельмо Гвардастаньо [2]) ведетъ свое начало изъ какой-нибудь провансальской повѣсти, лишь позже пріурочившейся, по созвучію именъ, къ трубадуру Cabestaing, тогда какъ Дек. IV, 1 восходитъ къ утраченному источнику романа о Châtelain de Couci. Эпическій матерьялъ Прованса успѣлъ не только перейти въ Италію, но и получить здѣсь литературное отраженіе у Франческо да Барберино въ его утраченныхъ Fiore di Novelle, въ его-же Documenti d'Amore и Reggimento delle donne; явились и зародыши итальянской новеллы въ разсказахъ, разсѣянныхъ въ Fiore di Filosofi, Fior di Virtù, въ такихъ сборникахъ, какъ Conti di antichi Cavalierii и Novellino: коротенькія повѣсти, скорѣе сказать схемы повѣстей, которыя предоставлено развить разскащику, съ сюжетами, взятыми отовсюду, изъ классическаго, легендарнаго и романическаго преданія и мѣстной были, какъ у Барберино, и въ Novellino съ его Фридрихомъ II и Эццелино, провансальскими мотивами и гибеллинскими симпатіями XIII-го вѣка. За одно съ повѣстями, мѣткія изреченія, motti, удачныя слова, цвѣты словъ, fiori di parlare. Схема и положенія и характеры едва намѣчены: точно контуры commedia dell' arte, ожидающіе художника и дыханія жизни. Авторъ Avventuroso Siciliano уже пытается быть стилистомъ въ новеллахъ, которыми онъ разнообразитъ свою странную, полу-романтическую хронику; художникомъ явится Боккаччьо.

Таковы были литературные матерьялы разсказа, обступив-

1) О фабліо̀, сходныхъ по содержанію съ новеллами Декамерона, говоритъ Bédier (Les fabliaux, études de litterature populaire et d'histoire littéraire du moyen âge. Paris, 1893), книгой котораго я уже не могъ воспользоваться.

2) IV, 9.

шіе его въ обществѣ; къ этому присоединилось и собственное чтеніе: легенды и хроники, классическіе сюжеты, навѣявшіе его Тезеиду и новеллы о бочкѣ [1]) и о Пьетро ди Винчьоло [2]), взятыя на прокатъ у Апулея. Но, можетъ быть, болѣе чѣмъ моментъ чтенія, игралъ роль устный разсказъ и усвоеніе слышаннаго: сказка, незнающая родства, и веселыя присказки бродили промежъ народа и проникали въ кружокъ Фьямметты [3]); если Коппо ди Боргезе Доменики повѣствовалъ про флорентинскіе были, то народная повѣсть, до сихъ поръ существующая въ разнообразныхъ европейскихъ отраженіяхъ, могла дать Боккачьо сюжетъ для его новеллы о Гризельдѣ. Именно въ Неаполѣ, на перепутьи международныхъ теченій, сказка должна была отличаться разнообразіемъ мотивовъ, сплетеніемъ востока и запада: сказывали провансальцы и греко-итальянцы изъ Кипра, Боккачьо говоритъ о «кипрійскихъ исторіяхъ [4]), очертанія греческаго романа, встрѣчающіяся въ его новеллахъ, объясняются посредствомъ устной передачи, которая познакомила его и съ восточными сюжетами и таковыми же, хотя искаженными, именами Алибекъ [5]), Алатіэль [6]), Массамутино (въ Филоколо) [7]). — Въ иныхъ случаяхъ лишь имя дѣйствующаго лица ведетъ къ предположенію восточнаго источника повѣсти. Въ житіи Іоанна милостиваго есть эпизодъ, перенесенный въ повѣстяхъ Пафнутія Боровскаго на Іоанна Калиту: однажды какой-то богатый иностранецъ захотѣлъ испытать доброту архіепископа и, когда

1) VII, 2.

2) V, 10.

3) Сл. выше стр. 116, 410.

4) V, 1; сл. выше стр. 25.

5) III, 10.

6) II, 7. Сл. выше стр. 27.

7) Сл. выше стр. 203 и слѣд. Я не сомнѣваюсь, что имя Массамутино, сенешаля *арабскаго* короля Феличе, отвлечено отъ извѣстныхъ въ южно-итальянской исторіи *Masmudi*, какъ назывались Альмогады, по имени вліятельнѣйшаго между ними племени.

Іоаннъ собирался посѣтить больницу, подошелъ къ нему, одѣтый въ рубище, и попросилъ милостыню. Ему подали пять золотыхъ; чрезъ три дня онъ явился въ другой одеждѣ и снова проситъ; Іоаннъ снова велѣлъ дать ему шесть золотыхъ; когда нищій удалился, казначей шепнулъ архіепископу, что тотъ человѣкъ уже во второй разъ получилъ милостыню; а Іоаннъ какъ будто и не слышитъ. Въ третій разъ подошелъ тотъ-же нищій, казначей кивнулъ архіепископу, давая ему понять, что это — все тотъ же; а тотъ говоритъ: Подай ему двѣнадцать золотыхъ, дабы онъ не былъ мнѣ Христомъ и не ввелъ меня въ искушеніе. — Такой именно эпизодъ встрѣчается, хотя въ иномъ пріуроченіи, въ новеллѣ о Митриданѣ, которому не даетъ покоя щедрость Натана [1]); чувствуя свое безсиліе превзойти его, онъ рѣшается его убить, чтобы его слава ему не мѣшала; Натанъ, не привыкшій отказывать въ чемъ-бы то ни было, превосходитъ самого себя въ великодушіи, предоставляя свою жизнь смущенному сопернику. Имена дѣйствующихъ лицъ указываютъ на какой-то, не то персидскій (Митриданъ), не то еврейскій востокъ, мѣсто дѣйствія Китай, источникъ повѣсти — разсказы генуезцевъ и другихъ людей, бывавшихъ въ тѣхъ странахъ. До Боккаччьо могъ дойти какой-нибудь изводъ арабской повѣсти о Хатимѣ или персидской о Хатимъ Тайитѣ и королѣ Іемена (у Саади), о немъже и великодушной женщинѣ; въ послѣдней переодѣтый Хатимъ отправляется въ Китай, чтобы поглядѣть на женщину, о которой шла молва, что она щедрѣе его самого. Она говоритъ ему, что завидуетъ славѣ Хатима и проситъ незнакомца убить его. Хатимъ кладетъ передъ нею свой мечъ и говоритъ: Я самъ Хатимъ и моя голова въ твоей власти. Женщина тронута его благородствомъ и выходитъ за него замужъ [2]), какъ у Боккаччьо Митриданъ и Натанъ становятся друзьями.

1) X, 3.

2) Сл. въ Journal of American Folklore II, № VII, стр. 315: отчетъ Crane'a o Clouston, A group of eastern romances and stories from the Persian, Tamil and Urdu. Glasgow, 1889).

Измѣненія, внесенныя Боккаччьо въ традиціонные сюжеты, могли бы дать намъ мѣру его таланта и направленія, еслибы вездѣ былъ ясенъ его источникъ. Къ сожалѣнію, мы добираемся до него лишь въ рѣдкихъ случаяхъ[1]), въ другихъ принуждены обойтись невѣдѣніемъ.

У Гелинанда есть легенда-видѣніе, пересказанная въ XIV-мъ вѣкѣ Пассаванти[2]): въ графствѣ Неверскомъ жилъ бѣдный, богобоязненный угольщикъ; однажды, сидя въ своей избушкѣ и сторожа зажженную угольную яму, онъ услышалъ около полуночи страшные крики. Выйдя посмотрѣть, въ чемъ дѣло, онъ увидѣлъ, что обнаженная, простоволосая женщина бѣжитъ, съ криками, на яму, а за нею поспѣшаетъ на ворономъ конѣ всадникъ, съ ножемъ въ рукѣ; пламя пылаетъ изо рта и глазъ всадника и лошади. У самой ямы всадникъ нагналъ женщину, которая продолжала вопить, схватилъ ее за косы и поразилъ ножемъ въ самую грудь; затѣмъ подобравъ ее, окровавленную, съ земли, бросилъ въ зажженную яму, вытащилъ ее оттуда, обгорѣлую, и перекинувъ черезъ коня, умчался по пути, откуда явился. Трижды повторяется это видѣніе; на четвертый разъ графъ Неверскій заклинаетъ всадника провѣщиться: Я твой рыцарь Джьуффреди, воспитанный при твоемъ дворѣ, отвѣчаетъ онъ, а эта женщина, съ которой я такъ свирѣпъ и жестокъ, жена рыцаря Берлингьери, который былъ такъ милъ тебѣ. Увлеченные другъ другомъ къ нечестной страсти, мы съ общаго согласія впали въ грѣхъ, который довелъ ее до убійства мужа, дабы свободнѣе было творить худое. Такъ пребывали мы во грѣхѣ до смертнаго недуга, но оба успѣли покаяться и исповѣдать свой проступокъ, и Господь взыскалъ насъ своимъ милосердіемъ, замѣнивъ намъ вѣчныя муки ада временнымъ мученіемъ чистилища. Знай, что мы осуж-

1) Сл. напр. отношенія Дек. IX, 6 къ фабліо о Gombert et les deux clercs, указанныя Бартоли.

2) Lo specchio della vera penitenza, distinz. III, c. 2.

дены и такимъ, какъ ты видѣлъ, образомъ, совершаемъ свое очищеніе.

Эта чистилищная легенда перенесена у Боккаччьо [1]) въ Равенну, на новыя лица, и освѣщеніе другое: всадникъ, преслѣдующій красавицу, былъ когда-то влюбленъ въ нее, но презрѣнный ею, рѣшился на самоубійство, а она, скончавшись безъ покаянія, «ибо считала, что не только тѣмъ не погрѣшила, но и поступила, какъ слѣдуетъ, осуждена была на адскія муки». Не только мотивы наказанія другіе, но и самое видѣніе служитъ неожиданнымъ цѣлямъ: Настаджьо дельи Онести показываетъ его неприступной красавицѣ, за которою онъ ухаживалъ, для того, чтобы нагнать на нее страхъ. И онъ не только добился своей цѣли но и «всѣ другія жестокосердыя равеннскія дамы такъ напугались, что съ тѣхъ поръ стали снисходить къ желаніямъ мужчинъ гораздо болѣе прежняго». Такъ обошелся Боккаччьо съ сюжетомъ загробной легенды, вынося изъ нея не угрызенія совѣсти, а призывъ къ любви. Такъ и въ новеллѣ о двухъ сіэнцахъ [2]), построенной на такихъ-же легендарныхъ мотивахъ. Тингоччьо, умершій ранѣе своего товарища Меуччьо, явившись къ нему, по уговору, изъ чистилища, приноситъ веселыя вѣсти: онъ любилъ куму и боялся за то кары, а въ чистилищѣ, оказывается, «кумы не берутся въ разсчетъ» — и Меуччьо издѣвается надъ собой, что столькихъ кумъ пощадилъ на своемъ вѣку, и, простившись съ своимъ невѣжествомъ, отнынѣ сталъ мудрѣе.

Обѣ легенды прошли въ новеллу однимъ и тѣмъ же путемъ: осталась схема и образы, но то и другое раскрылось для новаго пониманія. Принадлежитъ-ли оно Боккаччьо, или онъ выбралъ изъ готовыхъ уже обработокъ сюжета то, что пришлось ему по вкусу? Измѣненія въ новеллѣ о Настаджьо могли быть навѣяны чисто-свѣтскими представленіями, отразившимися въ Lai de trot, у Андрея Капеллана и въ каталонскомъ Salut d'amour: о пла-

1) V, 8.
2) VII, 10.

чевной участи тѣхъ, кто при жизни не внялъ голосу любви [1]). Въ такомъ случаѣ характеренъ былъ-бы выборъ, не художническій пріемъ.

Съ послѣднимъ мы знакомимся, обратившись къ источнику пятой новеллы пятаго дня. Старый лѣтописецъ Фаэнцы разсказываетъ о взятіи и разграбленіи города; одинъ красильщикъ спасается бѣгствомъ въ Кремону съ женой и двумя сыновьями, позабывъ дочку двухъ или трехъ лѣтъ. Двое братьевъ названыхъ, fratres jurati, разграбили его домъ, одинъ изъ нихъ, родомъ изъ Пармы, захватилъ съ собой дѣвочку; по его смерти его товарищъ воспитываетъ ее; въ Кремонѣ, куда онъ вернулся, всѣ считаютъ ее его дочерью. Здѣсь въ нее влюбился молодой кремонскій дворянинъ—и ея собственный братъ; между ними происходитъ ссора, привлекшая, въ числѣ прочихъ, и пріемнаго отца. Признаніе совершается внезапно и не мотивировано: пріемный отецъ дѣвушки неожиданно спрашиваетъ ея брата, кто онъ и что привело его въ Кремону; шрамъ, оказавшійся за ухомъ красавицы, помогаетъ разъяснить дѣло, и разсказъ кончается ея бракомъ съ кремонскимъ дворяниномъ.

Боккаччьо отнесся къ этому сюжету съ тактомъ настоящаго разсказчика: до второй половины новеллы мы остаемся въ убѣжденіи, что дѣвушка—дочь одного изъ двухъ ломбардцевъ, отвѣчающихъ безыменнымъ солдатамъ лѣтописи; мы не ожидаемъ развязки, тѣмъ она интереснѣе. Умирая, Гвидотто оставляетъ своему пріятелю Джьякомино, «дѣвочку, лѣтъ, можетъ быть десяти». Джьякомино поселяется съ нею въ Фаэнцѣ, гдѣ за ней ухаживаютъ Джьянноле и Мингино. Изъ пріятелей они становятся врагами; оба присватались-бы къ ней, еслибъ было на то согласіе родителей, и вотъ каждый изъ нихъ задумалъ овладѣть ею тѣмъ способомъ, который будетъ ему удобнѣе. Боккаччьо отдалилъ такимъ образомъ мотивъ ссоры, чтобы вставить эпи-

1) Сл. мою: Novella della figlia del re di Dacia стр. 41 слѣд. и P. Meyer, Romania 78: Nouvelles catalanes inédites v. 406 слѣд.

зодъ, раскрывающій передъ нами итальянскій intérieur Джьякомино, съ старой, досужей служанкой и потѣшнымъ, добродушнымъ слугой Кривелло; ихъ вмѣшательство напоминаетъ помощную роль паразитовъ въ любовныхъ интригахъ римской комедіи. Влюбленные молодые люди обращаются къ ихъ помощи, одинъ къ слугѣ, другой къ служанкѣ, и тѣ обѣщаютъ провести ихъ къ дѣвушкѣ, когда отца не будетъ дома. Насталъ урочный часъ, Джьянноле и Мингино на сторожѣ, ждутъ условленнаго знака, а между тѣмъ Кривелло и служанка стараются услать другъ друга: Зачѣмъ не пойдешь ты теперь спать, зачѣмъ путаешься по дому?—А ты зачѣмъ не идешь за своимъ хозяиномъ, чего ждешь, коли уже поужиналъ? — Когда Джьянноле проникъ къ дѣвушкѣ и готовится увезти ее, Мингино явился на ея крикъ и происходитъ свалка; виновники посажены въ тюрьму. На другой день, когда родственники молодыхъ людей пришли къ Джьякомино просить за нихъ, онъ изъявляетъ свою готовность, тѣмъ болѣе, что и оскорбленная дѣвушка — фаэнтинка, «хотя ни я, ни тотъ, кто поручилъ мнѣ ее, никогда не довѣдались, чья она дочь» — и онъ разсказываетъ тотъ эпизодъ о разгромѣ Фаэнцы, съ котораго лѣтописецъ началъ свой разсказъ: дѣвушка оказывается пріемышемъ Гвидотто и взята изъ дома, ограбленнаго имъ въ Кремонѣ. «Былъ тамъ въ числѣ прочихъ нѣкій Гвильельмино да Медичина, участвовавшій съ Гвидотто въ томъ дѣлѣ и отлично знавшій, чей домъ ограбилъ Гвидотто». Увидѣвъ въ толпѣ его хозяина, онъ окликнулъ его: Слышь, Бернабуччьо, что говоритъ Джьякомино? Тому вспоминается его потерянная дочка; это навѣрно она и есть, подсказываетъ Гвильельмино; не помнишь-ли у ней какой-нибудь примѣты? — У нея былъ шрамъ, въ видѣ крестика, надъ лѣвымъ ухомъ. — Признаніе спѣшитъ къ концу: Бернабуччьо проситъ показать ему дѣвушку, пораженъ ея сходствомъ съ матерью, нашелся и шрамъ. Это, братецъ, дочь моя! обращается онъ къ Джьякомино, и дѣвушка, движимая тайной силой, не противится его объятіямъ и плачетъ вмѣстѣ съ нимъ.

Въ концѣ новеллы Боккаччьо по обыкновенію, всѣхъ устраи-

ваетъ: является жена Бернабуччьо, родственники, заключенные выпущены, даже Мингино женятъ. Эго, можетъ быть, лишнее, но въ общемъ получилась, вмѣсто сухого разсказа, живая картина съ бытовыми подробностями, не разсказъ третьяго лица, начинающаго съ начала, потому что онъ успѣлъ все узнать и расположить въ послѣдовательности, а яркій фактъ, какъ онъ захватываетъ васъ въ дѣйствительности, послѣдовательно, иногда нечаянно раскрываясь въ своихъ причинахъ и слѣдствіяхъ.— Концентрація дѣйствія, начало разсказа изъ средины, — житейское наблюденіе и вмѣстѣ художественный пріемъ; чѣмъ рѣже прибѣгаетъ къ нему Боккаччьо, тѣмъ любопытнѣе его отмѣтить.

Другія, не художественныя соображенія вызываетъ знаменитая новелла о трехъ кольцахъ [1]), прототипъ Натана Мудраго Лессинга. Она раскроетъ намъ другіе интересы, связанные съ вопросомъ объ источникахъ Декамерона.

Въ еврейской средѣ сложился разсказъ, который Саломонъ бенъ Верга (XV в.) пріурочилъ къ аррагонскому королю Донъ Педро Старшему (1094—1104). Король задаетъ одному еврею вопросъ: какая изъ двухъ религій лучше, христіанская или еврейская. Тотъ сначала отвѣчаетъ уклончиво, затѣмъ, попросивъ трехъдневной отсрочки, является, разсерженный, и разсказываетъ слѣдующее: Мѣсяцъ тому назадъ уѣхалъ мой сосѣдъ, оставивъ двумъ своимъ сыновьямъ два драгоцѣнныхъ камня. Прійдя ко мнѣ, они попросили меня объяснить имъ свойства и особенностя камней, и когда я отвѣтилъ, что никто не въ состояніи лучше это сдѣлать, какъ отецъ-ювелиръ, они выбранили меня и побили.—Король говоритъ, что братья поступили дурно и заслуживаютъ наказанія, а еврей примѣняетъ свою притчу къ Исаву и Іакову и Отцу-небесному, великому ювелиру, который одинъ лишь знаетъ отличіе камней.

Третій камень или перстень въ какой-нибудь разновидности этого разсказа распространилъ сравненіе: вопросъ касался уже

1) I, 3.

не двухъ, а трехъ религій. Въ Римскихъ дѣяніяхъ [1]) и въ старофранцузской притчѣ [2]) онъ сталъ рѣшаться въ откровенно христіанскомъ смыслѣ: нѣкто, умирая, оставляетъ своимъ тремъ сыновьямъ по перстню; перстни похожи другъ на друга, но между ними настоящій, драгоцѣнный, лишь одинъ. По смерти отца поднимается между братьями споръ, ибо каждый стоялъ за подлинность своего перстня. Происходитъ испытаніе: только одинъ изъ перстней проявляетъ надъ больными свою цѣлительную силу, другіе бездѣйственны. — Толкованіе притчи такое: отецъ — Господь нашъ Іисусъ Христосъ, три сына — іудеи, сарацины и христіане; лишь послѣдніе владѣютъ чудодѣйственнымъ перстнемъ.

Ближе къ настроенію еврейской легенды двѣ итальянскія, добоккачьевскія; какъ тамъ, вопросъ о преимуществѣ одного изъ трехъ камней, перстней, религій оставленъ открытымъ; разсказываетъ и толкуетъ притчу еврей, его совопросникъ — Саладинъ, типъ рыцарственнаго, свободомыслящаго, великодушнаго властителя, перешедшій изъ среднихъ вѣковъ въ разсказы Novellino и къ Боккачьо [3]). Преданіе о немъ, внесенное въ хронику Ененкеля, объясняетъ его роль въ слѣдующихъ новеллахъ: разсказывается, что, умирая, Саладинъ задумалъ обезпечить посмертную участь своей души, велѣвъ расколоть на три части драгоцѣнный, доставшійся отъ предковъ, столъ изъ сапфира, и завѣщавъ по части верховному существу, котораго почитала каждая изъ трехъ господствующихъ религій. Эта объективная точка зрѣнія уступила христіанской въ двухъ повѣстяхъ, одинаково пріуроченныхъ къ смерти Саладина: въ Chronique d'Outremer (XIII в.) онъ вызываетъ на споръ багдадскаго калифа, іерусалимскаго патріарха и еврейскихъ мудрецовъ: ему хочется узнать, какой изъ трехъ законовъ лучше. Споръ его не убѣдилъ,

1) С. 89 ed. Oesterley.

2) Dis dou vrai aniel (1210—1294). Разсказъ Étienne de Bourbon является развитіемъ и вмѣстѣ искаженіемъ типа Gesta и французской притчи.

3) Дек. I, 3; X, 9.

но распредѣляя между тремя религіями свое достояніе, онъ все-же завѣщаетъ лучшую часть христіанамъ. Въ одномъ латинскомъ сборникѣ XIII вѣка говорится о такомъ-же преніи. Моя вѣра лучше, утверждаетъ еврей, еслибъ мнѣ пришлось ее оставить, я избралъ бы христіанскую, пошедшую отъ нея. Таковъ и отвѣтъ мусульманина, одинъ лишь христіанинъ заявляетъ, что отъ своей вѣры онъ ни за что не отступится — и это дѣйствуетъ на Саладина: христіанство выше другихъ религій, говоритъ онъ, я избираю его [1]).

Итальянскія легенды соединяютъ имя Саладина съ схемой трехъ перстней, но христіанскаго освѣщенія въ нихъ нѣтъ. Novellino [2]) разсказываетъ: Когда однажды Саладинъ былъ въ денежной нуждѣ, ему посовѣтовали обойти одного богатаго еврея и затѣмъ обобрать его. Саладинъ задаетъ ему вопросъ, какая вѣра лучше, полагая, что если онъ укажетъ на еврейскую, его уличатъ въ приниженіи мусульманства, если предпочтетъ его, его можно будетъ спросить, почему же онъ держится еврейской вѣры. Еврей отвѣчаетъ притчей объ отцѣ и трехъ сыновьяхъ и драгоцѣнномъ перстнѣ: каждый изъ сыновей пристаетъ къ отцу съ просьбой завѣщать ему этотъ перстень; тогда отецъ заказываетъ золотыхъ дѣлъ мастеру сдѣлать еще два, совершенно схожихъ съ настоящимъ, и, умирая, каждому изъ сыновей даритъ наединѣ по перстню. У кого изъ нихъ настоящій, про то знаетъ лишь ихъ отецъ. Такъ и религій три, Отецъ нашъ вѣдаетъ, какая изъ нихъ истинная, а мы, его дѣти, полагаемъ, что истинная вѣра именно та, которую каждый изъ насъ держитъ.

Въ L'avventuroso Ciciliano [3]) мѣсто дѣйствія въ Вавилоніи, имя еврея Ансалонъ; Саладинъ, которому необходимы были деньги для войны съ христіанами, ставитъ ему коварный вопросъ — о трехъ религіяхъ; отвѣтъ и толкованіе тѣ-же: одинъ лишь изъ

1) G. Paris, l. c. стр. 14—15.
2) № CXI, ed. Biagi.
3) Ed. Nutt, стр. 455—6.

трехъ перстней настоящій, одна изъ трехъ вѣръ истинная; какая — я не знаю: отецъ отдалъ настоящій перстень тому, кого пожелалъ имѣть своимъ наслѣдникомъ.

Новелла Боккаччьо лишь стилистическое развитіе схемы итальянскихъ. Дѣйствующія лица—Саладинъ, султанъ Вавилона или Вавилоніи, растратившій свою казну въ различныхъ войнахъ и большихъ расходахъ — и александрійскій еврей Мельхиседекъ. Три перстня примѣнены къ тремъ законамъ, «которые Богъ-Отецъ далъ тремъ народамъ...; каждый народъ полагаетъ, что онъ владѣетъ наслѣдствомъ и истиннымъ закономъ, велѣнія котораго обязанъ исполнять; но который изъ нихъ имъ владѣетъ — это такой-же вопросъ, какъ и о трехъ перстняхъ».

Къ новому освѣщенію вопроса, скрытаго подъ аллегоріей трехъ перстней, новелла Боккаччьо ничего не принесла; къ характеристикѣ его религіознаго міросозерцанія она могла бы послужить лишь въ томъ случаѣ, еслибъ дозволено было предположить съ его стороны выборъ между ортодоксальной версіей Римскихъ Дѣяній и итальянскими, оставляющими рѣшеніе открытымъ. Боккаччьо могъ просто воспользоваться послѣдними, потому что онѣ были подъ рукою, ходили въ обществѣ, какъ и теперь еще разсказъ о трехъ кольцахъ извѣстенъ въ Сициліи и Умбріи. Если онъ нѣсколько разъ обрабатывался въ итальянской литературѣ XIII—XIV вѣка, то заключать изъ того о началахъ религіозной терпимости въ общественной средѣ надо лишь осторожно. Повѣсть носитъ на себѣ печать своего происхожденія, не даромъ ее разсказываетъ еврей: такой апологъ могъ быть сложенъ лишь иновѣрцемъ, поставленнымъ въ необходимость считаться съ тираннiей господствующей или торжествующей церкви, не противорѣча — и не сдаваясь, робко заявляя и свое право на исканіе истины; «не однимъ лишь путемъ можно дойти до познанія столь важной тайны» [1]), говорилъ Симмахъ, защищая вѣру предковъ отъ побѣдоноснаго христіанства. Та-

1) Uno itinere non potest perveniri ad tam grande secretum.

ково и настроеніе апологa: онъ мыслимъ въ религіозныхъ отношеніяхъ Испаніи и южной Италіи арабско-норманской поры; въ основѣ это апологъ страха, не свободной мысли, онъ могъ отвѣтить ея чаяніямъ, на сколько вообще сожительство разныхъ религіозныхъ толковъ ведетъ къ уступкамъ и ослабленію односторонняго гнета, но лишь у Лессинга рамки старой притчи раскрылись для болѣе широкаго и человѣчнаго положенія. Между наивнымъ разсказомъ Novellino и Натаномъ Мудрымъ прошли вѣка развитія, какъ между эпизодомъ одной грузинской, очевидно, христіанской легенды и сценой въ Cymbalum Mundi Bonoventure Des Périers.

Въ легендѣ разсказывается о бѣдномъ старикѣ, который ропщетъ на судьбу и котораго ангелъ переноситъ соннаго въ рай. Здѣсь ему представляется рядъ аллегорическихъ видѣній; одно изъ нихъ такое: люди тянутъ огромный камень въ разныя стороны и не могутъ сдвинуть съ мѣста; камень означаетъ Бога, тѣ, кто тащатъ его, одни — грузины, другіе — русскіе, третьи татары; каждый старается захватить его, каждый хвалитъ свою вѣру, а о томъ никто не подумаетъ, что Богъ одинъ для всѣхъ и что отдѣльно онъ никому не принадлежитъ.

Des Périers переноситъ насъ Аѳины, въ навечеріи вакханалій; Меркурій гуляетъ съ пріятелемъ по городу, заходитъ въ циркъ, гдѣ три человѣка бродятъ, отыскивая въ пескѣ осколковъ философскаго камня — откровенной истины; имена искателей: Cubercus (Bucerus), Rhetulus (Lutherus), Drarig (Gérard Roussel) говорятъ сами за себя; а философскій камень раздробилъ самъ Меркурій. Неблагоразумны вы, говоритъ онъ ищущимъ, что такъ трудитесь и стараетесь, выискивая въ пескѣ кусочка камня, обращеннаго въ порошекъ; вы только время тратите даромъ на то, чего нельзя найти, чего, быть можетъ, тамъ и нѣтъ. Скажите однако, вы вѣдь говорите, что самъ Меркурій раздробилъ камень и разбросалъ по цирку? — Да, Меркурій. — Бѣдные вы люди, вѣрите Меркурію, великому вчинателю всѣхъ злоупотребленій и обмановъ! Развѣ не знаете вы, что онъ своими дово-

дами и убѣжденіями заставитъ васъ принять пузыри за фонари и мѣдныя сковороды за облака? Неужели-же у васъ не явилось сомнѣніе, что онъ могъ дать вамъ какой нибудь булыжникъ съ поля или песку, увѣривъ, что это и есть философскій камень, дабы посмѣяться надъ вами и потѣшиться надъ вашими усиліями, гнѣвомъ и распрями, пока вы чаете отыскать то, чего нѣтъ?

На новеллѣ о трехъ кольцахъ слѣдовало остановиться: на ней основывали, какъ извѣстно, мнѣніе о религіозной терпимости Боккаччьо; мы искали въ ней отраженія его личнаго пониманія стараго унаслѣдованнаго сюжета, и не нашли его новаторомъ. Иначе въ повѣсти о ларцахъ [1]), гдѣ фатализмъ народной сказки испарился въ ея назидательномъ примѣненіи. Непосредственнаго источника новеллы, къ которому восходитъ, вѣроятно, и Гауеръ [2]), мы не знаемъ. Флорентійскій рыцарь Руджьери служитъ у испанскаго короля Альфонса, видитъ, что онъ даритъ щедро, но не по заслугамъ, а его самого обходитъ. Полагая, что это служитъ къ умаленію его славы, онъ рѣшился покинуть дворъ, и король отпускаетъ его, подаривъ ему мула и наказавъ одному своему приближенному присосѣдиться къ рыцарю, какъ-бы ненарокомъ, замѣчать все, что онъ станетъ говорить, а на другое утро вернуть его ко двору. По дорогѣ они остановились, чтобы дать помочиться лошадямъ, но конь Руджьери сдѣлалъ это не въ показанномъ мѣстѣ, а среди рѣки, гдѣ они остановились поить. Богъ тебя убей, тварь ты этакая, совсѣмъ, какъ твой хозяинъ! — Ближній человѣкъ замѣтилъ эти слова, и когда на другой день они вернулись ко двору, король попросилъ Руджьери объяснить ему свое обращеніе къ мулу. Я сравнилъ васъ съ нимъ, отвѣчаетъ Руджьери, потому что какъ вы дарите кому не слѣдуетъ, и не даете, гдѣ надо, такъ и онъ не помочился, гдѣ надо было, а тамъ, гдѣ не подобало. — Не моя въ томъ вина, а въ твоей долѣ, не дозволявшей

1) X, 1.

2) Confessio amantis, l. V (ed. Reinhold Pauli, v. II, стр. 203 слѣд.).

мнѣ одарить тебя. Что это такъ, я докажу тебѣ на дѣлѣ, говоритъ король и ведетъ его въ обширный покой, гдѣ по его приказанію поставили два большихъ запертыхъ ларца: въ одномъ изъ нихъ царскій вѣнецъ и скипетръ, держава и всякія драгоцѣнности, другой полонъ земли; выбери, какой хочешь, и посмотри, я ли несправедливъ къ твоимъ доблестямъ, или твоя доля. Выборъ Руджьери падаетъ на ларецъ съ землею, но король рѣшается воспротивиться усиліямъ судьбы и, подаривъ Руджьери ларецъ, котораго она его лишила, отпускаетъ его домой.

Мотивъ двухъ или трехъ ларцевъ, всегда связанный съ идеей судьбы, нѣсколько поднятый въ своемъ значеніи въ Венеціанскомъ купцѣ Шекспира, встрѣчается въ разныхъ сказочныхъ пріуроченіяхъ [1]). Для источника Боккаччьо важна болѣе опредѣленная схема: служилаго человѣка, отпущеннаго безъ награды, потому что такова его судьба.

Въ Avventuroso Ciciliano [2]) нѣкій рыцарь служитъ у англійскаго короля и также считаетъ себя обойденнымъ его милостью, тогда какъ другіе одарены безъ разбора. Слѣдуетъ эпизодъ съ муломъ, котораго рыцарь убиваетъ: такъ отомстилъ-бы онъ его хозяину! Король прослышалъ объ этомъ и, узнавъ, въ чемъ дѣло, богато одаряетъ рыцаря. Эпизода съ ларцами нѣтъ, онъ скорѣе выпалъ въ оригиналѣ повѣсти, нѣсколько скомканной, чѣмъ былъ введенъ Боккаччьо.—Подобная же схема могла быть извѣстна автору нѣмецкаго Руодлиба и лишь разбиться въ его изложеніи: Руодлибъ служитъ вѣрой и правдой нѣсколькимъ господамъ, но ничего не заслужилъ у нихъ; тогда онъ рѣшается поискать счастья на чужбинѣ, у «большого царя», который, отпуская его отъ себя, предлагаетъ ему на выборъ: одарить его казной, либо мудрыми изреченіями. Руодлибъ выбираетъ послѣд-

1) Къ указаніямъ Ландау (Die Quellen des Decamerone) слѣдуетъ присоединить: Tractatus de diversis historiis Romanorum et quibusdam aliis, ed. Herzstein (Erlangen 1893), cap. 29 и прим. Статья Landau (Shakspeares Kaufmann v. Venedig) въ Beilage 83 и 84 къ мюнхенской Allgemeine Zeitung 1892 года осталась мнѣ неизвѣстной.

2) l. c. стр. 248—251.

*

нее, но царь даетъ ему еще два серебряные, снаружи обмазанные тѣстомъ, коровая, наполненные золотомъ и разными драгоцѣнностями, содержимаго которыхъ онъ не знаетъ, но которые онъ долженъ вскрыть въ присутствіи матери и невѣсты. Короваи отвѣчаютъ ларцамъ [1]) и, быть можетъ, стояли прежде въ связи съ мотивомъ, что Руодлибъ удалился, ничего не заслуживъ.

Идея «доли», затушеванная въ Avventuroso Ciciliano и Руодлибѣ, выступаетъ ярко въ повѣсти Катһа-Саритъ-Сагара: въ городѣ Лакшапурѣ жилъ царь Лакшадатта, всѣхъ щедро одарявшій, и былъ у него слуга, по имени Лабдһадатта, день и ночь стоявшій у воротъ, съ полосой кожи на бедрахъ, вмѣсто одѣянія, но царь ничего не давалъ ему, хотя видѣлъ его храбрость на охотѣ и въ битвѣ. На шестой годъ онъ ощутилъ къ нему жалость: Почему бы не дать мнѣ ему чего-нибудь, но скрытно, чтобы испытать, искуплена-ли его вина и обратитъ-ли на него свой ликъ счастливая доля, или нѣтъ? Въ присутствіи всѣхъ онъ дружелюбно подозвалъ его къ себѣ и велитъ ему произнести какое-либо свое изреченіе. Тотъ говоритъ: Счастье всегда нисходитъ на человѣка состоятельнаго, какъ рѣки наполняютъ море, а бѣдняку не показывается и на глаза. Въ награду за это царь даетъ ему лимонъ, наполненный драгоцѣнностями, о чемъ присутствующіе сожалѣютъ, полагая, что то простой лимонъ. Какой-то нищій выпрашиваетъ его у слуги, въ обмѣнъ платья, и подноситъ царю, который удивленъ и опечаленъ, что вина бездольнаго еще не стерта. На слѣдующій день повторяется та-же сцена дара и обмѣна; такъ и въ третій разъ; на четвертый бездольный роняетъ лимонъ, драгоцѣнности изъ него выкатились, а царь говоритъ: Этой хитростью я хотѣлъ дознаться, взглянетъ-ли на него счастье, или нѣтъ; теперь его вина стерта. И онъ одаряетъ и возвышаетъ бѣдняка [2]).

Если въ индійской повѣсти выборъ изъ нѣсколькихъ ларцевъ замѣненъ рядомъ неудачъ съ однимъ и тѣмъ-же даромъ, то рус-

1) Какъ въ Gesta Romanorum, ed. Oesterley № 109.

2) Tawney, Kátha Sárit Sagara, I, стр. 515 слѣд.

ская сказка возвращаетъ насъ къ сценѣ Боккаччьо, но съ инымъ разрѣшеніемъ: Данило служитъ у царя, но ему ни въ чемъ не везетъ, и дѣло у него не спорится. Взялъ царь, насыпалъ три бочки, одну золотомъ, другую углемъ, третью пескомъ, и говоритъ Данилѣ: Коли выберешь золото, быть тебѣ царемъ, коли уголь — ковалемъ, а если песокъ, то взаправду ты несчастный: бери себѣ коня и сбрую и уходи изъ моего царства. Данило выбралъ себѣ бочку съ пескомъ.

Подобный народный разсказъ могъ быть источникомъ новеллы Боккаччьо; онъ не измѣнилъ его сути, но ея фаталистическое содержаніе служитъ ему примѣромъ щедрости или великодушія испанскаго короля, какъ въ другомъ случаѣ та-же идея неизбѣжности судьбы получила у него своеобразное освѣщеніе: судьбы, обусловленной роковой красотою.

Мы имѣемъ въ виду прелестную новеллу объ Алатіэль [1]); ея имена [2]) и мѣсто дѣйствія [3]) указываютъ, можетъ быть, на арабскій востокъ; приключенія напоминаютъ отчасти канву романа Ксенофонта Эфесскаго и одну сказку 1001-й ночи, тамъ и здѣсь съ сюжетомъ красавицы, Антіи или Сирійки, подвергающейся на далекихъ путяхъ и среди тысячи случайностей опасности потерять свою честь — и остающейся цѣломудренной. У Боккаччьо остается лишь внѣшній видъ, завѣреніе цѣломудрія, видимость идетъ за суть, все дѣло въ вѣрѣ; и почему бы нѣтъ, когда, по пословицѣ, уста отъ поцѣлуя не умаляются, а какъ мѣсяцъ обновляются? Это героическая повѣсть на изнанку, торжествуетъ не добродѣтель, а нѣчто другое, чего мы не назовемъ порочностью: въ немъ слишкомъ много наивнаго, безсознательнаго, невмѣняемаго. Надо было сильно переработать типъ невинной красавицы, преслѣдуемой рядомъ злополучій, чтобы придти къ такому радикальному его превращенію, но очень вѣроятно, что Боккаччьо имѣлъ

1) Дек. II, 7.

2) Алатіэль, Беминадабъ.

3) Вавилонія = Каиръ, Александрія, Аѳины, Смирна, Хіосъ и т. д.

*

ввиду не разсказы этого рода, а какой-нибудь другой, въ которомъ роковое нецѣломудріе было основной ситуаціей. Такова повѣсть Катһа-Саритъ-Сагара, которая могла дойти до Боккаччьо въ отраженіи какого-нибудь мусульманскаго пересказа [1]). Самара, король Видьядгаровъ, проклялъ свою дочь Анангапрабгу за то, что въ самомнѣніи своей красоты и юности она отказывалась отъ брака: она сойдетъ на землю, станетъ человѣческимъ существомъ и никогда не будетъ счастлива въ супружествѣ. Она родится подъ именемъ Анангарати, какъ дочь короля Магавараха'и, и также обнаруживаетъ неохоту къ браку, чванясь своей красотой: ея мужемъ долженъ быть человѣкъ красивый, храбрый, обладающій какимъ-нибудь диковиннымъ умѣньемъ. Являются четыре соискателя: одинъ судра, чудесный ткачъ, второй — ваисья, понимающій языкъ всѣхъ звѣрей и птицъ, третій — кшатрія, всѣхъ превосходящій умѣньемъ владѣть мечемъ, четвертый — брахманъ Дживадатта, некрасивый собою вслѣдствіе тяготѣющаго на немъ проклятія (онъ полюбилъ дочь одного отшельника), поклонникъ богини Дурги, силой которой онъ оживляетъ мертвецовъ. Никто изъ нихъ не нравится красавицѣ, да и астрологъ объявляетъ, что она — видьядгара, проклятіе которой кончится черезъ три мѣсяца, и ея бракъ совершится на небѣ. Въ означенный срокъ дѣвушка дѣйствительно обмираетъ, и Дживадатта въ отчаяніи, что не въ силахъ ее оживить, готовъ убить себя, когда является Дурга, останавливаетъ его, вѣщаетъ о долѣ Анангапрабги и даетъ ему мечъ, съ помощью котораго онъ станетъ переноситься по воздуху и будетъ непобѣдимъ. Дживадатта летитъ въ царство отца Анангапрабги, побѣждаетъ его въ бою и понуждаетъ выдать за него дочь. Нѣкоторое время онъ живетъ съ нею счастливо, но затѣмъ ему захотѣлось вернуться на землю, въ смертный міръ, на что дальновидная жена соглашается лишь неохотно. По ея просьбѣ они останавливаются отдохнуть на горѣ; здѣсь начинаются любовныя приключенія Анангапрабги. Первое напоминаетъ мотивъ, знако-

1) Tawney, l. c. I, стр. 498 слѣд.

мой средневѣковой повѣсти и народной, напр. сербской пѣснѣ: влекомый рокомъ, Дживадатта проситъ жену спѣть что-нибудь; самъ онъ заснулъ, а пѣсня привлекаетъ вниманіе короля Гаривары, охотившагося тамъ и искавшаго, гдѣ-бы напиться. Онъ увлеченъ красавицей, она безумно влюбилась въ него, сама открывается ему, велитъ взять волшебный мечъ мужа и побуждаетъ къ бѣгству, пока тотъ не проснулся. У нея явилась было мысль схватить своего милаго и улетѣть съ нимъ на небо, но ея предательство лишило ея знанія, вспомнилось и проклятіе отца, и она опечалилась. Король утѣшаетъ ее: отъ судьбы не уйти, какъ отъ своей собственной тѣни. Она уѣзжаетъ съ нимъ, а мужъ, проснувшись, хватился ея и меча, загоревалъ, ищетъ на горѣ и въ лѣсахъ, но напрасно. Въ одной деревнѣ онъ встрѣтилъ брагманку; она — вѣщая, потому что даже во снѣ ей не видится никто, кромѣ мужа, всѣ мужчины ей братья, и она не отпускаетъ ни одного гостя, не учествовавъ его. Она-то и говоритъ Дживадаттѣ, что его жена увезена: такова ея судьба, что она покинетъ и короля и будетъ жить съ другими. Эти слова вразумили Дживадатту: онъ оставилъ мысль о женѣ, начинаетъ странствовать по святымъ мѣстамъ и вести жизнь отшельника.— Между тѣмъ Анангапрабга убѣгаетъ отъ Гаривары съ учителемъ танцевъ, котораго оставляетъ для молодаго игрока, а у него ее отбиваетъ его пріятель, богатый купецъ Гираньягупта. Услышалъ объ ея несравненной красотѣ царь Вирабаху, но не похитилъ ее, а остался въ предѣлахъ честности. Когда Гираньягупта прожился, поѣхалъ торговать, чтобъ поправить свои дѣла; въ одномъ городѣ онъ знакомится съ рыбацкимъ атаманомъ Сагараварой и съ нимъ и съ женой садится на корабль; буря разбиваетъ его, Гираньягупту приняло купеческое судно, а рыбакъ посадилъ Анангапрабгу на доски, связанныя веревкой, и доплылъ съ ней до своего города, гдѣ она и стала его женой. Но она уходитъ отъ него съ однимъ кшатріей, а затѣмъ отдается королю Сарагаварману. Тутъ кончилось и проклятіе, бывшее причиной того, что она, погнушавшаяся однимъ мужемъ, проявила

такую страстность ко многимъ мужьямъ: она успокоилась съ своимъ супругомъ, какъ на лонѣ моря успокаиваются рѣки.

Въ новеллѣ Боккаччьо нѣтъ вступительнаго эпизода съ проклятіемъ, объясняющимъ роковую долю красавицы, но идея судьбы выражена ясно: Памфило желаетъ доказать своимъ разсказомъ, что ни одно человѣческое желаніе не застраховано отъ случайностей судьбы, и говоритъ о «роковой красотѣ одной сарацинки, которой, по причинѣ ея красоты, пришлось въ какіе-нибудь четыре года, сыграть свадьбу до девяти разъ» [1]). Алатіэль отправлена отцемъ, султаномъ Вавилоніи, въ замужство къ королю дель Гарбо, но ея корабль разбитъ бурей, и она поочередно попадаетъ въ руки Периконе да Висальго, его брата, генуэзскихъ корабельщиковъ, морейскаго принца, аѳинскаго герцога, сына константинопольскаго императора, султана Осбека, его приближеннаго Антигона, купца изъ Кипра—и наконецъ своего нареченнаго жениха, котораго она завѣрила въ своей дѣвственности и съ которымъ долгое время жила въ веселіи. На меня это ироническое заключеніе съ слѣдующей затѣмъ легкомысленной выходкой—объ устахъ, не умаляющихся отъ поцѣлуя—дѣйствуетъ, какъ сознательный диссонансъ, неожиданно разрѣшающій мелодію фатализма. Онъ наполняетъ новеллу объ Алатіэль; нѣтъ проклятія отца, его замѣнила идея красоты, культъ которой обновился съ обновленіемъ гуманистическихъ интересовъ. Она—неотразима: Фьямметта, покинутая Памфило, видитъ въ ней свое несчастье [2]), Алатіэль свой рокъ [3]). Кто бы ни увидѣлъ ее, не можетъ не влюбиться, не пожелать овладѣть ею. Когда въ концѣ разсказа, готовясь открыться служителю своего отца, Антигону, она говоритъ ему, что желала-бы скорѣе умереть, чѣмъ вести жизнь, какую вела [4]), она несомнѣнно говоритъ отъ сердца, въ полномъ сознаніи, что пережитое ею было и бѣдствіемъ и

1) Дек. l. c., перев. I, стр. 124.
2) Fiammetta, стр. 124—5.
3) Дек. l. c., перев. I, стр. 135.
4) l. c. стр. 139.

позоромъ. А между тѣмъ переживала она его какъ-то безсознательно, горюя и отдаваясь, чередуя слезы и примиренія съ судьбой. Ея любовникъ Periконе убитъ своимъ братомъ, Маратомъ, съ цѣлью овладѣть ею; она много сѣтовала о томъ, а затѣмъ, привыкнувъ къ Марату, забыла о Periконе, и ей начинаетъ казаться, что все обстоитъ благополучно [1]); сынъ константинопольскаго императора, Константинъ, похитилъ ее у аѳинскаго герцога; она оплакиваетъ свое несчастіе, «но затѣмъ, утѣшенная Константиномъ, она, по примѣру прошлаго, начала находить удовольствіе въ томъ, что уготовляла ей судьба» [2]). Она можетъ показаться вѣтреной, живущей моментами наслажденія и короткими приливами неглубокаго горя, но лишь такъ психологически понятая она и могла явиться безотчетной игрушкой судьбы, прирожденной ей съ красотою, и фаталистическій типъ народной сказки стать живымъ образомъ, симпатичнымъ въ своей человѣческой слабости.

Это «очеловѣченіе» типа мы склонны приписать художническому почину Боккаччьо; именно желаніе опредѣлить характеръ этого почина и побудило насъ сопоставить нѣсколько новеллъ Боккаччьо съ другими, которыя могли быть его источниками, но въ большей части случаевъ служатъ лишь свидѣтельствомъ, что схемы его новеллъ существовали въ болѣе раннихъ, литературныхъ и народныхъ пересказахъ. Это лишаетъ насъ возможности усчитать значеніе его личнаго вклада, сознательнаго выбора и тѣхъ измѣненій, которыя онъ счелъ нужнымъ предпринять въ *содержаніи* унаслѣдованныхъ сюжетовъ.

IV.

Попробуемъ подойти къ тому-же вопросу съ другой стороны: со стороны *стиля*.

1) l. c. стр. 129.
2) l. c. стр. 135.

Уже одно сравненіе новеллы Боккачьо съ предшествовавшимъ ему литературнымъ разсказомъ обличаетъ большую разницу: тамъ все схематично, зачаточно въ фразѣ и планѣ, здѣсь все развито, чувствуется стремленіе къ полнотѣ, нерѣдко переходящей въ излишество. Боккачьо видимо и сознательно выписываетъ новеллу, внося въ ея обработку не только свой психологическій опытъ, но и неистощимый запасъ формулъ и оборотовъ, вычитанныхъ у классиковъ. Можно сомнѣваться въ состоятельности этого сочетанія: иной разъ цицероновскій періодъ, общее мѣсто софизма кажется не въ ладу съ содержаніемъ и положеніями разсказа; рѣчь излишне разчленяется и изобилуетъ реторическимъ повтореніемъ вопроса, антитезами; эпитетъ утомляетъ своей обязательностью, преобладаніемъ превосходной степени надъ положительной: красивѣйшій, величайшій, и т. д. Мы уже знаемъ, что эта несоразмѣрность стиля и содержанія у Боккачьо древняя, начиная съ Филострато и Филоколо [1]). Цѣль искупала средства: надо было поднять прозу новеллы до правъ литературнаго рода, а гдѣ было найти для этого внѣшній стилистическій матерьялъ, какъ не у классиковъ? Они были образцами изящнаго, на нихъ воспитался культъ «украшеннаго» слова, ихъ пріемы обязывали писателя; изъ нихъ брали огульно, неразборчиво, закупленные поэзіей звучной рѣчи; они и полонили своей фразой и реторикой, и воспитывали вкусъ къ болѣе свободному творчеству.

Защита ораторскаго и риторскаго искусства у Боккачьо въ его de Casibus [2]), вызванная панегерикомъ Цицерону, переходитъ въ похвалу нарядного, мѣрнаго слова (moderata) вообще. Даръ слова—это то, что отличаетъ насъ отъ животнаго, органъ человѣческой мысли науки, говоритъ онъ; но есть два рода рѣчи: та, которой мы научаемся у кормилицы, простая, грубая, общая всѣмъ, и другая, которую безсознательно усваиваютъ немногіе уже въ лѣ-

1) Сл. выше стр. 135, 234, 257, 260—1, 422 и passim.

2) De Casibus, VI, c. 13.

тахъ, украшенная, цвѣтистая, связанная извѣстными правилами. Какой-же неразумный не предпочтетъ послѣднюю и не потщится очистить и сдѣлать изящнымъ орудіе, служащее столь высокимъ цѣлямъ? Не всегда-же мы обращаемся лишь къ слугамъ, чтобы они подали намъ пищу, не все бесѣдуемъ съ крестьяниномъ о сельскихъ нуждахъ; обращаться съ такою-же рѣчью къ Творцу неприлично, да и въ иныхъ случаяхъ неумѣлая рѣчь приводила къ нежеланной плачевной развязкѣ, ибо говорящій не владѣлъ искусствомъ слова, смотря по обстоятельствамъ, то суроваго и колкаго, то умиротворяющаго, изящнаго и красиваго или полнаго наставительности, поддержаннаго соотвѣтствующей дикціей—когда напр. надо умилостивить разгнѣваннаго властителя, развеселить печальнаго, ободрить коснѣющаго, поддержать погрязшаго въ лѣни и сладострастіи. Вотъ почему надлежитъ прилагать всякое стараніе къ украшенію рѣчи; это не только требованіе необходимости, но и простаго приличія: мы вѣдь не ограничиваемся тѣмъ, что защищаемся отъ холода и солнца крышей и стѣнами изъ дерна и тростника, а поручаемъ устройство нашихъ жилищъ ученымъ мастерамъ; ту-же заботу обнаруживаемъ мы и въ одеждѣ, утвари, пищѣ. Какъ-же пренебречь намъ рѣчью, если только найдутся учителя? Она, прельщая слухъ, увлекаетъ волю и услаждаетъ умъ. Какъ согласное созвучіе струнъ, овладѣвая нашимъ духомъ, на первыхъ порахъ какъ бы растворяетъ его своею сладостью, а затѣмъ собирается въ одинъ аккордъ, такъ украшенная рѣчь, воспринятая душою, вначалѣ нѣжно бередитъ ее и затѣмъ захватываетъ всецѣло, и слушающіе стоятъ изумленные, неподвижные, готовые отдаться говорящему.

Это, въ сущности, похвалы ораторской реторикѣ, но стилисты ранней поры возрожденія неразборчивы въ своихъ литературныхъ образцахъ, и проза Декамерона, тщательно выработанная, указываетъ на такое смѣшеніе. Именно ея стилизація является одной изъ главныхъ заслугъ Боккаччьо — хотя онъ видимо ея отрицается: защищая свои разсказы въ Введеніи къ 4-му дню, онъ говоритъ, что писалъ ихъ «не только народнымъ

флорентійскимъ языкомъ, въ прозѣ и безъ заглавія, но и, насколько возможно, скромнымъ и простымъ стилемъ» [1]). Безъ заглавія» передаетъ «senza titolo»; это точно, но требуетъ объясненія, ибо не выражаетъ того, что имѣетъ ввиду.

Декамеронъ, т. е. десятидневникъ, не заглавіе, выражающее содержаніе труда, во всякомъ случаѣ ничего не обѣщающее, скромное; это и хотѣлъ, повидимому, сказать Боккаччьо, играя двоякимъ значеніемъ латинскаго titulus: слава, извѣстность — и заглавіе. Когда-то Фьямметта превозносила его стихи con sommo titolo (предисловіе къ Тезеидѣ), т. е. давала имъ высокую цѣну; о себѣ Боккаччьо говоритъ въ одномъ изъ юношескихъ писемъ, что онъ живетъ sine titulo [2]), т. е. безъ славы, невидно; наоборотъ, выраженіе Фьямметты о своей книжкѣ, что она обойдется безъ «красивыхъ миніатюръ или пышныхъ заглавій» [3]) — передаетъ Овидіевское: Nec titulus minio notetur [4]). Изгнанный изъ Рима отчасти за свою Ars Amatoria, Овидій посылаетъ туда свой трудъ: онъ печаленъ, какъ его авторъ, не расписанъ; въ этомъ смыслѣ о немъ и говорится далѣе: у тебя нѣтъ (расписного) титула, но тебя узнаютъ по цвѣту [5]); кто тебя отринетъ, тому скажи: Взгляни на мое заглавіе, я не наставникъ любви [6]); когда вступишь въ мой домъ, увидишь своихъ братьевъ: одни открыто показываютъ свои заглавія, три другіе [7]) прячутся въ темномъ углу [8]).—Они только скрываютъ свои заглавія, будто стыдятся. Средневѣковые переписчики поняли sine titulo, какъ заглавіе, надписывая имъ три книги Amorum; такъ обозначаетъ ихъ и Боккаччьо въ комментаріи къ Божественной Комедіи: ихъ можно такъ назвать, гово-

1) Перев. I, 271.

2) Corazzini, стр. 451.

3) Fiammetta, стр. 200; сл. выше стр. 433.

4) Trist. I, 1, v. 7.

5) V. 61.

6) V. 67.

7) Три книги Amorum.

8) V. 107—112.

ритъ онъ, потому, что у нихъ не одинъ, цѣльный сюжетъ, отъ котораго можно было-бы отвлечь заглавіе, а множество, мѣняющихся отъ одного стиха къ другому [1]). Въ этомъ смыслѣ и Декаменронъ былъ бы книгой sine titulo.

Но это не все. Когда Боккаччьо впервые выступилъ на защиту своего труда, онъ, очевидно, еще не стыдился его содержанія, а заявлялъ лишь то, что говорилъ о себѣ Овидій: что на великіе сюжеты онъ не способенъ, пашетъ крохотное поле [2]); въ такомъ случаѣ выраженіе senza titolo означало бы, что Декамеронъ написанъ «безъ претензій», не про тѣхъ, кто учился въ Аѳинахъ, Болоньѣ или Парижѣ, не для изощрившихъ свой умъ въ наукахъ, а на потѣху молодухъ, для которыхъ «было-бы глупо выискивать и стараться изобрѣтать вещи очень изящныя и полагать большія заботы на слишкомъ размѣренную рѣчь» [3]); надо было разсказывать пространно, имѣя въ виду не учащихся, а тѣхъ, «которыхъ едва хватаетъ на прялку и веретено» [4]). И вмѣстѣ съ тѣмъ въ «заключеніи» Декамерона Боккаччьо нашелъ нужнымъ оговорить именно свой стиль, изложеніе; онъ, стало быть, дорожилъ тѣмъ и другимъ, и мы вправѣ сомнѣваться въ его искренности. Намъ знакома его скромность, всегда подбитая сознаніемъ, что у него есть право на зависть. Онъ писалъ безъ претензіи, а «бурный и пожирающій вихрь зависти», долженствующій «поражать лишь высокія башни и болѣе выдающіяся вершины деревьевъ», поразилъ и его, всегда старавшагося «идти не то что полями, но и глубокими долинами» [5]). Но одна лишь посредствѐнность не знаетъ зависти» [6]), и «потому, да умолкнутъ хулители», оставивъ его при своемъ [7]). Такъ говорятъ

1) Сл. Com. sopra la D. C. I, стр. 329.

2) Trist. II, 327 слѣд.

3) Дек. Заключеніе = пер. II, стр. 334.

4) l. c. = пер. II, стр. 335; Дек. X, 6 = пер. II, стр. 270.

5) Введеніе въ четвертый день = пер. I, стр. 271.

6) Ib. 272.

7) Ib. 277.

лишь о томъ, чему даютъ извѣстную цѣну; цѣну относительную: Декамеронъ дописывался въ ту пору, когда Боккаччьо обуяла исключительная любовь къ классической, латинской поэзіи и его итальянскія произведенія казались ему чѣмъ то ребяческимъ и жалкимъ. Въ этомъ, можетъ быть, другое, на этотъ разъ искреннее объясненіе его собственной оцѣнки Декамерона: безъ претензіи; всѣ вмѣстѣ могли быть вызваны критикой, которую встрѣтила его книга при своемъ появленіи.

Какъ старательно трудился Боккаччьо надъ стилемъ и композиціей Декамерона, иное развивая, иное выключая, въ этомъ легко убѣдиться сравнивъ напр. типы стариковъ въ Амето [1]) и Декамеронѣ II, 6, и двѣ новеллы, дважды обработанныя авторомъ на разстояніи какихъ нибудь десяти лѣтъ: въ Филоколо, кн. V, въ эпизодѣ любовныхъ бесѣдъ, которыми руководитъ Фьямметта [2]), и въ десятомъ днѣ Декамерона, въ новеллахъ 4-й и 5-й. Содержаніе первой пары разсказовъ, мотивы которыхъ попали, вѣроятно, изъ какого-нибудь еврейскаго источника и въ нашу Палею, слѣдующее: нѣкій рыцарь тщетно ухаживаетъ за женой другого; чтобы отвязаться отъ него, она ставитъ ему, какъ условіе своей любви, требованіе, исполненіе котораго кажется ей невозможнымъ: доставить ей въ генварѣ цвѣтущій садъ. Рыцарь исполняетъ это съ помощью некроманта, и красавица смущена; вывѣдавъ отъ нея причину ея печали, мужъ настаиваетъ на томъ, чтобъ она сдержала свое слово, и она идетъ; когда рыцарь узнаетъ, что она явилась къ нему лишь по желанію мужа, онъ, пораженный его великодушіемъ, отказывается отъ своихъ правъ, а некромантъ, въ борьбѣ того-же чувства, отъ платы, выговоренной за его услугу. Кто изъ троихъ проявилъ болѣе великодушія: мужъ, рыцарь или волшебникъ? Объ этомъ долго разсуждаютъ собесѣдники въ Филоколо [3]); въ Декамеронѣ, гдѣ

1) Въ разсказѣ Агапе, сл. выше стр. 282 слѣд.

2) Вопросы IV и XIII.

3) Кн. V, вопросъ IV.

этому разсказу отвѣчаетъ 5-ая новелла 10-го дня, этотъ вопросъ едва намѣченъ [1]). Филоколо помѣщаетъ мѣсто дѣйствія въ Испаніи; въ Декамеронѣ географія другая: Фріули, и именно Удине; всѣ дѣйствующія лица, кромѣ некроманта, названы по именамъ, въ Филоколо только два, и имена другія: рыцарь Тарольфо и некромантъ Тебано. Одно новое лицо введено въ новеллу Декамерона: женщина, которая служитъ рыцарю для посылокъ къ его дамѣ и передаетъ ему объ ея желаніи — имѣть чудесный садъ; но это мелочная подробность, ничуть не обогащающая дѣйствія. Важнѣе выключеніе цѣлаго эпизода изъ новеллы въ Филоколо, занимающаго почти ея половину. Въ Декамеронѣ рыцарь посылаетъ по всѣмъ краямъ свѣта искать кого-нибудь, кто-бы устроилъ ему требуемую диковинку; является волшебникъ и своими чарами создаетъ садъ. Все это разсказано въ нѣсколькихъ строкахъ. Въ Филоколо самъ рыцарь отправляется на поиски, объѣхалъ весь западъ, очутился въ Ѳессаліи; однажды на зарѣ онъ идетъ по полю, когда-то обагренному римскою кровью (Фарсальское); пошелъ одинъ, чтобы свободнѣе было предаваться грустнымъ мыслямъ, и видитъ маленькаго, сухопараго, бѣдно одѣтаго человѣка, собирающаго травы. Между ними завязывается разговоръ. Развѣ ты не знаешь, гдѣ ты? спрашиваетъ Тарольфа незнакомецъ: яростные духи могутъ здѣсь учинить тебѣ зло.—Моя жизнь и честь въ рукахъ Господа, да и смерть была-бы мнѣ мила.—Почему такъ? допрашиваетъ незнакомецъ.—Къ чему говорить? нехотя отвѣчаетъ рыцарь, не ожидая себѣ помощи, тѣмъ не менѣе онъ разсказываетъ, въ чемъ дѣло, и слышитъ упрекъ, что по платью о людяхъ не судятъ, что подъ рубищемъ скрываются порой сокровища знанія. Незнакомецъ оказывается некромантомъ изъ Ѳивъ; согласившись съ рыцаремъ за половину его состоянія устроить ему садъ, онъ ѣдетъ съ нимъ — и мы присутствуемъ при сценѣ заклинаній и чаръ. Разоблачившись, босой, съ волосами, распущенными по плечамъ,

1) Сл. X, 6, въ началѣ.

некромантъ выходитъ изъ города ночью; птицы и звѣри и люди спятъ, на деревьяхъ не шелохнутся не успѣвшіе еще опасть листья, влажный воздухъ дремлетъ, блестятъ однѣ лишь звѣзды, когда онъ приноситъ жертвы и творитъ молитвы Гекатѣ, Церерѣ, всѣмъ тѣмъ богамъ и силамъ, съ помощью которыхъ онъ совершилъ столько чудесъ, заставлялъ луну достигать полноты, чего другіе добивались, ударяя въ звонкіе тазы [1]) и т. д. Внезапно передъ нимъ явилась колесница, влекомая двумя драконами; сѣвъ въ нее, онъ мчится по всему свѣту: Африка и Критъ, Пелій, Отрисъ, Осса и Монтенеро, Апеннинъ и Кавказъ, берега Роны, Сены, Арно и царственнаго Тибра, Танаиса и Дуная мелькаютъ передъ нами, всюду онъ собираетъ злаки, коренья и камни; когда на третій день онъ вернулся назадъ, отъ аромата его чудодѣйственныхъ зелій драконы помолодѣли, сбросивъ старую шкуру. Затѣмъ начинается волхвованіе: въ котлѣ, наполненномъ кровью, молокомъ и водою, варятся принесенныя снадобья, всевозможныя сѣмена и злаки, иней, собранный въ прошлыя ночи, мясо страшныхъ вѣдьмъ, оконечности жирнаго козла, щитъ черепахи, печень и мозги стараго оленя. Чародѣй мѣшаетъ все это сухой вѣткой оливы, и она зазеленѣла, разцвѣла и покрылась черными ягодами; тогда онъ орошаетъ чудесной жидкостью мѣсто, назначенное для сада, и посаженныя тамъ сухія тычины одѣлись зеленью, земля травой и цвѣтами. Чары исполнились.

Весь эпизодъ заклинанія воспроизводитъ разсказъ Овидія [2]) о чарахъ, которыми Медея возвращаетъ юность старику Эзону; это почти переводъ, кое-гдѣ съ обмолвками [3]), мотивами изъ Виргилія и Лукана и распространеніями: подновлена географія, вмѣсто Tellus [4]) названа Церера, самое чудо съ садомъ под-

1) Сл. Fiammetta, выше стр. 410; сон. XXXV.

2) Metam. VI, 179 слѣд.

3) V. 184—6: о Медеѣ: fertque vagos mediae per muta silentia noctis — Incomitata gradus = стр. 53: i vaghi gradi della notte passavano; 272: Squamea Cinyphii tenuis membrana chelydri = стр. 56: con squama di cinifero e con pelle di chelidro.

4) Metam., l. c. v. 196.

сказано той подробностью чаръ, гдѣ отъ капель, упавшихъ на землю, она зазеленѣла и покрылась цвѣтами [1]).

Авторъ Декамерона вышелъ изъ періода центона, съумѣлъ освободиться отъ игры въ эрудицію, пожертвовавъ ею для экономіи разсказа, въ которомъ продѣлки некроманта грозили заслонить основной мотивъ. Мотивъ остался тотъ-же, что и въ Филоколо: борьба великодушія, хотя нельзя сказать, чтобы преимущество психологической обоснованности было на сторонѣ новаго пересказа. Въ Филоколо, когда дама убѣдилась въ появленіи сада и рыцарь напомнилъ ей объ ея обѣщаніи, она, не зная, какъ быть, говоритъ ему, лишь-бы отдѣлаться на первый разъ, чтобъ онъ подождалъ, пока мужъ выѣдетъ куда-нибудь изъ города; затѣмъ она открывается мужу, и тотъ, не пожуривъ ее, ибо зналъ ея чистоту, по долгомъ размышленіи велитъ ей пойти и исполнить, что обѣщала. Тарольфъ естественно изумляется не тому, что она явилась къ нему не одна, а тому, что мужъ, повидимому, никуда не уѣзжалъ; оттого онъ и спрашиваетъ ее: какъ могла она прійти къ нему, не повздоривъ съ мужемъ?—Въ Декамеронѣ многія изъ этихъ подробностей затушеваны не къ ясности дѣла и психологической мотивировки: исчезла та растерянность, которая заставила красавицу сослаться на возможный отъѣздъ мужа, и рыцарь дивится лишь тому, что она пришла не одна. Когда она покаялась мужу, тотъ, убѣжденный въ ея невинности, держитъ ей рѣчь: какъ опасно внимать любовнымъ посланіямъ, ибо сила словъ, воспринимаемыхъ слухомъ и проникающихъ въ сердце, могущественнѣе, чѣмъ предполагаютъ обыкновенно, и дѣлаетъ для любовниковъ все возможнымъ. Затѣмъ онъ велитъ ей идти, но его великодушіе не цѣльное, оно умаляется софизмомъ и соображеніемъ, не имѣющимъ ничего общаго съ жертвой: пойди, постарайся сохранить свою честь, а коли нѣтъ, отдайся тѣломъ, не душой; онъ не скрываетъ даже и того, что его побуждаетъ къ его рѣшенію, между прочимъ, страхъ, какъ

1) V. 283—4.

бы рыцарь, обманутый въ своихъ ожиданіяхъ, не побудилъ некроманта учинить съ ними что-нибудь худое!—Очевидно, лишь склонность къ изобилованію подробностями, къ внѣшнему развитію, повела Боккаччьо къ такому ухудшенію типа.

Образцикомъ реторическаго распространенія можетъ служить 4-я новелла десятаго дня въ сравненіи съ 13-тымъ вопросомъ V-й книги Филоколо. Содержаніе напоминаетъ флорентинскую быль о Джиневрѣ дельи Альмьери, воспѣтую какимъ-то народнымъ пѣвцомъ XV вѣка. Въ Филоколо именъ нѣтъ, въ Декамеронѣ разсказъ обставленъ именами и итальянской географіей [1]). Одинъ рыцарь любитъ жену другого, но безъ взаимности; пока онъ уѣзжаетъ на службу въ другой городъ, его милая обмираетъ въ родахъ, не разрѣшившись отъ бремени, и похоронена, какъ умершая. Провѣдавъ объ этомъ, рѣшившись взять съ нея, хотя и мертвой, поцѣлуй, онъ тайно возвращается, проникаетъ въ склепъ, и обнимая покойницу, чувствуетъ въ ней признаки жизни. Тогда онъ извлекаетъ ее изъ гробницы и ведетъ къ своей матери; ихъ попеченіями она возвращена къ жизни и родитъ сына. По желанію рыцаря она остается у его матери, пока онъ не пріѣдетъ, отбывъ срокъ своей службы; вернувшись, онъ задаетъ богатый пиръ, на которомъ присутствуетъ и мужъ мнимой покойницы; ему то рыцарь торжественно передаетъ жену и сына.

Въ Филоколо эта повѣсть великодушія разсказана довольно бѣдно. На пиру даму выводятъ въ томъ самомъ платьѣ и тѣхъ же украшеніяхъ, въ которыхъ она была похоронена; она сидитъ рядомъ съ мужемъ и молчитъ, тогда какъ тотъ приглядывается къ ней и наконецъ спрашиваетъ рыцаря, кто она. — Не знаю, отвѣчаетъ онъ, я вывелъ ее изъ очень скорбнаго мѣста; и дама подтверждаетъ это иносказательно: онъ привелъ меня сюда, невѣдомымъ путемъ, изъ всѣмъ желанной, блаженной жизни. Лишь послѣ пира рыцарь ведетъ всѣхъ въ комнату, гдѣ показываетъ ребенка и совершается признаніе.

1) Болонья, Модена.

Въ новеллѣ Декамерона все вниманіе обращено на сцену пира: получается театральный эффектъ, потому не производящій особаго впечатлѣнія, что онъ сознательно предусмотрѣнъ и разсчитанъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ. Собравъ гостей, рыцарь говоритъ имъ, что намѣренъ соблюсти въ Болоньѣ персидскій обычай: тамъ, кто хочетъ особо учествовать друга, приглашаетъ его къ себѣ и показываетъ, что у него есть самого дорогого, увѣряя, что еще бы охотнѣе показалъ ему свое сердце. Но прежде, чѣмъ соблюсти это, рыцарь проситъ разрѣшить одно его сомнѣніе: если кто нибудь, не дождавшись кончины вѣрнаго слуги, выброситъ его на улицу, а другой его подберетъ и излѣчитъ, въ правѣ-ли первый хозяинъ слуги сѣтовать, если второй откажется возвратить его? Когда всѣ отвѣтили, что не въ правѣ, рыцарь велитъ позвать на пиръ даму, которая и является съ ребенкомъ на рукахъ: Вотъ что у меня наиболѣе дорогого, говоритъ онъ. Всѣ смотрятъ на нее, особенно мужъ; ее начинаютъ разспрашивать, она молчитъ по уговору. Да она у васъ нѣмая, говорятъ рыцарю; кто же она такая?—Это тотъ вѣрный слуга, которымъ не дорожили ближніе, а я извлекъ изъ объятій смерти. И онъ разсказываетъ, какъ было дѣло.

Предложенный нами анализъ новеллъ въ ихъ послѣдовательной обработкѣ приготовилъ насъ къ общему вопросу: о Боккачьо, какъ стилистѣ. Приступая къ нему, не слѣдуетъ упускать изъ виду исторической точки зрѣнія, не увлекаться, вмѣстѣ съ недавними беззавѣтными поклонниками Боккаччьо, всякой его фразой, какъ пробнымъ золотомъ; надо помнить, съ другой стороны, что критическаго текста Декамерона мы до сихъ поръ не имѣемъ, и что многое неладное и шероховатое въ его изложеніи можетъ оказаться наслѣдьемъ переписчика. Тѣмъ не менѣе многое иное, столь-же шероховатое останется и въ критическомъ текстѣ: наслѣдіе борьбы съ латинскимъ періодомъ, отчасти доказательство того, что, несмотря на нѣсколько лѣтъ труда [1],

1) Сл. Дек., Заключеніе автора = пер. II, стр. 332, 336.

Декамеронъ все-же не получилъ окончательной отдѣлки. На это указываютъ мелкія противорѣчія въ подробностяхъ новеллъ, обратившія вниманіе уже одного изъ древнихъ переписчиковъ Декамерона, Маннелли [1]). Оттуда ничѣмъ инымъ не объяснимое повтореніе одного и того-же слова въ нѣсколькихъ строкахъ: такъ въ новеллѣ 10-й шестого дня слово aperta (открывъ, открытой) стоитъ трижды почти подъ рядъ, въ началѣ VII, 4, четыре раза fa (былъ, была) въ тѣхъ-же отношеніяхъ, въ VIII, 3 столько-же разъ поражаетъ глаголъ cercare (искать), въ новеллѣ о Гризельдѣ злоупотребленіе словомъ onor и глаголомъ mandare (mandato, mandò, mandò, mandato). Но есть повторенія и другаго рода. Десятая новелла 1-го дня начинается такъ: «Достойныя дѣвушки, какъ въ ясныя ночи звѣзды — украшеніе неба, а весною цвѣты — краса зеленыхъ полей, такъ добрые нравы и веселую бесѣду красятъ острыя слова» и т. д. Это введеніе почти дословно воспроизведено въ 1-й новеллѣ VI-го дня; такъ первыя строки I, 5 совпадаютъ съ началомъ VI, 7, двѣ новеллы подъ рядъ [2]) кончаются одинаковымъ пожеланіемъ: да пошлетъ Господь и намъ насладиться нашей любовью.

Не все въ этихъ повтореніяхъ слѣдуетъ, быть можетъ, объяснить недосмотромъ: у Боккаччьо есть любимые образы, афоризмы, сравненія, обороты, которые снуютъ въ его памяти и просятся подъ перо. Примѣры тому мы не разъ встрѣчали до Декамерона: дѣвушки бродятъ въ водѣ [3]), молодой человѣкъ наблюдаетъ изъ потаеннаго мѣста за любовной или другой сценой [4]); огонь охватываетъ сухіе предметы [5]); сорвать розу, не уколовшись шипами [6]); быкъ валится, сраженный смертель-

1) Сл. Hecker, Die Berliner Decameron-Handschrift und ihr Verhältniss zum Codice Mannelli (Berlin 1892), стр. 54—5). Приношу автору глубокую благодарность за доставленіе мнѣ его брошюры.

2) III, 6, 7.

3) Сл. выше стр. 201 прим. 1, 208 прим. 1, 267.

4) Ameto, выше стр. 291, сонетъ XXXI.

5) Сл. выше стр. 184, прим. 2.

6) Дек. V, 10 = пер. I, стр. 408. Сл. De Clar. Mulieribus (въ посвятительномъ письмѣ): uti viridarium intrans eburneas manus semotis spinarum aculeis extendis

нымъ ударомъ [1]); человѣкъ жаждетъ того, чего у него нѣтъ, ему нравится чужое [2]); культура развивается поступательно [3]) и т. п. Братъ Чиполла [4]) морочитъ своихъ наивныхъ слушателей такими-же разсказами о небывалыхъ странахъ, какъ Мазо дель Саджіо простака Каландрино [5]); когда случилось что-либо необычное въ хорошемъ или дурномъ смыслѣ, разскащикъ такъ обращается къ слушательницамъ: Какъ все было — это вы можете себѣ вообразить [6]) и т. д. — Такія общія мѣста можно встрѣтить у каждаго поэта, иныя навѣяны чтеніемъ, повторяются по косности, другія характерны для тона міросозерцанія.

Есть еще родъ повтореній, объясняемыхъ самымъ планомъ Декамерона и свойственной Боккаччьо крохотливой обстоятельственностью. Десять разъ встаетъ день надъ обществомъ разскащиковъ, и всякій разъ намъ говорятъ, что они поднялись, погуляли, собрались для бесѣды, спѣли нѣсколько пѣсенокъ и пошли спать по усмотрѣнію короля или королевы. Это, вѣроятно, такъ и было, но въ пересказѣ утомительно; Боккаччьо не ищетъ разнообразія, или находятъ его въ мелочахъ; только введеніе въ VI-й день разнообразится споромъ Тиндара съ Личиской, конецъ — прогулкой въ Долину дамъ, да въ заключеніи V-го дня есть бойкая сцена съ Діонео, наивно напрашивающимся на пѣсни.

Самое чередованіе разсказовъ, иногда совершенно случайное, отвѣчавшее случайностямъ бесѣды [7]), вызывало однѣ и тѣ-же

in florem; Gen. Deor. XIV, 22: more solertis virginis, quae inter spineta flores illaesis colligit digitis et spinarum aculeos sinit separatim vilescere; Andr. Capell. De Amore l. I, c. VI, стр. 49: Nec tibi vilescat apud quemque reperta probitas, quum ex pungentibus rosas spinis colligimus ortas.

1) Сл. выше стр. 407 прим. 1, 426 прим. 1.

2) Сл. выше стр 409 прим. 1.

3) Сл. выше стр. 363, 419—20. Сл. еще стр. 314 прим. 2.

4) VI, 10.

5) VIII, 3.

6) Сл. De Cas. Vir. Ill. c. VII о несчастіяхъ Іокасты: permittimus considerare matronis.

7) Такъ имя Никколозы въ VIII, 5 вызываетъ память о другой Никколозѣ, которой и посвященъ слѣдующій разсказъ (VIII, 6).

положенія, которыя и воспроизводятся въ точности: когда новелла кончилась, и ее обсудили или по поводу ея посмѣялись, королева или король велитъ продолжать другому. Разскащикъ или разскащица начинаютъ съ общаго, по большей части нравоучительнаго введенія, иногда въ связи съ предыдущей новеллой; начало разсказовъ типическое, напоминающее свободные пріемы сказочника: жилъ недавно тому назадъ; и такъ скажу; много прошло времени; немного лѣтъ прошло; и такъ вы должны знать; былъ когда-то и т. п. Заключенія представляютъ больше оттѣнковъ, смотря по содержанію новеллы это либо общее мѣсто (долго и добродѣтельно прожили; по добру, по здорову), либо пожеланіе (да устроитъ, пошлетъ Богъ), прибаутка (уста отъ поцѣлуя не умаляются) или утвержденіе, что такъ-то было: «такимъ то образомъ наставляютъ уму-разуму тѣхъ, кто не вынесъ его изъ Болоньи» [1]).

Перейдемъ съ той-же стилистической точки зрѣнія къ внутренней разработкѣ самихъ новеллъ. Что нерѣдко поражаетъ въ ихъ композиціи, это преобладаніе эпизода, разработка частностей, невнимательная къ условіямъ общаго плана, который онѣ застятъ, какъ бы не были онѣ интересны сами по себѣ. Уже въ Филоколо и Тезеидѣ, въ Ninfale Fiesolano и Фьямметтѣ [2]) мы встрѣчали цѣлыя главы и пѣсни, перероставшія цѣлое; для Декамерона образцомъ можетъ служить извѣстная новелла о Чимоне [3]): она и памятна намъ исключительно одною своей частью, разсказомъ о томъ, какъ любовь преобразила грубаго, неотесаннаго юношу; но съ содержаніемъ самой новеллы онъ вовсе не вяжется необходимо, имъ не обусловленъ: и не просвѣщенный любовью, какъ Амето, Чимоне могъ бы увезти Ифигенію, попасть въ тюрьму и снова увлечь свою милую. Но такова особенность Боккаччьо, что онъ отдается именно эпизоду,

1) VIII, 9.

2) Сл. выше стр. 243, 251 слѣд. 327—8, 363, 431.

3) V, 1.

не минуетъ ни одной мелочи, не оглядѣвъ ее со всѣхъ сторонъ, не исчерпавъ до дна, не взявъ отъ нея всего, что она можетъ дать, точно лакомка, медленно смакующій каждую крошку. Эта особенность его таланта, выражающаяся и въ его стилѣ, изобильномъ и не суггестивномъ, и дѣлала его поочередно, смотря по качеству матерьяла, то чуткимъ аналитикомъ, внимательно взвѣшивающимъ всякій фактъ жизни, черту характера, то діалектикомъ, извлекающимъ изъ даннаго тезиса все, что лежитъ въ немъ самомъ абстрактно, логически. Это тоже сочетаніе видимо противоположныхъ качествъ, какъ въ талантѣ Овидія; у гуманистовъ оно объясняется любовью къ звучной фразѣ, къ общему мѣсту, апофтегмѣ; что въ такихъ случаяхъ риторъ нерѣдко перечилъ психологу, понятно само собою. Не даромъ флорентійскіе аристархи упрекали Петрарку, что предсмертная рѣчь Магона въ его Африкѣ не отвѣчаетъ ни моменту, ни годамъ его героя. Петрарка защищался въ письмѣ къ Боккаччьо [1]), допуская, что краснорѣчіе, не идущее къ лицу и дѣлу, не спасаетъ; въ этой ошибкѣ онъ будто-бы не повиненъ,—и въ томъже письмѣ онъ самъ противорѣчитъ себѣ, разсуждая по поводу лихорадочной зависти критиковъ — о лихорадкѣ, которой одержимы левъ и коза, съ ссылками на классиковъ и этимологіями.— Когда въ новеллѣ Боккаччьо Танкредъ открылъ любовную связь своей дочери Гисмонды съ худороднымъ Танкредомъ, она защищаетъ себя мужественно, не смущаясь, но ея рѣчь въ оправданіе законовъ юности, равноправности людей и безсословной любви— защитительная рѣчь, долженствующая показать величіе ея духа, слишкомъ размѣрена для уличенной дѣвушки и переживаемаго сю настроенія [2]). Такъ у Овидія, готовясь умереть, Канака сама себя изображаетъ сидящей, съ перомъ въ правой рукѣ, обнаженнымъ мечемъ въ лѣвой и хартіей, лежащей на ея лонѣ [3]).

1) Sen. V, 1.
2) IV, 1.
3) Her. XI.

Такъ объясняется странная незастѣнчивость Гризеиды [1]) и Бьянчифьоре [2]) у Боккаччьо, Миранды въ Шекспировской Бурѣ. Здѣсь риторъ подсказывалъ психологу.

Разумѣется, слѣдуетъ принять въ разсчетъ, что изображая Гисмонду, Боккаччьо имѣлъ въ виду одинъ изъ тѣхъ героическихъ типовъ, которые жизнь являла рѣдко и которые невольно принимали статуарный характеръ антика. Классическія увлеченія принесли свои плоды: герои и героини не могутъ не быть величественны, они стоятъ на котурнахъ, ихъ рѣчь спокойна и торжественна даже ввиду смерти, какъ у Гисмонды или у Митридана [3]), сами они слишкомъ сдержанны среди испытаній, какъ Джиневра [4]), Джилетта [5]) или Гризельда [6]). Если въ подобныхъ случаяхъ извѣстная дѣланность подсказана средой, искавшей въ древности идеаловъ казоваго величія, и реторизмъ понятенъ, какъ средство, въ другихъ онъ самъ себѣ служитъ цѣлью. Маэстро Альберто, защищающій передъ мадонной Мальгеридой свое старческое увлеченіе [7]), жёны, логически оправдывающія свое паденіе [8]), еще не выходятъ изъ правды жизненнаго типа, но когда Зима, объясняясь съ своей дамой, обязанной молчаніемъ, держитъ ей рѣчь отъ себя и отъ нея [9]), когда Тедальдо, вернувшись къ своей милой, неузнанный, подробно развиваетъ передъ ней, что ея холодность къ нему была татьбой и непристойнымъ дѣломъ, ибо она отняла у него — его собственность; когда Джизиппо, уступая свою невѣсту другу Титу, увѣряетъ его, что отдавъ ее лучшему, онъ самъ не теряетъ ее, и оба долго разсуждаютъ на тему о дружбѣ [10])—все это выходитъ изъ границъ

1) Сл. выше стр. 134 и прим. 3.

2) Сл. выше стр. 257.

3) X, 3.

4) II, 9.

5) III, 9.

6) X, 10.

7) I, 10.

8) II, 10; VI, 7.

9) III, 5.

10) X, 8.

психическаго момента, точно онъ выдѣленъ изъ дѣйствительности и надъ нимъ орудуютъ отвлеченіями, не гнушаясь крайнимъ софизмомъ. Всего ярче обнаруживается этотъ пріемъ въ новеллѣ о школярѣ, котораго провела вдова, а онъ отмстилъ ей, заманивъ ее, обнаженную, на башню, и стоя внизу, глумится надъ ней: большая часть новеллы проходитъ въ обвинительныхъ рѣчахъ школяра и защитительныхъ рѣчахъ дамы; тѣ и другія болѣе разсудочны, чѣмъ страстны, не забытъ ни одинъ аргументъ, ни одно положеніе за и противъ, ибо не слѣдуетъ «издѣваться надъ учеными», знающими, по большей части, «гдѣ у чорта хвостъ [1]). Боккаччьо забылъ критическое положеніе своихъ героевъ и, войдя въ роль школяра, въ самомъ дѣлѣ переноситъ насъ въ средневѣковую школу.

Такой-же обстоятельностью отличаются и другія части Декамерона, гдѣ только былъ поводъ проявить качества стилиста. Начну съ элемента описаній. У Боккаччьо къ нимъ издавна слабость: въ Филоколо есть подробныя до мелочи описанія дворцовъ, убранства, сценъ битвы; «Фьямметта» дала намъ картинку байскаго берега, въ Амето и Ninfale Fiesolano есть нѣсколько пейзажей, вѣщіе сны въ Филоколо раскрываютъ симпатіи непочатой, дикой природы съ элегическимъ настроеніемъ человѣка, хотя вообще то сентиментальное чувство природы, которое почему-то ведутъ отъ Петрарки, какъ позднѣе вели отъ Руссò, у Боккаччьо не развито. Именно о Петраркѣ онъ говоритъ, что его приковывала къ Воклюзу «прелесть уединенія» [2]); уединенія, манившаго къ себѣ поэтовъ и святыхъ отшельниковъ, потому что въ лѣсахъ нѣтъ ничего искуственнаго, прикрашеннаго, вреднаго для ума. «Все созданное природой просто: тамъ высящіеся къ небу буки и другія деревья простираютъ густую тѣнь молодой листвы, тамъ земля покрыта зеленою травою и испещрена разными цвѣтами, прозрачные источники и серебристые потоки спускаются изъ

1) VIII, 7.
2) De Montibus, a. v. Sorgia.

плодоноснаго нѣдра горъ; тамъ поютъ пестрыя птички, вѣтви звучатъ отъ вѣянія мягкаго вѣтерка, рѣзвятся звѣри; тамъ стада и пастушій домъ, либо бѣдная лачужка; все исполнено покоя и тишины и не только ласкаетъ пресыщеннные глаза и слухъ, но и заставляетъ умъ сосредоточиться, обновляя его усталыя силы, возбуждая къ размышленію о возвышенныхъ предметахъ» — и къ творчеству [1]).—Въ XI-мъ вѣкѣ Петръ Даміани также воспѣвалъ блаженное уединеніе своей кельи, гдѣ для него горѣли розы любви, цвѣли въ снѣжной бѣлизнѣ лиліи цѣломудрія, миртъ самоистязанія, тимьянъ непрестанной молитвы, гдѣ человѣкъ снова восходилъ къ Божію образу, и въ борьбѣ духа и плоти побѣждалъ духъ. У Боккачьо центръ тяжести перемѣстился: уединеніе воспитываетъ поэта, оно необходимо для него, твердитъ Петрарка, противорѣча на этотъ разъ Квинтильяну и Овидію [2]). Идеализація природы была лишь слѣдствіемъ потребности культурнаго человѣка уйти въ себя, обособиться для себя; въ такой природѣ онъ былъ одинъ и естественно переносилъ на нее то чувство одиночества, котораго искалъ, которое находилъ и среди молчаливыхъ памятниковъ прошлаго. У Боккачьо была археологическая жилка, но не ею одной объясняется, почему одиночество природы такъ часто совпадаетъ у него съ культомъ старины, почему у его Фьямметты панегерикъ сельской жизни и первобытной простоты сливается съ грустнымъ чувствомъ антика, «новаго» для современныхъ умовъ [3]).

Но такое настроеніе держится у Боккачьо не долго; что̀ ему нравится—это природа ласковая, смѣющаяся, побѣжденная человѣкомъ, устроенная для житья, пеизажъ, привольно раскинувшійся на отлогихъ холмахъ, сады, расположенные по геометрическому плану, съ дорожками, прямыми, какъ стрѣлы, и стадами прирученныхъ дикихъ звѣрей, которыхъ итальянцы держали въ

1) Gen. Deor. XIV, 16.
2) De vita Solitaria l. I, sect. V, c. 1, стр. 241; l. II, sect. VII, c. 2, стр. 279.
3) Fiammetta, стр. 115 слѣд.; 91.

своихъ садахъ, французы XIV-го вѣка выставляли, въ видѣ декораціи, при торжественныхъ въѣздахъ своихъ королей. Таковъ пеизажъ въ вступленіи къ III-му дню [1]), таково въ концѣ VI-го описаніе Долины Дамъ: ея поверхность «была такая круглая, точно она обведена *циркулемъ*, хотя видно было, что это созданіе природы, а не рукъ человѣка; она была въ окружности не болѣе полумили, окружена *шестью* не особенно высокими горами, а на вершинѣ каждой изъ нихъ виднѣлось *по дворцу*, построенному на подобіе красиваго замка. Откосы этихъ пригорковъ спускались къ долинѣ уступами, какіе мы видимъ въ *театрахъ*, гдѣ ступени послѣдовательно располагаются отъ верха къ низу, постепенно съуживая свой кругъ. Уступы эти, поскольку они обращены были къ *полуденной сторонѣ*, были всѣ въ виноградникахъ, оливковыхъ, миндальныхъ, вишневыхъ, фиговыхъ и многихъ другихъ плодоносныхъ деревьяхъ, такъ что и пяди не оставалось пустой. Тѣ, что обращены были къ *Сѣверной колесницѣ*, были всѣ въ рощахъ изъ дубовъ, ясеней и другихъ ярко-зеленыхъ, стройныхъ, какъ только можно себѣ представить, деревьевъ, тогда какъ долина, безъ иного входа, кромѣ того, которымъ прошли дамы, была полна елей, кипарисовъ, лавровъ и *нѣсколькихъ пиній, такъ хорошо расположенныхъ и распредѣленныхъ, какъ будто ихъ насадилъ лучшій художникъ этого дѣла*». Небольшой потокъ, «вытекавшій изъ одной долины, которая раздѣляла *двѣ* изъ тѣхъ горъ», падая по скалистымъ уступамъ, производилъ пріятный шумъ, «а его брызги казались *ртутью*, которую, нажимая, выгоняютъ изъ чего-нибудь мелкими струйками». Среди долины онъ образовалъ «озерко, какія устраиваютъ иногда въ своихъ садахъ, въ видѣ *питомника, горожане*, когда есть къ тому возможность». Оно такъ прозрачно, что можно пересчитать на днѣ его камни, слѣдить за юрканьемъ рыбы; воду, оказывавшуюся въ немъ лишней, «воспринималъ другой потокъ, которымъ она выходила изъ долины, стекая въ болѣе низменныя мѣста» [2]).

1) Пер. I, стр. 183—4.
2) Пер. II, стр. 38—9.

Какъ далеки мы отъ непочатой угрюмой природы, питающей думы поэтовъ и отшельниковъ! Здѣсь все прилажено, точно по компасу, рукой художника, озерко, что городской прудъ; пеизажъ стилизованъ до мелочей, нѣтъ ни одного неосвѣщеннаго уголка, все предусмотрѣно и досказано. Такъ же обстоятельны и говорливы у Боккаччьо описанія костюма и женской красоты, не только въ Амето, гдѣ онѣ изобилуютъ, но и въ Декамеронѣ: припомнимъ тамъ и здѣсь портретъ Фьямметты [1]), костюмы нимфъ въ Амето, сцену рыбной ловли въ 4-й новеллѣ Х-го дня: «двѣ дѣвушки вошли въ садъ, лѣтъ, можетъ быть, пятнадцати, съ золотисто-бѣлокурыми, вьющимися, распущенными волосами и легкими вѣнками изъ барвинка;... на нихъ были одежды изъ тончайшаго, бѣлаго, какъ снѣгъ, полотна, плотно облегавшія тѣло сверху до пояса, а затѣмъ широкія, какъ палатка, и длинныя до ногъ. Та, что шла впереди, несла на плечѣ пару сѣтей, которыя поддерживала лѣвой рукою, въ правой длинный шестъ; та-же, которая шла за нею, несла на своемъ лѣвомъ плечѣ сковороду, подъ мышкой небольшую вязанку хворосту и таганъ, въ другой рукѣ она держала кувшинъ съ олеемъ и зажженный факелъ» [2]).

Если въ любви Боккаччьо къ извѣстнымъ картинамъ культурной природы сказался итальянскій горожанинъ, то его костюмы и типы красоты обличаютъ культъ пластики и прекраснаго тѣла; то и другое навѣяно новымъ настроеніемъ вкусовъ и сказывается въ литературѣ, какъ чаяніе, которое оправдаютъ нѣсколько позже образовательныя искусства.

Средневѣковая лирика до-дантовской поры знала красавицу-формулу, нѣсколько реальную: кровь съ молокомъ, слоновая кость съ розой, рубинъ съ кристалломъ; этихъ красавицъ видѣли, но въ ихъ изображеніи нѣтъ личнаго момента, наблюденіе заслонено типомъ. У школьно-латинскихъ поэтовъ можно встрѣтить болѣе

1) Сл. выше стр. 112—113.
2) Пер. II, стр. 271—2.

пластичныя изображенія красоты, напоминающія антикъ — но это литературные перепѣвы. Въ живописи держится старый условный типъ: овальный складъ лица, выпуклый лобъ, продолговатые, впалые глаза, полузакрытые и опущенные; неподвижная шея, узкія плечи, тощіе члены и плоская грудь; удается лишь выраженіе спокойствіе и экстаза, не страстныхъ движеній лица и тѣла; однообразно ломающіяся грузныя складки костюма, отсутствіе свѣтотѣни и индувидуализаціи въ выраженіи лица показываютъ, что художникъ еще не пріучился писать съ натуры. Онъ пишетъ святыхъ, и небо даетъ ему тоны, тотъ «цвѣтъ перла», который царитъ у Данте и поэтовъ его направленія. У Боккаччьо все это было передъ глазами: и красавица-формула и мадонны Джьотто, и античные образцы, не только литературные, но и статуарные, которые начинаютъ цѣнить [1]) — и явилась любовь къ индивидуальному въ пластикѣ и жизни, большая раздѣльность наблюденій, какъ напр. изъ его современниковъ у Фаціо дельи Уберти. У его красавицы лобъ открытый и ровный, глаза широко разрѣзаны, смотрятъ серьезно или бѣгаютъ плутовски; шея поднимается какъ «колонна», широкія плечи и развитая грудь; при этомъ маленькая ножка и бѣлая ручка, красиво выдѣляющаяся на фонѣ пурпурнаго платья. Все это ново, какъ и вкусъ къ складкамъ и драпировкѣ тамъ, гдѣ можно было забыться въ мірѣ нимфъ, пренебрегая костюмомъ современной горожанки. Нимфы Амето одѣты, какъ римскія статуи, еще преобладаютъ широкія волны ткани, но уже платье открыто съ боковъ и держится отъ шеи до пояса на пряжкахъ; рукава такъ же откровенны; концы мантіи перекидываются изъ-подъ одного плеча на другое, падаютъ двойной складкой на колѣни, длинной полосой развѣваются по вѣтру, тогда какъ крохотная черная сандалія, едва держится на концахъ пальцевъ, отчего ножка кажется еще бѣлѣе [2]).

1) Для Петрарки сл. De Nolhac., l. c. стр. 262 слѣд.; сл. Benvenuto da Imola Com. ed. Lacaita, III, 280.

2) Сл. выше стр. 271—2.

Подобныя описанія оттѣняются другими: туалетъ молодящейся вдовы въ Corbaccio, наружность уродливой Чуты [1]) или служка Гуччьо Имбратта, которому на кухнѣ милѣе, чѣмъ соловью на зеленыхъ вѣткахъ, любитель женскаго пола, оборванный и сальный и сорящій обѣщаніями, точно онъ сиръ Кастильонскій [2])—все это написано съ такими же подробностями, подробностями шаржа. Иной разъ, впрочемъ, одной черты достаточно, чтобы обрисовать цѣлый характеръ: отъявленный плутъ Чаппелетто, лицемѣръ, не вѣрящій ни въ Бога, ни въ чорта, долженъ быть именно небольшаго роста и одѣваться чистенько [3]).

Въ детальности Боккаччьо, несомнѣнно, много манеры, стилистической отдѣлки, классическаго клишэ, но въ основѣ лежитъ тонкая наблюдательность человѣка, разсѣявшаго въ своей книгѣ De Montibus столько археологическихъ, естественно-научныхъ, даже климатическихъ замѣтокъ; чувство особи, чутье къ человѣческому, реальному въ его соотвѣтствіи съ міромъ психики и знакомое намъ свойство глаза схватывать въ предметѣ не общее, а массу подробностей, которыя художникъ заноситъ на полотно, одну за одной, въ разсчетѣ, что ихъ совокупность произведетъ впечатлѣнія цѣлой жизни [4]). Въ Боккаччьо художникъ дополняетъ фотографа; какъ Петрарка онъ видимо любитъ живопись, требуя для своего пера широкаго права кисти [5]), недаромъ восторгаясь Джьотто; не было ничего, говоритъ онъ о немъ, «что въ вѣчномъ вращеніи небесъ производитъ природа, мать и устроительница всего сущаго, что бы онъ карандашемъ, либо перомъ и кистью не написалъ такъ сходно съ нею, что, казалось, это не сходство, а скорѣе самъ предметъ [6]). Это почти та-же характеристика, что у Ф. Виллани, начитанный въ исторіяхъ Джьотто явился соревнователемъ

1) Дек. VIII, 4.
2) VI, 10.
3) Дек. I, 1.
4) Сл. выше стр. 114.
5) Заключеніе автора = пер. II, стр. 333.
6) Дек. V, 5; сл. Amorosa Visione, c. 4 и Gen. Deor. XV, 6.

поэтовъ, изображая то, что тѣ воображали. — Замѣтка, интересная для начала натурализма въ литературѣ и искусствѣ: въ концѣ XIV-го и началѣ XV вѣка Якопо Аванци и Мазолино подготовляютъ его въ живописи, переходя отъ условности стараго художественнаго преданія къ принципу портрета, къ натурѣ; у Боккаччьо реализмъ наблюденія такой-же признакъ времени, какъ и любовь къ діалектическому развитію, отвѣчавшему условнымъ требеваніямъ классически-украшеннаго стиля. Они идутъ къ одной и той-же цѣли, анализу, но еще не спѣлись, не помогаютъ другъ другу. Оттуда своеобразное, не лишенное прелести, впечатлѣніе, какое производитъ на насъ проза Декамерона; оттуда не предусмотрѣнный часто контрастъ прозаическаго положенія и торжественной фразы, вызывающій улыбку, точно человѣкъ желаетъ разсмѣшить, а самъ не смѣется; но оттуда же и излишняя полнота, выписанность: не достаетъ дали, я сказалъ-бы, музыкальнаго элемента, того, что заставляетъ насъ *перечувствовать*, *досоздавать* едва намѣченный контуръ дантовскаго пеизажа. Всякая шутка отчеканена, смѣхъ раздается свѣжій и ровный, нѣтъ полусвѣта и полутѣней, изъ которыхъ неожиданно сверкнетъ юморъ. Все досказано, и мы знаемъ, какъ подробно. И не только въ описаніяхъ, но и въ характеристикахъ: онѣ также собираются изъ мелочей, изъ массы положенныхъ рядомъ штриховъ. Немного такихъ новеллъ, какъ 2-ая новелла VIII-го дня, гдѣ-бы впечатлѣніе достигалось сразу, безъ приготовленія.

Жилъ въ Варлунго священникъ, «молодецъ и здоровенный въ услуженіи женщинамъ»; хотя онъ и не особенно былъ силенъ въ грамотѣ, тѣмъ не менѣе многими хорошими и святыми словечками наставлялъ своихъ прихожанъ въ воскресенье подъ ольхой, а когда они куда нибудь уходили, посѣщалъ ихъ женъ усерднѣе, чѣмъ какой-либо изъ бывшихъ до него священниковъ, принося имъ порой на домъ образки, святой воды и огарки свѣчъ и надѣляя своимъ благословеніемъ». Случилось ему влюбиться въ одну крестьянку, по имени монна Белльколоре; «она въ самомъ дѣлѣ была хорошенькая, свѣжая крестьяночка, смугленькая и плот-

ная, болѣе всякой другой годная на мельничное дѣло. Сверхъ того, она лучше всѣхъ умѣла играть на цимбалахъ и пѣть: «Вода бѣжитъ къ оврагу», и когда, случалось, выступала въ пляскѣ, вела ридду и балланкіо, съ красивымъ, тонкимъ платкомъ въ рукѣ, лучше всякой своей сосѣдки. Вслѣдствіе всего этого священникъ такъ сильно въ нее влюбился, что былъ какъ бѣшеный и весь день шлялся, лишь-бы увидать ее. Утромъ въ воскресенье, когда онъ зналъ, что она въ церкви, онъ, произнося «Господи помилуй» и «Святый Боже», старался показать себя столь великимъ мастеромъ пѣнія, что, казалось, кричитъ оселъ, тогда какъ не видя ее, обходился безъ этого очень легко». Чтобы сблизиться съ Бельколоре, онъ дѣлаетъ ей порою подарки: «то пошлетъ пучекъ свѣжаго чесноку — а былъ онъ у него изъ лучшихъ въ деревнѣ, — изъ своего саду, который онъ обработывалъ своими руками, то корзинку гороху въ стручкахъ, то связку майскаго лука или шарлотокъ; а иногда, улучивъ время, посмотритъ на нее искоса и любовно огрызнется; она-же, нѣсколько дичась и притворившись, что ничего не замѣчаетъ, проходила мимо съ сдержаннымъ видомъ, почему отецъ священникъ и не могъ добиться отъ нея толку». И вотъ однажды въ самый полдень онъ плутаетъ зря по деревнѣ, когда ему встрѣтился мужъ Бельколоре, ѣхавшій въ городъ; онъ даетъ ему порученіе а самъ, пользуясь его отсутствіемъ, хочетъ попытать счастья; добрался до дома Бельколоре, вошелъ, спрашиваетъ: «Господи благослови, кто-же тутъ?» «Добро пожаловать, батюшка, отвѣчаетъ съ чердака Бельколоре, что это вы болтаетесь по такой жарѣ? Священникъ отвѣчалъ: «помилуй Богъ, я пришелъ побыть съ тобою нѣкоторое время, ибо встрѣтилъ твоего мужа, шедшаго въ городъ». Бельколоре, спустившись, сѣла и принялась чистить капустное сѣмя, которое недавно передъ тѣмъ смолотилъ ея мужъ. Священникъ началъ говорить: «Что-жъ, Бельколоре, ты такъ и будешь вѣчно морить меня такимъ образомъ?» Бельколоре, засмѣявшись, спросила: «Что-же я то вамъ дѣлаю?» Священникъ отвѣчалъ: «Ты то мнѣ ничего не дѣлаешь, но не даешь

мнѣ сдѣлать, чего я хочу и что самъ Богъ повелѣлъ». Говоритъ Бельколоре: «Убирайтесь, убирайтесь! Да развѣ священники такія вещи дѣлаютъ?» и т. д.

Мы можемъ не знать какъ разыграется новелла; это дѣло случая, анекдота, но насъ закупаютъ особи дѣйствующихъ лицъ, очерченныя свѣжо и прозрачно: вы почти угадываете, что Бельколоре можетъ сдаться, а священникъ, не знающій въ полдень, куда дѣться отъ любви, пойдетъ на всякую сдѣлку.

Рядомъ съ этими набросками характера другіе отличаются обычнымъ у Боккаччьо детальнымъ анализомъ. Въ новеллѣ III-яго дня простакъ Ферондо весь рисуется въ разговорѣ съ монахомъ; иной разъ этотъ пріемъ развитъ до утомительности. Намъ уже приходилось говорить о циклѣ новеллъ, героями которыхъ являются Каландрино, и докторъ Симоне[1]); они служатъ предметомъ насмѣшекъ и злыхъ шутокъ, ихъ подзадариваютъ, играя на нихъ слабыхъ струнахъ, и заставляютъ высказываться постепенно, по мелочамъ. Въ первой новеллѣ 1-го дня эта детальность подавляетъ: ростовщикъ Чаппеллетто, умирая въ домѣ двухъ ростовщиковъ-флорентинцевъ, не желаетъ навлечь на нихъ позоръ и гоненіе, еслибъ на исповѣди онъ оказался такимъ неисправимымъ грѣшникомъ, какимъ былъ на самомъ дѣлѣ; и вотъ онъ рѣшился разыграть святого и притомъ наивно убѣжденнаго въ своей грѣховности. Его исповѣдь развиваетъ подробно эту тему, поминаются грѣхи одинъ маловажнѣе другого, а мнимый святой все больше плачется, что они смертные, и духовникъ приходитъ въ умиленіе отъ его дѣтской чистоты. Не столько вырисовывается характеръ, сколько разбирается но хріямъ, съ риторическимъ поднятіемъ и паденіямъ, извѣстное положеніе. Таково отношеніе Боккаччьо и къ характерамъ героическаго, поднятаго типа: взятъ какой-нибудь торжественный моментъ, дѣйствующій на слезовую железу, и анализъ сосредоточивается вокругъ него. Иное дѣло средніе типы, съ которыми Боккаччьо приходилось встрѣчаться, которыхъ онъ любилъ, или надъ кото-

1) Сл. выше стр. 466.

рыми ему случалось потѣшаться: ихъ онъ зналъ, стилистическому анализу почти не было мѣста, на сцену выходили живыя лица, діалогъ становился бойчѣе, сбрасывая латинскія узы, типы старыхъ разсказовъ, если они попадались подъ руку, становились—характерами. Ибо въ смыслѣ типовъ у Боккаччьо немного найдется такого, что бы не встрѣчалось въ старофранцузскихъ потѣшныхъ разсказахъ, вѣроятно, и въ итальянскихъ народныхъ повѣстяхъ того же содержанія: тѣ-же жены, водящія за носъ ревнивыхъ мужей, монахи и священники, тревожимые плотью и любостяжаніемъ; женщины свободнаго поведенія [1]), какъ Herselot, Mabile, Richeut и услужливыя посредницы любви, знакомыя по фабліо [2]); простаки и скоморохи и самъ Martin Happart, такой-же реалистъ и невѣрующій, обирало и сутяга, какъ Чаппеллетто. Все это уже было, были и зачатки характера, случайно брошенные въ рамки типа, но только Боккаччьо явился сознательнымъ стилистомъ и психологомъ новеллы, поднявшимъ ее своимъ живымъ пониманіемъ личнаго въ реальномъ. Я разумѣю реальность итальянскую: рѣзкіе контрасты настроеній, мужчины, пускающіеся въ слезы, падающіе за-мертво—все это психическія черты южной страстной расы, самого Боккаччьо, и онѣ естественны.

V.

Не забудемъ Боккаччьо дидактика: Декамеронъ разсчитанъ на дамъ, которыя найдутъ въ немъ не только удовольствіе, но и «полезный совѣтъ» [3]); послѣдняя фраза Декамерона прямо говоритъ о пользѣ: «А вы, милыя дамы, пребывайте, по Божьей милости, въ мирѣ, поминая меня, если, быть можетъ, какой-нибудь изъ васъ послужило на пользу это чтеніе» [4]). Что наставительному элементу своей книги Боккаччьо придавалъ не послѣднее значеніе — въ этомъ нельзя сомнѣваться. Разсказы каждаго

1) Дек. II, 5; VIII, 10.
2) Сл. выше стр. 118.
3) Дек. Введеніе = пер. I, стр. 3.
4) Пер. II, 336.

дня отвѣчаютъ извѣстнымъ рубрикамъ, обобщающимъ ихъ содержаніе, какъ-бы ввиду вопросовъ, которые можетъ поднять не ихъ фабула, а ихъ жизненная сущность: «о тѣхъ, кто послѣ разныхъ превратностей и сверхъ всякаго ожиданія достигъ благополучной цѣли» [1]), «о тѣхъ, чья любовь имѣла несчастный исходъ» [2]), «о томъ, какъ послѣ разныхъ печальныхъ и несчастныхъ произшествій влюбленнымъ приключилось счастье» [3]); «о великодушіи» [4]). У такого дидактика, какъ Франческо да Барберино въ его Del Reggimento e dei costumi delle donne, въ латинскомъ комментаріи къ Documenti d'Amore и, вѣроятно, въ утраченныхъ Fiori di novelle соображенія учительнаго свойства предшествовали разсказамъ, которые являлись какъ-бы наглядным прикладомъ общаго мѣста; въ Декамеронѣ оно едва намѣчено въ темѣ, избранной для разсказовъ каждаго дня, и болѣе вытекаетъ изъ нихъ, чѣмъ ихъ приготовляетъ. Для этого Боккаччьо пользуется всякимъ удобнымъ случаемъ: не только рѣчи его героевъ, иногда развитыя въ цѣляхъ реторизма, полны назиданій и общихъ сужденій [5]), но сами собесѣдники морализуютъ по поводу разсказываемаго ими, обсуждаютъ чужія повѣсти начинаютъ свои новеллы постановкой какой-нибудь житейской истины, сѣтуютъ или смѣются надъ приключеніями, хвалятъ или порицаютъ, и эти сужденія опредѣляютъ настроеніе слѣдующаго разскащика, между новеллами протягивается, несмотря на ихъ иногда случайный подборъ, живая идеальная связь. Темы представляются разнообразныя: въ введеніи и заключеніи 1-й новеллы 1-го дня Памфило говоритъ о «тайнахъ божественныхъ помысловъ», попускающихъ грѣшника быть орудіемъ спасенія — и о спасительности вѣры [6]), во 2-й Неифила разсуждаетъ о благости Божіей, терпящей недостатки служителей церкви и тѣмъ паче

1) День 2-й.
2) День 4-й.
3) День 5-й.
4) День 10-й.
5) Сл. рѣчь Гисмонды IV, 1, рѣчи Тита и Джизиппо X, 8 и др.
6) II, 1.

свидѣтельствующей о своей непреложности, что и иллюстрируется отрицательными впечатлѣніями жизни при римской куріи, вынесенными евреемъ Авраамомъ, какъ въ Avventuroso Ciciliano—Саладиномъ [1]). Вопросъ о нравственной распущенности духовенства въ сравненіи съ идеалами пастырскаго и монашескаго житія не только даетъ содержаніе цѣлому ряду новеллъ, но вызываетъ и обсужденія и нареканія, какъ у Биндо Боники [2]), Пуччи и друг. Филострато говоритъ, по поводу новеллы о флорентинскомъ инквизиторѣ [3]), о «грѣховной и грязной жизни клериковъ» [4]), Пампинея о глупости монаховъ, соединенной съ самомнѣніемъ [5]), объ ихъ ханжествѣ и попрошайничествѣ [6]), Филострато сопоставляетъ ихъ изнѣженность съ обѣтами нищеты и цѣломудрія [7]), и подобныя же обличенія вложены въ уста одного изъ героевъ 7-й новеллы III-го дня. Великодушный поступокъ духовныхъ лицъ возбуждаетъ удивленіе [8]), ихъ «крестовый походъ» на семью — и смѣхъ и ропотъ [9]): древнее противорѣчіе идеала и практики, надъ которымъ издавна задумывались наблюдатели церковной жизни и издѣвались средневѣковые фабліо, разрѣшая противорѣчія то смѣхомъ, то карой. Такъ и у Боккаччьо: мы хохочемъ надъ успѣхами Мазетто въ женскомъ монастырѣ [10]), надъ любовной стратегіей поповъ [11]) и наивной страдой Алибекъ [12]), надъ молитвенными заклинаніями Джьянни Лоттеринги [13]) и святоши Пуччьо [14]). Надо всѣмъ этимъ

1) ed. Nutt, стр. 461.
2) Canz. 14; son. 4, 19, 21.
3) I, 6.
4) I, 7.
5) III, 3.
6) IV, 2.
7) VII, 3.
8) X, 2.
9) VIII, 2, 4.
10) III, 3.
11) VIII, 2, 10.
12) III, 10.
13) VII, 1.
14) III, 4.

смѣялись и до Боккаччьо: въ одной баллатѣ XIV-го вѣка монахини нѣкой обители являются къ службѣ съ тѣмъ-же непоказаннымъ головнымъ уборомъ, съ какимъ аббатисса Узимбольда [1]), и заключеніе то-же, что и въ новеллѣ: пусть всѣ пользуются жизнью, говоритъ настоятельница [2]); но въ восьмой новеллѣ III-го дня торжествуетъ тотъ-же порокъ, который позорно наказанъ въ новеллахъ IV, 2 и VIII, 4. Принципьяльнаго разрѣшенія нѣтъ: разскащики Декамерона не индифференты, а по своему религіозны, часто и благоговѣйно поминаютъ имя Божіе, блюдутъ пятницу и субботу [3]), ходятъ въ церковь [4]). Ихъ религіозность не обрядовая только, она пошла нѣсколько далѣе эпидермы, но сомнѣнія ее не волнуютъ: новелла о братѣ Чиполлѣ [5]) не протестъ противъ культа мощей, братъ Чиполла завѣдомо веселый обманщикъ; сомнѣніе можетъ возбудить развѣ освященіе, въ которомъ являются чудеса св. Арриго [6]) въ новеллѣ II, 1 или свѣча, поставленная передъ статуей св. Амвросія,—«не того, что въ Миланѣ» [7]): это, быть можетъ, St. Arnould Rustebuef'a [8]); за то чудесная помощь св. Юліана [9]) и вѣсти изъ чистилища [10]) стоятъ совершенно на точкѣ зрѣнія средневѣковой шутки, развязно вторгавшейся въ извѣстные моменты культа, какъ фаллофоры въ процессіи Діониса. Въ XI вѣкѣ Христофоръ Митиленскій пишетъ гимны въ честь святыхъ, вошедшіе въ наши Минеи, и вмѣстѣ потѣшается надъ культомъ мощей и ихъ почитателями. Такія противорѣчія и въ Византіи не рѣдкость [11]). Такова была религіозность самого Боккаччьо: онъ смѣется и громитъ, но

1) Дек. IX, 2.

2) T. Carini, Duc antichi repertorii poetici, въ Propugnatore, N. S., vol. II, fasc. 7—8, стр. 205—7.

3) Дек. II, въ концѣ = перев. I, стр. 179.

4) Ib. VIII, нач. = пер. II, стр. 104.

5) VI, 10.

6) Arrigo da Balzano † 1315.

7) VII, 3.

8) Dit de la dame qui fit trois tours autour di moustier.

9) II, 2.

10) VII, 10.

11) Сл. Satha Μνημεῖα Ἑλληνικῆς ἱστορίας VII, стр. IX слѣд..

свято чтитъ Богородицу, собираетъ мощи, сознательно умалчиваетъ въ De Claris mulieribus о христіанскихъ святыхъ, въ трактатѣ объ именитыхъ людяхъ сторожится говорить о папахъ, и флорентійскій архіепископъ зоветъ его человѣкомъ благочестивымъ. Его религіозность — итальянская, реально-пластичная, способная въ минуты нравственныхъ сомнѣній къ бѣшенымъ страхамъ, къ покаянному изступленію флагеллантовъ, безъ того насыщеннаго любовью мистицизма, которымъ озарена Катерина Сіэнская, безъ степенно-разсудочнаго благочестія, который напоминаетъ въ Петраркѣ не столько средневѣковаго аскета, сколько искусственно-благіе лики Дольче.

Другія новеллы даютъ поводъ къ другимъ обобщеніямъ: Лауретта разсуждаетъ, какъ потѣшные люди стараго времени высоко понимали свое общественное призваніе, и какъ низко оно упало [1]); либо говорится о значеніи сновъ [2]), о красотѣ остраго слова [3]), о томъ какъ мудрые правители уловляютъ сердца своихъ подданныхъ [4]), о благородствѣ, обусловленнымъ не родомъ, а доблестью [5]), потому что природа и судьба, прислужницы свѣта, часто «скрываютъ свои наиболѣе дорогіе предметы подъ сѣнью ремеслъ, почитаемыхъ самыми низкими, дабы тѣмъ ярче проявлялся ихъ блескъ, когда онѣ извлекутъ ихъ оттуда, когда нужно» [6]). Такъ должна была ободрять себя поднимавшаяся къ самосознанію личность; мы знаемъ, какъ рано эта мысль тревожила Боккачьо и въ какихъ отношеніяхъ она развилась.

Но природа и судьба и личная доблесть, которую онѣ таятъ и лелѣятъ въ человѣкѣ—это видимое цѣлое, называемое жизнью, раскрывается, какъ рядъ трагическихъ или потѣшныхъ противорѣчій. Большая часть новеллъ Декамерона построена на кон-

1) I, 8.

2) IV, 5, 6; IX, 7. Сл. De Cas. Vir. Ill. II, 18; vita di Dante § 17; Com. sorpa la Comm. II, 17—18; Gen. Deor. l. I, c. 31.

3) I, 9; VI, 1.

4) X, 7 въ концѣ.

5) VI, 2, 5 и въ IV, 1 рѣчь Гисмонды.

6) VI, 2 = пер. II, 6.

трастѣ судьбы, слѣпого случая, житейскихъ обстоятельствъ и личности сильной и страстной, либо отдающейся и выносливой. Порой судьба выноситъ ихъ къ берегу, какъ Александра [1]), мадонну Беритолу [2]) или Алатіэль [3]), такими же неисповѣдимыми путями, какими запутала въ превратностяхъ; мы настроены благодушно, какъ послѣ пронесшейся бури; либо личность заявляетъ себя, борясь и протестуя и погибая въ борьбѣ, какъ въ нѣкоторыхъ изъ трагическихъ новеллъ IV-го дня; либо выпутываясь изъ бѣды и достигая своихъ цѣлей изворотливостью, сноровкой, острымъ словомъ, удачей: это главный источникъ смѣха у Боккаччьо. Онъ тѣмъ здоровѣе, если не чище, чѣмъ неравномѣрнѣе права на жизнь у одураченнаго и того, кто одурачилъ; мессеръ Риччьярдо ди Кинзика [4]), братъ Пуччьо [5]) и Франческо Верджеллези [6]) сами заслужили свою участь; вотъ почему слушательницы смѣются такъ, «что не было никого, у кого не болѣли бы скулы» [7]). Вопросъ о нравственной вмѣняемости не поднимается, такъ всѣ заливаются смѣхомъ надъ наивной продѣлкой, интрига интересуетъ сама по себѣ, шутка исчерпывается цѣлью забавы, комическаго эффекта, а тамъ на помощь могутъ придти и неотразимыя силы — Амура.

Потому что сила Амура властвуетъ въ Декамеронѣ, какъ властвуетъ въ природѣ [8]) и въ жизни, и хотя онъ «охотнѣе обитаетъ въ веселыхъ дворцахъ и роскошныхъ покояхъ, тѣмъ не менѣе не оставляетъ проявлять порой свои силы и среди густыхъ лѣсовъ, суровыхъ горъ и пустынныхъ пещеръ, изъ чего можно усмотрѣть, что все подвержено его власти» [9]). Такъ начи-

1) II, 3.
2) II, 6.
3) II, 7.
4) II, 10.
5) III, 4.
6) III, 5.
7) II, 10 = пер. I, 179.
8) Fiammetta стр. 25.
9) III, 10; сл. Вступленіе въ IV-й день = пер. I, 275.

нается простодушно-физіологическая новелла объ Алибекъ, и то-же повторяется въ введеніи къ сентиментальному разсказу о любви Симоны и Пасквино, прерванной внезапной смертью [1]). Ибо любовь понимается въ самомъ широкомъ смыслѣ, обнимающемъ и небо и землю, физіологію и отвлеченія платонизма. Многіе «вполнѣ увѣрены, что лопата и заступъ и грубая пища и трудъ земледѣльца лишаютъ всякихъ похотливыхъ вожделѣній» [2]), говоритъ въ одномъ мѣстѣ Боккаччьо, сводя все къ вопросу о пищѣ и тунеядствѣ. Это взглядъ реалиста, который онъ проводитъ не разъ. Венера покоится на ложѣ, около нея Вакхъ и Церера и Богатство на стражѣ ея покоя [3]). Говоря о прелестяхъ Байскаго берега Фьямметта указываетъ на изысканныя яства и старыя вина, способныя не только возбудить заглохшее вожделѣніе, но воскресить и умершее [4]); позже такъ же объяснится ранняя, ребяческая страсть Данте къ Беатриче: согласіемъ темпераментовъ и нравовъ, вліяніемъ свѣтилъ [5]), весельемъ празднества, изысканностью кушаній и винъ [6]). Весной все влечется къ любви, и животныя и женщины и—юноши; не будь законовъ, они доходили бы до неистовства [7]). Въ концѣ X-го дня Діонео выражалъ свое удовольствіе, что ихъ общество вело себя прилично и честно, хотя разсказывали «новеллы веселыя и, можетъ быть, увлекавшія къ вожделѣнію», и они «хорошо ѣли и пили, играли и пѣли, что̀ вообще возбуждаетъ слабыхъ духомъ къ поступкамъ, менѣе чѣмъ честнымъ» [8]). Такъ и жена французскаго королевича объясняетъ свою внезапную страсть къ графу анверскому: «кто станетъ отрицать, что болѣе заслуживаетъ порицанія бѣднякъ или бѣдная женщина, которымъ приходится трудомъ

1) IV, 7.
2) III, 1.
3) Тезеида, сл. выше стр. 330.
4) Fiammetta, стр. 92—3.
5) Influenzia del cielo.
6) Ed. Macri-Leone, стр. 15.
7) Gen. Deor. III, 22; сл. Comm. sopra la D. C. II, 86.
8) Пер. II, стр. 328—9.

снискивать потребное для жизни, если они отдадутся и послѣдуютъ побужденіямъ любви, чѣмъ богатая, незанятая женщина, которой нѣтъ недостатка ни въ чемъ, что отвѣчаетъ ея желаніямъ?» [1]). Эта низменно-физіологическая точка зрѣнія на любовь, отрицательная у Гвиттоне и Данте да Маяно [2]) или у Биндо Боники [3]), совѣтовавшихъ бороться съ нею очистительными средствами, бичеваньемъ и холодными ваннами — заявляется, какъ положительная въ народныхъ пѣсняхъ о неудачливой въ бракѣ» [4]) и въ Декамеронѣ. Она то объясняетъ откровенныя рѣчи жены мессера Ричьярдо да Кинзика къ ея хилому супругу, излишне награждавшему ее праздными днями [5]), и притязанія супруги Пьетро ди Винчьоло [6]), и боязнь англійской королевны, что ее выдадутъ за старика и она можетъ «совершить по своей юношеской слабости что-либо противное божескимъ законамъ и чести королевской крови ея отца» [7]), почему она сама выбираетъ себѣ супруга, какъ несчастная Гисмонда любовника [8]). — Иначе приходится лицемѣрить, выдавая приличіе за соблюденіе долга, ибо «скрытый грѣхъ на половину прощенъ» [9]), ущербъ чести ни въ чемъ другомъ, какъ въ томъ, что выходитъ наружу [10]), какъ говорилъ когда то и Овидій [11]). Гисмонда откровеннѣе: ея рѣчь отцу—защита естественныхъ вожделѣній, требованіе любви по склонности и выбору, не стѣсняющемуся соображеніями рода и богатства. Это протестъ противъ дѣловаго

1) II, 8; сл. Canzone V: Laccio d'amor non lega uomo occupato — Ma chi si posa in ozio e dorme e giace; Ov. Rem. Am. 136 слѣд. Fac monitis fugias otia prima meis, Haec ut ames, faciunt Haec sunt iucundi causa cibusque mali.

2) Въ его отвѣтномъ сонетѣ къ Данте.

3) Canz. 18.

4) Сл. Casini, l. c. стр. 359 слѣд.

5) II, 10.

6) V, 10.

7) II, 3.

8) IV, 1.

9) I, 4; сл. IX, 2.

10) II, 9, 8.

11) Amor. III, 14, v. s.: Non peccat, quaequmque potest peccasse negare.

брака, какъ защитительная рѣчь Филиппы передъ судомъ требуетъ отмѣны законовъ, карающихъ женское нецѣломудріе, ибо ихъ установили одни мужчины [1]); они, позволяющіе себѣ отдаваться всѣмъ своимъ желаніямъ, воображаютъ, что для женщинъ писанъ другой законъ [2]); имъ по-дѣломъ, если ихъ также проводятъ [3]), если неумѣстная ревность доводила ихъ до позора [4]), и не по-дѣломъ было Гвальтьери, что безумныя испытанія, которымъ онъ подвергъ свою жену, кончились для него такъ, а не иначе [5]).

Любовь царитъ невозбранно; «о Амуръ! каковы и сколь велики твои силы? Каковы твои совѣты и измышленія? Какой философъ, какой художникъ былъ когда-либо въ состояніи или можетъ изобрѣсти тѣ похватки, тѣ выдумки, тѣ сноровки, которыя ты внезапно являешь идущимъ по слѣдамъ твоимъ?» [6]). Онъ заставляетъ влюбленныхъ презирать всякія опасности и смерть [7]), караетъ за жестокость къ любящимъ [8]), питаетъ романтическую страсть Джербино и тунисской королевны, никогда не видавшихъ другъ друга [9]), воспитываетъ Чимоне [10]), изощряетъ куртуазію Федериго дельи Альбериги [11]), виртуозный культъ красоты у стараго маэстро Альберти [12]) и безнадежно-сентиментальное чувство бѣдной Лизы [13]); доводитъ до смерти [14]) или схимы [15]). Онъ не знаетъ монашескихъ обѣтовъ [16]), и не малый подвигъ совершаетъ

1) VI, 7.
2) II, 9 и 10: рѣчь Діонео.
3) VII, 2.
4) VII, 5 и начало VII, 6.
5) X, 10 = пер. II, стр. 328.
6) VII, 4.
7) IX, 1.
8) IV, 8 въ началѣ; V, 8 въ концѣ.
9) IV, 4.
10) V, 1.
11) V, 9.
12) I, 10.
13) X, 7.
14) IV, 5, 7.
15) IV, 6.
16) III, 1.

тотъ, кто успѣлъ побороть его великодушіемъ [1]), или заставилъ поступиться передъ дружбой [2]).—Разнообразіе женскихъ типовъ Декамерона отвѣчаютъ безконечнымъ оттѣнкамъ одного и того-же побѣднаго чувства.

Таково въ Декамеронѣ ученіе о всевластной любви. Видимо, оно ни въ чемъ не измѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ въ неаполитанскихъ садахъ Галеоне-Боккаччьо спорилъ съ Фьямметтой. Въ основѣ это—овидіевскій взглядъ на физіологическую любовь, какъ на принципъ міроваго согласія и устроенія [3]), на любовь, какъ искусство и виртуозность, объектомъ которой являлись у Овидія либерты, женщины свободныхъ нравовъ, не цѣломудренныя жены, стоящія въ законѣ [4]), строгія блюстительницы очага и семейныхъ распрей [5]); къ свободнымъ жрицамъ любви изящнымъ и художественно-воспитаннымъ [6]) не примѣнялись обычныя требованія долга, нравственности, имъ мѣсто въ семьѣ, но пониманіе любви, какъ непререкаемой силы, естественно переносилось и на цѣломудрыхъ женъ: всякое женское естество склонно къ сладострастію, говорилъ Овидій [7]), обобщая примѣры античныхъ героинь; нѣтъ женщины недоступной [8]). Въ средневѣковомъ обществѣ, не знавшемъ института либертъ и читавшемъ любовные трактаты Овидія, его ученіе могло быть примѣнено лишь къ нелегальнымъ отношеніямъ; оно попадало въ теченіе фабліо или суроваго обличенія, но нашло и развитіе—благодаря софизму рыцарской любви, поднявшему значеніе Амура до мнимаго забвенія плоти. Въ его освѣщеніи женщина представлялась уже не безправнымъ виртуозомъ физіологической страсти,

1) X, 4, 5.

2) X, 8.

3) Art. Am. II, 477: Blanda truces animas fertur mollisse voluptas.

4) Art. Am. I, 31 слѣд. = Trist. II, 247 слѣд.; сл. Art. Am. II, 499—500, III, 611 слѣд.

5) Art. Am. II, 153 слѣд.

6) Art. Am. III, 311 слѣд.

7) Art. Am. I, 341.

8) Ib. I, 269—70.

а носительницей идеала; и для нея нѣтъ обычнаго критерія нравственности, какъ для древней либерты, но потому что она подсудна одному лишь одухотворенному Амуру. Чувство искупало само себя внѣ обязательности долга и обычая, освящая мимоходомъ и естественныя требованія чувственности.

Между тѣмъ съ долгомъ и обычаемъ приходилось считаться: житейская практика и житейскіе сюжеты Декамерона указывали на извѣстныя ограниченія. Когда въ Амето нимфы разсказывали о своихъ привязанностяхъ, отвлеченный характеръ среды смягчалъ отношенія, не поднимая вопросовъ о противорѣчіяхъ любви и долга; но уже Фьямметта, оставленная Памфило, плачется, что ради него она презрѣла законъ, попрала святость брака, и вотъ въ Декамеронѣ Неифила доказываетъ что «женщинѣ подобаетъ особенно быть честной, соблюдая, какъ жизнь, свое цѣломудріе»; если онѣ не въ состояніи соблюсти его въ «полнотѣ» и подчинятся могучимъ силамъ любви—онѣ найдутъ «въ глазахъ не слишкомъ строгого судьи» снисхожденіе къ своей слабости [1]), ибо онѣ нѣжнѣе и подвижнѣе мужчинъ, доступнѣе гнѣву [2]), вмѣстѣ съ тѣмъ упрямы, подозрительны, малодушны и страшливы и не могутъ обойтись безъ руководителей. Такъ говоритъ Пампинея [3]); естественный руководитель женщины—мужчина, «самое благородное животное изъ всѣхъ смертныхъ, созданныхъ Богомъ» [4]), вторитъ Филомена, а Емилія подтверждаетъ это практическимъ совѣтомъ. «Если здраво взвѣсить порядокъ вещей, говоритъ она, легко убѣдиться, что бо́льшая часть женщинъ вообще природой, нравами и законами подчинена мужчинамъ и должна быть управляема и руководима по ихъ благоусмотрѣнію; потому всякой изъ нихъ, желающей обрѣсти миръ, утѣху и покой у тѣхъ мужчинъ, къ которымъ она близка, подобаетъ быть смиренной, терпѣливой

1) VIII, 1.
2) IV, 3.
3) Дек. Вступленіе = пер. I, стр. 16.
4) II, 9.

и послушной, и прежде всего честной; въ этомъ высшее и преимущественное сокровище всякой разумной женщины. Еслибъ насъ не научали тому и законы, во всемъ имѣющіе ввиду общее благо, обычаи или, если хотите, нравы, сила которыхъ такъ велика и достойна уваженія, то на то указываетъ намъ очень ясно сама природа, сотворившая намъ тѣло нѣжное и хрупкое, духъ боязливый и робкій, давшая намъ лишь слабыя тѣлесныя силы, пріятный голосъ и мягкія движенія членовъ: все вещи свидѣтельствующія, что мы нуждаемся въ руководствѣ другого А кто наши правители и помощники, если не мужчины? И такъ мы обязаны подчиняться мужчинамъ и высоко уважать ихъ; кто отъ этого отдаляется, ту я считаю достойной не только строгаго порицанія, но и суроваго наказанія...». Есть у мужчинъ такая поговорка: «доброму коню и лѣнивому коню надо погонялку, хорошей женщинѣ и дурной женщинѣ надо палку . . . Всѣ женщины по природѣ слабы и падки, потому для исправленія злостности тѣхъ изъ нихъ, которыя дозволяютъ себѣ излишне переходить за положенныя имъ границы, требуется палка, которая бы ихъ покарала; а чтобы поддержать добродѣтель тѣхъ, которыя не даютъ увлечь себя черезъ мѣру, необходима палка, которая бы поддержала ихъ и внушила страхъ» [1]). Хуже, если ихъ вѣтренность и неразуміе вызоветъ жестокую кару, вродѣ кары школяра надъ поглумившейся вдовой [2]).

И такъ съ одной стороны побѣдныя силы Амура, съ другой—законы, обычаи и нравы; спросъ естественнаго чувства—и цѣломудріе; Беатриче [3]) и Лидія [4]), артистически обманывающія своихъ мужей—и честныя жены: маркиза Монферратская, спокойно-разумно укрощающая вожделѣніе французскаго короля [5]),

1) IX, 9 = пер. I, стр. 230—1.
2) VIII, 7.
3) VII, 7.
4) VII, 9.
5) I, 5.

жена Бернабò, торжествующая надъ злостнымъ навѣтомъ, которому повѣрилъ ея мужъ [1]), Джилетта изъ Нарбонны, энергически добивающаяся правъ супруги [2]), Гризельда, добродѣтельная жена, фиктивно лишенная этихъ правъ самодурствомъ мужа [3]). Рядомъ съ откровеннымъ требованіемъ свободы выбора и свободы чувства у Гисмонды [4]) и англійской королевны [5])—похвала великодушію Джентиле [6]), что онъ отказался отъ своихъ внѣшнихъ правъ на женщину, которая его не любила, или дружба Джизиппо, уступившаго Титу свою невѣсту, причемъ одинъ не предупредилъ ее, другой обманулъ, а она, «какъ женщина умная, обративъ необходимость въ долгъ», быстро перенесла свою любовь на другого» [7]).

Какъ объяснить эти противорѣчія идеаловъ любви и долга? Протоколизмомъ-ли художника, останавливающагося на каждомъ жизненномъ явленіи въ отдѣльности, оцѣнивающаго его въ немъ самомъ и имъ самимъ и изъ него же извлекающаго его философію? Но противорѣчіе лежитъ, очевидно, не въ качествахъ художественнаго пріема, а въ самомъ міросозерцаніи Декамерона. Въ пору страстныхъ увлеченій и «неупорядоченныхъ желаній» [8]), Боккаччьо могъ вѣрить въ рѣшающую, обязательную силу любви, не знающей счетовъ съ какими бы то ни было законами, исходящими изъ другого источника. Тогда онъ былъ влюбленъ и сомнѣнія Фьямметты его не убѣдили [9]). Но періодъ страстности прошелъ, и такому вдумчивому и чуткому наблюдателю жизни, какъ Боккаччьо, нельзя было удержаться при прежнемъ обобщеніи; на это былъ способенъ лишь такой педантъ и моралистъ,

1) II, 9.
2) III, 9.
3) X, 10.
4) IV, 1.
5) II, 3.
6) X, 4.
7) X, 8.
8) Дек. Введеніе = пер. I, стр. 1.
9) Сл. выше стр. 168 слѣд.

нотаріусъ и поэтъ, какъ Франческо да Барберино, наивно соединившій въ своемъ женскомъ Домостроѣ [1]) обрядовой укладъ итальянской семьи съ вынесенными изъ Прованса выспренними наставленіями Амура [2]). Но это не Амуръ юнаго Боккаччьо, а благо вообще, или, еще скучнѣе и отвлеченнѣе: «начало, посредствующее между двумя крайностями, въ силу котораго онѣ держатся вмѣстѣ» [3]); любовь божественная, любовь мірская, въ которой аллегорія силится раскрыть отношенія къ божественной, но во всякомъ случаѣ любовь законная, не та, которая, не заслуживая этого названія, не что иное, какъ бѣшенство. Такъ объясняетъ самъ авторъ въ комментаріи къ своимъ Documenti [4]); такова и точка зрѣнія его Домостроя, Reggimento, писаннаго о женщинахъ, не для нихъ, ибо мессеръ Франческо не одобряетъ, чтобы дѣвушку средняго класса учили читать и писать: женщина и безъ того не расположена къ добру, а писаніе даетъ ей поводъ и къ злу [5]). Его идеалъ, подсказанный ему какимъ-то провансальскимъ дидактикомъ [6]) — это женщина, сидящая за прялкой, прядущая безъ узловъ, не роняющая веретена [7]). Наставляя дамъ въ «вопросахъ любви», онъ вмѣстѣ съ тѣмъ запрещаетъ любовныя бесѣды и не совѣтуетъ сажать влюбленныхъ рядомъ [8]).

Въ годъ смерти мессера Франческо († 1348) Боккаччьо воображаетъ себѣ въ флорентійской подгородной виллѣ общество молодыхъ дамъ въ бесѣдахъ, которыя заставили бы призадуматься почтеннаго нотаріуса флорентійскаго епископа. Бойкія, смышленыя, онѣ хохочутъ надъ чинными, разряженными простухами, представительницами обрядового этикета, не умѣющими

1) Del Reggimento e dei costumi delle donne, нап. въ 1308 году.
2) Documenti d'Amore, 1314—15 г.
3) Del Reggimento, ed. Baudi di Vesmes, стр. 413.
4) Сл. Thomas, Francesco da Barberino стр. 52, 56, 81.
5) Del Reggimento, l. c. стр. 40—42.
6) Ramondo d'Angiò.
7) Del Reggimento, l. c. стр. 173.
8) Комментаріи къ Documenti d'Amore, сл. Thomas l. c. стр. 113.

«вести бесѣду въ обществѣ женщинъ и достойныхъ мужчинъ» [1]). Онѣ изъ тѣхъ, которыя не удовлетворяются иглой, веретеномъ и мотовиломъ [2]), хотя и говорятъ о себѣ противное. Жена Бернабò [3]) отличается почти мужскимъ образованіемъ; мы знаемъ, что̀ читала Фьямметта; Боккаччьо посвящаетъ ей свои произведенія, Андреѣ Аччьяйоли свою книгу объ Именитыхъ женщинахъ; Филиппо Чеффи переводитъ, по просьбѣ мадонны Лизы Перуцци, Героиды Овидія, «книгу о женщинахъ», какъ ее называли. У собесѣдницъ Декамерона было о чемъ разсказать, и онѣ разсказываютъ, поднимаютъ общіе вопросы, смѣются надъ ловкой продѣлкой, порой краснѣютъ при излишней откровенности собесѣдника [4]), приводя его къ порядку, иногда обходясь смѣхомъ [5]); шаловливо откровенныя [6]), не такъ педантично, какъ дамы капеллана Андрея [7]), онѣ умѣютъ сорвать розу, минуя шипы [8]), и въ общемъ становятся выше того, что скажутъ; «лишь бы жить честно и не было у меня угрызеній совѣсти, а тамъ пусть говорятъ противное», ободряетъ себя Филомена [9]). И Боккаччьо разсказываетъ имъ не однѣ лишь назидательныя повѣсти, и не объ отвлеченномъ Амурѣ мессера Франческо, а о любви, какъ она есть, во всѣхъ ея проявленіяхъ, о долгѣ, какъ онъ понимается и какъ доходитъ до героизма. Не онъ изобрѣлъ скоромную новеллу, она существовала ранѣе, въ грубо-откровенныхъ формахъ фабліò, и блюстителямъ конфессіональной нравственности слѣдовало бы обратить свои громы на

1) I, 10 = пер. I, стр. 65.

2) Дек. Введеніе = пер. I, стр. 3; сл. De Claris Mul. гл. 54: о художницѣ Thamyris = Timarete Плинія Hist. Nat. XXXV, 59, 147: equidem laudabile plurimum, si propectemus fusos et calathos aliarum.

3) Дек. II, 9.

4) I, 5 и passim; сл. V, 10 = пер. I, стр. 415.

5) III, 10 = пер. I, стр. 267; V, 5 = пер. I, стр. 377; VIII, 3 = пер. II, стр. 114; VIII, 10 = пер. II, стр. 179.

6) III, 3 въ концѣ.

7) Сл. lib. I, c. VI, стр. 209—11.

8) Дек. V, 10 = пер. I, стр. 408; сл. выше стр. 504—5, прим. 6.

9) Дек. Вступленіе, = перев. I, стр. 17.

всѣ средніе вѣка. Не Боккаччьо принадлежитъ починъ реабилитаціи плоти, но онъ не даромъ вчитался въ Овидія: плоть стала у него изящнѣе, красота идетъ выше вожделѣнія, софизмы капеллана Андрея приводятъ къ серьозной постановкѣ вопроса: о правахъ свободнаго чувства. Нападенія на упадокъ церковной жизни, на нравственную распущенность клериковъ, то-же не новшество: вспомнимъ нареканіи Даміани, для Византіи обличенія Евстаѳія Солунскаго и Ѳеодора Продрома. И здѣсь, какъ въ проповѣди любви, за откровеніями фабліò остается преимущество давности, но Боккаччьо первый внесъ всѣ эти сюжеты въ бесѣды культурнаго кружка: и росказни о шашняхъ злыхъ женъ, о продѣлкахъ монаховъ, и серіозную инвективу на нравы римской куріи; и не только перенесъ все это въ салонъ, но и облекъ въ изысканную форму то, что до него туго проникало въ изящную литературу: онъ создалъ новеллу въ «удовольствіе» читающимъ дамамъ.

Это было новшество, и оно встрѣтило противорѣчія, на которыя Боккаччьо отвѣтилъ; но онѣ заставили его самого задуматься. Въ началѣ IV-го дня онъ устраняетъ нѣкоторыя сомнѣнія, вызванныя разсказами первыхъ трехъ дней. Онѣ исходили, очевидно, изъ литературныхъ кружковъ; говорили серьозные люди, пуристы, люди благочестиваго закала съ схоластической жилкой, вродѣ Франческо да Барберино. Однимъ казалось неприличнымъ, что человѣкъ на четвертомъ десяткѣ болтаетъ о женщинахъ и любви и старается угодить дамамъ. Боккаччьо отвѣтилъ имъ примѣрами Гвидо Кавальканти, Данте, Чино изъ Пистойи — и ссылкой на прелестную новеллу о старикѣ маэстро Альберто[1]): всѣ они, уже зрѣлые, находили въ культѣ женщинъ и честь, и удовольствіе. Другіе утверждали, что авторъ поступилъ-бы умнѣе, еслибъ оставался «съ музами на Парнассѣ», а не занимался-бы такой болтавней, баснями, не приносящими заработка. Такъ говорили люди, видимо соболѣзновавшіе о моей славѣ, ирони-

1) I, 10.

чески замѣчаетъ Боккаччьо и отшучивается: съ музами хорошо быть, но не всегда возможно, въ такихъ случаяхъ полезно бываетъ общество имъ подобныхъ, ибо музы — женщины. «Не говоря уже о томъ, что женщины были мнѣ поводомъ сочинить тысячу стиховъ, тогда какъ музы никогда не дали мнѣ повода и для одного. Правда, онѣ хорошо помогали мнѣ, показавъ, какъ сочинить эту тысячу и, можетъ быть, и для написанія этихъ разсказовъ, хотя и *скромнѣйшихъ*, онѣ нѣсколько разъ явились, чтобы побыть со мною..., почему, сочиняя эти разсказы, я не удаляюсь ни отъ Парнасса, ни отъ музъ» [1]).

Музы и Парнассъ — это, очевидно, требованіе серьозной поэзіи, латинской или итальянской, дидиктической или любовной, но высокаго стиля, къ которому пріучили поэты тосканской школы. Боккаччьо отстраняетъ отъ себя эти требованія: онъ не затѣвалъ ничего серьознаго, его разсказы «скромнѣйшіе», написаны не только народнымъ флорентинскимъ языкомъ, въ прозѣ и безъ претензіи, но и, насколько возможно, скромнымъ и простымъ стилемъ [2]). Въ этомъ оправданіи есть и самоуничиженіе, порой посѣщавшее Боккаччьо, и сознаніе несоразмѣрности непритязательнаго литературнаго рода, который онъ создавалъ, съ другими, упроченными въ преданіи; на эти мотивы указано было выше [3]); чувствуется и ловкій полемическій пріемъ, и, можетъ быть, нѣкоторая доля сомнѣнія — въ правѣ своего новшества. Но сомнѣнія проходили, и Боккаччьо поднимался во весь ростъ: онъ говорилъ тогда о бурномъ вихрѣ зависти и считалъ себя — поэтомъ; многіе поэты, «занимаясь своими баснями, прославили свой вѣкъ, тогда какъ, наоборотъ, многіе, искавшіе хлѣба болѣе, чѣмъ имъ было нужно, горестно погибли». Потому «да умолкнутъ хулители»; онъ будетъ продолжать свой Декамеронъ [4]).

Таковъ его отвѣтъ серьознымъ людямъ, литераторамъ; въ

1) Дек. Вступленіе = перев. I, стр. 276.

2) l. c. стр. 271.

3) Стр. 496 слѣд.

4) Дек. Вступленіе, l. c., стр. 277.

концѣ книги другой — читателямъ, или скорѣе, читательницамъ, потому что Декамеронъ написанъ для нихъ, но за нами стоятъ, несомнѣнно, тѣ-же серьозные люди и правятъ ихъ взгляды. Боккаччьо предупреждаетъ ихъ «молчаливые вопросы» и даетъ на нихъ отвѣтъ: инымъ не нравится та или другая новелла—но совершенство дано только Богу; есть разсказы слишкомъ длинные, но онъ писалъ лишь для тѣхъ, у кого есть досугъ; его упрекаютъ за пристрастіе къ острымъ словамъ и прибауткамъ—онъ благодаритъ за замѣчаніе, но ссылается на монаховъ, которые уснащаютъ такимъ образомъ свои проповѣди, и иронически устраняетъ укоръ, будто у него языкъ злой и ядовитый, потому что ему случается говорить о монахахъ—правду. Но въ центрѣ «молчаливыхъ вопросовъ» стоитъ одинъ, на которомъ Боккаччьо останавливается особенно подробно, съ котораго и начинаетъ свою защиту: вопросъ о пристойности. «Можетъ быть, иныя изъ васъ скажутъ, говоритъ онъ, что, сочиняя эти новеллы, я допустилъ слишкомъ большую свободу, напр. заставивъ женщинъ иногда разсказывать и очень часто выслушивать вещи, которыя честнымъ женщинамъ не прилично ни сказывать, ни выслушивать» [1]). Это возраженіе Боккаччьо предусмотрѣлъ уже въ вступленіи въ Декамеронъ: онъ не называетъ своихъ разскащицъ ихъ настоящими именами, потому что, говоритъ онъ, «я не желаю, чтобы въ будущемъ кто-нибудь изъ нихъ устыдился за слѣдующія повѣсти, разсказанныя либо слышанныя ими, ибо границы дозволенныхъ удовольствій нынѣ болѣе стѣснены, чѣмъ въ ту пору, когда въ силу указанныхъ причинъ онѣ были свободнѣйшими не только по отношенію къ ихъ возрасту, но и къ гораздо болѣе зрѣлому; я не хочу также, чтобы завистники, всегда готовые укорить человѣка похвальной жизни, получили поводъ умалить въ чемъ бы то ни было честное имя достойныхъ женщинъ своими непристойными рѣчами» [2]). Удаливъ такимъ

1) Заключеніе автора = пер. II, стр. 332.
2) Дек. Вступленіе = пер. I, стр. 12—13.

образомъ возможность личныхъ нападокъ, онъ на всемъ протяженіи Декамерона не счелъ нужнымъ съузить границы «дозволеннаго», и не разъ предупреждаетъ о томъ отъ лица Діонео, ссылаясь на условія времени [1]); если разсказы нѣсколько свободны, «то не затѣмъ, чтобы воспослѣдовало отъ того что-либо непристойное въ поступкахъ, а дабы доставить удовольствіе вамъ и другимъ... Кромѣ того ваше общество вело себя съ перваго дня и по сей часъ достойнѣйшимъ образомъ, о чемъ бы тамъ ни разсказывали, и, мнѣ кажется, никакимъ дѣйствіемъ себя не запятнало и не запятнитъ съ помощью Божіей» [2]). Въ другомъ мѣстѣ [3]) Діонео допускаетъ, что среди нихъ разсказывались «новеллы веселыя и, можетъ быть, увлекавшія къ вожделѣнію», но онѣ опасны лишь для «слабыхъ духомъ», не для нихъ. Въ заключеніи Декамерона Боккаччьо еще разъ возвращается къ мотиву чумы, напоминая, что бесѣды велись «не въ церкви, о дѣлахъ которой слѣдуетъ говорить въ чистѣйшихъ помыслахъ и словахъ (хотя въ ея исторіи встрѣчаются во множествѣ разсказы куда какъ отличные отъ написанныхъ мною), и не въ школахъ философіи,... а въ садахъ, въ увеселительномъ мѣстѣ, среди молодыхъ женщинъ, хотя уже зрѣлыхъ и неподатливыхъ на розсказни, и въ такую пору, когда для самыхъ почтенныхъ людей было не неприличнымъ ходить со штанами на головѣ во свое спасеніе» [4]).

Но историческій мотивъ чумы былъ недостаточенъ, нареканія въ непристойности требовали другого отвѣта, и Боккаччьо даетъ его. — «Разсказы эти, говоритъ онъ, каковы бы они ни были, могутъ вредить и быть полезными, какъ то можетъ все другое, смотря по слушателю». Кто не знаетъ, что вино, огонь, оружіе приносятъ и пользу и вредъ? «Ни одинъ испорченный умъ никогда не понялъ здраво ни одного слова, и какъ приличныя слова ему не на пользу, такъ слова и не особенно приличныя не могутъ

1) Сл. выше стр. 449—450.
2) VI, 10 = пер. II, стр. 37.
3) X, 10 = пер. II, стр. 328—9.
4) Дек. Заключеніе = перев. II, стр. 333.

загрязнить благоустроенный умъ, развѣ такъ, какъ грязь мараетъ солнечные лучи и земныя нечистоты — красоты неба.... Всякая вещь сама по себѣ годна для чего нибудь, а дурно употребленная можетъ быть вредна многимъ; то-же говорю я о моихъ новеллахъ. Кто пожелалъ бы извлечь изъ нихъ худой совѣтъ и худое дѣло, онѣ никому того не воспрепятствуютъ, если случайно что худое въ нихъ обрѣтется и ихъ станутъ выжимать и тянуть, чтобы извлечь его; а кто пожелаетъ отъ нихъ пользы и плода, онѣ въ томъ не откажутъ, и не будетъ того никогда, чтобъ ихъ не сочли и не признали полезными и приличными, если ихъ станутъ читать въ такое время и такимъ лицамъ, ввиду которыхъ и для которыхъ онѣ и были разсказаны» [1]).

Это почти выраженія, которыми Овидій защищаетъ свою Ars amandi: онъ также не совращалъ къ грѣху [2]); нѣтъ такой книги, изъ которой женщина, настроенная порочно, не почерпнула-бы новой для себя пищи. Раскроетъ она анналы: онѣ разскажутъ ей, какъ Илія стала матерью, какъ произошла Венера. Изъ этого не выходитъ однакожъ, что всѣ книги вредны. Что полезнѣе огня? Но онъ служитъ орудіемъ поджигателямъ; врачебное искусство и губитъ и лѣчитъ, научая разпознавать какъ полезныя, такъ и вредныя травы; и разбойникъ и осмотрительный путникъ одинаково опоясываются мечемъ, краснорѣчіе можетъ защитить виновнаго и обрушиться на невиннаго; такъ и мое твореніе, если читать его, какъ слѣдуетъ, никому не можетъ повредить, а кто выноситъ изъ него вредное, тотъ его не понялъ [3]). Потому не грѣхъ слагать шаловливые стихи [4]): цѣломудреннымъ достоитъ читать о многомъ, чего не подобаетъ творить; а испорченные умы способны отъ всего совратиться [5]). Иначе пришлось бы закрыть циркъ и храмы, запретить мимы, сказать объ

1) l. c. стр. 333—334.
2) Trist. II, 212: obscoeni doctor adulterii.
3) l. c. Et nimium scriptis abrogat ille meis.
4) 307: versus evolvere molles.
5) l. c., v. 301.

Иліадѣ, что это повѣсть прелюбодѣянія, что Одиссея—разсказъ о женѣ, любви которой, въ отсутствіе мужа, добивались многіе; вѣдь и серьезнѣйшій изъ литературныхъ родовъ, трагедія, полна самыхъ порочныхъ проявленій любви [1]).

И такъ: для чистаго сердцемъ все чисто, говоритъ Овидій, утверждаетъ и Боккаччьо, тѣмъ спокойнѣе, что онъ принялъ къ тому и кое-какія мѣры: «нѣтъ столь неприличнаго разсказа, увѣряетъ онъ насъ, который, если передать его въ подобающихъ выраженіяхъ, не былъ-бы подъ-стать всякому; и мнѣ кажется, я исполнилъ это, какъ слѣдуетъ» [2]). Нѣтъ сомнѣнія, что онъ никогда не усиливаетъ извѣстныхъ соблазнительныхъ положеній, что образованные флорентійцы XIV-го вѣка смотрѣли на многія вещи проще, чѣмъ смотримъ мы, не знали той vaine superstition de paroles, которую Монтань предоставляетъ женщинамъ; тѣмъ не менѣе самъ авторъ допускаетъ, что въ иныхъ новеллахъ встрѣчается «кое-что такое» [3]), то-есть нѣчто опасное не для однихъ «слабыхъ духомъ». Интересно его оправданіе: если соблазнительное осталось, «то того требовало качество разсказовъ, на которые если взглянуть разсудительнымъ окомъ человѣка понимающаго, то станетъ очень ясно, что иначе ихъ и нельзя было разсказать, еслибъ я не пожелалъ отвлечь ихъ отъ подходящей имъ формы» [4]). Онъ могъ ихъ не разсказывать, и если разсказалъ, то въ утѣшеніе «прелестнымъ дамамъ»: замкнутыя въ своихъ покояхъ, связанныя волею близкихъ, онѣ часто питаютъ въ своей груди любовное пламя, тая его отъ страха и стыда, желая и не желая вмѣстѣ [5]). Новеллы о разныхъ случайностяхъ любви не только попадали въ ихъ настроеніе, но и очищали страстность сочувствіемъ или смѣхомъ; такъ отводилъ душу молодой Боккаччьо, такъ утѣшалась Фьямметта, вычитывая въ

1) Сл. l. c. v. 178.
2) Дек. Заключеніе = пер. II, стр. 332.
3) l. c.
4) l. c.
5) Дек. Введеніе = пер. I, стр. 2.

книгахъ все, что напоминало ей объ ея отношеніяхъ къ Памфило [1]); учительный элементъ привходилъ въ новеллы, какъ естественный результатъ успокоеннаго размышленіемъ чувства.

Такъ могъ увѣрять себя Боккаччьо; но не всѣ ему вѣрили. Уже въ древнѣйшемъ, дошедшемъ до насъ спискѣ Декамерона (1384 года) онъ носитъ и другой титулъ, данный ему, очевидно, не авторомъ: Начинается книга, называемая Декамеронъ, прозванная Principe Galeotto. Всѣмъ извѣстенъ разсказъ Франчески изъ Римини, какъ она и Паоло читали однажды о Ланцелотѣ и обуявшей его любви; они не разъ встрѣчались глазами, блѣднѣли, но одинъ моментъ ихъ побѣдилъ: когда они дошли до того мѣста, гдѣ Ланцелотъ поцѣловалъ свою желанную, Паоло запечатлѣлъ дрожащій поцѣлуй на устахъ Франчески. Въ тотъ день они больше не читали; «Галеотто звалась та книга, и кто писалъ ее, былъ для насъ Галеотто» [2]). Галеотто — это Gallehaut старофранцузскаго романа о Ланцелотѣ: онъ первый подмѣтилъ тайную страсть Ланцелота къ Джиневрѣ и помогъ обоюдному признанію. Въ этомъ смыслѣ Франческа могла сказать, что романъ, сблизившій ее съ Паоло, былъ для нихъ Галеотто, и такое прозвище, данное Декамерону, не имѣетъ другого значенія: его новеллы возбуждали нечестныя мысли, потакали страсти.— Обвиненіе въ непристойности уже готовилось перейти къ укору въ безнравственности.

Но раздавались и другіе голоса, голоса идеальныхъ читателей Декамерона, какихъ желалъ себѣ Боккаччьо. Вотъ что писалъ одинъ изъ безыменныхъ его современниковъ въ видѣ предисловія къ выборкѣ бесѣдъ учительнаго содержанія и канцонъ Декамерона:

«Великой славы заслуживаетъ имя того, кто находитъ удовольствіе въ упражненіяхъ, ведущихъ къ утѣшенію прелестнѣйшихъ дамъ, ибо похвальное дѣло увеселять тѣхъ, отъ кого міръ

1) Сл. выше стр. 108, 116, 410.
2) Inf. V, стр. 127 слѣд.

состоитъ въ веселіи. У кого больше умѣнія и знанія, тотъ долженъ положить на это дѣло и больше старанія: мудрые поэты, слагая занимательныя книги, изобилующія нравоученіемъ, дабы читая ихъ, либо слушая ихъ чтеніе, онѣ получили удовольствіе и пользу; музыканты, сочиняя баллаты и мадригалы, дабы распѣвая ихъ либо слушая ихъ пѣніе, онѣ восприняли любовное наслажденіе; и такъ постепенно каждый совершая то, что по его понятію можетъ особенно понравиться ихъ нѣжнымъ умамъ. Такимъ образомъ оправдывается то, чему научаютъ насъ многіе мудрые люди: что веселая жизнь поддерживаетъ долгую молодость. Какое дѣло похвальнѣе того, которое блюдетъ прекрасную женщину веселой въ ея юности? Не буду излишне распространяться, доказывая вамъ, что прелестныхъ дамъ слѣдуетъ нарочито почитать, ибо доблестные мужи прошлыхъ временъ дали тому явный примѣръ: глубокіе ученые предоставили къ ихъ услугамъ свое знаніе и опытомъ показали, что онѣ достойны высочайшаго почета; то-же дѣлали храбрѣйшіе воины, изъ любви къ дамѣ на смерть сражаясь на турнирахъ; иные поэты сравнивали дамъ съ ангельскими ликами. Какой праздникъ бываетъ хорошъ, если не скрашиваетъ его множество привлекательныхъ, красивыхъ женщинъ? Въ какомъ домѣ весело, если въ немъ нѣтъ веселой женщины? Разумѣется, все это должно быть ясно для всякаго, ибо не только міряне, но и духовныя лица тайно держатся того-же мнѣнія. Смѣю сказать по правдѣ: нѣтъ столь строгаго проповѣдника, порицающаго красоту и наряды женщинъ, который застоялся бы на каѳедрѣ, еслибъ не видѣлъ кругомъ себя вдовыхъ и замужнихъ дамъ; порой онъ вставляетъ въ проповѣдь, рядомъ съ евангельскими разсказами, какую-нибудь новеллу, лишь бы разсмѣшить ихъ; только довѣрься имъ, такъ отъ смѣха не далеко было бы и до кое-чего другого. Иной разъ въ церкви какой-нибудь охочій магистръ или баккалавръ толкуетъ четыремъ или шести сидящимъ у ногъ его дамамъ о житіяхъ святыхъ, порой внушая имъ, сколь полезно частое посѣщеніе монастырской церкви, то-есть, живущихъ тамъ монаховъ; и о мно-

гомъ другомъ еще говоритъ онъ, согласно съ ихъ желаніемъ; еслибъ келарь позвонилъ тогда къ трапезѣ, онъ не поднялся бы съ мѣста, забылъ-бы о пищѣ и питьѣ, лишь бы продлить бесѣду. Одной онъ даетъ сшить себѣ сорочку, другой скапуларій и говоритъ: Эти портные портятъ намъ всѣ платья, шить не умѣютъ, а вотъ дамы, такъ тѣ работаютъ хорошо: мелкими стежками строчатъ, точно бисеромъ нижутъ, штопка у нихъ двойная, все то у нихъ ладится! Такъ, порицая ихъ съ амвона и тайно похваливая, они чаютъ отъ нихъ услугъ; но Господь да накажетъ ту, которая послужитъ кому-нибудь изъ нихъ инымъ, чѣмъ шитьемъ, ибо это было-бы знакомъ низкаго, преступнаго духа, и да приключится съ нею, что случилось съ одной моей сосѣдкой: была она въ бѣломъ платьѣ, но когда обнялась съ монахомъ и потерлась объ его черныя одежды, юбка у ней спереди стала вся сѣрая, такъ что когда она вышла изъ комнаты, куда удалилась съ монахомъ подъ предлогомъ исповѣди, родственницы той дамы сказали ему: На здоровье вамъ новая ряса, честный отецъ, очень ужъ она красива, да такъ хорошо выкрашена, что своею тѣнью окрашиваетъ чужое платье! Какъ замѣтилъ это монахъ, застыдился, спустился по лѣстницѣ и никогда болѣе не посмѣлъ возвращаться туда. Довольно будетъ монахамъ — монахинь и святошъ, ибо, по словамъ учителя [1]), монахини ихъ духовныя жены... Да покараетъ ихъ Господь, ибо они болѣе падки на мірское, чѣмъ на духовное, такъ что, согласно съ пророчествомъ, надо полагать, что Антихристъ народится, либо уже народился.

«Но, достойнѣйшія дамы, не станемъ говорить болѣе, изъ уваженія къ священному сану, о похвальныхъ дѣлахъ духовныхъ лицъ, ибо о томъ пришлось бы толковать слишкомъ много, а обратимся къ похвалѣ тѣхъ, которые, изъ уваженія къ вамъ, приложили трудъ къ изобрѣтенію нѣкоторыхъ прекрасныхъ и пріятныхъ твореній. Въ числѣ прочихъ, о которыхъ я теперь припоминаю, особой похвалы и славы заслуживаетъ мессеръ Джьованни ди Боккаччьо, которому да пошлетъ Господь долгую и

1) Maestro delle sentenze.

счастливую жизнь по его желанію. Онъ въ короткое время написалъ много прекрасныхъ и потѣшныхъ книгъ, въ прозѣ и стихахъ, въ честь прелестныхъ дамъ, великодушные помыслы которыхъ обращены на все пріятное, ведущее къ добродѣтели; читая тѣ книги и прекрасные разсказы, или слушая ихъ, онѣ находятъ въ томъ высокое удовольствіе и развлеченіе, отчего ему прибываетъ хвалы, а вамъ утѣшенія. Между прочимъ сочинилъ онъ отличную и занимательную книгу, подъ заглавіемъ Декамеронъ». Анонимный авторъ предполагаетъ, что дамамъ его уже читали, и потому кончаетъ свое введеніе перечнемъ его разскащиковъ и разскащицъ [1]).

Таковы были сужденія, вызванныя первымъ появленіемъ Декамерона: одни хвалили его назидательность, элементъ вдумчивыхъ бесѣдъ, другіе называли его «Галеотто», очевидно, еще безъ того зловѣщаго значенія, какое придали ему впослѣдствіи, когда паденіе нравственности усилило требованія пристойности, и анекдоты о монахахъ получили значеніе не только религіознаго протеста, но и опаснаго или подозрительнаго вольнодумства. Въ концѣ Декамерона [2]) Боккаччьо отдѣлался шуткой отъ упрека, что у него языкъ злой и ядовитый, ибо онъ пишетъ правду о — монахахъ; позднѣе эти нареканія подѣйствовали на него серьознѣе: въ письмѣ къ Магинарду деи Кавальканти онъ стыдится Декамерона, какъ грѣха юности; это было въ 1373 году; между тѣмъ въ послѣдней книгѣ Генеалогій Боговъ [3]), законченныхъ почти одновременно, чувствуется еще какъ-бы отголосокъ протеста, слабое eppur si muove. Защищая противъ хулителей поэзіи родъ разсказовъ, повѣстей, fabellae, Боккаччьо повторяетъ знакомые намъ аргументы, что новеллы развлекаютъ, отводя грустныя мысли, очищая вожделѣніе, заставляя переживать его въ умѣ. «Разсказы нерѣдко освѣжали усталый духъ именитыхъ людей, занятыхъ важными дѣлами, что̀ доказывается не одними

1) Сл. Biagi въ Rivista Critica d. lett. ital. I, № 2, стр. 61—2.
2) Дек. Заключеніе = пер. II, стр. 335—6.
3) XIV, c. 9.

лишь примѣрами древности, ибо мы видимъ, что правители, покончивъ съ серьозными государственными вопросами, призываютъ къ себѣ, точно по природному внушенію, людей, которые веселыми разсказами ободрили бы ихъ духъ и павшія силы. Нерѣдко разсказы доставляли утѣшеніе людямъ, отягченнымъ судьбой, какъ у Луція Апулея благородная дѣва Харита, оплакивавшая свою долю въ плѣну у разбойниковъ, нѣсколько развлеклась повѣстью о Психеѣ, которую разсказала ей старуха». Иной разъ басни поднимали коснѣющій умъ; не буду говорить о людяхъ мелкихъ, обо мнѣ, продолжаетъ Боккаччьо, приводя со словъ Якова да Санъ Северино анекдотъ его отца о королѣ Робертѣ, какъ ему въ молодости не давалась грамотность, пока ловкій педагогъ не развилъ въ немъ охоты къ знанію — баснями Эзопа. Такъ вотъ каковы басни: неученыхъ они прельщаютъ внѣшней канвой, ученыхъ скрытымъ въ нихъ смысломъ; кто хулитъ ихъ, высокомѣрно осуждая поэтовъ, пусть сначала очистится отъ собственныхъ мерзостей, оглянется на себя, къ какимъ непристойностямъ самъ онъ нерѣдко прибѣгаетъ, чтобы потѣшить дамъ, и тогда пусть попытается очистить чужіе разсказы, поминая слова Спасителя — о блудницѣ.

Были еще средніе, настоящіе читатели Декамерона: имъ онъ нравился пестрымъ разнообразіемъ своихъ типовъ, своей веселостью и разлитой повсюду поэзіей любви; полу-школьная, полународная легенда, привязавшаяся къ Чертальдо, служитъ тому выраженіемъ. Неаполитанскія повѣрья сдѣлали Виргилія — магомъ, въ преданіяхъ Сульмоны Овидій является мудрецомъ, волшебникомъ, проповѣдникомъ, но не забытъ и поэтъ: у него была будто бы вилла въ Fonte d'Amore, гдѣ онъ до сихъ поръ стоитъ на стражѣ своихъ сокровищъ; папа Целестинъ узналъ о нихъ изъ книгъ Овидія и, раскопавъ кладъ, построилъ аббатство San Spirito въ окрестностяхъ Сульмоны. На этой-то виллѣ жилъ Овидій въ обществѣ своей любовницы феи [1]). Въ Чер-

1) Giambattista Basile II, стр. 20—1; IV, стр. 55—6; De Nino, Usi e costumi Abbruzzesi IV, стр. 230—1.

тальдо такая-же легенда о феяхъ окружила другого пѣвца любви. Она пристроилась къ подземному ходу, открывающемуся у нижняго этажа башни, гдѣ жилъ Боккаччьо, и выходящему въ сталактитовую пещеру внутри холма, расположеннаго въ недалекомъ разстояніи къ сѣверу. Здѣсь, говорятъ, обитали влюбленныя въ Боккаччьо феи, устроили подъ землей чудесный дворецъ, а съ вершины башни на вершину холма перекинули хрустальный мостъ, по которому поэтъ и ходилъ къ нимъ на бесѣду о любви [1]). Мы этихъ фей знаемъ: это Фьямметта, разсказщицы и героини Декамерона, Алатіэль и Джилетта, крестьянка изъ Варлунго и Гризельда. Мы забыли, что онѣ когда-то были назидательны или вольны, для насъ онѣ—феи, спускавшіяся къ магу-Боккаччьо по радужному мосту поэзіи, и для нихъ то онъ соорудилъ свой чудесный дворецъ — Декамеронъ.

Боккаччьо и Овидій—это такая же параллель, какъ Петрарка и бл. Августинъ; Петрарка, глубоко волнуемый самоанализомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ интересующійся какъ-то объективно его процессомъ, носящійся съ нимъ, выносящій его на показъ, какъ бл. Августинъ на-канунѣ крещенья ведетъ на виллѣ подъ Миланомъ философскія бесѣды, которые записываетъ призванный стенографъ. Именно въ эпоху гуманизма получаютъ свой психологическій raison-d'être бывшія когда-то въ модѣ «параллели» великихъ людей и поэтовъ: сходство настроенія, стремленій, темпераментовъ поддерживалось чтеніемъ, каждый находилъ родственнаго себѣ мыслителя, вчитывался въ него поневолѣ, какъ въ эпоху легендъ вѣрующій вдумывался въ типъ излюбленнаго святого, повторяя его житіе, личнымъ подвигомъ переживая его легенду.

Говорить о литературномъ вліяніи Декамерона было-бы здѣсь не у мѣста: его печать лежитъ на всемъ развитіи позднѣйшей художественной повѣсти. Укажу лишь на Чосера. Онъ

1) G. Baccini Il Boccaccio mago, Giornale di erudizione, v. I, № 15—16, стр. 233—5.

могъ ничего не знать о Декамеронѣ, кромѣ новеллы о Гризельдѣ въ переводѣ Петрарки, но онъ прочелъ у Боккаччьо многое, что приготовило Декамеронъ: Филострато и Тезеиду, особенно Филострато, эту новеллу въ формахъ рыцарскаго романа. Онъ подражаетъ имъ и переводитъ (Troilus and Cressida, The knights Tale), орудуетъ стансами Тезеиды, внося ихъ въ свой Parliament of Fowls, въ Troilus and Cressida, въ неоконченную поэму объ Anelida and Arcite. Такъ онъ вживался въ новый стиль: его Кэнтерберійскіе разсказы — это Декамеронъ, усвоенный поэтомъ-реалистомъ сѣверной буржуазіи, фабліò, прошедшій итальянскую школу. Изчезли кое-гдѣ тонкіе штрихи, торжественно-классическая степенность, типы поняты рѣзче и ярче, психологически-сложный образъ молодого blasé Пандара уступилъ мѣсто болѣе рельефному и понятному, но едва-ли болѣе симпатичному цинику Троила и Крессиды, самодовлѣющій эстетическій анализъ — энергически-односторонней характеристикѣ. Боккаччьо и Чосеръ это не только двѣ среды, но въ извѣстной мѣрѣ и два прообразованія.

И далѣе мы встрѣтимъ въ оборотѣ всемірной литературы типы Боккаччьо и сюжеты международной повѣсти, которымъ его личное пониманіе впервые придало художественный интересъ,

Car il féconde tout, ce charmant inventeur
(Alfred de Musset, Sylvia);

встрѣтимъ у Лопе де Вега и Шекспира, у La Fontaine'a, Лессинга, Мюссе, всякій разъ въ новомъ освѣщеніи. Если однимъ изъ критеріевъ дѣйствительной поэзіи является ея способность питать новые образы и иллюзіи, то Декамеронъ широко отвѣтилъ этой задачѣ.

J.Strobl,Buchbin
Frauenstrasse

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Weselowski, Aleksander N.

Boccaccio, jego sreda i swerstniki

Bd.: 1

S.-Peterburg 1893

Biogr. 106 nd-1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00081980-4